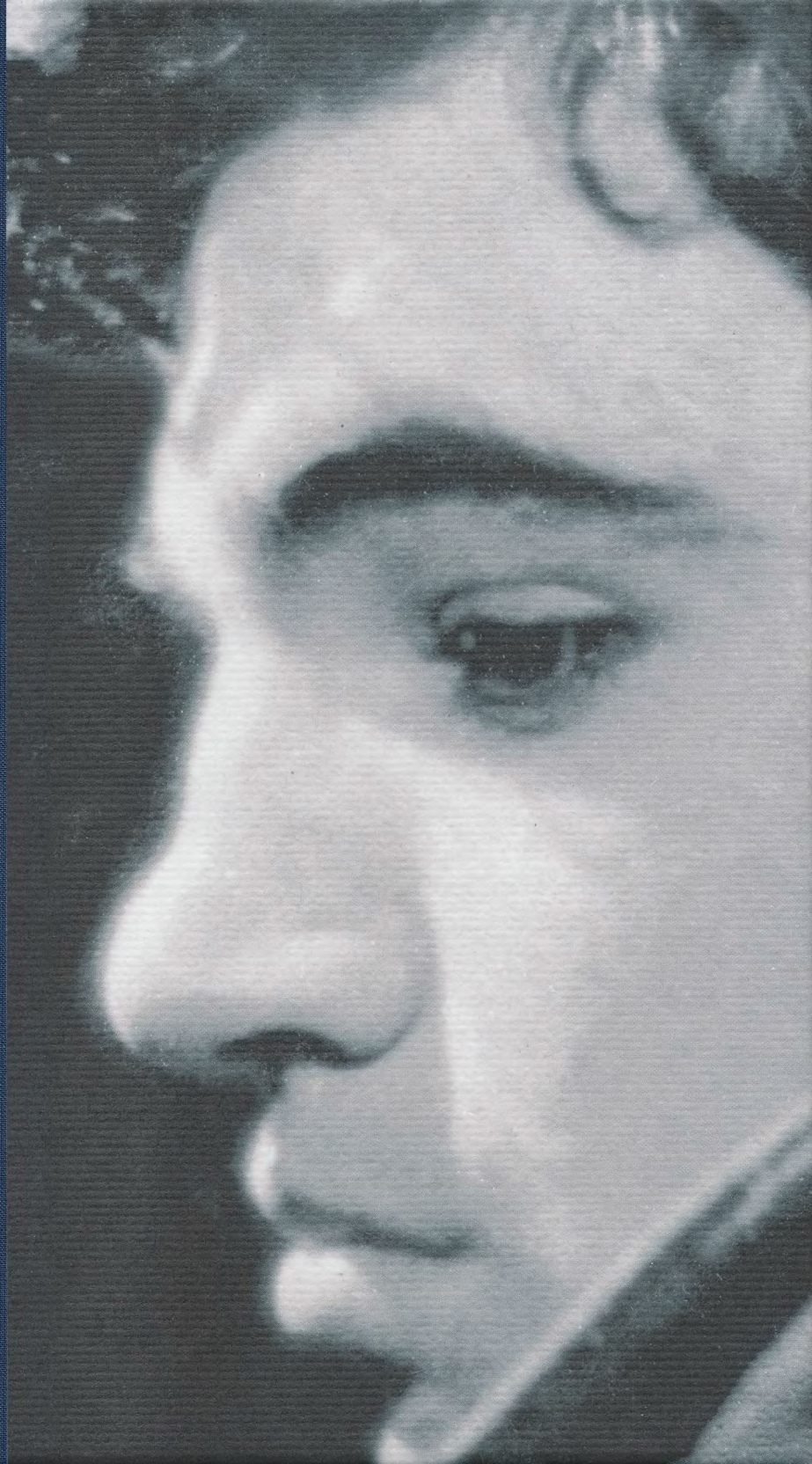


СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ МЫ ПРИШЛИ К ШПАЛИКОВУ

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ МЫ ПРИШЛИ К ШПАЛИКОВУ



СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
МЫ ПРИШЛИ
К ШПАЛИКОВУ

В жизни прекрасный шанс
оказался быть награжден прекрасной
вещью, которая впоследствии будет
уважаемая Юбилейная премия, ее
врутит мне в Золотой Зале
Эвора король Георг 7. Это
будет в Стокгольме, осенью.

Т. Шенников.

17 декабря 1978 года.

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ МЫ ПРИШЛИ К ШПАЛИКОВУ

ВОСПОМИНАНИЯ,
ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА,
ПОСЛЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ

СОСТАВИТЕЛЬ
АНДРЕЙ ХРЖАНОВСКИЙ



RUTHENIA

МОСКВА

2018



Издательская программа Правительства Москвы

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

УДК 82-94+82.293.7

ББК 85.374(2)

Ш83

Издательство выражает благодарность Музею кино за предоставленные фотоматериалы

В книге также использованы материалы из личных архивов

Галины Переверткиной, Наума Клеймана, Натальи Рязанцевой, Юрия Рязанцева,
Юлия Файта, Андрея Хржановского, Василия Ливанова, Дарьи Шпаликовой,
Павла Финна, Александра Бойма

Подбор иллюстративного материала: Андрей Хржановский

Художник Андрей Бондаренко

Ш83 Сегодня вечером мы пришли к **Шпаликову**: Воспоминания, дневники, письма, последний сценарий / Сост. А. Ю. Хржановский. — М.: Рутения, 2018. — 816 с., ил.

ISBN 978-5-9909857-4-2

Книга посвящена личности и судьбе поэта, сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова (1937–1974). Под одной обложкой впервые собраны его письма, дневники и последний сценарий вместе с воспоминаниями о нем его друзей, родных и близких. В числе авторов книги крупнейшие деятели культуры эпохи “оттепели” и следующих за ней: Белла Ахмадулина, Ролан Быков, Георгий Данелия, Василий Ливанов, Сергей Соловьев, Петр Тодоровский, Леонид Хейфец, Павел Финн и многие другие. Многие материалы, включая автографы и фото, публикуются впервые. В письмах Шпаликова сохранена авторская орфография и пунктуация.

УДК 82-94+82.293.7

ББК 28.691.89

- © Шпаликов Г. Ф., наследники, 2018
- © Хржановский А. Ю., составление, 2018
- © Бондаренко А. Л., оформление, 2018
- © Рутения, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителя	9
Юрий Богомолов. <i>Оттепель надежды нашей</i>	14

1. “СТАРАЮСЬ ПИСАТЬ ВЕСЕЛО”

Геннадий Шпаликов

Письма из училища	41
Из дневника 1955–1956	61
Работы для предварительного конкурса во ВГИК	81
Письма к Валентину Дьяченко. 1955–1958	91
Материалы к газете “Вгиковец”	105
Из дневника 1957–1958	121
Галина Переверткина. <i>Мы родом из детства</i>	173
Наум Клейман. <i>Гена Шпаликов. Безмолвные разговоры</i>	178
Наталья Абрамова. <i>Из ЗТМ в ЗТМ</i>	222
Владимир Валущкий. <i>“Главное, ребята, — играем!”</i>	229
Наталья Рязанцева. <i>“Майский день — именины сердца”</i>	231

Геннадий Шпаликов

Письма к Н. Рязанцевой.	263
Юрий Рязанцев. <i>Цыган приехал</i>	275

2. “НЕПРАВДА, ЖИЗНЬ НЕ ОБОРВАЛАСЬ”

Геннадий Шпаликов

“Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову”	293
Андрей Хржановский. <i>“Шутя, играя и навечно...”</i>	295
Михаил Ромадин. <i>О Генином вранье</i>	365
Геннадий Шпаликов. <i>Мой знаменитый друг</i>	371
Андрей Кончаловский. <i>Сценарий “Счастье”</i>	377
Марлен Хуциев. <i>Легкий человек</i>	383
Белла Ахмадулина. <i>Урожден поэтом</i>	389
Анатолий Гребнев. <i>Он обладал пронзительной искренностью</i> . . .	394
Армен Медведев. <i>Это было новое кино</i>	403
Дмитрий Федоровский. <i>Бутыль на лафете</i>	406
Марианна Вертинская. <i>Легкая речь</i>	412
Юлий Файт. <i>Не знаю, как назвать</i>	416
Георгий Данелия. <i>Брызги шампанского</i>	435
Евгений Стеблов. <i>Удаляясь, он вдруг обернулся</i>	452
Ролан Быков. <i>Он был в центре орбиты</i>	455
Сергей Соловьев. <i>Гений замысла</i>	456
Леонид Хейфец. <i>Белый пиджак</i>	480
Александр Нилин. <i>“Искать слова и находить слова”</i>	484

3. “НЕ НАСОВСЕМ ПРОЩАЛИСЬ”

Геннадий Шпаликов

Из дневника 1971 г.	513
Элла Корсунская. <i>И только творчество оставалось с ним</i>	516
Александр Орлов. <i>Невозможно забыть это лицо</i>	532
Тамара Дьяченко. <i>Никогда</i>	553

Петр Тодоровский. <i>Он не сдавался...</i>	558
Александр Володин. <i>Его любили все</i>	561
Евгений Евтушенко. <i>Нелегко шагавший по Москве</i>	562
Александр Митта. <i>Гена Шпаликов как чудо</i>	567
Валентина Малявина. <i>“Буду писать, пока пишется”</i>	580
Марк Осепьян. <i>Последняя встреча</i>	583
Петр Вегин. <i>Ошибка Геннадия Шпаликова</i>	587
Ольга Суркова. <i>Письмо вослед</i>	591
Инна Лиснянская. <i>“В этой комнате случится несчастье”</i>	608
Виктор Некрасов. <i>Ему не хватало воздуха...</i>	611
Виктор Кондырев. <i>“Ты приходи ко мне во сне...”</i>	619
Василий Ливанов. <i>Полет в обратном</i>	624
Дарья Шпаликова. <i>О жизни, в которой я была счастлива</i>	641
Павел Финн. <i>Спой мне, Гена...</i>	654

О публикации вариантов последнего сценария Г. Шпаликова . . 715

Павел Финн. *Предисловие к публикации...* 716

Виталий Юрченко. *Письмо Геннадию Курбатову* 719

Геннадий Шпаликов

“Воздух детства” (сценарий) 721

Павел Финн “*Мы одногодки все, 37 год*” 772

Наталья Рязанцева. *Долгая счастливая жизнь*

Геннадия Шпаликова 781

Вместо послесловия. Дмитрий Быков. *Опередивший свое время* . . 785

Именной указатель 789

Указатель фильмов 806

Указатель произведений Геннадия Шпаликова 809

Указатель произведений других авторов 811

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

...И не жалость: мало жил,
И не горечь: мало дал.
Много жил — кто в наши жил
Дни: всё дал, — кто песню дал.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Говорят, что человек живет на этой земле до тех пор, пока жива память о нем.

Память о Геннадии Шпаликове живет среди друзей, среди многочисленных поклонников его таланта. Воспоминания о нем, разной степени достоверности и подробности, стали выходить вскоре после его ухода и продолжают появляться до сих пор на страницах книг, газет и журналов, в радиопередачах и телевизионных фильмах.

Мне трудно, да попросту невозможно представить себе Шпаликова стариком. Мы были знакомы и дружны без малого двадцать лет — со дня его появления во ВГИКе в сентябре 56-го до его последней осени 74 года. Сейчас ему исполнилось бы 80 лет.

И чем больше проходит времени со дня смерти Шпаликова, тем отчетливее и острее возникает у меня ощущение, что творчество его становится неотъемлемой и заметной частью нашей жизни, нашей культуры. Я пишу об этом в настоящем времени не как о каком-то застывшем, уже сложившемся явлении, а именно как о процессе в его развитии.

...Желанье вечное гнетет,
Травой хотя бы сохраниться —
Она весною прорастет
И к жизни присоединится.

Оно для Шпаликова осуществилось, это желание. Своими фильмами, стихами, песнями, прозой он навсегда присоединился к жизни.

Критики до сих пор пытаются определить место Шпаликова в нашей поэзии. Большой он поэт или не очень. Мне кажется, такие попытки бессмысленны. Во-первых, как известно, во всем, что касается творчества, право составить более или менее справедливую табель о рангах принадлежит потомкам. Да и можно ли в этом вопросе представить себе какую-то объективность?

Взять, скажем, поэтов пушкинской плеяды — Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Языкова, Дельвига... — большие они поэты или незначительные? Уже то, как высоко ставил талант каждого из них А. С. Пушкин, вызывает к ним уважение и благодарность. А как восхищались ими наши любимые поэты, гении Серебряного века?

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь, почему!
Веневитинову — розу,
Ну, а перстень — никому!

* * *

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет...

Это Мандельштам.

Вспомним и о том, что Иосиф Бродский зафиксировал момент самоидентификации себя в качестве будущего поэта в ту минуту, когда раскрыл купленный где-то на путях геологической экспедиции, участником которой он был, томик Баратынского.

“Мой дар убог, и голос мой не громок...” — читаем мы у Баратынского. Однако нам он дорог тем же, чем дорог и Шпаликов, — “лица необщим выраженьем”...

Два обстоятельства побудили меня к тому, чтобы собрать все или почти все, что было сказано и написано о Г. Шпаликове, под одной обложкой. Чтобы составить такой портрет, годится всякий штрих и должен быть услышан всякий голос. Поэтому, наряду

с развернутыми воспоминаниями, читатель найдет здесь и краткие записи, свидетельства современников.

Готовясь к совместной с Марленом Хуциевым работе над сценарием о Пушкине (они даже дали письменную клятву не делать эту работу друг без друга), Шпаликов изучал все, что касалось биографии поэта, не пренебрегая никакими деталями. В книге В. Вересаева “Пушкин в жизни” приводится свидетельство о том, что Александр Сергеевич, находясь в кишиневской ссылке, явился как-то на бал к губернатору в кисейных панталонах. И даже если это свидетельство — явный вымысел мемуариста, оно дает нам представление об образе поэта, каким он складывался в определенных кругах тогдашнего общества.

И мы сочли за благо прибегнуть к подобной практике.

В воспоминаниях некоторых авторов читатель встретит разноречивые сведения о тех или иных деталях и событиях. И это тот случай, когда сводить эти показания к единой картине невозможно, да и бессмысленно: каждый мемуарист по-своему увидел и запомнил цвет плаща или шарфа, которые были на Шпаликове при последней встрече или при других обстоятельствах.

Многие мемуаристы, и я в том числе, цитируют стихи Шпаликова так, как они их запомнили. Сличать их с опубликованными текстами не стоит: еще при жизни Шпаликова некоторые стихи существовали в различных вариантах, иногда исходивших от самого автора.

Например, в строфе:

Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут —

вторая строчка имела такой вид:

В больницу не носил я передачи...

Такова природа нашего восприятия и, следовательно, нашей памяти, и вступать в борьбу с этой природой не входило в намерения составителя.

Можно без труда составить список тех писателей и поэтов, которые оказали наибольшее влияние на Г. Шпаликова. Сам он не только не скрывал своих пристрастий, но любил их демонстрировать всеми способами в жизни и в творчестве. Его незавершенный роман, помимо прочего, — объяснение в любви к этим художникам.

Я же, оглядывая в обратной перспективе тех, чье влияние я испытал на себе в огромной степени, оставляя за скобками многих любимых учителей, могу все же выделить в одну линию трех драматургов, сценаристов, поэтов. Это Николай Эрдман, Тонино Гуэрра и Геннадий Шпаликов.

Когда-нибудь и где-нибудь я напишу об этом подробнее. Сейчас же скажу о Шпаликове. Общение с ним, будь то очные встречи или телефонные разговоры, всегда оказывало на меня какое-то необыкновенное воздействие. Я будто заряжался от него страстью к сочинительству, включался в игру его воображения, в его темпы и ритмы, в которых не было пустот и провалов: складывалось впечатление, что он действительно сию минуту вышел от Пушкина и спешит к Пастернаку. И это чувство благодарной памяти стало одной из причин, побудивших меня к выпуску настоящего сборника.

Кроме уже публиковавшихся воспоминаний, в сборник вошли тексты, специально для него написанные Наумом Клейманом, Марленом Хуциевым, Александром Миттой, Юлием Файтом, Леонидом Хейфецем, Василием Ливановым и другими авторами, а также фото- и изоматериалы, многие из которых публикуются впервые.

Мне показалось правильным включить в этот сборник страницы писем и дневников Шпаликова и последний его сценарий “Воздух детства” (“Спой ты мне про войну”), в героя которого можно узнать автора.

Собственно, не всегда то, что названо самим автором дневниками, является таковыми в общепринятом смысле слова. Шпаликову не были свойственны регулярные записи, но уже то, что они относятся к определенным периодам жизни автора, говорит нам многое об этой жизни, поэтому можно считать, что они в известной степени автобиографичны. С другой стороны, читатели этих

текстов найдут в них такую пристальную наблюдательность, такое мастерское владение словом, порой блестящую фантазию и остроумие, что невольно возникает сравнение с признанными образцами подобного жанра, вроде “Записных книжек” А. Чехова и С. Довлатова или “Дневника” Ж. Ренара. А некоторые эпизоды воспринимаются как сюжеты будущих фильмов.

Таким образом, книга представляет собой автопортрет Геннадия Шпаликова среди его портретов и набросков, сделанных современниками.

На долю многих мемуаристов выпала участь знать Шпаликова, дружить с ним с самых юных лет и до трагического конца его жизни. Естественно, что их воспоминания включают в себя не один только конкретный период или эпизод, но дистанцию в два десятка лет. И хотя при составлении сборника мы держали в уме каноническую композицию, ориентированную на хронологию (детство, отрочество, юность, в нашем случае и зрелость), по описанной выше причине следование этому принципу оказалось весьма условным.

Тем не менее книга составлена из нескольких разделов, границы которых, пусть и условные, определяются высказываниями нашего героя.

Нам еще предстоит дальнейшее освоение творчества Шпаликова. Ждут публикации его ранние рассказы, очерки, написанные во время поездок на юг и на север страны. Хотелось бы перечитать сценарии Шпаликова, собранные в одном томе, чтобы заново оценить его вклад в наш кинематограф, а также насладиться изумительной, ни на кого не похожей прозой.

В работе над сборником я пользовался помощью сотрудников Музея кино Елены Долгопят и Марианны Кушнеровой, а также сотрудников Школы-студии “ШАР” Анны Остальской и Александра Шапапановского, за что им выражаю свою признательность.

Андрей Хржановский

ЮРИЙ БОГОМОЛОВ

ОТТЕПЕЛЬ

НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

Важная перемена блюд случилась после смерти Сталина с началом деколлективизации колхоза по имени “СССР” и эмансипации индивидуального “Я”. Называлось это “оттепелью”.

История оттепельного кино поучительна как в пору его расцвета, так и затем, когда в общественно-политической жизни страны наступили заморозки.

Два фактора, способствовавших наступившей во второй половине XX века общественно-политической Оттепели, следует выделить.

Первый: кончина Сталина и сопутствующие ей ослабление идеологического ошейника на горле общественности и удлинение для граждан административного поводка.

Второй, как ни неожиданно: Отечественная война. Точнее, память о ней. Именно кровопролитная, страшная по своим последствиям война и стала самой существенной, сущностной предпосылкой размораживания личностного начала в отношениях Общества с Государством, а вовсе не XX съезд с обличительным докладом Хрущева.

Доклад о культе личности Сталина всего лишь санкционировал “оттепель”. Правильнее сказать: легитимизировал ее на официальном уровне.

Был еще один фактор, на который следовало бы обратить внимание. Это оживление художественной критики благодаря ста-

тьям и рецензиям Инны Соловьевой, Майи Туровской, Веры Шитовой, Юрия Ханютина, Неи Зоркой... Именно они обеспечили важную интеллектуальную поддержку мастерам кинематографа той поры. Их тексты явились своего рода идейно-теоретическим обоснованием обновлявшейся кинематографической, как сегодня стало принято говорить, антропоморфной практики.

Наступательным идеологическим оружием “оттепели” стал культ мифа о Ленине как о великом демократе в борьбе с мифом о Сталине-вожде как о кровавом тиране.

В новой общественной ситуации авторы фильмов о Ленине напирают на его интеллигентность, образованность, вежливость, культурность и даже на способность к рефлексии, колебаниям и сомнениям. При этом никто не вспоминает о его харизматичности. И все спешат с рассказами о его личной скромности и порядочности.

Контуры нового мифа отвечают уже более актуальному велению времени. Ленин в первую голову антипод Сталина, позитив с известного негатива. Кроме того, утепленный, либерализированный Ильич преподносился общественности как укор и урок тогдашним “царям”.

Наконец, для интеллигентов-шестидесятников, детей “оттепели” и Арбата, он становится чем-то вроде нравственного камертона. Как в картине Марлена Хуциева и Геннадия Шпаликова “Застава Ильича”, где один из героев обращается к тому, кто в Мавзолее, с громогласными стихами Маяковского, но произносит их конфиденциально, вполголоса: “...Я вам докладываю не по службе, а по душе...”

Самое драматичное здесь, что такая сердечная интимность — не конъюнктура, не средство для того, чтобы повысить коэффициент “проходимости” сквозь цензурные стены, а действительно нечто идущее от души.

Психологи уже давно обратили внимание на особые парадоксальные доверительно-родственные чувства, что возникают между террористами и захваченными ими заложниками.

Практика заложничества, получившая широкое распространение в наше время, была, как стало известно сравнительно недавно, широко внедрена в жизнь все тем же В. И. Лениным. Это он еще в 1919 году сочинил постановление, по которому велено было числить заложниками членов семей мобилизованных в армию офи-

церов. И далее выполнение всякой хозяйственной задачи (и военной тоже) — от уборки снега до продрозверстки и обороны Царицына — сопровождалось превентивными арестами и расстрелами.

Когда революция вошла в мирные берега, инструментом заложничества стала культура. Именно она более чем что-либо другое, более чем репрессии, обеспечила духовно-политическое единство палачей и жертв.

Советская культура создала миф о Ленине, заложницей которого сама и стала. Им потом было трудно друг без друга. По революционным праздникам мы их всегда видели вместе.

Разумеется, противопоставление Ленина Сталину в 60-е годы было в историческом отношении заблуждением. Но, как мы знаем, заблуждение обладает некоторым количеством энергии, питающей художника.

Понятно, что ее ресурс в начале прошлого века был несравнимо более значительным. Той энергии и был в основном обязан взлет советского кино 20–30-х годов. Ею питалась художественная мощь фильмов Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Калатозова, Райзмана, Юткевича, братьев Васильевых, Эрмлера, Вертова и т. д.

С этой точки зрения заблуждения во второй половине 50-х годов относительно идеалов былой революции и высоких целей ожидаемого рая на Земле оказались уже не столь сильными. Да и не столь щедрыми, заметно ограниченными... Может быть, поэтому “оттепель” не дожидая до весны.

У Надежды Мандельштам соображение: “Ель гибнет на границе климатических зон, где морозы слабее, но — оттепели, и она гибнет от отчаяния несбывшихся чаяний”. Брежнев убивал последние надежды, вызванные “оттепелью”. Как мы впоследствии убивали надежды, вызванные крушением режима.



Если мифический Ленин стал оружием шестидесятников, то душой этого поколения явилась лирика, которая, впрочем, была не только состоянием, но и мировоззрением. В этом будет сила ше-

стидесятнического движения в начале его пути. Это окажется впоследствии его слабостью.

Ильич — как точка опоры, посредством которой можно, как показалось некогда, перевернуть если не весь мир, то сознание советского человека, пережившего сталинизм.

Лирическая поэзия в Политехническом музее — как своего рода монастырь, в котором находят укрытие, и утешение, и освобождение великие граждане страны Советов. Здесь люди разных поколений спасаются хотя бы ненадолго от их преследующей высокопарной казенщины, от патриотической фальши, от государственного цинизма... Здесь торжествует единение свободных, душевно раскрепощенных граждан, взявших за руки по рекомендации Окуджавы...

Наконец, здесь же бродит призрак минувшей войны — вернувшийся с нее мертвым отец молодого человека.

Отец моложе своего сына; он ничему не может научить того, кто живет после войны. Но важно то, что рефлексирующее поколение накрыла тень беспощадной войны.

Война для “оттепельного” кинематографа — это ведь тоже заставка. Точка опоры. Шкала моральных ценностей. Она важна и ценна своей подлинностью. С ее началом спала пелена мнимостей: мнимых врагов, мнимых героев, мнимых достижений, мнимых идеалов... Человек вернулся в реальность. И вот, наконец, все увидели четкую линию фронта между подлинно своими и подлинно чужими.

Война для шестидесятников спустя десятилетие стала своего рода спасительным тылом.

На этот счет есть убедительное свидетельство поэта, обрадовавшегося началу войны.

В бомбоубежище, в подвале,
Нагие лампочки горят...
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят...
...Я никогда с такою силой,
Как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
Такой влюбленной не была.

Это из поэтического дневника Ольги Берггольц. Какая пропасть между реальностью и настроением...

В ту пору многие советские идеалисты с началом войны испытали психологическое облегчение: вот она, внешняя угроза — нацистская Германия. Вот он, внешний враг — Гитлер. И вместе с этим — душевный подъем. Позади угнетенное состояние, связанное с раздвоением сознания. Позади публичная риторика, казнящая троцкизм, зиновьевско-бухаринскую банду и прочих внутренних, мифологических злодеев.

Перед лицом внешнего врага все едины, что должно было означать конец гражданской войны. На деле-то она продолжалась. Она продолжалась с зэками, густо заселившими архипелаг ГУЛАГ.

Оттуда много лет спустя дошли до нас другие стихотворные строчки:

...Я хотел бы быть обрубком,
Человеческим обрубком...

Отмороженные руки,
Отмороженные ноги...
Жить бы стало очень смело
Укороченное тело.

Я б собрал слюну во рту,
Я бы плюнул в красоту,
В отвратительную рожу.

На ее подобье божье
Не молился б человек,
Помнящий лицо калек...

Это своего рода акт самоотречения. К тому же отречения от Красоты, от Бога. Строчки принадлежат узнику ГУЛАГа Варламу Шаламову. Написаны они примерно в то же время, что и строчки Берггольц.

В глубоком тылу, за Можаем, ужас обездушевления и обесчеловечивания. На переднем крае — восторг вочеловечивания и оду-

шевления. Он-то и согрел почву, на которой произросла “оттепель” спустя десятилетие после войны.



Лиризм порождал иллюзию, что все моральные заповеди и гуманистические ценности способны уместиться на ладони лирика. Довольно быстро выяснилось, что это не так. Хуциев уже через два года после “Заставы”, вызвавшей энтузиазм у шестидесятников, снимает “Июльский дождь”, который стал прохладным душем для энтузиастов.

Время “оттепели” было временем надежд и печали по мере их убывания.

“Застава Ильича” явилась кульминационной точкой упований шестидесятников, а уже следующий фильм Хуциева “Июльский дождь” — началом их оплакивания. Стоит обратить внимание на две ключевые сцены.

Одна — когда компания друзей весело и непринужденно общается: шутки, прибаутки, подначивания, подтрунивания, бардовская песня...

Другая — после теплых летних дождей, выезд на пленэр: на дворе осень, герои поеживаются... Холодно стало и в отношениях друзей, и в чувствах влюбленных — Лены и Володи. Гитара в прошлый раз душевно сближала друзей, а теперь у костра ее почему-то не хочется слушать. Не хочется искусственного, натужного единения... Что-то разладилось. И кажется, что необратимо. Герои в растерянности.

Это картина о кризисе лирического мироощущения, о его тупике. И то, что в финале героиня со стороны, издали, наблюдает улыбки и объятия фронтовиков, воспринимается искусственной добавкой. Получается, что минувшая война списывает уже современную некоммуникабельность.

Впрочем, еще прежде о разрыве романтических устремлений с реальностью криком прокричал Михаил Калатозов в фильме “Неотправленное письмо”, снятом спустя два года после “Журавлей”. Потом он же попытался взбодрить романтические эмоции, отпра-

вившись на Остров свободы и привезя оттуда “отправленное письмо” — “Я — Куба”.

Письмо отправленное, но непрочитанное. Или, точнее, непонятое.

“Оттепель” к концу 60-х годов свернулась, сдулась... Невелик оказался ресурс энергии заблуждения. Несравним с тем, что питал монтажный кинематограф 20-х — начала 30-х годов.

А что же случилось с подснежниками “оттепельной” поры? Одни увяли, как Хуциев, Ордынский, Таланкин... Другие — обратились к классике (Хейфиц, Зархи, Кулиджанов). Кто-то погрузился в лениниану (Юткевич).

Трагическая участь постигла самого задушевного лирика — Геннадия Шпаликова. О ней надо сказать отдельно.



Он родился осенью. Он ушел осенью. Он прожил свою жизнь длиною в 37 лет от листопада до листопада. И кажется, что другого времени года так и не отведал.

Так, по крайней мере, кажется, когда заглядываешь в его дневниковые строчки стихов.

Его стихи — заметки на полях его жизни.

Называлось место: Плес,
Начиналась осень,
Кто меня туда занес,
Одного забросил?

Место, где он оборвал свою жизнь, называлось: Переделкино. Из петли его вынимал доктор Григорий Горин, которого все знают как писателя и который тоже безвременно ушел из жизни.

Листаем стихотворные строки. Будто нарочно попадают печальные, опять же осенние: “Хоронят писателей мертвых, Живые идут в коридор...” И в конце стиха — просьба: “Ровесники, не умирайте”.

Ровесники умирали и умирают.

“Долгая счастливая жизнь” — авторский фильм лирика; он и сценарист, и режиссер его. Это автобиография души, что у лири-

ков отдельна от тела. Она-то и жива по сию пору; и будет еще долго и счастливо жить.

...Он вступил во взрослую жизнь, когда казалось: если что и спасет мир, так это лирика. И только она. То было время, когда начали оттаивать простые человеческие чувства, и в какой-то момент они стали брать верх над идеологическими схемами. Сначала — по праздникам (“Карнавальная ночь”), потом — в отпускную пору (“Верные друзья”).

Молодой лирический герой не номинально, а реально оказался в центре повествования у Шпаликова.

Он написал сценарий почти бессюжетный, к которому и название трудно было придумать. Чем можно обнять череду забавных происшествий, случайных знакомств, нечаянных размолвок, чаемых примирений? Только местом действия и самим собой. Получилось: “Я шагаю по Москве”.

Лирический герой, у которого все нравственные истины ужиаются на ладони, шагал по Москве и чужие беды разводил руками: мирил влюбленных, помог молодому писателю, влюбил приятеля в девушку, в которую сам вроде влюбился, и под занавес поднял настроение заскучавшей в метро молодой женщине. И уже когда экран перечеркнула строка “Конец фильма” и в зале зажегся свет, оказалось, что он ободрил и зрителей — они улыбались.

...Вот только жизнь не улыбалась. И не только лирикам. “Оттепель” затянулась, а лета Шпаликов так и не дождался.

Хотя в какой-то момент могло показаться, что судьба отныне благоволит физикам. Впечатление было обманчивым, чему свидетельством стал фильм Михаила Ромма “9 дней одного года”. Да и сам Шпаликов довольно быстро прочувствовал это на собственной шкуре, которая у лириков обыкновенно бывает очень чувствительной к перемене общественно-политического климата.

Еще не вышел фильм Георгия Данелии “Я шагаю по Москве”, а уже случился памятный скандал с картиной Марлена Хуциева “Застава Ильича”: Прошлое догнало Настоящее. Картина не понравилась Никите Сергеевичу Хрущеву. Он почувствовал себя лично обиженным: как это так, поколение отцов пасует перед вопросами своих взрослых детей...

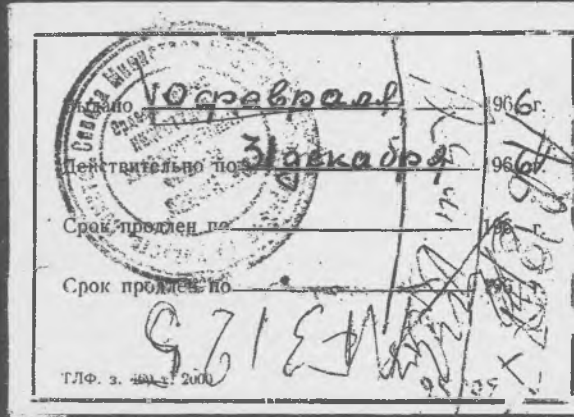
Картину отредактировали и выпустили под названием “Мне 20 лет”. То есть Ильича, который в то время был священной короной не только для партийных функционеров, но и для творческой (как сегодня бы сказали бы: креативной) интеллигенции, решили не примешивать к внутренним исканиям современной молодежи. Ответственность за “искания” сняли с вождя мирового пролетариата и переложили ее на плечи все того же лирического героя в рамках одного фильма.

С высоты сегодняшнего дня понимаешь, что драма была не только в контрнаступлении партийной бюрократии с идеологическими клише наперевес. Драма состояла еще в том, что жизнь не только цензурировалась, но и усложнялась. Межличностные дружеские отношения отступали на второй... на десятый план. Поэзия солидарности самодостаточных индивидов, столь ярко продемонстрировавшаяся в Политехническом, на глазах стала размываться, истаивать под напором житейщины, служебных обстоятельств, карьерных соображений. И уже следующий фильм Марлена Хуциева (по сценарию Анатолия Гребнева) “Июльский дождь” очень четко отделил одну эпоху от другой. Как у Пушкина: “Лета к суровой прозе клонят”.

...А Шпаликов не сдавался, не мог сдаться по существу своей натуры, по призванию своего дарования. Он сопротивлялся как мог убийственной прозе полинявшей у нас на глазах действительности. Написал сценарий-сказку для мультипликационного фильма Андрея Хржановского “Стеклянная гармоника” о музыканте, преобразующем силой своего дара уродливую действительность в мир прекрасных гармоничных образов, который снова и снова разрушается до основания. Сказка — ложь, да ее намек дошел до идеологических вертухаев. Картина была положена на полку, до лучших времен.

А “Долгая счастливая жизнь” о молодых людях, что случайно встретились, легко сблизилась, а наутро расстались, словно и не было того, что они вчера почувствовали.

Сегодня этот фильм смотрится как предсмертная записка Геннадия Шпаликова. Лирическое мироощущение, к общему сожалению, оказалось не универсальным.



Пропуск Г. Шпаликова на киностудию Ленфильм во время работы над фильмом “Долгая счастливая жизнь”.

...Сегодня многие его стихотворные строки читаются как предсмертные записки.

Хотя бы вот эта: “Страна не пожалеет обо мне, / Но обо мне товарищи заплачут”.

Так оно и вышло в 1974-м, когда его не стало. Товарищи, провожая его, плакали.

Летальные исходы мастеров культуры в какой-то исторический момент перестали осознаваться как события.



Понятие “оттепель” в нашем сознании — прежде всего определенный отрезок времени в послевоенной истории. Но не только. Это еще и душевное состояние, некогда пережитое. И пережитое не однажды. И всякий раз с наступлением лютой стужи шестидесятники ждали нового ослабления морозов и очередной оттепели.

Советская стужа была по-своему уникальной. Люди укрывались от коммунистического официоза в частной жизни. Людям искусства приходилось особенно трудно. Им ничего не оставалось другого, как бежать в искусное ремесло. И просто — в мастерство.

■ ■ ■

Картиной, которая подвела черту под послевоенным “оттепельным” кинематографом, стоит признать “Белорусский вокзал” Андрея Смирнова.

...“Белорусский вокзал”, как правило, толкуется как дань памяти живым и павшим, не постоявшим за ценой, чтобы добыть Победу в 45-м. Одну на всех. И как многим казалось: навсегда.

Но фильм Андрея Смирнова еще и о чем-то ином. О том, что победы в открытом вооруженном противостоянии с четко обозначенной линией фронта — победы не навсегда. После сражений за свободу и независимость нации предстояла нелегкая борьба за свободу и достоинство отдельного человека.

Мирная послевоенная жизнь требует не то чтобы большего мужества, но мужества и героизма иного качества. На войне делают Историю всем скопом, то есть “десантным батальоном”.

А после войны солдат остается один на один с Историей. И ужас повседневности — нет общего врага. Одного на всех. У каждого свои враги и свои трудности.

Парадокс “Белорусского вокзала” состоял в том, что он был овеян ностальгией по ненавистой и подлой войне. Может быть, поэтому и сегодня картина хорошо смотрится. Каким-то чудным образом она аукается с постсоветской действительностью. Или наоборот: сегодняшняя жизнь аукается в картине.

Иные ненавидят свое советское прошлое и ностальгируют по нему. Потому что это была тоже — война. Великая гражданская война, где враг был один на всех — советская власть — и победа одна на всех. Мы не пали на ней.

В тот роковой мирный день, когда однополчане пересеклись на поминках своего фронтового друга, стало особенно отчетливо понятно, что на фронте быть отважными и храбрыми проще в каком-то смысле, чем в повседневности мирной жизни.

Белорусский вокзал в этом фильме — грань между миром и войной, между армией и “гражданкой”, между поколениями. Но это и точка пересечения человеческих судеб и эпох. Песня Окуджавы делает его местом встречи живых и павших.

Фильм каким-то краем задевает и последовавшее за ним Сегодня.

Одно дело было быть нонконформистом в пору всевластия Идеологии. Другое — остаться им в обстоятельствах Рынка. Это как вернуться с фронта на “гражданку”, переодеться во что-то парتيкулярное, перестать ходить строем и стоять навтыжку перед начальством.

А главное: демобилизовавшись, перестать чувствовать себя ни в чем не виноватым...

Мир сложнее войны, а иногда — драматичнее. Особенно для лириков-идеалистов. Особенно на границе, как климатических зон, так и политических режимов. Кто-то из них просто чахнет, а кто-то смертельно убивается.

Примеры?

“Оттепель” как социокультурное явление. И Геннадий Шпаликов — как его душа.

1

“СТАРАЮСЬ
ПИСАТЬ ВЕСЕЛО”

Г. Шпаликов с мамой Людмилой Никифоровной. Фото © Музей кино





С бабушкой Дарьей Сергеевной. Фото © Музей кино



В начале войны. Фото © Музей кино

Семья после войны.

Мама Людмила Никифоровна, ее братья
Владимир Никифорович (рядом с ней)
и Семен Никифорович, бабушка
Дарья Сергеевна, дети — Лена и Гена.





Среди воспитанников
Киевского суворовского училища.
Г. Шпаликов шестой и справа
и слева в первом ряду.
Фото © Музей кино







Г. Шпаликов с мамой Людмилой Никифоровной и сестрой Леной.



Юный суворовец.



Кадр из фильма "Честь товарища" —
единственная актерская работа Шпаликова.
Суворов Г. Шпаликов — крайний слева
с автоматом. 1953 г.

Честь товарища "





ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ПИСЬМА ИЗ УЧИЛИЩА*

ПИСЬМА К МАТЕРИ ЗА 1948 ГОД

41

1

11 января

Здравствуй Мама!

Я жив, здоров, учусь хорошо. Мама, сегодня получил 5 по литературе. Уже не скучаю. По арифметике хорошо новый материал понял, да еще ко мне посадили хорошего воспитанника. Переходим в новые классы. Мама, я посылаю тебе табель. Когда посмотришь вышли обратно. Мама, послезавтра контрольная по англиски. Не волнуюсь и не боюсь, знаю хорошо. Мама, купил порошок за 2 руб. 80 коп. Хороший, чистит хорошо. Извини, что так плохо пишу. Тороплюсь. Задание сделал, писал 10 минут урока и перерыв. 3 урок занят. Капитан будет читать книгу. Пиши письма. Мама, устно я задание выполнил, уст[но] как хорошо. Здоровье у меня хорошее. Ка-

* Публикуются по: Шпаликов Г. Воздух детства ("Я жив, здоров, учусь хорошо..."): Непоставленный сценарий. Переписка // Кинограф. 2009. № 20 / Публикация Е. Долгопят.

питан записал меня в кружок танцев, я не рад, хотя я капитану и не нагрубил и выразил свое довольство, но нечего [делать,] буду заниматься. Мама, у меня оказались четверки по русскому языку, но ты не расстраивайся, я их исправлю, они вышли случайно. За нос не беспокойся, я хожу в санчасть капать в нос и пить рыбий жир. Аппетит появился! Ем все. Поем первое тарелки две, а второе все, и сыт, а компот на заливку. Так и все питание. Пока номеров на письма ставить нечего. Еще не получил их...

До свиданья. Очень крепко целую, твой сын Гена

2

[март]

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

42

Здравствуйте, дорогие мои мамочка, бабуся и Леночка!

Я жив и здоров. Четверть окончил так.

Русский уст. 3, пис. 3.

Английский уст. 5, пис. 4, общая 4.

Арифметика 3. История 4. География 4. Ботаника 5. Рисование 4. Остальное 5. Мамочка! Каникул у нас не будет сразу после конца четверти, а будут с 23 апреля по 2 мая. Мама! Теперь год кончается 20 мая и сдаем экзамены до 1-го июня, а потом домой. Мама! С поведением у меня теперь хорошо и ты не волнуйся. Мама, я прочел книги: "Янки при дворе короля Артура"*. "80 тысяч км под водой"**. "Таинственный остров". "Моя жизнь"***. И другие. Все они мне очень понравились.

Мама, в воскресенье 2 апреля у нас начинаются соревнования по плаванию на первенство училища. Мы теперь все время готовимся к ним.

Мама, капитану Войниловичу во 2 отд. присвоили звание майора. Нашему капитану тоже скоро дадут майора. В Киеве тепло очень даже, но мы пока все в шинелях. Мама, с 1-го апреля

* Имеется в виду роман Марка Твена "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура". (Здесь и далее примеч. ред.)

** Роман Жюль Верн "Двадцать тысяч лье под водой".

*** Возможно, речь идет о мемуарах норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена "Моя жизнь".

начинается “дрессировка” к параду. Мама! Когда я одел брюки, в которых я ездил домой, я нашел там конфету “Ликерную”. Помнишь, ты их мне давала?

Ну, до свидания. Крепко целую
Гена

[под текстом письма нарисованы два крохотных велосипеда, один — с велосипедистом]

3

[май]

Здравствуйте, дорогие мамочка, бабуса и Леночка!

Я жив и здоров. Каникулы провожу хорошо. Мамочка, я получил твое письмо, за что очень благодарю. Мамочка, ты напрасно беспокоишься, нас [в] связи с парадом на каникулы не отпускают. Мама, деньги твои я получил. Мама, каникулы я провожу так:

Подъем 7 час., потом туалет, физ. заряд. Завтрак (1-й и 2-й). затем 1 час подготовка к параду, потом гулять. Обед и кино. Потом ужин и спать. Мама, в Киеве тепло, все в зелени. Мы ходим в трусах, а я уже успел загореть. Мама, у нас проходят соревнования. По плаванию тоже. Мама, можешь поздравить своего Гену, в заплыве на 50 м он занял 1 место. Мамочка! Знаешь, как я волновался! Ну, ничего. Мама! Ко мне приходила тетя Ксения. Мама, нам в мае 3–2 числа дадут летнее обмундирование. Уже мне его подогнали. Билеты я повторяю.

Ну, пока. Целую всех крепко.
Гена.

4

24 сен.

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо.

Мама, пиши мне письма. Я теперь пишу каждый день. Мама, пришли мне конвертов и бумаги для писем. Мама, как дела дома?

Как твоё здоровье? Как учится Лена? Как папа*? Мама, как учится дядя Володя? Мама, я смотрел кино "Котовский", "Высокая награда", очень интересные. Мама, клуб ещё не отремонтировали. Мама, пришли мне маленький мячик. Для игр в свободное время. Мама, я нашёл прошлогоднюю досточку для чистки пуговиц.

До свидания. Целую крепко.

Гена.

5

[25.09.48 по штемпелю отправления]

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо. Учимся мы на 3 этаже и спим тоже. Мама, у нас в отделении все ребята хорошие, отличники. Мама, нам дали новые гимнастерки, у меня хорошая. С Куделиным я не в ссоре и не в дружбе. Дни стоят теплые. У нас из отделения исключили двух воспитанников. Мама, я сегодня получил 5. Мама, расцвели у нас на балконе цветы? Мама, у нас новички ребята очень хорошие. Был диктант. Получил 4.

До свидания целую крепко

Гена

6

[1.10.48 по штемпелю отправления]

Здравствуй, дорогая мама!

Я жив, здоров, учусь хорошо.

Мама, у нас новый преподаватель по географии, очень хороший.

Выдали шинели, мне мою старую, я очень рад.

Она на мне сидит хорошо, как на каникулах. Мама, скажи папе, пускай он пишет разборчиво. Сегодня у нас шел дождь, мы

* Очевидно, папой он называет в письме отчима, тоже военного, Александра Ефимовича Семенова. В более поздних письмах Шпаликов называет отчима "д[ядя] Саша". (Из коммент. Е. Долгопят.)

играли сегодня в футбол в палате. Получил я сегодня 4 письма и очень рад. Мама, я сегодня смотрел кино в кабинете географии. Сегодня мы были на осмотре у врача, то есть на рентгене. Мама, у меня все в порядке, поправился на 1 кг 1 г. Теперь вешу 33 кг.

Целую вас всех

Гена

7

[5.10.48 по штемпелю отправления]

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо. Мама, я сегодня дежурный по классу. В воскресенье был в Печерской лавре*, видел место, где похоронен Юрий Долгорукий и Кочубей**. Смотрел кино "Боксеры". Мама, большое спасибо тебе за письмо и деньги. Мама, как учится Лена?

Мама, вот мои отметки за месяц:

Русский пис. — 3

уст. — 4

Арифметика 3. История — 4. География — 3. Естествознание — 4. Объяснительное чтение — 5. Английский — 4. Поведение — 5.

Стараюсь учиться еще лучше, чтобы исправить тройки.

До свидания. Крепко целую Гена.

ПИСЬМА
ИЗ УЧИЛИЩА

45

8

23 октября

Здравствуйте, дорогие мамочка, бабуся и Леночка!

Большое спасибо за письмо.

Я жив и здоров, учусь хорошо.

Мамочка, деньги я получил. Мама! Нам выдали новые шинели, сапоги. Я взял 34 размер, и запас вот такой

* Киево-Печерская лавра. (Из коммент. Е. Долгопят.)

** Кочубей Василий Леонтьевич — генеральный писарь, генеральный судья Левобережной Украины. Сообщил Петру I об измене Мазепы. Казнен Мазепой. (Из коммент. Е. Долгопят.)

Мамочка! Мой друг (помнишь, я говорил) кончил училище с золотой медалью. И он направлен в Одесское пехотное училище. Он написал мне письмо оттуда. Я ему, конечно, ответил. Его письмо посылаю тебе.

Мама, в Киеве погода ничего. А сегодня выпал первый снег. На зарядку мы выходим в гимнастерках. Мама! Я заходил к тете Оксане. Также к тете Марусе, она меня очень, очень здорово встретила. Накормила различным вареньем, чаем напоила.

Мама, в следующий раз высылай деньги на нее.

Ну пока, крепко всех целую

Гена.

9

[6 ноября 1948]

Здравствуй, дорогая мамочка!

Получил твои 2 письма, большое спасибо за них. Учусь я хорошо, только две тройки. Двоек у меня нет. Мамочка, фартучек Светочке как раз. Мама, ты волнуешься за то, что я плохо доехал до вокзала. Я доехал очень хорошо. На дорогу мне хватило, даже очень. Я всю дорогу ел да пил. Вагон был пустой совсем, там было хорошо, никто не курил. Мама, в Киеве холодно, нам даже разрешают опускать уши. Мама, приехав с каникул, я поправился на 1 кг. Теперь я вешу 35 кг. Мама, сахару мне тетя Маруся еще купила на те 50 рублей. Мама, нам выдали 2-е одеяло и спать разрешают в рубашках. Нам выдали свитера. Теперь тепло.

Ну, до свидания. Крепко всех целую. Гена

10

7.11.1948 года

Здравствуй, дорогая мамочка! Я жив и здоров, учусь хорошо. Мама, поздравляю тебя с тридцать первой годовщиной Октября. Большое спасибо за письмо. Сегодня я видал новый кинофильм "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ", II серию, I серию мы уже смотрели*. Мама,

* Вышла на экраны 11 октября 1948, вторая — 25 октября

мундир у меня хороший, брюки и китель новые. Мама, на праздники я никуда не ходил. Тетя Ксения за мной не пришла. Антонина Семеновна тоже. Но я не скучаю. За четверть у меня отметки хорошие. Арифметика 3, Русский пис. 4, Русский уст. 5, География 4, История 5, Природоведение 5, Английский 3, Рисование 4, Поведение 4.

Мама, ты не волнуйся, я дисциплину исправлю. В остальных четвертях будут пятерки.

До свидания и крепко целую, привет папе, бабушке, еще раз целую

Гена

11

[16.11.48 — по штемпелю отправления]

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо.

Мама, деньги АН. СЕМ. получила. Я не болел. За эту неделю получил 4 по английски.

Привет от офицера-воспитателя тов. Ворончук.

Крепко целую

Гена.

ПИСЬМА
из училища

47

12

18/11

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо.

Мама, Валера Куделин до сих пор вспоминает наш компот. Мама, к 31 годовщине я получил 15 пятерок. Мамуля, я начал повторять пройденное, правда, скучно повторять пройденное, но ничего. Читаю и учу книги "Крылья родины" и "Самолеты на войне", чтобы больше знать про авиацию. Мама, к 31 годовщине нам выставили оценки: по ариф. 3, по русск. ус. 5, пис. 4, английский ус. 5, пис. 4, по астрономии 5. Мамочка, прости меня за арифметику, я к концу четверти ее поправлю. Капитан передает тебе привет. Мама, у нас весна, ты не беспокойся, я но-

ги мочить не буду. Мама, как учится папа? Как уже выздоровела бабуся? Как учится Леночка? И как чувствуешь ты? Мамуся, я чувствую себя хорошо. Пишите мне письма. Спасибо за открытки, у меня их уже 5. "Сын вернулся", "Фрунзе", "Оборона Севастополя", "Ишак и хозяин", "Москва".

До свидания, целую всех

Гена

13

23/XI 48 г.

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо.

Мама, со мной разговаривал майор Родин. Он получил от тебя письмо. Мама, я смотрел картину "Александр Матросов" и "Александр Невский", эти картины мне понравились. Мама, вот мои отметки пока

Рус. яз. 5 5

Арифметика 4

Английский 4 4 4

Ну, больше писать нечего.

До свидания. Крепко целую

Твой сын

Гена.

Привет бабуся и Леночке, папе.

Крепко всех целую.

География 4

Природоведение 5

14

25/XI-48

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо. Мама, большое спасибо за письма. Мама, деньги Антонина Семеновна получила. Она купила мне 1 кг яблок. Мама, ты спрашиваешь, кто мне писал 3 письма? Эти письма писал я. Это правда. Мама, я не скучаю и я поправился, вещу 34 кг. Мама, я не болел. Сегодня суббота, завтра мы пойдем в город.

До свиданье. Крепко
целую. Твой сын
Геннадий

15

10 декабря
г. Киев

Здравствуйте, дорогие мамочка, бабуся и Леночка!
Я жив и здоров, доехал хорошо.

Как только отошел поезд, я взял постель. Расстелил — и лег. Сразу захотел кушать. Сказалось то, что дома ничего не ел. Поел хорошо и полежал. Чемодан я поставил на 3 полку. Мама, большое спасибо за бутылку с водой. Пить хотелось здорово, и если бы не было газированной воды, то я пил бы, как и все, из-под крана. Катанаев ночь плакал. Я об этом ему и никому не говорил. Мама, я не плакал и старался быть веселым. До 1 часу ночи я не спал. Ребята рассказывали различные истории. Потом я умылся и заснул. Спал крепко, было очень жарко. Проснулся в 11 часов. Подъезжали к Нежину. Было уже светло. Я умылся, сел за стол. Взял 4 стакана чая, слил два стакана в свою кружку. Наложил сахару и с бутербродами выпил стакан, потом опять налил два стакана в свою кружку и с пирожками опять выпил. У меня осталось от еды колбаса, несколько пирожков, вафли, конфеты. Продукты я сложил в коробку. Свернул постель, чемодан я поставил с коробкой, почистил брюки, гимнастерку, сапоги и сел читать книгу. В Киев приехали в 2 час 35 минут. Я вышел на вокзал. В Киеве погода плохая. Сыро, туман, грязь. Сели в троллейбус и прямо в училище. Я пошел к Мельниченкам. Взял только мундир и пошел в санчасть. Там медосмотр, стрижка. Потом баня. Отмаялся и в 5 часов все оформил и пообедал. Смотрел кино "Яника". Вечером натирали пол (мастикой). Утром натирали (суконками).

Сейчас кончилось собрание. Капитан поставил мне задачу стать передовиком. Я постараюсь. Я навел порядок в парте. Тебе привет от капитана, Дубины, Мельниченков, Петренко, от Захарова.

Ну пока, привет всем
Целую. Гена

ПИСЬМА
ИЗ УЧИЛИЩА

49

Здравствуй, дорогая мамочка!

Я жив, здоров, учусь хорошо.

Мама, я получил от тебя 4 письма, за это большое спасибо. Но ответил только на одно. Мама, меня записали в библиотеку, я очень рад, сегодня был в музее Ленина, мне понравилось. Мама, ты брось думать, что я скучаю и ты мало оставила мне денег, у меня с твоими 15 руб. Купил себе конфет, мандарин, в общем, все, что нужно. Мама, нам на обед теперь хлеб дают сколько хочешь, на тарелках лежат большие куски. Мама, я взял книгу "В снегах Финляндии", там пишут про дядю Сеню*. Я очень этим горжусь.

До свидания, крепко всех целую. Гена

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

Лене.

Здравствуй, сестренка Леночка!

Большое тебе спасибо за письмо. Как ты учишься? Я учусь хорошо. У нас выпал снег, мы катаемся на коньках и на лыжах, я учусь кататься на коньках.

До свиданья, целую, твой братик

Гена

ПИСЬМА К МАТЕРИ ЗА 1954–1955 ГОДЫ

1

27 августа

Здравствуйте, дорогие мамочка, бабуся и Леночка!

В Киев я приехал в 2 часа, а потом поехал к Ант. Сем. Да, у Толи в Киеве сперли чемодан, благо что документы были при нем и деньги тоже. Приехал в училище, и нас ОСТРИГЛИ, радости немного, но ничего, еще вырастут. Живу надеждой на то, что

* В книге упоминается дядя Шпаликова, Герой Советского Союза, генерал-полковник Семен Никифорович Переверткин. (Из коммент. Е. Долгопят.)

все-таки подстригли в последний раз, только это и утешает, а вообще очень жаль.

Собрали нас, конечно, рано, еще офицеров почти нет, я все свои дела оформил и съездил в кино.

В дороге я все время лежал и читал, конечно, немного скучал (по-честному, было очень гадко и скучно). Ну все окончено, теперь ждем каникулы, осталось 119 дней, не так уж и много, проживем. В Киеве много овощей, фруктов, жарко. Мы будем учиться в новом классе, да, мама, у нас произошла чистка, двадцать пять офицеров погнали, это и преподаватели, и офицеры воспитатели. Я рад, но Зах. и Войнил. оставили, а стоило бы выгнать.

Мама, я сильно изменился, поправился на 3 кг, загорел, все говорят, и прежде всего Ант. Сем., плохо то, что без прически, а так все хорошо. Мама, сейчас у нас нет почтового ящика, так что вам придется доплатить, ну это ничего, вы уж меня простите.

Пока до свиданья, крепко, крепко целую

Гена

P.S. Привет д. Киму и всем знакомым.

Бабушка, спасибо за булку, которую ты мне дала, она очень пригодилась.

Целую Гена

27 августа

Киев

Мой адрес

Киев. КСВУ

1 рота 5 отд.

ПИСЬМА
из училища

51

2

Здравствуйте дорогие д. Саша, мама, бабуса и девочки!

Когда дойдет это письмо, вы (д. Саша и мама), вероятно, уже вернетесь домой, поэтому пишу не в санаторий, адрес которого ко всему еще я забыл. У меня все в порядке. Четверть начал хорошо. Чувствую себя неплохо. Удивительно — как до сих пор еще ни разу не болело горло. В Киеве дождь, довольно холодно.



Г. Шпаликов — курсант московского военного училища
имени Верховного Совета с мамой Людмилой Никифоровной.



Сейчас стало легче, в смысле учебы и распорядка дня. Больше свободного времени. Хожу на плавание. Особенно не стараюсь, а так, искупаться или вымыть под горячим душем голову.

Недавно, 6 ноября, получил значок ГТО II ст. Это все. Больше никаких степеней ГТО нет, а вторую ступень мне уже не придется сдавать нигде — с таким значком положено кончать институт или другое ВУЗовское.

Уплотнили сильно уроки. Теперь на самоподготовке легче — трудные хорошо чередуются с легкими, а то раньше день — все до невозможности адовые предметы, сплошная математика или физика (кстати, вам от бороды привет), а другой раз — просто нечего делать, устные и устные, за полтора урока выучишь свободно.

Заходил к Петренко. Они получили ваше письмо. Передают привет и прочие. Смотрел у них по телевизору, как читал стихи Константин Симонов (он недавно был в Киеве).

Д. Саша, я вас очень прошу, если можно узнать, есть ли где-нибудь в Москве или в другом городе институт (или академия) военных журналистов. Это не только меня интересует, а я по поручению ребят.

Ну, вот и все.
Крепко вас целую
привет д. Сене и родным
Гена

Киев
14 ноября

3

Здравствуйтесь дорогие д. Саша, мама, бабуся, Леночка!

Вчера было 23 февраля, наш праздник. 22 вечером получил вашу телеграмму и деньги, большое спасибо.

Праздник прошел очень обычно. Не учились, командование устроило танцы, собрание, ну и так далее. В Киеве холодно, поэтому идти в город почти ни у кого желания не было. Весь день прова-

лялся в постели, благо что это разрешили. Оказалось, что совсем не скучно, выспался, подумал обо всем, ну и конечно, о будущем. Сейчас каждого волнует вопрос, что впереди? Не стоит делать преждевременных решительных выводов и действий, еще есть 3–4 месяца запаса. Но вообще, мне кажется, что инженера из меня не будет. Это почти точно. А если и получится, то паршивенький, ниже среднего — такие никому не нужны. В конце концов, нелюбимая работа выбирается на всю жизнь. Известно, что главное — труд, работа человека. Только работающий по-настоящему живет. И очень хорошо, когда труд — радость, ну, если и не радость, то уж не тяжкое бремя. Что делать и куда идти — пока не знаю, но только не инженером по любой отрасли военной техники.

Вы не думайте, что я боюсь работы, учебы, нет. Там, где мне нравится и где я принесу больше пользы, конечно, работать и учиться буду.

Ладно, пока об этом хватит.

Получил мамину фотографию. Хорошо, резко, контрастно, и лицо тоже вышло хорошим. Вот только сейчас я заметил, что мама постарела, это заметно, особенно мне, со стороны, и, конечно, жаль, очень жаль. Время идет страшно быстро. Через годика три — я двадцатилетний, как во сне, честное слово.

Ну вот и все.

До свиданья, всем привет

Крепко целую

Гена

Киев. СКУ

24 февраля

4

Здравствуйте дорогие д. Саша, мама, бабуся и девочки!

Получил ваше бодрое письмо. Значит, сняли дачу под Москвой? Очень хорошо. Рад за всех и, особенно, — за бабушку. Почему-то не могу представить, где это, у Химок или у Покровско-Стрешнево. Теперь еще вопрос, когда будете переезжать,

наверное, в мае? Хорошо бы захватить с собой телевизор. В общем — я рад.

Доживаю последнюю неделю в Киеве. Кругом тает, тепло, ну и, конечно, непролазнейшая, чисто киевская грязь. В Москве, кажется, холодней. Надеюсь побегать на коньках. Занятия идут хорошо. Пока грозит только одна тройка — по тригонометрии. Стараюсь исправить за эту неделю.

В субботу, завтра, концерт в Окружном Доме офицеров. Буду читать стихи (свои). Уже почти научился декламировать, хотя с трудом, но могу.

Еще одно. Пусть девочки посмотрят — можно ли достать билеты на такие вещи: I. "Гамлет"* в театре им. Вл. Маяковского (кстати, за томик Маяковского — спасибо). II. В театр Сатиры на "Где эта улица, где этот дом"** и "Баня"***. Больше ничего не надо.

Ну вот и все. Привет девочкам от Валеры. Он на каникулы не едет.

Крепко целую
Гена
Киев
11 марта 1955 года

5

[обратный адрес на конверте:
Москва, Люберцы
МКВУ**** литер "о"]

Добрый день, мои дорогие!

Позвонить вам по телефону нет почти никакой возможности, поэтому решил написать. Что произошло за эти дни? Ме-

* Постановка 1954 г., режиссер Н. П. Охлопков. (Здесь и далее примеч. ред.)

** Режиссер Э. Краснянский.

*** Постановка 1953 г., режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плутчек, С. И. Юткевич.

**** Московское командное военное училище.

ня остригли наголо, и теперь я похож в точности на уголовника. Каждый день, с утра до вечера — работаем, вывозим мусор, роем землю. Вот и все наши занятия. Как видите, не очень умственно. Мне вообще повезло, основную работу выполнили еще до меня, а сейчас так, дорабатываем. Но все равно устаю сильно, тем паче, что подъем в 6 часов и до 11 на ногах. Кормят средне и пока невкусно, но очень хороший московский магазин прямо рядом с нашей казармой — подкармливаюсь, и в мешке кое-что осталось.

Сегодня ездили в Люблино, в баню, дали мне новое белье, вернее, — не новое, но чистое и гораздо лучше прежнего. Сейчас в училище карантин и когда он кончится — трудно сказать, но не раньше 25 сентября. Я попал во взвод киевлян и новочеркасцев, ребята очень хорошие, свои, нас пока мало и поэтому ни в караул, ни в наряд нас не посылают, это, конечно, очень неплохо.

В общем, все хорошо, командир роты прочел мою характеристику, автобиографию и вчера сказал, что из СБУ я вышел чистеньким, пятен и пятнышек в личном деле моем нет, что вообще редко. Когда я сообщил, кто мой отец, он, честное слово, непроизвольно вытянулся. Значит, полковник Генерального штаба значит для моих командиров страшно много. Как следствие — ко мне относятся хорошо.

Ну, вот и все, если сможете, — приезжайте, так как вырваться мне самому — нет никакой возможности.

Целую крепко
Гена
9 сентября [1955]

6

Здравствуйте, мои дорогие!

Получил ваши письма, и это очень и очень приятно — не от кого, собственно, ждать их, и вдруг сразу два. При здеш-

ней невеселой, в общем, жизни это дорого, писем ждут все, так как они единственное, что связывает нас с домом, с родными.

Два дня уже занимаемся строевой, по два часа с оружием. С непривычки ломит руки, и в кирзовых сапожищах поднимать ноги на 50 см крайне неудобно. После строевой — хозяйственные работы. За дни после воскресения я сменил 3 специальности, был землекопом, маляром (красил бараки) и, наконец, самое "приятное" — грузил уголь. Спасибо, что удалось достать очки (очки специальные, как у летчиков), это защитило главное — глаза. Грузили восемь вагонов на машины со станции Люберцы. Черные как негры, у большинства сильно воспалены глаза — пыль, страшная угольная пыль, усиливаемая ко всему ветром. Уголь грузили с утра и до 6 часов, обедали полседьмого, в восемь — ужинали и мертвый сон, без всяческих сновидений, как в колодезь провалился. Только утром, по подъему, приходишь в себя. Сегодня день был не так загружен, я даже немного почитал и вот, написал письмо, что вообще некогда.

Получку мы получаем числа 18–20, но пока не дают, насчет города тоже неизвестно. Короче, до октября отпускать будут вряд ли, вернее, совсем не будут. Можно только по личному распоряжению комбата, но никто, конечно, и не пытается получить это разрешение — невозможно все равно. Однако папа, по-моему, сможет вполне, но нужно обращаться к комбату подполковнику Румянцеву.

Спасибо вам, девочки, что купили книжки стихов, когда читал письмо Лены, мелькнула грустная мысль, что сам-то я с прошлого месяца ручки не держал (письма не в счет, я о литературн. работе). Ну, ничего, впереди зима, самоподготовка, больше свободного времени, меньше возни. Несмотря ни на что — здесь можно жить, можно работать.

Если меня не отпустят — приезжайте, жду. Большое спасибо бабушке за сделанное для меня. Эти припасы здорово помогают. Мама, достань в моих бумагах рассказ "Чудак", только напечатанный на машинке, и пошли его в "Смену". Обратный адрес — домашний.

Крепко вас целую, не беспокойтесь за меня, я здоров, бодр, носа, конечно, не собираюсь вешать, тем более — ныть. Это, по-моему, — наиглавнейшее.

Привет всем

Гена

15 сентября 1955 г.

7

Здравствуйте, мои дорогие.

Пишу вам накоротке — мало времени. Вы, наверно, знаете, что отпуск военнослужащих в Москву запрещен вообще. Интересно, в связи с чем? Но так или иначе в город мне будет выбраться трудно. Однако пусть папа сделает попытку. Дела идут хорошо. Вчера получили диагональную форму — сразу стали менее похожи на солдат строительного батальона. Работаем теперь мало, вернее, два или три часа, и работа, в основном, — мелочь. 4 часа готовимся к параду (два утром и два с 4 часов). Главное, что проникся необходимостью подготовки, ведь по существу, несмотря на 8 лет СВУ, мы ходим далеко не так здорово. Во-первых, оружие очень непривычно лежит на плече, а здесь у курсантов карабины как свечи стоят, потом нет особой, присущей только московским курсантам, строевой выучки. Но помаленьку осваиваем. Может быть потому, что действительно хочется не отстать от своего батальона, где вся масса — “старослужащие” (курсанты 2–3 курса), но усталости особой нет.

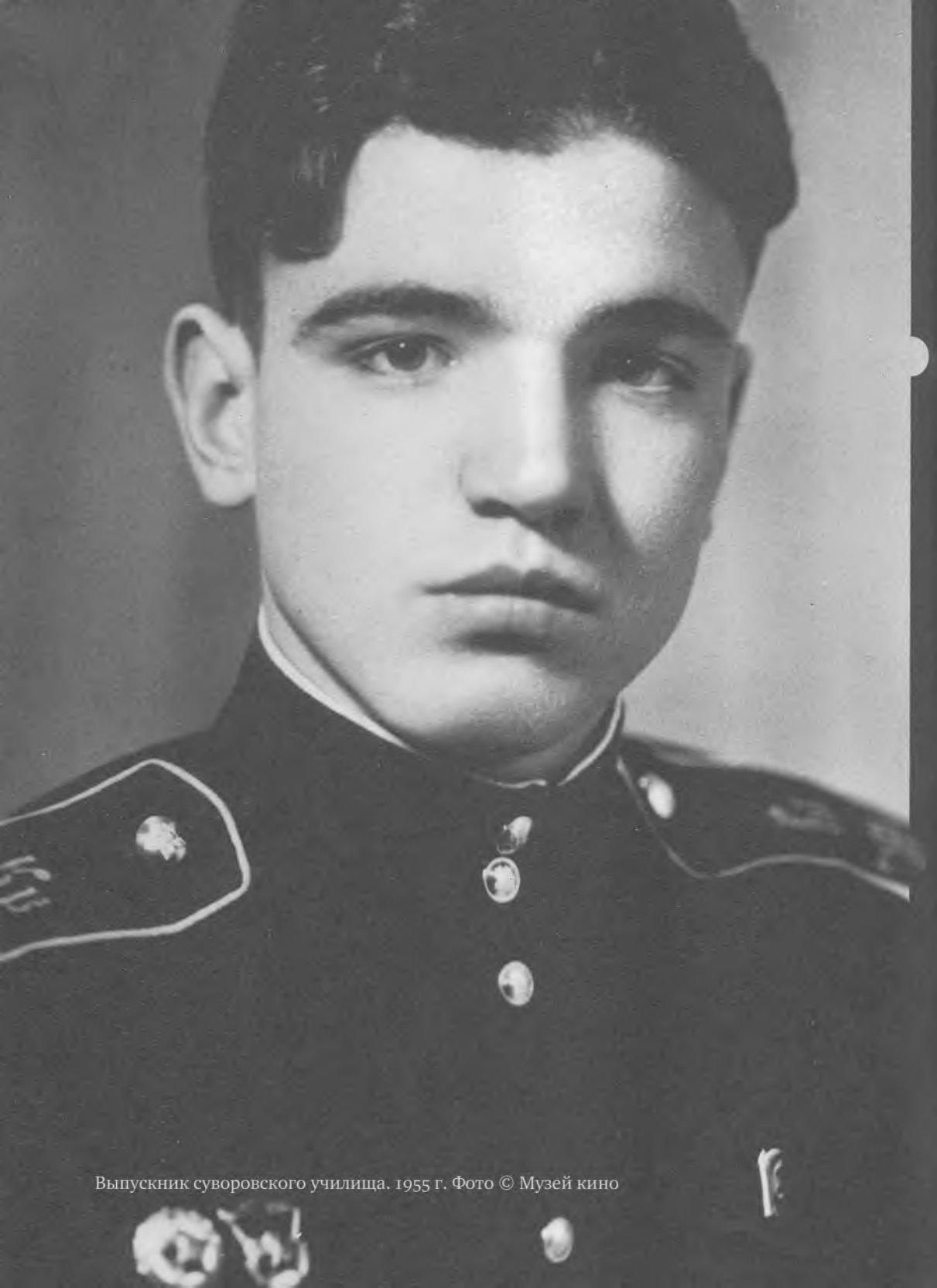
В парадный расчет вошли не все, я попал в 1 батальон в 4 шеренге. Сегодня получил боевое оружие — карабин С682Е. Он закреплен за мною на все время.

В общем, сейчас чуть легче. Но вот одно осталось — задерживают получку. Пусть мама в письме вышлет мне десятку, очень прошу, так как содержимое мешка подходит к концу.

Крепко вас всех целую

Гена

22 сентября



Выпускник суворовского училища. 1955 г. Фото © Музей кино

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ИЗ ДНЕВНИКА 1955–1956*

Это не дневник. Мне хватает вполне стихов.

Это запись, ежедневный отбор, всего наиболее красивого, точного, своеобразного в жизни, в людях. Значение таких записей трудно переоценить.

2 АПРЕЛЯ 1955

Утром снег, вернее — иней лежал на крышах, как белая накипь соли. Сравнение еще более усиливается еще и потому, что в марте иней, да и вообще всякий иней — рассыпчатый, каждая крупинка отдельно.

Утром чисто: подморозило. Комья земли, раньше вязкие и жирные, теперь напоминают в миниатюре горные хребты. Так, примерно, горы выглядят с самолета.

Теперь о людях. Вот Иванов сказал физику: "Товарищ майор, я не спал на уроке, это я от удовольствия зажмурился". Макаров на разговоры реагирует: "Не люблю конкуренции". Во дворце культуры на вечере молодежи повесили плакат: "За потерю

* Публикуется по: Геннадий Шпаликов. Начало // Киноведческие записки. 2002. № 61 / Публикация Е. Долгопят.

настроения администрация не отвечает". Интересно объявляли танцы: "Быстрый танец" — пауза, все ждут, — фокстрот, а дальше слышат — молдаванка. О фокстроте: "Сейчас будет танец для не умеющих, но стремящихся научиться танцевать".

О Москве. Немного. Сразу же столица — и провинция, крупнейший город — и лачуги, вроде Тишинского рынка, город культуры — и страшного бескультурья, нахальства. В Москве, наверное, $\frac{1}{4}$ жителей — приезжие. Этим, отчасти, объясняется грязь в метро, толкучки в кинотеатрах и особенно — магазинах. Магазины — слабое место. Открывают их, кажется, в 8 или в 9 утра, точно не помню. И вот с этого времени они даже не подметаются. Такое дело весной, в грязь — недопустимо. То есть недопустимо вообще; у нас все допускают. Если взять самую характерную черту Москвы — темп, скорость жизни, движение людей, машин. Только за эту быстроту окружающего я люблю Москву. В этом отношении — Москва первый город. В остальном — ничего выдающегося нет. Было метро — загадили. Была Красная Площадь — сделали там большой рынок, этак в масштабе Союза — ГУМ. Вывод — раньше, года 3–4 назад, мне Москва нравилась больше. Частично отвык, кое-что забыл, а многое, по малолетству, тогда не понимал. Сейчас же готов ревновать Москву к каждому приезжему — родной город.

3 АПРЕЛЯ

Воскресение. Самый скучный и длинный день недели, и не только для меня: по городу с 12 до 9 вечера бесцельно шатаются сотни людей.

Валерка приехал в училище грустный — за него девочка взяла билет в трамвае. По сей причине он был готов выскочить на полном ходу. Конечно, страшно плохо, когда в кармане ни копейки. В этом отношении я прекрасно понимаю его.

<...>

4 АПРЕЛЯ

Если бы предложили назвать характернейшую картину жизни в СБУ за восемь лет, то я представляю себе сплошную ленту, по которой

год за годом движется батальон суворовцев. Безучастные лица, злые глаза. Со временем меняются привычки, вкусы, ребята взрослеют, но глаза остаются все теми же — злыми, недоверчивыми.

Валяемся днем на диване. Толька с гитарой. Шмаса бросает: "Сыграй что-нибудь буржуазное".

5 АПРЕЛЯ

Вот случай. Семья. Молодые. Ей — 19, ему — что-то вроде этого. Ребенок. Он неожиданно вешается. Причины до сих пор не установлены. А "убитая горем жена" через пять дней беззаботно танцует на вечеринке. Верь после этого женщинам.

Другое. Знаете, почему человек ищет почти всегда отдаленности от массы людей, толпы, шумных аллей в парках или старается поселиться обязательно в отдельной квартире? Да потому что у каждого есть свое, личное, без которого трудно вообще жить. Личное может не выходить за пределы одного человека, вернее — самого себя; чаще — за круг семьи, родственников. Это нужно. Это не обывательщина. Без личного — нет семьи, а в целом семья — счастье. Есть, конечно, обратное значение семейной жизни... ну, о нем не будем.

Вывод — лишать человека личного, а главное — личной жизни, — в меньшей мере — преступление.

Люди живут для людей, и сразу же — для себя.

Плюну в лицо тому, кто скажет иное.

6 АПРЕЛЯ

"Казанское хамство". — Неплохо звучит, да?

Утро. В спальню входит дежурный офицер. Ковчан. К дежурному:

- Доброе утро, Славик, ну, как себя чувствуешь?
- Ничего...
- Умница, Славочка! Дежурный по училищу не приходил?
- Нет...
- Ну, чудесно. Славик, заправь мне кровать, будь ласков. Комментарии излишни.

Утро. Липнем к стеклам: где-то в голубизне кувыркается самолет, кажется, реактивный. За ним ровная белая полоса, и вдруг — чудеснейшая восьмерка величиною в полнеба. Самолет маленький, его не видно, а восьмерка, словно вычерченная громадной кистью, висит над головой.

Интересно говорят парикмахеры. Когда подстричь наголо, то спрашивают: "Вас под фокстрот?" Один из мастеров. Парикмахерская внешность, в полном смысле этого слова — гладко причесан, пробор-змейка, точные, слегка развязные манеры, громкий, хорошо поставленный голос. Разговаривает отрывисто. Наверное, он — старший мастер. Приказывает уборщице: "Подметите творчество Дины Дмитриевны". Дина Дмитриевна — тоже парикмахерша, его соседка по креслу, ну, рядом работает.

Тетрадь постепенно меняет направление. Я в самом начале, в предисловии, так сказать, обещал записывать сюда "все красивое в жизни и в людях". Но придется записывать (и чаще) некрасивое, в большинстве — обыденное, характерное для каждого более или менее интересного человека. "Интересного" надо понимать так: интересный — это умный, оригинальный, мыслящий и т.д.; "интересный" сразу же и сволочь, подлец, негодяй, но интересный, как тип. Вот, например, может, фраза Толика "ни[шш]еничные блинчики" не является чем-то оригинальным, но она очень подчеркивает своеобразие, особенность языка ее автора. Человек должен говорить своим языком, отличным от других, конечно, без всяких там заумностей, но обязательно своим, присущим, в общем, только ему. У одних — это яркая, умная речь, у других — фразировка, неудачное подражание речи первых. Но оба языка необходимо знать и уметь применять, по крайней мере, для меня лично.

Двое ребят. Взрослые, не идиоты, даже "мыслители" (так они себя называют). Расхваливают друг перед другом комедии Мольера. Особенно их восхищает то, что где-то Мольер высмеивает общественный порок — "жеманство". Какая чепуха! Тоже порок,

да еще общественный. Я не читал Мольера — не люблю вещи с выдуманными завязками, с графами, баронессами, обязательными дураком-хозяином и умницей-служгой. Не читал, но решил, что когда-нибудь возьмусь и... Теперь, после этого “общественного порока” в руки не стану брать.

Вообще, слишком увлекаться дребеденью 18–19 веков (исключая, конечно, классиков) не стоит. Знать — надо, но не больше. Теряется чувство времени, нашего времени. Лучшими книгами для молодежи считаю Горького, всего с 1 по 30 том; и Маяковского. Вот их необходимо знать от корки до корки.

<...>

10 АПРЕЛЯ

Сегодня в ОДО* смотр самодеятельности гарнизона. Двое ребят читают мои стишки, и я сам тоже. Раньше — это радость, теперь — так, почти безразлично. Я не рисуюсь и не лицемерю. Это все — от души. С чего бы, а?

11 АПРЕЛЯ

Футбольный матч. Первый в сезоне, и поэтому стадион забит до краев и дальше. Дальше — это крыши прилежащих домов, горки, верхушки деревьев и т.д. Мой сосед, кажется, по профессии шофер, так выразил свое отношение к массе людей: “Взять бы их на машину, хотя б по пятерке с брата — миллионы б загреб”.

Вас. Иванович о своем голосе: “Баритон без верха и низа”.

Тот же сосед. На поле кто-то, не помню уже, откровенно, метров с пяти, смазал мимо ворот. Сосед кричит на всю восточную трибуну: “Да если меня выпустили б на глаза всего Киева, я лопнул — а выиграл [бы], эх, черти!” “Черти” — это о киевских динамовцах.

Вчера днем шел снег. Апрель, до мая дрянь осталась, тепло и так далее, а тут — снег. Большими, мягкими хлопьями падает и падает на деревья, дорожки парка, людей. Это было так неожиданно — земля черная, кое-где зеленеет — и снег, настоя-

ИЗ ДНЕВНИКА
1955–1956

65

* Окружной дом офицеров. (Примеч. ред.)

щий зимний снег. Но шел он недолго, минут десять, не больше, а впечатление — большое.

До чего доводит забивание и смакование роли партии. Осмоловский в сочинении об Отечественной войне 1812 года пишет: “Благодаря Кутузову и ведущей роли Коммунистической партии...”

12 АПРЕЛЯ

<...>

Как все стремятся быть красивыми. Женщина. Лет 30. Горбатая, низенькая, очень непривлекательное, грубоватое лицо. Одета хорошо, и для того, чтобы хоть на вершок стать выше — высочайшие каблуки у туфель. Такие высокие, что ступня почти перпендикулярна земле. Представляю ее мучения на этих каблучках. Ругать никак нельзя. Человеку всегда хочется быть немного лучше, чем он есть на самом деле, а тем более уроду.

Оказывается — мало написать дельную вещь. Гораздо сложнее — напечатать ее. В двух редакциях под разными предложениями (предлоги придумывать — дело до смешного легкое) отказали. Но как написано, понравилось. Увез в 3 редакции. Наверное — не примут.

<...>

14 АПРЕЛЯ

Ровно 25 лет назад застрелился Владимир Владимирович Маяковский. Все мое лучшее — к нему. Покойный не любил признаний поклонников, ненавидел всяческие юбилеи, поэтому считаю лишним доказывать свою признательность этому замечательному человеку. Так пройти по жизни — вот моя мечта. Даже если из меня не получится поэта, то уж человеком я обязан стать. Дорогой Владимир Владимыч! Как нам не хватает вас. Вот, например, меня упорно отказываются печатать. Почему? Да потому что я стараюсь избегать шаблона, старых тем и старых приемов, а то, что несколько отлично от общего потока — не берет ни одна редакция. Был бы ЛЕФ сейчас — пошел бы прямо

к вам — учи, показывай, но не обходи молчанием. Спасибо, что был на свете такой поэт и человек, как Владимир Владимирович Маяковский. Великий коммунист без партийного билета.

Этой ночью ходили на репетицию*. Встали в 2, вышли в 3, темень, только фонари светят. Дорога неровная, с изгибами, поэтому ровной линии столбов нет, и лампочки, разбросанные впереди, как будто висят в воздухе большими, яркими звездами. Около Арсенала путь пересекал какой-то махонький паровозик. Ничего необычного, кажется, нет. Но из трубы, вместе с общей плотной массой дыма вдруг взлетели два совершенно ровных колечка. На фоне неба, ночного, почти беззвездного, и потому — темного, очень хорошо, контрастно вырисовываются два кольца дыма.

Валя Дышловой говорит о цене пирожков в магазине: “Хитрая цена”.

<...>

19 АПРЕЛЯ

ИЗ ДНЕВНИКА

1955–1956

67

Человек привыкает ко всему: можно научиться вверх тормашками лететь из стратосферы; пить, не пьянея, за полтора литра водки; выучиться ругаться по-китайски и т. д. Можно и освоиться с ночными репетициями. Мы освоились. Но вставать в два часа трудно. Тошнит и сплошное обалдение. Шли ночью около монастыря. Приходят блаженные мысли: вот если бы поступить в сие учреждение. Что бы я там делал? Ну, подписывал стишками надгробные камни или кресты. Пишу я свободными строчками, “под Маяковского”, и получались бы мои надписи примерно так:

Жил долго,
жил и пророчил.

Умер
в расцвете
творческой
силы

* Имеется в виду репетиция Первомайского парада. (Примеч. ред.)

Иеромонах,
певчий
и прочие
Отец Василий.

Небо звездное, ни одно созвездие не знакомо. Так как уже почти изучили астрономию — я понимаю (хотя и смутновато) наше солнечное положение в Галактике. Жутейшая вещь — сразу бесконечность и вечность. Не представляю, но верю. И вообще — лучше об этом не думать.

Часов в пять на востоке небо начало синеть. Синева распространяется крайне быстро. Контуров зданий становятся отчетливей. Черное небо как будто скатывается на запад, уступая место сине-зеленой окраске. В шесть часов поднимается солнце, громадным, красным шаром. В его лучах купается Венера. Все звезды скрылись, не выдержав такого могучего соперника, как солнце, а Венера — мерцает и довольно ярко. Ладно, хватит природу.

Пехотное училище. Редчайший подсчет: им дают каждый ужин селедку — обязательно, и вот, за три года, ежедневно питаясь этой рыбешкой, курсанты к концу училища должны съесть 115 селедочных метров.

В столовой ребята читают "Правила хорошего тона", как раз о еде. Вдруг принесли добавок сыра — моментальный рывок руками и телом — тарелка пуста. Высокая культура. Чеков кричит: "Идите, грызите столы!"

<...>

25 АПРЕЛЯ

<...>

Разговор:

- Ты о чем задумался?
- Смешной вопрос. О чем обыкновенно думают великие умы — решаю судьбы народов. Да.
- Почему не хочешь учиться?
- Идеология не та.
- Мы тебя разберем на собрании!

- Пишите письма мелким почерком.
- Поместим в газете!
- Дешевая пропаганда.
- Мы с тобой классом поговорим!
- Классом? Нет. Принимаю просителей-одиночек, по четвергам. С 1 часу до трех. В три — перерыв. Пожалуйста.
- Будешь работать по озеленению парка?
- Мне уже надоели эти деловые свидания в местах общественного отдыха трудящихся. Я тоже трудящийся, и за свои завоеванные минуты покоя отказываюсь приближаться еще на один шаг к светлому будущему человечества, ну, к коммунизму.
- Смотри, заговариваешься.
- А что? Я ничего, я все по конституции: и свобода слова нам предоставлена, и право на отдых. По причине всеобщего обязательного образования — это я изучил.
- Как же товарищи, ребята, уходишь от коллектива!
- Каждый погибает в одиночку.
- Выгоним из комсомола!
- Давно ощущал желание порвать с четырехорденоносной организацией незрелых юношей.
- Что ты думаешь о себе!
- За мысли, как и за идеи, не платят.
- Ты снова о деньгах.
- *Деньги в жестких условиях 20 века — необходимый минимум существования.*
- А что в будущем?
- Ничего особенно интересного и необычайного не будет: нас обоих вполне уравнивает вполне малоутешительная вещь — смерть, со всеми ее приятными и неприятными последствиями.
- Как понять: приятные и неприятные?
- Приятно, что в один не очень яркий день вам никуда не нужно будет спешить, приятно, что о вас кто-то заплачет. Это факт. Даже о самых подлых покойниках плачут, иначе нельзя: соболезнование, во-первых, а потом, не заплачешь — не возьмут на поминки. Неприятного все-таки больше. Голубой кусок неба над головой, систематические весны, человеческие стремления к лучшему, минуты счастья — это стоит дорого. Жить хочется

всегда, даже на смертельном рубеже, когда знаешь: вот сейчас меня не будет. То, что болтают о презрении к смерти — чепуха. Я бы лично таких людей ставил под винтовки — отрекайся или получай пулю. Подавляющее большинство, как говорят на собраниях, поспешит уверить вас в своей искренней любви к жизни. Умрем все, и это иногда страшно, особенно после сорока лет.

30 АПРЕЛЯ

О коллективе. Вообще, я не сторонник воспевания силы коллектива в воспитании, перевоспитании и т. д. На примере суворовского училища очень хорошо видно, как этот самый "здоровый коллектив" ломал ребяческие души. Отсюда — моральные уроды, или нелюди, исправить которых уже почти невозможно. Настоящего влияния коллектива на одиночку я не видел за восемь лет ни разу. Коллективки были, это да, но направленные чаще на неподчинение, разбой. Я о другой силе коллектива. Нас за последний месяц страшно гоняют (готовят) к параду. На генеральной репетиции не только я, но и другие, заметили странное дело. — Идем батальоном около трибуны. Батальон — человек 100. Парадная форма, зрители, приподнятое настроение. Конечно, старались. Вот тогда я вдруг почувствовал себя как бы одним целым с батальоном, его частицей. Казалось, что среди нас нет ни сволочей, ни хороших ребят, нет ни поэтов, ни музыкантов и мечтателей, а есть — одно, целое, мощное, неделимое — коллектив. Это сильное чувство, и испытать его можно только в армии.

Теперь о внимании. Волей случая или нет, я с 9 лет таскаю нашу форму, в общем, красивую и очень бросающуюся в глаза, особенно, когда в нее одет мальчишка моего возраста. Отсюда — внимание на улице, в городе. Сейчас его мало: вырос, да и привык ко всему, а раньше было. Отбросив в сторону все личное, мелкое, сегодня я могу сказать: замечательно ощущать себя человеком, на которого смотрят, от которого что-то ждут, на что-то надеются. Тогда хочется жить, работать, быть полезным людям. Каждый, только потому, что он человек — достоин внимания. Без него жизнь становится существованием.

Вчера встречал на вокзале маму и д[ядю] Сашу. Это первый раз в Киеве я кого-то встречаю. Новое чувство. Немного волновался. Увидел и неожиданно по-хорошему обрадовался. От души, а не для вида расцеловал родных. О мамах писали всегда много и сердечно. Пытался и я.

Я бы мог написать про это,
Так, как мамам пишут поэты —
Много слов ласковых, ласковых,
Что по всем посвящениям затасканы,
Много слов, нежных, нежных,
Что написаны кем-то прежде.
Только поэтому не хочу писать к маме.
А она у меня — самая расчудесная, редкая мама.

1 МАЯ

ИЗ ДНЕВНИКА

1955–1956

71

Сколько флагов, лозунгов, пьяных и милиции! Утром — парад. За две минуты выложили месяц напряженной работы. Это последний парад в СКУ. Строчки: “мы ценили слишком мало” — “алый”. Потом дописать. С моим вечным невезением попался и на 1 мая: иду в наряд, правда, по клубу, но в наряд. Нужно сегодня ехать к ней. Какая она? Изменилась, а? Вообще — навряд ли. Неизменно вежлива и не больше. Объясняться в том, чего уже нет — дико, я не буду. Взять вдруг и расцеловать — глуповато, в общем. Лучше всего — многословие и внешняя безалаберность, беспечность.

Она, конечно, поймет, что это только внешнее. А что “внутри” — страшная опустошенность лирического порядка. Похоже, не хочется влюбляться. Ну, дрянь, фразерство, — просто ты сравнительно давно никого не любил по-настоящему, как, например, ее (сомневаюсь, что ее — по-настоящему).

Проще простого взять и... покончить разом со всем. Иногда и, в частности, сегодня испытываю порядочное желание такого рода. Причины, толкающие на сие преступление:

- 1) не печатают, а говорят — хорошо.
- 2) личное одиночество.

- 3) кажется, провалюсь на экзаменах.
4) для будущего.
5) кажется, впереди ни черта не получится.
6) все.
Ладно, хватит. Писал эти строчки полупьяный.
<...>

3 МАЯ

<...>

Нищий: "Подайте орденоносцу, бывшему капитану на поломанный костыль. Пенсия пятнадцатого, а денег нет. Подайте, товарищи". Набрав мелочь, разменял у кондуктора на бумажки. Деловито и, видимо, привычно. Другой не нищий, но просит: "Гражданин, живу в Броварах, на Первое Мая спустил все: доехать не на что, дайте, сколько можете!" Конечно — дали.

Вывод в общем: праздники у нас отмечать не умеют, все не по-человечески. Запросто могут убить, зарезать; на Крещатике (я не говорю о парках) наблевано.

С этим нужно попробовать драться.

Сейчас — занят поэмой, позже — обязательно.

4 МАЯ

Ботинки, обладающие нежным и звонким скрипом, могут называться лирическими ботинками.

<...>

16 МАЯ

<...>

Сейчас почему-то вспомнил детство. Вообще, младенчество свое помню плохо. До пяти лет — туман, в пять лет помню Аларчу, это под г. Фрунзе, жарит солнце, у соседей сын Славка прокоптил до костей свинью. Во избежание побоев ночует у нас. Отчетливо помню, что он лежал в одних трусах поверх одеяла и ревел.

Потом — пытаюсь попасть в школу. Для смеха оставляли в классе. Сидел, слушал. Все-таки лучше, чем висеть на подоконнике, после этого штаны и рубашка становились не то серыми, не то черными, в общем — очень грязными. Мама ругала.

Помню вечер в школе. Пляшу под бабушкин аккомпанемент. Он заключается в том, что Дарья Сергеевна хлопает в ладоши и что-то напевает: "Ататушки, тритатушки..." И я плясал. Не знаю, хорошо ли, плохо, но от души. Хлопали. После меня три, кажется, девушки пели: "Степь да степь кругом..." Тогда тронуло. Одна из них, с толстой русой косой, как-то особенно жалостно выводила: "В той степи глухой умирал я-м-щик..." Мне, как ни странно, представлялись холмы, желтые, песочные, похожие на наши, рядом с домом, и плачущий дядька, обязательно с бородой, как у школьного сторожа.

Помню, как однажды за рогатку, которую, кстати, мне не сделали, украл из дома две котлеты. Было голодно. Одни фрукты, а хлеба, мяса, масла почти нет. Отец страшно похудел, эти котлеты полагались только ему, а я — украл. Выгнали вечером из дома в одной рубашке. Я, конечно, признался сразу. Стыда не чувствовал, было холодно и страшно. Через полчаса впустили и простили.

Когда уезжали в Москву, очень хотелось остаться. Провожали нас дружно. Набили карманы и машину яблоками, вишнями, персиками.

Да, вот еще. Наши брали Орел. Бои жуткие. Слышу разговоры взрослых и, конечно, играю в войну. Играл семечками. Арбузные, черные, — немцы, тыквенные, белые, — советские. Я-то и взял первый Орел, и только назавтра по радио передали: "Орел взят". Вообще, я много играл в войну, мне, как и моим сверстникам, нравилось кричать, бегать, прятаться, бить по голове (меня тоже били).

Дорогу до Москвы совершенно не помню. В Москве поехали на старой машине домой. Стояла зима. В Москве холодно, неуютно, еще соблюдалась маскировка, и фонари не зажигали. В нашей квартире — разбой. Не украли ничего, но нагажено, перепорчено все и всюду. Первый ужин в столице у товарища отца, тоже инженера. Он с женой жил на 3 этаже,

мы на первом. После нашей, в общем, диковатой жизни в Аларче, обстановка в квартире, приборы на столе, — это все очень поразило меня.

Почти анекдотичный случай: дали мне печенья, обыкновенного, в пачке, а я забыл (или не знал), что делать и куда деть довольно объемистые печеные квадраты. Инстинктом понял — съедобное.

Скоро отец уехал на фронт. Проводы, прощание не помню совершенно, отца тоже. Позже он приезжал в отпуск, на неделю, кажется, а в феврале — погиб, вернее, пропал без вести. Мы с сестренкой не ревели, по крайней мере, не очень ревели. По малолетству. Дом наш полностью инженерский, все знали отца, вместе учились, поэтому мне надарили игрушек, солдатиков, всякой всячины до черта и больше; звали к себе, закармливали сладким и так далее. Но конец наступает всегда: вскоре “заботы” надоели” и нас попросту забыли.

Мама копала за городом картошку, тогда только ей и жили. Кончила вечером. Рядом возились наши соседи, они прикатили на машине из академии. Мама попросила взять ее с собой: поздно, все-таки одна остается в поле. Решительно отказали: вы не являетесь женой служащего или офицера академии. Вот вам бывшие сослуживцы, которые клялись отцу перед его отъездом: “Не забудем, не оставим, поможем...” Сволочи.

Жилось неважно, хлеба не хватало, только по карточкам. Частично помогло единовременное пособие за отца, но заболела тифом бабушка — все отдали для спасения ее жизни. Помню длиннейшую очередь в магазине. Полбуханки бело-серого хлеба и кувшин суфле — пародия на молоко, что-то коричневое, сладкое и жидкое. Становились в очередь утром, уходили в шесть-семь вечера. Возвращалась с работы мама, ужинали и спать. Так день за днем.

Всю войну ожесточенно играли в войну, в летчиков. Был такой мальчишка, Игорь Нетьев, мы с ним, как настоящие друзья, дрались до крови и слез, страшно ревновали друг друга к ребятам, вообще, считали жизнь неполноценной — я без него, он — без меня. Последний раз видел его лет шесть назад. Сейчас даже не узнаю, он меня — тоже.

Ладно, хватит воспоминаний, их было много и до меня, интересных и лучше написанных. Все. Как-нибудь потом.

<...>

15 ИЮНЯ

Осталось до жути мало — два-три дня и конец. Вчера лежал в санчасти (так, простудился), свет не горит, тихо. Наша рота вышла на прогулку. Что-то пели такими веселейшими голосами, как будто стараясь перекрычать друг друга, — вполне понятная страсть. Иногда вечером хочется так крикнуть, чтобы тебя услышал весь мир, чтобы за словами ввысь потянуло и тебя самого. Поет наша рота, моя рота. Восемь лет подряд я также ходил на прогулки строем, также, надрываясь, что-то весело (или невесело) пел. А сегодня-завтра кончается навсегда большая полуса жизни — суворовское училище. Безалаберные, грубоватые, но честные и хорошие ребята. По вечерам делать нечего. Шатаемся под забором родного училища, звоним по всем телефонам, вернее, — по всем известным номерам.

<...>

14 МАРТА 1956

Похоже, что я снова начинаю писать дневник. От предыдущих записей отделяет всего лишь одна страница бумаги и восемь месяцев жизни. Произошло так много разного и нового, что я сейчас не могу с самого начала пережить все, написав здесь прошедшее. Я был курсант, потом — больной, потом, после учений, угодил в гражданские. Дальнейшее неопределенно. Институт — это так заманчиво и здорово, но, конечно, есть “но” — прежде всего — творческий конкурс. Сейчас пишу. Да, вот две хохмы.

Диалог:

- Для чего вы женились?
- Для симметрии.
- Что такое весна?
- Пора любви и насморка.

(Чехов)

— Мне противна в нем категоричность телефонного автомата. Ну, знаешь, “разговор больше трех минут запрещен”. Категоричность, действенная только после нажима.

О 8 Марта.

— Отменят ли занятия 8 марта?

(массовый вопрос)

15 МАРТА

За шелканьем семечек люди тупеют. Нет ни мыслей, ни чувств — только бы бросать в рот и тут же лихорадочно искать следующие.

Верх равнодушия — пройти мимо очереди, большой, разумеется, и не спросить, за чем она.

На улице — теплынь, все тает. Год назад, в Киеве, было почти то же самое, только в Москве больше солнца, ветер злее, а там — хлопьями валил мокрый снег, таял, превращая тротуары в грязное месиво, и было очень сумрачно.

Вызывают скорую помощь.

— А сколько лет пациентке?

— Восемьдесят четыре.

— Вызовете завтра районного врача. Мы приехать к вам не можем.

Да, возраст есть возраст, и 84 года — это уже много. Но жить хочется всегда, даже когда скорая помощь, плюнув на тебя, едет спасать более молодых.

17 МАРТА

Сейчас — сплошная путаница. Особенно в настоящем полит[ическом] положении страны*. Это паршиво, но я начинаю сомневаться, что мы и на деле “самые передовые и лучшие”, а не в газетах. Со Сталиным — естественно. Честолюбие, раздутое в таких грандиозных формах и не совсем отвечающее фак-

* Настроение Шпаликова, очевидно, связано со слухами о докладе Н.С. Хрущева о культе личности Сталина, прочитанном 25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС. Некоторые положения из доклада были опубликованы в Постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 года. (Из коммент. Е. Долгопят.)

там, должно было лопнуть. Пока толком знаю мало и с выводами желательно повременить.

Смотрел австрийскую комедию "Я и моя жена". После павленковской блестящей характеристики Австрии вообще — мне противно что-либо, связанное с этой страной*. Комедия *по идее* — отношение мужа к семье и к делам жены — нравится. В постановке и игре очень много улыбчивости и слащавости, кое-что явно утрировано. Она — очаровательна, как характер, страшно миловидна. Ее игра, учитывая общий, как теперь говорят, "испорченный вкус" — выразительна и проста. Это и привлекает.

<...>

28 АПРЕЛЯ

ИЗ ДНЕВНИКА

1955–1956

<...>

С будущим — плохо. Нужно куда-то поступать, готовиться и пр. В киноинститут тянет и не тянет. Я все-таки другого склада человек, немного не киношного. В Горьковский было бы лучше, оно вообще — лучше бы никуда, а куда? Работать? В армию? Снова в армию? Просто страшно подумать, что так может получиться. Нет, не может. Мне страшно как важно поступить. Даже в архивный. Хотя учиться там — неинтересно, а работать потом — тем более. Теперь о писании. Нужно писать, посылать, печатать, словом, зарабатывать. Хватит, я не хочу быть в 18 лет пустотой, хотя бы в этом отношении. Ведь я могу, без всякого стяжательства и халтуры, писать ежемесячно два-три рассказа и стихов массу, и посылать могу. В Киеве напечатают — это почти точно. Попробую в Москве рассказы. Рублей четыреста смогу заработать. Все же приятней так жить, чтобы не думали... А что думать? Все

77

* Возможно, высказывание Шпаликова связано с тем, что 15 мая 1955 года во дворце Бельведер между странами-победительницами и Австрией был подписан государственный договор, провозглашавший политический нейтралитет Австрии, и союзные войска (в их числе и советские) были выведены за ее границы. Советские танки первыми вошли в Вену 11 апреля 1945 года. По окончании войны Австрия и Вена, как особый округ, были поделены на четыре зоны ответственности. (Из коммент. Е. Долгопят.)

ясно. На мои 400 не проживешь без папиных. Нет, серьезно — не халтура, честным писательством, печатаясь, я смогу помочь семье. (Детский бред.)

30 АПРЕЛЯ

Завтра 1 мая. Очень невесело. Что еще написать? Крепнет чувство собственной никчемности, вернее — неприемлемости в окружающем. Все спугалось и ясно — почему? — не очень, откровенно говоря.

<...>

13 ИЮНЯ

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

78

Долго не писал — хватало писанины вообще.

В конце мая сделал почти заново "Леночку", "Дев. с косичками" (бесчисленное множество раз переписанная) и, наконец, самое большое — "Театралы" (киносценарий).

Все отвез во ВГИК 2 июня.

Сейчас жду и немного трясусь.

Чем все это кончится?

Хотя бы не провалом. Будет просто обидно и стыдно за свою даровитую и работоспособную бездарность. Сейчас — июнь. Жара, скука собачья и пр. Очень хочется видеть всех ребят, пожить вместе, как год назад, как жили в СКУ. Чудесно жили!

Открываю в себе все новые и новые индивидуалистические черты. Я, например, самолюбив и тщеславен. Это, к сожалению, есть. Кое-что путаю и все по-моему от жуткого одиночества. Да, "Убийство на улице Данте" — великолепнейший фильм. Ромм — молодец, только — я не уверен, что он и дальше будет продолжать в том же духе. Это у нас трудно.

<...>

26 ИЮНЯ

Был в институте. Хотелось, спустя месяц (и даже больше) увидеть всех сразу, увидеть главным образом мною выдуманную

Юлю в лице Г и Э. Какие они стали теперь, когда лето, как они одеты, какие лица, глаза, руки.

В институте — толкучка, экзамены. Ходил в вестибюле, во дворе, боясь намозолить своими шатаниями кому-либо глаза. Никого почему-то не было. Потом вышла Люся, та самая Люся, которой так нравятся мои писания. Радостная, счастливая, смеющаяся и страшно славная. Только ради таких стоит писать, мучиться, переделывать. Если им нравится — это большая честь.

Наконец, я поднялся вверх. Эля! Так хотел увидеть, а вместо всего — “Привет” и равнодушный вид. (Это — с моей стороны.) Потом несколько ничего не значащих вопросов и таких же ничего не значащих ответов и безрукопожатное — “пока”. С лестницы вместе спустились, и все. А они уезжают на целину.

Я не знаю и не понимаю сам до конца, почему незнакомые в сущности люди стали мне такими близкими, что когда я вышел из дверей, мне стало очень грустно, — они уезжают, а я даже толком ни о чем не спросил, не заметил что ли, и вообще — хотелось сделать им что-то такое доброе, хорошее, запоминающееся, а вместо всего — равнодушное “пока”. Глупо все устроено на свете.

КОНЕЦ АВГУСТА

Сколько не писал — не хотелось. Вообще — это все пора уничтожить. Жаль немного и страшно не хочется, чтобы все это кто-либо прочел (почти неизбежная вещь).

20 августа меня приняли во ВГИК. Пройдя чудовищный конкурс, я попал в один из самых интересных институтов. Точно, что я чувствовал. Было сыро, шел дождь, мелкий, надоедливый, непрекращающийся. Ветер бросал в лицо и за воротник холодные капли. Как всегда шел до трамвая пешком, думая о чем-то своем, отвлеченном.

Ответственность за будущее и настоящее — это самое главное в мыслях и тогда и сейчас. Как-то все сложится впереди?

Г. Шналиков — курсант Московского высшего
военного командного училища.



ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

РАБОТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА ВО ВГИК *

ПОЧЕМУ Я ИДУ В КИНО

81

У кино есть качества, которые не могут оставить равнодушным любого мало-мальски пишущего:

- 1) массовость;
- 2) доходчивость почти абсолютная (чем лучше фильм — тем понятнее он);
- 3) совершенно особая сила воздействия на зрителя.

Из всех видов изобразительных, если можно так сказать, искусств кино — наименее всего условно, при всей условности своего производства. Кино, настоящее кино — трудно отличить от жизни, ему веришь, как верят жизни.

В кино можно показать решительно все. Рамки кино не ограничиваются шириной театральной сцены, где лес — фанера, горы — холст, море — световая полоса. На экране все это легко достижимо. В театре в пьесе действие очень часто подменяется разговором о нем. Где-то там, в стороне, что-то происходит веселое или страшное, актер рассказывает об этом текстом пье-

* Публикуется по: Геннадий Шпаликов. Начало // Киноведческие записки. 2002. № 61 / Публикация Е. Долгопят.

сы, и мы верим ему на слово. Талантливый пьеса и актер — верим легко.

Меня очень привлекают эти стороны:

1) Жизненность кино, отсутствие театральщины в лучших фильмах.

2) Журнал или книгу не всегда и не все могут прочесть, понять — тем более, и не просто понять, а правильно, точно, как нужно.

3) Кино — самый сильный пропагандист и агитатор многомиллионной аудитории. Куда еще идут каждый вечер? — в кино.

Мне хочется, чтобы каждый вечер перед экраном делал людей пусть немного лучше, заставлял задумываться о себе, о своей жизни, о пользе своей. Люди могут и забыть за массой будничных мелочей ответственность звания *советского человека*.

Вот такие фильмы, как "Брестская крепость"* , напоминают людям с необыкновенной силой, какими невероятными трудностями далась наша сегодняшняя жизнь.

Мне хочется, чтобы люди, устав за день, вечером возвращались из кино веселыми и бодрыми, как из душа, и я очень хочу написать комедию.

КАЧЕСТВА КИНО:

- 1) жизненность
- 2) массовость
- 3) доходчивость
- 4) сила воздействия
- 5) красочность
- 6) неограниченные художественные возможности
 - а) объемность
 - б) широкий экран
 - в) [трюковое] кино**

* Имеется в виду фильм З.М. Аграненко и Э.К. Тиссэ "Бессмертный гарнизон" 1956 года. (Примеч. ред.)

** Перечень "Качества кино" составлен поперек листа на свободном от основного текста поле. (Из коммент. Е. Долгопят.)

Первой музыкой, которую я слышал непосредственно в жизни, были марши, чаще всего в неважном исполнении духового оркестра нашего училища. Тогда мне едва исполнилось десять лет, и под эти марши нас готовили к параду, водили на прогулку, строили вечерами для общей проверки. Так шло девять лет. Мы росли, а марши оставались старыми, и в них, уже по привычке, улавливалась не мелодия, а — удар барабана, под который ставилась моя нога. Я и сейчас, когда слышу марши — невольно жду команды — “прямо” или крика — “выше ногу!”. Я не люблю марши. Возможно, в этом виноват наш плохой оркестр...

Первыми своими музыкальными понятиями я обязан целиком радио и кино. Так сложилась жизнь. В театры нас водили, хотя и редко. Водили всегда и в основном — отличников, а в них я никогда не числился, возможно, по этой причине в сильных киевских театрах я почти не был. Почти, потому что раза два ходил за собственные деньги. Мне понравилось, но удовольствие оказалось слишком дорогим, и с театрами было покончено. Откуда у суворовца могут быть деньги?..

И откровенно — у меня в 14–15 лет были совсем другие интересы, нежели музыка вообще. Нравились песни (нестроевые), отдельные куски из опер (вряд ли тогда я знал, что это — именно из оперы).

Все крупнейшие оперные и симфонические произведения я, повторяю, слышал по радио и в кино. Другого источника познаний не было. К симфониям питал заведомый страх; мне казалось, что столь серьезные вещи трудно — и просто невозможно — понять смертному в моем непросвещенном лице. Симфония всегда отождествлялась со скукой, а скуку я, как и все здоровые и деятельные ребята, не мог терпеть. В числе нелюбимых предметов музыки была скрипка. Виной тому пусть послужит наш преподаватель пения, который своим визжанием несмазанного тележного колеса, внушил к скрипке отвращение. Много позже, когда я впервые услышал и увидел, потому что это было, кажется, в кино, исполнение “Венгерского танца” скрипичным оркестром, я был восхищен.

Мне нравились своими яркими мелодиями отрывки из опер Глинки, Бородина, "Лебединого озера" Чайковского — то есть те вещи, которые на языке радио называются "популярной русской музыкой". После восьмого класса (не помню точно, где учился "Евгений Онегин") мы ходили и распевали "Куда, куда" — потому что знали текст.

Очень нравились вальсы. Всякие — Штрауса, Легара, Дунавского. Я люблю слушать вальсы один или танцевать, но в толпе — плохо — теряется лиричность, которая всегда приходит с мелодиями вальса. И одиночеством.

С шестнадцати лет (может — раньше) любил оперетту. Помнится, знал наизусть (буквальный смысл) все лучшие куски из "Фиалки Монмартра", "Вольного ветра", не говоря уже о популярнейшей "Сильве". Нравилась, в основном, мелодия. На текст, на те слова, к которым привязаны эти чудные мелодии, внимание не обращалось. Позже открылась совсем другая сторона оперетты — ее пустейшее содержание. В том, что это я узнал довольно поздно, есть одна причина — я ни одной оперетты долгое время не видел целиком, а слышал только арии, увертюры, дуэты, — все самое лучшее и блестящее, как раз то, что наиболее часто передают по радио. Первой опереттой, которую я увидел целиком, была "Фиалка Монмартра" на... украинском языке. Это обстоятельство, возможно, помогло мне запомнить только массу пестрых платьев и костюмов на сцене, разнообразнейшие декорации и освещение всех оттенков и — громкую (зал был небольшой), просто оглушительную музыку. Содержание не улавливалось. Остальные виденные мною оперетты я узнал из телевизора. Что в них поражает? Убожество драматургического построения, явная ерунда опереточных "драм", надуманность интриги и, особенно, шаблонное благополучие в конце. Даже в такой сильной оперетте (комическая еще), как "Перикола" Оффенбаха, при всей необычной для оперетты серьезности и жизненности, — конец опять-таки благополучен, пусть со страшной натяжкой, но все улаживается и все довольны.

Легкая и зачастую — блестящая музыка Кальмана, Легара, Штрауса, Оффенбаха наложена на такой текст, что просто становится обидно за композиторов. Я не требую каменности

и фундаментальности оперетт. Говорить об этом в таком искусстве — глупо. Но смех должен быть умным, болтание ногами — естественным, а когда нет ни того ни другого, и вдруг за дуэтом следует ряд ослепительных променадов — это воспринимается как вставка.

О советской оперетте говорить не хочется, потому что у нас ее мало, а то, что есть, вызывает старые мысли, что есть хорошие композиторы, но писателей в оперетте нет. Отдельные удачные каламбуры и шутки не делают погоды. Текст опереточной музыки остается стандартным и шаблонным, как много лет назад. Изменилась только, скажем, идейная направленность, связанная с временем.

Сразу же скажу, что все это я осознал много позже.

Первой симфонической вещью (кроме популярной музыки), которая серьезно понравилась, были рахманиновские “Колокола” — прелюдия для фортепиано. Играл это, и, как теперь я думаю, неважно играл, мой товарищ. Мне, мало сказать, понравилось, это было похоже на удивление.

Потом — первая симфония Калининкова, которую я считаю самым русским из всех наших симфонических произведений. Симфония Калининкова для меня — это почти осязаемая картина земли, на которой мы живем. В ней все — начиная от лирической картины родного мне Подмосковья с зелеными ветками, висящими над тихой водой, с дрожанием рассветов, с необъяснимой прелестью синих сумерек и до той мощи и силы, которая скрыта в нашем народе. Эта симфония не может быть непонятной для русского сердца, потому что она целиком страшно русская, наша. Она, как и некоторые стихи Пушкина и Есенина, всегда и вечно будет выражением той силы и красоты Руси, которая не меняется временем. По-моему, это — вещь, созданная как гимн, с той разницей, что гимны у нас менялись в зависимости от того, кто их поет, а это — вечный гимн России. Каким же русским нужно быть, чтобы сделать подобное!

Вторым симфоническим произведением, которое, на мой взгляд, является в такой же степени национальным, как и [произведение] Калининкова, — это Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, если симфония Калининкова

о России вообще и русском, то концерт Чайковского — чувства и мысли одной, богатой радостью и грустью, счастьем и горем русской души, выражение всех этих сложных переживаний.

Мне концерт Чайковского кажется наполненным изумительной силой веры в светлое человеческое счастье. Пусть — горе вокруг, пусть жизненные обстоятельства мешают и давят, — стань выше, борись, ведь ты человек! И как уверенно и победоносно звучит финал концерта, а сколько в нем мест, в такой степени понятных каждой человеческой душе, что, кажется, это — музыка твоего сердца, твоих мыслей, что это твоя музыка о тебе.

После концерта у меня всегда поднимается гордое восхищение силой человеческого гения, изумительно чистого сердца, из которого несутся, сплетаясь в величественно ясное, такие звуки.

Есть музыка, которая воспринимается как естественная радость человека, как выражение полного ощущения счастья жить, просто жить, видеть солнце, дышать, запрокинув голову в синее, синее небо... Это, например, "Рассвет" Леонкавалло. Это такой гимн, сложенный в честь утра и солнца. Я так представляю, что вот одним из утр, а это было в красочное (судя по описаниям) итальянское утро, над зеленой долиной, обрызганной росой, над морем в мареве тумана встал человек и без нот, нет, под фортепиано, или просто — во весь голос запел что-то радостное, сильное и удивительно гармоничное. Это и есть "Рассвет". Его нужно петь не в сжатом стенами концертном зале, а без слов, одну мелодию, где-нибудь в огромном поле, утром, когда из-за края земли медленно поднимается красный полукруг солнца.

Мне музыка видится большущим счастьем и откровением. Хорошая музыка — это всегда музыка души, это то, что люди, просто люди, чувствуют, переживают, и такие же люди, но уже композиторы, выносят эту музыку на ноты, и мы, слушая, поражаемся слитности ощущений. По-моему, настоящую музыку невозможно *сделать*, как делают ремесленники плохие стихи, книги и сараи, ее можно *почувствовать*, увидеть, спеть.

Оперу я не могу принять всю целиком. В основе — из-за ужасного текста. За редким исключением ("Евгений Оне-

гин" на текст Пушкина) это очень примитивно. Спасает хорошая музыка. (Я имею в виду классическое.) По-моему, пением теряется драматизм, и вообще, я не представляю настоящий драматизм, выраженный оперным пением. В нем очень много условности, нарочитости и заостренного трагизма. Хотя нет, не всегда. Вот ария паяца и у Леонкавалло в "Паяцах", и у Верди в "Риголетто". Здесь — все настоящее, когда, правда, певец не пытается дополнительно "усилить" драму. Но все-таки сейчас (зачастую?), для "понятливости" в опере все усиливают.

Есть арии, которые не могут не нравиться. Они — очень жизненные и полны настоящих, естественных чувств. (Сусанин перед гибелью, Игорь в плену, Ленский перед дуэлью, Гремин просто так и Онегин тоже просто так.) Меня передергивает от того, как связываются оперные куски, как пародируется драма. Зачем, к примеру, старательно выводить "По-одай мне стуул". Это — идет от оперной напыщенности и красоты, вошедшей в привычку. Я — за оперы, где не только поют, а и вполне осмысленно разговаривают, спорят, пусть даже это сведено к меньшинству (опера все же). В этом отношении мне кажется наиболее народной оперой, построенной по правильным принципам, опера Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем". Здесь настоящий, а не оперный конфликт, без сентиментальщины, надуманности и условностей! Все очень понятно — казаки, живущие за Дунаем, хотят присоединиться к своим братьям, им надоело быть под пятой турок. Все это делается обыкновенно, без ложно-оперной пышности и трагичности. Люди, когда нужно, говорят и поют (поют чаще). Но все дуэты не кажутся музыкальным дополнением, вставкой, а они — естественны. Опера очень музыкальна. Там люди похожи на людей, не походя на оперных героев. Карасы! Невольно смеешься, вспоминая его, яркого, мудрого, веселого и храброго казака Караса. Это для оперы — довольно редкая вещь, чтобы герои были в такой степени наполнены жизнью. И все это, повторяю, вместе с сильной музыкальной частью.

Балет.

Это трудно — передать чувства, переживания, — действуя пластикой танца. Нужна, по-моему, очень хорошая музыка и разработанное танцевальное либретто. Сразу же призна-

юсь, что мне тоже не удалось видеть ни одного балета целиком. Как-то так получилось — 9 лет училища, потом — снова училище, но уже другое, и лето, свободный месяц, когда московские театры кончали сезон. То, что я видел (и слышал) кусками, мне нравилось. Например, сцены из “Пламени Парижа” Асафьева на мой взгляд блестящи, ритм музыки, резкие движения танцующих — это создает великолепное зрелище. Не знаю, как удалось Асафьеву выразить сам дух и окраску тех лет. Мне вообще Асафьев нравится.

Смотрел (в кино) “Ромео и Джульетту” Прокофьева в постановке Рошала. Несмотря на богатство красок, на Уланову, на текст, который дополнительно вставляется, — впечатления не получилось — уж слишком все условно.

Вальсы и танцы из “Лебединого озера” — очень хороши. Это, конечно, не нуждается в моих комплиментах. Это не может не нравиться.

Есть особый род музыки, с которой идут в бой, идут “на смерть, ради жизни”. Прежде всего — “Интернационал”. Когда зазвучит, встав, вольно поет его, появляется гордое чувство — это “наши рабочие всемирной великой армии труда” сделали уже то, к чему еще стремятся миллионы. Чувствуешь себя борцом, ответственным за наше счастье и за счастье людей вообще. И слова какие!

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Мы поем его вместе — разные люди, — отлично понимая вдруг, что все мы — едины и родственны в общей борьбе за коммунизм.

Такая музыка — великолепна, потому что она делает людей сильнее и чище.

Сейчас я только начинаю понимать музыку, я учусь ее слушать, и я уже умею немного. Музыка — это второй мир, богатый, красочный, полный такой силы и очарования, что только со сле-

пым можно сравнить человека, который не любит музыки и отказывается ее понимать.

Я мало знаю, и эти записки — первый восторг перед волшебным для меня свеченьем музыки. Поэтому я говорю только о вещах, поразивших меня, опуская явное сильное и хорошее, которое прочно и давно нравится мне.

14 июля 1956 года



ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ПИСЬМА

К ВАЛЕНТИНУ ДЬЯЧЕНКО

1955–1958*

1

16 октября [1955]

91

Милый Валюша, здравствуй!

Большое спасибо тебе за письмо, я уже совсем было привык к мысли, что вы там, в Киеве забыли меня: не пишут, черти. По всему видно — у вас грустно, даже похуже, чем в Москве. Ты удивляешься, почему я так мало пишу о себе, о нашей жизни, — могу объяснить. Когда я читал твое письмо, то просто был поражен страшной сложностью чувств и настроений. Несколько дней назад мне отрезали все пути к тому, чтобы уйти отсюда. Уйти хочется безгранично, но — куда? В академию не хочу, да и, вероятно, не получится, садиться на шею родителей и тем паче — отчима, просто неудобно и — противно. А потом все скажут, я в этом уверен, испугался трудностей, захотел теплой жизни и т.д. Если не скажут, то подумают и будут шептаться за спиной. Кому какое дело, что мне противна армия вообще, с ее порядками, правилами, к самой армейской

* Письма к товарищу Г. Шпаликова по Суворовскому училищу В. Б. Дьяченко публикуются по: Шпаликов Г. Воздух детства (“Я жив, здоров, учусь хорошо...”): Непоставленный сценарий. Переписка // Кинограф. 2009. № 20 / Публикация Е. Долгопят.

жизни. Никого не интересует, к чему я стремлюсь, что мне надо. Мне сейчас больше всего надо написать (окончить) мою книжку "Глазами суворовца". Этого-то как раз я и не в силах. Первое — негде писать, наш взвод без класса, второе — главное, нет никаких мыслей, вернее, мысли есть, я очень много думаю, но писать не могу. Вообще, пишу мало, намного меньше, чем в СВУ. Например, за весь сентябрь я сделал только 1 стихотвор., а к сегодняшнему 16 октября — только четыре. Не пишу потому, что противно ныть, плакать о собственной жизни, другого пока не умею, а воспевать командиров и любовь к своему оружию — тем более отвратительно. Валюша, напишу тебе немного о своей повести. Хочу показать, как в условиях общего закрытого воспитания вырастали разные люди, люди годные к армии и непригодные, славные ребята и подлецы. Как у некоторых хватило сил, чтобы сразу порвать с армией, и как другие, мучась и думая, приходили постепенно к тому же. Хочу показать, что это нормально, по-человечески, если ты вдруг к концу училища почувствовал, что место твое не в армии, и ушел. Плохого и стыдного в этом нет ничего. Конечно, покажу и настоящих будущих офицеров, которые могут всячески поносить службу в армии, ныть о строгости дисциплины, но любят это дело (вроде нашего Герасимова) и в конце концов станут офицерами. Таких все-таки было много. Вот основное. Написал первую часть 14 глав. Читал ребятам (нашим) — понравилось. Стараюсь писать весело, без нажима на "черные стороны", в конце концов это было не главным.

Что еще о жизни? Библиотека здесь паршивейшая, ужас, а не библиотека. Одни уставы и наставления вроде "Как бороться со вшами". Очень интересно. Но мы читаем. Как-то получилось, что киевляне в нашей роте (Гриша, Сашка, Валерка и я) резко выделились из общей массы. Здесь, например, считается низким (или очень высоким) разговаривать о литературе, искусстве, о стихах. Это презирается всячески. Мы, конечно, не сдаемся и продолжаем громко говорить о любимом. Насчет окружающих товарищей — не удивляйся. Оказалось, что любой из Киевского СВУ во много раз больше видит и чувствует, чем другие бывшие суворовцы. Это не хвастовство, вкусы у большинст-

ва здесь — дикие во всех отношениях. Особенно меня отталкивает дешевый стиль каких-нибудь тамбовцев или курян, которые один раз прошлись по улице Горького, один раз услышали где-то фокстрот и с одного раза решили, что Европа покорена. Паршивые песенки, словечки обихода, помнишь лермонтовское: “смесь французского с нижегородским”*. И вообще — здесь сплошные Грушницкие, которые стараются походить на Печорина. Дух кадетства, ложного, неискреннего кадетства, всегда противный мне, я возненавидел в МКВУ вдвойне. Чувствую себя очень одиноким — Сашка все-таки не то, в нем нет душевной мягкости, которую я так ценю в людях, в тебе, Валюша, а с Валеркой и Гришей я и в училище не был близок, мы очень разные. В Москву ездить не хочется: буду неизбежно ныть дома, а маме это тяжело. Лучше скучать здесь, а в Москву нас пока не отпускают. Гоняют страшно, по 4 часа в день, чуть ли не до обморока. Но зато тревог, кроссов, марш-бросков и полевых занятий — нет. Ходили (ездили, конечно) на аэродром, на 1 репетицию. Встретились с калининскими суворовцами. Страшно приятно увидеть ребятешек в черных шинельках с алыми погонами. Еще сильнее чувствуешь невозвратимость прошлого. А здорово мы жили! Помнишь, зимние вечера, полупустые коридоры, воскресенье, все в городе, а мы после кино ходим обнявшись или валяемся прямо на одеялах и говорим, говорим без конца. Валюша ты мой родной, как ты мне дорог сейчас, и до боли жаль прошлого. Настоящее противно и беспросветно, хотя я уверен за твое будущее — планы не могут [не] сбыться. Я — другое дело, но ты — никогда.

Теперь по поводу всего тона твоего письма.

Валюша, милый, не вешай нос, все лучшее — впереди, я в тебе очень уверен. Пиши, не сдавайся. Знаю, что утешать — глупость, да я и не пытаюсь как-то тебя утешить, но — возьми себя в руки, не плюй так уж откровенно на военные науки. Можно совершенно не интересоваться этой ерундой, но, однако, учиться на 4–5. Это, сам знаешь, ерунда. В общем, Валя, зря так

* “Смесь французского с нижегородским” — цитата из комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума”. (Примеч. ред.)

страшно и безнадежно смотреть на все. Учиться всегда можно, не сейчас, — так позже. С твоими знаниями, с медалью, ты сможешь, и легко, поверь мне, сможешь поступить куда угодно. Кончаю. Стишки не высылаю только потому, что, возможно, в “Сталинск. племени” будут напечатаны лучшие, остальное — чушь.

Привет Михе, Уразову, Куделину (пусть он напишет, сукин сын), всем нашим мальчикам. Спроси Славку Иванова, почему он не пишет и как там мое фото. Привет Василию Ивановичу от москвичей. Да, прости Валюша, я еще не кончаю. Нужно написать о финале кубка*.

Мы смотрели по телевизору. Темп в начале — жуткий, игра — безукоризненная. В ЦДСА — Беца, Рыжков, Агапов, Перевалов, у “Динамо” — Рыжкин, Шабров. На 11 минуте по вине Юрченко Агапов метров с пяти через Яшина забивает первый гол. Вообще, Агапов все время неотрывно дежурил у ворот. Через две минуты с подачи Шаброва Рыжкин очень точно пробил метров с 12 под верхнюю планку. Разинский дико прыгнул, но... гол. Дальше игра идет ровно. Примерно за 10 минут до конца 1 половины Крижевский грубо (по ногам) ударил Рыжкова. Емышев дал одиннадцатиметровый. Агапов забил. Так спокойно — Яшин в один угол, а мяч — в другой. А через несколько минут того же Агапова ударом в яйца Яшин вывел из игры. Агапов вышел один на один, а Яшин ногами вперед выпрыгнул. Представляешь, как бушевал стадион? Яшина выгнали с поля. Он вдобавок нагрубил Латышеву. Во II тайме стоял Байков на воротах. И динамовцы, переигрывая ЦСКА, — проиграли. Вот так прошел финал. На этот раз действительно кончаю.

Крепко, крепко тебя целую,
твой Гена.

* Шпаликов описывает финал кубка СССР, который состоялся на московском центральном стадионе “Динамо” 16 октября 1955 года. Играли ЦДСА и “Динамо” (Москва). (Из коммент. Е. Долгопят.)

Здравствуй, Валечка!

Валюша, решил тебе написать о том, как несколько дней назад я был в Москве на вечере встречи с артистами кино. Главным образом я пошел туда потому, что должна была выступать Касаткина. Вечер организовали в Доме кино. Билеты достались мне со страшным трудом, со стороны. Очень оригинально проводился сам вечер. Без сцены, без президиума. Может быть, это потому, что людей все-таки ограниченно пускали. Человек сто пятьдесят, не больше. Артисты сидят прямо в зале, среди зрителей, и так непринужденно отвечают на все вопросы. Я, конечно, сразу же к Людмиле Ивановне подсел. Как раз рядом с ней угодил. Она несколько пополнела, прическа у нее не как в кино, а что-то парижское, с челочкой. Мне не понравилось, хотя ей и так хорошо. Одета, конечно, модно; но без крикливого шика.

Начала она говорить о Париже, где была зимой. Говорит очень приятно, улыбаясь. Улыбка, ты помнишь, ей особенно идет. Я спрашиваю: "Как встречали 'Укротительницу тигров' во Франции?"*

Она отвечает, что вообще "Укротительница" шла вне конкурса, но встречали фильм хорошо, а потом мягко добавляет: "А вам, простите, нравится наша комедия?" Я вначале не нашелся, как ей сказать, если просто "нравится", то уже слишком обще и трафаретно получается. А Касаткина снова спрашивает: "Откровенно, вам нравится или нет?" Тогда я просто сказал, что ходил на "Укротительницу" восемь раз. Касаткина засмеялась: "Ну, зачем так много!" Но, видимо, ей мой ответ понравился, и потом, рассказывая что-нибудь, она часто обращалась ко мне. В общем, весь вечер я не отходил от нее и, когда все кончилось, Касаткина, прощаясь, пожала мне руку. Ну вот, Валя, в жизни она такая же простая и хорошая. Это меня обрадовало — приятно все-таки, что мы с тобой не ошиблись, что все оказалось насто-

* Фильм "Укротительница тигров" показали во внеконкурсной программе Каннского фестиваля в 1955 году. (Из коммент. Е. Долгопят.)

ящим, а не кинематографическим. Теперь очень хочется ото-слать ей рассказ, тот, письмо. Возможно, отошлю. Ну, вот, Валю-ша и все. О жизни здесь писать нечего, так же серо и скучно, как и у вас. Привет мальчикам.

Целую.

Гена. Пиши.

3

Здравствуй, Валюша!

Получил твое большущее двойное письмо.

Жаль, конечно, что так паршиво провел праздник. Здесь наши мальчики (кроме меня) встречали 7 ноября в казар-ме: Валерка и Гриша непарадники, а Сашка отказался (пуска-ли или 7 или 8, но только один раз), Сашке было выгоднее по-пасть в Москву 8 ноября. Восьмого вечером приехал из горо-да я, привез в чемоданчике бутылку хорошего вина, закуску, и мы (киевляне) вчетвером отметили первую годовщину Ок-тября без ребят и Киева. А 10 ноября, на тактике, я вывер-нул ногу и сильно повредил чашечку колена. Сходу — в сан-часть. 22 дня болел. Вернее, боли, когда лежишь, — нет, а хо-дил я очень мало и то на костылях. Отдохнул, отоспался за всю парадную долбежку. Было время подумать о многом. Главное — об армии. Все-таки, Валя, я, кажется, уйду из училища. И да-же в этом году. Есть возможность поступить в Институт кинема-тографии на факультет литературного сценария. Сейчас дома повели активную подготовку к отставке меня из училища. Толь-ко этим живу.

Да, Валя, ты ошибся или не понял — я пишу не поэму о СВУ, а повесть, в прозе. Все уже написанное читается весе-ло, много смешных и всяких эпизодов. Страшно мучит, что нет времени и настроения продолжить II часть. Но думаю, что к концу 56 года кончу, но это в случае ухода отсюда. Здесь писать трудно. О стихах. По-прежнему пишу. Переписывать их тебе нет смысла — лучшее напечатали (или напечатают в этом месяце) в “Ст[алинском] племени”. Вырезки из газе-

ты с новыми стихами у меня, как ни странно, нет. Жорка выслал Васильеву, а он не захотел передать мне — дескать, ты и так имеешь в рукописи, поэтому все же попытайся просмотреть подшивку за конец октября и начало ноября 55 года. Походи по ротным ленкомнатам и, по-моему, найдешь. Сможешь — пожалуйста, вышли мне. Могут напечатать в “Юности”. Кстати, она у вас есть? В общем, я понемногу работаю. Вчера отослал в “Крокодил” сатирическую сценку, а в “Советский воин” — рассказ. Сейчас пишу рассказ на конкурс окружной газеты. Очень интересная тема — “Солдат штрафной роты” и, чего тут таить, — большая (1500, 1000) премия. Если получится, то на эти деньги, на свои гонорары от стихов (сейчас и ровно на 400 руб.) покупаю мотоцикл. Остальное — не тянет, и вообще здесь к деньгам почти безразличен — полностью проедаешь получку и добавочные средства родителей в училищном буфете. Так большинство ребят. На последний гонорар купил сразу всего Горького (33 тома), хватило как раз впритирку, даже пришлось взять десятку дома, но зато — всего Горького! Сила! Думаю, что к лету заработаю (сам!) на мотоцикл. Хорошо бы, очень. Отсюда вижу, как ты усмехаешься моим стяжательским мечтам, — опустился, омещанился товарищ, нет, просто очень здорово чувствовать, что работаешь не зря во всех отношениях — и для людей и для себя. Ну, Валуша, закругляюсь.

Пиши мне. Пробуй ответить в этот же день.

Привет нашим (3 взв[од]) мальчикам, Олегу Мастр., Яшке, Валерке, всем и всем. Целую крепко.

Гена

7 декабря [1955]

4

Здравствуй, Валуша!

Я в госпитале, куда с большим опозданием ребята переслали твое письмо. Что случилось? На тактических учениях меня сунули в атакующие. Это с моим коленом! Марш я выдержал.

Атаку тоже. Все произошло ночью. В 4 часа — заключительный бой. Пурга, темно, идем против ветра, снег — по пояс, сзади — танки. В первой траншее я упал и на больное колено. Конечно, двигаться дальше, да и вообще двигаться, я не мог. Через минуту услышал за спиной лязг гусениц. Шли танки. Кричать бесполезно, не услышат, отползти поздно, да и невозможно. Знаешь, вначале было подобие страха, а потом — мне уже стало безразлично, пусть давит. Я очень устал, замерз и, уткнувшись лицом в снег, спокой[но] ждал дальнейшего. Метрах в трех танк остановился.

Я был в масхалате, и лейтенант на башне только успел крикнуть, когда он заметил карабин, лыжные палки и т. д. Я, конечно, ничего не помню. Очнулся на танке. Довезли они меня до леса, ссадили — дескать, жди, сейчас здесь будут проходить обороняющиеся и тебя заберут, а нам нужно ехать дальше. Я слез, вернее, меня сняли и посадили прямо в снег под сосну. Очнулся я позже. Глянул на часы — 8 часов, меня никто не подобрал, людей не видно. Пробываю встать — не могу. Колено вздулось и околоченели ноги — все же четыре часа на морозе и без сознания. Сейчас все это не так страшно, как диковато — вчера еще живой, веселый товарищ так глупо замерзает в 30 км от Москвы. Но тогда было тяжело.

Я вспомнил все прошедшее, ребят, тебя (серьезно, тебя вспомнил совершенно отдельно, для себя). Потом я забылся. Пришел в память в санитарной машине. Меня везли в училище. В машине было тепло, меня всего раздели, оттерли ноги, руки и в санчасть. Оттуда — в госпиталь. Там мне на колено наложили гипс и, обследовав, предложили операцию колена. Я отказался. Меня комиссуют из армии. Еще недели 2–3 похожу в гипсе, а потом — комиссия. К армии я негоден. Очень рад, хотя нога в коленке сгибается плохо. Я — с палочкой. Обещают, что через полгода-год смогу бегать, прыгать и т. д. Словом, насчет бега, это я шучу, мне всякие резкие движения заказаны лет на пять... Но месяца через три-четыре я смогу тихонько двигаться, сгибать ногу и производить другие телодвижения.

Отделался я легко. Только макушка поседела. Да. И я неделю не мог ни с кем разговаривать. Страшно похудел, осунулся и пр.

Думаю подавать в Литературный институт им. Горького. Все эти формальности относятся к первым числам марта. Пока — в постели.

О Маркове. Я, конечно, подошел обще, грубо. Но, Валюша, последствия и вся эта обстановка мне ясна. На его месте я поступил бы так же, хотя внутренне это несовместимо с моими взглядами. Все решили обстоятельства. Теперь я знаю немножко больше о нем и сам случай — жуткий, понимаешь, осмысленный уход из жизни. Только обыватель может трезво и с пренебрежением говорить об этом, осуждать.

Рад за тебя. Ты тверд.

С учебой — одобряю. Посредственное отношение — это лучшее, что можно придумать. Да, ведь меня таки сняли с ком[андира] отд[еления]. Ты это еще не знаешь: "снят за несоответствие служебное". Яснее — поругался за неделю сразу со всеми офицерами. Одно весело и... хорошо, что я в госпитале, меня они съели бы живьем. Со стихами и писанием моим — средне. Пишу мало. Но пишу. Валька, громаднейшая просьба. Я еще в декабре послал в "Ст[алинское] племя" ряд новых стихов. Известий — никаких. Зайди в редакцию. К Бекетову (в лит. отдел). Он меня хорошо знает, и узнай, как что. Очень прошу. Мне сейчас нужны напечатанные вещи для поступления в Лит. институт.

Сейчас я отошел, чувствую себя прилично, ходить только еще не могу, а так все чудесно. Настроение самое великолепное.

Ну, кончаю, — Валя, пиши мне уже на училище, это лучше. Потом я не знаю, может быть, я уеду из госпиталя на этой неделе — комиссия пройдет, и я не буду задерживаться. Не знаю точно, когда она (комиссия) будет. Может быть, через неделю, а может — через месяц. Поэтому на училище надежнее.

Привет огромный ребятам: Жорику, Игорьку, Михе, Валерке Куделину и всем.

Целую крепко.

Твой Гена

5 февраля 1956 г.

Милый Валька!

Можешь себе представить, как я был рад, получив твое письмо. Ведь положение было глупое — мы, так прекрасно понимавшие друг друга, все напутали, смешали и молчим в своих углах. Я это постоянно чувствовал и мне было иногда очень грустно. Не так давно ко мне заходили наши ребята. По существу ничто, кроме одинаковых погон, не связывало нас в прошлом. Мы по-разному жили в училище, разное думали, но были все — хорошие люди, и мне приятно было увидеть всех сразу. Я все время думал — а ты, ты, такой близкий мне, — черт знает что. Ладно, оставим. Ты никак не мог приехать в Москву? Жаль.

Валя, я обеспокоен, что ты решился на отказ от прелестей офицерства. Я понимаю, что это значит, ничуть не хуже, нежели ты. Это значит, вместо 3 лет (уже меньше осталось), ты сам себя обрекаешь на шестилетнюю каторгу. Я знаю, что ты много об этом думал и все это не мальчишество уже, а серьезно. Тем более это плохо. Валя, через полгода ты будешь офицером. Лейтенантом. Сознывая всю печальность всяких служебных, взводных последствий, это все же не губительно, и лучше уйти из армии лейтенантом. Если очень захотеть, — получится. Обязательно выйдет, я убежден в этом на примерах ребят, которые учатся на моем курсе и на первом. У нас три офицера. На первом — кажется, один. Они — здоровые, сильные, красивые, вероятно, они могли бы и в дальнейшем служить в рядах Сов. армии. Но они не служат. Они очень хотели и ушли. И ты уйдешь. Но — только офицером. Это — проще и, пожалуй, быстрее.

Может быть, все эти мои аргументы слишком общи и не конкретны, но мне страшно не хотелось бы, чтобы ты еще на три года оказался в еще более худших условиях, чем теперь. Я предлагаю подождать. Мне бы хотелось (из любопытства) посмотреть на тебя в парадном мундире. И с кортиком — непременно. Сделай это ради меня. А после мы вместе что-нибудь придумаем. Идет?

Я учусь. Уже неделю. Радостей особенных нет. Я, конечно, очень счастлив, но отчего-то каждый раз приходится напоми-

нать самому себе об этом. Все лето (до фестиваля) я был на практике в Керчи и плавал по Азовскому и Черному морю. Потом я писал отчет — несколько рассказов и очерков (всего страниц 50). Ребята (в частности Михайлов и Куделин) читали этот труд. Мне жаль, что я не могу выслать тебе экземпляр — у меня сейчас нет свободного под рукой, но я обещаю тебе выслать в самом близком времени. По-моему, это интересно. Валя, я сейчас пробую (между другими лит. делами) писать пьесу. Никак не могу осилить множество вещей, хотя давно уже способен писать сплошняком, на сколько угодно страниц диалоги. Трудно все увязать по необходимости сюжета.

Это деловая сторона жизни. А вообще, живу я отшельнически, болею ногой и в свободное время посещаю лекции. А лекции — ужас. Сейчас, например, говорим о Лермонтове. Это очень интересно в 8 или 9 классе. Сейчас это раздражает. Я читал Лермонтова и давно его люблю, и мне нет необходимости выслушивать, что он хотел сказать тем или иным произведением. Однако я слушаю — мне говорят. В институте теряется страшное, непостижимое количество времени на всяческую чушь. На разговоры, беседы, на танцы, на что угодно. Самое ценное, что можно много смотреть. Смотреть фильмы, хорошие, каких нигде не увидишь. Этим я занят, как многие.

Личное — дрянь. Иногда чувствуешь себя животным, и это плохо. Не хочется размениваться на пустяковость случайных встреч, на ерунду всяческой лжи, которая неизбежна, если чего-то хочешь добиться. Настоящего ждут все люди. Мне надоело ждать. Если тебе интересно, Валерка Куделин подробно может изложить тебе мою "теорию" любви и отношений пола. Писать об этом не хочется, тем более Валерик изложит куда ярче и подробнее. Он все запомнил, т.к. я ему говорил об этом неоднократно.

Нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя так уж запутанно и плохо, но я мучаюсь сознанием ненужности и бестолковости дней, когда они проходят. По существу я писатель и все остальное только дней 10 в месяц (не считая мелочей), все остальное время я думаю о какой-то дряни, что-то сочиняю, изобретаю или просто сплю, как последний пожарник... Все говорят —

ты мало работаешь, но я-то сам знаю, сколько я могу работать, сколько я могу сделать и сколько я делаю. Все зависит не от лени (хотя я ленив по-человечески и когда-то, очень давно, начал писать только потому, что было скучно, и я был, кажется, влюблен). Теперь я не влюблен, но писать бросить уже не в состоянии. Поэтому мне кажется, что каждый день без строчки — страшная потеря. Это вряд ли так, но что поделаешь. 20 лет — и так мало, мало дельного, настоящего и так много дряни и пустяков. Надоело быть в Москве. Хочется удрать куда-нибудь. Я замечательно жил на практике и много оттуда вынес. Я плавал, ходил один по улицам, это было прекрасно. Теперь — до следующего лета.

Вот так. Спасибо тебе за фотографию. Она очень хорошая, и ты не очень взрослый на ней, и это тоже очень хорошо. Я не снимался тысячу лет в фотографии. Может быть, снимусь так. Все говорят, я стал мужественный и красивый, только не серьезный, как раньше. Это тоже очень приятно. Я не хочу быть серьезным. Мне лучше так.

Обнимаю, пиши.

Твой Гена.

19 октября [1957]

6

Валя, здравствуй!

Я в Кронштадте, в пустой гостинице, здесь никого нет и очень холодно, и мне смертельно надоело здесь. И ручка обратительная, и я с трудом нашел листок бумаги. Уже скоро месяц как я уехал из Москвы. Меня послали писать, а писать ничего не хочется. Каждый вечер после двенадцати ко мне приходят дежурные по Дому офицеров, которым нельзя уйти, и поэтому они трезвые, и поэтому они паршиво настроены и начинают изливать душу, как им опротивела служба, и все в этом роде. Люди они разные, а говорят одинаковые вещи. Я уже привык к этому.

Быть мне здесь еще неделю, а все понятно. Какое несчастье — носить офицерские погоны, впрочем, не для всех. Я на-

писал здесь рассказ, который называется "Идиот". Я тебе непременно его вышлю. Здесь длинные вечера, которые невозможно убить ничем. Это остров, крепость, здесь все ограничено, в том числе и водка, остается спуститься вниз, в зал, где танцы и не- красивые девушки, и все очень противно. И улицы здесь пустые, снежные, и один кинотеатр "Экран жизни", где очередь из офи- церских жен.

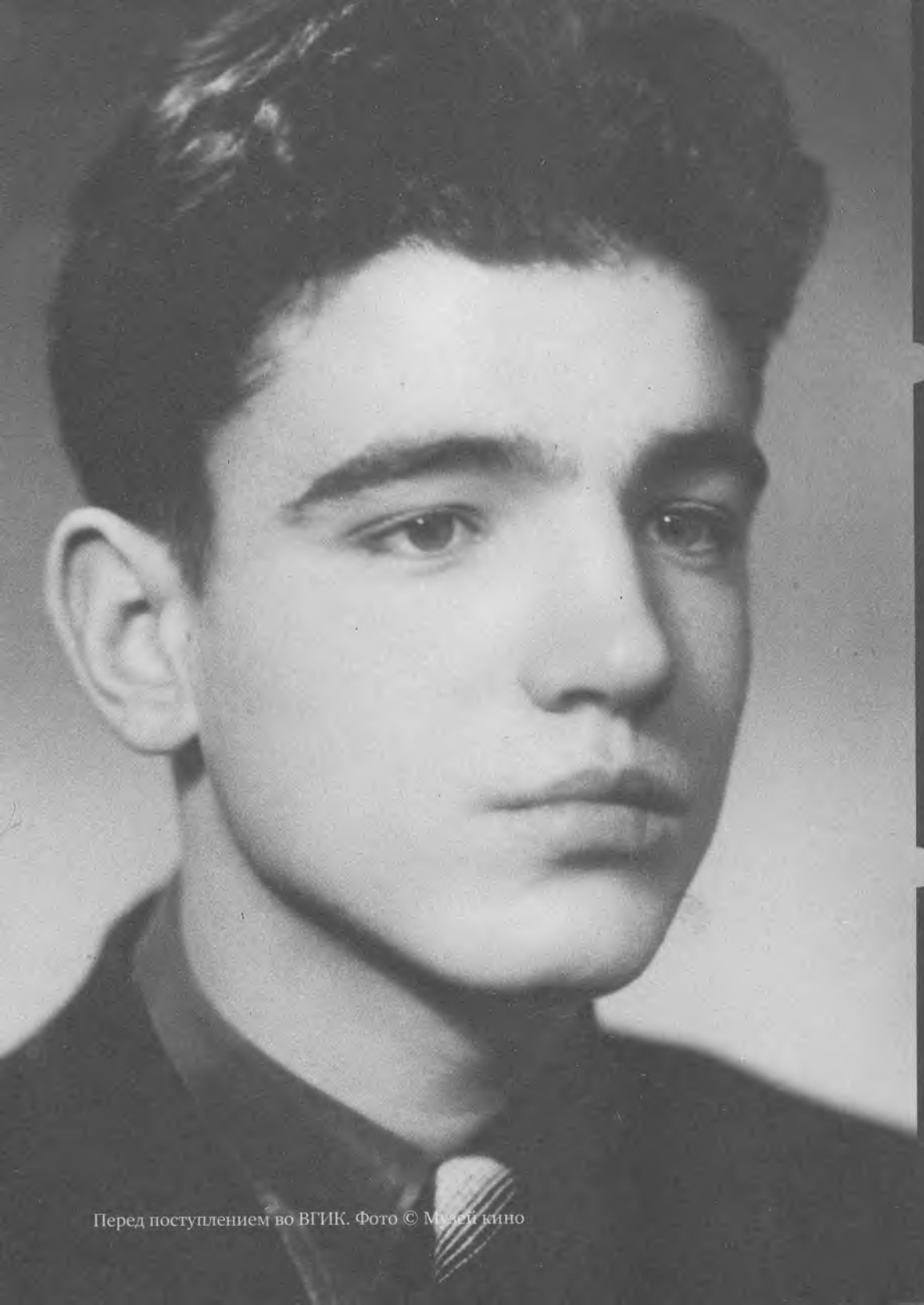
Все, кончается снег. Напиши, как ты живешь. Привет ребятам.

Целую,

твой

Гена.

26 января [1958]



Перед поступлением во ВГИК. Фото © Музей кино

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

МАТЕРИАЛЫ К ГАЗЕТЕ “ВГИКОВЕЦ” *

ЗВЕЗДЫ НА ВЫЕЗДЕ

(РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА)

105

Конечно, они приехали не сразу.

Когда всем надоело слоняться по коридорам и, зевая, разглядывать живописную мазню на стенах клуба МВД, пронесся слух:

— Артисты!

Девочки, еще недавно скромные и чинные, как первоклассницы, с визгом ринулись в зал. Жалобно затрещали двери.

Нетерпеливо гудел битком набитый зал.

Но мастера экрана не торопились.

Наконец малиновый занавес дернулся и поплыл через сцену.

Первым вышел темноволосый молодой человек с черкесским лицом.

Все начали лихорадочно вспоминать, где же он снимался.

Человек улыбнулся и весело сказал:

— А я не артист. Я режиссер.

* Публикуется по: Геннадий Шпаликов. Начало // Киноведческие записки. 2002. № 61 / Публикация Е. Долгопят.

— Нет, вообще-то я снимался. В армянских фильмах. К счастью, вы их никогда не увидите.

После такого начала он заранее извинился, что ничего яркого они нам не покажут, и если мы ждем чего-то, то это мы зря.

Он еще минуты три проторчал на сцене, занимая зал легкой болтовней, а потом решительно объявил:

— Светлана Дружинина.

Ее узнали.

Такая милая, светловолосая девушка, щурясь, стояла под прожектором.

— Я... очень смущена, — сказала Светлана Дружинина.

А после этого она довольно бойко изложила свой жизненный путь. Все несчастья и провалы, которые на нем встречались, привели в конце концов эту милую девушку во ВГИК.

Когда она уходила, ей даже хлопали.

Далее все развернулось в том же автобиографическом плане. Выходили люди и, сбиваясь, рассказывали о себе.

Воронин (к залу): — Меня вы, конечно, помните?

Зал (дружно): — Нет!

Воронин: — Это потому, что я без усов.

Недоуменный смех в зале.

Воронин (шутливо): — Это я их сбрил, когда шел к вам. (Он старательно смеется.) Моложе хотелось быть.

На этом веселая часть кончилась. И посыпались факты, фам依ии.

Ему хлопали. Но меньше.

Николая Довженко не узнал никто.

Он стоял на сцене и тщетно выпрашивал:

— Видел ли кто картину... "Это начиналось так".

Такой картины люди не видели.

Довженко грустно улыбнулся и начал рассказывать свою биографию.

Третья биография за один вечер.

Говорил он негромко.

Зал шумел о своем.

Со стороны это выглядело так:

По сцене ходит человек и беззвучно шевелит губами.

Изредка он громко интересовался:

— Я вам не надоел?

Зал не протестовал. Из вежливости, наверно.

Когда снова вышел ведущий с черкесским лицом и скорбно объявил, что из 15 актеров приехало только пять, то это никого не огорчило.

Если бы за Довженко последовало что-то похожее, творческая встреча вылилась бы в скандал.

И когда вышла Д. Смирнова, на нее смотрели с ужасом. Вот сейчас скажет, что очень волнуется, очень смущена, а потом исправно поделится мыслями "о себе". Но — Смирнова очаровала всех.

Хорошо бы кончить на этом. Люди потеплели. Зачем их мучить? А между тем объявили следующую кинозвезду.

— Дроздовская.

Она сразу обратилась к залу.

— Вы, конечно, не знаете, что такое пантомима?

— Знаем.

— Ах, разве?

Звезда пожала плечом и ушла.

Вежливая девушка.

"Под занавес" выпустили Люсю Гурченко.

Жаль, конечно, что никто не видел "Карнавальная ночь"*, но это пустяки, мы увидели Гурченко.

Гурченко:

— "Карнавальная ночь". Изумительная вещь. Я смотрела восемь раз. Теперь для меня кто-то пишет музыкальный сценарий. Все говорят — появилась новая Любовь Орлова, это про меня. Спеть вам, что ли?

Ну, ладно.

Я вам Гершвина спою за пять минут.

Она села за рояль и, импровизируя, спела что-то.

Так, в общем благополучно, закончился этот концерт. И зал, стоя, долго приветствовал замечательных мастеров экрана.

* "Карнавальная ночь" вышла на экраны 29 декабря 1956 года. (Из коммент. Е. Долгопят.)

Они скромно улыбались.
А внизу уже призывно гроыхал джаз.
Танцы были настоящим триумфом.
К Люсе Гурченко выстраивалась очередь.
Св. Дружинина заказывала песенки, и джаз повиновался.
Все было великолепно.
Танцевали звезды превосходно.
Это было лучшее, что они умели.

[ИНТЕРВЬЮ С ГРИГОРИЕМ ЧУХРАЕМ]

“Чухрай живет на Мосфильмовском переулке. Вы его сразу найдете”, — обнадеживал Шерстобитов.

Мы долго бродили между какими-то бараками по талым лужам. Темнело.

Незнакомая тетя утешила нас, что рано или поздно мы найдем этот переулок, потому что на Потылихе их всего три. Три переулка с таким названием. Проклиная Шерстобитова, минут сорок еще мы ловим прохожих, спрашиваем что-то, пока, наконец, две обыкновенные маленькие девочки очень просто и толково [не] объяснили, где этот дом.

Мы стоим перед дверью, сверяясь последний раз с бумажкой. Все правильно. Двадцать девятая квартира.

Галя Копалина решительно нажимает звонок.

Ждем.

Высовывается мальчишеская голова.

— Вам кого?

— Чухрая.

— А его нет, — равнодушно ответил мальчишка.

— Как?!

— Так. Ушел.

Все пропало. Ходили, искали, нашли — и вот, пожалуйста.

Мы сели на ступеньки лестницы и начали сочинять грустную записку. Там раз пять повторялось слово “жаль”. Мальчишка стоял в дверях и терпеливо ждал.

Вдруг мягко протарахтел лифт, и из кабины вышел совсем молодой человек студенческого вида.

Он посмотрел на наши жалкие лица и улыбнулся.

— Скажите, вы — не Чухрай?

— Чухрай.

— В самом деле?

— Конечно!

А через минуту мы сидим в небольшой комнате Григория Чухрая и уже без всякого страха разглядываем создателя "Сорок первого".

У него хорошее, открытое лицо, веселые глаза. В руках вертит маленький пистолет.

— Не бойтесь, это ненастоящий. Это — сына.

С Чухраем очень просто. Он как-то по-особенному наш, не взрослый и серьезный "мастер экрана", а свой, понятный человек.

Чухрай спрашивает, как приняли "Сорок первый" вгиковцы.

— Я тогда лежал в больнице на операции. Там кромсали меня, а у вас — мой фильм, — шутит он.

ВГИК...

— Это не просто институт, который я кончил пять лет назад*... Сейчас как-то уходит из памяти, чего стоило поступить туда, как трудно было учиться... Ну, — это дело прошлого...

Мы просим Григория Чухрая рассказать, чем он занят сегодня.

— В идеале — у меня месяц безделья. Я в отпуске. А по существу — целыми днями роюсь в сценарном отделе.

Вы знаете, это уже закономерно у молодых, что второй фильм намного хуже первого. Почему? К первому фильму мы все подходим с каким-то любимым сценарием, за который мы дрались, снять который было, ну, что ли, делом жизни. А теперь — все искать сначала. Это трудно.

Мне дали четыре сценария. Хорошие вещи. Говорят: нечего привередничать, тебе верят — снимай, и все тут... Не нужно

* Чухрай окончил ВГИК в 1953 году (мастерская М. И. Ромма). (Из коммент. Е. Долгопят.)

громких фраз, но я постараюсь никогда в жизни не делать проходных фильмов.

Чухрай рассказывает, что у него есть два сценария бывших вгиковцев. "Прокурор вернулся на Песчаный берег" Фигуровского* и Ольшанского "Я верю"**. Интересен замысел Фигуровского.

— Жаль, что он начал вдаваться в какие-то мелочи и все упростил. Я мыслил так. На место преступления приехал этот прокурор. Узнал настоящее, а не детективное. Узнал, что люди по существу невиновны. И в раздумье вернулся назад. Больше ничего не надо. Но Фигуровский не хочет переделывать. Мне жаль.

Сценарий Ольшанского "Я верю" о том, как в середине войны по вине одного человека погибает партизанский отряд. Остаются трое. Один из них — враг. Они живут в Москве.

— Далее идет чистый детектив. Психологический, умный, смело разработанный, но детектив. Честно говоря, мне такой поворот мысли не очень нравится. Заманчиво, конечно, но это не для меня.

Чухрай разводит руками.

— Как видите, я пока на мели. И с горя сам написал новеллу. Может быть, она и есть то самое, что я ищу?***

Мы спросили Чухрая, о чем он мечтает.

— Мечтаю когда-нибудь поставить в кино "Гамлета" со Стриженовым. Представляете, как он это сделает!

Потом мы просим Григория Чухрая дать любой снимок из "Сорок первого" для нашей газеты. И только для газеты...

Чухрай подходит к столику у окна и начинает рыться в ящиках.

Над столом кнопками приколот снимок. Стриженов и Извицкая смотрят в море. Там — парус.

Мы вспоминаем, как это здорово снято в фильме.

- * Сценарий, описанный Чухраем, поставлен не был. В 1956 году сценарий Фигуровского "Огненные версты" получил премию на Всесоюзном конкурсе; в 1957 году он был поставлен С. И. Самсоновым. (Здесь и далее коммент. Е. Долгопят.)
- ** Описанный Чухраем сценарий Ольшанского (совм. с женой, Н. И. Рудневой) был поставлен в 1959 году К. Н. Воиновым (фильм "Трое вышли из леса").
- *** Следующей работой Чухрая стал фильм "Баллада о солдате" (1959). Сценарий к нему он писал совместно с В. И. Ежовым.

— Вам повезло с Урусевским.

— Да. Повезло. Сейчас хорошо говорить. Мало кто знает, как вначале он считал меня мальчишкой и, в общем, не обращал внимания, что я там говорю, как мы дрались за каждый кадр... И пустыню он снял чуть-чуть с эстетством. А вообще — это мастер. Он мне страшно много дал как художник. Помните, Марютка сидит на песчаном холмике, обхватив колени. Море лижет песок. Сколько в этом всего! Это — целиком Урусевский.

Хорошо вспоминать такие куски. Это утешает, тем более, у Чухрая нет сейчас ни одного снимка.

— Вот такая пачка. Была. — Раздали в Чехословакии. А последнее отдавать жалко — войдите в положение — от первого фильма осталась одна фотография.

Чухрай показал нам письма. У него их очень много.

Вот письмо из Японии.

Любезные слова приветствия и несколько ошеломляющих вопросов.

Расскажите о своей частной жизни.

Напишите, на ком женат Олег Стриженов.

А сколько получила Изольда Извицкая за весь фильм?

Это нужно для рекламы.

Кроме Японии, "Сорок первый" купили Италия и Франция.

— А США?

— Там очень хотели купить "Сорок первый". Им это нравится. Но взамен они дают деньги. <нрзб.>

Половина шестого.

Мы, наверное, надоели Чухраю.

В дверь заглянула очень милая женщина и удивленно посмотрела на нас.

— Моя жена, — улыбнулся Чухрай.

Ну, тем более — нам пора.

Встаем, прощаемся.

— На днях я снова буду во ВГИКе, — говорит Чухрай. — Приеду, тихо зайду в какую-нибудь аудиторию и на час снова стану студентом.

КРАСНЫЙ ШАР

(РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК)

Под зонтиком, черным и шатким, прячется красный шар. Он привязан ниткой к руке светлоголового мальчугана в синей куртке.

Мальчуган несет этот шар, стараясь не отстать от широких шагов владельца зонтика.

Вокруг — фиолетовый Париж, мокрые тротуары, блестящая черепица домов и дождь. Обыкновенный дождь, который бывает летом.

Звучит спокойный человеческий голос.

Так начиналась сказка про красный надувной шар, который вдруг ожил.

Шар на фоне кирпичной стены.

В него летят камни.

Он съеживается и начинает умирать.

Он умирает, как человек.

А вот так кончилась эта сказка.

Сами видите, резиновый шарик лопнул. Это грустно. Маленькие дети плачут. Взрослые говорят: гениально.

Люди выходят из подъезда красивого здания, где висит такая доска:

ДОМ КИНО.

Это прилично одетые, серьезные люди с умными, чуть сонными лицами.

Они расходятся и разъезжаются.

Человек в светлом плаще, высокий и заметный в толпе прохожих, не торопясь идет по мостовой.

Привокзальная площадь.

Инвалид продает шары всех цветов.

Их три: грязно-зеленый, желтый и морковный. Надо понимать, что морковный — это красный шар. Так он, во всяком случае, задуман.

— Сколько стоит? — спрашивает инвалида человек в светлом плаще.

— Три рубля, — мрачно говорит одноногий. — Три рубля штука.

Человек колеблется. Уж слишком неприятны эти шары. На красном для современности нарисован голубь, символизирующий якобы мир. Но это не гордый голубь Пикассо, а толстенная уродливая птица. Причем их две. Два голубка. Целуются. Как вышивка на диванной подушке.

— Берите, — говорит инвалид. — Утешьте вашего младенца.

Человек берет шарик, расплачивается и идет дальше по перебегающей улице. Так же, как в Париже, моросит дождь. Качаются зонтики, похожие на цветки. Взрослый, серьезный человек с шариком в руке выглядит нелепо. На него обращают внимание. Он стесняется.

Очевидно, вспомнив, как бродил по Парижу киномальчуган, человек пробует спрятать свой красный шар под зонтик прохожего, но тот, негодуя, отходит в сторону.

Человек нервно смеется и продолжает шагать по лужам.

Дождь усиливается.

Человек стоит на троллейбусной остановке в хвосте длинной очереди. Шар — в правой руке.

Подходит троллейбус, обрызгав людей. Он битком набит. Все спасаются от дождя и, ожесточенно пихаясь, безо всякой очереди лезут в дверь.

Человек стоит в стороне, не решаясь слиться с этой кашей.

Он стоит в подъезде большого дома.

Он уже весь промок и смотрится очень жалким с этим красным шариком.

Мимо проходит женщина с авоськой.

— Почем шарик? — спрашивает она.

Человек вздрагивает и устремляется дальше.

Он спускается по эскалатору в метро среди мокрых плащей и спин.

Он вскинул шарик над головой, потому что слишком много людей вокруг и они могут его раздавить.

Человек выходит из метро.

Дождь кончился. Через площадь — старый дом. Цветные пятна окон. Откуда-то несутся противные голоса. Хором поют эти проклятые “Подмосковные вечера”.

После дождя все население дома высыпало на улицу.

У подъездов на скамейках сидят, как на насестах, женщины. Они оживлены.

Человек стоит у метро. Он держит в руке красный шар.

Это его дом. И он стесняется. Он никогда не приносил домой красные шары.

Вокруг идут люди.

Человек [смятенными] глазами смотрит по сторонам. Он ищет выход.

Рядом женщина продает газеты. Газеты белой стопкой лежат на мостовой.

— Что вы смотрите? Заверните свой шар в газету. Как арбуз.

Человек торопливо покупает газету и, комкая, заворачивает в нее красный шар.

С таким нелепым и большим свертком он быстрым шагом проходит через двор к подъезду.

Дверь открывает мальчишка. Это сын человека. Он очень славный, светлоголовый, с умными глазами.

Мальчишка срывает газету.

Шар. Он уже не красный.

Он бурый, полинялый. Вся морковность осталась на газете.

Голубки смазались в неопределенность. Теперь это одно сплошное, белесое пятно, похожее на кляксу.

Но мальчишке не до внешних признаков. Он несказанно рад бывшему красному шару. Он упоенно носит с ним по комнате. Прижимает его к щеке. Щека моментально пачкается.

Мальчик лежит в кровати. Темно.

Шар привязан к спинке стула. Он едва освещен светом фо-наря.

Это был обыкновенный шар. Не красный. Не поэтичный. Его сделал частник-инвалид. Срок жизни — сутки. В двенадцать часов он лопнет. Кустарная промышленность.

Шар равнодушно стынет под равномерный перестук часов. Двенадцать раз бьют часы, и он спокойно лопается.

Очень спокойно и очень просто. Никакого героизма. Шар, превратившись в бурую тряпку, повис на нитке.

Мальчик сидит в кровати, растерянный, в белой рубашке, и буйно плачет, растирая слезы кулаком. Останки шара лежат у него на коленях.

Комната — в солнце. Она пуста.

Звонок в дверь.

Мальчик, не переставая плакать, идет к двери, волоча за собой на нитке то, что было красным шариком.

— Кто там? — спрашивает он

— Открой, не бойся. Я добрая фея.

— Вы из домоуправления? — давась слезами, спрашивает мальчик.

— Нет, я добрая фея, я волшебница, — терпеливо объясняет женский голос. — Открой!

Мальчишка, поколебавшись, открывает дверь.

В комнату входит фея.

Женщина с плаката. Или рекламы.

— Я все знаю, — говорит фея. — Твой папа купил шар у частника.

Она поднимает шар, комкает в руках.

— Вот он и лопнул.

Мальчик горько плачет.

Фея гладит его по голове.

— Не плачь, — говорит фея, — я помогу тебе. Это моя профессия.

Она тянет его за руку.

Они спускаются по лестнице. Мальчишка бежит вниз, путаясь в длинной рубашке

Они бегут по улице, расталкивая прохожих.

По лестнице поднимается человек.

Он отпирает дверь. Комната пуста.

Они идут и видят детей с красными шарами, мальчик провожает их завистливыми глазами:

— Откуда у них красные шары? — спрашивает он.

“Покупайте детям красные шары только в игрушечных магазинах!”*

ПАМЯТИ В. К. ТУРКИНА

Это случилось неожиданно, в середине дня, в пятницу. Многих из нас тогда не было в институте. Узнавали наутро, не верили — слишком все это врасплох.

А теперь нужно писать — он был. Он приходил. Смеялся. Ругал. Советовал.

Он терпеть не мог прошедшего времени.

Полтора года назад был вступительный экзамен, и он хрипловатым, отчетливым голосом читал нам отрывки из “Хмурого утра”. Потом мы часто слушали, как он читал. Он любил на семинарах брать из рук студента работу, читать ее громко.

Мы пришли в институт молодые, невежественные, мы много не знали, а он был снисходителен. Он прощал нам очень многое, потому что верил.

В самые серые буднишние понедельники, когда была зима, и по утрам было темно, и мы еще сонные шли к нему на лекции, он встречал нас очень свежий.

Он очень любил жить, смеяться, придумывать, и смерть не вяжется с ним. Он не мог умереть, такой веселый, большой, добрый.

В памяти остались мелочи и незначительное, как улыбался при встрече, как выходил из института в расстегнутом пальто

* Текст “рекламного ролика” составлен нами из двух неполных черновых вариантов.

и спрашивал, почему я сегодня невеселый, как он советовал каждому читать “Поэтику” Аристотеля.

Он умер в пятницу, а в субботу мы должны были сдавать ему экзамен. Еще вчера он читал рукописи, правил их, возмущался, радовался. Он был с нами. Теперь его нет.

Мы потеряли очень хорошего, славного человека и мастера.

МОЯ РЕЧЬ НА КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ В КОНЦЕ ГОДА

Пусть мне простят уважаемые присутствующие — я буду говорить о себе, о своей пьесе и о театре, которого никогда не существовало. Пожалуйста, не улыбайтесь, я не стану просить у нового бюро, чтобы мне заплатили денежную премию, и вообще ни о чем я просить не буду.

Все началось, если вы помните, в середине прошлого года. В нашей газете появились статьи, какой нам нужен театр — сатирический, молодежный, профессиональный. Мнения разделились. Валуцкий и Шорохов, полемизируя и называя друг друга на “вы”, создавали видимость дискуссии. Итак, была дискуссия о театре, о пьесе. Сошлись на том, что театр нам нужен и нужна какая-нибудь пьеса. Теперь я знаю, что это не так. Нам не нужен ни театр, ни пьеса. Но тогда несколько мечтателей, в том числе и я, написали по пьесе, и в результате несмелой конкурентной борьбы (всего это три или четыре автора) моя пьеса была принята к постановке. Я не боюсь этого громкого слова, потому что это было так. Я помню этот день, вернее, было это уже вечером 18 марта, когда собрались комитет комсомола, оргкомитет театра, представители, как у нас принято говорить, общественности и актив, когда пригласили режиссера, художника и сразу двух администраторов.

Все было до того приятно и хорошо, что, когда мне сказали — ты им не очень верь, это комсомольский энтузиазм, он быстро проходит, — я все равно верил. Но все, что было дальше, уже не радовало и не обнадеживало. Комсомольский энтузиазм кончился. Сменилось бюро. Иногда в коридорах я встречал Шо-

рохова. Мы отчаянно улыбались друг другу и проходили мимо. Наступили будни. Пьесу отказались, под различными предлогами, печатать на машинке. Это было необходимо, и около месяца Кривошеин бегал с рукописным экземпляром пьесы по всяким организациям — в профсоюз нести он отказался, — тем это кончилось.

Я могу сказать — пьесу никто не печатает до сих пор. То, о чем говорили на прошлом собрании, о чем дискуссии в газетах, носил по коридорам в синей папке, и всем было глубоко на это плевать.

Так продолжается с марта по май — три месяца. Кто-то уже разучивал роли. Левенталь написал прекрасные эскизы декораций. Но в общем ничего еще не было, все, что делалось, носило характер если не заговорщический, то, во всяком случае, очень грустный характер дела, которое никому не нужно. В подтверждение этому однажды в мае повесили внизу афишу, в которой обращались ко всем, кого волнует судьба театра. Таких просили собраться в 318-ю аудиторию. Собралось, как я помню, человек шесть. Выглядело это смешно. Ни о каком театре мы не говорили, конечно. Мы вообще ни о чем в особенности не говорили и разошлись в 12 часов 10 минут. Я к этому времени никакими иллюзиями себя уже не тешил. И в общем-то даже не огорчился.

Потом, в связи с тем что мне собирались уплатить премию, пьеса попала к М. А. Строчкову. Он ее прочитал. И еще несколько человек прочитало. Мнения разделились. Одни говорили, что существует у нас в институте такая группа людей, которые подбивают Шпаликова на создание подобного рода пьес. Другие говорили, что Шпаликов занимается тем, что разлагает какую-то группу студентов своей пьесой. Вот было таких два мнения. Я знал еще мнение своих мастеров, которым пьеса тоже не понравилась, но они во всяком случае указали мне на какие-то вещи, которые я мог бы исправить. Кстати, т. Строчков, во всяком случае разговаривая со мною, считал дело с пьесой небезнадежным. Правда, в разговоре с Медведевым и Кривошеиным он высказался иначе.

Я прекрасно знаю суть тех обвинений, которые мне ставят. Я не буду о них говорить, это длинно, очень путано и очень для

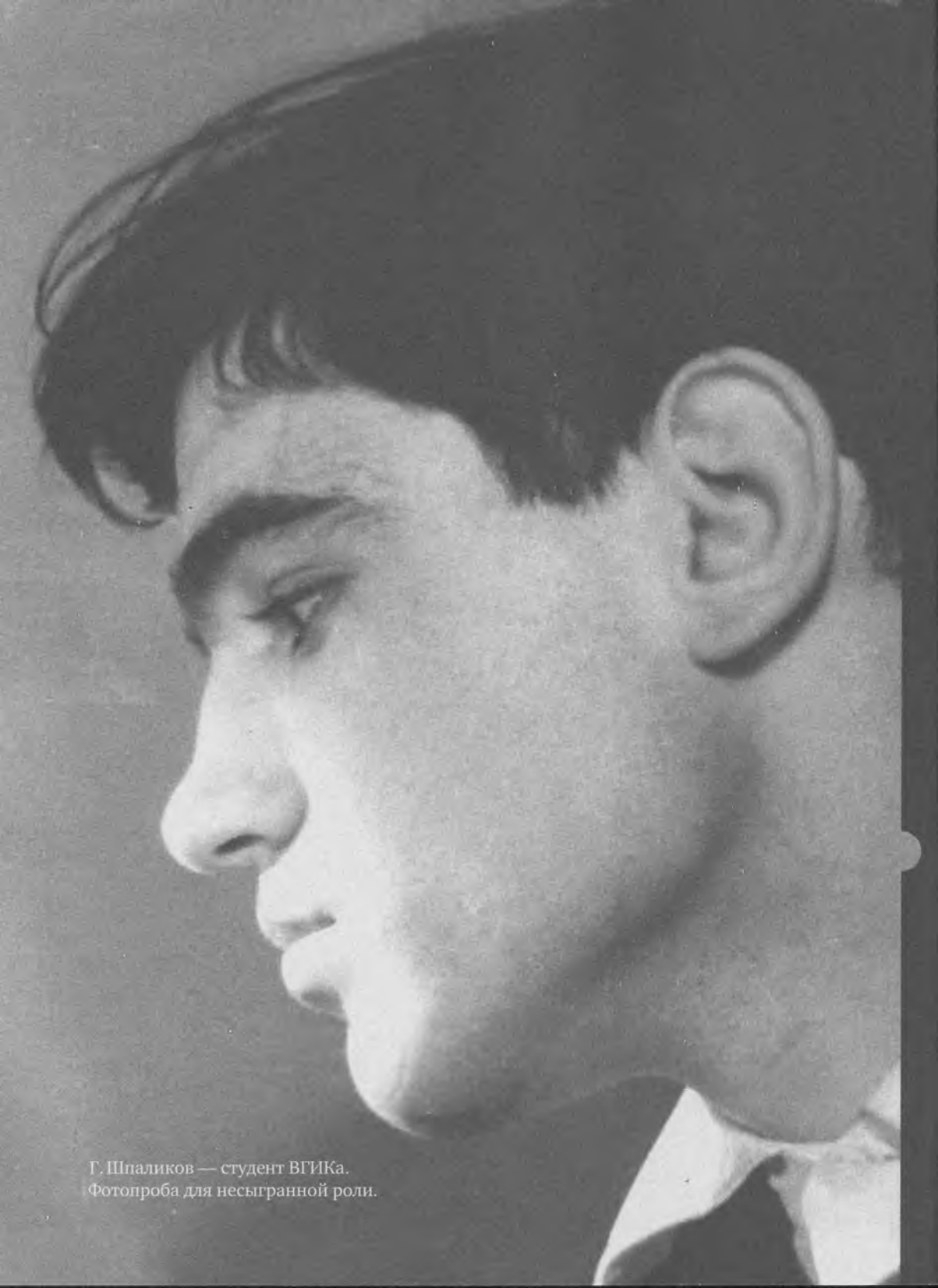
меня неприятно. Я хочу сказать, что была, я уверен, возможность договориться по пьесе и по театру.

Это небезнадежно. Но ничего этого не было, но спорить никто не хотел, вмещиваться в это дело ни у кого желания не было. Один на один сражаться не стану, и вообще о единоборстве не может быть и речи. Когда Медведев, новый секретарь, сказал об этом Шорохову, старому секретарю и, отчасти, автору всей этой истории с конкурсом и театром, то Шорохов махнул рукой и сказал, что год все равно кончается, и день сегодня жаркий, и пойдемте лучше пить пиво. Я собрал имеющиеся три экземпляра пьесы, отнес ее домой, и все на этом кончилось. Я не знаю, на каком этапе Медведев разговаривал с Игорем, может быть, уже на том, когда решалось дело, которое, как тогда говорили, интересует всех.

Говорить сейчас об этом и неинтересно, и довольно грустно. Я лишь убежден, что самое здоровое начинание у нас в институте и без насилия превращается в спущенный шарик, который несколько дней может трепетать, надутый липовым энтузиазмом. Дело, прекрасное по своей <нрзб.> — театр, было провалено по вине тех, кто его начал.

В заключение я хотел бы сказать, что, наверно, и на этом собрании в его решении будет много красивых и благородных слов. Будет много предложений. Я бы попросил товарищей строже отнестись к этому.

Вы знаете, что существуют парламентские обязательства и обещания президента или рядовых сенаторов. Они могут обещать, например, выстроить мост на Луну или осушить часть Атлантического океана под кокосовые пальмы. Но их просьбы ничего не меняют. И нет ни моста до Луны, и по Атлантическому океану ходят пароходы и плавают киты.



Г. Шпаликов — студент ВГИКа.
Фотопроба для несыгранной роли.

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ИЗ ДНЕВНИКА 1957–1958*

■ ■ ■

...Женщина из Ренессанса. Всю жизнь она любила одного иностранца. Звали его Шекспир.

■ ■ ■

Куда как приятны прогулки весной...

Пыльный город. Солнце палит. В троллейбусе духота и люди с потными лицами смотрят осоловело.

Я иду через Тишинский рынок, обдаваемый пылью и ветром. Продают морковь, грязные кочаны капусты и, кажется, больше ничего.

Нет, вот в тени под навесом влажно поблескивает брусника. Хотел купить — не было денег. До ощутимого почувствовал вкус ее кислоты и свежесть.

Рынок был как рынок.

Рядом, за забором, сносили дом. Деревянный сарай первой пятилетки. Ломали безжалостно. Падали балки и перекрытия, осыпалась желтая пыль штукатурки. Дом стоит как бы разрезан-

* Публикуется по: Шпаликов Г. Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники. Письма. Екатеринбург, 1998.

ный. Я вижу обои с темными пятнами от картин и шкафов. Это похоже на вид после бомбежки.



Балерина. Фаянсовая. Может быть, из "Лебединого озера" или еще из какого балета. Очень... поза. Обратите внимание — вид сзади. Римские ноги. В руках балерина сжимает розочку, отображая этим движением мысли и возвышенные чувства.

Эмоциональное воздействие на гостей гарантируется. Ставить следует ее на всякие видные места. Например, на пианино, рояли и другие музыкальные инструменты.



ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

122

Всю ночь его пытали и мучили.

К двум часам дня, в пятницу, 19 апреля он полез в гору, прижатый к земле тяжелым крестом.

Ровно в два часа его пригвоздили к этому кресту, и очень быстро он отошел в лучший мир.

Это было так давно, что никто уже толком не знает, когда это было.

Человека этого звали Иисус Христос. Был он сравнительно молод (тридцать три года), благочестив и имел учеников. Один из них, по фамилии Иуда, выдал его.

Очень жаль.

И с тех пор миллиарды верующих с воплями встречают эти дни.

Два часа — вынос икон.

Вечером — его похороны. В два сеанса — в шесть и в двенадцать.



На выставке, в Пушкинском музее.

Двое грузин снимали друг друга на фоне Пикассо.

■ ■ ■

Шли по улице женщины в белых чулках — как из гроба.

■ ■ ■

Я сидела перед ним почти голая. На мне были трусики, и такие мягкие, беленькие и мокрые. Все прилипло — очень неудобно. Он стоял передо мной в тяжелом пальто и старался выглядеть злым. Он был начальник пляжа. Я потеряла свой номерок от вещей. Было уже шесть часов вечера, все ушли, пляж был пуст и походил на брошенный лагерь.

Только начальник мог выдать мне мое платье и все остальное. Его вызвали с дачи, с того берега реки. Вызвали прямо от каких-то дел. Он очень переживал. Я тоже. Но не сидеть же из-за этого всю ночь на холодном песке и в одних трусиках. Мне было неудобно, но что делать!

Начальник поморщился и сказал человеку, который стоял позади:

— Дайте ей все, пусть только уходит.

■ ■ ■

Троллейбус со стеклянной крышей ходил по апрельскому городу. Пассажиры смотрели Москву, а Москва беззастенчиво разглядывала их. Они сидели на своих высоких сиденьях, совершенно открытые любому, даже нелюбопытному взгляду.

■ ■ ■

Старый серый дом со всех сторон обтянули ниточками канатов. На канатах должны были поднимать в качалках маляров. Но пока был вечер. И в сумерках большой нелепый дом первой пятилетки казался Гулливером, которого лилипуты пытаются положить набок натянутыми канатами.

■ ■ ■

Была она тщеславна. Предложил как-то снять ее и, напечатав штук сто открыток, распространять их в метро, трамваях и в электричках. Она согласилась. Очень ей понравилась мысль.

■ ■ ■

Поставили памятник Ленину. На цоколе — длинная надпись с перечислением титулов его и заслуг перед человечеством. Ужасно глупо.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

■ ■ ■

124

История с натурщицей.

Красивая и молодая. Изящная, когда молчит. Изящная, когда раздетая стоит на эстраде. Валеркины мысли о ней. Проводы в электричке куда-то за Перово, ночные провожания, из которых выясняется, что дура она непролазная. Кончить так: Валерка отошел, он стал лишним и чужим, потому что понял. А она? Ее провожает уже другой, такой же тонкий юноша и талантливый живописец, совсем теленок перед двадцатилетним телом молодой дуры.

Вот так.

■ ■ ■

Одна девочка, которой исполняется на днях девятнадцать лет, говорит следующее по поводу своих накрашенных губ:

— Не будем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача.

У нее мальчишка, знакомый, уехал из института на полгода с приисковой партией, и все зовут ее Вдовушкой.



Шла матросская вдова в полосатом пальто.

ФОРТОЧКА

Максим приехал в Ленинград вечером. Тетка на вокзале предупредила:

— Бабушка твоя Серафима больна, и очень серьезно.

Максим сочувственно замахал головой и заторопился в такси.

Седьмого ноября весь день прошел в суматошных прогулках по мокрому, шумному городу. К вечеру Максим забежал домой и тут впервые он увидел бабушку Серафиму. Бабушка вышла из своей комнаты, худая, длинная, с пожелтевшим лицом. Она ткнула в Максима пальцем и, щурясь, спросила:

— Максим?

Тетка Шура, которая стояла рядом, подтвердила.

Тогда Серафима Антоновна притянула Максима за подбородок восковой, липкой рукой и спросила:

— Ты давно женат?

Максим, испуганный и смущенный, молчал.

Тетка Шура, поддерживая бабушку, заторопилась объяснить:

— Что вы, мамаша, Максиму же четырнадцать лет!

Бабушка Серафима недоверчиво вскинула мутные глаза, обведенные кругами, и вдруг икнула. Максима бросило в холодный пот. Он почувствовал, что сейчас закричит и понесется по лестнице вниз, как стоит, без пальто, в домашних туфлях, лишь бы не видеть этой страшной бабушки. А она, отыкавшись, снова ткнула в него пальцем и снова спросила:

— Максим?

Тетка Шура увела ее в комнату, где она лежала. Это была комната бабушки. Максим ушел на всю ночь.

Утром, часов в девять, позвонил телефон и кто-то растолкал спящего Максима. Максим в кальсонах прошелся через тела на полу в переднюю, где стоял телефон.

— Да?

— Максим?

— Я.

— Максим. Слушай.

— Я слушаю.

— Ты не волнуйся. Слышишь.

— Я не волнуюсь.

— Возьми себя в руки, Максим.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, что ты. Все очень хорошо, но твоя бабушка Серафима ночью умерла.

Максим не хотел ехать к тетке Шуре. Скажем прямо — он не любил мертвых. Бабушку Серафиму он не любил в живых и боялся увидеть ее в гробу. Он сидел у товарища, крутил пластинки, и все утешали и жалели его. Праздник был испорчен. Все с такой грустью разглядывали Максима, стараясь узнать, как борется с горем человек и каково ему приходится, когда он в горе.

Максим изображал горе. Он был мрачен, молчал и отвечал невпопад.

Как выяснилось, бабушку Серафиму он видел всего два раза. Первый — когда родился.

И второй — вчера, перед самой ее смертью.

В два часа дня на такси прикатила тетка Шура. Она прикатила за Максимом. Выхода не было. Пришлось уезжать к телу бабушки. В машине Максим тревожно поглядывал в окно — они приближались, и очень быстро.

Вот дом.

Подъезд.

Лифт, дернувшись, поплыл к небесам восьмого этажа.

Стоп.

Стоят перед дверью. У Максима подергиваются коленки.

В квартире тетки Шуры было много людей. Они шептались о чем-то в передней, вытирали слезы и поглядывали на часы.

Тетка Шура сказала:

— Бабушка в своей комнате. Максим — иди. Простись.

Максим сказал:

— Хорошо. Я пойду прощусь с бабушкой в ее комнате.

Он сделал неловкий шаг и замер в дверях.

Бабушкина комната была длинная и узкая. Почти вплотную к окну, ближе к левой стене стоял гроб, тоже длинный и узкий. Справа — стол. На столе бабушкины любимые вещи, и венчальное платье, как человек в белом, раскинуло свои рукава.

Максим ничего не видел, кроме бабушкиного лица. Оно было....

Максима замутило, и он вышел.

Вся комната, казалось, пропахла чем-то трупным. На самом деле это был эфир. Максима вытошнило на кухне.

Он ушел в кабинет дяди и свалился на диван. Потом в дверь постучались.

Просунулась голова т[етки] Шуры.

— Тебе лучше, Максим?

— Да, лучше.

Тетя еле... в комнату.

— Максим! Я прошу тебя сходить в комнату Серафимы Антоновны и открыть форточку. Там очень душно.

Максим, не соображая, механически:

— Хорошо, я сейчас пойду в комнату Серафимы Антоновны и открою там форточку.

Он встал и сделал шаг. По пути понял, кто такая Серафима Антоновна. Понял, но возвращаться было поздно. Он вошел в комнату и двинулся к окну. Между гробом и столиком был узкий коридор к подоконнику.

Максим боком, отвернувшись от гроба, осторожно переступил к окну. Позади был гроб с Серафимой. От этих мыслей щемило в груди. У самого окна он развернулся, и случилось страшное.

Он задел локтем гроб. Гроб зашатался. Максим в ужасе отпрянул и — застыл. Нижняя челюсть бабушки Серафимы отвалилась. Бабушка открыла рот, полный вставных зубов. Максим взвизгнул и скрылся без пальто, без шапки и в домашних туфлях, которые принадлежали дяде.

Ночью, в два часа, он уезжал в Москву на “стреле”. Тетка принесла ему вещи прямо на вокзал. Там же он вернул ей туфли и пижамные штаны.



На Пасху пришел Митрич с красным яйцом и ошеломляющей новостью.

— В Китае, слышали, не 800 миллионов жителей, а всего пять тысяч, и те умирают от болезней и голода.

Я радостно засмеялся, а Митрич, нахмутив брови, спросил:

— Не веришь?

— Нет, почему не...

— Ладно, — протянул Митрич. — Мы еще вам устроим...



Человек, который последним в городе снимал теплые кальсоны (памятник).

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ



Вокруг марсианского домика, который назывался Планетарий, было дико, темно и страшно, как в средневековье.

Из астрономического городка доносились вопли, похмельные, не инквизиторские.

Эти молодые, крепкие сердцем и умом люди, которые могли еще раз сжечь Д. Бруно и, уж конечно, ни за какие такие слова не выпустили бы Галилея из тюрьмы. Они сожгли бы его на костре. Сейчас они все вместе пытались столкнуть с пьедестала гипсового человека с глобусом в одной руке. Человек стоял плотно. Молодежь кидала в него кирпичи, камни, булыжники и еще другие тяжелые предметы.

А на скамейках, в стороне, шел весенний кобележ. Там было темно и никто не стеснялся. Дома они говорили мамам и папам: "Мы пошли в планетарий!" Они любили астрономию, и это была хорошая тайна.

А на доске перед входом было написано, что 23–29 апреля невооруженным глазом можно наблюдать "новую яркую комету".



Он ехал в троллейбусе и через каждые пятьдесят — сто метров кричал в окно мужские имена.

Сел я ближе и все понял. Человек знал всех постовых регулировщиков по именам. Он, наверное, сам был регулировщиком, только в отпуске.

Все было замечательно, но его коллеги не реагировали. Они продолжали махать палками. Это было обидно. Их звали, и даже по именам, а они не отвечали никак. Вообще, мне понятно почему.

Человек крикнул:

— Мишка!

Мишка молчал. Мишка был толст, солиден и багров от жары. Мишкой его звали тысячу лет назад, когда он был маленький.

Человек прокрикивал три или четыре остановки — и все — безрезультатно. Его жалели. И вдруг — удача!

— Костя! — позвал человек в окно. — Костя!

И Костя среагировал.

Он повернул голову в фуражке и улыбнулся.

Это заняло секунду. Может быть, — меньше.

Но человек — сиял. Пусть все знают, кто едет в этом троллейбусе, среди этих, обыкновенных граждан, пешеходов в жизни и нарушителей уличного движения. Среди них едет товарищ, который близок к высшему свету регулировщиков.



Он ехал на велосипеде с керосиновым двигателем. В этом было что-то унижительное.



Один час ночи.

Продавщица газированной воды в остроугольном капюшоне плаща считает мокрую мелочь — выручку за день. По тихой темной улице медленно едет автобус. Это милицейский автобус. Меняются постовые. Автобус останавливается на световом

пятне (через каждые сто метров — фонарь, под фонарем — по-
стовой). Кто-то прыгает в автобус, кто-то остается на пустой
улице.

■ ■ ■

Серьги, похожие на планету Сатурн.

■ ■ ■

Возле дерева, на котором, по преданию, повесился последний
китайский император династии Мун, устроили распродажу по-
держанных вещей.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

Фабрикант малогабаритных будильников, член Общества борь-
бы за здоровый быт подростков и почетный его председатель
Порфирий Целамудриков (подпись).

130

■ ■ ■

Женщина в платье из красного бархата с белыми от пудры
плечами. Она поет в кинотеатре романсы из цыганской жиз-
ни. Сама она — генеральская вдова. Похоронив мужа, пришла
на эстраду.

Афиша

Генеральская вдова, а также известная
исполнительница цыганского романса

Аполлон Рыжик
Жонглер на лошади

М. Егоров
Оригинальный номер

Л. Д. Винчи
Дрессировщик собак

Сестры Судакевичи
Забавные обезьяны

М. Жемчужный с лилипутами
[надпись вертикально на полях в рамке]

А также в программе заняты дрессированные кони
и ослы под руководством и при участии
Степана Лялина.

Весь вечер на манеже забавляет
и веселит популярный советский клоун
Чарли Чаплин
(Карандаш)

Программу ведет
Модест Милюков
Спектакль делали художники
А. Серафимов и К. Караев.
Зав. музыкальной частью:

П. Кук
Дирижер
Т. Сконины
Зав. электроцехом
Х. Мастеровых
Руководитель цеха униформы
Ив. Щепкин
Зав. постан. частью
В. Кисс
Машинист сцены: С. Сукин
Главный режиссер
Филимон Жерардов

ИЗ ДНЕВНИКА
1957–1958

131

■ ■ ■

Имеется в продаже
шапка
фасона "Тоголь"
(из овчины)

Тоголь из овчины [надпись наискосок, обведена в рамку]

■ ■ ■

Пьеса (драма), забытая в уборной.

■ ■ ■

Германию выдумал Гейне.

■ ■ ■

Напротив было окно, в котором никогда не гаснет свет. Всю ночь окно светится желтоватым пятном на темном фоне. Там живут молодожены. У них ребенок. Маленький. Он не спит по ночам. Супруги по очереди таскают его на руках. Только в таком положении он спокоен. К утру он засыпает и спит весь день, чтобы ночью снова светилось это окно напротив.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

132

■ ■ ■

Английский священник Джон Лайтфрут высчитал, что первый человек сотворен богом в девять часов утра 23 октября 5004 года до нашего летоисчисления.

Это было около семи тысяч лет назад.

Этим человеком был Адам. Тот самый легендарный Адам, от которого все началось. Говорят, что кости его нашли чуть позже, закапывая Иисуса Христа. Может быть, это так. Я не знаю. "Не думаю", — сказал бы Зощенко. Что-то мне сомнительно. Зарывали. Ночью. Спешили. Могли спутать. Мало ли всяких костей в земле! Череп и кости Адама были найдены, и что совершенно научно доказано, одним тружеником-ученым по фамилии Эжен Дюбуа. Он нашел их на острове Ява на глубине пятнадцать метров.

Кто же такой был Адам, первый человек?

Это печально, но наш общий предок не отличался ясным умом. Для этого ему не хватало многих кубических сантиметров мозга.

И меня не утешает, что его черепная коробка уже тогда была в два раза больше, чем у рядовой обезьяны.

Адам был в два раза умнее орангутанга.

Это не так много.

Жил Адам в доледниковый период. Вероятно, это был здоровый физически, волосатый людоед.

Дюбуа назвал его питекантропом. И правильно сделал. Адам, первый человек, не был человеком в полном смысле этого слова. Человек появился позже. Через миллион лет. Маркс (или Энгельс) писал, что человек начался с труда. Он сделал себе дубину и стал человеком. Мне кажется, это неверно. Человек начался со штанов. Застегнув штаны, он стал человеком. И не так важно, какие это были штаны, из чего сшиты и как они застегивались. Это были штаны, и они сделали человека. Адам не дорос до штанов. 900 куб. сантиметров мозга — это все-таки слишком мало. В штанах человек мог творить великое искусство. Он мог писать стихи, быть полководцем или диктатором. Мир распахнулся настезь перед человеком в штанах. И он шагнул в этот мир, застенчиво улыбаясь.

Так все началось.

Он был настоящим Адамом, этот первый человек в штанах. Конечно, он, а не доледниковый волосатик, череп которого нашли на глубине 15 метров на солнечном о. Яве.

Дальше все пошло просто и малоинтересно.

Были войны, революции, половина человечества, одетая в штаны, полегла на разных полях за каких-то дураков и во имя каких-то идей. Другая половина оставалась жить, размножаться и более или менее процветать. Периодически происходили чистки. Словом, ничего нового. Все это знают из учебников, а кто не знает — тем лучше, хотя разницы большой нет: знает — не знает...

Никто ничего не знает.

Современное человечество по цвету кожи делится на три основные расы — белую, черную и желтую. Есть еще и четвертая — красная, о которой почему-то молчат.

Три цвета — это непонятно. Это пятно. Загадка.

Какого цвета был первый человек в штанах?

Этого никто не знает. Во что он верил, кому молился?

Христу? Магомету? Или еще кому?

А кто его, в сущности, знает.



Меняться надоевшими городами и видами на залив, или костел, или гору Монблан. Меняться, чтобы чужое опротивело, как родной переулочек и афиши на заборе, чтобы стал скучным не только твой город, твой дом и твоя лестница — весь мир. Такова цель путешествий, и, честное слово, это замечательно.



Долго ехал спиной вперед, и виды плыли из-за спины. Потом шел как принято — и меня тошнило.



ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

134

Прости-прощай, все это красивое и первое. Как началось, с чего — за день до экзаменов на последнем сеансе я увидел девушку и был ужасно взволнован всем, что она делала, как говорила, смеялась и смотрела. Позже, днем, она шла легкая, в зеленой кофточке, освещенная солнцем. Шла и с кем-то разговаривала, улыбаясь точно так, как сотни раз потом. Я иду вслед за памятью и вижу вечер, и склад, и мы перетаскиваем картошку в корзинах. Ты в куртке и в косынке, и всю ночь мы ничего не делаем полезного — мы смеемся, выпрашиваем... холодные арбузы, и ты сидишь рядом со мной на крыше склада, и я еще не знаю тебя и говорю тебе "вы". Мы едем втроем в пустой утренней электричке, ты — напротив меня, у тебя молодое прекрасное лицо, и ты рассказываешь веселым голосом, как умерла девушка молодая, талантливая, и после нее остались письма. Я, не вслушиваясь, киваю головой и смотрю, смотрю, запоминая тебя.

А потом, позже, мы идем с тобой между белых деревьев в таком снегу, как в сказке, и снег падая, засыпает наши следы. И вечером ты уезжаешь, это уже другой вечер, я боюсь опоздать и бегу вдоль платформы к третьему вагону, и ты стоишь, улыбаясь. А потом мы идем проклятой привокзальной площадью, и у меня все пусто внутри, и я не знаю, что бы отдал и сделал — как мне хотелось ехать в одном купе с тобой и смотреть в окно. Письмо из Ка-

менска не мне, другому, подробное, немного бестолковое, с приветами в конце. И день — через месяц, когда ты крикнула: “Тена!” И я увидел тебя на лестнице и был рад безотчетно весь день. Следующее время, потом была весна и Первое мая, и ты в белом платье танцуешь с кем угодно, только не со мною, а я, серьезный и грустный, уезжаю в пустом еще троллейбусе без тебя. И пыльный весенний день в середине мая — твои открытые руки белые, твое лицо взволнованно, и снова ты такая легкая, готовая улететь.

Последний год в институте был сдержанней, и проще, и приятней. Я помню, как 7 ноября я ехал домой перед вечером, ехал с другой и собирался быть весь вечер с другой, и она ждала этот вечер. Но из дверей, освещенная и усталая, с покрасневшими глазами, выходишь ты, и я все забыл — я стою рядом с тобой, говорю с тобой, я вижу, какая ты красивая, и я целый вечер танцую с тобой, и ты не уходишь никуда. И позже мы встречались часто и дружески, и всегда я забывал все на свете, потому что ты была важнее, чем все на свете, и ты знаешь это.

Мне тяжело в будни и плохо, будни затягивают и портят. В будни мы встречались как-то второпях, на лестнице, ты так устала за день, что и улыбаться не могла. И мы весь вечер сидели среди пальм и пьяных вокзального ресторана, а потом ехали в такси далеко-далеко, где деревянный домик с калиткой и деревьями в снегу, где живешь до сих пор ты.

■ ■ ■

Барабаны били так, что хотелось идти на войну.

■ ■ ■

Летал во сне между гор, обитых, как стулья в его комнате.

■ ■ ■

Мама приехала утром в шесть часов. Красивая и загорелая, как середина июля. Я открыл дверь и потом зевал до восьми часов, не в состоянии заснуть. Мама вымылась и в халате причесыва-

ла мокрые волосы, поставив зеркало на подоконник. Она сидела вся освещенная солнцем, в голубом халате.

— Мне приснился страшный сон, — говорила она. — Я видела нашу комнату и пятнадцать пустых бутылок на столе.

— Какие были бутылки?

— Из-под водки. Пятнадцать бутылок — меня трясло до утра.

Я молчал, думая: неужели бывают вещие сны? За день до маминого приезда, то есть вчера утром, я сдал 15 бутылок из-под водки. Ровно 15 — ни больше ни меньше.

■ ■ ■

Мне снилось, что в меня стреляют; я проснулся, и рука моя лежала на животе.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

■ ■ ■

136

По мужской части ничего помочь не надо?

■ ■ ■

Вечером, в прекрасную мокрую погоду напротив ресторана “Пекин” человек в темном пальто расквасил лицо своей женщи-
не. Она была в синем костюме с глубоким вырезом на груди, лицо бледное, волосы светлые и кровь на губах, подбородке и щеке. Он кулаком, короткими ударами, загнал ее к стене, и она даже не кричала, а только плакала.

■ ■ ■

Мой знакомый, дантист по профессии, узнал, что в деревне умерла его двоюродная сестра. Он ее и в глаза не видел и в деревне той не был сорок лет, но напился по этому случаю вдребезги и третьи сутки лежит поперек зубоврачебной комнаты лицом вниз и горько рыдает.

— Что ты плачешь? — спрашивает жена.

— Жалко Аню, ах, как жалко!

- Какую Аню?
- Молчи! — тебе не понять.
- Но сестру зовут Мотей!
- Уйди, я никакой Моти не видел и не знаю.

А в приемной трети сутки режут больные, и реветь им еще не меньше недели, потому как громадное это горе — смерть двоюродной сестры в недалекой Смоленской области, в деревне и под соломенной крышей. А что касается больных — пусть идут в государственные лечебницы.



Мне не нужна женщина — друг по чувству и перу, товарищ по жизни и собеседник, — ничего этого мне не нужно. Мне нужна просто женщина, которую я не знаю даже по имени и через день забуду в лицо. Лучше всего так. Лучше не пытаться рассмотреть человека до конца, это такое дерьмо или такая глупость, причем это всегда невесело. И да здравствует благородный разврат всех форм.



Переулок, окрашенный в синие и желтые краски, синие и желтые дома и крыши эмалированные, такие сверкающие и чистые, как ледяные. Переулок называется именем братьев Гримм, Гонкуров, Знаменских и всех остальных уважаемых братьев, имен которых я, к сожалению, не знаю. Чудесный день с утра, и солнце, и ветер, пахнущий листьями, и белые, высокие облака.

Переулок заполняют люди в красных одеждах и в красных колпаках. Они красные на фоне синих и желтых стен. Они несут в руках неподвижные штандарты и флаги, которые плещутся вслед за ветром. Они поют:

Мы голубое платье
сошьем
и короля
повесим на закате.
Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Где же он, этот переулок, где люди в опереточных шляпах обкручивают пояс синими лентами, где девушки смуглых тонов танцуют “кукарачу” и зеленые листья цветов плавают в тарелках? Где ты, благословенная моя страна голубых стен и свежести ночи? В такую ночь кони бредут по траве над прекрасной рекой и мокрое от росы пространство дремлет. И огромная луна белого цвета в полночь приходит светить. Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого — и нет ничего.



На помойке сидела старуха. Она жевала совершенно по-дворянски — не открывая рта — огурец.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ



Я был сегодня, 25 апреля, в мастерской Кибальникова. Мастерская в бывшей церкви. Посреди зала стоит громадный Маяковский из мокрой, зеленоватой глины. Вокруг — сложные конструкции, с которых неоднократно падал скульптор с черной бородой. Ему 45 лет. Он крепкий человек в потертом костюме из вельвета. Он ходит вокруг Маяковского — такой маленький в сравнении с поэтом. Маяковский смотрится очень хорошо с любой точки. У него прекрасное лицо, твердые губы. Он стоит вполоборота, приподняв голову. Среди людей, которые смотрят на памятник, — Людмила Владимировна Маяковская, высокая, седая, похожая на брата. Ей очень нравится, что сделал Кибальников. В мастерскую часто приходила Лиля Юрьевна Брик и многие из людей, которые знали Маяковского. На скамейке у стены сидит женщина в платке. Это сестра Есенина. Рядом с Кибальниковым суетится человек в коротких брюках — драматург Юлий Чепурин, и седой растрепанный Орлов обнимает скульптора. Сегодня памятник принят, и он будет отлит из бронзы. Потом его накрывают чехлом, мокрого, блестящего, ростом до потолка.

Мы вышли из мастерской — захламленного, неуютного помещения, где получают такие вещи. На Маяковской ходили люди, и сам Маяковский сорок с немногим лет назад шагнул кольцом бесконечных Садовых.

■ ■ ■

На балконе сидел инвалид в шляпе. Сидел и дышал, свесив алюминиевые костыли за решетку. А кругом были весна, и воскресенье, и солнце, какое бывает к вечеру, — несильное, спокойное солнце. По сырой земле шли двое без пальто, размахивая свертками. У одного была бутылка водки в кармане старого пиджака. До чего же замечательно в такую погоду пить с товарищем в пустой, чистой комнате, положив все на стол без скатерти, и чтоб в распахнутое окно поднимались голоса детей и звонки трамвая в Сокольниках и солнце уходило на потолок. А потом не торопясь брести под фонарями и разглядывать лица девушек.

— Почему весной так много девушек? — спрашиваешь ты.

— Не знаю почему, — говорю я. — Мне все равно.

Мы идем, чувствуя вечность.

— Почему вечность? — спросишь ты.

— Потому что мы вечны и бессмертны.

— Нет, — скажешь ты. — Потому что мы пьяные.

Мы стоим над Яузой и плюем в воду, освещенную огнями города. Вода течет под мост, потом между старыми домами, потом она впадает в Москву-реку и вместе с Москвой-рекой впадает в Оку, а Ока впадает в Волгу, а Волга впадает в Каспийское море, а Каспийское море высыхает.

— Зачем же тогда течет вода? — спрашиваешь ты.

— Удивляюсь тебе, — говорю я. — А круговорот природы?

А рыбы? Где им жить?

— Это безусловно, — соглашаешься ты. — Рыбам жить негде.

И ты грустишь, опустив голову. Мимо проходят он и она. Мы не успеваем рассмотреть ее лицо, но спина женщины прекрасна, и ее ноги, и длинные волосы, опущенные на пальто.

— Почему они все красивы, если смотреть в уходящую спину? — спрашиваешь ты.

— Это иллюзия, — говорю я. — Со спины никогда не угадаешь точно.

— Она прекрасна, — говоришь ты.

— У нее лицо мадонны.

— Чего ты плетешь? — говорю я. — Откуда ей взяться в Сокольниках?

— Все мадонны вышли из народа, — говоришь ты. — Они мыли посуду в дымных комнатах без единого зеркала.

— Она уходит, — говорю я. — Если хочешь, можно ее догнать. По-моему, у нее толстые губы, круглые щеки и узкий лоб.

— Она прекрасна, — говоришь ты.

И мы бежим по набережной.

— Стойте! — кричишь ты. — Стойте, мадонна!

Мы бежим, чувствуя тяжесть наших сердец. Она оборачивается, когда мы стоим в трех шагах от нее, готовые свалиться на мостовую. Она оборачивается — и прекрасная женщина улыбается нам. Мы остаемся на мостовой, освещенные лампами дневного света, а она уходит.

— Пусть уходит, — говоришь ты.

— Пусть, — говорю я.

Мы садимся на мостовую.

— Мадонна, — говоришь ты.

— Ничего, — говорю я.

— Почему я один? — говоришь ты. — Неужели всех мадонн разобрали?

— Брось! — говорю я. — Зачем тебе мадонна?

— Ну все-таки, — говоришь ты.

— Если будет мадонна, — говорю я, — все сразу кончится.

У нас отнимут все сразу.

— И мы не будем шататься под дождем, где захочется?

— Нет.

— И пить, когда бывают деньги?

— Нет.

— И разглядывать всех встречающих девушек?

— Нет.

— Это ужасно.

— Но у тебя будет мадонна.

— Нет, — говоришь ты, — не надо. Хорошо, что они уже разобраны.

— Что ты! — говорю я. — Их сколько угодно. Они моют посуду в дымных комнатах.

Ты смеешься, обняв меня.

■ ■ ■

Люди трех взглядов на жизнь. Простой пример — идет лошадь по улице. Первый смотрит и думает: "У нас по улице идет лошадь, а в Америке — прекрасные машины".

Второй смотрит на лошадь и улыбается: "Какая замечательная лошадь идет по улице".

А третьему наплевать на лошадь и на американские машины.

■ ■ ■

Почему так боятся вещей покойника? Он носил их живым.

■ ■ ■

Если долго думать о платье и долго хотеть платье, то знаешь его наизусть — и тогда не нужно его покупать: платье как будто изнашивается.

■ ■ ■

"Что им нужно? — спрашивал Хлебников. — Я бы сделал все. Я стал бы писать по-другому. Может быть, им нужна слава?"

Нет, им слава не нужна, и черт знает что им нужно, если говорить серьезно. Я сам не знаю, почему это тревожит меня, потому что половину моих дел я начинал ради них, и это замечательно тем, что можно еще начинать ради кого-то.

■ ■ ■

Поговори хоть ты со мной,
Гитара семиструнная

Моя душа полна тобой,
А ночь такая лунная.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

142

Смешная песня. У меня есть все, что нужно для счастья. Эта весна была необычайно приятна, и весь год был интересен: я уезжал, думал, жил, и мне удавалось писать. Все считают, что мне повезло и везет каждый день и я должен быть уверенным, но этого нет совсем, и ничего нет, и не это нужно. Ради одного молодого человека, явного идиота, одна красивая девушка вспарывает себе вены и пытается прыгать с высокого третьего этажа. Почему никто не прыгал ради меня хотя бы со ступеньки лестницы? Я не говорю уже о вскрытии вен, это несбыточно. Я сижу в комнате за столом, и в раскрытое окно свободно летят звуки ночной улицы. Я знаю, зачем каждый звук. В комнате пахнет цветами. Я очень люблю цветы. Я веселый и простой, и мысли мои не так сложны. Я уже не смогу (как не смог недавно) делать все, что полагается, — ходить, говорить, встречать. Я ничего этого не смогу. Все гораздо проще, так я хотел бы думать.

Я пишу и выдумываю не для одного себя, и мир, созданный мною, рассчитан на людей. Я чувствую необходимость говорить с людьми серьезно и близко. Когда мне мешают мелкие неурядицы, так, словно в трамвае наступили на ногу, это ожесточает против человечества, но это смешно. Когда люди начинают говорить о своей неудовлетворенности миром, о том, как они важны в мире и как важны их мнения, вкус, слова, обиды и радости, — мне становится противно. Это никому не нужно, и не стоит преувеличивать свое место на земле — место любого из нас.

■ ■ ■

В час ночи на дворе слышны детские голоса. Откуда они на дворе? Загадка. Мир полон таких загадок, неразрешимость его меня не волнует, я чувствую вечность, наблюдая очень многое. Все идет правильно, так, как следует. Не будем мешать, не надо смеяться и думать о личном достоинстве, о мораль-

ных обязанностях — это не разговор людей. Есть слова проще, иные слова.

■ ■ ■

Вечер, созданный для празднеств, и мы купили два мороженных торта.

— На тебе, сирота, два мороженных торта.

Сирота не взял.

■ ■ ■

Пьесы писать трудно. Так было всегда, но раньше, лет тысячу тому назад, это было еще труднее. Спектакль представляли на площади: хочешь — смотри, хочешь — проходи мимо по своим античным делам. Пьеса должна была привлечь внимание. Это вначале, а потом? Самое главное потом — пьеса не могла быть скучной, иначе люди расходились бы во все стороны. Никаких кресел не было, спектакль смотрели стоя, и уйти в такой обстановке приятно и просто. Пьеса не могла быть плохой, в таких случаях автора забрасывали камнями, и он убегал в горы. Актеров плохой пьесы тоже не щадили. Все это поощрялось государством.

■ ■ ■

На первомайской демонстрации в колонну Куйбышевского района влились четыре баптиста. Пользуясь замешательством толпы и всеобщим весельем, баптисты вскинули полотнище белого цвета, на котором был написан лозунг "Любовь есть Бог". Баптисты приехали в Москву из Кзыл-Орды ради этого первомайского дня. Их забрали люди в одинаковых пальто.

■ ■ ■

В штате Оклахома
Вкусная солома.



Был в Большом театре. Сначала шел утром по улице, по солнечной стороне. Шел, обдуваемый теплым ветром. Была прекрасная погода, и всюду продавали лотерейные билеты. В театр опоздал. Первое действие искал уборную и осматривал белоколонные помещения.

Перед вторым действием увидел зал, полный красногвардейцев и командиров. Это был бесплатный спектакль. Раньше, перед входом, я видел красивых молодых людей, по виду драгун или конных гвардейцев, и других людей, в штатском, явно переодетых офицеров. Почему военные на первые свои деньги покупают шляпу зеленого цвета? Я, помню, тоже купил. Они стояли у великих колонн Большого театра, под мчащимся на тройке Аполлоном. Они стояли в зеленых шляпах, и галстуки-самовязы украшали военных.

Опера. Я сижу в первой ложе, мне видны зал и шесть ярусов цвета фальшивого золота. Весь театр — это желтые ярусы, желтые стены, и красный бархат кресел, и красные гардины. Получается почти отвратительно. Из моей ложи отлично стрелять в бывшую ложу царя. Попасть легко, по-моему. Оперу я не слушал, то есть сначала слушал, но ничего почти не понял и перестал обращать внимание на слова, которые поют. Все выглядит как пародия. После второго действия ушел совсем.



Я ужасно сентиментален, и это неистребимо во мне, как грусть. Я вижу знакомые лица, давно чужие, и они волнуют меня, и я охвачен воспоминанием, и течение времени останавливается, открывая прошлое. Время безжалостно, я знаю это и стараюсь улыбаться, когда мне совсем не хочется улыбаться, и говорю не те слова, какие нужно говорить. А какие нужно? Я забыл эти слова. Меня пугает равнодушие времени и чужие люди. Чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться, и не с кем уйти. Я ужасно сентиментален, и я бы плакал, прислонившись к плечу друга, но я не могу плакать и смотрю, смотрю спокойными глазами на пустоту вокруг.

Что будет потом? Я не хочу думать.

Я долго вспоминал, когда же кончился день моего интереса к обучению хоть какому роду занятий. Это было в восьмом, наверное, классе, в день <нрзб> к вечеру. Или нет — конечно, все окончилось раньше, и живу я очень просто, и случайная культура случайных книг, людей и обстоятельств становится единственной моей культурой. О какой же, простите, литературе может идти речь?

■ ■ ■

Смотрел нынче “Тень”. На спектакль пропустил Э. П. Гарин, седой, изящный и восхитительно пьяный Гарин, который очень красиво поставил пьесу.

■ ■ ■

ИЗ ДНЕВНИКА
1957–1958

Человечество служит женщине.

С одними она разговаривает в метро, с другими танцует, третьи провожают ее весенними вечерами до дверей дома, и с немногими она спит. Это не всегда лучшая часть человечества, но самая здоровая и простая. И все люди, и каждый из нас принадлежит к одной из этих категорий. Мы служим.

■ ■ ■

Чистый вечерний пруд, по которому плавают лебеди, кирпичные дома, деревья, готовые распуститься зеленью, и светло-зеленое небо — вот что было 7 мая в Москве. Я шел по сырой земле мимо скамеек сквера. Мир был восхитителен, воздух пах дымом костра, у метро продавали подснежники. Что еще нужно человеку? Чтобы рядом шла женщина, и женщина была рядом, и она была прекрасна. Я говорил ей, и она понимала все, что я говорил. Я не могу вспомнить эти слова. Это не нужно вспоминать. Жизнь полна удовольствий, и таких, за которые не надо платить. Но удовольствия, за которые платят, все-таки лучше. А денег нет, проклятая молодость миллионов! Мне было не так, как другим, я не жалеюсь, но все же.

■ ■ ■

Страна утренней свежести.

■ ■ ■

Глаза как яичница.

■ ■ ■

Стеклянные шляпы, алюминиевые галстуки.

■ ■ ■

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

Не могут отделить человека от пиджака — женский разговор.

■ ■ ■

146

Вечером в темноте на карниз моего окна падали капли. Это дождь, думал я. А это соседи мыли балкон. Можно написать обратное: думал, что соседи моют балкон, а шел дождь.

■ ■ ■

Застенчиво голодали русские писатели.

■ ■ ■

Зачем я пишу о вечности? Никакой вечности нет. Я пришел домой, поел, лег на диван и под включенный телевизор два часа был в забытии и сном объят. После, напившись чаю, принял ванну, чтобы, еще раз закусив, лечь в постель. Не думать, не вспоминать, а чего вспоминать? Место, где растут цветы? Море или, может быть, рижские кафе и женщин на улицах? Нет, и это не так, я нигде не был и ничего не помню. Я всю жизнь сидел за столиком из Финляндии и записывал разные и не очень уж веселые вещи. А ночью мне снится странное смешение учи-

лица и последних лет в институте. Я уже два года учусь — как много.

А с людьми, мне знакомыми, никакой близости, как будто каждое утро видимся впервые. Вся разница в том, что видимся мы как впервые, а надоели, как узники одной камеры. Вот так бы и писал, и писал — бесконечно. Отчего я пишу? Я разговариваю. Это очень весело.



Вот такая история — сидит человек в панаме напротив футбольного поля, пустого и зеленого. Он сидит, разыгрывая силой своего воображения матч. Ему ничего не стоит увидеть игроков, одетых в футболки разных цветов, и мяч, и комбинации — он разыгрывает сильнейшие комбинации, забивает голы, устраивает свалки на штрафной площадке и объявляет перерыв. И так два тайма по 45 минут. Он уходит, совсем разбитый, очень счастливый или огорченный поражением.



Сидел на крыше парень и плакал в водосточную трубу. Мутный поток слез наполнял бочку для дождя. Это было в ясный день, под синим небом, и дворники внизу часто меняли посуду — бочки, тазы, ведра, чайники и детские ванны, окрашенные в белое и голубое. Но слезы не прекращались. Человек принес самовар. Все смотрели, как он наполняется до краев. Люди стояли среди бочек и ведер, не спуская глаз с последнего самовара. Он был полон, скоро началось наводнение. Парень сидел на крыше и плакал. Слезы рекой текли по городу, превращая улицы в каналы, площади — в озера, тихий город Сестрорецк — в Венецию. Прохожие плавали среди фонтанов и деревьев парка, чувствуя морскую солоноватость слез. Женщины сидели на фонарях. Когда вечером зажглись фонари, на каждом было по женщине. Люди на лодках окружили дом, на котором плакал парень. Он сидел на крыше, освещенный лунным светом, и его черный силуэт пугал неподвижностью и скорбью.

— Отчего он плачет? — говорили одни.

— Странно, — говорили другие. — Необычно. Это как бедствие.

Все говорили, поднимаясь вместе с водой все выше и выше.

— Перестаньте плакать! — крикнул кто-то. — Вы затопите город.

— Пусть, — сказал парень, — мне не жалко! Я хочу умереть.

— А мы? — заволновались в лодках. — Женщины всю ночь сидят на фонарях. Дети на деревьях.

— Я не смогу остановиться, — сказал парень. — Фонари и деревья не спасут.

— Убьем его? — предложил кто-то, доставая ружье.

— Он не виноват, — сказали другие. — У него большое горе.

— У него горе, а нам погибать?

— Убивайте — не убивайте, — сказал парень. — Это не поможет. Мы утонем вместе на третий день.

— Что нам делать? — вскричали люди.

— Ковчег, — сказал парень. — Спасайтесь в ковчеге.

— Ничего себе, — сказали люди. — В три дня пароход.

А парень плакал. Вода плескалась у крыши. Он сидел на трубе, подтянув колени. В городе звонили колокола, и рев тонущих животных слушали звезды.



Гроза пробирного надзора, ваятель гор, вождь модернистов, печальный рыцарь подмостков, гений которого постигает только жена, гордость шекспировского театра, любимец негров из штата Небраска, человек, раздающий сны, — представьте, это он устроил всем одинаковый цветной сон — молодого тигра, играющего в мяч. Восемь миллионов, закрыв глаза, увидели тигра, проснувшись, они сошли с ума. Он вернул им разум — он устроил разные сны и часть людей погрузил в черное небытие ночи, как в бочку. Македонские пастухи молились на него, а он творил чудеса — он красил облака. Шел цветной дождь, реки окрашивались в ультрамарин, впадали такими в моря, и вскоре течение Гольфстрим из теплого превратилось в холодное. Он так захотел.

В Голландии поникли тюльпаны, и гладиолусы Бельгии оледенели. Старый король Георг умер от горя в своей летней резиденции Шербур. Балтийское море замерзло в июле, и по нему катались на коньках, чтобы согреться, все народы Скандинавии. Беловолосые финские девушки, одетые в голубое, и спокойные шведы, норвежцы в красных вязаных колпаках и крахмальные немецкие Гретхен, у которых светлые глаза. Английская королева плакала в Вестминстерском соборе, и на белой от инея траве напротив лежали обмороженные лондонцы. Льды Гренландии, не сдерживаемые более теплым течением, двинулись на Европу. Шел великий Глетчер. В Риме пили кислое вино и, прочитав газету о Глетчере, завертывали в нее свежих осьминогов. В Риме танцевали по вечерам, и школьники, засыпая, думали о летних каникулах.

ИЗ ДНЕВНИКА

1957–1958

149

В Испании был закат, и на закате околел последний бык, заколотый нарядным тореро. На острове Корсика садилось солнце и пастухи смотрели в море. Пастухи, похожие в профиль на Наполеона. В королевстве Монако повесился последний принц крови. Он проиграл в рулетку свое маленькое государство, расположенное на Пиренеях. Кончался обычный день Европы. На утро от всего континента остались две страны — Италия и Испания, два государства и два романских народа. Остальное пространство покрылось голубым льдом. Альпы <нрзб>. Глетчер. В Средиземное море с побережья сползали айсберги. Молодой бедуин на белой лошади скакал в Марокко. Он первый увидел плывущий гигант. Молодой бедуин упал на колени и долго молился, раскрывая беспомощный рот. Он молился молча, так как у него был вырван язык. А человек, раздающий сны, спал в ранчо штата Огайо, и его мустанг тихо ржал, наблюдая восход. Утром он скакал среди высокой травы. Трава сохла на солнце. Туман поднимался над ней. Он скакал в мокрой от росы рубашке, счастливый, как молодой охотник. Он все забыл, и несчастье Европы не трогало его.

■ ■ ■

В метро внесли желтые байдарочные весла, напоминая о реке, о солнце и ветре.



Чего я такой сумрачный шел нынче из метро? Об чем я задумался, глядя на мелкий дождь и машины, которые одна за другой проезжали мимо и приятно пахли бензином? В дождь и ветер бензин пахнет домом, теплой кабиной водителя и дорогой. Площадь Маяковского в дождливую погоду пахнет сентябрем и понедельником. А я стоял, думая, куда мне идти одному. Денег в кармане было три рубля, а сам я был молодой, и так мне захотелось в эту хмурую погоду напиться, что я переменялся в лице. И причем напиться не одному, глядя, как пустеет бутылка, а с тобой, глядя, как ты улыбаешься и как у тебя светлеют глаза. Я могу писать об этом долго и красиво, но я не буду — денег у меня нет, и все это песня и мечта. Зачем мучить воображение? Господа и дамы! Должен вам сказать, что надоела мне такая жизнь вдрызг. Жениться, что ли? Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье. Это правда. А через месяц буду я на Алтае, будет вечер (ночь), холод совсем дикий и чистый воздух, пахнущий, допустим, эдельвейсами, и такая необыкновенная скука будет расстилаться вокруг, что я застрелю свою лошадь, сожгу лагерь, а потом утоплюсь в горной реке, в ледяной воде. Два месяца Чуйского тракта! А потом сентябрь, проведенный в положении согнувшись за столом, и снова дни до отращения будут милы, как утро в метро. Неужели все будет неизменно таким? Будет. Зачем отрывать человека от тарелки? Зачем улыбаться в коридорах? Я всегда говорил себе, что есть вещи серьезнее, и что я одержим местечковой скорбью, и вся эта малина для мальчиков, которых мучают мокрые улицы, и фонари, и чужие женщины. Все это так, но я бессилен иногда в хмурую погоду.



Голубое лезвие бритвы.



Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне

упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов.



Давайте вспомним, что было в прошлом году, в эти числа июня. А было следующее — теплая погода, небо в облаках, воздух белый и парной. Вечера были ужасны. Я подумал: а что, если устроить смену времени — выдать сегодня, 12 июня 1958 года, за 12 июня 1957 года? Что изменится, заметят ли? Нет, не заметят. Сегодня с утра льет дождь, прямой и сильный. Во дворе на веревках мокнет цветное белье, асфальт лиловый, листья лип зеленые, стволы лип черные, небо светлое, окна темные, и дождь замечен только в лужах и на фоне кирпичной стены. Небо светлеет, а дождь все льет, теплый дождь, мягкая вода. Грузовики идут по лужам, обрызгивая пустые тротуары. Очень хорошо! Я надену плащ и, не закрывая головы, пойду под дождь. Снимать белье, желтое от веревки. На асфальте лежат пионы, мокрые красные и растрепанные цветы. Ничего нет лучше этих цветов, их прямых стеблей, твердых листьев и красных лепестков, из которых каждый отдельно. Год назад я покупал вечером под дождем эти цветы для Валентина Константиновича. А теперь его нет.



— Кто там стучится в двери ногой?
Всадник отчаянный и молодой.



О том, как ночью лил дождь необыкновенной настойчивости и силы. Несколько человек один за другим поднимались по пустому эскалатору метро и потом стояли под навесом и смотрели, как льет дождь. Пустая площадь — автобусы не ходят. Изредка такси. Последние пассажиры метро, которые не могут идти под дождь. Их, допустим, не так уж много. Слепой, постукивая па-

лочкой, уходит, раскрыв зонт. Продавщица мороженого закатила свой белый ящик и дремлет. Двое пьяных подошли к ней и купили все, что было в ящике. Она им все сразу не давала, они стояли рядом и ели по одному — на палочке, просто так, в пакетах и др. Кто-то спрашивает у всех 15 копеек и звонит жене, но жена не приходит с плащом. Поднимается по эскалатору парень и, не задерживаясь, медленно и спокойно идет под дождь. Посреди площади разувается. Идет дальше босиком. Девушка смотрит на часы, или, лучше, она пусть спрашивает время и каждый раз говорит:

— Без двадцати час? Большое спасибо.

Пьяные съели все, что было в ящике, и протрезвели.

Он и она. Наверное, с концерта, или они были в театре. Она стоит. Он бегаёт за такси. Побегает и вернется.

— Нет, — говорит виновато. — Я побежал.

Она смеется. Идет такси. Он бежит за ним. Такси подъезжает к метро, и двое бывших пьяных садятся. Парень бежит за машиной. Потом подходит к девушке.

— Нет, — говорит он. — Придется идти под дождем.

— Какая разница? — говорит она. — Ты уже мокрый.

И они уходят в дождь. Она снимает туфли, он их несет. Она идет босиком, приподняв бальное платье. Остаются девушка, продавщица мороженого и пусть человек с газетой "Вечерняя Москва", который звонил жене. А она не идет. Он долго читает газету.

— Может, дать вам? — спрашивает у девушки.

— Не надо, — говорит девушка и дрожит.

Или так: после того как у продавщицы мороженого купили все и все съели, она легко покатила свой ящик под дождь, накрывшись халатом. И пусть остаются двое — человек в парусиновом костюме с газетой "Вечерняя Москва" и девушка в куртке. Она работает в трамвае. Человек ждет жену. Он позвонил ей. Но в конце концов говорит, что хватит, давайте уйдем. Он рвет пополам газету "Вечерняя Москва", и они с девушкой идут под дождь. Когда приходит его жена с двумя зонтиками, она не застаёт под навесом метро никого. Или пусть пьяного.

Гостеприимные бедуины, замороженные кобры, Тадж-Махал, прекрасный на фоне синего неба, а также при луне, седые обезьяны, священные коровы, танцующий, спящий, улыбающийся Будда, акула в аквариуме, богиня Кума — дочь звезд — с закрытыми удлинненными глазами. Вот что мне надо. Я хочу видеть это и плавать в Индийском океане, чувствуя тяжесть волн.

Давайте вспомним и представим острова Океании и любимое развлечение гавайской молодежи — кататься на прибое. Мне не хватает в жизни горячего песка, белого от солнца воздуха и моря, бьющего в грудь. Нужно что-то придумать и что-нибудь изменить. Афинские боги ждут, раскрыв каменные рты, и сфинкс смотрит прямо в вечность. Я чего-то жду. До чего же великолепно, обледенев в собственном самолете, свалиться в пампасы Мексики. Свалиться, выворачивая кактусы и пугая мексиканцев в цветных одеялах. Или, как Штейнберг, приехав на берег залива, ходить в простой рубашке навыпуск и охотиться на рыбу. Чего еще надо? Хорошо также навсегда поселиться на острове Куба и вечерами ходить в портовый кабак. А львы? Я забыл про львов и про Африку. Это зимой, если можно. Так жить плохо. Рядом плавают (ходят) по морям, по океанам белые гиганты с плавательными бассейнами, салонами и палубой первого класса, где по вечерам танцуют шотландский танец под волюнку и девушка по имени Сольвейг смотрит в темную воду.

Завтра пароход прибудет в порт Веракрус. Стоянка двое суток. Город, прославленный любовью и сифилисом, ждет вас. Мужчины, приготовьте колыты. А я встаю завтра в девять часов, надеваю штаны, и все начинается сначала. А в прославленном городе Веракрус тремя часами позже встанет другой парень, взмокший от жары, желтый от хинина и бессонницы. Он посмотрит на небо отвратительной синевы, на солнце, такое беспощадное и большое, на весь тропический мир с лиловыми неграми и белыми капитанами. Он не станет надевать штанов, у него их просто нет. Испытывая легкую тошноту, он пойдет в трусах по улицам города.

А у нас весь день летний дождь, мягкая вода, и утром на асфальте будут сохнуть лужи.



Плавали листья, похожие на блины.



Меня успокаивает мысль, что все эти годы, трудные, бестолковые и ужасно длинные, — все это только начало.

Многие думают: это вся жизнь, а это начало, и все еще будет совсем не так. Я подумал: кто же начинал счастливей?

У лучших людей в прошлом — невеселая молодость, а молодость, пока она есть, кажется бесконечной. И по ее первоначальным огорчениям и бедам мы судим о жизни так далеко вперед, что, конечно, жить в таком свинстве нет никакого желания. К счастью, все не так. И мы такие маленькие, и жизнь такая большая, и так ей наплевать, что мы о ней думаем. Я мог бы очень долго говорить о жизни вообще, но это скучно. Перейдем к частностям. Вот моя жизнь, полная борьбы и непрерывного огня, служит пособием для младших школьников.

Хочется писать пьесу про Египет с мумиями и прочим. Так хочется — я вчера видел в хронике пирамиды, и сфинкса, и все остальное в сильном солнце, желтое, даже красноватое, — удивительно хорошо можно написать. И пусть они (мумии) будут уже не в славе. Была такая мысль — начинать пьесу с конца и привести все к началу, как к первопричине, но здесь это ни к чему.

Все будет в трех единствах. И начать мне хочется утром — они сидят камерно на вершине пирамиды спиной к зрительному залу. Вокруг все серое, утреннее, и они говорят — две мумии. А можно: он мумия и она не мумия. О чем же они говорят?

— Как называется ваша звезда?

— Вега — на Земле. У нас по-другому. Я уже забыл, это очень длинное слово.

Ну пусть он будет последним из мумий, все вымерли, <нрзб>, и он последний, самый молодой, смотрит на звезду, свою звезду, которая должна утром быть на горизонте. Он ждет, как и все, корабль и должен умереть по какой-то причине очень скоро.

■ ■ ■

Писатель из Мурманска, которого в газете называли так: северный кормицик пера.

■ ■ ■

За душевные качества
И за внутренний мир
Полюбил некрасивую
Боевой командир.

■ ■ ■

Она жила на шоссе Энтузиастов, и это название всегда имело для Тони прямой смысл — ее провожали только энтузиасты.

ИЗ ДНЕВНИКА
1957–1958

■ ■ ■

Коридор киностудии. На двери приколоты бумажка “Вытирайте ноги”. Перед тем как постучаться, я долго их вытирал. Оказалось — зря. “Вытирайте ноги” — это название новой картины. За дверью в дымной комнате трудилась ее киногруппа.

■ ■ ■

На платформе под дождем плакали и целовались. Я позвонил тебе по телефону и сказал, услышав в трубке женский голос:

— Я стою на площади среди вокзалов и трамвайных звонков.

Не знаю, как у тебя, но здесь хлещет дождь. Я сейчас попрошу у отпускного военного винтовку и застрелюсь в телефонной будке.

— Слушаю, — сказала ты. — Кто это говорит?

— Тебе сообщат письмом. Его найдут в кармане, обыскивая мое тело.

— Здравствуй, Гена, — сказала ты. — Почему ты не звонил?

— Почему ты дома? Через семь минут я уезжаю, вагон шестой, поезд тринадцатый.

— Я забыла.

— Подожди секунду, — сказал я. — Тут недалеко стоит вооруженный солдат.

— Гена, — сказала ты.

— Товарищ! — крикнул я в трубку. — Уступите ваш карабин. Тося, ты меня отчетливо слышишь? Я застреливаюсь, привет Патриаршим прудам.

Я трубкой вышиб стекло, толкнул дверь и уехал в Бийск. Я ехал семь дней мимо сотен почтовых ящиков, но я порвал все открытки и выбросил в окно все, чем можно писать тебе.

В солнечный день мы медленно переезжали Волгу. Стоя в тамбуре перед раскрытой дверью, я смотрел вниз. Волга была мутная, внизу плыли бревна, и так захотелось мне кинуться с высоты об эти бревна.

Лежал на своей полке, закрыв глаза. Я вспоминал тебя ужасно долго. Если бы это было вслух, меня бы убили через полтора часа. Я вспоминал одно и то же. Прости, память, может быть, есть вещи никому не интересные, может быть, я зря мучаюсь.

■ ■ ■

Хорошая интермедия, отчего-то названная "Бедные люди Парижа". А названия пластинок? Слушайте: "Я знаю, чего тебе не хватает", "Счастливый 13-й номер", "Почему бы нет" (фокстрот), "Барышня, вы еще свободны?" (фокстрот), "Как часто ты меня целуешь", "Эзоп и муравей" (на чешском языке), "Бим-Бам-Боус", "Банджо Бенд Билли". Мексиканские страсти на языке немцев. Чехи тоже стараются, воображая, что ничего не случилось. А еще есть чудесное название "Семь греческих мудрецов в доме терпимости".

■ ■ ■

Три танкиста, три веселых друга,
Перешли границу у реки.

■ ■ ■

Хорошая привычка — говорить встречным гадости.

■ ■ ■

Так как у него не было рук, ног, левого уха, позвоночника и части живота, — он выступал на радио.

■ ■ ■

Шел дождь, и белые шары фонарей дымились.

■ ■ ■

Не люблю, когда рядом, в темноте, едят апельсины, — классовое чувство.

■ ■ ■

Я подошел к шведскому посольству, и так мне захотелось выразить какой-нибудь протест, устроить хоть какую-нибудь манифестацию или обыкновенным образом высадить красивое окно из цельного стекла. Ах, почему я не рабочий?

■ ■ ■

Шел по улице Герцена поэт Кирсанов в черных штанах, серой куртке, весь седой и маленький. Шел гордо.

■ ■ ■

У Пушкина “могила зеваючи ждет жильцов”*. Могила утром зевает — ее отрыли, и она ждет, пока кончится отпевание.

* У Пушкина: “И всех вас гроб, зевая, ждет” (сцена из “Фауста”).

■ ■ ■

Разрешите вас ударить в морду? Позвольте вам откланяться.

■ ■ ■

Ух, как отвратительно жить в любом состоянии, даже в лучшие времена! А что надо? Чтоб глаза добрые и волосы русые? Нет, не надо, хотя и это очень хорошо. Бессмысленность начатого дня, и я не знаю, зачем встаю.

■ ■ ■

Было чувство прерванного разговора, когда начал "Фиесту". Так, словно все сначала. Я лежу в пустом номере в Кронштадте и читаю в который раз желтенькие страницы. Там, где они ехали вместе с басками на крыше автобуса по белой дороге, задевая пыльные ветки, у меня закружилась голова — от подробностей.

■ ■ ■

У меня появился писатель, коего я всегда бы хотел иметь на столе, в чемодане, всюду. Очарование, непонятное, как опиум.

■ ■ ■

Склочная жизнь последних недель окончательно выводит меня из равновесия. От жары это, что ли, происходит? Ташка ездит к умирающему от рака деду с портфелем. В портфеле — бутылка с компотом. Скука. Дед, конечно, умрет. А какие я вижу сны! Я просыпаюсь, все забывая, но сегодня мне снилась тюрьма, и удивительно не к месту были посажены в нее люди. Лето началось, булыжное и асфальтовое лето Москвы. Неужели я уеду? Никуда. Что-то мне беспокойно и плохо все последние дни. Я и сам не знаю, отчего это происходит. От жары. У меня и мысли дикие.

Присмотревшись, понял: людям — всем — решительно нечего делать, жизнь <нрзб> не то чтобы найти занятие и куда-нибудь себя деть. Вечерами это заметнее всего. Если избавить людей от работы и дать им хлеб другим путем — что-то тогда будет?

■ ■ ■

У пьесы должна быть простая и очевидная для всех мысль. Лучше, если это будет мысль вообще. Такая, например: кто-то считает — все, что делается на земле, — это все не просто так, не бескорыстно, что в любом человеческом проявлении сначала есть личный интерес и ничего нельзя совершать просто так. А другой так не считает, у него человеческий подход к жизни: люди — стадные существа и должны жить сообща, помогая друг другу.

Ужасный туман, но очень красиво. Обывательские пьесы вроде так и делаются.

ИЗ ДНЕВНИКА
1957–1958

■ ■ ■

Виктор Платонович Некрасов, Виктор Некрасов, чьи книжки я люблю. Он стоял в ДК в белых штанах, синей рубашке, в простых сандалиях, маленький, крепкий, положив волосы вперед, и разговаривал о чем-то, жестикулируя. Я на него долго смотрел. Он прекрасный писатель.

■ ■ ■

Зубные врачи работали в атмосфере ужаса.

■ ■ ■

Насколько приятнее быть тем, кто слушает, читает, смотрит, нежели поставщиком.

■ ■ ■

Хорошо утром открыть газету, не подозревая, чего она стоила.

■ ■ ■

Все обстоит таким образом: делать нечего на земле, и все ужасно скучают. Сначала живут по одному, постепенно сатанея. Потом нужно жить с кем-то и тоже сатанеть. Неужели все так?

■ ■ ■

Теперь кино можно называть как угодно и пьесу тоже, как и рассказ. Можно — “Продовольственный магазин” (фильм), “Жена педиатра”, “ПК” (пожарный кран), “Никитские ворота”, “Магазин обуви”, “Крымский мост”, “Бородинский мост”, “Лефортово”, “Патриаршие пруды”, “Садовое кольцо” — как угодно.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ

■ ■ ■

160

Вот мелочь, которая наверняка забудется в повседневности. Сейчас кончают памятник Маяковскому. На заборе, который окружает площадь, висит доска: “Сооружение памятника В. В. Маяковскому производит СУ-38”. Строительное управление в конце концов воздвигает все памятники, какие только бывают...

■ ■ ■

Ночью снятся ужасные вещи: утонувшие соседи, мертвые и живые товарищи, ты приснилась зачем-то. Пьяный кошмар. Около четырех я встал напиться, открыл форточку — ветер в лицо, — утренний, все еще серое, и еще горят фонари. Хорошее время, когда просыпаются дворники и меняются постовые милиционеры. Ездит по пустым улицам машина, и милиционеры меняются. В прошлом году, просидев над бестолковыми бумажками, я гулял в это время по Москве. На Пушкинской все было освещено красным солнечным светом, все было мокрое от поливальных машин, и под деревьями стояли зеленые лужи, и зеленые ручьи стекали на мостовую. А на Патриарших было тихо, и окна были по-утреннему раскрыты, скамейки перевернуты, и пруд был желтый, и по его воде плавали ветки, листья и газета.

■ ■ ■

Все мы были молоды, и многие
блевали в унитаз пивного бара,
который стоит на площади
Пушкина.
После перепоя,
после боя
кажутся зелеными обои.

■ ■ ■

— Петрарка, а Петрарка, — говорила Лаура, — приходи ко мне,
пожалуйста, но приходи с друзьями.

■ ■ ■

Какой-то красивый парень
Пил с некрасивым в баре
В очень пустом баре.
Веселый пил с невеселым,
Плечистый пил с неплечистым,
В баре светло и чисто.
Потом ударил красиво
Красивого некрасивый,
Красивый свалился на пол
И лежал на полу, красивый,
Пивом на голову капал
Ему некрасивый.
Капал хорошим пивом
Из пол-литровой кружки,
Пиво падало мимо
Головы на опилки и стружки.

■ ■ ■

Женщины будут подавать нам тарелки, а мы будем их бить.



И я постарею, я буду гулять вечерами вокруг Патриарших прудов в валенках и рассказывать детям неталантливые сказки.



Хороший тост — проклятие — проклятие тем, кто не пьет.



Утрилло и Матисс напивались вместе, и знакомый полицейский отводил их в участок на Монпарнасе.

— Добрый вечер, местье Утрилло, — говорил начальник в чине майора. — Какие новости, местье Матисс? Опять вы напились, что же мне с вами делать?

— Я трезв, майор, — говорил Утрилло.

— И я, — говорил Матисс, — я не пил две недели.

Тогда майор давал Утрилло кисть и холст, и Утрилло писал в полицейском участке картину. Ее оставляли на стене, потому что полицейские на Монпарнасе тоже понимают живопись. А Матисс был прост, как его картины. Он писал солнце на море, разноцветные флажки, лодки, паруса и пристани. Пикассо был вместе с ними, но они умерли, а он живет, он ходит в полосатой майке.



Я хочу, чтобы у меня была красивая жена, бунгало на берегу моря и дети, крепкие ребята, обязательно мальчишки. У них должны быть светлые волосы, я буду учить их плавать и стрелять из лука, они будут расти настоящими мужчинами, как Том Сойер. Потом у них появится Бекки Тэтчер. Они не станут волоочиться за ней и гулять по улицам, они уведут мою машину, и в машине на заднем сиденье будет сидеть Бекки Тэтчер. У них будет все, чего был лишен я. Они вырастут простые и сильные, я научу их простым делам, они будут равнодушны к моей работе, но бу-

дут здорово понимать, как ловить рыбу спиннингом и бить кефаль под водой. Я хочу, чтобы у меня были такие ребята, хотя бы двое.



Когда меня снимают, я всегда получаюсь очень глупым. У меня хорошее лицо, но, когда меня снимают, я на секунду вдруг делаю очень глупое лицо, а потом снова все хорошо. Но фотография — ужасна.



Сегодня я был у Екатерины Николаевны Виноградской, я очень рад этому, и у меня был хороший день.

Она рассказывала о том, как в нее был влюблен Пастернак, и о том, как они познакомились, и тогда Б. Л. сказал ей: "Я увидел вас, и меня словно ударило в грудь". А потом на Новый год у Асеева... (все женщины были прекрасны, мужчины были очень талантливы, на белой стене был нарисован красный петух, вошедшим рисовали на щеке птиц, а женщинам распускали волосы).

Б. Л. подошел к ней со спины, положил ей голову на плечо и сказал:

— Не прогоняйте меня, если я вам не понравлюсь, пожалуйста.

А вначале они поднимались по темной лестнице на восьмой этаж, и было очень темно. Кто-то сказал об этом.

— Я буду сверкать глазами! — сказал Б. Л.

А потом, в мае, они сидели у Виноградской в доме в Серебряном переулке. Б. Л. пришел вечером и остался на ночь, не заметил, как остался. Утром Екатерина Николаевна села на подоконник, окно было раскрыто, Б. Л. сидел напротив, они смотрели вниз, улица светлела, было пусто и прохладно, пели птицы. Б. Л. слушал птиц, закрыв глаза и качая головой в такт пению. Екатерина Николаевна смотрела в одну сторону улицы, Б. Л. Пастернак видел другую.

Е. Н. увидела, как женщина идет пустой улицей к их дому. Это была Женя, жена Пастернака. Б. Л. сидел к ней спиной и не видел ее. Женя знала, где он ночью, и пошла за ним, но она увидела Е. Н. в окне, остановилась у водосточной трубы и пошла обратно. А потом, летом, они ночью ходили по Москве, по Арбату и переулкам, стояли в переулках и у прудов. А зимой (в первый вечер у Асеева) они катались ночью на санках по Москве. У Е. Н. были светлые волосы. Какое это было время — и не осталось ничего, старость осталась одинокая, кошка, дача (второй этаж). Я бы хотел с ней дружить.



Этюд по освещению и композиции. "Побег Овода из тюрьмы".
800 метров Овод пилит решетку.

ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ



Раньше здесь на стене висело зеркало, потом его сняли, и по утрам я смотрелся в стену, надевая кепку, и вечером, возвращаясь с работы, я включал свет в прихожей и смотрел в стену, как раньше в зеркало.



Я подумал, сколько было изношено всем человечеством белых крахмальных рубашек, костюмов, штанов. Куда девается одежда современников? Она изнашивается, и все новое, красивое превращается в хлам или в вещи покойников, вечные вещи покойников. А куда пропадают молодые люди в коротких пальто, в ярких ботинках и в зеленых шляпах? Это ведь тоже поколение, которое производит, как и белые рубашки, впечатление вечности. Но все это — слава конферансье или клоуна. Было много конферансье, и сейчас они новые. Да, еще о звездах кино, они тоже, как и рубашки, производят впечатление вечности.

■ ■ ■

Надо, чтобы человеку, как старику и Хемингуэю, снились львы! Снятся ли мне львы? Что я вижу ночами?

■ ■ ■

Умерла бабушка, 6 декабря, в 6 часов 5 минут вечера в госпитале на Октябрьском поле. За три часа до смерти я был у нее, на улице было очень хорошо, солнечно, таял снег, а утром было прекрасно — снег валил сквозь солнце, воздух был такой мягкий и весенний, и небо хорошее, и снег. Я пришел к бабушке, она, вероятно, не узнала меня.

Я погладил ее руку, она открыла глаза с обводинами и сказала:

— Мне плохо.

Я спросил:

— Что тебе плохо?

— Нет сил, — сказала бабушка.

Она дышала, как будто у нее в горле стоял комок и его нужно было откашлянуть. Мне все время хотелось, чтобы она откашлялась.

Мы ушли по коридору в половине третьего и никогда ее больше не увидели живой. В семь часов мы вошли к ней в 10-ю палату, и она лежала прямая, побелевшая, губы у нее были очень белые и щеки желтые, но не запавшие. Нос заострился немного. Челюсть у нее была подвязана марлей, как будто болят зубы. В палате горел слабый ночной свет и было полутемно. Потом дядя Женя сказал, чтобы зажгли свет, яркий свет под потолком. Покойник в ярком свете еще страшнее, хотя бабушка лежала в кровати совсем не страшная, хотя и мертвая. Все было необыкновенно просто, и о ней говорили как о постороннем, а я поцеловал ее в щеку, холодную и свежую, поправив марлевую повязку. Когда она была еще живая, она лежала на подушке очень красивая, у нее большое лицо, седые волосы, мама запледала их в короткие косички с марлевыми ленточками, чтобы они не трепались. Я не знаю, как мне быть. Сколько мне предсто-

ИЗ ДНЕВНИКА

1957–1958

ит провожаний, таких и страшней. Почему так устроена жизнь, что люди расстаются и за этим нет ничего, все пусто и мертво? Остались бабушкины вещи, это значит вспоминать и плакать долго-долго. Я действительно ее любил и так боялся последний год, что она скончается. Когда она засыпала, я подходил и смотрел на нее, она спала как мертвая и слабо дышала. Я думал: вот такая она будет, какой ужас! А она была не такая сегодня.

Я сижу в комнате один, уже ночь, за окном, как плачущие дети, кричат кошки, ужасно тоскливо от их крика, у меня больно на сердце, и мне страшно. Какая предстоит тяжелая эта неделя, и все еще впереди. Я не могу лечь в кровать.

Что нужно для счастья? Чтобы все были живы, все родные, знакомые, близкие, чтоб никто не болел и не умирал. Главное, чтобы все были живы. Я ничего не хочу, пусть никто не умирает. Это трудно вынести живым, мертвым все равно. Я не доживу до 76 лет, мама тоже, отец — никто не доживет. Я не боялся смерти, когда был рядом с бабушкой, мне казалось, что я мог бы лечь рядом на свободную кровать и остаться подле нее всю ночь. Но сейчас мне страшно, хотя вокруг спят люди, и я понимаю, как нужно дорожить счастьем того, что есть на каждый день. Я был счастлив, когда все было хорошо и бабушка жила. Теперь мне плохо и нескоро будет хорошо. Нельзя примириться с тем, что произошло, нельзя и поверить, хотя я видел все своими глазами. Я хочу с кем-нибудь говорить, но все спят. Я много писал о смерти, но я ничего не знаю, это вполне определилось сегодня, потому что все было беспомощно перед случившимся, все слова и дела ничего не значили, все было смешано. Я не могу забыть ничего. Комната наполнена движением бабушкиного тела, ее позами, словами, глазами. У меня не было никакого предчувствия. Я сегодня думал, что все будет хорошо и буднично хорошо, и я пойду учиться завтра, как раньше. Нет.

Мама родила меня очень молодой, ей было восемнадцать лет. Она говорила: "Когда ему будет двадцать лет, мы будем танцевать, так как мне только исполнится тридцать восемь". Но мы танцевали редко. Я не помню, чтобы это было серьезно.

■ ■ ■

Грустный парень с острова Суматра
На рассвете девушку доел.

■ ■ ■

Парень, который во время вечеринки ходит по комнатам и выкручивает лампы. Настольную вывернуть просто, он садится на диван и выворачивает. В коридоре он подставляет стул, падает, пьяный.

■ ■ ■

Синие ресницы на блюде.

■ ■ ■

Человек, у которого такая странность — повсюду, где он бывает, он рвет предисловия у всех книжек. Берет с полки любую книжку, открывает ее — и рвет предисловие.

■ ■ ■

Ты меня все время видишь в одной рубашке, но это совпадение — у меня много рубашек.

■ ■ ■

Никогда не держите военного под руку — могут подумать, что он пьяный.

■ ■ ■

Люди ехали с работы в троллейбусе, продолжая говорить о работе. Они говорили о всякой ерунде, радуясь. Мне было ужасно гнусно их слушать.

■ ■ ■

Нас травили в газовой камере хлорпикрином. Задание было такое. Сначала мы сидели в противогазах и сквозь стекла смотрели на серое вещество, лежащее на полу. Стекла туманились от дыхания. Я достал из кармана грифель и протер стекла, они стали ясными. У меня был просторный противогаз, я ни разу не открывал его. Я даже не знал, какой номер моего противогаза. Хлорпикрин свободно проходил в маску. Потом полагалось еще меняться противогазом с преподавателем. Он давал неисправный противогаз, нужно было определить неисправность и ликвидировать ее. У меня был поврежден шланг. Я отвинтил его от маски одной рукой и закрывал глаза и нос другой. Я уронил коробку (далее — сажал коробки, с открытием глаз и рвотой).

■ ■ ■

На улице было так сухо, что хотелось выпить. Пойти куда-нибудь и немедленно выпить, напиться, чтобы после гулять по сухому вечернему городу и чтобы не было сухо в горле.

■ ■ ■

Природа признавала поражение.

■ ■ ■

Если бы мне сказали: "Ты умрешь через пять дней", — я бы что-нибудь успел сделать и поговорил со всеми, но мне не сказали. Я почувствовал, что умру сегодня, и вот пишу вам это, все прекрасно сознавая.

■ ■ ■

Как пьяный кончал жизнь самоубийством, прыгая с Бородинского моста. Река была покрыта льдом. Он надеялся пробить лед и уйти

под воду, чтобы не всплыть потом. Он прыгнул, но не пробил лед, а сломал об него ноги. Он сидел на льду пьяный, расстегнутый, замерзший и плакал от боли. А тем временем его знакомые и родные получили последние письма, где он все описал и со всеми распрощался, и его девушка плакала у телефона, потому что он позвонил ей полчаса назад и сказал, что он прыгнет с Бородинского моста.

■ ■ ■

ФРГ послала в Республику Гана своего полномочного посла, а там его съели. Правительство Ганы направило канцлеру Аденауэру письмо, в котором было написано так: "Нам очень жаль, но вашего посла съели дикие племена побережья Золотого Рога. Пришлите еще одного". Из Германии попросили вернуть останки погибшего посла. "Останков нет, — писали из Ганы. — Все съели. Эти дикари не оставляют останков и даже мелких костей. Они варят из них суп. Просим принять наши уверения в весьма глубоком почтении".

■ ■ ■

— Вы уважаете читать Есенина или не уважаете?

— Я его уважаю, но я его не читала.

■ ■ ■

— Ну, что для вас сделать, чтобы вам понравиться? Хотите, я сделаю пластическую операцию!

■ ■ ■

В такую погоду хорошо хоронить врагов.

■ ■ ■

Вот Коля стоит, значит, еще жив.



О, эти вечные разговоры о том, что декабристы были богатыми людьми! Как будто восставали только рабы.



Я шел ночью по улице и смотрел в окна. Внизу были окна, низкие, прямо у мостовой, там горел свет и на длинном столе девушки делали абажуры, они свешивались с потолка, лежали в углу, яркие, синие, оранжевые, красные и светло-зеленые абажуры.

По яркости окраски это похоже на венки из бумажных цветов. Их продают на рынке около кладбища. Венки лежат на снегу, висят на стене сарая, стена мокрая, на крыше снег, день тихий по-слеснежный, это когда утром шел снег, а днем все белое и спокойное, венки среди снега очень красивые с бледно-голубыми, красными, фиолетовыми и зелеными цветами. Там еще были синие цветы, яркие и синие-синие.

На кладбище было очень хорошо, снег лежал на могилах, солнце светило сквозь деревья. Из церкви выносили покойников, всего их было семь. И каждый раз впереди шел человек, который нес крышку от гроба на голове.

А перед этим я слышал разговор двух людей с фотоаппаратами.

- Какую выдержку давать?
- Дай двухсотку.
- Ты думаешь?
- Снега много.
- А диафрагма?
- Поставь четыре с половиной.
- Ты считаешь, что хватит?
- Хватит, сегодня светло.

Когда вынесли покойника и поставили гроб на специальный стол, фотограф взял табуретку и полез на сугроб. Он воткнул табуретку в снег, встал на нее и начал снимать умершего в гробу и родственников. Он снимал их немного сверху, чтобы все полу-

чились. Родственники стояли очень серьезные и строгие и смотрели кто куда.



Сегодня был очень хороший день, было тепло, и снег вокруг лежал такой чистый, белый и не городской, что я снял пальто и почистил снегом пиджак. Утром я еще не знал, какой сегодня день. В комнате было как в сумерках. У меня после водки болела голова и хотелось пить воду. А по радио передавали классическую музыку, женщина пела романс Даргомыжского "Она, как полдень, хороша". Я не открывал глаза, а лежал просто так, и это было похоже на детство, на то, что я маленький, и вернулся днем из школы, и сижу на кухне в валенках, и по радио передают классическую музыку, а за окном все белое от снега. Днем всегда передают классическую музыку, я всю жизнь слушаю ее днем, когда случается сидеть перед репродуктором.



Гена с сестрами Леной и Галей
Фото из архива Г. Переверткиной.

ГАЛИНА ПЕРЕВЕРТКИНА

МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА*

Мой папа, Переверткин Владимир Никифорович, и мама Гены и Лены, Людмила Никифоровна, — родные брат и сестра.

С раннего детства мы росли вместе. Наши отцы учились в Военно-инженерной академии им. Куйбышева. А на 2-й Владимирской улице в Москве был городок ВИА от этого учебного заведения. На фото мы на прогулке. Мне и Лене два года, а Гене три. У меня не сохранилось воспоминаний об этом периоде в силу возраста. Да и наступившая война внесла коррективы в нашу жизнь. Нас с мамой как семью военнослужащего отправили в эвакуацию в Кукмор. К моменту нашего возвращения в 1946 году семья Шпаликовых уехала из городка ВИА в Покровское-Стрешнево. Каждые выходные мы с мамой приезжали в гости. Взрослые обсуждали свои проблемы, а дети радостно пользовались предоставленной им свободой. Ходили купаться на Москву-реку в Тушино, играли в разные подвижные игры, а однажды даже бегали смотреть на самолет, который совершил посадку на поле. Так пролетел год. А в 1947-м Гена уехал в Киевское суворовское училище. И для нас это было естественно, так как все мужчины в семье были профессиональными военными. С этого момента мы стали видеться значительно ре-

* Публикуется впервые.

же — только в каникулы. Гена никогда не приезжал один, всегда с друзьями. Очень хлебосольным и гостеприимным был дом Шпаликовых.

Забавный случай произошел то ли в 1951, то ли в 1952 году. Мы с мамой шли на первомайскую демонстрацию. Вдруг я увидела, как с парада идут строем суворовцы. Смотрю на погоны, а там КВСУ (Киевское военное суворовское училище). Присмотрелась и увидела Гену. Окликнула его, и он выбежал из строя к нам. А получив замечание от командира, ответил: “Это же моя сестра!” Таким эмоциональным, импульсивным, искренним он был всю жизнь.

Стихи Гена начал писать с девяти лет, правда, узнала об этом я значительно позже. Его друзья-суворовцы подарили мне напечатанные на машинке его стихи этого периода. Храню их до сих пор.

После КВСУ Гена поступил в Московское высшее военное командное училище, но стать военным ему было не суждено. Победило творческое начало, и брат стал студентом ВГИКа.

У каждого из нас это был очень насыщенный период. Я танцевала в оркестре Эдди Рознера, Гену поглотила творческая, богатая новыми идеями и проектами жизнь ВГИКа. Потом появились свои семьи. Родились дети. Мы стали видеться значительно реже, хотя оставались в курсе всего, что происходит в наших жизнях. И, конечно, старались помогать и поддерживать друг друга в сложные периоды. А их было немало. Но Гена всегда оставался жизнелюбимым, добрым человеком и преданным другом.

Его уход из жизни стал для нас потрясением.

Спасибо его друзьям: Ю. Файту, С. Соловьеву, В. Ливанову, В. Куделину, и другим, и вам, Андрей, за то, что не забываете Гену.

Как комета — пролетела и погасла,
Так и жизнь твоя — короткая и ясная.

Я горжусь тобою, милый, добрый Гена!
Ты красивым был, спортивным, ловким, смелым.

Под гитару пел, дружил самозабвенно.
Мог последнее отдать и вдохновенно

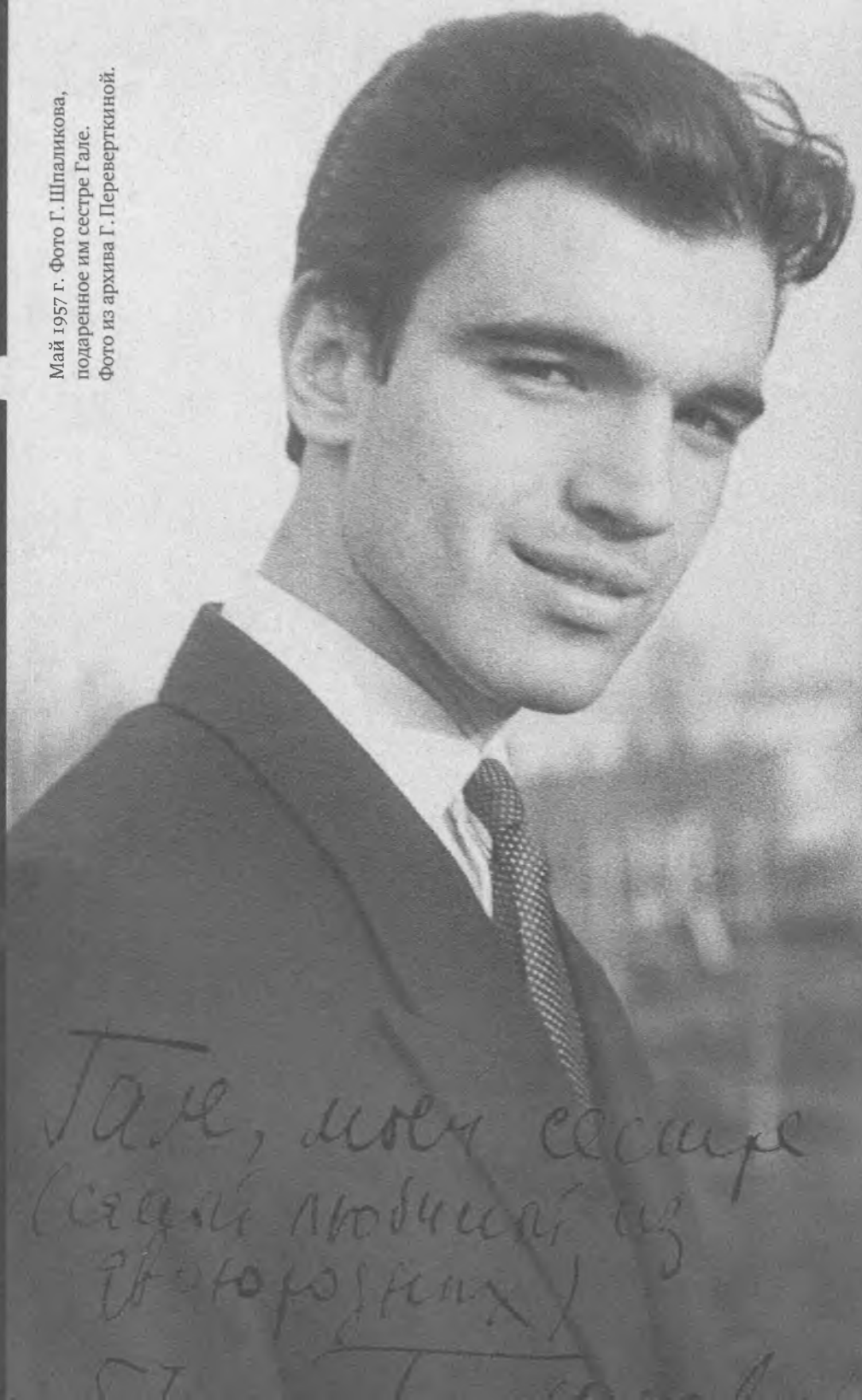
10 / I. 1946 год Осень.

По-видимому, первое
стихотворение Г. Шпаликова.
Из архива Г. Переверткиной.

Осень наступила. Лес весь
пожухтел. Ветер листья
гонит. Зайчик побелел.
Все цветы засохли. Птич-
ки улетели. Речка вся пот-
ронулась тонкими льдами.
Вот уже морозы к
нам идут, вот уже
метели под окном по-
ют.

Шпаликов Геннадий

Май 1957 г. Фото Г. Шпаликова,
подаренное им сестре Гале.
Фото из архива Г. Переверткиной.



Гале, моей сестре
(сфотографирован из
фотоаппарата)

С. П. Т. ...

Сочинять стихи, сценарии и песни...
Очень жаль, что мы давно уже не вместе.

Ты ушел, но жив в сердцах и наших мыслях.
В кинофильмах, фотографиях и письмах.

Я надеюсь, что у новых поколений
Сохранится интерес к твоим твореньям!

Август 2017

НАУМ КЛЕЙМАН

ГЕНА ШПАЛИКОВ.

БЕЗМОЛВНЫЕ РАЗГОВОРЫ *

— Свободно?

Смешной вопрос. В аудитории, кроме меня, был только еще один студент, который тоже пришел за полчаса до начала первого занятия и молча сидел в углу.

Я не успел ответить, как на лице спросившего просияло солнце улыбки, ответ сразу сделался ненужным:

— Буду сидеть рядом с тобой — не против? Я Гена.

Услышав мое имя, мгновенно откликнулся:

— Ух ты!

И задал три вопроса без перерыва:

— На киноведческий поступил? Ты не москвич? После школы?

Едва я успел ответить, что после школы проучился год на математическом факультете Киргизского государственного университета, как получил пулеметную очередь новых вопросов:

— Ты что — учился математике? Здорово! А зачем в Киргизии? Почему бросил? Трудно было?

И, не дожидаясь объяснений, весело объявил:

— А я учился в суворовском... Тоже бросил — не гожусь в офицеры. Будем теперь учиться во ВГИКе. Если не выгонят за профнепригодность.

* Публикуется впервые.

И улыбнулся так, что стало ясно: уж в свою профнепригодность он не верит.

Был понедельник 3 сентября 1956 года — второй день занятий в вожделенном ВГИКе. Хотя формально киноведческий факультет уже выделили из бывшего сценарно-редакторского, в учебном плане оставались некоторые совместные занятия сценаристов и киноведов. В основном — по так называемым общественным дисциплинам: диамату (то есть диалектическому материализму — философии марксизма), истории ВКП(б)/КПСС, политэкономии капитализма и социализма, а также по еще не отмененному во ВГИКе военному делу.

Но в тот день занятие было особым: нас должен был “ввести в профессию” сам Валентин Константинович Туркин. Для сокурсников-сценаристов — мастер, да еще заведующий кафедрой сценарного мастерства. Для нас, киноведов, — живая легенда из истории кино. Мы еще не посмотрели ни “Закройщика из Торжка”, ни “Девушку с коробкой”, но автор сценариев этих классических картин упоминался в проштудированных нами перед поступлением “Очерках истории кино” Николая Алексеевича Лебедева (нашего мастера и на тот момент). Туркин воспринимался почти как персонаж из античной мифологии.

Вместе со звонком в аудиторию вошел мешковатый человек в круглых очках, остановился в центре, жестом посадил нас за парты, внимательно оглядел и не очень внятно по дикции, но решительно по интонации изрек:

— Признавайтесь, кто из вас однолюб? Спрашиваю сценаристов...

Гена зыркнул на меня, из щелок его глаз будто брызнули лучи, а на лице появилось предвкушение фокуса.

— Кто однолюб, может сразу переходить в киноведы.

Наша половина аудитории насторожилась, почувствовав неполноценность своей будущей профессии. А может быть, и своей личности.

— Сценарист не может быть однолюбом! Он должен уметь и хотеть работать с разными режиссерами. И любить каждого из них. Самоотверженно. *(После паузы — испытующей панорамы круглыми очками по рядам.)* Конечно, я не хочу сказать, что вы должны вести себя, как *(пауза)* дамы известного поведения...

Из растянутых в улыбке губ Гены вылетел какой-то свистящий выдох.

Туркин глянул в нашу сторону и уже серьезнее продолжал:

— Потому что ваш сценарий поставит только *один* режиссер и только *один* раз. Сценарий — не пьеса. Даже если вы Шекспир. А если вы Шекспир, то поступили не туда — надо было в Литинститут.

Гена опять выдохнул и шепнул:

— У Шекспира не было кино, только театр.

Вряд ли Туркин услышал возражение моего соседа, но продолжил, будто споря с ним:

— Кино не принесло ничего принципиально нового в драматургию. Густав Фрейтаг описал технику драмы почти век назад. Жорж Польти доказал, что существуют всего 36 сюжетных ситуаций. Если кто-нибудь придумает 37-ю, то его признают гением. А все главное о драме написал еще Аристотель, и вам придется это выучить, если хотите добиться успеха в кино.

Античные ассоциации получили подпитку. Но ироничная реплика застряла в моем горле, когда я глянул на Гену. Его лицо в этот момент было совершенно серьезным. Даже как будто торжественным. Он смотрел на своего мастера с полным доверием, с готовностью изучать Фрейтага и Польти, а если надо — то и Аристотеля. Скоро нам всем, Туркину тоже, стало ясно, что Аристотелева поэтика, как и Фрейтагова техника, понадобятся Шпаликову не более математики, с которой он не ладил в суворовском училище.

Через полтора года Валентина Константиновича внезапно не стало — он упал в обеденный перерыв и не встал. Весть о его трагической кончине сразу облетела институт. Студенты любили доброго Туркина, хоть и подтрунивали над уроками драматургии, безнадежно отставшими, как тогда казалось, от задач и практики нового кино. Узнав о случившемся, я первым делом подумал о Гене и побежал к аудитории сценаристов. Но его в тот день во ВГИКе не было. Когда Гена пришел на занятия через день или два (он часто не приходил, никак не объясняя свои “прогулы”), его лицо было чернее тучи. Мы не стали говорить о потере — я пожал его руку, он кивнул, все было понятно без слов.

Туркин рано выделил Шпаликова из сокурсников. Киноведов на мастерство к сценаристам не пускали, об их занятиях мы узна-

вали от ребят. Кажется, уже в октябре наш сокурсник-вьетнамец Ву Тхи Хиен, встретившийся по пути в столовую, сказал мне, сияя добрыми глазами-маслинами: “Друг Генка написал хороший рассказ, мне понравилось, другим тоже, и мастер похвалил”. Я нашел в столовой Шпаликова и поздравил его, Гена лаконично, но не без удовольствия сказал, что Туркин сам вслух прочитал всему курсу его этюд. Я не удержался от шутки: “По Фрейтагу написал?” В ответ услышал возмущенное: “При чем тут Фрейтаг? Как умел, так и написал”. Меня рассмешила его реакция, Гена ткнул в мою грудь кулаком: “Не смейся, старик — не догматик”. И вправду, Валентин Константинович был способен откликнуться и на новые типы сюжета, и на новые таланты. Именно он рекомендовал первокурсника Шпаликова Киностудии имени Горького на сценарий по научно-фантастическому роману Александра Беляева “Человек-амфибия”.

Гена шепнул мне о предварительной договоренности об этом, едва успев прибежать из сценарного отдела на занятие по “военному делу” (наши аудитории все еще располагались в левом крыле Киностудии им. Горького, здание ВГИКа только достраивалось). Полковник немедленно сделал нам замечание за “посторонние разговоры”. Гена вдруг вытянул из-под моей руки тетрадку, в которой полагалось конспектировать лекции, и написал в ней что-то вроде: “Давай мы как будто его лабуду записываем, а это будут наши безмолвные разговоры”.

Из доброй дюжины “разговорников” с Геной сохранились, увы, только две тощие тетрадки и остатки блокнота. Лабуда давно выдрана, оставшиеся фразы нашей переписки с трудом связываются между собой и с контекстом реальных событий, оставшихся в памяти. К счастью, сохранилась та тетрадка, куда Гена записал мне несколько стихотворений подряд: проект маленького сборника, о котором речь впереди. Обычно — так повелось с первых дней — он приносил с собой листочки с новыми стихами и молча клал передо мной, делая вид, что не следит за моей реакцией. Когда же я молча и абсолютно искренне поднимал большой палец, а иногда и оба в знак особого одобрения, лицо Гены светлело, и он отбирал свой листок, чтобы показать еще кому-нибудь.

После “военного дела” он рассказал (“по секрету”), что сразу представил себе будущий фильм о “человеке двух стихий”: Ихти-

андр способен жить под водой свободно, но одиноко, а на суше обречен на страдания — не потому, что жабры пересыхают, а потому, что надо жить среди людей алчных, жестоких, враждебных любой незаурядности. Позже в “разговорнике” Гена написал, что придумал сценарию другое название: “Без жалости”. Но однажды спросил вдруг: “Писать ‘Человека-Амфибию?’” (и название, и вопрос сохранились в тетрадке). Что случилось? Студия ли насторожилась оттого, что популярный романтический сюжет начинал обретать “непроходимую” окраску? Сам ли Гена почувствовал, что не сможет оставаться в рамках “классово-обличительных” мотивов? Он раза два уклонился от объяснений, некоторое время спустя стал говорить о совсем других сюжетах. Экранизация “Человека-амфибии” перекочевала на “Ленфильм”, роскошная любовная мелодрама с юными актерами-красавцами побила рекорды посещаемости в прокате. До слез обидно, что первый истинно “шпаликовский” фильм не состоялся в самом начале “оттепели”.

Много лет спустя я вспомнил об этом замысле и подумал, что сам Шпаликов в известном смысле подобен Ихтиандру — он жил если не в двух стихиях, то в двух социальных эпохах одновременно. Трагедия его жизни отразила безжалостную расправу законодателей одной общественной формации над другой, которая началась, но по-настоящему не победила, а развивалась вместе с прежней — протекала, как иные реки, то уходящие под землю, то внезапно вырывающиеся на поверхность.

Нам посчастливилось поступить во ВГИК в “правильном” году — в 1956-м. Исторически, а не календарно он начался 25 февраля, когда на XX съезде КПСС прозвучал доклад Хрущева о “культе личности”. Психологически для граждан СССР он наступил еще позже, в апреле — мае, когда на предприятиях и в вузах страны публично зачитывали этот доклад, обработанный “для простого народа”, но так тогда и не напечатанный. Странно противоречивые чувства охватили почти всех. Мысленный шок от трагизма развершейся правды сопровождался для миллионов людей душевной радостью освобождения — кого от тюрьмы, от ссылки, от бесправий всякого рода, а всех — от ежедневного страха за себя и за близких, от гнета предписанной лжи, от всевозмож-

ных запретов и ограничений. Название повести Ильи Эренбурга “Оттепель” довольно точно определило не только внутреннюю и внешнюю политику государства после смерти Сталина, но и ментальное, нравственное, эмоциональное состояние общества. Как хотелось верить, что пронизывающая зимняя стужа сменялась весной! И как тревожило глубоко укоренившееся в людях опасение, что холода — репрессии, демагогия, принуждение, необходимость лжи или глухого молчания — могут вернуться, что оттепель ненадолго!

Два месяца — сентябрь и октябрь — “оттепельные” настроения разогревали атмосферу в институте. Этому способствовали не только мастера (во ВГИКе преподавали в то время Кулешов и Довженко, Ромм и Рошаль, Герасимов и Пыжова с Бибиковым, Волчек и Косматов, Богородский и Иванов-Вано), но и преподаватели теории и истории литературы, театра, живописи, музыки — на их лекциях зазвучали имена Мейерхольда и Таирова, Стравинского и Пикассо, Ионеско и Рильке, которые в советской прессе тогда если и упоминались, то с “ругательными” эпитетами.

Неожиданно интересными оказались занятия по “марксизму-ленинизму”. Рыжеволосый преподаватель “истмата” и “истпарта” по фамилии Пудов, типологически похожий на карикатурного Хрущева, заливался густой краснотой и беспомощно пытался отвечать на острые вопросы, которыми его атаковали студенты. Самым саркастически-наступательным был сценарист Владимир Злотверов, старше всех нас лет на 10–12. Едкость его реплик оттеняло “наивное недоумение” юного азербайджанца-романтика Али Кафарова. После одного из семинаров усталый Пудов объявил сценаристов-первокурсников *ревизионистами* — это было опасной идеологической дефиницией, но Алик легкомысленно решил “расшифровать” этот ярлык как *ревизор-иллюзионист*.

Все первокурсники быстро перезнакомились друг с другом — не только внутри каждого факультета. Актеры и художники, операторы и сценаристы, режиссеры и киноведы набора 1956 года проявили, по признанию старшекурсников, редкую открытость и контактность — в прежние годы факультеты теснились в меньшем пространстве, но были гораздо более разграничены. Межфакультетским связям способствовало и появившееся в “городке

Им - ты.

Им - тебе Колеж

Пусть Гена?

Да, конечно, и пусть у
меня больше некому.

Иди ты знаешь куда -

Но - моему редактору
каждое слово сейчас стоит
на кончике пера. Последнее время я
все больше в этом убежден
нось. Так что мне, кажется, грозит
безделье.

Игорю. Василию Белынского.

О Боже! Я думаю, вы
копаете: Игорю, твои
сокурсники найдут себе
ушишки и будут навешивать
тебя на всеохватывающую
те тему.

Моссовета” единое общежитие для иногородних студентов. Через неделю-две занятий все — и москвичи, и общежитейские — знали друг друга по именам. Вскоре появилась идея издавать рукописный журнал “Первокурсник”, чтобы сверстники познакомились и с дарованиями друг друга.

Гена принес эту идею, кажется, с художественного факультета, но, скорее всего, был прямо причастен к ее рождению. Глядя в упор, он ошеломил меня требованием, чтобы я стал главным редактором будущего журнала. Мои отнекивания принял сначала не очень всерьез — заявил, что не хочет считать меня трусом и дезертиром, а потому нарекает кокетом. Когда началась лекция, я написал ему, что возглавить журнал должен он, Гена Шпаликов, как Пушкин — “Современник”.

Сохранился листок с продолжением этого диалога:

Г. Ш.: Не понял. Это — слишком сильное сравнение (*гипербола*) и пр.

Н. К.: Я понял. Нет, серьезно, я думаю, не нужно никакого главного редактора. А редакция из 2–3 человек нужна.

— Нужен. Ты — не будь мелочен. И не лезь в кусты. Придется делать тебе.

— Зачем? (*Нужен.*)

(*Далее зачеркнуто несколько слов*)

— Или — ты. Или — Гена Коледа

— Пусть Гена!

— Да, видимо, придется ему. Больше некому.

(Тут я, помнится, показал пальцем на Гену — не на Коледу, его конкурника, а на него самого, Шпаликова, он показал кулак, в ответ я попробовал обосновать свою гиперболу.)

— Иди ты знаешь куда... По-моему, редактором полноценным может быть только пишущий человек. Последнее время я все больше в этом убеждаюсь. Так что мне, кажется, грозит безработица. (*У меня никак не складывалась первая курсовая работа.*)

— Ничего. Вспомни Белинского. (*Гена явно мстил за Пушкина.*)

~~Вот так же, как и в жизни!~~

Мы выпускаем 1 номер нашего журнала.

В идеале он должен обдернуть все факкультеты первого курса.

Идея не получила.

Собрались еще раз, но, как сейчас кажется, стеснительно, ожедалось, в общем, трудно.

Отношение к журналу, который еще не вышел, было разное

— Зря вы взялись.. - говорили нам.

— Надо же продолжать! - возражали мы.

— Простите. Не вы первые. А мы - продолжим. Посмотрим.

~~Василий~~

возможно поэтому, поварихи ^{наблюдают} ~~завтра~~, первый номер выйдет от напекты и совершенства.

но мы не претендуем пока на больше.

Это всего лишь идея. первый номер и он нас заведет, чтобы не был космическим.

Журнал нужен, как свежее звено.

мы хотим, чтобы рецензоры не бродили в поисках очерков, а очеркисты - сюжетов.

Мы хотим, чтобы сценаристы писали не только в собственной луже.

Мы хотим знать друг друга и никаких административных путей родства отсюда сделать невозможно.

~~Вот так же, как и в жизни!~~

~~Вот так же, как и в жизни!~~

— О боже! Я думал, ты напишешь: “Ничего, твои сокурсники найдут слова утешения и будут навещать тебя на овощехранилище”.

— Не смешно.

(Соль последних реплик — в том, что весь ВГИК уже несколько дней в дождь загружал картошку, свеклу, морковь в овощехранилище неподалеку от Ярославского шоссе, это называлось “общественно полезным трудом”. Было действительно не очень смешно: почти все чихали и кашляли, особенно трудно приходилось девочкам с актерского факультета. Моей “напарницей” была Оля Бган, землячка по Кишиневу, только что прославившаяся главной ролью в фильме “Человек родился”, она смешно дурачилась, перебрасывая свеклу из вываленной самосвалом груды в корзину, и только в конце дня я увидел на ее руке кровавую ссадину).

Гена все же убедил меня взяться — с ним вместе — за сбор материалов для первого номера журнала. У болгарки Лили Горановой удалось получить сценарий мультфильма “Кошка, нарисованная мелом”, у режиссера Павла Арсенова, с которым мы жили в одной комнате в общежитии, я взял маленькое интервью о “воображаемом первом фильме”, у оператора Мити Долинина получил в дар “питерскую” фотографию мокрой мостовой с трамвайными рельсами. И только. Остальные (киноведы, сценаристы, художники) обещали — и ничего не приносили. Даже попытка разговорить и записать Наташу Зацепину (“кинозвезду” с детства, поступившую с нами) ни к чему не привели. Улов Гены (дававшего в номер свой этюд и стихи) был, кажется, и того меньше. Ему пообещал Валера Левенталь оформить рисунками номер, когда он будет собран и перепечатан (в четырех экземплярах под копирку) красавицей Софой Давыдовой, не прошедшей по баллам на киноведческий и работавшей теперь на кафедре.

Тем не менее Гена написал “редакционное вступление”:

Давайте знакомиться!

Мы выпускаем первый номер нашего журнала.

В идеале он должен объединить все факультеты первого курса.

Идеала не получилось.

Собрать даже часть того, чем сейчас заняты студенты, оказалось, в общем, трудно.

Отношение к журналу, который еще не вышел, было разное.

— Зря вы взялись... — говорили нам.

— Надо же пробовать! — возражали мы.

— Попробуйте. Не вы первые. А мы — подождем. Посмотрим.

Возможно, потому, товарищи наблюдатели, первый номер далек от полноты и совершенства.

Но мы не претендуем пока на большее.

Это всего лишь первый номер, и от нас зависит, чтобы не был последним.

Журнал нужен как связующее звено. Мы хотим, чтобы режиссеры не бродили в поисках операторов, а операторы — сюжетов. Мы хотим, чтобы сценаристы писали не только в собственный ящик.

Мы хотим знать друг друга, и никакими административными путями добиться этого сближения невозможно.

Итак, здравствуйте!

Будем знакомы.

В рукописи первая и две последние строки были зачеркнуты кем-то — не Геной и не мной. Возможно, их вычеркнула “член редколлегии” Софа Давыдова, прежде чем вернуть мне папочку с материалами. Они так и остались неперепечатанными — первому номеру “Первокурсника” не суждено было выйти в свет из-за резко изменившейся обстановки во ВГИКе, в стране, в мире.

Уже в том же благословенном, породившем радужные надежды 1956-м нам дали понять, что безоглядно радоваться рано.

Первый гром над нами грянул в начале ноября. Уже неделю развивались так называемые “венгерские события”*, преподносимые советской прессой как “контрреволюционное восстание”. На очередном семинаре Пудов зловеще указал на окно, за которым предполагалась Венгрия, и предупредил: “Видите, до чего до-

* Вооруженное восстание против просоветского режима в октябре — ноябре 1956 г. (Примеч. ред.)

водят сомнения в верности марксистско-ленинского учения! В Будапеште убивают коммунистов. А начинали тоже с вопросиков...”

Что на самом деле происходило в Венгрии, мы не знали, но чувствовали, что там решается и наша судьба.

Седьмого ноября Москва, вопреки традиции, была не кумачовой, а серой. Без объяснения отменили демонстрацию трудящихся, военный парад был какой-то странный, судя по радиорепортажу (телевизоры были еще редкостью). Гена исчез, его не было на занятиях несколько дней. На запросы деканата мы выгораживали прогульщика: “Он, наверное, простыл, у него горло слабое”.

Появившись, Гена объявил мне в тетрадке: *Был в Венгрии.*

Очень хорошо помню, что я написал в ответ коротко: *Врешь!*

На что он возразил: *Ты не знаешь, у меня дядя генерал, он меня с собой брал. На военном самолете.*

К этому времени мы уже знали, что Гена склонен присочинять. Не хочу сказать — “любил привирать”: он жил в своих фантазиях настолько органично, что мы иногда не очень-то понимали, где он придумывал, а что произошло на самом деле.

В “разговорнике” появилось: *Хочешь — напишу? Вся историю.* Я шепнул: *Конечно.* Гена сидел и писал с абсолютно серьезным лицом, а я пытался понять, неужели он действительно был в Венгрии. Когда он придвинул мне тетрадку, там было написано примерно следующее: *Знаешь, что я видел своими глазами? Сидит парень в танке, наш сверстник. А перед ним ребята-венгры — такие же, как он, по возрасту, а один даже похож на него. И у этого одного в руках зажигательная смесь, вот-вот сейчас швырнет бутылку в танк. Наш парень понимает, что он должен в того выстрелить, но не может, потому что он в себя будет стрелять. А если он не стрельнет, то в него полетит бутылка. Я сижу и смотрю — у кого первого сдадут нервы.*

На этом рассказ обрывался. Шепчу: *И у кого?* Гена смотрит на меня грустно и пишет: *Никто не бросил смесь, и наш парень не стрелял.*

Я ему пишу: *А как ты увидел парня в танке? Я еще понимаю, что ты видел парня на улице, а в танке-то как? — Так там же прорезь есть. — И ты увидел там парня? В шлеме? Он опять глянул на меня с горечью и сказал довольно громко и уверенно: Без шлема.*

В тот момент я вдруг поверил, что Шпаликов был в Будапеште. Неважно, был ли реально, с дядей-генералом. Он мог видеть “венгерские события” отсюда — видеть лучше, может быть, чем те, кто присутствовал там физически. Это было больше, чем видение, это было провидение — то, что обычный человек глазами узреть не может, но что отчетливо, в зримых формах, с конкретными деталями представляет себе подлинный кинематографист. И то, если, вдобавок к своему дарованию, он способен уловить незримую вибрацию нервов эпохи, угадать препятствия, возникшие перед людьми в движении истории, и если не разумом понять, то чувством предположить вероятные пути их преодоления людьми. Эти “измерения” таланта встречаются еще реже, чем владение словом или кадром.

Конечно, Гена придумал двух этих ребят, русского и венгра, похожих друг на друга, сверстников, которые должны самоубийственно стрелять один в другого — и не стреляют. Придумал в ситуации, когда пропаганда твердила, что в Венгрии “антисоветский мятеж”, проплаченный империалистами. Но ведь ситуация 1956 года включала в себя и пробудившуюся после владычества Сталина совесть, и родившуюся заново надежду на “мир и дружбу между народами”, и вернувшуюся веру интеллигенции на возрождение истинной свободы, равенства и братского интернационализма, под флагами которых свершалась революция в России. Можно, конечно, трактовать утопическую развязку трагической коллизии на площади в Будапеште как наивное прекраснотушение “детей оттепели”. Но можно ее понять и как нравственный императив поколения, которое прорвалось сквозь постулаты “классовой борьбы” к невозможности узаконить насилие и ложь как основу существования — в равной степени человека, общества, государства. Шпаликов был одним из первых, кто начал в нашем кино движение в этом направлении.

Вероятно, он очень удивился бы и наверняка поморщился бы от “пафоса” такого рассуждения. Мы все ужасно боялись впасть в *пафосность*, это был в наших глазах страшный грех эпохи “культу вождя”. В противовес возник культ “потерянного поколения”: антимилитаризм Хемингуэя и Ремарка играл на фронду в обстановке “холодной войны”. Но столь же важен для нас был стиль их прозы —

прозрачность фраз, недосказанность реплик, подтекст косвенных ответов: он противостоял выпяченной риторике и тупой декларативности официозного советского языка.

Гена больше всех из вгиковского собратства опровергал своим стилем внешний пафос сюжетов, велеречивость монологов и прямолинейность диалогов, царившие тогда на экране. Его как будто непритязательные стишки и песенки, летучие реплики его сценарных этюдов, кажущаяся камерность его рассказов “ни о чем” прокладывали кратчайший и общедоступный путь к самым серьезным проблемам, которые тогда волновали всех — не только молодежь. Оглядываясь на них после “Заставы Ильича”, “Стеклянной гармоники”, “Я родом из детства”, ясно видишь, что Шпаликову вовсе не чужд был пафос внутренний — в античном понимании его как “страстной идеи, ищущей воплощения”. Только Гена прятал этот пафос где-то в глубине — сюжета ли, диалогов ли; на поверхности же его текстов веет оттепельный воздух, пронизанный солнцем или, если угодно, душевным светом и теплом, который должен растопить лед предубеждений и лжи, угрюмости и корысти.

Вместо выпуска “нелитованного” журнала решили собрать первокурсников всех факультетов в складчину в ближайший же из наших дней рождения. Первым по календарю оказался мой, и 1 декабря мы устроили “танцы с бутербродами” в 201-й комнате общежития ВГИК, служившей чем-то вроде клубного помещения. Гена преподнес мне свое стихотворение (хотя всех предупреждали, что подарки возбраняются — празднуем не день рождения, а День Дружбы) и весь вечер был в ударе: хохмил, пел свои песенки, говорил комплименты Наташе Фатеевой, которую привел влюбленный в нее Паша Арсенов.

Трагедия восстания в Венгрии, казалось, начала уходить на задний план, в газетах печатали репортажи о “победе над силами реакции в братской стране”...

Двенадцатого декабря нам дали понять, что радоваться потеплению на родине рано, если вообще надо. Во время занятия сценаристов и киноведов по военному делу вызвали к ректору студентов Владимира Злотверова и Али Кафарова. К концу лекции они

не вернулись в аудиторию, кто-то побежал в новое здание, где был теперь ректорат, и вернулся с известием, что ребят увезли в “воронке” — вроде бы на допрос. Мы с Геной переглянулись, он тихо и медленно произнес: “Ты после занятий в общежитие? Я с тобой. Послушаем Альку, когда вернется”. В комнате, где жил Алик, мы увидели классическую картину обыска: дверцы тумбочки распахнуты, на полу лежат какие-то вещи, постель разворочена, матрас наполовину сполз на пол, из-под кровати выдвинут чемодан, в котором рылся явно не хозяин. Стало ясно, что Алик сегодня сюда не вернется.

Отчетливо помню, как меня поразили глаза Гены: обычно прищуренные, готовые излучать приветливую улыбку, они были сейчас распахнуты и отчаянно серьезны. Гена спросил у ребят, живших в той же комнате (совершенно забыл, кто это был), есть ли у них стаканы, и вынул из своей котомки с книгами и тетрадками бутылку “Московской” (успел сбегать в магазин, пока была последняя “пара”). Он разлил водку, тихо сказал: “За возвращение”, — и выпил, не отрываясь, целый стакан. Я никогда не умел и позже не научился пить, но в тот момент хватанул добрых полстакана “белой” — и совсем не опьянел: столь сильным было нервное потрясение.

На следующий день во ВГИКе начался стихийный митинг студентов всех курсов и факультетов с требованием освободить наших товарищей. Существует много воспоминаний, более или менее точных, о трехдневной забастовке, бурном собрании с участием инструктора ЦК КПСС А. Н. Грошева, вскоре назначенного ректором ВГИКа для “закручивания гаек”, а тогда лгавшего нам о том, что “ребята не арестованы, а просто под следствием”, что вот-вот они вернутся к учебе. Стало известно, что “заложил” ребят наш же сокурсник Владимир Кривцов, читавший откровенные дневники доверчивого Кафарова. На многих партах было процарапано: “Кривцов — стукач”, до конца учебы мы с ним не здоровались. Гена, как Алик, поначалу доверял Кривцову, и его подлость стала дополнительным ударом. Гену передернуло, когда Кривцов вошел в аудиторию с демонстративно задранной головой и, глядя на Юру Авдеенко (единственного, кто оставался рядом с ним), громко, в расчете на всех нас, заявил: “Пусть думают что хотят, я только выполнил долг коммуниста”.

У меня чудом сохранились два блокнотных листочка, которые можно почти точно датировать началом марта 1957-го: на одном из них записано, что новое название “Человека-амфибии” — “Без жалости”, там же зафиксирован наш с Геной безмолвный диалог:

Н. К. Да, мне Димка Д[олинин] сказал, будто от тебя исходит, что Каф[арова] должны выпустить 13 (?). Алик Павлов вчера сказал, что это чепуха.

Г. Ш. Чепуха. Мы шли втроем. Я, Алька [Олег Павлов, еще один наш друг-сокурсник] и он [т. е. Долинин]. Мы сказали ему, что 12 кончает[ся] срок следствия и, все может быть, их отпустят или нет. Но я на каникулах ходил сам на Дзержинку. Я пробовал узнать через дядю, как и что. Я говорил не со следователем, но с человеком, который имеет отношение к делу. Он майор. Он очень так весело мне говорил, что следствие идет к концу и все образумится. В общем, есть надежда. Так он говорил мне.

Ребят не выпустили — Злотверов загремел на шесть лет лагерей и потом пропал с нашего горизонта, Кафарова освободили через два года, он вернулся из Сибири в Баку, писал сценарии, начал пить и как-то странно погиб в 44 года...

Не знаю, действительно ли Гена ходил на Лубянку, или ему очень хотелось заступиться за ребят, очень хотелось принести нам весть о скором освобождении, и он вообразил очередную протекцию дяди-генерала...

Есть еще одна запись о тех же зимних каникулах того же 1957 года:

Г. Ш. — Можно эту лекцию пропустить? Верно?

Я на каникулах был чуть ли не на Северном полюсе. Я был на Кольском полуострове. Рыбачий видел. Был на границе с Финляндией и привез оттуда почти готовый сценарий. Называется “Эмигранты”. Очень интересно. Трое ребят, наших ребят из Ленинграда, пересекли границу по разным причинам. Я кое-что знаю, как они жили там, сейчас пишу.

Н. К. — Здорово.

Да, мне Димка
сказал, будто
от тебе исходит,
что Казар должен
выпустить В(?) Аким
Наблов все же ска-
зал, что это глупо.
Глупо.

Мне как будто. Я
Аким и от. Мне
сказать ему, что К какому
сроку мне нужно, но
лучше всего, чтобы он был
Я не знаю, ^{мб. во} хоро
сам не ~~дел~~

К узу Религии и узу
узу узу узу 1498 4
узу. И узоры не со
созвучия, но с уловия,
узоры имеет отношение
к узу. Он мой. Он
они как все мы
узоры то есть узу
к узу и со узу
в узу, узу узу.
как он узоры мы.

Можно ли жить
вруда? ! Верно!

А не можешь ли ты
а не можешь ли ты
а ~~Роберт~~ не Роберт
интер. Роберт верн.
Как не сможешь с Робертом
и не можешь с Робертом
сможешь. Каз. Интер-
группа. "Роберт верн". Трое
ребят, а не Роберт и Роберт
ребят. Роберт. Роберт
интер. А не можешь ли ты,
не можешь ли ты, Роберт
сможешь интер.

здорово.

Нургул Ғаб.

На какой гадюке
работа?

Я все еще полнокровно
морожу. Сейчас сижу,
мне шурт, в шурт вил и
соловее.

{ Гелка, а как ты
туда попал? Само-
летом? }

Самолетом. Я езжу с
гелкой.

Их все ли?

Я не знаю, где кто живет.
Это и интересно будет
знать. Все дело много
лучше!

— Переходят трое.

1. Вроде как 22 года. Выгнали из института. Могут забрать в армию.
2. Бывший однокашник. Ныне живет случайными деньгами. Если не уголовник, то во всяком случае вор.
3. Мальчишка. Не попал в институт. Взяли его потому, что у него были деньги. Для перехода границы нужны деньги.

Ты только молчи. Идет?

— На какой стадии работа?

— Я написал полностью либретто. Сейчас сценарий, так сказать, в чистом виде на половине.

— Генка, а как ты туда попал? Самолетом?

— Самолетом. Я ездил с дядей.

— Их взяли?

— Я не буду тебе говорить. Это неинтересно будет потом. Все очень мило (последнее слово неразборчиво).

В 1957-м мотив нелегального перехода границы советскими гражданами, если они не разведчики, был абсолютно табуирован в кино, но залетал не в одну молодую голову. Одним из самых скандальных происшествий во ВГИКе этого времени стал “уход” в Америку (через Японию!) сына добрейшей “мамы Лизы” — Елизаветы Михайловны Смирновой, которая вела у нас историю советского кино.

Больше я ничего не слышал о сценарии “Эмигранты”. Возможно, именно о его судьбе Гена сообщил мне вскоре на другом листочке:

Я вечером взял таз.

Большой. Эмалированный.

Пошел на кухню. Закрыв дверь на щеколду и стал жечь по листику.

Когда я все сжег, таз был с краями полон пепла.

Пепел был черный.

Мне стало страшно как жалко.

(Скажу по секрету — черновик одного (первого) варианта остался как реликвия.)

А вечером взял рез.
Кованый, змеи роvent
Пошел на кухню. Зерка
Зверь не выкозду и срез
Меню по мережы.

Купе я не смел, рез
Был с зверем колом некая.
Пеша для притой.

Мне село стремно как
Меню.

(Скажу по секрету —
Притойка оруло. (сертно)
Веряче острел, как
ремичеве.)

Однажды Гена взял мою тетрадку с собой, принес назавтра, положил передо мной каким-то необычно замедленным жестом и попросил прочитать, а потом честно сказать свое мнение. Там оказались четырнадцать стихотворений, которых у меня раньше не было. Я читал их с нараставшим волнением — и потому, что почти все пришлось мне по душе, и потому, что за жестом Гены чувствовалась решимость на что-то важное. Неужто он решился издать свою поэзию? Мы ему говорили, что надо отослать стихи, кажется, в “Новый мир” (“Юности” еще не было), а он лишь подтрунивал над ними, над нами, над собой.

Теперь в ответ на мою похвалу он написал:

Все это написано, что в данном случае, год назад. Сейчас я пишу очень мало. Не могу писать, выдумывая, с натугой извлекая что-то из себя. Это — вылилось как-то сразу. А массу рифмованных безделушек — пожалуйста. Это, понятно, не стихи. Все, что я написал последний год (то, что у тебя, часть последнего года), стихи всегда. Они могут быть хуже и лучше, но это стихи.

Согласен?

Да.

Сознательно не хочу ничего отсылать.

Просто — боюсь. Начнут причесывать, улучшать, подгонять под какую-то общую мерку “начинающих”.

Я собираю сейчас около 30–35 стишков, вроде этих.

Софка отпечатает? Да?

И тогда я сделаю следующее — отошлю Паустовскому.

Тут меня пронзила догадка: если Паустовский одобрит эти “стишки”, Шпаликов бросит ВГИК и уйдет в Литинститут*. Я ответил (судя по почерку, моя рука от волнения дрожала):

— Твое место здесь. Ты великолепно делаешь диалог. Здесь это разовьется. А поэзия обогатит сценарии.

* Паустовский преподавал в Литературном институте, был заведующим кафедрой литературного мастерства. (Примеч. ред.)

Научу -

Самое лучшее -
в поэтике.

1 декабря 1956 г.

И когда к тебе иду
 мне слышно "ура" ребра
 Это тебе за кобы дура
 А теперь вот дура иду-то
 Т. Шпаликов

* * *
 Я тебе девочкой
 А теперь знай куда-то
 расстреливай
 грубые, выделенные ребра
 Ребрами ходят из тобой

Все поетно-ты дружно
 Раньше, позже,
 но и шире
 твой срок
 Уютишь девочкою

В золотистой кошачьей
 именной
 пуге.

Замыслишь здесь, по-моему,
 не меньше

Как при виде этой
 головы,

Я тебе, знаешь
 Неожиданно называя на "

А в конце концов "вот"
 откровение

Я узнаю как будто главный,
 Это какая милая и славная
 Девочка из нашего двора

Здесь и далее: стихи
 Г. Шпаликова, записанные
 в тетрадь Н. Клеймана для
 конспектов по истории КПСС.

Цигобы с хандрою ^{вроде}
Дни тужи ^{потекли}
И бы ты ^{не просто}
У щедрой ^{есть} ^{князем} земли
С весёлыми
наконец
Книже и мире ^{слит,}
Плюнуть ^{стань} ^{не мило}
И настроений ^{обуд}
Зрелищ
Хвещат ^{тицать} и нить.
Молодость,
всюду
Кто равнодушен ^{брызнул!}
Тило уничтожит ^{исчез,}
исчез.

Грустное

В это — серьезно верил,
возможно,
Звонок неоксидированный
от простоты.
Я открываю — ты в двери
вернись мне в это
хочешь,
А факты кричат: не верь!
Куда еще всего молоденькие
Я открываю дверь.

✓ | Т лет

Загорели, обветрели и босли
высокие он под грунью
От современности — только трусы.
А так — африканский вождь
Пренебрежительно глянул на нас,
Вытер ладонью нос
и пустил по лужам в джунгли плес
С удовольствием и впервые.

Домашу в Обвинение Заче

Откуда у тебя столько тога,
Путь наученный в рассудке,
Заче



~~и~~ ~~наша~~ ~~князь~~
Хлеба второе с краем прудов
сущи.

Погода сама говорит за нас,
Что в ~~наш~~ ~~двор~~ ~~бездомный~~
~~наша~~ ~~двор~~ ~~век~~

Скоро будем всемирный потоп

И нужно строить ковчег.

Кто там, не тебе,

Пожалуйста, дай, разберись,
не аврааме.

Нам не не селя ^{китайский} рис
на земном ^{асфальте}.

Звездное озеро

У деревни лают собаки,
Того повисла над водоемом
И костер на воде — как факел
С желтоогненными окладами.

Здесь жаркий лес топится,
Здесь сырою пропитан воздух
И захочешь воды напишься —
В котелке заплескуют звезды.

Тишина

Разная бывает тишина,
Тишина рассветов над озёрами
Очень тихо, когда весна
Землю набивают зёрнами
Мне же запомнилось
Как тишиной большие всех,
Медленно кружится прохвата
И засыпает теплый снег
карнизы.

Квир у шоссе.



Над травяни,
Между осинами
Сумерками синими
Стелется белый дым
Чтобы от пыли очистив
Воймуть рососою листья
Стелется белый дым.
И пеленой завуалив
Пыльные стволы
Дни
По в спокойные дым
По ромашкам уймы.



Мир Полотни светло

Солнцем обрызган целый мир,
~~Празднично~~ блестяще улице.
После умирной тишины
Итоги стрел и шуршета.
Сдвинувшись, кокордуй, —
И у подвздош, то квартир сил
Горбу большой на множестве
Закмурившись, как котенок. ^{застыли}

— Вряд ли. В конце концов — есть фильм, который б[удет] делать режиссер, не [сценарист] ...

Последнее слово восстановлено тут по смыслу — оно было написано на следующем листке, который не сохранился. И я не помню, было ли продолжение этого разговора — безмолвного в тетрадке или вслух в перерыве. Факт в том, что стихи свои Гена при жизни так и не издал, и я корю себя за то, что мало хвалил их: как ни странно, он нуждался в нашем мнении, хотя трезво отдавал себе отчет в том, что удалось, а что нет, какие стихи — безделушки, а какие — поэзия.

Но и то факт, что Шпаликов из ВГИКа не ушел. Разумеется, это не моя заслуга — он был сценаристом по естеству своего дарования и отлично знал это. Беда в том, что обстоятельства времени и обстоятельства места, в которых он был вынужден творить, определялись не естественными законами искусства и общества, а произволом невежд, самозванцев, временщиков, командовавших страной и кинематографом.

Отчасти и в том беда, что конечное авторство в кино признается за режиссером, а не за сценаристом — именно на это намекает последняя фраза Гены из нашего сохранившегося на бумаге разговора. Хотя сейчас никого уже не удивляет, когда говоришь: “кино Шпаликова”. Голос Гены ясно слышится в картинах таких разных режиссеров, как Хуциев и Хржановский, Туров и Данелия, Файт и Шепитько. И тем не менее все еще непредставимо, чтобы даже самый талантливый и знаменитый сценарист выбрал режиссера и пригласил поставить его, сценариста, фильм. Везде происходит ровно наоборот. И тогда сценаристу приходится пробиваться в режиссеры, как это случилось со Шпаликовым: лишь однажды он прорвался к постановке — “Долгой счастливой жизни”, но разошелся с “большой” и с прокатной политикой, с привычками зрителей, с “актуальными” заморочками критики, а потому второго шанса на режиссуру не получил.

Лучше ли было бы ему в литературе? Не знаю. Кинематографу точно было бы хуже.

На втором курсе мы с Геной стали отдаляться друг от друга. Отчасти из-за того, что общих занятий стало гораздо меньше. Но глав-

Очень здорово. Ужасно и пред-
взвучаю удовольствие от "двух
как сценарие!

И не огнев^{то} понравилась
две последние сценарии в
первом сценарии. Это просто
и так верно, это, как всегда бывает
в таких случаях, воспринимается
как гримаса, как агроризм

Все то же самое, что и в первом
сценарии, но не так. Сейчас я пишу
очень мало. Не могу писать, фазу, мифы,
с тяжелой изюминкой про-ис из себя.

Это - впрочем как-то сразу.
И масса риторических безделушек -
интереснее. Это, конечно, не так.

Все это я писал в последний раз
про то, что я, что последние из
стихи я пишу. Они могут быть хуже
и лучше, но это стихи?

Согласен? Да.
Создается не так сильно отклик.

Просто — боюсь. Нельзя представить,
улыбаться, подмигнуть под кем-то-ли
обтупую леррию „немишущих“.

Знаешь, очень трудно найти
Зеленова, который пошел бы
было. Всегда было, как-то
у молодых, возможно
моя. и-га? Везде Р. Рондлет
венецкого или т.д.

Я собираюсь сейчас око 30-35
списков, врез дух.

Согласны описывать? Да?

И еще я слышу описания —
отсюда Паустовскому

Твой лист здесь. Ты
внимательно देखишь
описание. Здесь это
разговариваю я по-прежнему
обозначить сценарии
Врез м. Везде пока — есть
чужие Которы и что-то пишешь

ным образом потому, что в 1957/58 учебном году все больше распадалась различные общности, возникшие в светлый период прошедшего года.

Новый ректор, Александр Николаевич Грошев, сделал все, чтобы разрушить межфакультетские связи. Возбранилось приходиться (даже вечером) на занятия в “чужие” мастерские (не только другого, но и своего факультета). Было приказано также расселить в общежитии студентов “по специальностям”: теперь режиссеру запрещалось жить с операторами или сценаристами в одной комнате и даже на одном этаже, киноведам полагалось селиться только с коллегами. Стремление к тотальному контролю дошло до составления деканатами списков, кому с кем в какой комнате жить, но возмущение студентов и твердая позиция студенческого профкома в лице Паши Арсенова заставили ректорат сделать шаг назад.

На деле, конечно, было иначе, чем на бумаге: я, например, числился на третьем, киноведческом этаже общежития, а жил на втором, у операторов, учивших меня понимать изображение лучше, чем слабенький педагог Симонов. Да и в институте ректорат не смог воздвигнуть непроницаемые стены между мастерскими и факультетами. Но в атмосферу радостного и свободного общения, необычайно активизированного Международным фестивалем молодежи и студентов летом 1957 года, осознанно впрыскивался яд запретов, а значит, подозрительности, слежки, доносов.

Одновременно стали ослабевать связи “иностранцев” и москвичей — резко сократились импровизированные вечера и в институте, и в общежитии.

Кроме того, у Гены появились друзья среди тех студентов, которых принято называть “золотой молодежью”. Нет, то было не фальшивое золото детишек партийной или советской “номенклатуры” (были во ВГИКе и такие). Как правило, родители новых Генкиных друзей были кинематографистами или деятелями искусства, часто незаурядными, и сами эти студенты блистали подлинными дарованиями, образованностью, вкусом. Многих из них я искренне уважал и любил, с некоторыми дружу по сей день. Одна лишь деталь в новой компании Гены тревожила не только меня: алкоголь. В разговорах с ним все чаще звучала тема “вчерашней пируш-

ки”, “веселого вечера”, “славной компании накануне”. У Гены, как и у большинства из нас, никогда не было лишних денег — у этих ребят, тоже не бог весть каких богачей, все же не возникало проблем с бутылкой и закуской. Прогулы занятий у Гены участились, мало кто сомневался в причине. Позже, когда он женился на Наташе Рязанцевой, у нас появилась надежда, что “богема” закончится, но этого не случилось.

Поначалу я пробовал шутить — намекал на опасность того, что он свой талант заспиртует, как животное, и придется поместить всего Шпаликова в Кунсткамеру. Гена отшучивался: выпивка-де никак не влияет на его способность сочинять — стихи ли, сценарии или рассказы, зато общение с друзьями сочинительству лишь помогает. Потом я поговорил с оператором Сашей Княжинским, одним из тех, кто негласно верховодил в той компании. Саша заверил меня, что сам он от водки вообще не пьянеет и всегда следит за тем, чтобы Генка не перебрал.

Весной мы поссорились. Причиной была глупость, которую я невольно сморозил в разговоре с Геной после его очередного появления с погрузневшим лицом и прятавшимися глазами. Чтобы не говорить при сокурсниках, я предложил выйти из института. Мы стояли на ступеньках слева от входа — примерно там, где сейчас стоит скульптура с фигурами Тарковского, Шпаликова и Шукшина. Я заявил Гене, что меня очень тревожит и его здоровье, и его дарование (“не тебе, а нам всем принадлежащее”), и если он продолжит так же пить, то “Шпаликов скатится до Зощенко”...

Меня охватывает дрожь и сейчас, 60 лет спустя, когда я вспоминаю, как Гена посмотрел мне в глаза. Его глаза вдруг открылись, взгляд стал твердым, губы сжались, он тихо произнес: “Я бы хотел...” — вдруг отвернулся и быстро пошел к остановке троллейбуса. Только тогда я сообразил, что брякнул, и закричал: “Генка, я персонажей Зощенко имел в виду, не писателя...” Гена даже не обернулся. Через несколько дней на перемене я подошел к нему, чтобы извиниться. За то, что посмел предположить в нем, даже гипотетическом, *homo sovieticus*’а, который с таким мастерством “заспиртован” в рассказах Зощенко. И за то, что обидел, того не желая, замечательного и гонимого Михал Михалыча. Гена, без улыбки, ровным тоном, сказал, что он не обижен, а Зощенко уж точ-

но на меня не обиделся, и поэтому нечего переживать. После чего ушел в свою аудиторию.

Больше года наше общение ограничивалось мимолетными встречами в коридорах (*Привет! Как дела? — Ничего. Как здорово? — Ничего! Спасибо. Пока!*).

Осенью 1958-го, после снятия запрета со второй серии “Ивана Грозного”, я заново открыл для себя Эйзенштейна и благодаря рекомендации Гиты Соломоновны Авербух, заведовавшей кабинетом истории советского кино ВГИКа, пришел к Пере Моисеевне Аташевой. Вместе со мной к кругу ее дел и проблем быстро приобщились мои общежитейские друзья — Эдик Тимлин и Валерий Квас с операторского, Паша Арсенов, Иварс Краулитис и Миша Богин с режиссерского. В свободное от занятий время мы мчались на Гоголевский бульвар помогать наследнице Сергея Михайловича и ее подругам. Надо было разбирать горы неопубликованных рукописей Эйзенштейна, подклеивать его рисунки, сделанные на плохой, а потому легко рвущейся бумаге, систематизировать фотографии и отпечатки кинокадров. Постоянную основу “старушечьей бригады”, как они сами себя называли, составляли бывшая секретарша Эренбурга Валентина Ароновна Мильман и певица Галина Дмитриевна Катанян. Регулярно бывали не так давно вернувшиеся из ГУЛАГа Ольга Викторовна Третьякова и Вега Датовна Линде. Первая из них — вдова расстрелянного писателя-лефовца, соратника Маяковского, Эйзенштейна, Брехта. Вторая — жена крупного дипломата, репрессированного в 1937-м, том самом, когда мы с Генкой родились.

В разговорах “бригады” буквально оживали убитые и реабилитированные Бабель, Мейерхольд, Кольцов, упоминались, будто виденные вчера, Малевич, Лисицкий, Маяковский — для них не присвоенный официозом “лучший поэт нашей эпохи”, а просто Володя. Мы начинали ощущать 20-е годы не менее “своими”, чем текущие 50-е. Вечера и воскресенья на Гоголевском формировали меня как киноведа, на всю жизнь определив стремление понять ту эпоху.

Гена наши походы на Гоголевский “вчуже уважал”, но в его увлечении Маяковским, например, как у многих тогда молодых поэтов, вектор интереса был противоположным: из ранней — футу-



Henry
C. A.
H.



Я шагаю
по Москве

Ну —
только с тобой
все и
хорошо.
Шпаликов
62 год

М. Хуциев и Г. Шпаликов во время работы над фильмом "Застава Ильича". Надпись на фото: "Науму Клейману с нежностью и всем хорошим. Г. Шпаликов. 62 год".

ристической — лирики он черпал то, что было ему близко, и до неузнаваемости преображал в своих песенках и стихах. Сейчас уже не кажутся парадоксом глубинные связи тех, кого позже стали называть “шестидесятниками”, с новооткрытыми тогда модернистами начала XX века: символистами, акмеистами, футуристами, имажинистами, конструктивистами...

Однажды — кажется, весной 1959-го — он вдруг подошел на перемене, облокотился, как в давние времена, о мое плечо и прежним голосом сказал: “Пошли завтра в Литинститут. Беллу будут обратно принимать”. И улыбнулся своей неотразимой улыбкой.

Ситуация состояла в том, что за год до этого, в кампании “закручивания гаек” после присуждения Нобелевской премии Борису Леонидовичу Пастернаку, исключили из Литературного института Беллу Ахмадулину, которая отказалась подписывать письмо против “писателя-отщепенца”. Она была командирована “Литгазетой” в Сибирь для “изучения жизни советских трудящихся”, привезла теперь цикл “правильных” стихотворений и будет восстановлена в институте.

У Беллы в это время был роман с Сашей *инским — он-то и провел нас в аудиторию Дома Герцена, до предела забитую поэтами и их друзьями. Многие знали Гену, он был тут *своим*, и я вспомнил, как опасался, что он уйдет из ВГИКа в Литературный. Белла высоким, певучим голосом читала странные вирши о красоте Кузбасса, ей открывшейся. Они показались мне несколько манерными и вместе с тем плакатными на фоне простых и прозрачных, иногда наивных, иногда дурашливых, но всегда искренних стихов Шпаликова. Но Гена стоял тут же и всем видом воплощал поддержку поэта, подруги, изгнанницы, жертвы репрессии... Михаил Луконин, мастер курса, объявил, что творческая командировка доказала плодотворность контактов поэта с жизнью, и Беллу восстановили в институте. Бурные аплодисменты аудитории приветствовали торжество справедливости, которое (мы с Геной, не сговариваясь, поняли это) означало и приветствие Борису Леонидовичу Пастернаку — нечаянному “виновнику” исключения Ахмадулиной.

В тот момент мне и в голову не могло прийти, что через год нам предстоит скорбное продолжение веселой церемонии в Литинституте.

1 июня 1960 года во время сессии во ВГИКе Гена подошел ко мне: “Завтра похороны Пастернака. Поедешь со мной в Переделкино?” К счастью, завтра не было экзамена. В электричке ехало довольно много народу, мы тихо говорили о “Живаго”. Стоявший рядом сухощавый седой человек явно прислушивался к нашему разговору. Мы сразу заметили это, но глазами сказали друг другу: “Пусть слушает, даже если он шпик”.

Не помню, где, когда и как Гена прочитал роман Пастернака. Мне повезло довольно рано: Митя Долинин привел меня к критику Эмилию Владимировичу Кардину, приятелю его тетки, знаменитой учительницы-публицистки Натальи Долининой-Гуковской, нас усадили на диван, поставили перед нами не то столик, не то банкетку с пухлой папкой, в которой лежал “самиздат”, напечатанный на машинке, и строго предупредили: “Будете передавать друг другу страницы — не путайте их порядок, чтобы другим потом не разбираться”. Два дня — в субботу и воскресенье, с утра до позднего вечера — мы с Митей читали “Доктора Живаго”, а по пути в общежитие спорили о прозе: насколько удался сюжет, символически или мелодраматично повернута тема революции, не слишком ли Лара “литературна”. Но сразу сошлись на том, что стихи Юрия Живаго в конце книги гениальны — быть может, лучшее, что написал Пастернак.

“Уже они одни достойны Нобелевки!” — не спорил и Гена.

К даче Пастернака через поле тянулась длинная вереница людей, мы молча встали в конце, люди все время приходили, через некоторое время подошел и седовласый сосед по электричке, мы переглянулись, и он даже чуть улыбнулся нам, а мы ему. По мере приближения к дому стали замечать, что нам навстречу то и дело идут молодые крепкие люди — то с фотоаппаратами, то с узкоплечеными ручными кинокамерами — и снимают наши лица. Почти никто не отворачивался — все почти с вызовом смотрели в объектив. Гена сказал: “Мы влипли в историю”, и люди рядом рассмеялись, оценив двусмысленность горькой шутки. Дойдя до дачи, мы услышали звуки фортепиано — играли Шопена, но не Траурный марш из Второй сонаты, а ноктюрны, и это придало похоронам спокойствие временного прощания. Когда гроб понесли от дачи, небольшая часть толпы не пошла за ним, а бросилась к холму наперерез

через поле. Молчавший все время Гена презрительно бросил: “Спешат занять места в партере”. И вдруг мы услышали: “Бог им судья! Для кого-то это всего лишь театр”. Говорил Седовласый из электрички, который, оказывается, шел рядом. Гена ответил: “Пусть их! Они все же пришли”.

На обратном пути в Москву мы все время молчали, но это было не тягостное молчание траура или отчуждения, а тот же безмолвный разговор, который даже не нуждался в бумаге и ручке.

Сейчас я знаю, что за всю жизнь мне ни с кем так легко и так наполненно не молчалось, как с Геной Шпаликовым.

Четырнадцать с половиной лет спустя, 30 октября 1974 года, мы снова были вместе на кладбище — на этот раз Новодевичьем. Открывали памятник на могиле Михаила Ильича Ромма. Гену я увидел через могилу прямо напротив себя — он стоял с венком, кажется от “Мосфильма”. Я подался к нему, он тоже меня заметил и медленно поднял правую руку. Кто-то говорил речь, его сменяли другие, было неловко пробираться сквозь толпу вокруг могилы. Когда митинг окончился, я стал искать Гену. “Шпаликова не видели?” — спрашивал я, и все отвечали: “Да только что был здесь...” Станным образом я так и не нашел его.

Ранним утром 1 ноября меня телефонным звонком разбудил Андрей Хржановский: “Ночью в Доме творчества повесился Генка Шпаликов...” Самым глупым образом я возразил: “Да я вчера его видел на Новодевичьем...” — “Вчера. А случилось это сегодня ночью”. И тут я понял, что накануне Гена не только здоровался со мной, но и прощался.

После окончания института мы виделись редко и нерегулярно. Некоторые встречи сохранились в памяти довольно ясно: во время съемок “Заставы Ильича” на студии Горького, в вечер первого показа “для своих” еще не запрещенного фильма — там же, на пирушке (дне рождения?) у Миши Ромадина... Многие встречи почти стерлись и вспоминаются с трудом. У нас не было больше разговорных тетрадей. Писем мы друг другу не писали. Увы, у меня не было ни привычки, ни времени вести дневник.

Но наш безмолвный разговор никогда не прерывался. Он возобновлялся с каждым фильмом, с кем бы Гена его ни делал. Диалог с ним продолжается до сих пор.

Шпаликов не случайно пришел во ВГИК в благословенном 1956-м, и правильно, что он оставался в кино, хоть оно и обходилось с ним без жалости.

Его фильмы пережили не только Гену, но и эпоху, и даже саму страну, в которых они создавались. Без фильмов Шпаликова уже нельзя представить себе и понять ни этой эпохи, ни этой страны.

2014–2017

НАТАЛЬЯ АБРАМОВА

ИЗ ЗТМ В ЗТМ *

222

Время идет, что водичка течет, и вот уже шестьдесят лет прошло, как ходили мы с Генкой Шпаликовым на каток.

Не раз и не два посреди этих шестидесяти пытали меня друзья, и всего более Андрей Хржановский и Юра Норштейн:

— А правда, что ходила на каток с Генкой?

— Чистая правда.

— Ну, тогда расскажи.

И вот — рассказываю.

Из ЗТМ

Мне двадцать. В паузе между блистательной лекцией незабвенного Сергея Васильевича Комарова по истории западного кино стою себе на лестничной площадке, внизу провал, за окнами танцуют снежинки, а мимо туда-сюда прохаживаются мои однокурсники со сценарного. С видом будущих мэтров прикуривают друг от друга. Кто-то по дружбе, элегантно жестом сует мне в рот тоненькую, уже зажженную папироску, дабы не строила из себя невинность, не выделялась как некурящая. Впервые затягиваюсь что

* Публикуется впервые. Кинематографический термин ЗТМ значит “затемнение” как прием, употребляющийся в начале или в конце эпизода. (Примеч. сост.)

есть силы, с непривычки захожусь от кашля, и вдруг — из-за спины чья-то рука больно бьет по моей руке с папиросой. Папироса летит в пропасть пролета, и я сквозь завесу от дыма слышу голос Сергея Васильевича: “Так. Еще раз увижу, в тот же миг будете отчислены из института”.

Не двигаюсь с места. Однокурсники удалились на лекцию. Далеко внизу гаснет огонек моей жалкой папироски. Единственной в жизни... Ну и пусть бы отчислили. Буду снова поступать на математику, Лев Абрамович Остерман, мой преподаватель математики, меня туда прямо-таки толкал. В МГУ. В крайнем случае на физфак. И вообще, сдался мне этот ВГИК, не больно-то и нужно. Говорил мне Зарем, и точно — пошла по легкому пути. Что ж, вот прямо сейчас и поеду домой, в Проезд МХАТа. Может, этот электронщик уже пришел с Моховой, где у него маленькая лаборатория в ИРЭ. И будем читать Эрскина Колдуэлла “Мальчик из Джорджии”. Этот дурашлеп Хэнсом Браун, он сродни Чарли Чаплину, в Чарли все мы с первого курса влюблены по гроб жизни. Время, когда нас настигает любовь. Вот ведь влюблены мы в наших педагогов, в Комарова, в Туркина, в Долинского, в Гинзбурга...

— Наташа, — слышу опять-таки из-за спины.

Оборачиваюсь. Стоит Гена. Впрочем, это моя догадка. Ни разу его не видела. Какие-то нежные детские скулы, ямочка на подбородке. Глаза серьезные, чуть косят. Так вот он какой! Что ни день — шелест идет по ВГИКу, Шшшпаликов, Шшшпаликов. Осенних листьев шуршание. По всем углам, этажам, закоулкам. Озираются — прошел в столовку. Подошел к Наумчику Клейману. К Лариске Шепитько. К Наташе Рязанцевой. А вот с Отаром Иоселиани застрял на подходе к аудитории... И слышно приглушенное: “Из суворовского, сценарные замыслы — блеск! Талант!”

— На коньках катаешься?

— Каталась. В седьмом классе. А что?

— Здорово. А коньки какие?

— Снегурки. Фигурные. Джаксон Гейнис.

— Здорово. Завтра после лекции встречаемся. На Петровке. “Динамо” каток знаешь?

— Да я... Катаюсь... Сто лет не каталась.

— Вспомнишь. В семь буду у входа...

Что это было? Выбор “натуры” для этюда “Каток”? Наметка для курсовой у Габриловича? Так никогда и не угадать. Никакого заигрывания, по-деловому. По-военному. Суворовец!

В ЗТМ

Из ЗТМ

Дома, в Проезде МХАТа, седьмой этаж.

ЗАРЕМ. И где эти проклятые коньки?

НАТАША. Кажется, они там, в ванной, на полатах.

ЗАРЕМ. И что теперь, лезть на полати?

НАТАША. Я сама достану. Ты плохо себя чувствуешь?

ЗАРЕМ. Я себя не чувствую. Я чувствую других. Лезу. Ради свидания с суворовцем готов на все... Ну и коньки! Век девятнадцатый. Да вас засмеют. А ботинки как новые.

В ЗТМ

Из ЗТМ

Иду по Столешникову, коньки через плечо, один ботинок спереди, другой за спиной, связаны шнурками. А снег идет — не идет, а валит — как из перины. И пока топаю до Петровки, в памяти возникает седьмой класс, наш вахтанговский дом 8а в Левшинском переулке Старого Арбата, Парк культуры и отдыха имени Горького, куда мы — две соседки, Наташка Смирнова и я, этикие завязтые фигуристки, ходим тренироваться. Мы едва стоим на дрожащих ногах-спичках, так и не набравших мяса после эвакуации в Омск. Но все равно кружим и кружим под музыку военных вальсов, изображая балет на льду, — скользим то ласточкой, то пистолетом, то выделяем какие-то немислимые фуэтэ с шикарным финалом — носом в сугроб...

В ЗТМ

Из ЗТМ

Каток “Динамо”. Гена уже у входа, здороваемся, ныряем под арку, в раздевалке надеваем коньки. Он — гаги, я — свои снегурки с невообразимыми завитками на концах. Запросто глотаю презрительные взгляды девиц, у них-то фигурные, без дураков. Зато я — со Шпаликовым! Сквозь толчею протискиваемся к сверкающему кругу катка, к ледяному полю, и сразу — Музыка! Вальс! Неистре-

бимая романтика американского кино, кружение пар, стремительные промельки одиночек на беговых коньках. И как по заказу — снегопад, снегопад, погружающий все и вся в совершенно отдельный волшебный мир. О, Кларк Гейбл, где ты?

— Давай! — ободряющий голос Шпаликова.

Но что это? Сам он слегка привалился к барьеру и, похоже, не собирается выходить на лед. Ковыляя, кое-как выплываю на поле. Ноги одеревенели, однако не сдаюсь. Только бы не ударить в грязь лицом, то есть носом в снег. И мало-помалу раскатываюсь. Бог с ним, со Шпаликовым. Не хочет кататься — не надо. Тоже мне суворовец, заманил и бросил. А вокруг меня уже вьется какой-то лихой в шапке с помпоном, на беговых. Явно “кадрит”. Один круг, другой. Ближе, ближе, и вдруг — раз! — прихватил за рукав, остановил и длиннющим своим коньком воткнулся в мою снегурку. Такое, видите ли, кокетство. Стою, поймана в клетку. Ни туда ни сюда. Бывают же наглецы!

СТОП-КАДР

Не заметила, как рядом возник Генка.

— Парень, мотай отсюда. И быстро-быстро. И чтобы я тебя больше не видел. Ни сегодня, ни завтра. Договорились?

Парнишка испарился. Мы уходим с катка. В раздевалке сняли коньки.

— А мировые у тебя эти... снегурки. Из девятнадцатого века. Поди, от предков.

— Не помню.

Провожает домой. Хоть бы похвалил, что ли, сказал, что здорово каталась. Как-никак, мамуля моя — балерина Большого.

— А ты здорово старалась. Хотя... танцы на льду, это, пожалуй, не для тебя. Курить не кури... Твой дом? Вот этот?.. Светлов... Асеев... Багрицкий... Кто еще?

— У Асеева Маяковский бывал. И Алексей Толстой.

— Да ну? А Лев Николаевич?..

В ЗТМ

Из ЗТМ

Спустя много лет, не помню сколько, еду на “Союзмультфильм”. День никакой, без числа, вне времени года. Ветер, зябко, ско-

рей бы в тепло. Сажусь на углу Столешникова, у мехового магазина. Поворачиваю голову — невдалеке, в районе букинистического, одинокая фигура Шпаликова. Стоит, пальто длинное, черное, нараспашку, шарф болтается попусту, сам по себе, шея открыта. В руках небольшая книжка. Подхожу.

— Привет. Нужно три рубля. Вот — Ахматова. Тебе. Насовсем. Навсегда.

— Гена!.. — вынимаю трешку. Мне ли не знать винный на Столешниковом. Часто с Заремом навещаемся. Два сорок семь. Ахматову не беру... А взять бы надо...

А дальше — Шпаликов на “Союзмультфильме”.

Отдельный невероятный вираж в сторону искусства одушевления, дружба с Андреем Хржановским, с Аркашей Снесаревым, с Рачкой Фричинской, с Сашей Тимофеевским... И всегда вспоминаю Илью Вениаминовича Вайсфельда, четко определившего сущность мультипликации как РОДА ПОЭЗИИ... Шпаликов из этого РОДА.

Сомкнутые веки,
Выси, облака,
Воды, броды, реки,
Годы и века...

Б. Пастернак. “Сказка”

И снова, через годы и годы — страшная весть. Нет Гены. Ему тридцать семь.

Саша Тимофеевский напишет:

Гены Шпаликова нету,
Он летает на пари
Между тем и этим светом,
Словно Сент-Экзюпери...

И последнее. Мистическое.

Много лет прошло, как не стало Генки. Мысли то и дело о нем, о его судьбе, о нежности к нам, о его мужестве, веселой отваге. Не уберегли...

Снова пытаюсь влезть в третий троллейбус на углу Столешникова. Влезла. С невероятным трудом. Стою, зажатая со всех сторон. Еду все туда же, на родную многострадальную студию “Союзмультфильм”. Какие-то мужские голоса за спиной. Товарищи дышат в затылок. Слышу:

— Наташа, вам привет.

— От кого?

— От Гены. Шпаликова.

Не оборачиваясь. Да и невозможно повернуться.

— Спасибо. И ему передайте...

Двое мужиков, вытолкнутые населением задней площадки, вышли тут же, троллейбус, наконец, тронулся, а эти ребята тотчас двинулись вглубь Столешникова, унося с собой шутливую, светлую печаль. И загадку — кто были эти наши друзья? Долго-долго пыталась я разгадать ее, но так и не разгадала... Пусть это останется тайной.

Октябрь 2017



Студенты сценарного факультета ВГИКа В. Валущий (с гитарой)
и Г. Шпаликов во время поездки в лесную поляну.

ВЛАДИМИР ВАЛУЦКИЙ

“ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, — ИГРАЕМ!” *

Денег у Гены Шпаликова не было никогда — “долги построились в полки”, — поэтому сюжет снимка, в общем, неудивителен. Удивительно мне в нем сегодня одно: разве можно быть такими нахально молодыми?

Гене (слева) здесь двадцать лет, мне (справа) на год больше. Это город Тула, экскурсия в Ясную Поляну. Выехали мы дружно, всем сценарным факультетом. Дурачились. Без веселых дурачеств жизнь тогда вообще не обходилась: не всегда рядом оказывался фотограф — но память тоже фотограф достаточно надежный.

Помню, например, как несколькими годами позже, защитив дипломы, мы с Геней вначале пили пиво на ВДНХ у фонтана “Каменный цветок”, потом купались в этом самом фонтане, потом убегали от милиции и временно убежали **, потом, запрягшись веревочкой, скакали лошадью и жокеем по ипподрому павильона “Коневодство”, заснули, утомленные, в траве — и обозначился над нами в небе настигший нас таки милиционер, и отпустил нас вели-

* Публикуется по: Валуцкий В. Разве можно быть такими нахально молодыми? // Экран. 1991. № 13.

** Я был третьим участником похода на ВДНХ и купанья, о чем покойный В. Валуцкий никогда не забывал, и могу засвидетельствовать, что купались мы не в фонтане, а, раздевшись до трусов, в пруду. (Примеч. сост.)

кодушно, когда мы ему объяснили, что даже в царской России полиция уважала Татьянин день и не трогала веселящихся студентов.

Правда, один из студентов был к тому времени уже автором “Я шагаю по Москве” и “Заставы Ильича”. Но этого мы не сказали и отправились праздновать дальше.

Очень подвижной была тогда наша жизнь — дома сидели мало, ехали куда-то постоянно, просиживали ночи в гостях. Было много домов, в которые всегда можно было прийти. А если случалось, что прийти было некуда, — бродили друг с другом до утра по Москве, тогда это было практически безопасно. Неужели только по причине безопасности исчезла эта традиция милого ночного бродяжничества?

Я жил тогда на Лесной, где троллейбусный парк. Троллейбусы ночевали на улице открытыми: уставая, мы располагались в них и продолжали разговоры о вечном. Троллейбус (синий, ночной последний) вообще был романтическим символом шестидесятых годов. А Гена был родом из них более, чем мы все.

Это теперь нас научно удостоверили, что идеалы 60-х были по-детски наивны. Зато Гена Шпаликов верил в них по-детски свято. Он не умел взрослеть в том смысле, в каком это уважается сейчас, и все, что он делал — как любил, дружил, веселился, как пел и сочинял, — было естественным и счастливым целым. Все им написанное было столь органическим продолжением его личности, что разъять эти части было невозможно: если убивать его кино — нужно было убить его самого...

В день, когда была сделана эта фотография, мы, сойдя с автобуса на какой-то тоже очень ясной, солнечной по-весеннему поляне, разбились на команды и играли в футбол. Гена играл тоже, но мячи с одинаковым вдохновением забивал как в те, так и в другие ворота.

“Какая разница, — отвечал он на упрек. — Главное ведь, ребята, играем!”

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

“МАЙСКИЙ ДЕНЬ — ИМЕНИНЫ СЕРДЦА”*

Мы никогда не расскажем целиком свою жизнь
и жизнь своих друзей, потому что сами не понимаем
всей правды, а если рассказать, не понимая до конца,
получаюся бесполезные укоризны.

Виктор Шкловский.
Из статьи “Юрий Тынянов”

<...> Недавно звонила какая-то девушка с телевидения. “Вы не могли бы нам рассказать про Геннадия Шпаликова? Мы приедем куда скажете, в удобное для вас время”. — “А что за передача, сколько минут я могу говорить?” — “Ну, вы можете говорить сколько хотите, мы снимем, а потом — у нас вся передача десять минут, так что мы рассчитываем на вас — минуты три... Вы постарайтесь покороче...” Я, разумеется, отказалась, не слишком вежливо. Потом случайно наткнулась в какой-то поздней ночной передаче на сюжет про Шпаликова. С лучшими намерениями — напомнить, прославить, сообщить, что был такой поэт, написал известные песни, и вот теперь его книги выходят, — с самыми благими намерениями ребята старались и все перепутали, домыслили — чего не было никогда и быть не могло...

Стало быть, надо участвовать, потому что если не я — то кто? Нас остается все меньше — тех, кто достаточно Гену знал. И были вечера памяти, и документальный фильм, и когда-то “Пятое колесо” с сюжетом про Шпаликова. И я там что-то говорила, но оставалась большая досада — не то сказала, нельзя за “три минуты”, все

* Публикуется по: Рязанцева Н. “Не говори маме” [Воспоминания; Рассказы; Статьи; Интервью]. М., 2005.

Г. Шпаликов с первой
женой Н. Рязанцевой.



не так и не то. А теперь и книги вышли, напечатано и то, что никак в печать не стремилось, черновые обрывки. Гена все сам о себе рассказал. В жизни много врал, выдумывал, мистифицировал, в стихах все чистая правда, затем и писал. Да вот вам на три минуты, можно обойтись и одной:

На языке родных осин,
На “Эрике” — тем паче —
Стучи, чтоб каждый сукин сын
Духовно стал богаче.

Гена хотел предстать перед вами таким — веселым, лукавым, вечно шагающим по Москве очарованным пешеходом, беспутным и нежным, не замученным договорами, долгами, режиссерами. Таким он и предстал. Как хотел. Кто же теперь не знает песню:

Бывает все на свете хорошо, —
В чем дело, сразу не поймешь...

Хотел он оставить о себе такие позывные. Очень хотел. И сбылось.

А я иду, шагаю по Москве...

Мы как раз встретились в Замоскворечье, мы уже разошлись, но еще часто встречались, и чаще всего там — в Лаврушинском переулке была сберкасса ВООАП (охраны авторских прав), там сценаристам платили так называемые “потиражные”; он очень तोпилился на “Мосфильм”, но почему-то не брал такси, и мы гуляли по набережной.

Гена спел: “Москва, Москва, люблю тебя как сын...” Это была “рыба”. Композитор Андрей Петров уже написал музыку, и назначена запись, и, вероятно, запись уже идет, а слов нет, нет песни, и сейчас режиссер Гия Данелия его убьет и будет прав, потому что Гена давно сказал, что песня есть.

Дул пыльный ветер, страшно хотелось выпить и где-нибудь посидеть, но мы ходим, и Гена, морщась и конфузясь, пропел про “нормальный летний дождь” и сообщил почти что прозой: “Над мо-

рем белый парус распушу, пока не знаю с кем... но если я по дому загрушу..." Дальше совсем идиотские слова, не смейся, сойдет, может быть, и так... "Под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве..." Закрыв глаза и размахивая плотно сжатым кулаком, он скандировал и проглатывал эту фиалку с каким-то смехом-свистом. Я не могла одобрить ни паруса, ни фиалку, но в основном подбадривала: "Сейчас в такси придумаешь". Ничего не придумал — сошло и так. Пошло в народ. Настоялось на времени. Вынырнуло.

Всем известно, что "поэзия должна быть глуповата", шлягер тем более — заслуга композитора, первого исполнителя, а поэт, сочинитель текста — безымянный даритель не сокровищ, а чего самому не жалко — случайных слов, детского лепета, самодельных игрушек. Вроде этого: "Петушка на палочке я тебе принес. К деревянной палочке петушок прирос". Почему-то запоминается на всю жизнь.

Или — тоже Гена:

Не ходите под крышами в оттепель,
Это очень опасно бывает.
Очень много людей замечательных
В эту оттепель убивает.

Почему запомнилось? Каждый день выскакивали какие-то строчки, строфы и не записывались — даже "на манжетах". Кто б мог подумать, что визитной карточкой и даже "эмблемой поколения" станет сочиненное в ужасе и отчаянье "Бывает все на свете хорошо". А ведь были к тому времени и хорошие песни, и "маленькие шедевры":

У лошади была грудная жаба,
Но лошади — послушное зверье,
И лошадь на парады выезжала
И маршалу молчала про нее.
А маршала сразила скарлатина,
Она его сразила наповал,
Но маршал был выносливый мужчина
И лошади об этом не сказал.

Кстати, грудная жаба, то есть стенокардия, была у Гены уже в молодые годы. Немела правая рука и плечо, накатывал страх смерти. Мы были невежественны и беззаботны. Когда мы первый раз поцеловались — в Ленинграде, на крутом мостике, недалеко от цирка, зимним вечером, под легким снежком, — Гена вдруг упал. Мы были оба совершенно трезвыми. Я испуганно его поднимала, он лежал минуты три, а потом мы как ни в чем не бывало отправились к своим лилипуткам.

Мы жили в Доме колхозника возле Сенного рынка. Были студенческие каникулы, я приехала в Ленинград с волейбольной командой ВГИКа играть с Институтом киноинженеров (ЛИКИ). Такая была традиция. Вероятно, не было мест в общежитии, и женскую команду поселили в этом доме приезжих. Такие дома я видела только в глухой провинции. Там были высокие деревенские кровати с подзорами, и лилипутки с трудом на них взбирались. Они играли на маленьких аккордеонах и пели, а в свободное время вышивали крестиком. Так вот, меня подселили четвертой к трем лилипуткам.

Гена появился там внезапно, с компанией вгиковцев, которые ни в какие игры не играли, а завернули в Ленинград проездом, они собирались в Карелию кататься на лыжах. Шпаликов тут же раздумал ехать в Карелию и остался со мной — гулять по Ленинграду. Уговорил остаться на несколько дней после игр, поселился в том же доме приезжих, объявил лилипутам, что я его невеста, приходил запросто в нашу четырехместную комнату и начинал меня причесывать — “под колдунью”, подробно с ними обсуждая мою прическу и им советуя больше не делать перманент — так называлась “шестимесячная завивка”, — а отрастить и распустить волосы по плечам. Заодно обсуждал с ними их деревенский репертуар, просил репетировать и давал советы.

Я никогда не носила распущенные волосы и вообще стеснялась своей внешности сверх всякой меры. Но я сидела, как огромная кукла, или, может быть, так чувствует себя пудель, которого стригут, сидела как во сне, в каком-то чужом веселом бреде — только бы не расхохотаться — и позволяла жениху вытворять что угодно с моими хилыми волосами. И называть меня невестой, а себя женихом не только лилипутам, но всем знакомым и незнакомым,

Людмила Гурченко с мужем Борисом
Андроникашвили в Ленинграде.
Фотография, подаренная
Н. Рязанцевой и Г. Шпаликову.



а знакомые вдруг обнаруживались повсюду, даже в чужом городе Гена почему-то везде встречал знакомых.

В роскошном ресторане “Астория” мы однажды ужинали в большой компании, с пожилым, всем известным, сильно пьющим скульптором, и Гена заново распускал мне волосы и гордо оповещал окружающих, что приехал к своей невесте, и она — то есть я — должна всем понравиться. Я участвовала в этой игре как в игре, ничуть себя невестой не считая. Мне было весело, празднично, лестно, что именно Шпаликов рядом со мной, что я так загадала — на новогоднем вечере.

В полнейшем отчаянье, в окончательном крушении всего-всего-всего — и любви, конечно, но если бы только любви! — загадала: “Подойди, пригласи!” — и взгляда не кинула в его сторону, наоборот, избегала смотреть. И подошел, и пригласил. И сказал, что бабушка у него умерла, и потому Новый год он встретит дома. И опять загадала: “Позвони в новогоднюю ночь!” Первым первого января позвонил и напросился в гости. И стал, как говорили в былые времена, “ухаживать”.

Была перепись населения, мы работали в новой отдаленной гостинице, там и ночевали, поскольку переписывать следовало спозаранку, в семь утра. В гостиницу селили странный народ — из самых дальних концов нашей “необъятной” — якуты, буряты, ханты, манси, чукчи, кажется, тоже попадались. Не успела я переписать разноплеменный свой этаж — появился Шпаликов, стал помогать переписывать. Подивились вместе — какие случаются народности “на просторах Родины чудесной”, и почему-то все они оказались в нашей именно гостинице. Потом уединились в моем пустом номере с тремя кроватями без белья и голой лампочкой под потолком. Тут он сказал: “Выходи за меня замуж. Ты подумала, я был пьян, а вот он я — совершенно трезвый — повторяю: мы все равно поженимся, будем жить на берегу океана, и у нас будут дети — мальчики, будут бегать в полосатых маечках, и я их научу ловить рыбу...” — “Какого океана, Гена? Ты умеешь ловить рыбу?” — слово за слово, с помощью Хемингуэя, который не был для нас таким уж кумиром, как сейчас его представляют, но был удобной опорой для легкого насмешливого трепа, — мы вышли через длинные паузы и нервный смех к тому, что так сразу нельзя, сначала надо влюбиться. “А ты

влюбись, — сказал Гена. — Я к тебе приставать не собираюсь, только один раз поцелуемся в знак согласия”. — “Я еще не согласна, — сказала я, — это слишком неожиданно”, — или что-то в этом роде, не могу воспроизвести тот томительный диалог, но пытаюсь честно докопаться до сути. Что я думала тогда, что мне казалось?.. У памяти есть хорошо освоенные пространства, а есть закоулки и черные дыры, куда забраться почти невозможно. И вот эта зима пятьдесят девятого года с той самой переписью населения — до нашей свадьбы 29 марта — не дается, ускользает, рвется, хотя, видит бог, я хочу докопаться до смысла своего странного поступка.

Мне не удалось влюбиться в Шпаликова, но замуж я вышла и даже взяла его фамилию. Он, впрочем, на этом не настаивал, так решили родственники, когда его любимый дядя Сеня, генерал Семен Никифорович Переверткин, вместе с Людмилой Никифоровной, Гениной мамой, приехали знакомиться с моими родителями. “Сговор” проходил в серьезной, несколько натянутой, преувеличенно любезной атмосфере. Жить предстояло у нас, в двухкомнатной квартире на Краснопрудной, выселив моего младшего брата к родителям. Позже мы получили трехкомнатную в том же подъезде, но в ту весну родители с трудом скрывали растерянность. Перспектива взять к себе зятя-студента, который еще ничего не зарабатывает, к тому же, уже замечено, “любит выпить”, — не могла их обрадовать. Обсуждали, не снять ли нам, сложившись, комнату, но стало ясно, что “не потянуть” — хорошие комнаты дороги и большая редкость, и “как они будут жить, на что?”.

Мы с братом делили комнату в четырнадцать метров, разгороженную шкафом, а тут, из-за моего замужества, он лишался своего закутка, выражал глухое недовольство, но помалкивал. Я не испытывала угрызений совести, я старшая сестра, мне надо замуж, другие и в коммуналках как-то женятся, Генина сестра Лена как раз выходила замуж за лейтенанта Славу, и у них, в такой же двухкомнатной квартире, на углу Васильевской и улицы Горького, получалось еще гуще перенаселение, там жил еще Генин отчим со взрослой дочерью Ларисой. Не хочу опускаться бытовые подробности, потому что, как теперь известно, всех “испортил квартирный вопрос”, а тогда мы еще не прочли Булгакова, и много-много книг было еще впереди... Зато уже прочно застрял в нас Маяковский

со своей “любовной лодкой”, разбившейся о быт, со всем пафосом поэмы “Про это”:

Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
<...>
Чтоб жить
не в жертву дома дырам...

И не было врага страшней “мещанского благополучия”.

“Надеюсь, верую — вовеки не придет ко мне позорное благо-разумие”, — в картине “Мне двадцать лет” звучат эти заклинания закадровым голосом главного героя. До сих пор, надо сознаться, умиляют зыбким воспоминанием — какими мы были хорошими.

Мы не были хорошими. На той фотографии, что много раз напечатана в разных журналах, мы улыбаемся втроем — Саша Княжинский, Гена Шпаликов и я посередине, — стоим в обнимку и улыбаемся счастливыми улыбками. Мы на самом деле счастливы или делаем вид? Гена пытался написать сценарий “Про счастье”, но это ему не удалось и едва ли кому удастся. Но остановившееся мгновение, когда мы в жаркий день, выпив много пива, сфотографировались у нашего шкафа на Краснопрудной, морочит голову даже мне, и я держу эту фотографию на полке под стеклом. Гости разглядывают, улыбаются в ответ. Вспоминают картину “Мне двадцать лет”, которая сначала называлась “Застава Ильича”.

Молодость сама по себе счастье — принято думать. Я давно так не думаю. Не хочу себя обманывать и называть те годы “праздником, который всегда с тобой”. Однажды назвала, когда ворвалась ко мне команда из “Пятого колеса” и потребовала рассказать о Шпаликове. Да, Гена хотел, чтобы каждый день был праздником, чтобы чем-то был отмечен незабываемым. Но даже обаятельная белозубая улыбка Княжинского на фотографии меня не обманы-

Студенты ВГИКа
Г. Шпаликов, Н. Рязанцева,
А. Княжнинский. 1957 г.
Фото © Музей кино





вает. Не было ни счастья, ни покоя, ни воли. А была тяжелая зависимость — от чего, от кого? Да от всего.

Гена, кстати, стеснялся широко улыбаться, у него на переднем зубе была металлическая коронка, еще в суворовском училище так его украсили. Когда он велел в него влюбиться, я очень старалась, но мне мешала эта малость. Я не могла ему сказать, как она мне мешает. Через год или полтора он ее снял, так и ходил с обломком зуба, белую не поставил: и недосуг, и боялся зубных врачей, как все мужчины. Умом я понимала, что смешно, что не может такая мелочь мешать любви. Значит, не любовь. Эта мелочь постоянно напоминала, что значит — не любовь.

В своей внешности я находила гораздо больше недостатков, чем достоинств, и точно знала, что меня нельзя полюбить, когда вокруг водятся настоящие красавицы с прекрасными фигурами, и к тому же актрисы, и танцуют, и поют. Гене нравились актрисы с параллельного курса, за кем-то из них он ухаживал, видимо без успеха. Никогда не спрашивала, только чувствовала, что женской любовью он не избалован, совсем неопытен, еще хуже меня. У меня уже были романы, я не была невинной девушкой, был горький опыт не столько любви, сколько истерзанного самолюбия. Не столько опыт, сколько круги по воде — стремительный студенческий роман с большимиотягчающими обстоятельствами. Тогда еще не прижилось слово “комплексы”, про Фрейда мы ничего не знали, и то, что теперь читавшие и не читавшие Фрейда называют этим диковатым, угловатым словом — “закомплексованный”, вполне относилось к нам обоим.

Впрочем, и не закапываясь в глубины бессознательного, можно было и тогда просто взрослым взглядом увидеть этот придуманный, сочиненный нами обоими союз как нашу ступеньку познания. “Экспериментальный брак. — Так я и сказала, хорошо помню: — Пусть это будет такой эксперимент...” Мы рассудили, что все в жизни экспериментально — что в жизни не эксперимент? Я чуть-чуть надеялась и втайне желала, чтобы жених мой взорвался — “ну не любишь, и черт с тобой!” — и тогда ссора, примирение, а может, и нет... Но нечто настоящее, вразумительное — страсть или хотя бы взаимное притяжение, навязчивое состояние, “не могу без тебя!” — то, что бросает молодые пары друг к другу.

Но нет, этого не было. Мы “гуляли” и ничуть не искали уединения и пристанища, где бы переспать. Хотя много и неразборчиво пили, стремились именно туда, где пьют, — “в дома без взрослых”. Хотя и у Гены дома пили почти каждый день. Приезжал с работы дядя Сеня, свой дом он не любил, жену его генеральскую я едва помню, но зато у младшей сестры, Гениной мамы, Семен Никифорович отводил душу. Накрывали большой длинный стол, выставляли простую закуску — селедка, картошка, капуста, никаких разносолов, но все как-то складно, чисто, весело. Приходил сосед-тяжеловес, чемпион по поднятию тяжестей, его жена Айза, занимавшаяся художественным свистом, она художественно свистела, потом все вместе пели какую-нибудь “калинку-малинку”, иногда целовались по кругу в знак всеобщей любви и дружбы. Я сидела как заколдованная. “Царевна Несмеяна”, — говорила Людмила Никифоровна, Генина мама. От водки я не отказывалась, пила, по-моему, наравне с генералами и спортсменами, но вела себя чинно, в общем веселье не вписывалась. Людмила Никифоровна, женщина еще молодая, сорока двух лет, красивая и властная, с такими же почти сросшимися бровями, как у Гены, с длинными цыганскими сережками, легко управляла застольем. Знала, когда кому “хватит”, велела девочкам, дочке и падчерице, убирать со стола, и не помню, чтобы дело доходило до безобразного пьянства, ни у них, ни в других военных компаниях, где мы бывали с Геной и любимым его дядей Сеней. От генералов и полковников до лейтенантов и Гениных приятелей по суворовскому училищу — все были крепки по части алкоголя.

Понимала ли мама, Людмила Никифоровна, которая предложила называть ее “мамой”, как принято в деревне, но я, разумеется, этого не могла и сразу призналась, что не могу и не буду, понимала ли она, что ее “Генашка” совсем другой душевной организации, совсем не “военная косточка”, что у него хрупкая нервная система, и это проявилось еще в училище, и что пить ему нельзя совсем? — это грозит алкоголизмом. Думаю, что не понимала, почти так же, как и я. Я — потому что в жизни с этим не сталкивалась, где-то были алкоголики, которые “погибали под забором”, но это не имело к нам никакого отношения.

Позже Гена стал догадываться, что это зависимость, это болезнь, и часто повторял: “Я не алкоголик, это определяется работоспособ-

ностью”. И действительно, мог в любом состоянии завернуться в халат, налить крепкого чая и сесть за машинку. Писать что-то несвязное. Что-нибудь “про ежика”, например, только бы писать. Наутро понимал, что получилась какая-то чушь, садился за сценарий в полной трезвости, боролся с собой, сколько хватало воли. Он любил писать, вот просто оставлять слова на бумаге, без продолжительных усилий ума, каких требует сценарий, и эта любовь, физиологическая страсть к писанию — единственное, что могло бы победить алкоголизм. Он и сам почти понимал это. И боролся. Писать — для того чтобы не спиться, не прослыть у самого себя алкоголиком. Если бы да кабы — досталась бы ему настоящая писательская жена, умудренная знанием, какими бывают писательские жены — немного врач, немного педагог и всегда секретарь, оберегающий, пестующий талант, ревниво, честолюбиво, с хорошо дозированным восхищением и безмерным терпением следящая за каждым словом, за каждым часом, потерянным для искусства и для здоровья... Ничего этого во мне не было. Никаких писательских жен и никаких писателей я не знала. Понимала ли, что Шпаликов талантлив, что он неординарен даже на нашем, вгиковском фоне, где все метили если не в гении, то в таланты? Еще как понимала. Потому и вышла замуж. Именно за него. Ощущая полное его превосходство.

А в те времена, страшно далекие от нынешнего феминизма, превосходство мужа над женой было обязательным, само собой разумеющимся — это единственный предрассудок, мною впитанный с молоком матери и с войной. У тех девушек, что “много о себе понимали”, с замужеством обычно было туго, не брали их замуж. А замуж хотелось. Требовалось начать жизнь с чистого листа.

Были и другие варианты, надежнее Гены для будущей жизни и даже для постели более привлекательные — со Шпаликовым мне этот момент как-то и вовсе не представлялся, отодвигался в абстрактную даль на грани невозможного — ну как с братом, что ли... Я не знала слова “инцест”, но что-то подобное, первобытный запрет кровосмешательства пробивался к сознанию из древних глубин. “Из одного тотема” — это много позже я догадалась, что мы с ним “из одного тотема”, а в одном тотеме мужчина и женщина не соединялись. В книге Фрейда “Тотем и табу” весьма убедительно про это рассказано.

Вам, может быть, покажется это поэтическим домыслом, и наверняка покажется, если вы сами с этим не сталкивались, как и большинство людей, но те, кто хоть однажды, пусть не на своем опыте, но где-то рядом наблюдал подобные “странности любви”, поймут, о чем я говорю.

Сама я это поняла задним умом, очень нескоро, а сейчас пытаюсь вспомнить — словно бы в третьем лице, не про себя и почти хладнокровно, как из этой странноватой игры, мало похожей на любовь, выросло нечто, мало похожее на семейную жизнь, но большое, огромное и не забытое до мелочей, до стыдных подробностей, которыми я не стану здесь травить душу. Но помню, все помню, хотя обычно память заталкивает неприятные подробности в дальний ящик. Мы разводились, расходились так непросто и долго, скандалы чередовались с самой искренней дружбой, что в результате это переплавилось в множество нежных стихов на тему “хотя поссорились уже, но все-таки еще дружили”. А выглядело это так.

Он: Значит, никогда? Ты так считаешь?

Она — Я: Потому что я тебя не люблю!

Он: Почему?

Я: Прекратим этот разговор. В сотый раз... не хочу повторять: не люблю, и у меня другая жизнь, прежней уже не будет.

Он: А почему?

Его нельзя было обидеть. Как с гуся вода. Он вообще никогда ни на кого не обижался. Если порывал с кем-то отношения, не хотел встречаться, говорил “так надо”, “так лучше”, и никакими силами не дознаешься — ни повода, ни причины. Никаких выяснений “взаимных болей, бед и обид”. Он каким-то образом всегда оказывался выше этого, будто смотрел издалека, свысока.

Бракоразводный наш суд прошел “в теплой, дружеской обстановке”. “Надо говорить — ‘не сошлись характерами’? А почему? Мы же сошлись”. Но все произнес, что требуется, давась от смеха.

Кстати, Гена не любил деепричастных оборотов, как и причастных. А самым ненавистным для него словом было слово “курчавый”. Его просто тошнило от этого слова. А деепричастных и при-

частных оборотов он категорически велел избегать и сам избегал. Но однажды читал мне вслух любимый кусок из “Охранной грамоты” Пастернака, читал захлеб, почти наизусть, и я заметила: “Вот же причастный оборот, а вот и деепричастный”. Оказалось, что он их путает и вообще смутно знает, что это такое.

Путал даму с валетом. Безуспешные попытки научить его играть в карты этим кончались: перепутает даму с валетом и смешает все карты или станет выбрасывать их с балкона. Мог в гостях и книжку чужую выбросить, если она ему не нравилась, — “не надо это читать”.

Однажды унес с выставки, из фойе Дома кино, что был тогда на улице Воровского, картину — “Красного петуха”, — то есть просто снял со стены и понес, даже не пряча. Был легкий скандал, но сошел ему с рук, и Иван Пырьев, возглавлявший тогда наш новый, свежееиспеченный Союз кинематографистов, заметил, запомнил студенческую шалость.

Гену очень скоро приняли в Союз. Он был на виду и на слуху, когда еще почти ничего не сделал. Кино так раскрывало свои объятия мало кому, то есть просто никому. Прослыть “московским озорным гулякой” делу не мешало. Он привез из командировки, с острова Диксон, малицу из оленьего меха и расхаживал в ней по улицам, удивляя прохожих. И песни его, и первые сценарии, например “Причал”, полны маленьких чудес и беззаботных “очарованных странников”. А в то время как раз катилась волна так называемого “поэтического кино” — не от хорошей жизни она катилась, а потому, что были наглухо заперты многие темы, и Шпаликов, с мечтой о “волшебном кино”, с любовью к “Аталанте” Виго и к Марселю Карне, удивительно пришелся ко двору.

Когда Марлен Хуциев пригласил его писать вместе с ним “Заставу Ильича”, Гена был уже “широко известен в узком кругу”, был вгиковской знаменитостью, я хорошо помню день первой их встречи, знакомства с Марленом. Мы сидели в гостинице “Москва”, наверху, в ресторане, было шумно и тесно, обстановка не располагала к серьезным разговорам. У Хуциева за плечами было уже две картины — настоящий режиссер! — и мне крайне не нравилось, что “смотрины” происходят в такой обстановке. Хуциев искал молодого автора для своей пока еще смутной идеи. Он уже придумал,

В этой прекрасной книге
должна быть написана прекрасная
вещь, которая впоследствии будет
удостоена Юбилейской премии, е-
врутся мне в Золотой зал
Евразия королю Георгу 7. Это
будет в Стокгольме, осенью.

Т. Михалков.

17 декабря 1958 года.

ПРИЗАН

Приказ из

Приказа из

~~600~~

18 апреля. изм.

12 апреля изм.

Приказ.

В

ПРИЗАН

(с изм. - изм.)

Гриф америки
хмиса гал Селерны

~~Chemistry~~ в мексике



ропи

Кгтм

Г. Умечел.

Призе

Призе и

Призе.

что в фильме будет караул у Мавзолея, и эти печатающие шаг ребята со строгими лицами, и рассвет, и Москва во всех ее обличьях.

Шпаликов после суворовского учился в училище Верховного Совета, элитном офицерском училище, он бы мог и сам печатать шаг у Мавзолея и охранять Кремль. Я думаю, они сговорились мгновенно и подружились, и мы стали бывать у Марлена в Подсосенском переулке, потому что Шпаликов оказался тем самым персонажем, какого искал Хуциев — для связи времен и поколений, московских окраин и московской богемы, рабочих пареньков и посетителей кафе “Националь”, встречавшихся между собой, может быть, изредка на вечерах поэзии в Политехническом. Шпаликов все это в себе фокусировал, сам по себе, еще до трех персонажей, трех товарищей — материализовал ту хуциевскую идею широкой панорамы поколения, — подтверждал ее собственным существованием.

Молодой Шпаликов был сам произведением соцреализма, и тот “возвышающий обман”, что вменялся в обязанность искусству и литературе, был его второй натурой. Не второй даже, а первой, а вся насмешливость, ирония и самоирония, рефлексия, все защитные механизмы молодости и тяжелый труд души, совсем не устоявшейся и попавшей в переплет, в который мы все тогда попали, — это все ловко пряталось до поры до времени. Недаром Гене так нравился совет Хемингуэя, что работу писателя никто не должен видеть, пусть окружающие, даже близкие, не понимают, когда, и где, и что он пишет. Говорить о серьезном и всерьез тоже было не принято, потому что к тому шестидесятому, скажем, году “надоело говорить и спорить” и отдавали страшной банальностью любые интеллигентские, студенческие потуги разобраться в отношениях со страной, с властью, с собственными иллюзиями. С 1956-го прошло три года, и наговорились до одурения. ВГИК кипел политическими страстями. После знаменитого доклада с разоблачением культа личности свобода слова казалась такой близкой, достигаемой, вот она уже — око-вы сброшены, но не тут-то было. Венгерские события — ввод наших танков в Будапешт — кто-то неверно отразил в студенческой стенгазете, то есть посмел осудить, не помню уж, насколько резко и прямо, — и вот уже собрание, большие неприятности, чтоб впредь было неповадно...

А Гена Шпаликов мог быть там, на этом самом танке, и кто-то из его приятелей-суворовцев там был, и Гена им гордился, или выдумал такого лейтенанта, не знаю, но дух “лейтенантства” сидел в нем так долго и прочно, что сомнения — а нужно ли было вводить танки, подавлять венгров — отступали на второй план, на годы. Разумеется, надо защищать нашу лучшую в мире социалистическую систему, это самой собой, но об этом не говорили, передовиц в газетах не читали, и Гена не читал, претило косноязычие, литературный вкус и живость ума делали свое дело, подтачивали святую веру в “поколение победителей”. Первые стихи, которые я слышала от Гены, — Бориса Слуцкого:

Давайте после драки
Помашем кулаками.
Не только пиво-раки
Мы пили да лакали.
... Нет, назначались сроки,
Готовились бои.
Готовились в пророки
Товарищи мои.
Теперь все это странно,
Звучит все это глупо...
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы,
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Свершение тех талантов,
Развязка тех легенд...

Шпаликов полюбил с первого взгляда Виктора Платоновича Некрасова и посвящал ему стихи. И Некрасов его полюбил, написал в своих воспоминаниях, что не встречал человека талантливее Гены Шпаликова. Что его пленило? “Вика!” — и сразу на ты. Лучшие свои чувства — к писателю, к “окопам Сталинграда” — ничуть не стесняясь, выразил. Возвышенно. В жанре тоста. Все общение как непрерывный тост. Может, потому и пили так много, что это оправдывало некоторый пафос и детскую непосредственность.

Бывает мудрость старости, считается, что мудрость вообще привилегия возраста, опыта, а в Гене была, как я потом поняла, сумела назвать, — мудрость детства. Не та детская хитрость, когда ребенок, подлизываясь, добывается своего... Впрочем, это в нем тоже было...

Он не боялся быть смешным. “Я был весел и вежлив, я хотел рассмешить”, — написал он чистую правду в одной из первых песен “Мы сидели, скучали у зеленой воды”. Он хотел рассмешить. И не боялся быть смешным, что в молодости редко (если человек не метит в артисты-комики). А еще реже — та обнаженность лучших чувств, непрерывные объяснения в любви вслух и на бумаге — друзьям, женщинам, старикам, пейзажам, речкам, лодкам, пароходам и пристаням, закатам и травам и первым встречным.

С матросами безусыми хожу я досветла
За девушками с бусами из чешского стекла...

(Это в Батуми, он получил командировку от журнала “На боевом посту”, ведомственного журнала МВД, и обещал написать про морских пограничников или, в крайнем случае, пьесу для матросской самодеятельности, каковую мы вместе, хохоча, и сочинили; она называлась “Наш молодой Карузо”. Главный герой был Княжинский, а персонажи-матросы — Рязанцев, Ахмадулин, зав. клубом Павел Финн.)

Гена спешил объясняться в любви, словно понимал, как жизнь коротка и “потом” не бывает, нельзя откладывать:

Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит...
Немедленно его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим.

Вопреки всеобщему унынию и язвительности, он пытался и жизнь так устроить. Из очевидного кошмара нашей жизни, вопреки кошмару, ловить “чудное мгновение”.

Однако та первая встреча с Виктором Некрасовым добром не кончилась. Он позвал нас — Марлена Хуциева, меня и Гену — к своим друзьям, в почтенную компанию людей уже немолодых, некрасовского военного поколения. Там были писатели, литературоведы, критики — прогрессивного, “новомирского” направления. За длинным столом, естественно, кроме литературы, беседа крутилась вокруг “что делать?” и “кто виноват?”. Быстро напившись, Гена вдруг показал на свободные стулья за столом и сказал, что Добролюбов и Чернышевский сейчас придут, они просто вышли. Гости обиделись — что он имеет против Добролюбова и Чернышевского?.. И сочли это, видимо, за намек — критики и литературоведы вступились за предшественников. Я помню, как обмирала от стыда. Мой молодой муж оказался — впервые для меня — пьяным скандалистом и заявил вслух, что всех этих разночинцев, демократов, страдальцев за народ ненавидит за то, что перепортили всю русскую литературу. Пьяная его речь — без мата, впрочем, и без грубости — была вполне осмысленна и тем более неуместна в том обществе. Хуциев сказал: “Надо уводить Генку”, и мы его как-то силком увели.

И Некрасов — почему-то перед ним было особенно стыдно — пошел с нами и даже в ту ночь у нас заночевал. Он жил в Москве, как всегда, у Лунгиных, но было слишком поздно, ночь, и мы пригласили его в наше временное жилище на Маяковской. То была комната Гениной сестры, и соседями нашими была строгая парочка. Он — майор, она — капитан того же ведомства, МВД. Это была наша первая попытка уйти от родителей и жить самостоятельно. Утром, помню, я сбежала в “Пекин”, принесла из кулинарии вкусной еды, чтобы прекрасного гостя потчевать завтраком, переходящим в обед, а мужчины, проснувшись, посмеялись над моим усердием — на еду они с перепоя смотреть не могли. Я еще не знала, что с похмелья не завтракают, а только пьют и опохмеляются.

Между тем в коридоре висела красивая клетчатая куртка Некрасова, которую он только что привез из Америки, и соседка майорша, сама в чине капитана, решила, что у нас иностранец. Таких вызывающе иностранных вещей в Москве не носили. Она мне тихо и вежливо сказала в кухне, чтобы мы освободили помещение в двадцать четыре часа. Я сказала, что у нас знаменитый писатель

Виктор Некрасов, это его куртка, — не подействовало, не знали они такого писателя, а куртка, действительно, выглядела экзотически — только шпионы могли носить такие. Шпиономания еще не прошла, кампания “бдительности”, когда весь народ мечтал обнаружить шпиона, длилась еще долго.

Гена с Некрасовым мирно опохмелялись, про демократов и разночинцев поспорили для порядка и сошлись на компромиссе, вчерашний скандал был прощен как детская выходка, и Гена гордо демонстрировал другу Вике, какая у него жена, заботливая, все понимает и утречком бежит в кулинарию. Некрасов одобрял жену. Но только если ей — то есть мне — убрать челку. У женщины самое красивое — это лоб, открытый лоб.

Почему-то “старики” тех времен придирчиво относились к женским волосам. С этим я не раз сталкивалась. А Гена очень любил “стариков”, без стеснения знакомился даже с самыми знаменитыми, например с поэтом Михаилом Аркадьевичем Светловым. Мы подсели к нему где-то в кафе и весело проболтали целый вечер, но время от времени он неодобрительно косился на мой лоб и уверял, что челку надо отрезать, всем бы девушкам запретить эти челки. Он был легендарной личностью, классиком еще с довоенных времен, все мы знали наизусть его “Гренаду”, старались попасть на его семинары в Литинституте и передавали из уст в уста его экспромты и остроты. Гена — до того как стал сочинять свои песни — пел Светлова, например вот это:

Печально я встретил сегодня рассвет,
Я сразу проснулся от горя.
На палубу вышел, а палубы нет,
Ни неба, ни чаек, ни моря...

Впрочем, он в те времена пел стихи разных поэтов — Пастернака, Цветаеву, Тихонову, Кирсанова, иногда выдавал малоизвестные стихи за свои. Теперь поют его песни с эстрады, сильно путая слова и вставляя чужие строчки; он бы не был в обиде, он и сам так делал не раз, песни предназначались для “своих”, не для печати или эстрады. Александр Аркадьевич Галич дописал две забавные Генины песни.

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
А за заборами вожди... —

он продолжил в духе политической сатиры:

И сопя, уставится
На экран мурло —
Очень ему нравится
Мэрилин Монро...

И сразу спел Гене. Тому не очень понравилось такое продолжение, но он промолчал — из почтения к Галичу, как бы одобрил. Это было в Болшеве, в нашем “доме творчества”, и кто мог тогда думать, что через много лет эти песни вспомнят, они “пойдут в народ”? Это были “домашние игры”, и дом в Болшево казался тогда нашим общим домом. Он объединял поколения, осуществлял “связь времен”.



Мы с Геной Шпаликовым поженились в 1959-м, а в 1961-м наш студенческий “экспериментальный” брак стал трещать по швам, и весной Гена затеял примирение. Мы решили начать новую жизнь. Из прежней жизни — с моими родителями — мы были изгнаны, вернее, сами ушли. Для новой были все основания — Гена получил аванс на “Мосфильме” и, узнав, что я тоже скитаюсь, живу у подруги, купил два билета на Кавказ и преподнес их как спасенье: ехать и не рассуждать. Он был горд, ощутив себя “не мальчиком, но мужем”.

Был апрель, и знаменитая гостиница “Гагрипш”, диковинное деревянное сооружение в стиле шале, явно стояла пустая — не сезон. Мы решили непременно поселиться в ней. Я хорошо знала Старые Гагры, бывала там не раз “дикарем”, с родителями, были знакомые хозяева, но это не соответствовало замыслу. Новую жизнь надо начинать в хорошем отеле, поутру спускаться в ресторан, заказывать в номер легкое вино и т. д.

Цвели глицинии, восхитительно пахло самшитом, кипарисом и турецким кофе, что варили под старыми платанами. Был первый жаркий день, и солнце зализывало лужи, а мы никогда не бывали на юге весной, когда чисто, тихо, и слышно каждую птицу, и никаких отдыхающих. А в гостинице — “мест нет”. Вот же — пустая! А для нас мест нет. Ясное дело, надо дать взятку, но как это делается — мы не знали. Поставив чемоданы у глициний, не мозя глаза администраторше, мы совещались и репетировали — часа два. Ближе к закату, оголодав, Гена заложил в паспорт десятку, зажмурился и пошел на позор. Я подсматривала из-за стекла, как он глупо улыбается непреклонной тетке, готовый сию секунду бежать с покрасневшими ушами или обратить нашу взятку в шутку. Это длилось секунду. Немедленно потребовался мой паспорт, мы получили номер. Правда, самый плохой, под крышей, почти без окна — оно упиралось в скалу.

Мы зажили на широкую ногу, и деньги наши стремительно таяли. Ими распоряжался Гена, я даже не знала, сколько их, но все чаще мы заходили на почту — деньги за сценарий должны были приехать, но все почему-то не слали. Гена дал телеграмму с просьбой выслать их телеграфом.

Я стала думать, что бы такое продать. У меня было четыре платья и ситцевый халат. Каждое из этих платьев я помню, потому что сшила их сама, хотя шить не умела и не умею. Я их сшила в знак протеста и независимости от мамы, которая обшивала всю семью. Как ни странно, мои изделия были раскуплены мгновенно, дежурные в гостинице, видимо, раньше нас почувствовали наши финансовые затруднения и с южной непосредственностью приценивались: “Почем вы брали этот штапель, я бы для дочки купила рублей за тридцать... А сумку не продадите? Я бы дорого дала...” У меня была редкая вещь — голубоватая самолетная сумка с надписью SAS, и я ее продавать не собиралась. На мои платья мы продержались дня три, а деньги все не приходили.

Мы обросли новыми знакомыми: в ресторане играли музыканты из Тбилиси, консерваторские ребята, такие же безденежные, как мы, и Гена подружился с ними, а потом и с Сухумской филармонией, приехавшей на гастроли. Они заказали нам песни, у них не было русских текстов для курортной публики, и мы радостно

взялись за работу. “Под старым платаном меня подожди, где листья шумят, как прибой... Над Гаграми снова дожди, дожди, а нам расставаться с тобой...” — репетировала солистка с прекрасным низким голосом, а мы сидели под старым платаном и гадали — заплатят ли они что-нибудь? Хотя Гена представился поэтом-песенником, у него уже была одна песня для кино — “Пароход белый-беленький”. Администратор Сухумской филармонии догадался, что мы голодные, и выдал двадцать рублей. Гена с утра отправился на почту и дозвонился наконец на “Мосфильм”. Оказалось, что деньги только вчера выписаны и надо подождать недельку, пока соберут все подписи... Гена зашел в кофейню и заложил знаменитому продавцу турецкого кофе часы...

В “Тагрипше” жила одна полужнакомая пьющая артистка, она как раз собиралась в Сочи, чтобы получить там у кого-то крупную сумму, а пока одолжила у нас двадцать рублей — последние — и попросила у меня “сасовскую” сумку — до вечера. Она не вернулась. И вообще это была не она, не та артистка, за которую себя выдавала. Впрочем, и ту, в те годы довольно известную, я никогда после в кино не видела. Так и осталось тайной — была ли это настоящая И. А. или двойница, и мы накручивали сюжеты, веселые ужастики, “страшные истории в детском санатории” про таинственную И. А. — чтобы не плакать над голубой сумкой. “Такую вещь — такой аферистке”, — убивалась дежурная.

Гена пошел прочесывать местность в поисках какого-нибудь случайного знакомого. Конечным пунктом назначения был писательский Дом творчества. Тут нужно заметить, что знакомые попадались часто — то в парке, то на морском вокзале, то прямо в “Тагрипше” — в ресторане. Но к тому моменту мы уже поняли, что не у всякого знакомого стрельнешь десятку, а тем более — попросишь денег на билеты. Вернее, я поняла, да и раньше понимала эту простую истину, а Гена так и не понял — никогда.

Я закрылась в номере и грызла редиску и сухой лаваш. От вечерних посиделок с музыкантами всегда что-то оставалось, но приходилось закрываться от вероломного гитариста Важи, который под видом дружбы со Шпаликовым домогался меня пылко и настырно. Хотелось бежать куда глаза глядят, а я сидела в каморке нашей тихо как мышь, без завтрака и обеда, будто меня нет. Не хватало нам

только драки на скрипучей лестнице “Гагрипша”, битвы на шампурах, что регулярно там случались.

И вдруг — нетерпеливый стук в дверь! И часу не прошло, как Гена ушел, и вот он стоит на пороге, совершенно счастливый, сияющий, и прямо с порога рассказывает, показывает в лицах:

...Я думаю — он или не он? Я издалека его увидел, а когда приблизился, думаю — а вдруг не он? Он сидел вот так, в будке у чистильщика, и этот парень чистил ему ботинки. До блеска, такой бархатной тряпочкой. Он очень долго чистил ему ботинки. А я стоял — думаю, а вдруг он меня не узнает? А когда он встал, я делаю два шага вперед и по стойке “смирно”, чтобы не ушел, стою и говорю: “Здравствуйте, Сергей Александрович! Я — Шпаликов Геннадий...” Но он и так меня узнал, он обрадовался, они вечером к нам придут в “Гагрипш”...

Кто он? — спрашиваю.

Ермолинский! Ну да, тот самый, который “Грибоедов”...

Я, разумеется, знала, кто такой Ермолинский, — мы во ВГИКе проходили историю кино, но я и до этого знала — на спектакль “Грибоедов” ходили всем классом, потом обсуждали, и Ермолинский представлялся мне классиком, которого, может быть, и в живых-то нет... Неизвестно и неважно: когда имя уже существует на афишах и в умах, все остальное — существование их физического тела — не имеет значения. А у Гены Шпаликова, как ни странно, не было этой “полосы отчуждения” — стариков он не боялся, искал с ними дружбы и говорил по-приятельски. Почтение выражалось в суворовской выправке — подойдет, щелкнет каблуками, поприветствует как положено, — и готово дело: старший по званию современник умиляется, удивляется, обнаружив интерес к своей персоне — неподдельный.

Гена уже откуда-то знал, что Сергей Александрович прошел тюрьму и ссылку, и пока они прогуливались по парку, ошарашивал его прямыми детскими вопросами. Впрочем, может быть, это было в другой раз — мы потом еще много вечеров проводили вместе, но Гена каялся, что он опять, как дурак, спросил: “За что?”, в смысле — “за что посадили?”, хотя уже прекрасно знал, что таких вопросов не задают. Всего пять лет прошло с тех пор, как наша история стала открываться во всем ее кошмаре. В том 1961-м мы еще

не слыхивали — это трудно сейчас представить — даже имени Солженицына, не читали никаких свидетельств очевидцев, но говорили мы только об этом, добывая правду по крохам и намекам. Все пять лет — с 1956-го — весь наш любознательный студенческий ум ушел в эти раскопки, в добычу — из третьих рук — знания и понимания. Мы со Шпаликовым ездили в Переделкино на похороны Пастернака, мы знали гнусную историю с романом “Доктор Живаго”, но не читали его, и теперь, как ни старайся, не вспомнить тех важных слов и умолчаний, тех ступенек, по которым пробирались, вырастали из самих себя очень советские по воспитанию Гена — суворовец из военной семьи и я — воспитанница Городского дома пионеров. Слова, диалоги наши забылись начисто, видимо, глаза, паузы и стихи значили больше.

Исчерпав программные грузинские тосты, стали балагурить: Сергей Александрович изображал иностранного гостя, произносил какую-то тарабарщину на несуществующем языке, а Шпаликов играл переводчика, а потом и все остальные, по кругу, переводили с какого-то “неандертальского”, даваясь от хохота, изображали официальный прием.

Только я, когда дошла до меня очередь, ничего не смогла из себя выдать, сидела букой, с испуганным лицом, молясь, чтобы Шпаликов не напился, не заигрался, не ляпнул что-нибудь некстати этому почтенному седому человеку со строгим — несмотря на все балагурство — именно строгим учительским лицом. Не хотелось впасть в немилость самой истории, а она проступала — как ни старался он вписаться в молодую компанию — в резких на загорелом лице морщинах, в манерах иных времен.

Все старшие — люди военного поколения, комсомольского воспитания — с ходу говорили на “ты” с нами, студентами, да и между собой, а Сергей Александрович — неизменно на “вы”. Тогда я еще не знала, что они и дома, с Татьяной Александровной говорят на “вы”. Мы еще не знали про его дружбу с Булгаковым, да и про Булгакова знали смутно.

Ермолинский ничуть не походил на старорежимных дедушек из дворян, каких мне изредка приходилось встречать, он был наш современник и коллега, они с А. Хмеликом писали сценарий “Бей, барабан!” для вчерашних вгиковцев Митты и Салтыкова. И Шпали-

кова он уже успел отличить, обсуждая его сценарий на “Мосфильме”, и очень хорошо понимал, что такое сидеть без гроша и ждать гонорара; так что встреча наша не была случайной, это для меня было чудо — “майский день, именины сердца”, нечаянный, незаслуженный подарок судьбы.

Разумеется, мы не уехали, а растянули “именины сердца” на неделю. Мы приходили к ним в писательский дом, а Сергей Александрович приходил к нам, с удовольствием отлынивая от сценарных трудов. Он не слишком серьезно относился к сценарному ремеслу, ощущал себя писателем, вынужденным зарабатывать деньги на киностудии. Он мечтал бросить это хлопотное, неблагодарное занятие и жалел Шпаликова, предвидя, что его ждет та же судьба.

Весенние Гагры не располагали к работе, на каждом углу продавалось местное дешевое вино, начинался пляжный сезон, и, кажется, из всего писательского дома один только Булат Окуджава оправдывал название “Дом творчества” — сидел в заточении и что-то писал. Но вечером удавалось его сманить, и он нам пел, долго настраивая чужую гитару: “Море Черное, словно чаша вина, на ладони моей все качается...” Это была новая песня, только что написанная, остальные — их было тогда немного — мы знали, но готовы были слушать еще и еще.

Мешало море. Оказалось, под шум прибоя невозможно петь, а писательский дом выходил окнами прямо на пляж. Ермолинский очень любил Булата, и грузины, постоянно их окружавшие, нашли другое место для песен. Мы поднимались по темным тропинкам в какой-то дом с апельсиновым садом, и там, на террасе, за круглым столом, Окуджава пел все, что попросят, и после каждой песни деликатно отставлял гитару и ждал, когда снова попросят, уговорят. Не могу вспомнить ни дома, ни хозяев, и вся эта неделя слилась в сплошной “праздник, который всегда с тобой”. В нашей бестолковой, нетерпеливой, унижительной молодости наберется таких — два-три островка.

Под крылом Ермолинского в нашей семье ненадолго воцарился мир, все заботы были забыты. Он поднимался в нашу мансарду, прилежавшую к скале, и вспоминал про Сагурамо, про Заболоцкого, читал стихи, а про тюрьму и ссылку не хотел говорить, отмалчивался. И наши “маленькие трагедии” — мой ненаписанный ди-

плом, несданный экзамен по марксизму, бездомность, безденежье, Генин запущенный в производство, но остановленный первый фильм “Причал” — все невзгоды начинавшейся взрослой жизни отступали, узнавали свое место в масштабах иных трагедий и потерь. Раз нас — бедных промотавшихся студентов — сам Ермолинский привечал — можно было еще потерпеть, не впадать в грех уныния <...>

<...> А потом я попала в “святая святых”, в кухню Ермолинских, куда не всех пускали. Некоторых — не дальше кабинета. Я бывала там на семейных торжествах, а часто и в будни, и с мужем — Ильей Авербахом — бывала. И много чего еще можно вспомнить. Но об этом могут рассказать и другие, там немало прекрасного народу бывало. А те случаи никто не помнит, я одна помню, и надо, стало быть, записать. И назвать — “Майский день — именины сердца” или “Как Ермолинский спас Шпаликова от голодной смерти на берегу Черного моря”.



Г. Шпаликов и Н. Рязанцева. Фото © Музей кино

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ПИСЬМА К Н. РЯЗАНЦЕВОЙ*

263

...Я нашла несколько писем — не все, конечно, есть еще в глубинах моего секретера какие-то черновики, недописанные стихи и рассказы. Про Шпаликова снято несколько документальных фильмов, издано несколько книг разного качества. Но вот эти письма 59 года я давно не перечитывала. Почерк у него неразборчивый, прозу он печатал на машинке, но без знаков препинания и заглавных букв. Сейчас бы ему исполнилось восемьдесят.

Я помню и где-то уже писала, как Гена любил и умел расспрашивать стариков. Еще в студенческие годы. Габриловича, Светлова, Вольпина, Некрасова. Сейчас бы его расспрашивали. Пытаюсь представить себе Гену стариком — не выходит. Как бы он отвечал беззастенчивым журналистам или любознательным студентам — знаю, он ведь все написал и в стихах, и в сценариях, и в песнях. И даже в письмах.

Я выбрала несколько писем из Батуми, куда он ездил в командировку от журнала “Пограничник”. И сочинял пьесу для матросской самодеятельности.

Наряду с ранними письмами из Батуми здесь приводится письмо, относящееся ко времени работы Г. Шпаликова с С. П. Урусев-

* Публикуются впервые.

ским (1969–1970) над сценариями для фильмов “Пой песню, поэт” и “Дубровский”.

Н. Рязанцева

<Батуми>

Я здесь пообвык, не скучаю теперь в такой необыкновенной форме <...> я пробую писать, и пишется с таким требовательным трудом, что я не напишу 10 рассказов, а, наверное, не более двух, но хороших. Один я уже кончил, а второй, может, кончу на днях. Я купил здесь Анатоля Франса, очень толстую книгу, я его никогда не читал и читаю с восторгом, прочел также всего Бунина из матросской библиотеки, тоже с восторгом и не с меньшим, а сейчас у меня Стенди “В дебрях Африки”.

Лекцию “Чудеса кино” я уже прочел, как раз вчера вечером при огромном стечении народа, на пирсе рядом с боевыми кораблями. 2 часа я им рассказывал всякие небылицы и фокусы, и всем очень понравилось. <...> Надо тебе сказать, что ты мне тоже снилась, но мне в этой духоте еще не такое снится: я уже видел во сне Сталина, Ворошилова, Берию (это одновременно), ужасные сны мне снятся <...>

Напиши мне еще об <американской> выставке. Читать репортажи с нее невозможно. Я чувствую себя солидарным с Р. Никсоном. А ты читала в “Известиях” о том, как один американский парень сказал, что лучший советский писатель — психолог Борис Пастернак? Это было на фестивале и вызвало гневную отповедь. <...> Правильно, что меня не взяли. Ну, что бы я там сказал? Ничего хорошего я бы не сказал. <...>

Я каждый день в море или на базе. Если я буду писать пьесу, то не одноактную, а большую, в два отделения.

Вообще говоря, можно написать и серьезно, я еще не знаю, как, но можно. Есть здесь серьезные, хорошие люди, и есть очень смешные. Меня здесь полюбили как сына, помогают всячески <...>

<Батуми>

Наташенька! Пишу из главной почты, куда пришел за письмом или телеграммой, а их, конечно, еще нет.

Здесь ужасно без тебя. Море хорошее, но я сбегу отсюда, если ты не приедешь. <...>

Я не знаю, что я буду делать без тебя целый месяц. <...>

Наверное, это глупо, но я не представляю, как я тут проживу. Мне и пить без тебя не хочется. Сидеть одному на камешках у моря ничуть <не> веселее, чем в Татарово, да и там куда лучше — музыка, не так много грузин и т. д.

Я сегодня посмотрел <на> свои вещи со стороны — лежат они на гальке от меня отдельно, а я как будто уже утонул <...>

26 июля 1959 года

<Батуми>

<...> Я посмотрел, как командировочные стирают в умывальнике носки по вечерам — это страшная картина — как узники. А потом вдруг сломался бак, и второй день я умываюсь в море, воды нет, стирать носки невозможно. <...>

15 августа 1959 года

<Батуми>

Здравствуй, милая, поглядела бы ты на меня сейчас, как я сижу в гостинице, голый, обгорелый, небритый (нет света), оглохший на одно ухо от непрерывного купания в море — это ужасное дело, кошмар <...>

<Батуми>

<...> Командировочный от ВГИКа мне отметили в Союзе писателей Аджарской республики, поинтересовавшись, что за дело меня сюда привело. Я сказал, что сценарий о вел<иком> грузинском поэте-просветителе Илье Чавчавадзе, который останавли-

ПИСЬМА

К Н. РЯЗАНЦЕВОЙ

265

Здравствуй, милая, и где-
где бы ты не меня сейчас,
я и сижу в кутузке,
голый, оборванный, небри-
товый (нет шва), охло-
мивший на одно ухо от
беспрерывного шума
в море — это ужасное
дело, кошмар!!!

действительно охло, у
меня яловично левое
ухом, и я думаю не
хорошо и морю, наверно,
оттого так жарко,
жужжа и т.д.

вался в Батуми, и, кстати, это будет связано с батумской стачкой. Я не думаю, что мне поверили, но печать поставили, а может, они и поверили — все до одного грузины и поклонники всякого грузинского. Ведь кто-то же повесил здесь мемориальную доску этому человеку. На заставе, которая в самом центре города, недалеко от пассажирского порта, дела хороши. Уже лично — хоть сейчас — написать такую одноактную пьесу, с такой турецко-черногорской клюквой, что я сразу стану писатель-орденоносец Всеволод Вишневский и уже буду говорить со всеми “братишки” и вот тогда повесим дома наш флаг.

<...> Из-за соблюдения военной тайны, ничего не пишу про границу — это можно рассказывать устно, закрыв двери и окна. Здесь все окружено такой тайной, тайной небывалой бдительности, что я каждый раз после разговоров на заставе чувствую, что я очень честный человек и мне о себе страшно: вдруг попадусь живым в руки врагов.

<...> Рубашек я взял много. Это совсем ни к чему, и лучшее, что у меня есть, — это новая моя рубашка из твоего ситчика, она такая красивая, удобная, практичная, на нее, сатанея от зависти, смотрят грузины, и я сам смотрю на себя в зеркало с удовольствием и радостью.

Грузины здесь все одеты, как из итальянского кино — все в черных штанах и всяких полосатеньких рубашках.

Белых женщин здесь мало, а те, что есть, уже охвачены и живым им не уйти. И хотя все они такие сов. туристы в войлочных шляпах и застенчивых декольте, но грузины не очень-то разбираются <...>

<...> Я же по тебе скучаю. Вижу тебя во сне, плачу от вида глаженных тобой рубашек, два раза на день хожу на почту, звоню тебе (тебя нет дома), и понимаю, какая ты хорошая, гуманная, красивая, элегантная и т. д. <...>

Новый год 1970

<...> не могу не поделиться — вот тепло, — что день сегодня был чудесный, — что-то складывается постепенно, — из ниче-

Все так ириски
ноне седина —
осрабне коту
гладу иер змис
кучене, джорни,
и м.г. Е же
мгу. До ороно и
огу в норе кучни
гис без рхоса и
бер, в нур тучни
чанин. ноне — и
собоуи.

Рудаше е взелно-
но. Про собам и и иу

и лучше, что у меня
еще - это такое мое
ружьице из этого сурьма,
она такая красивая,
чистая, красивая, и
ее, саженье от рубца,
смотрит грустно и
сам смотрю на себя в
зеркало с удовольствием
и радостью.

Грустно здесь не
одну, а и из
временного кино-
ва в перных играх

и великих государственных
рубашках.

Пелах менури
мно много, а же, что
есть, уже яхвиемы
и шифаны. 4м не
уітн. И хотя все
они уже сов.
группы в войлочных
шлемах и защитных
дешеве, но грузины
не очень-то разбирают-
ся... ~~всех~~ грузин
много имеют
и все свои обра-

тупых, толстых и
тонких, горбоносых, уса-
тых и лысых мужчин
своей страной, моими
бешар и эфтионами.

Я не по тебе
спрашиваю, пишу тебе
то мне, члену от
вида глянцевых товаров
рубашек, воя реж на
гипс хиты не илбу,
звоню тебе (тебе
нет дома), и воткнуто,
кем же ты хороша, ●

румяная, красивая,
элегантная и т.д. (...)

~~Я бы рада узнала,~~

то все ли у вас
хорошо, и что нового.
Если вы устали, никаких
попыток не берите
доставлять восток. Про-
шаманьте, играйте
хлебом и солью.

Мне у вас много
сочинений, у вас же
американские тоска и
т.д. Привет Е. и
и Бор. Сест. Как дела?
Позвони мне.

31 с. Услышало много раз
Теперь.

го — знала бы, — до чего приятно придумывать совсем нереальное кино, — т. е. так, как будто никакого кино не было, — игнорируя сам факт изобретения — ипполит и поливайщик, прибытие поезда* — не было этого и все, — в жизни люди сидят, едят, разговаривают, выясняют отношения, и — проч. — и — пусть, — а как это можно сделать, — вообще все это минувя, — оказывается, можно, — на бумаге, — можно, — не знаю, как будет со швейцером, — мы там тоже пытались выйти за рамки представляемых вещей, но там меня сдерживал все-таки миша, здесь же — абсолютная свобода — все режиссеры — полулите-раторы, — урусевский — чистый кинематографист, — правда, и его коснулось все — он ведь и с райзманом работал, но, — тут мне никто не мешает / но и не помогает / делать — повторяю, — на бумаге — пока что, — то, что можно снять, — я давно об этом мечтал — о такой камере, — он мне пока что абсолютно доверяет, — ну, — тому, что придумалось и записалось, — он художник, — настоящий, художник, — из того блестящего начала советского искусства — родченко, маяковский, — и тут же, — все постановки мейерхольда, — вхутемас, — да и все ведь не случайно именно он — по-искусству, а не мы с марленом, — хотя та картина, м. быть и наивнее, и проч. — но ведь настоящей революцией, — и не такой внешней — были все-таки журавли, — потом пошел тарковский: — список тебе известный, — заставка, — чудесная картина, — и, может быть, нам бы с марленом не стоило расставаться, но тут отдельный пустой разговор, — я с наслаждением работаю — просто работаю, ежедневно общаюсь с прекрасным человеком, — мало этого? по-моему, достаточно. он тебе тоже понравится — уверен. а ты — ему.

наташа, к сожалению — надо кончать, а то я не остановлюсь, с новым годом.

* Имеются в виду первые фильмы братьев Люмьер “Политый поливальщик” и “Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота”. (Примеч. ред.)

Г. Шпаликов у Рязанцевых.
Фото Ю. Рязанцева.



ЮРИЙ РЯЗАНЦЕВ

ЦЫГАН ПРИЕХАЛ *

275

Говорил наш отец всем сначала — при появлении Гены.

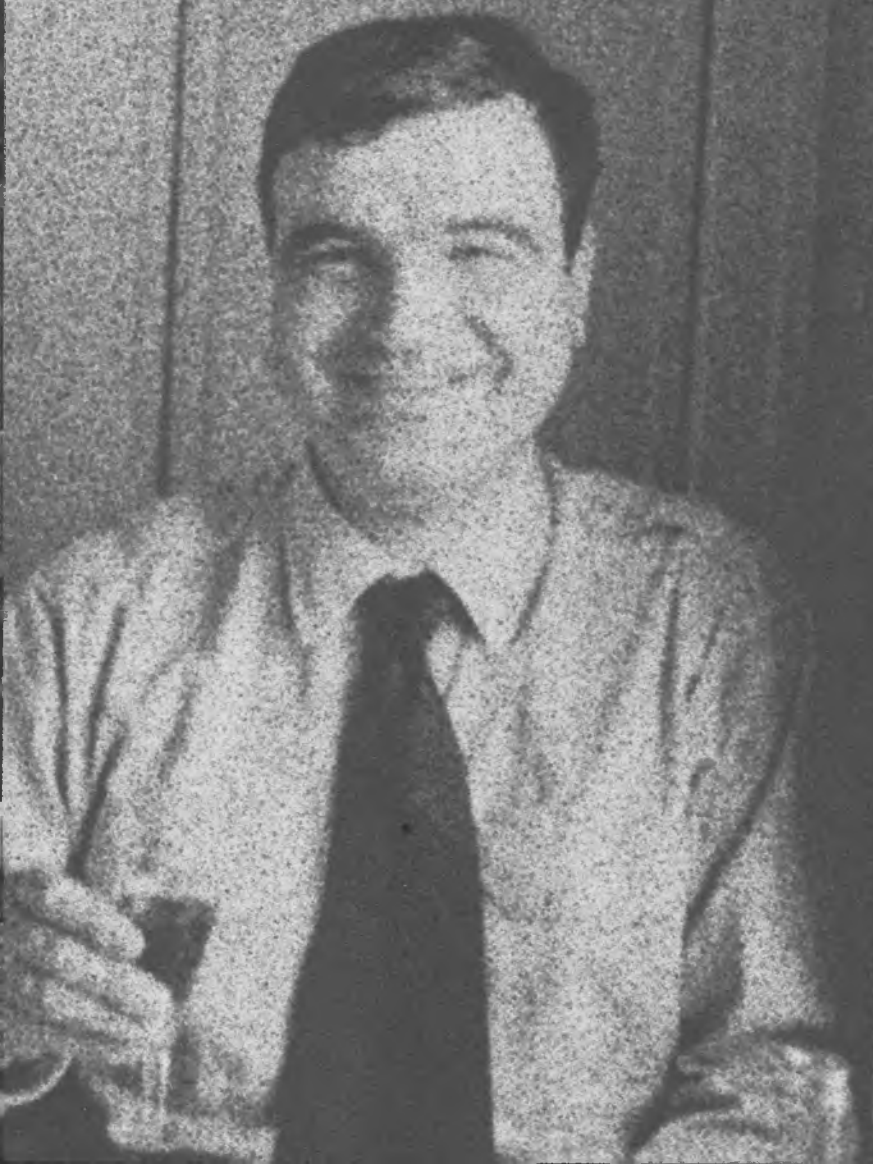
Дома, у вокзалов, представлен родителям живой темноволосый молодой человек “с выправкой”. Он — друг сестры. Ему двадцать один год; сестре — двадцать. Они вместе учатся на сценариста. — Чтоо?! Они скоро поженятся и оба будут здесь жить? А мне — в комнату к родителям, на уплотнение? Мне десятый класс заканчивать и так далее... Экзамены впереди и напряженное лето (1959). Мне тоже уж семнадцать лет, между прочим. Для описания напряженной обстановки слово “стресс” я тогда не применял еще.

Но чудесным образом обошлось. Привыкли друг к другу. Да и замечательные люди стали к ним с Наташей приходить. Отцу удалось [разменять] квартиру на чуть большую, в том же доме. А новый человек, весело ко всему относящийся, оказался уживчивым. Этаким “старшим другом”, любящим постоянно чего-нибудь придумывать. И добрым. К моим трем строчкам в стиле стихов тех лет:

Работал он носильщиком
На Северном вокзале,
Он женщин там насиловал —

* Публикуется впервые.





Гена тут же добавил: “На сером одеяле”.

А маме нашей подарил на день рождения вазу на тему вербы. А мне еще добавил половину денег (400 р.), чтобы я купил надувную лодку для рыбалки. На ней-то он потом и плавал осенью, между Татаровым и Тушиным. Лодка-то подарком была мощным, небось, от гонорара за фильм “Это нужно республике”, где герой фотографирует самого Ильича, или за какое другое кино. Гена — человек уже “с фамилией в титрах”, еще до всяких “Шаганий по Москве” и “Застав”.

Доходило до нас эхо мелких приключений. От подаренной на их свадьбу (28.03.1959) гитары осталось лишь одно: она была “разбита о голову человека” где-то у вокзалов, в день рождения Наташи (27.10.1959). Друзья гуляли иногда. Теперь днище той гитары с автографами известных людей, как и ваза про вербу, покоится у Гениного шурина, т. е. у меня. А ведь гитару эту слушали “миллионы людей и многие города мира”, о чем Гена и написал позднее на ее днище. А исполнять под гитару свои смешные песни он был не прочь. И уж ближе к концу я записал на кассетный магнитофон его “про войну”, “советскую страну” и про парашютистов — конечно, под совсем другую гитару. А тогда (1960), оказавшись в компании родственников-ровесников-студентов, он как-то исполнил “политическую” песню про украденный Царь-колокол, которая понравилась будущим карьерным дипломатам.

В ноябре 1960 года, когда еще жили все вместе в доме на Краснопрудной, наш отец, специалист по связи на железных дорогах, готовился отправиться с делегацией министра в США для встреч с коллегами. Для такого редкого события отец раздобыл любительскую кинокамеру “Кварц”, которую следовало освоить перед поездкой. В порыве профессиональной радости Гена взял руководство этим делом на себя. Сценарий пробного фильма, видимо, родился у него в минуты, когда он морозным утром заставил отца, Наташу и меня, образовав съемочную группу, выйти во двор на аллею (она есть и сейчас — 2016). Прихватив реквизит — корень хрена, бутылку уксуса, картину Рафаэля в рамке, а также знак времени — хулахуп, Гена распределил задачи: отец — оператор; Наташа — молодая женщина, ищущая места в жизни и мятущаяся; Гена — клоун, убеждающий Наташу жить легко и весело; брат На-

таши — человек в сером пальто и в шляпе (19 лет!), доказывающий ей обратное — величие соцстроительства и необходимость чистоты нравственного облика. Гена затем сел на мерзлую землю газона — в пиджаке без пальто (но с шарфом), велел отцу дать “мотор”, затем под камерой долго раскладывал предметики, дабы Наташа обратила на него внимание. Мне он велел отвлекать Наташу от безумца-клоуна, указывая при этом на вздымающиеся корпуса и на депо метрополитена рядом и размахивая брошюрой общества “Знание” “О моральном облике советского человека” (увы, снимали без трансфокатора). Наташа металась между нами в поисках истины. Но затем клоун брал верх, девушка тянулась все-таки к нему — в объятия, а затем крутила кольцо на бедрах (см. кадр из “Долгой счастливой жизни”). Человек в шляпе бросал наземь брошюру и уходил прочь.

Семиминутный этот фильм был успешно проявлен, и единственный просмотр его был у нас дома. Когда отец вернулся из США, он этот фильм вместе с американским материалом и казенным проектором случайно передал в КБ сигнализации и связи МПС. И о том было забыто.



1 октября 1964 года, во времена “шведской жены”*, мы с Геной случайно встретились днем у “Метрополя” и туда отправились. Событием дня был принесенный его знакомым большой пакет с фотографиями его маленькой дочки. Тогда он был занят материалом “Пой песню, поэт” — о Есенине.

Другой раз, тоже случайно, оказались с Геной в комиссионном магазине пишущих машинок на Смоленской. Я предположил, что ему нужна машинка “Колибри”. “‘Колибри’ не летает”, — сказал Гена.

С нашим двоюродным братом Борей мы году в 1968-м, договорившись, пришли в гости к Гене на Юго-Западе Москвы. В тот раз он был один. Встретив нас на улице, он легко заскочил в ресторан

* Прозвище, которое Шпаликов дал Инне Гулая. (Примеч. ред.)

“Истра” и, взяв в долг бутылку коньяка, проследовал с нами к себе. Когда расставались, он вручил мне подарок — гаражную лампу.

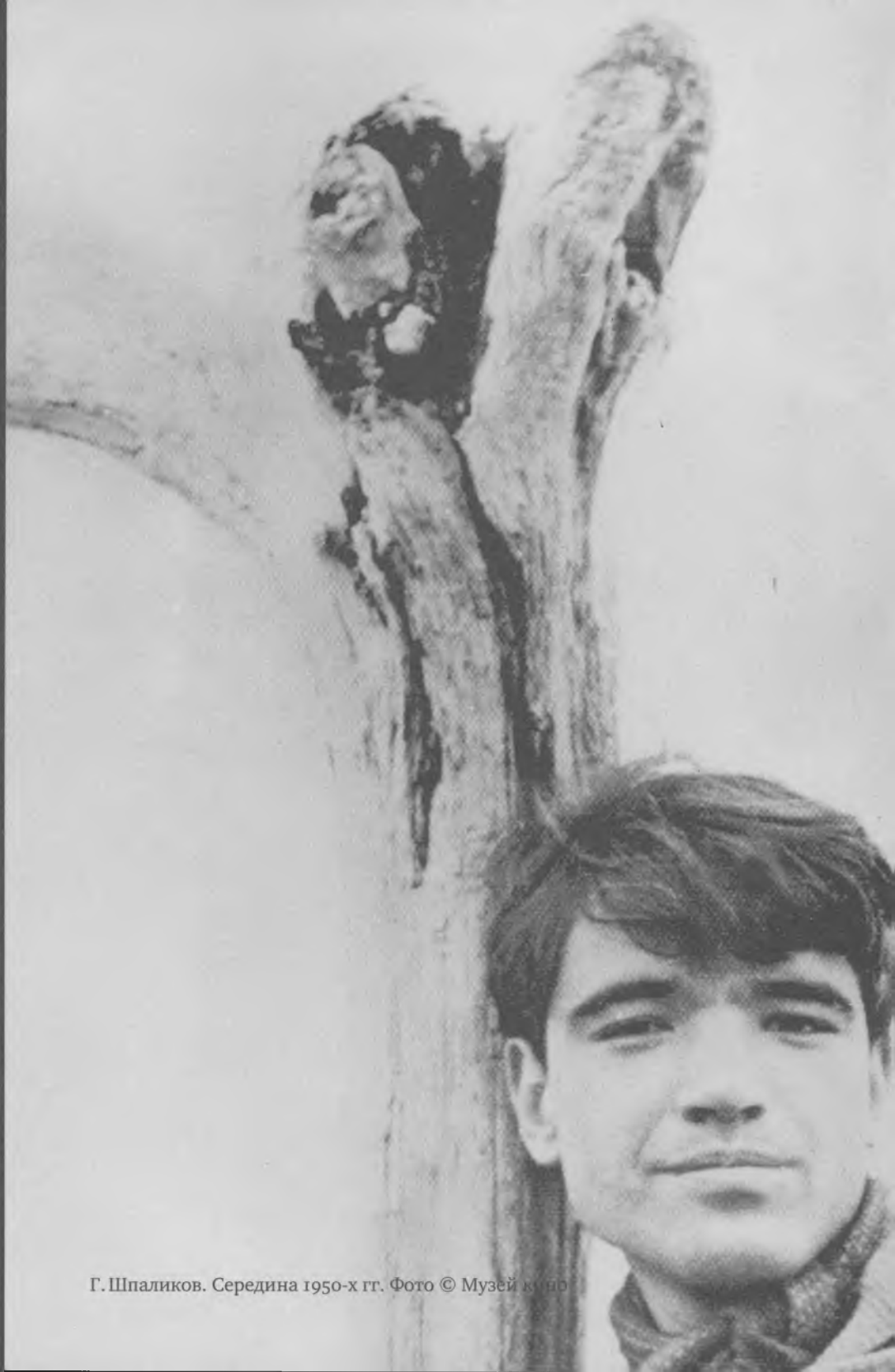
Бывал он и у меня дома, ночевал, рассказывал, как прилетел с Шепитькой на фестиваль в Будапешт и еще что-нибудь; сомнения в правдивости рассказа отвергались. А я норовил его сфотографировать и просил что-нибудь написать. Сохранилось несколько таких записок со стихами и с милыми обращениями к нашим родителям.

Раз он “от автора” надписал и подарил мне старую книжку Верхарна и даже на ней сзади изобразил печати библиотек, где она ночевала. В один из таких приходов ко мне понравилась ему моя зеленая полосатая рубашка из Канады. Я тут же снял ее и подарил; он на следующий день улетал в Таджикистан по работе.

Гена возвратился и снова был у меня. “Твою рубашку я оставил там, подарил, очень она всем нравится”, — признался он.

2

“НЕПРАВДА, ЖИЗНЬ
НЕ ОБОРВАЛАСЬ”



Г. Шпаликов. Середина 1950-х гг. Фото © Музей кино



Г. Шпаликов на острове Диксон. Фото © Музей кино





Г. Шпаликов, Ю. Белянkin,
А. Княжинский с подругой.



Г. Шпаликов и художница по костюмам
студии им. Горького Г. Панова.



Г. Шпаликов и режиссер В. Туров на съемках фильма
"Звезда на пряжке" по сценарию Г. Шпаликова. Фото © Музей кино





Вверху: Воспоминание о фильме “Неотправленное письмо”: Ю. Файт, Г. Шпаликов, Н. Рязанцева, Т. Штатланд. Фото А. Княжинского.
Внизу: Г. Шпаликов на лошади по кличке “Ракетка”. Николина гора. Фото © Музей кино





ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

“СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ МЫ ПРИШЛИ К ШПАЛИКОВУ” *

Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову. Тра-ля-ля... Он был трезвый и серьезный, а мы — пьяные и глупые. Не сердись на нас, пожалуйста, Гена... Мы очень любим тебя, и твой сценарий, и режиссера Хуциева, и его творчество, и “новую волну”, и все такое интересное и необычно талантливое, как все молодые кинематографисты, которые есть теперь, хотя они и очень любят пить водку, да и не только водку, но все равно они хорошие, а самый хороший среди них ты, и самый умный, и самый юный, и новый, и талантливый, и полосатый, в полосатой рубашечке, и такой красивый, и любимый всеми девушками города Москвы. Да и не только Москвы — других городов тоже. Будь здоров, Гена!

293

* Публикуется по: Шпаликов Г. Я жил как жил: Сценарии; Стихи и песни; Разрозненные заметки. М., 2014.



АНДРЕЙ ХРЖАНОВСКИЙ

“ШУТЯ, ИГРАЯ И НАВЕЧНО...” *

...С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры...

А. Пушкин. *“Чаадаеву”*

Памятники, конечно, дело приятное — правда, кому
их обозревать? — все твои любимые девушки померли,
мама — тем более — товарищи — им-то на памятник
глядеть смешно...

Г. Шпаликов. *“Шаровая молния”*

- Судя по некрологам, плохих людей не было вообще...
- Я, знаете, писал один вариант туда — в печать, а один —
для себя. Для совести, как вы говорите...

Г. Шпаликов. *“Разговор с сочинителем некрологов”*

Сентябрь 1956 года. Я поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Нам, первокурсникам, уже показали издали тех, кого институтская молва поместила в первые ряды “подающих большие надежды”: и роммовского студента Андрея Тарковского с третьего курса, и “трех граций” с курса А. П. Довженко — Ларису Шепитько, Иру Поволоцкую и Джемму Фирсову... И неразлучную троицу операторов-третьекурсников (с которыми мы будем снимать свои курсовые работы) — Гошу Рерберга, Сашу Княжинского, Юру Ильенко.

* Публикуется впервые.

Уже обратили на себя внимание на первых показах актерской мастерской Тамара Семина и Лида Федосеева (за много лет до того, как к ее девичьей фамилии добавилось “Шукшина”). А на четвертом этаже, где находятся мастерские художников, среди первых же выставленных работ выделяются те, что подписаны именами ставших вскоре известными, причем не только в кругу кинематографистов, Валерия Левенталья, Николая Двигубского, Михаила Ромадина, Сергея Алимова, Александра Бойма...

Сценаристам и киноведам выделиться труднее. Но цепочка вроде бы случайностей (вместе едем в троллейбусе номер два через всю Москву от Манежной площади до ВДНХ, т. е. до ВГИКа; оказываемся соседями в очереди за сосисками с тушеной капустой в институтской столовой)... ведет нас навстречу друг другу. Ну и конечно, волны необъяснимой — а на самом деле очень хорошо объяснимой — симпатии сводят меня с горячим и умным энтузиастом Наумом Клейманом и недавним суворовцем Геной Шпаликовым.

Во ВГИКе я обратил внимание на Шпаликова потому, что он был уж очень — красив — нет, это неточное слово, — он был гармоничен и привлекателен не только внешностью, но и тем, как он двигался, то порывисто, то замедленно, как будто воспроизводил своими движениями слышимую лишь ему одному азбуку Морзе.

Меня же, я думаю, Гена отметил потому, что я ходил сначала на костылях (я сломал ногу за две недели до вступительных экзаменов), а потом с тростью. При первом же разговоре выяснилось, что Шпаликов тоже сломал ногу во время батальонных учений. В силу именно этого обстоятельства он был комиссован, и, таким образом, перед ним открылась дорога, чтобы начать новую жизнь.

Поступать во ВГИК Гене посоветовал Саша Бенкендорф. Он был, кажется, соседом Гены. Сам он поступил на следующий год на режиссерский факультет в мастерскую Г. М. Козинцева.

На страницах этого сборника имя Бенкендорфа еще будет возникать не раз, и дело вовсе не в подсознательном желании мемуаристов употребить лишний раз эту одиозную фамилию. Просто судьба Шпаликова складывалась так, что в нужное время, в нужном месте как черт из табакерки появлялся Сашка со своими советами и подсказками. Именно он посоветовал Марлену Хуциеву,

когда у того застопорилась работа над сценарием “Заставы Ильича”, пригласить Шпаликова.

Всегда подтянутый, хорошо сложенный, спортивный — Гена играл в волейбол и в футбол, — приученный к аккуратности в одежде (из-под черного свитера всегда выглядывал белый воротничок рубашки), он притягивал к себе улыбкой невероятного дружелюбия и обаяния. И крепким, кратким рукопожатием.

У Гены были маленькие изящные руки. Будь с ним знаком Лермонтов, он наверняка обратил бы внимание на его руки, как обратил наше внимание на руки Печорина.

Иногда, когда что-то ладилось или нравилось, Гена широко улыбался и вскидывал руку, согнутую в локте, с ладонью, сжатой в кулак. Вскидывать руку Гена научился в суворовском училище, на занятиях по строевой подготовке. “И-и-и-раз!” — кричит шеренга, проходя мимо линейного, и вся “коробка”, в которой шагает рота, вытягивается в струну, прижимая руки к корпусу и печатая шаг. “И-и-и-два!” — командует первая шеренга, и рука правофлангового взлетает к козырьку, отдавая честь.

Этот жест навсегда остался в мышечной памяти. Отдавать честь, обнимать плечо друга, держать стакан, тыкать одним пальцем в клавиатуру пишущей машинки — с этими движениями, казалось, Гена был рожден.

Я много думал о пластике Гены, о его жестах, его речи, слегка заикающейся, красиво извилистой, сопровождаемой движением руки — не всей руки, а только кисти, — и я пришел к выводу, что все эти сложносочиненные и подчиненные предложения в его прозе — и есть его характер, его способ видеть людей, ситуации, природу и в итоге — его манера держаться и разговаривать.

Уже на первых курсах института Гена писал больше других, не только оригинально, по-своему трактуя рутинные задания, но и сверх программы. Он охотно показывал написанное друзьям, так что вскоре мы привыкли к его характерному округлому почерку и с нетерпением ждали новых рассказов и стихов.

А улыбку Шпаликова, слегка растерянную и как бы обозначающую полную удовлетворенность жизнью, свою если не радость, то полное согласие с ней, я вспоминаю во многих ситуаци-

ях, но чаще всего — вот в какой. Как-то Гена поехал со мной за город, на Клязьминское водохранилище, где я предполагал снимать на натуре курсовую работу.

Из моментов, наверняка привлечших Шпаликова, помимо пикника на свежем воздухе и дружеского общения, наверное, надо отметить гримершу С. с раскосыми зелеными глазами и пухлыми, как у афроамериканки, губами. И вот в какой-то момент, когда возникла необходимость восполнить припасы еды и питья, мы с Геной отправились на водном велосипеде в направлении ближайшей поселковой торговой точки. На обратном пути, когда мы уже подплывали к нашему месту дислокации, наш катамаран стал накреняться и мы, с риском оказаться вместе с ним под водой, какое-то время продолжали испытывать судьбу, не покидая наших мест. Гена был в кожаной куртке, брошенной на голое тело. Я знал то, чего мог не знать Гена: глубина в этом месте не превышала человеческого роста. И вот я наблюдал, как Гена, медленно и, кажется, испытывая удовольствие от переживаемого приключения, стал погружаться в воду. И когда вода дошла ему почти по горло, лицо его было озарено вот той самой улыбкой...

Эта неизменная улыбка Шпаликова была также свойством авторской речи.

Чаще всего это была ироническая улыбка. Ирония, как и самоирония, была усвоена нашим поколением как защитная, можно сказать, гигиеническая реакция на ту замешанную на идеологии фальшь, которой была пронизана вся жизнь. Иногда эта ирония была горькой.

Однажды Гена принес рассказ про то, как мы, его друзья, провожаем его в последний путь. Начинался он с объявления в траурной рамке, помещенного во вгиковской газете “Путь к экрану”...

Видимо, в то же время были написаны стихи:

Ах, утону ли в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе, —
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

<...>

Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости-прощай, Центральный комитет,
А гимна надо мною не сыграют...

Туда же, в эту вгиковскую газету, Гена и я написали — в порядке отчета о занятиях по марксизму-ленинизму (таково было неотменяемое задание нашего педагога Ивана Семеновича Пудова — про которого во ВГИКе говорили: “Иван Семеныч издавна носил в мозгах кусок газеты — для агитации дана ему была газета эта”) — заметку о “происках” так называемых югославских ревизионистов. И. С. Пудов обратился с этим заданием ко мне, но я ответил, что смогу взяться за него только в соавторстве со Шпаликовым. То же самое, не сговариваясь, Шпаликов сказал ему про меня. Не помню, была ли напечатана эта заметка с заголовком, в котором мы перепарафразировали строку из Пастернака: “Не время птицам петь”*... Но помню — чтобы “творчески” подойти к заданию, мы поставили цель: избежать хотя бы единого живого слова, а оперировать только газетными штампами.

Майя Туровская призналась как-то: “Нашей задачей было не писать на советском языке”. Она приводит рассказ Карела Чапека, персонаж которого мыслит исключительно штампами: “знамя — алое”, “дуб — могучий” и т. д. Задачей критика было избежать расхожих выражений, которыми пестрели страницы советской прессы. Мы же со Шпаликовым поставили себе задачу, по-моему, не менее сложную, которая походила на трассу слалома: не употребить ни единого выражения из нормальной человеческой речи. Эту маску мы отрабатывали честно, по всем законам клоунады.

Впоследствии, думая о сценарии с лирическим героем по имени Хоть бы хны, мы собирались действовать по этому же принципу: материализовать в кадре устойчивые идеологические клише, вроде “лить воду на мельницу империализма”, “чужими руками жар загребать” и т. д.

* У Пастернака: “Не время ль птицам петь” — цитата из стихотворения “Ты в ветре, веткой пробуящем...” (Примеч. ред.)

Словесная игра увлекала нас. Однажды Гена получил задание — записать в виде режиссерского сценария эпизод вечеринки. Он обратился за помощью ко мне. Я как мог выполнил это задание, ввернув туда и что-то от себя. Например, один персонаж говорил, обращаясь к герою: “Ну и дуб же ты...” А влюбленная в героя девушка смотрит на него, и этот взгляд ложится на доносящуюся из соседней комнаты песню: “Кабы мне, рябине, к дубу перебраться...” Гене почему-то очень понравилась моя незатейливая выдумка, и он, получив за работу “отлично”, тут же поделился со мной этой радостью.

Гена вообще обожал немедленно делиться тем, что его волновало. Что он придумал, или написал, или прочитал. Однажды он позвонил мне в коммунальную квартиру среди ночи и сбивчивым от волнения голосом заговорил: “Слушай, я только что написал стихи. По-моему, гениальные”. И стал читать:

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И грустно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

— Стихи гениальные, — подтвердил я.

В то время нам было по 17–18 лет, многого из классики мы прочитать еще не успели. Гена прочел Тютчева раньше меня. Но поразительным в этой истории было то, что я, уже не раз слышавший из его уст стихи, ничуть не удивился вероятности того, что и только что услышанное мною было сочинено Геной. Это комплимент не столько ему, сколько Тютчеву: такой остроте зрения, такой высокой образности и свежести языка мог позавидовать любой современный поэт.

Годы нашей учебы были отмечены бурными событиями как в международной, так и во внутрисоюзной жизни, не говоря про жизнь институтскую.

Фото Б. Пастернака, подаренное Г. Шпаликовым
А. Хряновскому с надписью на обороте.



К первой относятся прежде всего события в Венгрии. Наши власти закручивали гайки, слегка развинченные во время “оттепели”. Тогда в ходу был такой каламбур: “Мы закурили трубку мира, когда зарыли труп кумира”. Закрыли вгиковский журнал, в котором мы собирались в неформальном ракурсе освещать студенческую жизнь и все происходящее вокруг. В редколлегию журнала входили: Наум Клейман, мы с Геной, Коля Немоляев и Миша Колесников с операторского факультета, а также Алик Кафаров. Последнего, говорят, куда-то вызывали, после чего он исчез из института. Думаю, что моя фамилия в числе организаторов журнала также была взята на заметку, — именно этим я объясняю последовавшее вскоре исключение меня из института за... чтение книги Гоголя “Выбранные места из переписки с друзьями”, взятой из вгиковской библиотеки, на уроке военного дела.

Исчез на несколько дней и Гена. Вернувшись, он заявил, что при содействии дяди, занимавшего высокий пост в штабе Минобороны, он оказался в “горячей точке” в Будапеште, куда он якобы летал на военном самолете. И очень подробно рассказывал о драматических событиях на улицах венгерской столицы.

Говорил ли Гена правду — понять было невозможно. Более того, я уверен, что ему самому порой трудно было отличить собственный вымысел от правды. Поэтому мы так и не смогли достоверно узнать, был ли он в тот раз в Венгрии и был ли, как он утверждал позже, в Конго. Тогда вся страна говорила о злодейском убийстве конголезского лидера Патриса Лумумбы, а скорый на выдумку и при этом весьма циничный народ сложил стишок: “Был бы ум бы у Лумумбы, был бы Чомбе — ни при чем бы”.

Одно время друзья Гены уверовали в то, что ему удалось познакомиться с Пастернаком, чьи стихи из романа и сам роман были тогда нами читаемы (стихи в журнале, роман — в списках) и боготворимы. Гена показывал фотографию Пастернака с надписью, сделанной на оборотной стороне снимка почерком, казавшимся до боли знакомым: “Дорогому Гене на память. Б. Л.”

Усомнились мы в подлинности Гениной дружбы с Пастернаком лишь тогда, когда в следующий раз он с гордостью показывал фотографию Хемингуэя с надписью по-русски все тем же почерком: “Дорогому Гене на память”...

Комсомольская,

жизнь

ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШУЮ ПЬЕСУ

Еще совсем недавно многие во ВГИКе не верили в идею создания студенческого театра. Театр — дело сложное, связанное с большими трудностями. Поэтому многие считали, что оргкомитет театра, созданный комитетом ВЛКСМ, — пустая затея. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что в конкурсе на лучшую пьесу для театра приняли участие всего 4 человека. Б. Никитин представил пьесу «Аня, ты не должна умереть!», Г. Шпаликов — «Гражданин Фиолетовой республики», Ф. Вибе и В. Усанов — «Мы защищаем диплом».

Премия присуждена студенту II курса сценарного факультета Г. Шпаликову за сатирическую пьесу-сказку под условным названием «Гражданин Фиолетовой республики». Постановку пьесы оргкомитет поручил студенту II курса режиссерского факультета А. Хржановскому.

Так как работа над пьесой займет много времени и не сможет охватить всех желающих работать в театре, решено к 1 Мая сделать небольшое сатирическое обозрение на студенческие темы.

Комитет ВЛКСМ,
оргкомитет театра.



Во ВГИКе практиковались встречи с известными мастерами кино. Чаще всего они проходили в комплекте с премьерным показом фильма. Вот и Григорий Васильевич Александров привез на суд молодых коллег свой “Русский сувенир”. Нынешнему читателю стоит напомнить, что Александров, увенчанный всевозможными наградами, включая многочисленные Сталинские премии, входил в число всего лишь нескольких “столпов” кинематографа, авторитет которых считался непререкаемым. После просмотра состоялось обсуждение. Кто-то робко хвалил “новое достижение” маститого режиссера, кто-то мямлил что-то маловразумительное.

Но вот на трибуну стремительной походкой вышел Шпаликов. Его речь была краткой, она состояла из одной-двух фраз. Примерно таких: “По-моему, такое кино рассчитано только на дураков. И вообще, время конъюнктуры в искусстве закончилось. Сегодня делать такое кино стыдно”.

И так же стремительно сошел с трибуны.

На трибуну поднялся Александров. Он мог бы ответить юному коллеге словами Расплюева из пьесы “Смерть Тарелкина”: “Врешь, купец Попугайчиков! Не кончилось наше время!” — и был бы прав.

Но, будучи в жизни человеком не столь прямолинейным, он пустился в пространные демагогические оправдания. И только в тот момент, когда кто-то в зале попытался продолжить с ним спор репликой с места, вдруг стукнул кулаком по трибуне и — не вскрикнул, а как-то пронзительно, как паровозный гудок, взвизгнул: “Не перебивать меня!..”

Однажды во ВГИКе был объявлен конкурс на лучшую пьесу. Победителю полагалась денежная премия и средства для постановки пьесы на сцене студенческого театра. Пьеса появилась буквально через несколько дней. Гена вручил мне рукопись, переплетенную в плотную обложку из синего коленкора. На первой странице было написано: “Гражданин Фиолетовой республики”. Достойных конкурентов у Шпаликова не нашлось. Передавая мне пьесу, он объявил, что ставить ее должен я — таково условие победителя конкурса, которое он согласовал с оргкомитетом.

Г. Шпаликов в бане.



Я приступил к репетициям со студентами младшего курса, где мастером был Г. Козинцев. Автором эскизов декораций был В. Левенталь. Но вскоре выяснилось, что никто и ничем обеспечивать нас не собирается. Видимо, устроители конкурса очень надеялись, что желающих в нем участвовать попросту не найдется.

Я выступил на институтском собрании и произнес слова, которые Гена потом повторял не один год: “Нехорошо получается, — сказал я, обращаясь к руководству, — драматургу обещали деньги, а денег не платят...” Слово “драматург” применительно к себе Гена явно не ожидал услышать. Сдавая экзамены по истории русской и зарубежной литературы, он усвоил, что драматургами были Гоголь, Грибоедов, Островский, Шекспир... На худой конец, братья Тур. Но чтобы он, Шпаликов, был удостоен этого звания публично — это, видимо, не укладывалось в его сознании.

Сколько раз потом в ответ на мой вопрос, как его дела, он отвечал: “Драматургу обещали деньги, а денег не платят...”

В пьесе было много смешного, вроде истории с главным героем — наследным принцем, который страдал водобоязнью. Принц избегал воды и поэтому никогда не мылся. Но однажды придворным все же удалось затащить его в бассейн... Кстати, одним из любимых занятий Геннадия Федоровича было посещение Сандуновских бань с купанием в бассейне. Приходилось мне с ним плавать и среди зимы в парах морозного воздуха над подогретой водой в открытом бассейне “Москва” — на месте разрушенного большевиками в свое время храма Христа Спасителя и не построенного ими же, хотя и спроектированного на этом месте Дворца Советов.

Так вот, искупавшись в бассейне, герой пьесы “Гражданин Филетовой республики”, он же принц, отдает приказ: “Казнить всех придворных!” — “Помилуйте, но за что?” — восклицают придворные. — “Почему мне раньше не сказали, как я люблю мыться!”

Была в пьесе и песня. Она всем нравилась, особенно эти ее слова:

Воют жалобно собаки
В потухающую даль.
Я пришел к вам в черном фраке,
Элегантный, как рояль...

Кончалась песня словами:

...Выстрел, дым, сверкнуло пламя...
Ничего уже не жаль...
Он лежал вперед ногами,
Эlegantный, как рояль.

Оказавшись на практике в Ленинграде, я взял на себя инициативу и отнес единственный (рукописный) экземпляр пьесы Николаю Павловичу Акимову, художественному руководителю Театра комедии. Николай Павлович сказал, что прочтет пьесу, если ему предоставят печатный экземпляр. Своими подчеркнуто сдержанными, я бы сказал, робкими жестами и отчасти внешностью добрейший Николай Павлович почему-то вызвал у меня ассоциацию (которую он явно не заслуживал) с гоголевским Башмачкиным. Я написал об этом Гене, а он, вместо того чтобы укорять меня, дурака, за то, что не отличил сверхделикатности от робости, очень воодушевился моим сравнением. И когда речь заходила о Питере, Гена спрашивал: “Ну, как там наш Башмачкин поживает?”

Гена вообще любил всем людям, встречавшимся на его путях, давать прозвища. Так вслед за Башмачкиным в Гениных речениях появились Торопыжка (режиссер мультфильма “Топтыжка” Ф. С. Хитрук), Карась (главный редактор “Союзмультфильма” Н. И. Родионов, предлагавший экранизировать сказку Салтыкова-Щедрина “Карась-идеалист”)...

А если он спрашивал, как поживает Адольф, я знал, что речь идет о композиторе Альфреде Шнитке.

Главное управление по кинематографии — Главк в Гнездиновском переулке — он называл “Главочка”. Там он специально для меня — в зале никого не было, кроме нас двоих, — устроил просмотр своего фильма “Долгая счастливая жизнь”.

Способности Генины как драматурга не только кинематографического, но и театрального подтвердились еще раз уже в семидесятые годы. Вместе со своим вгиковским учителем Иосифом Михайловичем Маневичем Гена написал пьесу о декабристах, которую в Театре Советской армии ставил известный режиссер Леонид Хейфец. Кстати, темой декабристов Гена был увлечен до конца жизни. Он

Трагедия

Рио-де-Жанейро
республики.

своего и все в их отчаянии
смысла

Тенерифе Инженеры

в дурные дни
где

всеобщее отчаяние.

март 1918 год.

Здесь и на обороте: заглавная и последняя
страницы белой рукописи пьесы
"Гражданин Фиолетовой республики".

Товарищ, если ты
найдешь эту рукопись
в траве, в метро
или на улице —
прости, переслать
по адресу.

г. Москва
ул. Горького 43. кв 110.

Г. Игнатьеву.

и для кино пытался написать на этом материале сценарий, который должен был ставить С. Ф. Бондарчук. И я храню свидетельство этого Гениного увлечения — подаренную им книжку “Роман Каховского”.

Пьесу Шпаликова и Маневича, а потом и спектакль цензура театральная и военная просила переделать из-за “неубедительности финала”.

Гена жаловался на притеснения цензуры и не знал, чем кончить пьесу. Но однажды позвонил, сказал, что надо срочно увидеться...

Расторопные краеведы обычно заботятся о том, чтобы составить карту городских маршрутов того или иного знаменитого писателя или его героев. Так появились “булгаковская Москва”, “Петербург Достоевского”, карта мест в Дублине, отмеченных перемещениями героев “Улисса”, и т. д. Хорошо бы, я думаю, создать карту тех мест, где бывал Шпаликов или которые посещал вместе с друзьями. Подобный свод пробовал составить и я. Конечно, в перечне таких мест окажется много совпадений. Иные места, вроде ресторана ВТО на углу Пушкинской площади и бывшей улицы Горького, прекратили свое существование в прежнем качестве. Но от этого география не перестала существовать.

И опытные следопыты, проходя этим маршрутом мимо дома, где

Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл... —

мимо Патриарших прудов, по Арбату, вспомнят о замечательном нашем современнике, многие годы прошагавшем по Москве...

Кстати, в знаменитой песне “Я шагаю по Москве” был, да куда-то “сплыл”, исчез из последней редакции куплет, начинавшийся цитатой из стихотворения другого великого москвича:

Москва, Москва, люблю тебя как сын...

...Помню мизансцену, характерную для таких случаев: Гена открывает бутылку зубами... Он всегда это делал, надо ли было потрудиться над пластмассовой винной пробкой, металлической во-

дочной с хвостиком, за который надо было ухватиться и дернуть (пробка походила на бескозырку с ленточкой; “А сыну отдай бескозырку...” — пел в это время напарник со стаканом наготове), или рифленой пивной.

Разливая, Гена обратился ко мне: “Слушай, как тебе такой конец: на опустевшую сцену выходит Герцен. Он сладко потягивается и отряхивает с сюртука и панталон перья и пух от перины. Не прекращая этого занятия, он подходит к колоколу, который висит сбоку от кулисы, и ударяет в него... И тут из кулис, из дверей в зале, отовсюду появляются мужики в армяках, мастеровые в поддевках, бабы в сарафанах и фартуках с народными узорами... Словом, ‘декабристы разбудили Герцена, а Герцен разбудил народ’ — эти ленинские слова знает каждый школьник. Так что смысл этой сцены будет ясен каждому”. — “Особенно будет рад цензурный комитет”, — бестактно съязвил я.

(Этим образом из ленинской статьи о Герцене воспользовался также другой поэт. В стихотворении “Памяти Герцена (Баллада об историческом недосыпе)” у Наума Коржавина мы читаем:

...Все обойтись могло с теченьем времени.

В порядок мог втянуться русский быт.

Какая сука разбудила Ленина?

Кому мешало, что ребенок спит?..

<...>

Ах, декабристы, не будите Герцена!..

Нельзя в России никого будить.)

Дело кончилось тем, что спектакль сняли. Но образ великого революционного демократа, смахивающего спросонок пух с бороды, возникал в моем сознании не раз, когда я слышал какое-либо высказывание пролетарского вождя, приводимое как неопровержимый аргумент и истина в последней инстанции...

Но вернемся снова во ВГИК.

Гена — всеобщий любимец. У каждого из нас были свои друзья. Но как-то так случилось, что большинство из них были нашими со Шпаликовым общими друзьями.

Он был, без сомнения, самым притягательным среди людей нашего круга. А круг этот можно было бы описать словами любимого Шпаликовым, как и многими из нас, Ю. Н. Тынянова, писавшего о декабристах: “Люди двадцатых годов с их прыгающей походкой...”

Шпаликов был не просто свободным человеком. Сказать, что он был самым свободным среди нас, было бы неправильно: он был среди нас единственным до конца свободным человеком. Поэтому в нем легко соединялись противоположные начала: грусть и радость, серьезное и смешное. Шутливое до глупости (“Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата” — А. С. Пушкин) и мудрое.

Он и в творчестве породнил эти начала:

Как блеск звезды, как дым костра,
Вошла ты в русский стих беспечно,
Шутя, играя и навечно,
О легкость, мудрости сестра.

313

Недаром Шпаликова многие сравнивали с Моцартом.

Имя Гены было как бы паролем в отношениях с друзьями и для опознавания новых знакомых. Помню, однажды, мы повстречались в метро, на эскалаторе, с Мишей Ромадиным. Один из нас спускался, а другой поднимался вверх. И каждый мог успеть выговорить — прокричать лишь одну фразу. И вот этой фразой было не “Как живешь?”, “Как дела?”, “Ну как тебе ‘Спартак’?”, а “Как Генка? Генку давно видел?” — “А ты?”

Он хотел приблизить к себе не только друзей, но и незнакомых ему читателей и зрителей.

“Я выдумываю не для одного себя, и мир, созданный мною, рассчитан на людей. Я чувствую необходимость говорить с людьми серьезно и близко”, — записывает он в дневнике в 57 году, еще учась во ВГИКе.

...Он ходит в широком пальто из прорезиненной материи — из такой шьют куртки для летчиков. Кепка набекрень — и портрет Альбера Прежана из фильма Рене Клера “Под крышами Парижа” готов. Мы увлекаемся французским кино: Рене Клер, Жан Ренуар, Робер Брессон, Марсель Карне... И, конечно, Жан Виго.

“Аталанта” — один из самых любимых наших фильмов, таинственную магию которого никто передать не в состоянии. Этому фильму и барже под этим названием передал зримый привет Гена Шпаликов в “Долгой счастливой жизни”. А мне подарил фотографию этой баржи с характерной надписью: “Шпаликов, Виго дарят”.

В огромных карманах Генкиного пальто всегда были книги. Читал он много и быстро. Классику и современную литературу. И то, что выходило тогда из книг писателей, чьи произведения были запрещены, а жизни были так или иначе загублены при Сталине.

— Помнишь, как у Бабеля? — мог вставить Гена посреди разговора. — “Мир представлялся ему цветущим лугом, по которому гуляют лошади и прекрасные женщины...” Или это: “В комнату вошла горничная, в глазах которой окаменело распутство...” А у Олеша, кажется, так: “Пятнистый платан похож на шкуру оленя, остановившегося посреди солнечной поляны...”

Позже в “Новом мире” появился роман В. Катаева “Святой колодец”. Вещь поражала свежестью и артистизмом. Прочтя роман, Гена захотел написать Катаеву письмо. Не знаю, удалось ли ему исполнить это желание...

Мы горячо интересовались не только тем, что кто из нас пишет, но и тем, кто что читает. У меня с Геной — и, думаю, не только у нас — был, кроме Пушкина, еще один любимый автор — Николай Васильевич Гоголь. Я полюбил этого писателя еще в школьные годы, тогда же купил у букиниста четырехтомное собрание материалов к биографии Гоголя; по его повести “Портрет” писал вступительную работу во ВГИК...

И вот при очередной встрече рассказываю Гене историю, вычитанную у Вересаева в его книге “Гоголь в жизни”, о том, как Гоголь собирался в заграничное путешествие. Нанять экипаж ему было не по карману, и он решил присоединиться к еще незнакомому компаньону, собирающемуся путешествовать в том же направлении. С этой целью Николай Васильевич составил объявление: мол, такой-то готов нанять экипаж на паях с кем-то, при этом обязуется не докучать попутчику разговорами и что-то в этом роде. Если бы вы видели, как преобразилось лицо Гены при этих моих словах. В этот момент он просто перевоплотился в Николая Васи-

льевича и только переспрашивал меня: “Как-как он написал? Обязуюсь хранить молчание во все время пути? Не произнести ни слова? Так и написал?..”

И еще не раз после этого я видел, как выражение Гениного лица меняется, оно приобретает какую-то веселую сосредоточенность, и я понимал, что Гена вновь проигрывает про себя ситуацию с отъездом Гоголя за границу, приговаривая: “Обязуюсь не разговаривать во все время путешествия...”



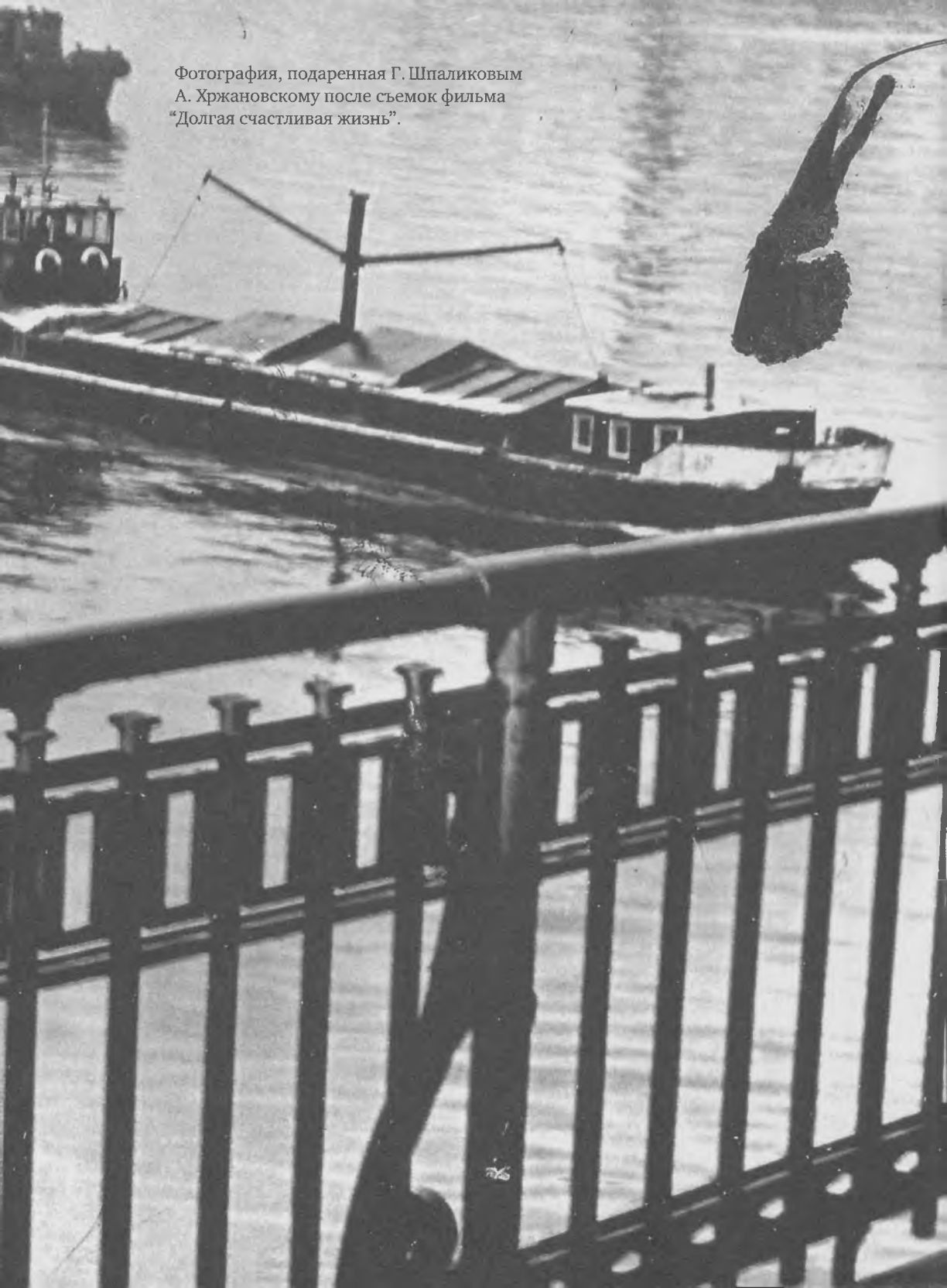
Он любил стариков, знал, за что их уважает, и, как младший брат, ценил их вклад в дело, которому был призван служить. И это не только из уважения к старости. За возрастом всегда стоит судьба. А к ней, как к божественному стержню человеческой жизни, Гена относился с таким же трепетом, как к искусству и его великим творцам.

Друзей он не выбирал по данным родословной. Но то, что кинооператор Олег Арцеулов — потомок одного из славных родоначальников нашей авиации, режиссер Юлий Файт — сын знаменитого актера А. А. Файта, а Василий Ливанов — одного из корифеев МХАТа, к тому же известного своей дружбой с Пастернаком, придавало Гене определенное воодушевление, и он не скрывал этого. Он хотел, он спешил как можно больше узнать о том, “как прорастают эти крылья”. Как будто слава предков была неким покровом и оберегом, сохранявшим наше существование.

Когда меня, вгиковского практиканта, знакомили со студией “Ленфильм”, я встретил в одном из павильонов милую девушку. Она работала в цехе комбинированных съемок. Меня предупредили, что она — праправнучка Пушкина. Тонкий профиль, выющиеся волосы, разрез глаз, живой взгляд подтверждали эти сведения высоким уровнем сходства.

Приехав в Москву, я рассказал Гене об этой встрече. Буквально на следующий день общие друзья одолевали меня вопросом: правда ли, что я женюсь на правнучке Пушкина. Уж очень Шпаликову этого хотелось.

Фотография, подаренная Г. Шпаликовым
А. Хржановскому после съемок фильма
"Долгая счастливая жизнь".





Mama
Rita
Rita



Гена всегда был открыт к новым художественным впечатлениям. Но однажды, как я теперь понимаю, я переоценил эту его способность, пригласив его в театр послушать оперу Бриттена “Поворот винта” в исполнении английских артистов.

Гена крепился первые минут пятнадцать, затем тихо, но твердо произнес, наклонившись ко мне: “Ты слушай дальше, а я пойду пока в буфет...” Я был поставлен перед выбором между интересом к музыке одного из крупнейших композиторов XX века и желанием последовать за другом. Но тут, как говорят спортивные комментаторы, “победила дружба”.

По дороге из театра я пытался кое-что рассказать Гене о современных композиторах, назвал в числе других имя друга Шостаковича — Вайнберга и между прочим заметил, что у него прелестная дочка, которую я регулярно встречаю в концертах квартета Бородина.

— Так ты с ней знаком?

— Нет, но с нею знаком мой брат. Он играет музыку Вайнберга и дружит с его семейством. Между прочим, Вайнберг женат на дочери Михоэlsa, так что Виктоша, их дочь, является его внучкой.

— Ты должен познакомиться с ней немедленно и познакомить с ней меня. Звони ей немедленно (Гена очень любил это слово). Мы должны отпраздновать это событие в ВТО (разговор происходил как раз вблизи Пушкинской площади). А если она тебе нравится, почему бы тебе не жениться на ней. Я готов быть посаженным отцом на вашей свадьбе.

— Но я даже не знаю ее телефона.

— Звони брату, немедленно...

Не помню, то ли брата не оказалось дома, то ли Виктоши, но в тот вечер так и не состоялось мое, а заодно и Генино знакомство с внучкой великого артиста, убитого в 1948 году агентами МГБ.

В Болшеве он повстречался с С. А. Ермолинским, с которым он был знаком раньше. Слушал его рассказы о Булгакове и, захлебываясь от восторга, пересказывал мне и эти рассказы, и свои впечатления от знакомства с “замечательным стариком”.

В том же Болшеве Шпаликова поселили однажды в пристройке к флигелю, где когда-то жил Л. В. Кулешов. Гена вернулся оттуда с такими стихами:

Живу в скворешне Кулешова.
Привет тебе. Спокойно спи
И брата, возрастом меньшого,
Дождем и снегом окропи.

Много лет спустя я прочитал эти стихи А. С. Хохловой, она была тронута и взволнована, просила меня записать их ей на память.

Когда, находясь в гастрольной поездке в Амстердаме, умер знаменитый скрипач Д. Ф. Ойстрах, Гена откликнулся стихотворением, вот его начало:

Амстердам, Амстердам
Черная аорта,
Вам живого не отдам,
Забирайте мертвого...

На смерть Пикассо Генин отклик был таков:

Умер Пабло Пикассо —
Жив еще Буденный,
И Сикейроса лассо
В небе полуденном.*

Нет, слава — своя ли, чужая — не была для него предметом фетиша. Но обаяние славы на него действовало. Помню, как мы встретились в день похорон А. А. Яблочкиной и Гена все переживал, что мы остались в стороне от этого события. Мемуары были любимым его чтением: он любил узнавать о ком-либо по воспоминаниям. Представляю себе, как бы он веселился, держа в руках эту книгу, листая эти страницы.

* После смерти Буденного в октябре 73 года Шпаликов внес поправку:
Умер Пабло Пикассо / И Семен Буденный, / Но Сикейроса лассо /
В небе полуденном, (Примеч. сост.)

■ ■ ■

У Гены был изумительно развитый вкус к деталям. Это видно по всем фильмам, снятым по его сценариям, а также дневникам.

Описывая свое впечатление от “Фиесты”, Шпаликов говорил, что в одном месте от деталей у него закружилась голова. Хемингуэя он назвал писателем своей жизни. “У меня появился писатель, коего я всегда хотел бы иметь на столе, в чемодане, всюду”, — писал он.

Но то, что сближало Шпаликова с Хемингуэем, было вовсе не подражанием, а собственной невероятной зоркостью и наблюдательностью. Вот пример:

“...На Патриарших прудах было тихо, и окна были по-утреннему раскрыты, скамейки перевернуты, и пруд был желтый, и по воде плавали ветки, листья и газета...” Вот эта газета на водной поверхности стоит, на мой взгляд, многих деталей в прозе Хемингуэя, а также бутылочного горлышка, блестящего в лунном свете у Тригорина в чеховской “Чайке”.

И еще одно качество, отмеченное Шпаликовым у Хемингуэя, с полным правом можно отнести к нашему автору: “Очарование непонятное, как опиум...”

Это тот непередаваемый воздух, которым надышался Шпаликов, читая Пушкина, Гоголя, Чехова, Бунина. “Жизнь Арсеньева” он вообще считал лучшим сценарием.

Отдельные фрагменты дневников Шпаликова вы читаете как зарисовку с натуры — настолько убедительны и точны все обстоятельства и детали. Но вот возникают вводные слова, вроде “допустим”, “или, лучше”, “пусть”, “или так”... И вы понимаете, что автор не просто фиксирует подмеченное или выдуманное, но сочиняет “на ходу”, варьируя возможное поведение персонажей и повороты сюжета, — сочиняет сценарий.

Однажды на последнем курсе института Гена предложил мне снять фильм по его сценарию, который назывался “Как убить время”. Сценарий был короткометражный, и я мог бы снять по нему дипломный фильм. Однако всем своим строем он тянул на полный метр, что было исключено в случае дипломной работы. Я с сожалением вынужден был отказаться от этого предложения.

Через некоторое время на экраны вышел фильм, в основе которого лежал этот замысел. Режиссером фильма был Гия Данелия, и назывался он “Я шагаю по Москве”. Правда, из него выпал эпизод, с которого начинался сценарий короткометражки. А начало это мне как раз нравилось больше всего и запомнилось как образцовая работа с деталью.

Этой деталью была рыба чешуя. Обыкновенная чешуя воблы, которая вместе с частями скелета остается после того, как эту воблу съедают — чаще всего как закуску к пиву. А чистить ее иногда начинают заблаговременно, когда пивная фиеста только еще маячит в перспективе.

Так вот, сценарий начинался с того, что на дороге лежала рыба чешуя. Это привлекло внимание молодого человека, будущего героя фильма. Через несколько шагов он обнаруживал новую горстку чешуи на асфальте. И еще через несколько шагов... И мы понимали, вместе с парнем, который вышел из дома в воскресный день, толком не зная, куда он пойдет, куда денет себя в этот день, — понимали, что он идет по чьим-то следам. Так он доходил до киоска, возле которого люди пили пиво, закусывая воблой. Среди этих людей он вычислил того, по чьим следам он пришел. Слово за слово, молодые люди уговариваются провести день вместе...

Еще учась во ВГИКе, Гена написал несколько сценариев, которые сделали его знаменитым. После хуциевской “Заставы Ильича” все захотели с ним работать — и молодые, и мэтры.

Магия дарования Шпаликова, умение расположить к себе, очаровать других людей, не предпринимая для этого никаких усилий, были такими, что уже в самом начале своего творческого пути в кратчайший срок он сблизился с самыми яркими представителями из мира кино и литературы. Среди них не было, кажется, никого, кто прошел бы мимо Шпаликова, кого бы не заинтересовала, не притягивала к себе его фигура, с кем бы он не дружил, не работал, не строил совместных творческих планов, не обсуждал свои и чужие работы. Причем это касалось не только сверстников и людей чуть постарше, но и маститых мастеров: М. Ромм и Ю. Райзман, Г. Козинцев и М. Хуциев, Г. Данелия и А. Тарковский, П. Тодоровский, Л. Шепитько, Э. Климов, С. Бондарчук, Б. Окуджава, А. Володин, В. Высоцкий, З. Гердт, Б. Ливанов, С. Урусевский,

Г. ШАЛИКОВ.

~~Виктор Шаликов~~

„Свободное время“
~~СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ~~

~~сценарий~~

(Заявка на сценарий короткометражного фильма)

Фрагменты авторского экземпляра
сценария „Как убить время“.

- 2 -

ное время двое хороших ребят.

Сценарий, конечно, не дает ответа, как надо жить, чтобы так не получалось: каждый человек в конце-концов находит всему этому свое решение, но уже точно, что в самом скором будущем у людей появится больше свободного времени и нельзя допустить, чтобы это время?

1, 2,
3, 4, 5
Итак, двое ребят бродят летом в воскресенье по Москве. Они ещё незнакомы и вначале мы видим только одного из них. ^{Толя} Он идет по середине тихого, пустого, летнего переулочка, одетый в китайскую рубашку на выпуск, в сандалях на босу ногу, светлогорловый — волосы подстрижены совсем коротко.

Б. Ахмадулина, С. Соловьев, А. Митта, С. Ермолинский, В. Шкловский, В. Венгеров, М. Швейцер — все, каждый по-своему, благоволили Г. Шпаликову, восхищаясь его талантом.

В шестидесятые годы он был любимцем всей Москвы. Куда бы вы ни пришли в компании Шпаликова, где бы ни оказались, к нему притекали, подходили, подсакивали по одиночке, группами и целыми делегациями друзья, поклонники, хорошие знакомые и малознакомые люди для того, чтобы поприветствовать его, объясниться в любви, затеять ничего не значащий разговор, а Гена растерянно улыбался своей смущенной улыбкой и не пренебрегал никем из покушавшихся на его внимание. И навсегда осталось ощущение невероятного парадокса: как такого контактного, публичного человека постигло такое страшное чувство непоправимого одиночества, вот уж воистину публичного одиночества, которое подтолкнуло его к роковому поступку.

...Гена сдружился с Тарковским. После встреч с Андреем Гена всегда бывал по-особому возбужден. “Знаешь, о чем мы говорили? Почему, когда космонавт возвращается из космоса, ему выстилают путь ковровой дорожкой, а когда художник делает открытие, совершает прорыв в искусстве, он, как правило, натывается на стену непонимания и неприятия? Да еще и люлей надают”. (Гена говорил без эвфемизмов.) И еще: “Мы пришли к такому выводу — им, то есть начальству, выгодно серое, посредственное кино. Такие фильмы для них просто май души, именины сердца — никто не выпрыгивает за планку. Чем фильм хуже, тем он лучше для них”.

Со слов свидетелей первой встречи Андрея Тарковского с Федерико Феллини я знаю, что первый вопрос, который задал Феллини Андрею, был:

- Почему ты захотел работать с Тонино Гуэррой?
- Прежде всего потому, что он — поэт, — ответил Андрей.

На что Феллини заметил:

- Я должен был первым сказать это.

И о Шпаликове надо сказать, что он — прирожденный поэт, — не потому, что он писал стихи, а по тому, как он воспринимал и описывал этот мир. По счастью, режиссеры, с которыми сотрудничал Шпаликов, за это его и ценили.

Г. Шпаликов, М. Ромадин, А. Тарковский.





Шпаликов смотрит на мир — будь то природа или человеческие характеры — глазами поэта. Это сможет почувствовать каждый, кто станет читать шпаликовскую прозу — его дневники, рассказы, письма к друзьям. Что уж тут говорить о стихах!..

Мы мечтали о поэтическом кинематографе, “волшебном кино”, как называл его Гена... При этом он сознавал, что “хорошо, когда волшебное возникает из будничных обстоятельств и слагаемые его просты”.

В нашем фильме про Хоть-бы-хны должен был действовать герой — воплощенный символ красоты, таланта и бессмертия. “Я знаю такого человека. Мы с ним не раз вместе выпивали. Это Валера Воронин”, — заявил Гена.

Кто же не знал тогда легендарного полузащитника “Торпедо” и сборной Советского Союза по футболу? Мы с Геней ходили иногда на футбол, прихватив с собой флягу. Ходили, чтобы разделить всеобщее восхищение молодым форвардом киевлян Бышовцом, проверить, все так же ли мастерски и неотразимо для вратарей ис-



Полузащитник футбольной команды “Торпедо” и сборной Советского Союза Валерий Воронин.

Г. Шпаликов на трибуне стадиона “Динамо.”
Фото © Музей кино



полняет Валерий Лобановский угловые удары под названием “сухой лист” и все так же ли хорош на выходах Лев Яшин.

Гена любил Хемингуэя не только как писателя. Он любил его пристрастие ко многим видам спорта и к спортсменам. Любил его манеру одеваться — сам носил порой свитер крупной вязки. Любил (а кто из нас в свое время не любил), не напиваясь, выпить чего-нибудь из репертуара Хэма. “Дос кальвадос”, — говорили мы небрежно бармену на первом этаже гостиницы “Москва” и получали две рюмки анисовой водки. А коктейль “Маяк” в “Пекине” — рыжий коньяк, сырой желток и зеленый “Бенедиктин” на доньшке? Его можно было выпить немерено, с результатом, описанным Пастернаком в “Вакханалии” — эту поэму мы знали тогда наизусть:

Уж над ним межеумки
Проливают слезу —
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.



А чешский пивной бар “Пильзень” в ЦПКО? Могу засвидетельствовать, что выпивка для Шпаликова отнюдь не сводилась к желанию напиться. Все, что “волновало пылкий ум”, обсуждалось во время наших встреч.

Все, вспоминающие Гену, и я здесь не составляю исключения, пишут о его пьянстве. Но никто не говорит о том, что этому пьянству сопутствовали интереснейшие разговоры, и, я уверен, часть из них, если не в виде цитат, то в виде каких-то сюжетов, тем, настроений, перетекала потом в его литературное творчество.

Недаром Гена так любил и даже однажды процитировал эти пушкинские стихи:

Приди, огнем волшебного рассказа
Старинные преданья оживи.
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви...

И если не о Кавказе и Шиллере (их в те времена в разговорах наших сменили другие “горячие точки” и другие имена, вроде Хемингуэя, Стейнбека, Дос Пассоса) — то уж о славе и о любви мы говорили точно...

Если компания была хорошая, и повод был подходящий, и возможность его отметить, то Гена был не против, чтобы все происходило, как он написал однажды, “на уровне кинофильма про богатых, но никому не кабельных людей”. Порой у Гены возникало желание присоединить к компании кого-нибудь из любимых друзей. Чаще всего этим “кем-нибудь” бывала Наташа Рязанцева, которую Гена вызванивал и назначал ей свидание за нашим столом. Он любил ее и после того, как они расстались.

Однажды, пригласив ее в “Прагу” и едва дождавшись, когда она займет место за столом, с ходу начал: “Вот послушай — Андрей написал стихи. По-моему, гениальные. Прочти, Андрей...”

Я отказывался — людей, кому я изредка читал написанное, можно было сосчитать по пальцам одной руки. Тогда Гена читал за меня то, что запомнил:

Проходят над дачами тучи,
Осеннее солнце топя,

И сад твой до срока окучен,
Но нет за калиткой тебя...

“Да, действительно, неплохо”, — гудела себе под нос Наташа, считая первую строфу и свою резолюцию достаточным поводом для того, чтобы выпить.

Наташе Гена посвятил такие стихи:

Наташа, ты не наша,
А все равно — моя.
Одна хлебалась каша,
Сидели без рубля...
Да и не в этом дело —
При чем же здесь рубли...
Я так же оробело
Люблю тебя. Любил...

Эти простые стихи, словно нашептанные на ухо любимой женщине, — стихи, в которых есть сплетение быта и лирики, горечь воспоминания и сердечное признание, — я считаю, как, впрочем, многие стихи Г. Шпаликова, настоящим шедевром.



А однажды по Гениному звонку на “точку” в ЦПКО прибыл гостивший тогда в Москве Виктор Платонович Некрасов. Знакомя нас, Гена рассказал Некрасову кое-что обо мне. “Вика” — представился мне автор легендарного романа “В окопах Сталинграда”. Заговорив о том, что их связывало, Шпаликов и Некрасов с такой нежностью вспоминали о Киеве, что мне, тогда еще не бывавшему в этом великом городе, ужасно захотелось увидеть Днепр, и Подол, и Владимирскую горку, и Андреевский спуск. А когда я впоследствии оказывался в Киеве или перечитывал булгаковские описания города в “Белой гвардии”, я непременно вспоминал столик на открытой веранде в ЦПКО, и Гену, и Вику с его спутницей, все пытавшейся накрыть рукой его стопку, но в итоге раньше всех выпивавшей

Здесь и далее: Г. Шпаликов играет в буриме.

дословно
заглавие
покрыть
уже

и ~~какая~~
не ветков, не тросточ
же и не заглав
а оскверненные тощот
и лишь уже
Пуриме и

дбе
 ау рео
 на на м

водкой
 вилкой
 волком
 выки
 белой
~~ракетой~~
 белой
 трахет

ире, е, и, и, и, и, и, и
 атак ие - вукит
~~кочев~~
 мне позцение 14,
 мне позцение 06
 и не завобо
 14 и не завобо 14
 кяч немыч
 фокон
 фамч

перу ахит,
перу ахит
но сфера бела
иеню шебон
оценю риней
агренуишии оше
денни
селъ и трахнф

свою. И разговоры о кино, о “Новом мире”. И о тогдашнем нашем вожде, любившем показывать “кузькину мать” всем, кто попадался под его горячую руку, начиная от канцлера Аденауэра и заканчивая сидевшими напротив меня Шпаликовым и Некрасовым.



Зная прекрасно цену своему таланту, Гена был лишен и тени зазнайства. Он смущался своей, как он считал, неотесанности, хотя на самом деле мог и выглядеть, и быть вполне куртуазным. Появляясь в нашем доме, он всегда торжественно целовал руку у мамы, не забывал сказать какие-то неформальные, идущие от сердца слова.

О степени его скромности, даже застенчивости говорит вот какое признание: “Я имел возможность, по времени и по возрасту, познакомиться с Б. Л. Пастернаком, с А. А. Ахматовой, но так не вышло, потому что никаких прав на общение не имел...” Что мог сделать такой человек в порядке компенсации за свою скромность? Оставалось одно: надписывать самому себе фотографии кумиров от их имени.



Помню, как еще в пятидесятые, вскоре после того, как мы познакомились с Геной, слышали его речь, его стихи, я прогуливался вместе с нашим общим другом по ночной Москве, по Пречистенке и ее переулкам (тогда она называлась “Кропоткинской”, а станция метро — одна из первых станций первой линии — называлась “Дворец Советов”), мы говорили о Гене, и мой спутник высказался в виде формулы, в которой заключалось и удивление (как такое могло случиться!), и восторг (но ведь случилось же!): “Суворовец, ушибленный Хемингуэем”. Говорю я это потому, что если Гена и подражал Хэму (как мы тогда небрежно называли его), то подражание это было не совсем осознанным, а, скорее, интуитивным и абсолютно органичным. И включало оно в себя следование не отдельным чертам внешности или привычкам, вроде свитера толстой

вязки под горло или пристрастия к алкоголю, но в такой же степени — любви к живописи. Подобием “Павильона для игры в мяч” в Париже, куда Хемингуэй ходил смотреть на голодный желудок Сезанна и импрессионистов, служил четвертый этаж ВГИКа, где находились мастерские художественного факультета.

Он имел какое-то врожденное чутье, вкус к искусству, великолепно разбирался в живописи, а друзья-художники любили его как своего.

Как бы Гена ни одевался, он всегда имел вид путешественника. В том смысле, что всегда был “на ходу”. Всегда — как бы проездом. И всегда — ниоткуда. “Трустен и весел вхожу я, художник, в твою мастерскую...” Я глядел на него всегда изумленно и восторженно, как глядел на людей, выдавших океанские волны с холмов Сан-Франциско или знакомых с Чаплином и Пикассо. Он всегда выглядел так, будто только что вернулся из мастерской великого художника. Казалось, ему были ведомы подлинно высокие жизненные и культурные ценности.

Помню, как-то у Гены в Черемушках появилась огромная фото-репродукция — боттичеллиевская “Флора”. Умелый фотограф разогнал отпечаток до размеров оригинала, наклеил на плотный картон и подарил Гене.

Гена считал, что улыбкой своей загадочной, да и вообще всем обликом она похожа на Инну Гулая. Именно так: она на Инну, а не Инна на нее.

Гена хотел написать стихотворение, посвященное обеим дамам, Флоре и Инне. Начинаться она должно было так:

Благодарю Вас, Сандро Боттичелли,
Что говорил со мной ежевечерне...

И судя по тому, какая вслед за этим воцарялась пауза, как неопределенно и бессрочно зависала в незавершенном жесте Генина рука, которой он всегда плавно отмерял ритм, когда читал стихи, — на продолжение сам автор не надеялся. Высказывание было самодостаточным и уже в силу этого абсолютно завершенным.

Женитьба на Инне Гулая и вскоре последовавшее рождение дочери Даши, переезд в новую квартиру в Черемушках привнесли

Флора. Фрагмент картины
"Весна" С. Боттичелли.



в жизнь Шпаликова не только новые радости, но и новые заботы. Если и прежде он был озабочен тем, как и где добыть денег на жизнь, то теперь эта озабоченность лишь усугубилась. “Волка ноги кормят”, — любил повторять Гена, мотаясь по студийным кабинетам и издательствам, выбивая очередной аванс. В долгах он был как в шелках. Причем не очень-то стремился из этих шелков выбирать-ся. Предпочитая порой либо о них не вспоминать, либо, пользуясь своим обаянием и артистической способностью к внушению (вот кто бы не дождался от Станиславского знаменитого “Не верю!”), годами водить за нос доверчивых кредиторов. Но обижаться на него было невозможно, как не обижаются в семье на любимое дитя...

Причиной такого отношения к деньгам и к долгам, я думаю, было Генино понимание временности наших материальных от-

Две фотографии Г. Шпаликова, сделанные в фотоателье на станции
Болшево: с И. Гулая, А. Хржановским и Е. Корниловой.



Андрей, все будет
Хорошо - любви не новее!

ношений: все мы должники, деньги — ничьи, чья-либо собственность на них — условность.

Вот к кому точно можно было отнести слова, приведенные А.С. Пушкиным в качестве эпиграфа к первой главе “Онегина”:
“...И жить торопится, и чувствовать спешит...”

Гена соответствовал этому определению во всем.

Дорога к дому Шпаликова в Черемушках пролегла через Остоженку — тогда Метростроевскую улицу. Однажды, ближе к ночи, Гена позвонил и просил меня выйти на угол Остоженки и Мансуровского переулка, где я жил, и передать ему деньги, которыми он мог бы расплатиться за такси.

В другой раз он таким же манером мне эти деньги возвращал: машина, в которой он ехал, притормаживала на мгновение, из руки в руку вкладывалась нужная сумма. В Генином исполнении это происходило в таком темпе, в каком уроженец Кавказа, всадник на лету ловит папаху или ковбой стреляет в подброшенное сомбре-

АНДРЕЙ
ХРЖАНОВСКИЙ

337



ро, и делалось прямо-таки с цирковым азартом и легкостью, четкостью в движениях.

Свидания эти были всегда неожиданными, почти таинственными, и было в этом что-то от желания казаться неуследимым, пустить жизнь — или смерть — по ложному следу.

Надо сказать, что желание согреть душу в дружеском застолье посещало нас порой в ситуациях, когда в карманах было абсолютно пусто. Но это обстоятельство приносило некий, я бы сказал, чисто художественный азарт в наши попытки раздобыть хоть какие-нибудь гроши. Иногда эти попытки были успешными, иногда — смехотворными и бесплодными. К последним могу отнести попытку трех выпускников престижного Института кинематографии всучить кому-либо из наивных прохожих на углу площади Пушкина и улицы Горького, где оказались мы по дороге с “Союзмультфильма” вместе с Геной Шпаликовым и художником Сергеем Алимовым, логарифмическую линейку. Алимов был ее обладателем, а мы с Геной выступали в качестве зазывал и агитаторов. И надо было слышать, что плел Гена, ласково останавливая торопящихся по своим делам прохожих, пытаясь внушить им, что без этого чудо-инструмента жизнь их обеднеет непоправимо...



Маленькая Даша была чудо как хороша. Когда Гена с Инной уходили из дома, с Дашей оставалась Иннина бабушка. Не только Гена, но и все Генины друзья любили ее как родную. Но однажды, когда я был у Шпаликовых, бабушке сделалось плохо. Инна с Геной отправились сопровождать ее со скорой помощью в больницу, оставив меня караулить Дашу, уже уложенную в кровать. Дело было к ночи.

Друзья мои долго не возвращались, и я стал записывать свои небогатые мысли в виде послания к ним:

Друзья мои, ну как же так?
Я с вашей дочерью ночую.
Мне эта ночь пойдет впустую,
И ей бы ночевать не так...



Портрет Даши, подаренный Г. Шпаликовым А. Хржановскому.
Надпись: "Стражу моей дочери, любимому человеку".

Г. Шпаликов с дочерью Дашей.





Handwritten signature or text at the bottom of the page.

Не помню, что было дальше в этой записке, которую Гена впоследствии любил цитировать в разных компаниях. Помню только, что, когда я дошел до слов в начале последней строфы:

Она божественно сопит
В пожалованной свыше спальне... —

послышался звук вставляемого в замок ключа, и на пороге появились Инна с Геной, довольные тем, что состояние бабушки не вызвало серьезных опасений...

На память об этом случае Гена подарил мне фотографию дочери с такой надписью: “Стражу моей дочери, любимому человеку. Шпаликов”.

Однажды Гена показал мне стихи, написанные для Даши по случаю временного отключения электричества. Стихи мне очень понравились. Особенно четверостишие

Буря мглою — мы без света —
Небо кроет — все впотьмах.
Ни ответа, ни привета
И волнение в домах!

Так, даже в шуточных стихах, адресованных ребенку, Гена не упустил случая поклониться Александру Сергеевичу. Я уходил от Гены с подаренными мне стихами. Их я показал своему другу, Петру Ильичу Гелазония, главному редактору журнала “Семья и школа”. Он захотел напечатать эти стихи, что вызвало большую радость Гены. А чтобы публикацию обставить торжественно, Петр решил дать ей подзаголовок “Сценарий для мультфильма”. Номер журнала со стихотворением Шпаликова мы обмывали в гостях у автора. В паузах, нечастых и недолгих, Гена что-то писал, макая перо в чернильницу. Он любил делать два дела разом. Все это сопровождалось до боли знакомыми жестами. Я до сих пор чувствую на своем плече тепло его руки.

Гена умел общаться так, что ты верил в свою единственность и как художник, и как друг. Так он умел слушать, так умел внушить тебе, что ты — лучший. Лучший друг, лучший сочинитель...

Он буквально завораживал своим постоянным творческим волнением. Я пытался настроиться на его волну и учился сохранять этот настрой и после расставания с Геной.

Даря друзьям стихи или фотографии, Гена подписывал их, и было видно, какое удовольствие доставляет ему этот процесс. Когда Гена писал, что дарит что-то “с нежностью”, — это не было пустым словом: ты физически ощущал ту нежность и душевное тепло, которыми одаривал тебя Шпаликов.

А в тот раз, о котором я вспоминаю, Гена, переложив перо из одной руки в другую, обнял меня “рабочей” рукой, которая оказалась испачканной в чернилах. Чернила нельзя было отстирать, и в течение многих лет я старался как можно чаще надевать эту коричневую польскую рубашку — на удачу и в память о друге.

Иногда Гена заходил ко мне в гости вместе с малолетней Дашей. Я не знал, чем отметить каждый из таких визитов, и дарил Даше книги из отцовской библиотеки, в душе представляя себе удовольствие, которое доставит Гене чтение рассказов Чехова или Лескова, прежде чем Даша подрастет.

Один из таких визитов — в мае 1966 года — я запомнил еще и потому, что Гена в тот день много рассказывал про съемки “Долгой счастливой жизни”, которую он ставил на “Ленфильме” по собственному сценарию. Главную роль играла Инна, в роли героя снимался Кирилл Лавров...

Еще он рассказывал про то, как на “Ленфильме” рабочие столярного цеха студии за одну ночь изготовили деревянный крест на могилу А. А. Ахматовой, которую хоронили в марте на Комаровском кладбище.

В то время Гена пользовался огромной популярностью не только как сценарист, но и как автор стихов и песен. Вся Москва пела под гитару:

У лошади была грудная жаба,
Но лошади — послушное зверье,
И лошадь на парады выезжала
И маршалу молчала про нее.
А маршала сразила скарлатина,
Она его сразила наповал,

Квазимодо.

О, Квазимодо, крик печали,
собор, вечерний разговор.
Над колокольной раскатами
не медный колокол - топор.

Ему готовят Эсмеральду,
ему погибнуть суждено.
Он прост, как негр, как эсперанто.
Он прыгнет вечером в окно,

Он никому вокруг не нужен,
он пуст, как в полночь Нотр-Дам,
как лейтенант в "Продай оружие",
как Амстердам и Роттердам.

Когда кровавый герцог Альба
те города опустошил
и на тюльпаны и на мальвы
запрет голландцам наложил.

А Квазимодо, Квазимодо
идёт, минуя этажи,
молчат готические своды,
горят цветные витражи.

А на ветру сидят химеры,
химерам виден далеко
весь город Франса и Мольера,
Люмбера, Виктора Гюго,

И посмотрев в окно на кучи
зевак, собак, на голь и зная,
Гюго откладывает ручку.
Зевает. И ложится спать.

Андрей
с 88-летней
Неллиной

Тема.

летом 1980г.

А. Го. Хрущевскому

Охота, сентябрь.

О чем во рьме кричит сова
какие у нее ~~прекрасные~~ слова
спроси об этом у совве
не рн или ня ва.

не ва спросить — переспросить
не тп — невеличково спросить
покальку ~~теплым~~ совва
и у нее свои права.

изд дорожку через лес,
держу ружье наперевес.
охотник я. но где же дичь?
где куропатка или цап?

хотя, — охотник ли см —
про то не знают москвичи.
но я — великий гурман —
давай заявим себя вичи!

ли словно вонюх пох см
зубовки и елоти кае!
прекрасна ты, осенний лес!
какая к перту мне охота.
персеку ~~наперевес~~
твой осенний болох.

товарищ для мне сезон
(размеря наши совпадают)
подарки с дружеской ног
уже в болохе проедаются!

Но маршал был выносливый мужчина
И лошади про это не сказал.

Или это:

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами — вожди.

Там трава немятая,
Там дышится легко,
Там конфеты мятные
И "Птичье молоко"...

Вспоминаю шуточные стихи Гены, подаренные мне:

"Ремонт часов", "Ремонт часов",
А где, скажи, ремонт усов,
Или поломанных носов,
Или усталых голосов...

Автограф этого стихотворения я помещаю на этих страницах.

Но особенно мне нравилось стихотворение про генетику, звучащее как инвектива в адрес тех, кого поэт назвал "Вильямса славного предатели". Стихотворение это заключают такие строки:

...И нету в мире большей подлости,
Чем делать шашлыки из водорослей —

что звучит необычайно актуально в наш век генетически модифицированных продуктов.



Ни разу Гена не отпустил меня от себя без какого-нибудь подарка, будь то стихи, написанные чернилами или напечатанные на ма-

Андрею.

ремонт исов, ремонт исов,
а це, скажи, ремонт усов?
или ~~ты~~ ^{ты} ~~поломанных~~ ^{поломанных} исов,
или усталых голосов?

как славно в палате иметь
межь и металл, металл и межь
чтоб на площадке греться!

а вот усы — не для красы,
не вроде девичьей косы —
как орденя несут усы.

ну, а носы? увы, — носы
много для ищей или осы.
горб не иметь, но он — лежачий
и не советую носолыбив.
имею травя,
уверен — имею.

За то я имел и то было.

август 04.

Ленинград,

шинке, но непременно с автографом*, или фотографии, или какое-нибудь иное свидетельство происходящих в его жизни событий.

Однажды таким подарком стала брошюра с докладом Н. С. Хрущева на том самом совещании, где вождь чихвостил лучших из лучших наших мастеров искусств, в их числе и Шпаликова. А в другой раз подарена мне была... повестка из суда с требованием к гражданину Шпаликову Г. Ф. вернуть полученную сумму аванса и с угрозой — в случае неисполнения — описать его имущество...

Пел Гена песни не только на свои стихи, но и на стихи других поэтов. Особенно любил пастернаковское “Засыпет снег дороги...”. А в стихах Цветаевой, исполняемых под собственный гитарный аккомпанемент, после строчки “Целоваться я не стану с палачом” добавлял собственную: “и с товарищем его со стукачом”.

Вспоминая о замысле сценария про Хоть бы хны, не могу не назвать еще одного нашего любимого героя. Вернее, двух. Ими были некие П. Буаст и К. Берне.

Дело в том, что время от времени на глаза нам попадались популярные во все времена книжечки — собрания так называемых “мудрых мыслей”. Как правило, они состояли из высказываний философов и писателей вроде знакомых нам Монтеня, Лабрюйера, Ларошфуко, Гете и др. И вот среди имен известных в разных изданиях стали попадаться имена, которые мы не могли, да, признаться, и не очень-то старались, отыскать ни в одной из энциклопедий. Этими мудрецами были некие П. Буаст и К. Берне. Не помню, чему они поучали читателей, но помню, что мы затеяли и длительное время практиковали игру, смыслом которой было приписывание разных мыслей — как неглупых, так и абсолютно дурацких — этим самым П. Буасту и К. Берне. И хотя по созвучию нам, казалось бы, должно было быть ближе имя второго, особенно часто всплывало имя первого. Оно сделалось в нашем общении нарицательным. Как говорят до сих пор: “Кто за тебя сделает то-то и то-то? Пушкин, что ли?”, так мы все валили на П. Буаста. На какое-то время он стал для нас тем, что называется “наше все”.

* Даря друзьям стихи, Гена нередко менял и текст, и адресата посвящения. (Примеч. сост.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Н. С. ХРУЩЕВ

ВЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
МАСТЕРСТВО —
ВЕЛИКАЯ СИЛА
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА



*Речь на встрече
руководителей партии и правительства
с деятелями литературы и искусства
8 марта 1963 года*

*Дорогие друзья
Вячеслав Иванович
что мне с вами
рассказываю и думаю
много-то хорошего*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва . 1963

Г. М. М. М.

Г. М. М. М.

Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

оборогому Ангелю
не понять об этом
где — 7 (а точнее и
от всех гней). — никто бы
да и не знает, но — кажется
и ушел.

✓ *ММ,*

Наша институтская жизнь плавно перешла в производственную. Диплом мне предложили — в порядке эксперимента — делать на студии “Союзмультфильм”. Это было неожиданное предложение, и я не сразу на него согласился. Все решила тема: мне были предложены на выбор несколько сказок М. Салтыкова-Щедрина. Г. Шпаликов согласился написать сценарий. Художник А. Бойм уже начал работать над эскизами...

Как вдруг является Гена в своем пальто и достает из кармана книгу сатирических сказок Лазаря Лагина, автора популярного “Старика Хоттабыча”.

“Прочти-ка вот это”, — протягивает он мне книгу, раскрытую на сказке “Житие Козявина”.

Сказка, действительно, была замечательной. И хотя бюрократы и подлецы, описанные Щедриным, оказались воистину бессмертными — это нас и привлекало в экранизации его сказок, — возможность сделать сатирический фильм на современном материале выглядела предпочтительней. Мы только решили, что конец будет другой: герой не будет умирать, как в сказке, ведь тип этот — неумирающий.

Когда Гена приходил к нам на “Союзмультфильм”, вся студия сбегалась посмотреть на живого героя, обруганного самим Хрущевым.

Я в то время в ожидании самостоятельной постановки работал ассистентом у Хитрука на фильме “Каникулы Бонифация”. Со Шпаликовым и Алимовым — художником “Бонифация” — мы весело проводили время, посещая репетиции в Московском цирке, любуясь лошадьми и наездниками (я позаботился о том, чтобы для съемочной группы добыть пропуски на посещение репетиций). Цирк и авиация были любовью Шпаликова. Он гордился дружбой с Олегом Арцеуловым и студенческим соседством с Валею Спириной — не только из-за их человеческих достоинств, но и потому, что они были детьми знаменитых летчиков. Шпаликов жил на улице Горького наискосок от дома, на котором установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Тимофеевичу Спирину. А на доме номер 13 рядом с доской в память о поэте и сценаристе Шпаликове с обеих сторон висят доски, увековечивающие память его выдающихся соседей — клоуна Карандаша и конструктора вертолетов Камова.

Пропуск, по которому
А. Хржановский и Г. Шпаликов
посещали репетиции в цирке.

Московский
Орденa Ленина
ГОСЦИРК

ПРОПУСК



Выдан тов.

сотруднику

в помещение цирка через проходную

Действительно по 51-й 196 г.

Нач. отдела кадров

Зак. 580

т. ф. 4 МУП

Тир. 2000

Как-то Гена читал мне свои стихи — это было у него дома в Черемушках, “в квартале экспериментальном”. Не помню почему, но о стихах я отозвался довольно прохладно.

Гена добродушно улыбнулся и спросил, не схожу ли я в магазин за вином. Нам предстояло написать заявку к “Козявину”.

У Гены были две любимые реплики из “Дней Турбиных” (цитирую по памяти): “Нешто можно селедку без водки кушать?” и “Лена ясная, пей белое вино...”.

В тот раз более актуальной оказалась вторая — селедки в доме не было. “Надень мое пальто, там в кармане деньги”, — сказал Шпаликов, а сам сел за машинку. Когда я вернулся, он усадил меня рядом, обнял за плечо и пододвинул мне лист с напечатанным текстом. Я прочел: “Андрею — с нежностью”. И дальше:

Ударил ты меня крылом,
Я не обижусь — поделом,
Я улыбнусь и промолчу,
Я обижаться не хочу.

А ты ушел, надел пальто,
Но только то пальто — не то.
В моем пальто под белый снег
Ушел хороший человек.

В окно смотрю, как он идет,
А под ногами — талый лед.
А он дойдет, не упадет,
А он такой, не пропадет.

Заявка была принята. Гена получил аванс. Я терпеливо ждал, когда Гена сможет приступить к сценарию. Он долго обещал начать писать “немедленно” (его любимое слово), но этого так и не случилось.

В какой-то момент, во время очередной встречи, Шпаликов вдруг говорит: “Знаешь, Андрей, у меня столько договоров, под которые я получил аванс, — я не знаю, что делать... Авансы надо отрабатывать, а времени не хватает. Зачем тебе сценарист? Ты и придумать сможешь, и записать не хуже любого сценариста”.

Честно сказать, я пришел в уныние. Увидев мое состояние, Шпаликов сел за пишущую машинку и выбил слова стихотворения, которое, по моему первоначальному замыслу, должно было прозвучать в фильме в виде песни во время кругосветного путешествия Козявина: “Ах, утону ли в Западной Двине...”. (Кстати, Западная Двина в этом стихотворении возникла наверняка как аллюзия на историю гибели знаменитого литературного критика Писарева — Гена, конечно, не мог не знать об этом трагическом происшествии...) А на листке, перед тем как протянуть мне его, сделал надпись: “Дорогому Андрею в этот торжественно-траурный день...”

Теперь я могу сказать, что благодарен Шпаликову за то, что он пустил меня в самостоятельное плавание в качестве сценариста под его именем, как ходят морские суда многих стран под флагом покровительницы торгового флота Либерии. Без этого поступка Гены, давшего свое авторитетное имя в титрах моих первых работ, не было бы этих фильмов. И уж во всяком случае, не было бы у меня возможности сделать их такими, какими они получились...

■ ■ ■

Гена мечтал снимать, как он говорил, волшебное кино. Этим словом он еще на первом курсе ВГИКа определил свое впечатление от “Красного шара” Ламориса.

Когда он увидел эскизы Николая Попова к фильму “Жил-был Козявин” и первые цветные пробы, он просто заболел мультипликацией, видимо решив, что ее средства идеально подходят для осуществления самых смелых, самых “волшебных” замыслов. Он стал предлагать мне один за другим сюжеты для новых мультфильмов.

Одной из предложенных Шпаликовым тем был рассказ писателя Григорьева “Рог изобилия” из сборника научной фантастики. Ученый изобретает волшебный рог, способный буквально по мановению руки (нажатию кнопки) удовлетворить все потребности человечества — от продуктов питания до одежды, а также предметов первой, и не только первой, необходимости. И жило бы человечество в полном счастье, но тут на пути к этому счастью возникла Комиссия по приемке изобретений. И комиссия эта никак не хотела запатентовать изобретение, пока не убедится в том, что у агрегата действует задний ход. Ученый уверял, что надобности в действии заднего хода нет никакой, комиссия же настаивала на своем, и ученый вынужден был сдаться. И как только этот задний ход был пущен, все выработанное замечательной машиной стало исчезать на глазах... Мало того, когда все исчезло и наступило полное отсутствие чего бы то ни было, сколько ни пытались нажать кнопку пуска, машина перестала слушаться ее создателя.

Между тем Гена продолжал регулярно появляться на “Союзмультфильме”, зачастую в сопровождении кого-либо из наших общих кинематографических друзей. Так, я помню, привел он как-то и Сашу Княжинского. А уж кто только из лучших людей той поры не посмотрел нашего “Козявина” и потом “Стеклянную гармонiku!”...

Замысел этого фильма возник из газетной заметки о существовании такого инструмента и о судьбе музыкантов, игравших на нем. Их игра облагораживала слушателей до такой степени, что

они, попав под влияние искусства, освобождались из-под власти местных правителей.

Гене очень понравилась эта идея.

По той же схеме, которую мы освоили во время работы над “Козьиным”, мы действовали и на “Стеклянной гармонике”...

Гена часто заходил на студию. Два его визита мне запомнились особо.

Однажды он появился на пороге комнаты, с трудом переступая под тяжестью предмета, который он держал в широко расставленных руках, как гармонист держит свой инструмент. Это было звено батареи парового отопления.

— Что это? — спросили мы в изумлении.

— Стеклянная гармоника, — ответил Гена, довольный своей находчивостью не меньше, чем самой находкой. — Во дворе нашел...

В другой раз Гена не стал заходить в группу, а вызвал меня в коридор. В руках у него была авоська, набитая не стопкой, а грудой бумаги.

— Это “Шаровая молния”. Читай, там все написано. С этими словами Гена исчез так же неожиданно, как появился. Среди груды страниц я нашел записку (сохраняю пунктуацию автора): “Здесь спутаны страницы, — оттого, что это, оказалось, — единственный рабочий экземпляр. Но можно это и читать, не разбирая, хотя разряд страниц тоже важен, — читай — отважно!”

Я помню, как писался этот роман. Гена тогда жил в Болшеве, в коттедже. На столе, за которым он работал, кроме пишущей машинки, находилась бутылка водки и большая банка зеленого горошка. Гена утверждал, что и то и другое в таком сочетании мало того что приятно, но еще и очень полезно: организм получает белок в чистом виде. Сок из банки с зеленым горошком Гена употреблял в виде “закуски”.

Я оказался хранителем и владельцем одного из первых, тогда еще рукописных произведений Шпаликова — я имею в виду пьесу “Гражданин Фиолетовой республики” — и одного из последних — его романа. После смерти Шпаликова Юлий Файт собирал его архив для Музея кино. Ему я и передал и роман, и пьесу...

А.
Мне снится сон, —
огонь, сто лет, океаны, —
вручье чашей работы
заключил. Но много от
и много, не забуду, хотя
мне снится уже два
года — обещано!

Записка, с которой Г. Шпаликов
передал А. Хржановскому экземпляр
романа "Шаровая молния".

■ ■ ■

"Стеклянную гармонику" мы повезли сдавать в Главк на следующий день после вторжения советских войск в Прагу*. Рука человека в черной перчатке, которая в фильме опускалась на плечо Музыканта, в жизни ложилась на наш фильм.

На другой день я получил повестку из военкомата и был направлен для прохождения воинской службы на Балтийский флот. А фильм был положен на полку, где пролежал ровно 20 лет. Воинскую службу я проходил в полку морской пехоты. В канун Нового 1970 года я приехал в отпуск в Москву. Я знал, что Гена, как и некоторые из моих друзей, находится в эти дни в Доме творчества "Болшево". Накануне Нового года я решил попроведать их. Купил в пристанционном магазине бутылку водки и консервы "Частик

* Ввод советских войск в Чехословакию, положивший конец Пражской весне, начался 21 августа 1968 г. (Примеч. ред.)

Это Г. Шпаликов обозначил
как “белопогонность явную”.



в томате”. Приезжаю затемно, узнаю, в каких номерах проживают мои друзья, стучу в номер Шпаликова — нет ответа. Стучу в другие номера — а чей-то даже был открыт — никого. Я решил, что являюсь свидетелем массового исхода друзей в неизвестном направлении. Оставил на столе открытого номера бутылку, закуску, записку “С Новым годом! С новым частичком!” и уехал в Москву. Через несколько дней вернувшиеся из Болшева друзья передали мне письмо от Гены, и я прочел:

андрей, с новым годом!

твоя надменность, — чисто офицерская, — меня смутила, белопогонность, — явная, поставила в тупик, — лена ясная, — пей белое вино, — михаил афанасьевич булгаков, улыбаясь от всех своих нефритов, поглядывал весело на тебя, но, собственно, дело не в этом. правда, я расстроился, — но потом послал все эти расстройства, — господи, все это неваж-

андрей, - с новым годом!

твоя надменность, - чисто офицерская, - меня смутила, - белопогов-
ность, - явная, поставила в тупик, - лена ясна, - пей белое вино,
михаил афанасьевич булгаков, улыбаясь от всех ~~для~~ своих неформитов
поглядывал весело на тебя, но, собственно, дело не в этом.

правда, я расстроился, - но потом послал все эти расстройства, -
господи, всё это неважно. жизни мышь суетня - что тревожишь ты
меня? грустен и весел вхожу я в твою мастерскую, ваятель. я
выдагивал, я загорался, я гас, - стихи мои бегом бегом! - с буль-
вара? - за угол? - есть дом. где дней прервалась череда.

виребъза

андрей, ты бы написал мне: москва, ~~хллярл~~ б. черемушкинская,
дом 43, кв. 176, кор. 1.

что хочешь, - то и напиши. письма шопена на родину, письма куту-
зова к дочери? - что еще, - дневник николая 2, - ведь существо-
вало эпистолярное наследство, - напиши в ¹⁰ ~~длжний~~ том сочинений, -
андрей, очень неохота, - что б - жизнь нас развела, - смерть
соединит, - хотя, так оно и кончится, - правда. я тебя очень
понимаю, - более того, - в глаза б не сказал, - ты золото, това-
рищ, Хансен, Амундсен, Скотт Фиджеральд, Гертруда Стайн, Эзра
Паунд, - совсем не я то мне хочется тебе написать, - стихами,
ямбом, - ораторию ~~миллион~~ что ли? - урусевский работал с гариним
поэтому я часто вижу гарина - в сергее павловиче, - а через такое
странное переплетение - почти мистификацию - вижу тебя, - это
и смешно, но и невесело, - мы бы могли вот так сидеть друг про-
тив друга, как я сижу с людьми хорошими, более того, - замечатель-
ными, с. п. - просто блестящий человек, но, - чего мне писать
тебе про но? нас ждет хоть бы хны. нас ждет электрический стул,
сакко и ванцети - в карандашах вместе с Красиным, - андрей, -
с новым годом! обнимаю.

Оригинал письма, отправленного Г. Шпаликовым
А. Хржановскому из Болшева.

но. жизни мышья суетня* — что тревожишь ты меня? грустен и весел вхожу я в твою мастерскую, ваятель**. я вздрагивал, я загорался, я гас***, — стихи мои, бегом, бегом! — с бульвара? — за угол? — есть дом. где дней прервалась череда. андрей, ты бы написал мне: москва, б. черемушкинская, дом 43, кв. 176, кор. 1.

что хочешь, — то и напиши. письма шопена на родину, письма кутузова к дочери? — что еще, — дневник николая 2, ведь существовало эпистолярное наследство, напиши в 10 том сочинений, — андрей, очень неохота, — что б — жизнь нас разъединила, — смерть соединит, — хотя, так оно и кончится, — правда. я тебя очень понимаю, — более того, — в глаза б не сказал, — ты золото, товарищ, Нансен, Амундсен****, Скотт Фицджеральд, Гертруда Стайн, Эзра Паунд*****, — совсем не то мне хочется тебе написать, — стихами, ямбом, — ораторию что ли? урусевский работал с гариным, поэтому я часто вижу гарина — в сергее павловиче, — а через такое странное переплетение — почти мистификацию — вижу тебя*****, — это и смешно, но и невесело, — мы бы могли бы так сидеть друг против друга, как я сижу с людьми хорошими, более того, — замечательными, с. п. — просто блестящий человек, но, — чего мне писать тебе про но? нас ждет хоть бы хны. нас ждет электрический стул, сакко и ванцети — в карандашах вместе с Красиным*****, — андрей, — с новым годом! обнимаю.

* У Пушкина: "...Жизнь мышья беготня..." — цитата из стихотворения "Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы". (Примеч. ред.)

** В стихотворении А.С. Пушкина "Художнику": "Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую..." (Примеч. ред.)

*** У Пастернака: "Я вздрагивал. Я загорался и гас..." — цитата из стихотворения "Марбург". (Примеч. ред.)

**** Полярные исследователи, книгами о которых Г. Шпаликов увлекался еще в училище. (Примеч. сост.)

***** Все они являются персонажами книги Э. Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". (Примеч. сост.)

Первой кинематографической работой С.П. Урусевского был фильм режиссеров Э.П. Гарина и Х.А. Локшиной "Синегория". С. Урусевский был оператором этого фильма. Г. Шпаликов знал о моей близкой дружбе с Э. Гариним и познакомился с ним, посетив спектакль "Тень", поставленный Э. Гариним и Х. Локшиной в Театре сатиры, о чем сделал запись в дневнике. (Примеч. сост.)

Речь идет о фабриках имени Сакко и Ванцетти и имени Красина, выпускавших карандаши. (Примеч. сост.)

По возвращении из армии наши встречи с Геной возобновились, хотя не были столь частыми. В его поведении и разговорах появилась какая-то обреченность. Написанные им по заказу киностудий сценарии, в том числе такие пронзительные, трагические вещи, как “Девочка Надя” и “Прыг-скок, обвалился потолок”, отклонялись начальством. Гена становился все мрачнее и мрачнее. Семейные дела тоже не ладились, и он вел жизнь скитальца, перемещаясь из одного дома творчества в другой...



Прошло более полувека после выхода фильма “Мне двадцать лет”, как стала называться после всех поправок и мытарств “Застава Ильича”. Но до сих пор, вспоминая все перипетии на пути этого фильма к экрану, продолжают спорить о том, имел ли право один из авторов фильма — Геннадий Шпаликов — самоустраниться от борьбы за фильм и покинуть “поле боя”. И я не берусь оправдывать Шпаликова, но лишь могу попытаться найти объяснение ему поведению. Тогда он впервые столкнулся с тем, что принято называть государственной машиной в действии, в данном случае с цензурой. Это не входило в его представление о свободе творчества и о поведении поэта в обстоятельствах такого давления.

Режиссеры были обречены на сражение с “цепными псами” партийной идеологии, как они сами себя называли, притом не без гордости. Уровень демагогии, до которого доходили партийные члены студийных худсоветов и редакторы Главка, граничил с извращением и не умещался в сознании здравомыслящего порядочного человека. И Шпаликов сбежал от этого, думаю, не из трусости, а из отвращения. И отчасти из чувства самосохранения. Даже не себя как “борца идеологического фронта”, а как личности, как поэта. Он любил море, и побеги его часто были именно в этом направлении.

Севастопольский легкий снежок,
Ветер с моря и мол оснеженный.
“Береженого Бог бережет”.
Я не думал, что я береженный.

В конце концов, это было бегство от самого себя.

Этим бедствием — бегством — тягой прочь — она же — “весьма мучительное свойство” — был одержим и Шпаликов.

“Бегом, бегом от всего”, когда “...нехорошо от всего, да и от себя нехорошо... Позвонить, что ли, кому? Но звонить-то некому. Велика Россия, а позвонить некому...”

Эту фразу, переиначивающую знаменитое кутузовское: “Велика Россия, а отступать некуда...”, Гена повторял в последние свои годы не раз.

Все, что случилось с Геной, было предсказано им в стихах, в дневниках, в романе “Шаровая молния”.

Мне кажется, было в нем чисто биологическое ощущение отпущенного ему срока. Он часто говорил о смерти Маяковского, помнил эту дату.

В сценарии, над которым он работал вместе с М. Швейцером, есть эпизод похорон поэта, где в хроникальных кадрах запечатлен Пастернак у гроба и процессия, следующая за гробом на открытой платформе грузовика.

К двум другим любимым поэтам, добровольно ушедшим из жизни, Есенину и Цветаевой, Шпаликов также обращался и в мыслях, и в творчестве.

Среди любимых Шпаликовым поэтов Марина Цветаева занимает особое место. Разговор автора с ней включает незавершенный роман Шпаликова.

Кто знает, может быть, именно последний жест отчаяния, оборвавший жизнь Марины 31 августа 41 года, мелькнул в сознании Шпаликова в его последнюю ночь на этой земле 31 октября 74 года...

И своим трагическим уходом из жизни, как и всей жизнью, всем своим творчеством, Геннадий Шпаликов мог бы подписаться под этими цветаевскими словами:

Брат по песенной беде —

Я завидую тебе.

Пусть хоть так она исполнится

— Помереть в отдельной комнате! —

Сколько лет моих? лет ста?

Каждодневная мечта.

* * *

И не жалость: мало жил,
И не горечь: мало дал.
Много жил — кто в наши жил
Дни: все дал, — кто песню дал.

Жить (конечно не новей
Смерти!) жилам вопреки.
Для чего-нибудь да есть —
Потолочные крюки.

Стихотворение это было написано в январе 1926 года — за пятнадцать лет до того, как Марина воплотила эту мечту в жизнь — в смерть.

Тот, в общем-то, короткий срок, которым измеряется его жизнь, от первых стихов, написанных мальчиком-суворовцем в восьмилетнем возрасте, — до последних, ранящих сердце неодолимой тоской и болью, — Шпаликов прожил, пролетел, промчался, как комета.

От начала — безоглядного оптимизма и веры в жизнь —

...Даже без рук
и ног
И с пустотой
впереди
Я б добровольцем не смог
В небытие уйти...

И до этого:

...Вольным — вольная воля,
Ни о чем не грущу,
Вздохом в чистое поле
Я себя отпускаю.

Но откуда на сердце
Вдруг такая тоска?

Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой горстью песка.

Или это:

О, когда-нибудь, когда?
Сяду и себя забуду,
Ненадолго — навсегда,
Повсеместно и повсюду.

Все забуду, разучусь,
И разуюсь и разденусь,
Сам с собою разлучусь,
От себя куда-то денусь.

1973

Вот отрывки из романа.

Марина мне говорит: ... как вы себя чувствуете? — Плохо, я ей говорю, плохо, — хотя, кроме вас, никому об этом не сказал, — на что Марина — не усмехнулась, не улыбнулась, а заплакала...

Мне жалко, что галактики разлетаются — вроде людей... им слететься, соединиться, а они, сволочи, разлетаются, летят в разные стороны, летят, удаляясь в какие-то уж невыносимо и непереводаемо на человеческий язык — световые годы... летят, вращаясь, перемещаясь — летят — а — жалко, хотя — хотя — не мы тому виной.

Разбегаются люди и звезды,
Как галактики — разлетаются.
Собирайтесь — пока не поздно,
Разбежаться — предполагается.

Кончается роман так:

... Марина Цветаева мне сказала — побежим?.. И мы помчались. Бегом, бегом, бегом.



В институтские годы у нас была такая игра: представлять друг друга в старости. Мы воображали далекое будущее каждого из нас. В этой игре представить себе Гену Шпаликова восьмидесятилетним стариком ни у кого не получалось. Не получилось и у Гены. Он застенчиво, как бы извиняясь, улыбался той улыбкой, которую никогда не забудут все, кто его знал.

И вот этот срок наступил. Но уже без Гены. Теперь я думаю: видимо, усилия наших душ, не знавших тогда слов молитвы, были слишком робкими и недостаточными, чтобы уберечь от страшного искушения и от нашествия тьмы светлую душу нашего друга.

МИХАИЛ РОМАДИН

О ГЕНИНОМ ВРАНЬЕ *

Человек, который не умеет врать,
просто лишен воображения.

Высказывание, приписываемое Ницше

Гена Шпаликов обладал удивительно вдохновенным даром — врать. Причем его фантазии были абсолютно бескорыстны, это было именно вранье, а не ложь.

Шестидесятые годы. В то время мы часто встречались, выпивали, любили слушать Генины песни и стихи.

Надо сказать, что всех поэтов в то время мы разделяли на “своих” и “чужих”. Так, например, Велимир Хлебников был для нас “своим” футуристической формой и авангардными идеями, а Борис Пастернак казался нам слишком традиционным, и мы его не читали.

Однажды во время очередного “товарищеского ужина”, после выпитых бутылок и пропетых песен, Гена вскочил на стул и стал читать:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись...

* Публикуется по: Ромадин М. Хаммер. М., 2004.





В гостях у художника Михаила Ромадина.
А. Тарковский, Г. Шпаликов, М. Ромадин.

— Гена, откуда эти стихи?

— Это я их вчера написал.

— Дай переписать.

На большом листе ватмана крупными буквами Гена написал:

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов...

А затем подписал размашисто: “Г. Шпаликов. Переделкино. 1969”.

На следующий день приходит Андрей Тарковский, мы с Витой показываем ему стихотворение:

— Посмотри, Андрей, какое замечательное стихотворение Гена написал!

Андрей смеется:

— Вы с ума сошли. Гена же известный враль. Это стихотворение Пастернака.

Так Пастернак перешел для нас из разряда “чужих” в разряд “своих”.

Гена получил приз в Италии на фестивале авторского кино, который организовал Пазолини, за фильм “Долгая счастливая жизнь”. Приходит к нам с призом в руке, это кубок на мраморной подставке. Разливаем сухое вино, Гена пьет из кубка.

Как жаль, Гена, что ты не поехал за кубком в Италию.

А я только что вернулся оттуда.

Он настолько убедительно рассказывает, что мы с Витой верим ему. Может быть, поэтому он и любил нам врать, что не ждал от нас разоблачений.

Гена развивает тему:

“Я возвращался на электричке из Загорянки, и здесь прямо на вокзале мне вручают иностранный паспорт. Срочно, небрито-

го, в свитере, везут во Внуково, на аэродром, а там в Италию. Только там я смог побриться и постричься. У них там очень интересные кресла в парикмахерских: нажимаешь кнопку на ручке — и кресло поднимается вверх под потолок”.

Эта картина явно навеяна чаплинским “Диктатором”, который только что посмотрел Гена.

А мы ему все верим и верим.

А на каком языке ты разговаривал в Италии?

На русском. Там в Италии полным-полно грузин, все по-русски говорят.

Опять пересказываем историю с Геной Андрею.

Он смеется:

— Вы не знаете, что для поездки за границу нужны рекомендации, время на оформление?

Знаем, но Гене верим. А за границей он так и не был, хотя мечтал оказаться в Италии или Париже.

Любите вы Листа, Моцарта, Сальери,
Лавки букинистов, летний кафетерий,
Споры о Шекспире и о Кальдероне
В городской квартире в Киевском районе.
Ах, Париж весенний! Как к тебе добраться?
Рано утром в Сене можно искупаться.
Вы себя погубите западной душой,
Заграницу любите — ох, нехорошо.
Мастера палитры, вы не виноваты,
Ох, космополиты — милые ребята.
Любите вы Брамса,
нравится вам Врубель,
Так подайте рубль,
дорогие братцы.

Рисунок М. Ромадина



ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

МОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ДРУГ*

371

Напротив меня сидел всемирно известный человек. Неожиданность этого открытия поразила его. Не задумываясь, он внятно сообщил: обо мне издадут монографии. (Где? Когда? По какому поводу? На каком языке?) А вот так, — сказал он, — есть повод. Я не возражал. Вы бы все приумолкли, — сказал мой всемирно известный друг. Охотно. Пусть простирается молчанье. Как бы не так — ничего не получится. Я-то молчу. Я — аудитория в единственном числе, безучастная, погружаемая в сон, полупогруженная — уши торчат на поверхности одностороннего разговора — из вежливости? — из совестливого отношения к рассказчику? — по лености прервать весь этот бред? — да, все же по лености.

Мой всемирно известный друг, ничуть не смущаясь отсутствием какой-либо аудитории — она, как выяснилось, была ему ни к чему, — пытался осознать себя как бы со стороны. Карти-

* Публикуется по: Шпаликов Г. Мой знаменитый друг // Киноведческие записки. 2007. № 81 / Публикация Е. Долгопят.

На полях машинописного текста Шпаликов надписал посвящение художнику Михаилу Ромадину и его жене, актрисе Вите Духиной: “1967. Миша, Вита, — это пока что мало что о моей к вам признательности и любви. Это старый рассказ, но смешной”. В “старом рассказе” упоминаются осень 1956 года, выступление героя на “каком-то собрании”, последствия этого выступления, точнее, счастливого их отсутствие. (Из коммент. Е. Долгопят.)

ной, книжным изданием, научно-популярным фильмом, брошюрой, газетным клише, афишей, надгробием в виде распростертого лебедя, персонажем романа. Признаться, мне неловко сейчас все это писать — а пишу я много позже событий и не событий тех лет — так вот, — мне неловко. Я не совпадаю сам с собою, и несовпадение это, объяснимое вполне, мешает. Теперь без малейшего раздражения, веселым взглядом смотрю я на те годы и невольно впадаю в тон, совершенно несвойственный мне. Я любил этого человека. Долгое время он был моим единственным другом. Как мне о нем говорить? Не ерничая, не получается — он сам был ерник во всем. Но тогда, в ту ночь, я был обеспокоен чисто технической стороной дела — вопрос транспортировки моего всемирно известного друга — как? — на чем? — с кем? — куда? — имеет ли вообще смысл уходить в снег и абсолютную неизвестность? — а он загадочно посмотрел в окно, различая его на стене, путая его с зеркалом, картиной и вообще с каким-либо темным предметом, и объявил, что снег и послеполуночное время — вовсе не помеха для передвижения, и тут же предложил замечательный по своей простоте проект: позвонить одному высокому лицу. Отсутствие у меня телефона его не смущало. Все остальное представлялось как прямое исполнение приказа высокого лица: вертолет, вездеход (в связи с большими снежными заносами за чертой города), две зеленые ракеты, выпущенные из форточки для опознавания, продукты на грузовом парашюте (для меня, остающегося здесь), и все, пожалуй. И тут же он уснул — как подстреленный на легу.

Я вывернул лампочку над столом, ввинтил ее в настольную лампу — на полу, у раскладушки — она сразу загорелась, весело, ярко — под стеклянным зеленым колпаком — ласковый свет, зеленый — простыни чистые, только неглаженные, но белье сушилось во дворе, на осеннем ветру, и оттого оно такое прохладное — щекой к подушке — ладошку под щеку. Плохо спать одному, да? Неизвестно. Как когда. Бывает, хорошо одному. Или вдвоем с книжкой. Или с бутылкой — вот только просыпаться плохо тогда, но это уже последствия, результат, бледное утро в окне. С книжкой. Да, вот еще. Чтобы утром все забыть — верный способ, старый способ. Я свернул скатерть с остатками

еды, с тарелками и всем прочим и унес на кухню. Все. На кухне, не размышляя, я допил все, что оставалось в бутылке, — стакан вина — хлопнула форточка, снегом обдуло — я засмеялся — вот и зима! — и босой ринулся в кровать. Ах, славно! Чай горячий, книга хорошая — К. И. Чандар “Чинары моей юности”.

Может так показаться, что мой друг был все-таки не совсем нормальный человек, но это не так. Правда, ему приходили иногда в голову странные мысли и даже откровения, вроде этой монографии, и он тут же с горячностью их выкладывал и часто в присутствии многих незнакомых людей, которые удивлялись, но не слишком, но, в общем, намерения моего друга были явно благородные, желание славы и добра для отечества даже более, чем для себя, в них неизменно присутствовали, и, на мой взгляд, нет ничего безобиднее вранья такого рода, потому что в таких людях есть то, что раньше называли мечтаниями, и, бывало, что эти м е ч т а н и я осуществлялись как-то даже очень высоко, а если они — большей частью — и не осуществлялись, то люди жили с мечтой об осуществлении в будущем и — опять-таки по своей бесхитростности — выражали эту мечту свою вслух, чем немало, повторяю, могли поразить случайных людей, которые ни в чем, конечно, не виноваты, что ничего подобного им в голову не приходило и не придет, но, думаю, что всем является что-то такое, что-то необыкновенное в этой обыкновенной жизни, пусть и вовсе нереальное, да и не такое уж и необыкновенное — все тут <страница без окончания>

Впрочем, мой мифический, потусторонний друг, последователь Толстого, землепроходцев, варягов, едущих в греки, всех заблудших и пропавших людей, спал, и во сне он не казался причиной монографий, лауреатом Нобелевской премии (и такое было), автором трех романов, двух пьес (или — наоборот — трех пьес и двух романов), знаменитым путешественником, посетившим многие страны мира в неизвестно какое время, потому что он умудрялся слетать в Южный Вьетнам за один день туда и обратно, чтобы вечером рассказать свои приключения в кругу друзей, или же внезапно отбыть в какое-нибудь очередное международное пекло, вроде Конго, Синайского полуострова, но как-то умудряясь быть одновременно там и здесь, то есть

его, очевидно, могли бы в один и тот же день видеть на углу Никитских ворот, а ближе к вечеру — на Кипре, к примеру, в рядах повстанцев, или в джунглях Танзании, хотя он иной раз давал себе отдых от битв и государственных переворотов в различных малых государствах и с удовольствием рассказывал по ночам шоферам такси — самым снисходительным на свете слушателям — о преимуществе перелета в США через Париж, минуя провинциальный Брюссель, или же, сравнивая жизненный уровень в Скандинавских странах, где он бывал, правда, недолго, с жизненным уровнем нашей страны, он говорил, что капитализм, конечно, загнивает, но гниют хорошо, но потом ему эта формула показалась несколько стандартной, он ее еще от кого-то слышал — чуть ли не от ночного таксиста, — таким образом с сопоставлением жизненных уровней стран было покончено, но иногда он все же позволял себе мимоходом обозначить осведомленность, опять-таки помня о снисходительности таксистов к тому, что им рассказывают по ночам, но помня еще вот о чем, что ему стало несколько забываться, хотя раньше это был предмет его гордости: осенью 56 года он, студентом, выступил на каком-то собрании — почему выступил — бог его знает почему, никто не просил, да и необходимости не было, но, не зная совсем, о чем говорить, он знал твердо одно, что надо что-то говорить, и это что-то при всей несвязности произвело впечатление, хотя после никто из тех, на кого впечатление было произведено, не могли вспомнить ни слова, не говоря уже о том, что вольное блуждание мысли моего друга настолько всех запутало, что впоследствии это обстоятельство сыграло в его же пользу: иных, более связно говоривших, хотя и попроще, исключили из института — его же, опять-таки припоминая все, что он приносил, оставили, хотя и не без внушения, но как ни припоминали, ничего припомнить не могли из такого, что бы могло поставить его вне института или даже комсомола. Отгородившись несколько, мой блистательный друг приумолк совсем. Тише воды, ниже травы был до самого окончания университета и только в последнее время несколько разошелся — на уровне ночных разговоров с таксистами, но и тут что-то сработало однажды в его голове, и [он] приумолк, о чем мне сам говорил, уже

без гордости, но все же с некоторой тайной или же с необходимостью — ему, во всяком случае, — говорить не все то, о чем он знает, догадывается или же думает наедине с самим собой, и в этом тоже тактика, но он — не без гордости — повторял — тактика.



Текст печатается по сохранившимся фрагментам. В составленный нами рассказ не вошли варианты:

“...трав, цветов — где? — когда? — в Китае? — в Индии? — зеленый, красный, коричневый, вишневый, черный — дымящийся. Чай на свету — темнеющий сквозь фарфор чашки, покачивающийся между лепестками — какая чашка старая — как уцелела? — белая, глубокая — чай, качайся, покачивайся сквозь бледно-зеленые лепестки на глянцевой поверхности фарфора”.

МОЙ
ЗНАМЕНИТЫЙ
ДРУГ

375

“Мой всемирно известный друг — предмет монографий — сообщив эту новость, не пытался сгладить впечатление от нее, забыв или не заметив, что девушка — к ней, а не ко мне была обращена его речь — ушла давно, и мы сидим вдвоем в моей нетопленной комнате за столом с остатками еды, ничтожным количеством водки, и мой всемирно известный друг еще должен добираться как-то на электричке до Москвы. Я знал, что он не может остаться у меня — множество самых обыденных причин. Предупреждение, сделанное заранее. Но было уже поздно. Вряд ли электрички ходили. Чаю? — я спросил, размышляя, как быть. ‘Пароход идет “Анюта”, все четыре колеса, — сказал он внятно. — Если я тебе в тягость, я уйду, а впрочем, — да’. Вот что впрочем — я не знаю, забыл. Главное, сосредоточиться на чем-то. Это верно, верная мысль, — я уже не слушал его — сосредоточимся. Люди непьющие от холода вовсе не трезвеют, а напротив — вот чаю бы ему. Спичек нет. Говори, говори. Я слушаю. Внимательность к ближнему, — так, что ли? Нет и нет. Не тот оборот. Ближний — если близко”.

“...предупреждение, сделанное им же заранее — но уже было за полночь. Да, — горестливо говорил мой друг, — вот так. Тебе не понять. Ты... необъяснимое вряд ли объяснишь. Далее последовал блистательный монолог о монографиях, неожиданность открытия которых поразила и самого автора — вернее — сам предмет монографического исследования был потрясен этой новостью и пытался осознать себя со стороны, — картиной, книжным изданием, а, впрочем — почему бы и нет? — даже научно-популярным — пусть хоть так — кинофильмом, персонажем. Признаться, я боюсь, что, когда записываю все это, а записываю я много позже происходившего в ту ночь, то читатель может подумать, что мысли мои теперь и тогда совпадали полностью. Но это не так. Теперь уже, без малейшего раздражения — напротив, — веселым взглядом рассматривая те годы, я уже невольно впадаю в тон, мне несвойственный тогда, да и теперь, скорее по привычке — приобретенной — а тогда, засыпая, я совершенно серьезно слушал своего друга. В том смысле — серьезно — не как предмет монографий — вопрос их несуществования был ясен предельно, но меня мучило другое: уже скоро два часа ночи, а ему надо обязательно быть в Москве, а он, как уже предмет не монографий, а хотя бы транспортировки — был непригоден. Впрочем, это его вовсе не смущало. Он тут же предложил замечательный по простоте выход: позвонить одному высокому лицу. Все остальное представлялось уже чисто техническим исполнением приказа высокого лица: машина, вертолет, вездеход — в связи с большими снежными заносами за чертой города”.

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ

СЦЕНАРИЙ “СЧАСТЬЕ” *

377

Домой в Москву я бережно вез огромную двухлитровую бутылку дешевого итальянского вина — для Гены Шпаликова. Мы с ним в то время уже работали вместе над сценарием для моего диплома, он назывался “Счастье”. (Писать с Андреем у меня не получалось. Мы сделали сценарий для него, я сказал: “Теперь давай писать для меня”. Он согласился. Но работа не ладилась — он увял. Писать он мог только для себя, у него был свой мир, он в нем жил.) Поэтому сценарий для своего, пока еще неясно какого диплома я готовил с Геной. Мы встретились, пошли в зоопарк — он очень любил это место. Сели за столик. Гена сказал:

— Расскажи про Париж.

Я рассказывал, мы пили вино. На мне были новые джинсы... Шпаликов завидовал.

— Я тоже поеду за границу, — сказал он, когда бутылка была допита.

— Куда?

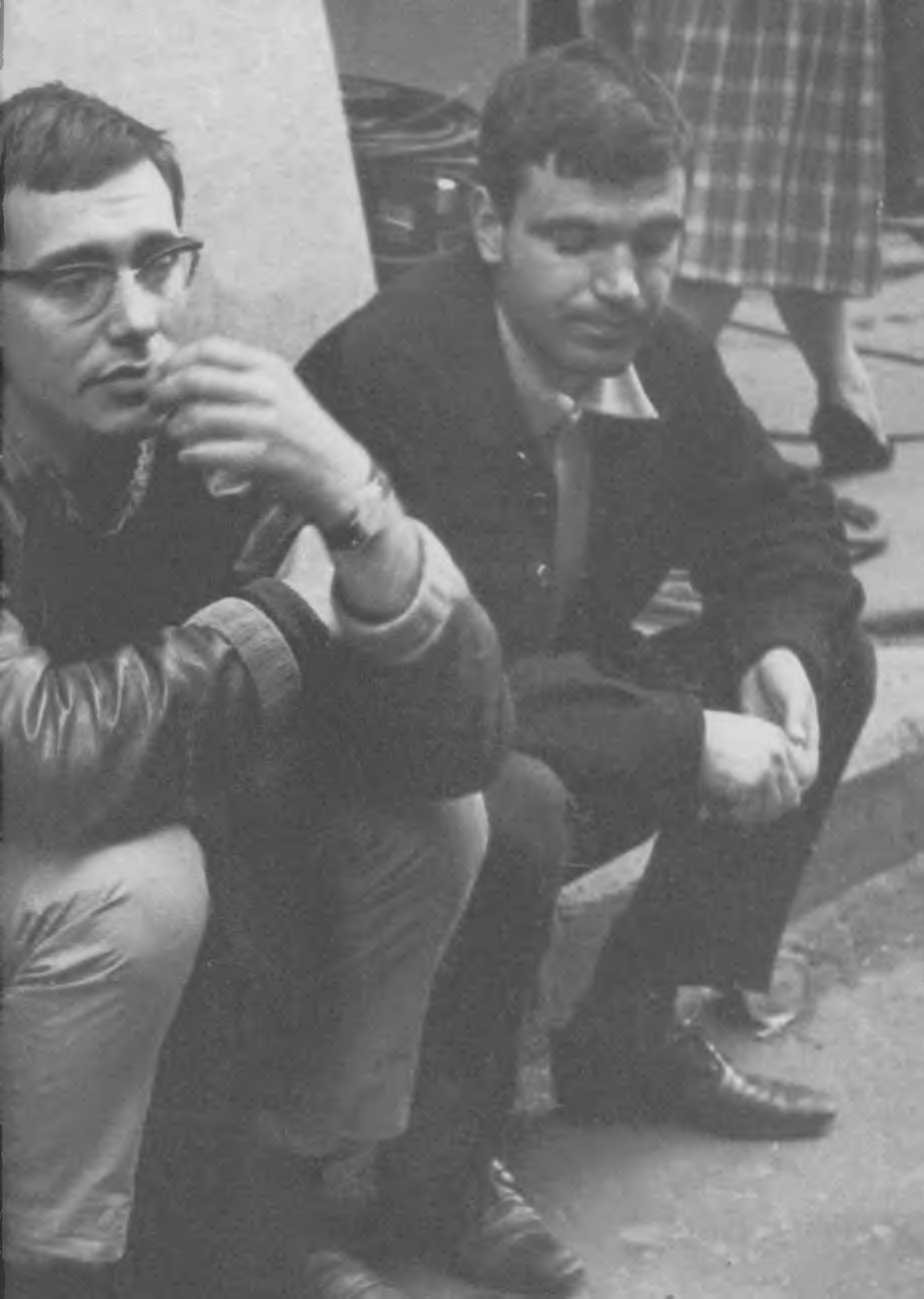
— Во Вьетнам. Воевать.

Ему очень хотелось за границу, но никуда не пускали. Как Пушкина. Поэтому он придумал эту утку про Вьетнам и не мне одному ее подпустил.

* Публикуется по: Кончаловский А. Низкие истины. М., 2006.

М. Вертинская, А. Кончаловский, Г. Шпаликов
возле студии им. Г. 2 г. Фото © Музей кино





Я гляжу на старые фотографии. Вот Гена с Инной и маленькой Дашей. Я был, можно сказать, ее кормильцем. У Инны молока не было, у Гены не было никакого транспортного средства. Чтобы избавить их от необходимости ездить в Москву, я гонял на велосипеде от Николиной горы в село Успенское, к кормилице — два раза ежедневно.

Сценарий “Счастье” получался странный. Он состоял из моментов счастья очень разных характеров. С момента счастья начать фильм очень трудно. Это возможно в музыке. Так начинается Первый концерт Чайковского — сразу счастье. В кино это сложнее. Получается не счастье, а информация о счастье. В музыке нет момента информации, информация не может быть абстрактной. Она — вещь рациональная, интеллектуальная, знаковая: человек умер, человек женился. Эмоция, конечно, с информацией связана, но она возникает потом. Величие музыки в том, что вся она — чистая эмоция.

С Геной у меня рабочие отношения не складывались, он не мог не пить.

Конечно, симптомы алкоголизма у него были. Думаю, он и самоубийством кончил в момент алкогольной депрессии.

Помню, Генке очень нужны были деньги, я одолжил, он написал мне расписку — в стихах.

Я был в достаточной мере жесток к нему. Не стану оправдываться, но у меня было два таких друга (Гена — один из них), подававших колоссальные надежды. Но когда они для меня их не оправдывали, я отдалялся. Не мог с ними общаться. Глупо, наверное. Они давали мне обещания, что больше такого не будет, что станут совсем другими людьми, — ничего не менялось, все начиналось заново, это меня совершенно выбивало из колеи отношений, которые мог бы считать нормальным <...>



<...> Маргарита Менделевна Синдерович была моим помощником, советчиком, другом, печатала под мою диктовку сценарии, переписывала их, редактировала, правила, смотрела мои фильмы. <...>

<...> Ритуля была человек очень чистый, до конца верный. Если бы не она, то пропало бы все наследие Шпаликова или, во всяком случае, очень многое из написанного им. Она собирала все обрывочки, салфетки, телеграфные бланки, на оборотах которых он писал свои стихи. <...>

М. Хуциев и Г. Шпаликов на съемках
"Заставы Ильича". Фрагмент фотографии.



МАРЛЕН ХУЦИЕВ

ЛЕГКИЙ ЧЕЛОВЕК *

Шпаликов был вун. Обаятельный и не всегда бескорыстный.

Написав эти строчки, я задумался. Надолго. Вдруг я понял — что, в сущности, мало его знал.

383

1

Познакомились мы так.

Я с моим другом Феликсом Миронером писали сценарий “Застава Ильича” по договору со студией Горького. Там мне была обещана и постановка картины. Был составлен подробный поэпизодный план, половина сценария написана, как вдруг мы с Феликсом выяснили, что по-разному понимаем сюжетосложение, характеры героев — и вообще работать вместе не можем. И поскольку замысел “Заставы Ильича” был моим и ставить его должен был я, то Феликс посчитал, что он должен уйти. И ушел, четко оформив отказ от всех прав на сценарий.

А сроки поджимали.

И тогда один из студентов ВГИКа, Саша Бенкендорф, сказал, что есть в институте один парень, сценарист, очень талантливый.

* Публикуется впервые.

Пишет быстро! Безотказно, всем. Выдумщик. И вообще главная надежда современной кинодраматургии.

Сказал и привел его ко мне. Это был Гена Шпаликов. Милый, улыбчивый, обаятельный молодой человек.

Всем очень понравился.

Принес свои студенческие работы. Интересно, написано свободно, легко. Не то, что мне нужно, но почему бы не попробовать?

Прочитал, что было написано мною и Феликсом, — ему понравилось. Правда, ничего своего не предложил.

Ну не сразу же!

Так началась наша работа.

Предложил и написал Гена всего две сцены, нужные, хорошие сцены: “На выставке современных художников” и “День рождения”.

Говорить по сценарию с ним было трудно. Он говорил, что все ему нравится, и уходил куда-то в сторону, отвлекался. Не сразу выяснилось, что он пишет стихи.

Бывал на съемках (это уже потом).

Сразу со всеми подружился. Приводил на съемки своих друзей. Ему нравилось, что съемки мешаются с жизнью. Ему было весело, и он хотел, чтобы весело было всем...

О человеке разбросанном трудно писать цельно, последовательно-закругленно. Не получится, да и не надо. Пусть это будет — ну, назову так — вспышки памяти, что ли.

...Вот он стоит у окна, точно, это сентябрь 60 года, солнечный сентябрь.

Что-то говорит, улыбается. Он в какой-то рубашке коричневого цвета, да и сама рубашка как кирпичная кладка — такой рисунок. И в каждом кирпиче — иностранное слово.

— Да я не понимаю, что тут написано, — говорит Шпаликов. — Где-то на спине, так мне сказали, написано: “Сволочь”.

...Вот — вечер, горит лампа. Шпаликов заточил бритвой конец кисточки для клея, окунул в пузырек с чернилами, что-то пишет... говорит, что ему так больше нравится, чем пером... Написав, что-то зачеркнул, сунул в карман:

— А, так... Я вот тут придумал, — и рассказал, пересказал “Атланту”.

— Вот ноги моего друга... Вот руки моего друга...

Потом забрал у сына на время старый медный компас и исчез.

— Как “зачем”? А как находить дорогу ночью, например? Оказываешься ночью в незнакомой местности...

Компас не вернулся.

...Где-то на Арбате снимал комнату. Говорил, что болеет, что сердце. В комнате были детские игрушки, жестяной грузовичок, еще что-то...

— Собираю игрушки, покупаю, что понравится, будет коллекция... Не хочется взрослеть, но приходится...

На столике склянка с чернилами, полусфера с плоским дном. Темно-синяя, как вечер за окном...

— А-а... это для некоторых поэтических упражнений... Увидел на почте... Невозможно было не взять...

Смотрит с нежностью на чернильницу...

А потом, когда начались неприятности с картиной и нужно было делать поправки, стал очень принципиальным и что-либо делать отказался. Отказался и исчез...

2

А дело было очень серьезное. Речь шла о том, чтобы поправки были сделаны кем-то другим, не мной. Пойти на это я не мог, а Гена — наверное, мог. Ведь это была не его картина — для него это все было — времяпровождение.

Принципиальность Шпаликова:

— Ну как-нибудь... уладится...

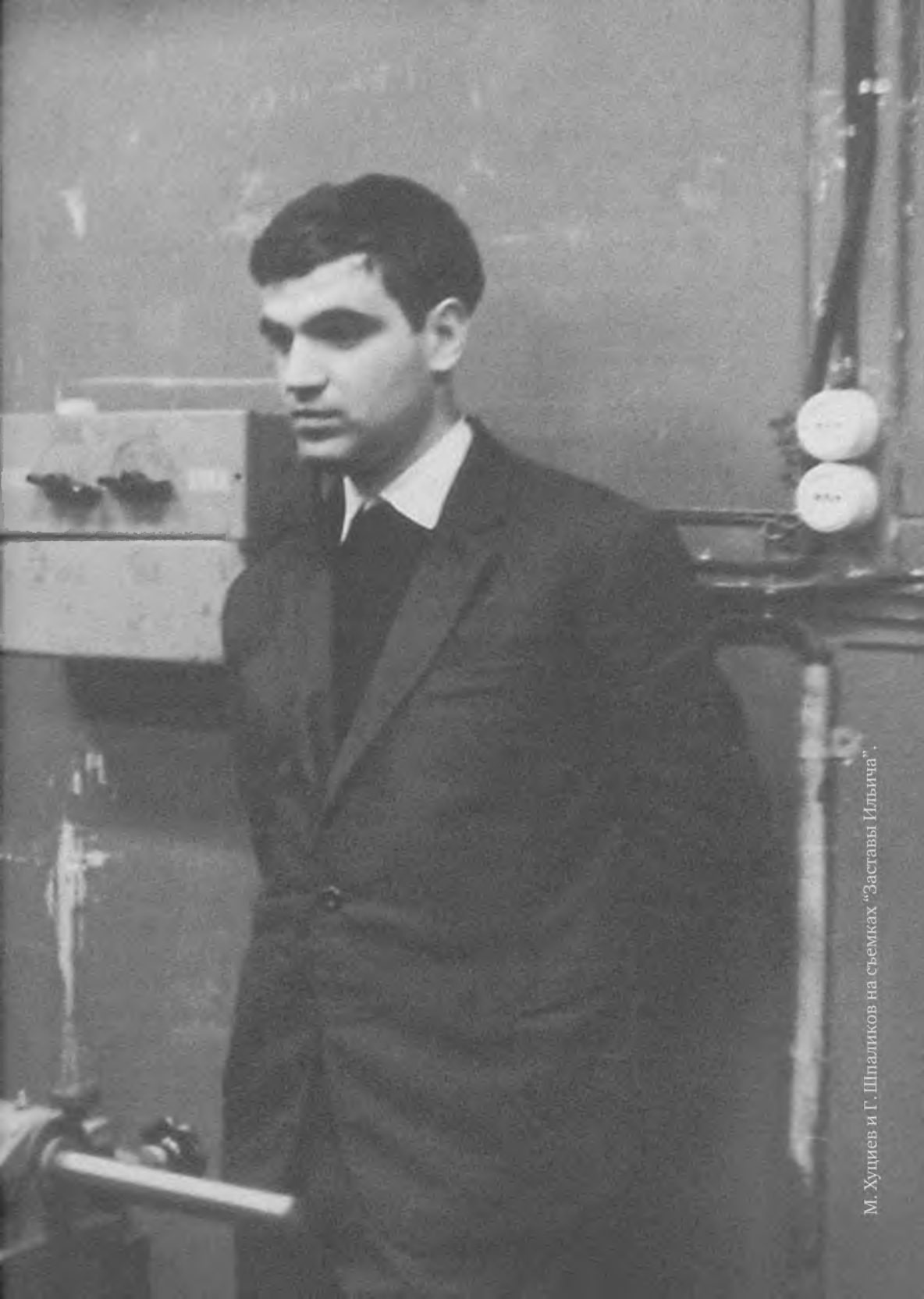
Все будет хорошо!..

Такая принципиальность имеет еще и другое название — предательство.

Я был возмущен, и это еще мягко сказано. А он уже писал “Я шагаю по Москве”.

Мне не очень интересны истории о невероятности Шпаликова. Их много, не все они правдивы — это уже эпос... Трудно читать о его пьянстве. Это была беда, большая беда, и она все время где-то маячила, присутствовала до поры до времени, пока не вышла на передовые позиции, заслоняя все, губя все..





М. Хуциев и Г. Шпаликов на съемках "Заставы Ильича".

Меня больше интересует Шпаликов как явление. Мне кажется, был он человеком глубоко, и для себя оправданно, равнодушным. Такое легкое скольжение, самоприсутствие в забавной действительности. То, что сейчас называется — пофигизм.

Если вдуматься — песня, как он “шагает по Москве”, — гимн, манифест этого явления. Тогда — этого никто не понял, да и теперь...

Теперь существует Шпаликов — как легенда.

Легенда целого поколения, времени давно прошедшего, страхи давно исчезнувшей.

Легко ли быть легендой? Ему — легко.

Бродяга. Поэт. Московский Вийон.

Но — на самом деле — это ужасно.

Подтвердят все, кто видел его в его последнее время. В белом плаще под белым снегом.

На глазах прошла и закончилась жизнь очень талантливого человека. Наверное, трудного, невыносимого. Но существует редкая картина “Долгая счастливая жизнь”, существуют стихи...

Кто не видел — пусть посмотрит, кто не читал — пусть прочтет. И ничего не нужно объяснять.

Ему нравилось выражение: “летальный исход”.

Все сбылось, но было ли так задумано?

Наверное, году в 93-м: метро “Кировская” еще было “Кировской”, а не “Чистыми прудами”, прямо под Грибоедовым стояла книжная палатка, парусиновая временка. Зашел, не знаю почему.

Книги. Разные. Кооперативные. Все, что было под запретом, а на самом деле — безобидное чтиво.

И вдруг на полке — бордово-красная шеренга — аккуратные с золотом томики: Бунин, Северянин, Камознс, Есенин, Киплинг, Шпаликов. Стоит как равный, как бывший суворовец, привыкший к строю. Плечо к плечу.

Я посмотрел, хотел купить. Не купил.

Как-то очень хорошо они стояли, жаль было нарушить этот строй...

Хорошая компания.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

УРОЖДЕН ПОЭТОМ *

Некогда, много лет назад, я увидела его веселым, сияющим, источающим сияние: глаз, лица, улыбки.

Я видела его последние, вернее, предпоследние дни. Трагическая, как бы несбывшаяся жизнь, совершенное одиночество, лютающая унижительная нужда.

Я была его товарищ, желала быть вспомогательным другом. Но я не Тот, кто ведает жизнью и смертью.

Геннадий Шпаликов урожден поэт. Читатель его вольных стихотворений и всегда подневольных сценариев поймет без моей указки и без моего указания, что Шпаликов — изначально поэт, ищущий воли, не добывший свободы, кроме той, о коей не пишу. А тут еще зависимость от кинематографа, этого ужасного, проклятого “совкино”... Это была подневольность свободолюбивых людей.

Если принять к сведению ума, что это значит: “шестидесятники”? Булата Окуджаву раздражало и огорчало это несправедливое сочетание слогов и людей. Геннадий Шпаликов есть самый хрупкий, трагический силуэт и символ этого промежутка между временем и временем. Некоторые — и я — как-то выжили, прижились. Шпаликов — не сумел, не выжил. Это благородно.

* Публикуется по: Ахмадулина Б. Урожден поэт // Прощай, Садовое кольцо. М., 2000.

Я полагаюсь на благородство читателей, которые поймут и возлюбят чистоту души поэта, изъятую в его творчестве, в его жизни и смерти.

17 сентября 1998 г.

СВЕЧА*

Геннадию Шпаликову

Всего-то — чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.
И поспешит твое перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.
Уже ты мыслишь о друзьях
все чаще, способом старинным,
и сталактитом стеариновым
займешься с нежностью в глазах.
И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

1960

* * *

То ли страсти поутихли,
То ли не было страстей, —
Потерялись в этом вихре
И пропали без вестей
Люди первых повестей.

* Это стихотворение можно рассматривать как ответ на следующие стихи Шпаликова. (Примеч. ред.)

На Песчаной — все песчано,
Лето, рвы, газопровод,
Белла с белыми плечами,
Пятьдесят девятый год,
Белле челочка идет.

Вижу четко и нечетко —
Дотянись — рукой подать —
Лето, рвы и этой челки
Красно-рыжей благодать.

Над Москвой-рекой ходили,
Вечер ясно догорал,
Продавали холодильник,
Улетали за Урал.

1959

* * *

Разговор о чебуреках поведем,
Посидим на табуретках, попоем,
О лесах, полях, долинах, о тебе,
О сверкающих павлинах на воде.

Ах, красавица, красавица моя,
Расквитаемся, поеду в Перу я.
В Перу, Перу буду пить и пировать,
Пароходы буду в море провожать.

По широкой Амазонке поплыву
И красивого бизона подстрелю.
Из бизона я сошью себе штаны,
Мне штаны для путешествия нужны.

Вижу я — горят Стожары, Южный Крест
Над снегами Кильманджаро и окрест,



Б. Ахматулина и А. Княжинский
На этой фотографии т. финн остался за кадром.

И река течет с названием Лимпопо,
И татарин из Казани ест апорт.

Засыпает, ему снится Чингисхан,
Ю. Ильенко и Толстого Льва роман,
И Толстого Алексея кинофильм:
Ахмадулина, Княжинский, Павел Финн.

АНАТОЛИЙ ГРЕБНЕВ

ОН ОБЛАДАЛ

ПРОНЗИТЕЛЬНОЙ ИСКРЕННОСТЬЮ*

394

<...> Немаловажная деталь: за отвергнутый сценарий автор все же умудрялся получать какие-то деньги. При заключении договора платили 25 процентов, еще 10 за первые поправки и 15 — за вторые; всего получалось 50 процентов, то есть 3 тысячи — сумма по тем временам приличная, если не роскошествовать. Таким способом можно было как-то существовать, делая, в общем, то, что тебе интересно, да еще и получая за это деньги. Где еще такое возможно! С годами к этому способу стал прибегать целый круг моих коллег. Так написал несколько сценариев Гена Шпаликов, так работали в разное время Рязанцева, Клепиков, Андрей Смирнов. Что-то из написанного застревало на полдороге, но что-то и проходило. “Ленфильм” был для этого, надо сказать, подходящей площадкой — люди по-ленинградски дружественные, интеллигентные, лишенные цинизма и по-ленинградски же запуганные. <...>

<...> Я нередко наблюдал это у режиссеров: картина забирает человека настолько, что он не может из нее выйти. С Райзманом мы начинали в 1970 году “Визит вежливости” после его картины “Твой современник”, и я только и слышал: побольше публицисти-

* Публикуется по: Гребнев А. Записки последнего сценариста. М., 2000.

ки! У самого Худиева завод в “Заставе Ильича” — продолжение завода из “Весны на Заречной улице”, и “Застава” поначалу была похожа на “Весну”, и лишь с приходом Шпаликова, как мне рассказывал сам Марлен, страница эта была наконец перевернута, пришла новая реальность, ее принес сценарист. <...>

<...> Помню вечер на берегу Клязьмы, когда гуляли вдвоем — Шпаликов, Худиев и я, — и он спел нам, став ногой на пенек и пристроив гитару к колену:

Мы поехали за город,
А за городом дожди.
А за городом заборы,
За заборами — вожди... —

песенку Гены Шпаликова, вскоре ставшую популярной, а ныне уже, наверное, забытую.

Там трава несмятая,
Дышится легко.
Там конфеты мятные,
Птичье молоко...

И там еще несколько строк. А последние две, как сообщил нам Галич, добавлены им самим:

А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про блядей!

И, сопя, уставится
На экран мурло:
Очень ему нравится
Мэрилин Монро!

Песни этой в сборниках Галича, щедро изданных в наше время, я не нашел и поэтому привожу ее здесь. <...>

<...> Геннадий Шпаликов прославился первой же своей картиной “Застава Ильича” (“Мне двадцать лет”), снятой Марленом Хуциевым по сценарию, который они написали вместе. Начиная Хуциев без Шпаликова, и, без сомнения, это был бы шаг вперед после “Весны на Заречной улице”, хотя тоже заводской район, только уже московский; рабочий паренек, отслуживший армию; тот же, в общем-то, круг проблем: семья, любовь, поиски места в жизни. То, что стало фильмом “Мне двадцать лет”, пришло позднее, с появлением молодого Шпаликова. Этот легкий, зыбкий, летучий диалог, эта интонация, слегка ироническая, этот юмор, и неожиданный серьез, и тема отцов и детей — все то, за что досталось картине от тогдашних партийных идеологов, было ново и необычно, и досталось-то, в общем, за эту пугающую новизну и свободу. Это был голос поколения, к которому принадлежал Шпаликов и от чьего лица он говорил. Первого поколения, которое перестало бояться.

Сценарий не драматургичен. В нем нет столкновений и конфликтов, предписанных законами драмы. Это исповедальная проза. Сценарий написан прозой и снят прозой, если позволено так выразиться. И это еще одно открытие, честь которого делят по праву писатель и режиссер. Сколько раз я слышал, что кино — грубое искусство, слышал это даже из уст такого утонченного человека, как Михаил Ильич Ромм: “грубое искусство”. То есть в том смысле, что в нем все должно быть договорено до конца; все эти нюансы, подтексты — скорее для книги, там вы можете остановиться, перечитать страницу, подумать, ощутить то, что сказано между строк. Другое дело — зрелище! И вот вам фильм, где как раз и читаешь между строк, где сама атмосфера — скажем, Первомайского праздника на улицах Москвы или ночного Садового кольца с синхронно мигающими светофорами и стихами, звучащими за кадром, — есть содержание, а не обрамление, суть, а не только форма.

Я почему-то вспомнил деталь, одну из множества поразивших меня в то время. Молодые герои картины, он и она, приходят на открытие какой-то выставки, вернисаж. Это тоже “не в сюжете”, так как никаких особенных событий на этой выставке не происходит: могло быть, а могло и не быть! Но выставка. И там, если не ошибаюсь на лестнице, случается какой-то интересный с виду моло-

дой человек, и героиня знакомит с ним своего парня. Такая беглая встреча на ходу. “Кто это?” — “Мой бывший муж”. И только. Так легко и просто. “Бывший муж” потом уже нигде в картине не появляется. Мелькнул. Никаких чувств — ни сожаления, ни досады ни с той ни с другой стороны, ни тем более вражды (ведь из-за чего-то развелись), как это было бы в любом прежнем фильме, повторяю: прежнем. Это уже другое поколение: вот так они расстаются, так невзначай “пересекаются”: “Привет!” — “Привет!”

Не могу объяснить, но в этом проходном эпизоде, как и во многих других, была для меня захватывающая новизна, какой-то неведомый алгоритм жизни пришедшего поколения. Это то, что знал Шпаликов. И, как оказалось, он один. Фильм пропитан этим незаемным знанием, оно в деталях, в подробностях поведения, в самом настроении, так чутко уловленном и переданном другим поэтом — режиссером. Мальчишка бежит стремглав по переулку, сбивая палкою сосульки из водосточных труб: весна!

Это авторский кинематограф двоих.

Теперь еще о Гене Шпаликове. Я знал его близко. Ревниво читаю все то, что пишут о нем сейчас, слушаю, что говорят по ТВ. Пишут и говорят много. <...> Интерес этот подогрет, конечно, и необычностью Гениной судьбы, обстоятельствами, о которых стало можно писать, а прежде было не принято; ныне же не только можно, но и интересно, судя по текущей прессе.

Так оказалось в поле общественного обозрения и самоубийство Гены Шпаликова, и роковая, увы, традиционная болезнь, приведшая к такому исходу.

В прежнем умолчании был, разумеется, момент политический, цензурный: сам факт самоубийства содержал в себе как бы вызов обществу поголовно благополучных и счастливых людей; не афишировалось и пристрастие к алкоголю, когда речь шла о личностях известных. Была, однако, в этом умолчании и доля, я бы сказал, щепетильности, даже стыдливости в отношении каких-то сторон бытия.

Ныне с этим ханжеством покончено. Пожилые актрисы бестрепетно рассказывают в мемуарах о своих интимных связях, называя громкие имена. А чего ж не назвать — читателю небось интересно, с кем она тайно жила.

Что же говорить о судьбе человека, который сам уже никогда не расскажет о себе и своих пороках. Расскажем мы с вами. Кинулись хором. Да и такой ли уж это, собственно говоря, порок? Вот я читаю уже, что пьянство было для кого-то (опять имена!) спасительным уходом от общества в себя или, наоборот, от себя. Человек себя губил, чтобы не жить, как другие. Доблестное пьянство артиста, пьяное забвение поэта. Совсем как у Блока: “Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцой, а вот у поэта — всемирный запой, и мало ему конституций”.

У Гены Шпаликова всемирный запой, раз уж мы об этом стали говорить, был не формой протеста, а, как ни печально, болезнью, и только.

Никакого разлада с действительностью не было. Известные неприятности с “Заставой Ильича” не выбили его из седла; пожалуй, только укрепили. Пострадавшие от критики лишь поднимались в общественном мнении. Фильм, на который ополчился в своей скандальной речи Хрущев, кстати без всякого видимого повода и даже не посмотрев, сразу привлек к себе сочувственное внимание и у нас, и за рубежом. Авторы проснулись знаменитыми. <...>

<...> Гена купался в лучах славы. Из “Заставы Ильича” он тут же легко и уверенно перешагнул в “Я шагаю по Москве”; не помню уже, как назывался этот сценарий сначала. Гена писал его в Болшеве на моих глазах, говорил, что это будет рассказ о совсем бедных московских ребятах. О бедных не получилось то ли у самого Гены, то ли у режиссера Гии Данелии, но фильм симпатичный, прошел с большим успехом, и в нем опять Шпаликов и тот же его победительный мажор и азарт.

На “Ленфильме” Гена принят был с распростертыми объятиями, получил здесь постановку — ставил собственную “Долгую счастливую жизнь” с Инной Гулая и Кириллом Лавровым в главных ролях, с замечательным оператором Месхиевым. Долгая счастливая жизнь — в этом определении не было и малейшего лукавства, такой виделась будущность. Герои Шпаликова веселы и раскованны, они — хозяева жизни, они всюду как дома, в них нет мрачности будущих или уже явившихся героев Шукшина, нет рефлексии персонажей “Июльского дождя”. “Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь...” Стагнация и разочарование ко-

пились в воздухе, но Шпаликова, как я понимаю, это не коснулось, муза его оставалась легкой и радостной. Можно порассуждать о том, как менялось, как тяжелело время, недолго тешил нас обман, и не это ли в конечном счете причина гибели таких талантов, как Шпаликов, не выдержавших другого, так сказать, напряжения в сети. Но нет. Запил он по причинам, увы, более заурядным — не потому, что не состоялся или разочаровался, а потому, что это болезнь и она его не обошла. Из богемной компании, к которой еще со вгиковских времен принадлежал Гена, может быть, один только он не выдержал, другие благополучно реализовались, во-время, что называется, взявшись за ум. Так было, наверное, во все времена. Только не надо умиляться.

Не стал бы, как водится в таких случаях, винить кого-то в равнодушии. Уж Гену-то и любили, и баловали, и заботились о нем все сообща, когда стало совсем худо. На моих глазах его родительски опекала чета Урусевских — Сергей Павлович и Белла Мироновна, с которыми он делал фильм о Есенине^{*}; до этого — Лариса Шепитько, они делали вместе сценарий “Ты и я”; потом супруги Швейцеры, пригласившие Гену делать с ними картину о Маяковском. Добрый, прелестный Гена сумел внушить к себе уважение именно в том качестве, в каком он пребывал, — с внезапными исчезновениями и появлениями, фантастическим враньем, одалживаньем денег и всем прочим — никому другому этого не простили бы, а с ним носились. Гена пропадал и появлялся, просил займы, снова исчезал, и не было тут ни скрытого протеста, ни каких-то еще внушительных социальных причин. Не было, что поделаешь. Это правда...

К последнему сценарию Гены я в какой-то мере причастен. В большевском доме, когда Гена в очередной раз плакался на безденежье, я усадил его писать заявку, а сам отправился на студию Горького к друзьям-редакторам с просьбой немедленно заключить договор, который, вы совершенно правы, скорее всего, исполнен не будет, а аванс пропадет, не будем строить иллюзий, но мало ли у вас, черт возьми, пропадают авансов, и с кем вы только не подписываете договора, а тут святое дело, и оно вам зачтется!

* Имеется в виду фильм “Пой песню, поэт”. (Примеч. ред.)

Г. Шпаликов, Л. Шепитько, Ю. Визбор на съемках фильма "Ты и я".





Тем временем в Болшеве наши общие друзья неотступно опекали строптивного Гену: Марк Розовский сторожил его возле комнаты, а сценаристка Инна Филимонова отбирала у Гены написанные странички и за ночь таким образом отпечатала заявку.

Аванс Гене заплатили. И, что интересно, он не “пропал”. К удивлению добрых наших редакторов, Гена не заначил деньги, а взял да и написал сценарий. Другое дело, что он не мог быть поставлен. И как раз потому, что обладал достоинством, которое если и могло быть оценено, то только со знаком минус, а именно — пронзительной искренностью автора.

Это сценарий “Прыг-скок, обвалился потолок”. Он напечатан в посмертном однотомнике Геннадия Шпаликова. К сожалению, так и не нашлось режиссера — даже и в новые уже времена, — который взялся бы за его постановку. Единственная попытка, о которой я знаю, заглохла почему-то в самом начале* . <...>

- * Согласно сведениям на сайтах информационных агентств, в 2016 г. А.А. Эшпай предпринял еще одну попытку снять фильм по этому сценарию, однако о результатах ее на настоящий момент ничего не известно. (Примеч. ред.)

АРМЕН МЕДВЕДЕВ

ЭТО БЫЛО НОВОЕ КИНО*

Замечателен и знаменателен приход во ВГИК Геннадия Шпаликова. Он пришел, когда мы учились на втором курсе. Его не хотели зачислять, хотя он прекрасно сдал все экзамены. Ректор Александр Николаевич Грошев выразил сомнение, сказав примерно так: “Ну, мальчик пришел из суворовского училища, у него нет никакого опыта, никаких представлений о жизни, он ведь очень скоро выдохнется”. Я тому свидетель, как Кира Константиновна Парамонова, профессор ВГИКа, бегала в кабинет ректора, где заседала приемная комиссия, и отстаивала Геннадия. Если бы те, кто решал тогда судьбу абитуриентов-кинодраматургов, почитали дневники Гены Шпаликова периода суворовского училища, которые были потом опубликованы много лет спустя в журнале “Киноведческие записки”, я убежден, они бы ахнули и уж точно не приняли бы его в институт, а образ суворовца, чьи представления о жизни ограничены уставом, развеялся бы мгновенно.

Он нес свой мир, странный, причудливый, красивый. Во ВГИКе первым его публичным самопроявлением была пьеса “Гражданин Фиолетовой республики”, я сейчас не помню подробно ее содержание, но эта вещь была сделана, мне кажется, не без влияния Швар-

* Публикуется по: Медведев А. Только о кино // Искусство кино. 1999. № 4.

ца, в ней были Генины стихи, были куплеты о герое и среди них фраза, которая стала афоризмом и вышла за стены ВГИКа: “Он лежал вперед ногами, элегантно, как рояль”.

Но было и другое. Я вспоминаю, как однажды, увидев в институтском коридоре Гену Шпаликова, Софу Давыдову и Савву Кулиша, подошел к ним как раз в тот момент, когда Геннадий, обращаясь к Савве (а Савва был третьекурсником операторского факультета), рассказывал, что товарищи, а не только преподаватели, не приняли его этюд, не поняли. А этот этюд, совершенно очаровательный, был еще и блестяще написан. По темным улицам города идет женщина, слышит за собой шаги, ускоряет ход, шаги нарастают, нарастает и чувство опасности, женщина уже почти бежит, шаги сзади все быстрее, она выскакивает на полуосвещенный трамвайный круг, спотыкается, падает, и дальше — как бы следующий план — мужчина несет на руках женщину, подвернувшую ногу. Может быть, я пересказываю грубо, но этюд был прекрасен. Вот это Шпаликов.

И такой трагический, преждевременный конец. Я не был близок с Шпаликовым, не дружил с ним, но он мне всегда был чрезвычайно интересен, и поэтому хочется бросить упрек нашей среде, которая бывает иногда великодушной, но иногда чрезвычайно жестокой. Дважды его очень серьезно и сильно, по моим представлениям, обидели. Первый раз, когда Гена был уже автором “Заставы Ильича”, за которую он бился с безоглядностью честного человека. Я уже работал в Союзе кинематографистов и оказался на одном из партийных активов, которые время от времени собирал горком КПСС. И там выступал Егорычев, который теперь пытается представить себя жертвой брежневского застоя, не будучи жертвой на самом деле, просто в свое время невпопад что-то сказал и оказался послом в Скандинавии. Помню, как он вел это собрание, как “проводил линию партии”, как после выступления Шпаликова, который с недоумением говорил: “Но ведь эти рабочие не видели нашего фильма...” (а в какой-то газете было опубликовано коллективное письмо рабочих против картины), — Егорычев проорал ему в спину, когда Гена сошел с трибуны: “Вы спасибо скажите Виктору Некрасову!”

Вскоре вышел фильм “Я шагаю по Москве”. И разговоры застольные в Доме кино были такими, что вот, мол, Шпаликов-то скурвил-

ся, написал такую лирическую комедию на потребу. Да ни на какую не на потребу. Это была потребность. Читайте стихи Шпаликова, читайте дневники Шпаликова. Никаких счётов с той страной, которую сегодня многие проклинаят, у него не было.

И второй раз его очень обидели — в Ленинграде, в Доме кино. Я видел, что он выпил и сидел жутко расстроенный. Зал проголосовал ногами против его фильма “Долгая счастливая жизнь”. А для меня эта картина связана с тем его первым этюдом, который я услышал во вгиковском коридоре, с его лирикой. Блистательная картина, совершенно обойденная, никак не реабилитированная, потому что формально вроде бы она вышла в прокат и просто не понравилась творческой общественности. А это было новое кино, которое принес на экран Геннадий.

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВСКИЙ

БУТЫЛЬ НА ЛАФЕТЕ *

406

Однажды мой друг, оператор Виля, позвонил и сказал, что собирается компания попить пивка и послушать песни, очень здорово под гитару тут один парень поет. Сочиняет и поет. Возьми пару бутылок и приезжай. Запиши адрес.

Меня встретила хозяйка квартиры — Наташа, жена Гены. В небольшой комнате на полу несколько газет, на них вобла, черный хлеб и стаканы. Вокруг полулежали, полусидели хорошо знакомые мне ребята, — позвонивший мне Виля, Юлик Файт, Саша Княжинский, Паша Финн, Гоша Рерберг, а в центре неизвестный мне до тех пор, с гитарой и с бескрайней, искрящейся обаятельной улыбкой, Гена. Он протянул мне руку, сказал: “Гена” — и в тот же миг меня что-то потянуло к нему и притянуло на долгие годы. Та же рука, только что пожавшая мою, ударила по струнам, и зазвенела песня.

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе, —
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

* Публикуется по: Федоровский Д. Пазл. Вокруг да около кино: Рассказы. М., 2012.

Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды.
Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды.

Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости-прощай, Центральный комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.

Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Не один раз посылались “гонцы” за пивом, было спето еще немало песен. Они были удивительно свежими, оригинальными по мысли и стихам, и мы не заметили, как за окном стемнело и зажглись фонари на московских улицах. Разошлись поздно, а наутро позвонил Гена.

— Мить, у тебя машинка пишущая есть, а то моя сломалась. Мне надо заявку на “Мосфильм” настучать.

— Есть, приезжай!

Я жил в ту пору в мастерской своего деда на девятом этаже в Брюсовом переулке. Главным украшением моего жилища была здоровенная бутылка из-под коньяка “Хеннесси” с пробкой в виде парижской Триумфальной арки, а сама бутылка возлежала на возвышении в виде пушечного лафета так, что ее можно было наклонять и разливать по рюмкам. Это сокровище, к сожалению пустое, хотя на донышке плескался и источал волшебный аромат жалкий остаток, я выклянчил у английского журналиста Паркера, с которым был знаком по работе на телевидении. Заметьте, на дворе был 1964 год и в Москве французским коньяком даже отдаленно еще не пахло!

Гена вошел и сразу уставился на французское чудо.

— Интересно, сколько же туда входит?

— Я думаю, пять бутылок войдет.





Д. Федоровский, Г. Шпаликов, М. Осельян
на съемках "Заставы Ильича". Фото © Музей кино

— Ого! Ладно, где машинка? Я напишу заявку для Гии Данелии, я придумал сценарий, будет называться “Я шагаю по Москве”, — быстро, скороговоркой сказал он, — потом поеду на “Мосфильм”, получу аванс и вернусь. Проверим, войдет или нет. Ты дома будешь?

— Да.

Заявка на сценарий была отстукана мгновенно, причем без знаков препинания, с ошибками (он всегда так писал, не обращая внимания на орфографию, ему был важен сюжет). Заявка заняла чуть больше полстраницы. В начале было напечатано:

Геннадий Шпаликов.

Заявка на сценарий “Я шагаю по Москве”.

Гена быстро выдернул бумагу из-под каретки, не читая сунул ее в карман, сказал, что это будет гениальное кино, и уехал.

Солидные авторы обычно подробно расписывали свои замыслы, ну, по меньшей мере страницы на три, а то и больше, писали грамотно, высоким “штилем”, а тут за пять минут и кое-как! Я был абсолютно уверен, что это блеф, который никто не примет всерьез, а уж денег-то точно не заплатит никто. Прошло почти два часа, в дверь позвонили. На пороге стоял Шпаликов, улыбаясь до ушей, держа в руках два больших черных пакета из-под пленки и гитару. В пакетах булькало.

— Митька, заявку приняли! Аванс заплатили! Давай наливать!

Все пять бутылок армянского трехзвездочного коньяка из черных пакетов аккуратно уместились под пробку с Триумфальной аркой... Пока я разливал, Генка звонил друзьям, сообщая каждому про бутылку.

— Представляешь! — говорил он каждому. — Вези закуску!

Пока ребята ехали, чтоб приобщиться к французскому диву, залитому нашим коньяком, мы начали дегустацию. Под лимон. Особенно приятно было наклонять бутылку на лафете и следить за тем, чтоб ни одна капля не свалилась за край рюмки. После третьей Гена ударил по струнам.

— Новая песня!

Бывают крылья у художников,
Портных и железнодорожников,
Но лишь художники открыли,
Как прорастают эти крылья.

А прорастают они так:
Из ничего, из ниоткуда,
Нет объяснения у чуда,
И я на это не мастак.

МАРИАННА ВЕРТИНСКАЯ

ЛЕГКАЯ РЕЧЬ*

412



Когда мы снимали “Заставу Ильича”, она вызывала такой огромный интерес к себе, что у нас на съемках торчали все: и режиссеры, и молодые артисты, и сценаристы. Все сидели, смотрели, все вместе просматривали материал. Впервые Рита Пилихина начала снимать с рук. Все было вновь. И Гена постоянно был на площадке. Он так легко писал <...> Тогда в сценариях были очень кондовые диалоги, очень трудно было их произносить. У него впервые появилась в кинематографе вот такая легкая речь. <...> И вдруг, бац — консервация картины. <...>



У меня было тогда пальто серебристого цвета. Он как-то ко мне подошел: “Машка, смотрю на тебя и не могу понять, ты похожа на Аэлилу, то ли на водосточную трубу”.

* Публикуется по: Фильм “Я шагаю по Москве...”, реж. Л. Вьюгина. РТР “Планета”.



Он был недомашний человек. Когда в одной компании что-то кончалось, он шел в другую, в третью, в четвертую, в пятую. Его всюду ждали, принимали <...>



Как-то он пришел ко мне, говорит: “Поедем с тобой, навестим Инну”.

Мне он написал в тот день:

Выпей со мной, Марьяна,
Из моего стакана.
Пусть тебе снится
Светлая Ницца
И заграница, Марьяна.
Кошки на мягких лапах,
Твой знаменитый папа.
<...>

<...> И мы поехали к Инне в больницу. Написали ей записки, передали. Она нам прислала: “Идите к черту...” Инка вся в этом.

Она его, конечно, пыталась как-то заземлить, воздушный шарик приколоть.

Другое дело, что она тоже не была женщиной, рожденной для дома, для семьи. Они были по-разному, но отвязные люди, и он, и она.

Они до конца не расставались. Это постоянно было, они то сходились, то расходились, то сходились, то расходились <...>

Вечер в Литературном музее,
посвященный памяти Г. Шпаликова.
Сидят Ю. Файт, М. Вертинская,
М. Хуциев, Е. Габрилович, Д. Урнов.
Фото © Музей кино





ЮЛИЙ ФАЙТ

НЕ ЗНАЮ, КАК НАЗВАТЬ*

416

...Сегодня воскресенье в лесу,
На даче, на шоссе и на болоте...

Это из стихотворения Шпаликова.

Сегодня, в хорошее летнее воскресенье, минуя леса и болота, Гена добрался к нам на дачу. Он приехал просто так, в гости. Работа над нашей общей первой картиной — маленьким детским фильмом “Трамвай в другие города” — была закончена, никакие особые заботы над нами не висели, предстоял славный денек. Вся семья была рада — Гену нельзя было не любить. И мой отец — киноактер Андрей Андреевич Файт, и братья, и их жены — все были под его обаянием. Семья собиралась уже к столь естественному в таком случае застолью, но... Гена исчез. Он исчез где-то в зарослях нашего участка с двумя моими племянницами — им было, кажется, семь и десять лет. Ни на какие призывы с балкона второго этажа они не откликались. Только изредка были слышны радостные или испуганные детские возгласы или индейские кличи. Вернулись они часа через два. На расспросы отвечать отказывались. Гена говорил: “Тайна!”

* Публикуется впервые.

В начале сентября старшая племянница принесла из школы свое сочинение, признанное чуть ли не лучшим в районе, на тему: “Как я провела лето”. В нем был описан лишь один день. И только тогда мы узнали о вигвамах, встречах с дикими зверями, опасных переправах, поисках и находках удивительных, звенящих из-под земли кладов (Гена собрал со всей дачи будильники, заводил их и прятал в ямках или под хворостом, прилагая к ним украденную у женщин бижутерию). Этот день навсегда остался в памяти племянниц. “Давно это было, а не увижу лучшего!” Это тоже из Шпаликова.

Поразительна была способность Гены сходитьсь с людьми вне зависимости от их возраста, профессии, положения. Он мгновенно подружился с очень пожилым великим летчиком Константином Константиновичем Арцеуловым, когда-то на заре авиации научившим пилотов выходить из штопора, считавшегося безусловно смертельным. Он дружил с писателями Виктором Некрасовым и Александром Галичем, юной пианисткой Катей Новицкой и маститым Зиновием Гердтом, с Василием Ливановым и его матерью Евгенией Казимировной. Уже не говорю о тех, с кем он плотно работал, — Хуциев, Данелия, Туров, Швейцер, Шепитько, Хржановский, Урусевский, Княжинский, Тодоровский... Я называю людей известных, чтобы вы могли почувствовать широту круга общения Гены. Но Шпаликов был начисто лишен снобизма в выборе друзей и знакомых. Не подумайте, что он был нараспашку, легко открывался каждому встречному. Гена ревниво охранял свою нежную душу и только в творчестве бывал истинно откровенен.

Другое дело — с детьми. Почитайте его стихи, посвященные дочери Даше. Однажды мы гуляли по осеннему парку с его сестрой Леной и ее маленьким сыном Сеней. Сбоку у дорожки были собраны огромные кучи пестрых осенних листьев. Гена подбрасывал племянника высоко в воздух, кричал: “Запуск! Поехали!” И когда из кучи показывалась счастливая физиономия Сени — такое же счастье было на лице Гены. Семилетних мальчишек, снимавшихся в нашем фильме, Андрюшу Титова и Женю Богданова, он окрестил “Космонавтом № 1” и “Космонавтом № 2” и присылал им в экспедицию веселые письма.

Несмотря на серьезность и трагичность его работы и судьбы, в нем действительно было много детского. Замечательно его на-

ивно-восторженное отношение к делам авиационным и космическим. Он собирал портреты космонавтов и астронавтов, фотографии космических аппаратов и обратной стороны Луны, схемы полетов. Вот телеграмма, которую он послал однажды ночью своему товарищу в Доме творчества кинематографистов “Болшево” (в соседнюю комнату):

Срочно вылетайте сюда, чтобы связать трагическую нестыковку — трехдневный спящий аджанами в отсутствие открытого космоса крайнего необходимого захватите чертеж скафандра — обеспечим на месте объем работ невелик, но налицо существует возможность трагического исхода! Предупредите родных — своих хуже предупредили! Погода космоса неустойчива! Пошаливает пимезон! Привет от руководства на совместном руководстве! Партком института им. сербского субьянтца тридцать восьмого марта обрываете устаканенные часы с третьего года.

Она была отпечатана на машинке именно так, без пропусков, на длинной узкой ленте, будто сошедшей с телеграфного аппарата. Он был прав, когда написал: “Я родом из детства”.

Суворовец послевоенного времени, сын погибшего в 44-м офицера, он писал, кажется, всегда. Первые стихи записаны старательными детскими каракулями с множеством естественных для этого нежного возраста грамматических ошибок. В суворовском училище он ведет подробный дневник, аккуратно в конце каждого года перебеливает в толстые тетради сочиненные стихи. Поэт еще бьется в рамках подражательности, хотя уже вспыхивают отдельные строки будущего Шпаликова. Юноше тесно в жестких рамках училищной дисциплины: “Родное училище / очень / Надоело!” Но Судьба знает, что делает. Травма на учениях — и Шпаликов комиссован. Свобода! Вот что было нужно и чего не хватало.

...Не получился лейтенант,
Не вышел. Я — не получился.
Но, говорят, во мне талант
Иного качества открылся:
Я сочиняю — я пишу.



В Московском зоопарке. Вверху: А. Княжинский, Г. Шпаликов, Ю. Файт. Фото Г. Рерберга.
Внизу: Г. Рерберг, Г. Шпаликов, Ю. Файт. Фото А. Княжинского.



Г. Шпаликов, Ю. Файт, А. Княжинский. Фото © Музей кино







В Московском зоопарке. Ю. Файт, А. Княжинский и Г. Шпаликов с подругами.
Фото © Музей кино

С приходом в Институт кинематографии Шпаликов сразу отмечен как талант яркий и своеобразный. Я не собираюсь здесь анализировать тот несомненный вклад в наш кинематограф, который сделал Шпаликов — сценарист, режиссер, автор песен. В предисловии к первому сборнику его произведений*, написанном с любовью и пониманием друзьями и коллегами автора — Евгением Габриловичем и Павлом Финном — дается развернутая профессиональная оценка. В частности, они пишут:

“Шпаликову было дано счастливое для писателя качество — совмещение ‘Я’ реального, биографического с лирическим ‘Я’. Вся его жизнь, интересы, увлечения, соображения и привязанности тотчас становились материалом его кинематографа, который сейчас мы смело можем назвать ‘кинематографом Шпаликова’”.

Почти юнцом он становится знаменит. Фильм, сделанный им с М. Хуциевым, “Застава Ильича”, стал открытием новых людей, характеров, даже новой для нашего кино Москвы. Небывалой популярностью пользовался неподражаемо жизнерадостный фильм, поставленный Г. Данелией по его сценарию, — “Я шагаю по Москве”.

Вообще, Шпаликов — человек Москвы, хотя и родился в г. Сегеже Карело-Финской АССР. В Москве живут его герои, Москва зримо присутствует во множестве стихотворений разных лет.

...Над Москвой-рекой ходили,
Вечер ясно догорал...

...И вот уж Патриаршие пруды
Идут ко мне в осеннем полумраке...

...Татарово, я не ревную...

...Прощай, Садовое кольцо...

Москва — пожалуй, главный герой непоставленного сценария “Причал”, такого свежего и ясного, как Москва ранним летним утром после проезда поливалок.

* Г. Шпаликов. Избранное. М.: Искусство, 1979. (Примеч. ред.)

И вот — пожалуй, первая трагедия на творческом пути: фильм “Причал” уже запущен в производство, первая большая работа по договору с “Мосфильмом” — и один из сопостановщиков, дипломник мастерской М.И. Ромма во ВГИКе Володя Китайский, кончает жизнь самоубийством.

Но ведь это было в молодости! Ничто не могло победить неуемной энергии жизни. Были друзья, любовь, первые успехи, впереди все было хотя и не очень ясно, но наверняка прекрасно. И были первые песни под примитивный аккомпанемент гитары. Песни часто посвящались друзьям, так же как и стихи, шуточные послания. Шпаликов щедро дарил поэтические экспромты. Довольно широко известная теперь песенка “Ах, утону я в Западной Двине” была сочинена в подарок нашему приятелю Вайлю во время сборов на день его рождения, в процессе бритья и поисков чистой рубашки.

...Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Как это часто бывает с лирическими поэтами, написанное ими по стороннему поводу читатели относят непосредственно к личности автора, путая его с героем произведения, и песня эта давно уже воспринимается и толкуется как автобиографическая (тем более что написана от первого лица). Да и неспроста, если вдуматься в текст. Лучшие песни становятся знаком времени, проникают во все поры общества, особенно в его молодую поросль.

Однажды мы с Геной шли по ночному Ленинграду, пустынным Невским проспектом приближались к Дворцовой площади, говорили о вечном, и вдруг из подворотни Главного штаба Российской империи, из-под величественной арки России выкатилась тройка молодых морячков. Они шли обнявшись, слегка поддерживая друг друга, и горланили:

...Ах ты, палуба, палуба,
Ты меня раскачай,
Ты печаль мою, палуба,
Расколи о причал.

Это была песня Шпаликова. Гена бросился их обнимать, сбивчиво и немного заикаясь объяснял ничего не понимающим ребятам свой восторг, и мы вместе продолжили путешествие по ночному Ленинграду.

У вечно безденежного поэта (“...Труды приносят мне долги... Долги построились в полки...”) была хорошая шутка: “Если бы каждый, кто поет мою ‘Палубу’, дал мне по рублю, я стал бы миллионером”. Миллионером он не стал, но некоторое время песни слегка поддерживали его материально. В стихотворном письме автору этих строк Шпаликов написал:

О, что напела мне страна?
Какие пали дивиденды? <так у автора>
Поет и тенор, и шпана,
А мне положены проценты.

Вообще, компания, окружавшая Шпаликова, выглядела не слишком презентабельно.

Пьют, гуляют, веселятся, делают глупости. Вроде взрослые уже люди. К самому Шпаликову многие могли бы отнести в то время определение Моцарта, вложенное Пушкиным в уста Сальери, — “гуляка праздный”. Да ведь и самого Александра Сергеевича даже близкие друзья осуждали за не слишком примерное поведение. Поверьте, я не сравниваю. Но стоит посмотреть, что сделано Шпаликовым уже в первые годы вхождения в литературу. Несколько сценариев, рассказы, пьеса “Гражданин Фиолетовой республики”, очерки, множество стихов, веселые и грустные, но всегда ироничные песни. Впечатляют многочисленные черновики. А дальше — работа, работа, до конца...

Талант его мужал, проблемы нарастали, поначалу такое ласковое к нему время становилось жестким, безжалостным. Не увидевшие экрана сценарии, снятая с репертуара пьеса о декабристах, никогда не печатавшиеся стихи... Единственная режиссерская работа — фильм по собственному сценарию “Долгая счастливая жизнь” (премия на Фестивале авторского фильма в Бергамо, Италия). В фонде Шпаликова в Музее кино хранится множество рукописей. Наброски, замыслы, планы, готовые к работе вещи.

Г. Шпаликов и А. Княжинский. Фото, подаренное Ю. Файту.



Ю. Файту, 6 огул не а



and Campbell being on with glasses
— 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st

Вот, например, сценарий с замечательным названием: “В поисках пространства и света”. Поразительно написан этот сценарий. Наивысший полет человеческой мысли, поиск внеземных цивилизаций, и рядом — футбол по телевидению под бутылку холодного пива. До мельчайших деталей точно наблюденная жизнь в обыкновенной семье шофера, где беременная жена без повода набрасывается на не слишком сдерживающего себя мужа, — и взаимное непонимание ученых на грани науки и фантастики. Счастье услышать сигнал из космоса — и счастье родить сына. Каждый из участников драмы — особый, единственный человек, вместе они — Человечество. Этот сценарий не был ни поставлен, ни опубликован. Мечтая стать прозаиком, писателем, не зависящим от кинематографических перипетий и конъюнктуры, Шпаликов попытался написать роман, перемешав сегодняшнее и вечное, картины жизни земной и потусторонней, персонажей ныне живущих и давно ушедших. Опять же не сравнивая — вспомните композицию “Мастера и Маргариты”. Работа не была завершена. Гена сам ушел в другое измерение. Осталось 116 страниц машинописи.

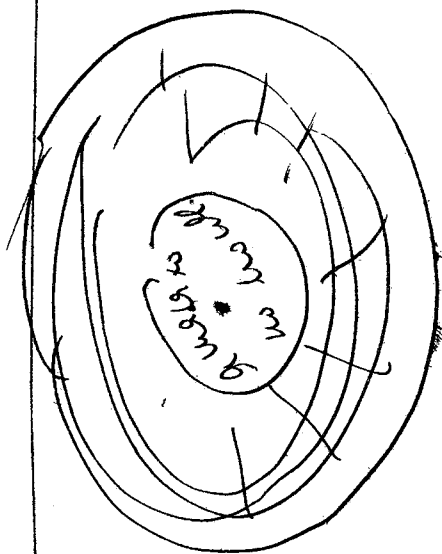
На первом вечере, посвященном памяти Шпаликова, в Литературном музее выступил известный литературовед Дмитрий Урнов. Он поставил шпаликовское “Я шагаю по Москве” в один ряд с лермонтовским “Москва, Москва, люблю тебя, как сын...” и пушкинским “Москва... как много в этом звуке...”. Причем не знаменитый фильм, а стихотворение Шпаликова:

Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске.
Что такое — сквер направо
И налево тоже сквер.
Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл...

Какой родной, близкий, любимый Пушкин у Шпаликова. Как и Москва, он один из постоянных героев его лирики. Три посвяще-

200 1111 6 10111
 11111111111111111111
 11 1111 4 111111
 200 1111 111111
 11111111111111111111
 200 1111 111111
 11111111111111111111
 11 111111 111111
 11111111111111111111

11111111111111111111
 11111111111111111111



ния Пушкину, частое упоминание и цитирование в сценариях, серьезная подготовка с М. Хуциевым к работе над фильмом о Пушкине (не случилось). А главное — прямое следование, нравственное и художественное, в фарватере творчества Пушкина. Одна из лучших черт Шпаликова — прямо пушкинская верность дружеству. Сколько стихов и песен посвящено друзьям, сколько времени проведено вместе, и отнюдь не только за столом. Множество раздаренных друзьям автографов и фотографий с надписями. Если бы это не было сказано раньше, он бы обязательно сказал: “Друзья мои, прекрасен наш союз!” Конечно, с годами круг сужается, художник обособляется. Гена не раз говорил, что друзья бывают только в юности, дальше — собутыльники. Но...

...Редееет круг друзей, но — позови,
Давай поговорим как лицеисты
О Шиллере, о славе, о любви,
О женщинах — возвышенно и чисто...

Совсем не случайно в одном из центральных эпизодов “Заставы Ильича” — дне рождения героини — собраны друзья, приятели, знакомые Шпаликова — его круг.

Через всю жизнь он пронес тепло дружеских отношений с одноклассниками-суворовцами. Хотя и написано с некоторой неприязнью в юношеском стихотворении: “Каждый день — бритый затылок впереди стоящего”. Но лучшее, что было в отношениях мальчишек, оторванных от домашнего очага, сохранилось (читайте рассказ “Патруль 31 декабря”). И сейчас, через много лет, поседевшие суворовцы отмечают годовщины и вспоминают друга юности.

“Бывают странные сближения...” Сближение творчества Шпаликова с пушкинским направлением в русской литературе не кажется странным.

...С меня при цифре “37”
В момент слетает хмель,
Вот и сейчас как холодом подуло...

В. Высоцкий



Государственный Комитет Совета Министров СССР по кинематографии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНОСТУДИЯ „ЛЕНФИЛЬМ“

3-е ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Широкоэкранный кинофильм

„ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ“

Ленинград П-101, Кировский пр., дом № 10

Телефон В-8-60-52

тлф. з. 388 8-5-65 г. г. 10х100

№ _____

_____ 196__ г.

милый уж с кино уйдя
и с кино уходя?
Им обидно — им привидеться
а на реке реет след —

Золотку в день
унося в свечки —
с юностью, естественно,
злой и счастливой юности!

Г. Ш.

К. В. Г. 14 мая.

Кедринич.

Байрон, Рембо, Маяковский... и, конечно, сам Пушкин. Роковые тридцать семь.

Кинодраматург Наталья Рязанцева, первая жена Шпаликова, написала: “Он знал, что будет жить недолго и будет жить после смерти. Мы ходили на Ваганьково, где похоронили его бабушку, пустынное, тихое Ваганьково пятьдесят девятого года, и он сказал, что проживет до тридцати семи лет, потому что поэту дольше жить неприлично”.

Он родился в 37-м и прожил тридцать семь.

Когда 1 ноября 1974 года Геннадий Шпаликов сам прекратил свое земное существование, было очень горько, больно.

Как-то в конце теплого летнего дня Гена позвонил мне и позвал в Покровское-Стрешнево, где их семья жила после войны. Он давно там не был. Этакое небольшое “путешествие в обратно” (его выражение). На окраине Москвы стоял десяток трех-четырёхэтажных домов, построенных просто, без затей. Небольшие палисадники перед окнами, врытые в землю столы, предназначенные для игры в домино.

Мы присели за такой столик. Гена достал четвертинку.

Почему-то вокруг никого не было, ни души. Стояла странная тишина. Только далекий шум большого города да журчание маленького самолета над Тушинским аэродромом.

...А в Тушине лето как лето,
И можно смотреть без билета,
Как прыгают парашютисты —
Воздушных парадов артисты...

Мы и смотрели. Молча.

И вдруг женский голос отчетливо и ясно позвал: “Гена!”

Мы заоглядывались. Никого, ни вокруг, ни в окнах. Посидели, помолчали.

И опять: “Гена!” Голос звучал будто сверху и был какой-то... славный, другого слова не подберу.

Неловко улыбаясь, мы поднялись и... уехали.

Так теперь иногда я слышу голос Гены, называющий меня по имени.

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ

БРЫЗГИ ШАМΠΑНСКОГО*

435

Пришел Гена Шпаликов, принес бутылку шампанского в авоське и сказал, что придумал для меня классный сценарий. И рассказал:

— Дождь, посреди улицы идет девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над девушкой зонтик, она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается... Нравится?

— И что дальше?

— А дальше придумаем.

Гена поставил на стол бутылку шампанского, достал из серванта бокалы. Шампанское было теплым, и, когда Гена открывал, полбутылки вылилось на свежевыкрашенную клеевой краской стену.

— Хорошая примета! — обрадовался Гена.

Но мама, когда увидела пятно на стене, не очень обрадовалась. Два дня назад у нас закончился ремонт, который длился три месяца.

А через полтора года, после премьеры фильма в Доме кино, мама сказала, что не против, чтобы Гена забрызгал шампанским и другую стену, — если будет такой же результат.

* Публикуется по: Даниеля Г. Безбилетный пассажир. М., 2003.

В прошлом году меня познакомили с французским продюсером. Он поинтересовался, какие фильмы я снимал. Переводчик перечислил. Среди прочих назвал и “Я шагаю по Москве”.

— Это не тот фильм, где идет девушка под дождем, а за ней едет велосипедист?

Сорок лет прошло с тех пор, как фильм показывали во Франции, а он запомнил именно то, с чего все началось...

Между прочим. В этой сцене снимались три девушки. Две блондинки, а третья — журналистка. В субботу снимали общий план — идет светловолосая девушка, за ней едет велосипедист с зонтиком. В понедельник светловолосая стройная девушка на съемку не явилась. Ассистенты ринулись во ВГИК и привезли другую, тоже светловолосую и стройную. Сняли крупный план. Но оказалось, что у нее экзамен и ей надо уходить. И пришлось снимать босые ноги корреспондентки “Известий”, которая терпеливо ждала, пока мы освободимся, чтобы взять интервью.

ОЧЕНЬ УМНЫЙ ПОЛОТЕР

Над сценарием я всегда работаю очень долго. Бывает так: уже написано слово “конец”, уже поставили дату, уже везу сценарий на “Мосфильм” сдавать... Но по дороге придумываю хорошую реплику, разворачиваюсь, возвращаюсь, вставляю реплику и понимаю, что надо еще кое-что поправить. И начинаю переписывать... И если бы не сроки, то я, наверное, до сих пор бы переделывал сценарий “Сережи”.

Но сценарий фильма “Я шагаю по Москве” мы со Шпаликовым бесконечно переделывали не из-за меня — из-за Никиты Сергеевича Хрущева. На встрече с интеллигенцией Никита Сергеевич сказал, что фильм “Застава Ильича” (режиссер Хуциев, сценарий Шпаликова) идеологически вредный: “Три парня и девушка шляются по городу и ничего не делают”. И в нашем сценарии три парня и девушка. И тоже шляются. И тоже Шпаликов. И поэтому худсовет объединения сценариев не принимал. Но на Хрущева не ссылались, а говорили, что мало действия, что надо уточнить мысль, прочертить сюжет, разработать характеры...

Здесь надо рассказать, как принимался сценарий в те времена. Сначала его должен был принять редактор объединения, потом редколлегия объединения, куда входили штатные и внештатные редакторы, потом худсовет объединения — все те же редакторы плюс режиссеры, сценаристы и парторг, потом редколлегия “Мосфильма”, потом главный редактор “Мосфильма”, потом директор “Мосфильма”. И потом сценарий отправляли в Госкино. Там его читал редактор, курирующий студию “Мосфильм”, и представлял на редколлегию Госкино. Потом его читал главный редактор Госкино и представлял министру или, в крайнем случае, заместителю министра. И только после всего этого пути фильм запускали (или не запускали) в производство. На любом этапе могли сделать замечания, и авторы обязаны были их учесть. Готовый фильм принимали по такому же пути, но только его еще отсылали на консультацию в ЦК, в ГлавПУР (Главное политическое управление армии) и “причастному” ведомству: если фильм о плотнике, то министру строительства, если о деревенском вертолетчике — министру авиации и т. д.

Между прочим. Как-то в Западном Берлине немецкий прокатчик, купивший картину Меньшова “Москва слезам не верит”, похвастался мне, что в Германии за месяц уже посмотрели фильм сто тысяч зрителей. Я ему сказал, что столько людей у нас только принимают фильм.

Мы со своим сценарием застряли в начале пути — на худсовете объединения. Полгода мы с Геной уточняли мысль, прочерчивали сюжет, разрабатывали характеры, а на худсовете объединения сценарий все не принимали и не принимали. Мне это надоело, и я, нарушив субординацию, отнес сценарий Баскакову:

— Прочитайте и скажите, стоит дальше работать или бросить.

Баскаков читать не стал. Спросил:

— Без фиги в кармане?

— Без.

— Слово?

— Слово.

И Баскаков велел фильм запустить.

Этот фильм снимали легко, быстро и весело. И нам нравилось то, что мы делаем. И материал всем нам нравился. Мне при-

ятно было находиться в компании Кольки, Алены, Володи и Саши и во время съемок, и после, когда я вечером дома продумывал план следующего дня...

Но когда показали материал худсовету объединения, там опять сказали:

— Непонятно, о чем фильм.

— О хороших людях.

— Этого мало. Нужен эпизод, который уточнял бы смысл.

Честно говоря, мы и сами уже понимали, что в фильме чего-то не хватает. Съемочный период кончался, и сцена нужна была срочно. После худсовета мы с Геной весь вечер пытались что-то придумать — ничего не получалось. Вставляем умные реплики “со смыслом” — сразу становится очень скучно. В этот день так ничего и не придумали.

На следующий день мы с Геной на моей машине поехали в роддом за его женой Инной Гулая и дочкой Дашей. По дороге прикидываем: а может, Володя написал рассказ и послал его писателю, а теперь приходит к нему за отзывом — и писатель говорит “про смысл”...

Тоже тоска.

Забрали Инну и Дашу, приехали к Гене. В подъезде уборщица мыла лестницу. Вошли в квартиру. В одной комнате собрались — мама Гены, мама Инны, Инна, маленькая Даша, соседка по квартире... Все умиляются новорожденной, гукают... А я говорю Гене:

— А может, полотер? Володя перепутал писателя с полотером, а?

— Гена, дай пеленку, — сказала Иннина мама. — В комоде, в третьем ящике.

— Да, — сказал Гена, подавая пеленку, — “про смысл” должен говорить полотер.

— Какой полотер? — спросила Генина мама.

— Да это мы так... Гена, пошли покурим, — позвал я.

По дороге в прихожей я прихватил пустую картонную коробку из-под торта, и мы пошли на лестницу. Я закурил, положил коробку на подоконник, открыл ее, достал карандаш и дал Гене:

— Ну, давай писать.

— Ты что? Потом напишем, Инна обидится.

— Инна не заметит, мы быстро.

И мы написали. Полотер у нас оказался литературно подкованным: прочитал рассказ Володи и говорит ему то, что говорили нам “они”. А Володя не соглашается и говорит полотеру то, что говорили им мы. Сцена получилась недлинной — уместилась на крышке и днище коробки.

В фильме эпизод получился симпатичным, полотера очень смешно сыграл режиссер Владимир Басов (актерский дебют).

Когда сдавали картину худсовету объединения, мы боялись, что “они” поймут, что это про них, и эпизод выкинут. Но “они” оказались умнее, чем мы про них думали, и сделали вид, что ничего не заметили.

Но в Госкино после просмотра нам опять сказали:

— Непонятно, о чем фильм.

— Это комедия, — сказали мы.

Почему-то считается, что комедия может быть ни о чем.

— А почему не смешно?

— Потому что это лирическая комедия.

— Тогда напишите, что лирическая.

Мы написали. Так возник новый жанр — лирическая комедия.

Во всяком случае, до этого в титрах я нигде такого не видел.

Между прочим. Через много лет, когда была пресс-конференция по фильму “Орел и решка”, журналисты меня спросили:

— Что вы хотели сказать этим фильмом?

— Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса.

И с тех пор все фильмы, где не насируют и не убивают, причисляют к жанру “лекарство против стресса”.

НИКИТА

Сейчас между моим поколением и молодыми режиссерами — большая дистанция. Разное мышление, разное мировоззрение, разная стилистика. Не берусь судить, кто и что лучше. Помню, когда я пришел в кино, Пырьеву и Дзигану (и многим кинематографистам их поколения) совершенно искренне не нравились фильмы Хуциева и Тарковского, а нам не очень-то нравилось то, что снимали они.

Г. Шпаликов на съемках фильма "Я шагаю по Москве". Фото © Музей кино





Когда перед съездом кинематографистов на пресс-конференции у меня спросили, как я отношусь к тому, что мои последние фильмы молодые режиссеры считают старомодными, я ответил, что это неправда.

— Недавно один талантливый молодой режиссер посмотрел по телевидению фильм “Орел и решка”, позвонил мне, наговорил кучу комплиментов и сказал, что фильм очень современный.

— А кто именно?

— Никита Михалков.

— Вы кого имеете в виду — Никиту Сергеевича?

Я сообразил, что Никите уже за пятьдесят. А для меня Никита — Колька из фильма “Я шагаю по Москве”. Кольку мы назвали Колькой в честь моего сына. И так я до сих пор к Никите и отношусь.

Взять Никиту на роль Кольки предложил Гена Шпаликов. Он дружил с братом Никиты Андроном Михалковым (теперь Кончаловским).

Никиту я видел полгода назад — подросток, гадкий утенок.

— Никита не годится — он маленький.

— А ты его вызови.

Вызвали. Вошел верзила на голову выше меня. Пока мы бесконечно переделывали сценарий, вышло как у Маршака: “За время пути собачка могла подрасти”.

Начали снимать. Через неделю ассистент по актерам Лика Ароновна сообщает:

— Михалков отказывается сниматься.

— ?

— Требуется двадцать пять рублей в день.

Актерские ставки были такие: 8 р. — начинающий, 16 — уже с опытом, 25 — молодая звезда и 40–50 — суперзвезды. Ставку 25 рублей для Никиты надо было пробивать в Госкино.

— А где он сам, Никита?

— Здесь, — сказала Лика. — По коридору гуляет.

— Зови.

— Георгий Николаевич, — сказал Никита, — я играю главную роль. А получаю как актеры, которые играют не главные роли. Это несправедливо.

— Кого ты имеешь в виду?

— К примеру, Леша Локтев, Галя Польских.

— Леша Локтев уже снимался в главной роли, и Галя Польских. Они уже известные актеры. А ты пока еще вообще не актер. Школьник. А мы платим тебе столько же, сколько им. Так что — помалкивай.

— Или двадцать пять, или я сниматься отказываюсь!

— Ну, как знаешь... — Я отвернулся от Никиты. — Лика Ароновна, вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали. И спроси, какой у него размер ноги, — если другой, чем у Никиты, сегодня же купите туфли. Завтра начнем снимать.

— Хорошо.

— Кого? — занервничал Никита.

— Никита, какая тебе разница — кого. Ты же у нас уже не снимаешься!

— Но вы меня пять дней снимали. Вам все придется переснимать!

— Это уже не твоя забота. Иди, мешаешь работать...

— И что, меня вы больше не снимаете?!

— Нет.

И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знавшей бритвы щеке впоследствии известного режиссера:

— Георгий Николаевич, это меня Андрон научил!.. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас выхода нет!

Дальше работали дружно.

...Когда прошел слух, что Никита Михалков будет баллотироваться в президенты (а он это не очень активно отрицал), на встрече со зрителями в Нижнем Уренгое меня спросили, буду ли я за него голосовать.

— Двумя руками!

— Почему?

— Потому что фильм, где в главной роли президент великой страны в юности, купят все страны. А я буду всем рассказывать, как наш президент бегал мне за водкой.

Как-то после вечерних съемок на студийной машине мы с Никитой ехали домой. На съемках я поливал из шланга асфальт, чтобы в нем отражались фонари, промок и замерз. По дороге хотел купить водку, но все магазины и рестораны закрыты: четверть двенадцатого.

Сначала завезли Никиту на Воровского.

— Никита, вынеси мне грамм сто водки, — попросил я. — А то я простужусь.

Самому в такое позднее время заходить в дом и просить водку было неприлично.

Никита вынес мне от души — полный стакан.

А через несколько дней меня встретил его папа, Сергей Владимирович Михалков:

— Ты соображаешь, что ты делаешь? У меня инфаркт мог быть! Лежу, засыпаю — вдруг открывается дверь, на цыпочках входит мой ребенок, открывает бар, достает водку, наливает полный стакан и на цыпочках уходит... И я в ужасе: пропал мальчик, по ночам стаканами водку пьет...

Жалко, что Никита не баллотировался в президенты.

ВЫЛЕЧИЛИ

444

Сидели мы втроем у меня в кабинете — Гена, я и Петров. Андрей играл на пианино мелодию к фильму, а Гена пытался запомнить, потому что он вызвался написать слова песни. (Опять я потребовал, чтобы сначала была мелодия, а потом — слова.) Стук в дверь — вошла Лика Ароновна с парнем и сказала:

— В-вот Игорь. На Сашу. Только он за-заикается.

Лика Ароновна заикалась.

Внешне парень подходил. Таким мы Сашу себе и представляли: маленького роста, нервный.

— Я не всегда за-заикаюсь, — сказал Игорь. — То-о-только к-когда волнуясь.

— Георгий Николаевич, ну и п-пусть заикается! Будет еще какая-то к-краска, — сказала Лика. — К-как вы считаете, Андрей?

— П-по-моему, д-да, — сказал Петров.

Петров тоже заикался.

— Пусть за-заикается, — сказал Гена. — Нормально.

И Гена тоже немного заикался.

— Ну, д-давайте рискнем, — от такого количества заик у меня тоже стал язык заплетаться.

Сняли Игоря на пленку, посмотрели и утвердили.

По роли Саша стрижется наголо. А поскольку снимали то начало, то середину, то финал — и Саша то с шевелюрой, то стриженный, — актера надо было подстричь наголо и сделать парик. Подстригли Игоря под ноль и заказали парик.

А Лика привела Женю Стеблова.

— Георгий Николаевич, т-только вы меня не убивайте, но этот лучше. Хотя и высокий.

Сняли Женю на пленку, посмотрели... Действительно лучше.

— К-кошмар! — сказала Лика Ароновна. — Я звонить не буду. Георгий Николаевич, вы мужчина!

Я позвонил. Когда Игорь узнал, что не снимается, он так обозлился, что час поносил Лику, меня, Петрова, Шпаликова, съемочную группу и весь советский кинематограф. И ни разу не заикнулся! А ведь волновался. Может, мы его вылечили?..

МУЗЫКА ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА

445

Опять к съемкам нужна была фонограмма. Опять я долго мучил Петрова, и опять он в итоге написал замечательную мелодию. Сегодня кто-то видел фильм “Я шагаю по Москве”, кто-то нет, но музыку эту помнят все.

И каково же было мое удивление, когда я увидел по телевизору, что под эту музыку, под которую у меня в фильме шагали Колька, Володя и Саша, по ковровой дорожке мимо почетного караула идут Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и Президент Соединенных Штатов Ричард Никсон!

И песня до сих пор звучит. И слова ее стали почти хрестоматийными — их даже пародируют. А придумались они так.

Снимали мы памятник Маяковскому для сцены “вечер, засыпают памятники”. Юсов с камерой, операторская группа и я сидим на крыше ресторана “София” — ждем вечерний режим (когда небо на пленке еще “прорабатывается”, но оно темнее, чем фонари и свет в окнах).

— Снимайте, уже красиво! — донеслось снизу.

Внизу появился Гена Шпаликов. Гена знал, что сегодня нам выдали зарплату, и не сомневался, что мы после съемки окажемся в ресторане.



Г. Данелия и В. Юсов на съемках фильма "Я шагаю по Москве".
Фото © Музей кино

— Рано еще! — крикнул я ему сверху. — Слова сочинил?

— Что?

Площадь Маяковского, интенсивное движение машин, шум — очень плохо слышно. Я взял мегафон.

— Говорю, слова к песне пока сочиняй! — сказал я в мегафон.

Песня нужна была срочно — Колька поет ее в кадре, а слов все еще не было. Последний раз я видел Гену две недели назад, когда давали аванс. Он сказал, что завтра принесет слова, — и исчез. И только сегодня, в день зарплаты, появился.

— Я уже сочинил: “Я шагаю по Москве, как шагают по доске...”

— Громче! Плохо слышно.

Гена повторил громче. Вернее, проорал.

Людная площадь, прохожие, а двое ненормальных кричат какую-то чушь — один с крыши, другой с тротуара.

— Не пойдет! Это твои старые стихи — они на музыку не ложатся. Музыку помнишь?

— Помню.

— Если не сочинишь, никуда не пойдем.

— Сейчас! — Гена задумался.

— Можно снимать? — спросил я Юсова.

— Рано.

— Сочинил! — заорал снизу Гена. — “Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый Тихий океан, и тундру, и тайгу...” Снимайте!

— Лучше “А я”!

— Что “А я”?

— По мелодии лучше “А я иду, шагаю по Москве”!

— Хорошо — “А я иду, шагаю по Москве...” Снимайте! Мотор!

— Перед “А я” должно еще что-то быть! Еще куплет нужен!

— Говорил, не надо “А”! — расстроился Гена.

Пока Юсов снимал, Гена придумал предыдущий куплет (“Бывает все на свете хорошо, — / В чем дело, сразу не поймешь...”) и последний (“Над лодкой белый парус распушу, / Пока не знаю где...”)

— Снято, — сказал Юсов.

Если бы съемки длились дольше, куплетов могло быть не три, а четыре или пять.

Песню приняли, но попросили заменить в последнем куплете слова “Над лодкой белый парус распушу / Пока не знаю где”:

— Что значит “Пока не знаю где”? Что ваш герой — в Израиль собрался или в США?

Заменяли. Получилось “Пока не знаю, с кем”. “Совсем хорошо стало, — подумал я. — Не знает Колька, с кем он — с ЦРУ или с Моссадом”.

...НАС ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН

Фильм вышел на экраны. Кому-то он нравился, кому-то нет. Говорили: “Вчера Хрущев велел показать советскую жизнь позитивно, а сегодня вы подшустроили и преподнесли на блюде то, что заказано”. А писатель Владимир Максимов даже сказал, что теперь нам руки не подаст. Гена очень расстроился:

— Чего это они? Может же фильм быть — как стихотворение. Написал же поэт: “Мороз и солнце, день чудесный...”

— Еще он написал: “Хвалу и клевету приемли равнодушно”, — сказал я.

Для меня было важно, что фильм понравился людям, чье мнение было мне дорого, — Ромму, Бондарчуку, Конечкому... И моему отцу, человеку на похвалу скупому. Про “Сережу” отец сказал: “Так себе” (мама потом объяснила: “Фильм папе понравился”). Про “Путь к причалу” тоже “так себе” (тоже понравился). А про “Я шагаю по Москве” отец сказал: “Ничего”, и мама объяснила: “Очень понравился”. Кроме всего прочего, наверное, отцу было приятно, что Колька, как и он, метростроевец.

После фильма было много писем. К моему удивлению, больше всего писали из лагерей и тюрем: “Спасибо вам за глоток свежего воздуха”. Хвалили.

И знаменитый французский критик Жорж Садуль разделял мнение уголовников. После показа фильма в Каннах в газете “Фигаро” вышла его статья, где он написал, что “Я шагаю по Москве” — глоток свежего воздуха и новая волна советского кино...

Но я очень огорчился, когда получил письмо от девушки из одного далекого городка. Посмотрев фильм, она накопила денег и по-

ехала в Москву — в красивый и добрый город. В гостиницу не попала, ночевала на вокзале, деньги украли, забрали в милицию, как проститутку...

Я редко отвечаю на письма, но ей я ответил. Извинился. Написал, что жизнь разная и в жизни бывает разное. Этот фильм — о хорошем. И поэтому Москву мы показали такой приветливой. Но, к сожалению, она бывает и другой — вам не повезло...

А девушка ответила: то, что с ней случилось в Москве, она уже начала забывать, а фильм помнит и с удовольствием посмотрит еще раз.

“Спасибо вам, — писала девушка, — что вы эту сказку придумали”.

Мне приятно, когда этот фильм хвалят. Он мне и сегодня нравится. Но понимаю... Если бы не поэтический взгляд Геннадия Шпаликова — фильма бы не было. Если бы не камера Вадима Юсова — фильма бы не было. Если бы не музыка Андрея Петрова, если бы не обаяние молодых актеров — фильма бы не было.

А если бы меня не было?..

Невольно вспоминается вопрос въедливого матроса с “Леваневского”: “А зачем нужен режиссер?”

ГЕНА ШПАЛИКОВ

Гена Шпаликов закончил суворовское училище, но более недисциплинированного человека я не встречал. Очевидно, училище навсегда отбило у него охоту к любому порядку. Когда мы с ним работали над сценарием в Доме творчества в Болшеве, он мог выйти из номера в тапочках на минутку — и пропасть на два дня. Потом появлялся и объяснял:

— Ребята ехали в Москву, ну, и я с ними. Думал — позвоню. И забыл.

Над сценарием мы работали так: две машинки, придумываем и обговариваем эпизод, он садится писать, я иду за ним. Моя задача была — сократить, выудить действие, поправить диалоги и расставить запятые: Гена печатал без заглавных букв и знаков препинания.

Гена был поэтом. И мне нравилось, как он пишет: “По тому, как внезапно среди летнего дня потемнело в городе, по ветру, подувшему неизвестно откуда, по гонимой речной воде, по вскинутым мгновенно юбкам девочек, по шляпам — придержи, а то улетит, по скрипу и скрежету раскрытых окон и по тому, как все бегут, спاسаясь по подъездам, — быть дождю. И он хлынул”. Я бы написал просто: “Идет дождь”. Но сокращать рука не поднималась.

Поначалу судьба Гены складывалась удачно. В двадцать четыре года он уже написал “Заставу Ильича”, потом “Я шагаю по Москве”, потом “Я родом из детства” и другие... Его печатали, снимали. Он женился на красивой и талантливой актрисе Инне Гулая, у них родилась дочка, им дали квартиру... Он был самый молодой знаменитый сценарист, о нем выходили статьи в газетах, в журналах, кто-то собирался писать о нем книжку. Но в один момент все оборвалось.

Во времена очередной идеологической борьбы партии с интеллигенцией в опале оказался Виктор Некрасов, автор романа “В окопах Сталинграда”. Его перестали печатать, и он бедствовал. Некрасов был Генин друг. Гена поехал в Киев, написал заявку на сценарий, заключил договор на киевской студии, получил аванс и все деньги отдал Виктору Платоновичу. А поскольку за Некрасовым была установлена слежка, об этом тут же узнали. И киностудия расторгла с Геной договор и потребовала вернуть деньги.

Генина жизнь переменялась. Теперь все, что он писал, отвергали, его фамилия нигде не упоминалась — нет такого сценариста Шпаликова, и все. Гена запил, был в долгах, Инна с дочкой ушла...

В октябре 1974 года поздно вечером позвонил мне Гена.

— Гия, ты мне очень нужен. Приезжай.

— А где ты живешь? — Я знал, что Гена переехал, но еще у него не был.

— Я живу в доме, где живет Гердт.

Я не знал, где живет Гердт, и мы договорились встретиться у ресторана “Ингури”. Я поехал. Знал, что сейчас дела у Гены очень плохи.

Гена ждал меня возле ресторана “Ингури”. Он уже выпил, и ему хотелось добавить. Я дал деньги швейцару, и он нам вынес двести грамм водки в бутылке. Пошли к Гене.

Дверь подъезда была открыта, и на лестнице, на ступеньках, разбросаны листы бумаги. Гена не закрыл дверь своей квартиры, окна были открыты, и его стихотворения сквозняком вынесло на лестницу. Листы шевелились, как живые, ползли по ступенькам вниз... Я шел и собирал их...

Мы сидели на кухне в пустой квартире. Поговорили, выпили...

— А давай придумаем еще один фильм, — предложил Гена. — Опять что-нибудь веселое. Вот идут два парня, увидели чешую от воблы. Пошли по следу, зашли во двор — а там пиво и воблу с лотка продают... Как?

Это была наша последняя встреча. Первого ноября Гена покончил с собой.

ЕВГЕНИЙ СТЕБЛОВ

УДАЛЯЯСЬ, ОН ВДРУГ ОБЕРНУЛСЯ*

452

<...> Закончился первый курс. Раскрылось окнами желанное лето. В один прекрасный день, как в сказке, мы с Витей Зозулиным пошли на “Мосфильм” с неясной целью. У нас, студентов, существовал нехитрый прием. Слоняясь по коридорам студии, мы время от времени открывали дверь какой-нибудь киногруппы, неловко бормоча: “Ой, извините, я, кажется, не туда попал...” Все это делалось с тайной надеждой: а вдруг кто-то заинтересуется нами и мы выиграем свою лотерею? А вдруг?! Уже на проходной... мы повстречали одного из наших студентов с вечернего факультета.

— Вы куда? Ну да, понятно. Поднимитесь на четвертый этаж в группу “Я шагаю по Москве”. Им нужны молодые герои, — посоветовал он.

Мы так и сделали. Нас встретила маленькая экстравагантная женщина неопределенного возраста. <...> Это была многоопытный второй режиссер Маргарита Александровна Чернова. Она посадила нас почитать сценарий. Сценарий Геннадия Шпаликова. О чем? Ни о чем. Во всяком случае, я тогда ничего в нем не понял. Затем нас показали режиссеру-постановщику Георгию Николаевичу Данелии. Он распорядился сделать фотопробу для Вити Зозули-

* Публикуется по: Стеблов Е. Против кого дружите? М., 2005.

на, а меня вовсе забраковал. Но, как говорила потом Маргарита Александровна, у меня был столь жалостливый вид, что она послала на кинопробу нас обоих. Вот с этой-то фотопробы в роли жениха и началась по-настоящему моя киносудьба. <...>

<...> Как-то Данелия пригласил меня на прослушивание музыки к фильму, которую привез Андрей Петров. Хотел проверить ее на мне. Среди других мелодий Петров показал и теперь хорошо известную тему нашего фильма. Георгий Николаевич спросил меня, какая мне понравилась больше. И я угадал, назвал именно ту мелодию, которую сейчас знают почти все:

Бывает все на свете хорошо, —
В чем дело, сразу не поймешь, —
А просто летний дождь прошел,
Нормальный летний дождь...

Гена Шпаликов написал этот текст, сидя в ресторане “София”, что напротив памятника Маяковского, во время съемок нашего с Никитой прохода над автомобильной эстакадой. Он смотрел сквозь стеклянные стены на съемочную площадку и записывал:

А я иду, шагаю по Москве,
Но я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу.

Над лодкой белый парус распушу,
Пока не знаю с кем...

Гена Шпаликов тогда был влюблен в свою невесту Инну Гулая. Нас, студентов уже второго курса, отправляли автобусом на общественные работы, на овощную базу. Гена пришел провожать Инну. Они стояли в обнимку, очень счастливые. <...>

<...> Божьим промыслом поэта Гены Шпаликова, режиссура Георгия Данелии, камера Вадима Юсова, музыка Андрея Петрова, наши актерские интонации соединились, срезонировали в единое настроение или впечатление, “импресью”, говоря по-французски.

“Я шагаю по Москве” стала первой отечественной импрессионистской картиной, картиной, почти не связанной с социумом, потому и жива до сих пор. <...>

<...> Последний раз я встретился с Геной возле Дома кино на Васильевской. Они с Инной вышли из ресторана, были в очень хорошем настроении. Я знал, что так бывает не всегда. И скорее всего, то были редкие часы семейного примирения. Гена бросился обнимать меня как очень и очень близкого, дорогого человека, хотя, по правде, мы редко встречались. Меж нами не было бытовой дружбы, но душевное сродство всегда ощущалось.

Удаляясь, Гена вдруг обернулся посреди улицы и закричал: “Женя, а кино нет! Нет кино! Только документальное осталось!” Он помахал мне рукой и ушел... Через полтора месяца его не стало. Теперь я понимаю, что он прощался... Это было время брежневского застоя, и публично о самоубийстве говорить не рекомендовалось. Позже, уже при Горбачеве, в Доме кино состоялся первый официальный вечер памяти поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Вел вечер Булат Шалвович Окуджава. В числе других выступал и ваш покорный слуга. Читал “Ах, утону я в Западной Двине...”. Читал очень эмоционально, почти трагично. <...> Вдруг один из друзей и собутыльников Шпаликова выкрикнул мне из зала:

— Да ладно, кончай ты это! Он был веселым человеком!

Я растерялся.

— Продолжай, продолжай, Женя, — ободрил Булат Шалвович, — это любители прозы кричат, а мы вспоминаем поэта.

РОЛАН БЫКОВ

ОН БЫЛ В ЦЕНТРЕ ОРБИТЫ *

455

Сегодня ребята “праздновали” поминки по Шпаликову. Вот уж горькая фигура, но она тоже очень выросла. Умершие растут. И все более, чем более мельчает жизнь и мельчают люди. Гена прожил чистую жизнь, при всей ее несуразности. Он был вне... вне многого. Он не боролся ни с кем, ему этого не надо было, он жил своей жизнью, шел своей дорогой, во всем был щедр и талантлив и не так уж мало сделал. На “Повторном кинотеатре” — афиша в честь его юбилея, пять названий (и все картины не проходили мимо зрителя, каждая чем-то известна). Может быть, он и не состоялся на своем уровне, но его фигура очень важна, вокруг нее много тогда крутилось: у него была сила, вокруг него была орбита. В этом смысле он планетарен. А книжку прозы Шпаликова выпустили чудесную. Как там описана еда для Хуциева! Просто бунинская проза. Жаль. Тысячу раз жаль, жаль очень, что умер рано, что не достало сил. Ах, как жаль. Шпаликов успел сделать как бы набросок своего творчества... А жизнь исчерпал. Ах, как жаль!

* Публикуется по: Быков Р. Я побит — начну сначала! М., 2010.

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

ГЕНИЙ ЗАМЫСЛА*

Хорошо, когда волшебное
возникает из будничных обстоятельств
и слагаемые его просты...

Г. Шпаликов

456

Полдень, солнце, год, по-моему, 63-й. Они шли по длинному тротуару напротив ВГИКа. За тротуаром высилась ограда, за оградой росли деревья, окутанные нежно-зелеными облаками молодой листвы. Когда задувал ветер, листва шелестела. Казалось, других звуков слышно не было. Вдоль ограды неторопливо шли двое, один руками чертил в воздухе бесплотные фигуры, другой будто бы разглядывал их в голубоватом дрожащем воздухе весны. Оба улыбались, а по другую сторону улицы мы, вгиковские студенты, пооткрывав рты, провожали их восхищенными взглядами. Оба были знамениты, оба несправедливо, но всенародно обруганы, отчего, впрочем, их знаменитость ощущалась еще сильнее. Одного звали Марлен Хуциев, другого — Геннадий Шпаликов. Шпаликов только что закончил сценарный факультет ВГИКа, защитился фильмом “Я шагаю по Москве”, уже будучи одним из сценаристов “Заставы Ильича” (“Мне двадцать лет”).

Тогда я увидел Гену впервые. Потом в каком-то из поздних уже разговоров я, как смог, описал Хуциеву это солнечное, ветреное, счастливое видение давних лет.

* Публикуется по: Соловьев С. Гена. Воспоминания о Геннадии Шпаликове // Искусство кино. 2007. № 11.

— Куда вы шли?

— В столовую гостиницы “Турист”, — не задумываясь ответил Хуциев без всяких возвышенностей.

— Но почему вы уверены, что именно в тот раз, когда я вас видел, вы шли в эту столовую? — обиделся я на сухую прозу хуциевского ответа.

— А мы каждый день с ним туда ходили... Харчо, бефстроганов, сто грамм...

На меня надвигается
По реке битый лед.
На реке навигация,
По реке пароход.
Пароход белый-беленький,
Дым над красной трубой...

Ну что тут, спрашивается, в этих простых, почти бессмысленных строчках, которые мы пропели, пробормотали, просвистели почти все свои молодые дни? Отчего я помню их и сейчас, больше чем через сорок лет с того ослепительного дня, когда, засунув руки в карманы, сияя белозубой улыбкой физкультурника и баловня судьбы, прошел передо мной впервые их автор?

Отчего в горле при этом воспоминании всегда встает комок как знак какой-то полузабытой не то радости, не то беды?

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Мы, в общем-то, не только не были с Геной друзьями, но даже все обстоятельства время от времени вроде бы складывались так, что

мы могли бы и — больше того — должны были бы стать недругами. Но иногда жизнь перекручивала наши судьбы так, что связующее нас становилось едва ли даже не сильнее и ближе, чем дружба. Познакомились мы вскоре после моего поступления во ВГИК. Курсе на третьем я осмелился позвонить ему. Волновался до заикания в трубку, просил написать для меня сценарий. “Я вряд ли смогу, ч-ч-чудовищно п-популярен и оттого з-з-зверски занят...” Неужели он передразнивает мое заикание? Но ходу назад уже нет, а от унижений любовь, как известно, только крепнет. Я пытаюсь настаивать на встрече. “Ну х-хорошо, уговорили. В семь у П-Пушкина...”

Уточнять не надо, сомнений нет, со знаменитым Шпаликовым мы встречаемся “по делу” ровно в семь синего осеннего вечера у волшебного бронзового изваяния; к семи уже стемнеет, вокруг поэта зажгутся неярким золотистым светом старинные фонари.

Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл...

“П-предлагаю зайти в ВТО и р-распить бутылочку х-х-холодненького ‘Цинандали’...”

С этого Гениного предложения началось наше многолетнее общение. Слава богу, он не дразнился. Просто время от времени слегка подзаикавался от природы сам по себе.

На нем светлый китайский плащ, вокруг шеи намотан синеголубой вязаный шарф. Я впервые в жизни попадаю в бестолковое актерское празднество вечернего ресторана ВТО, и там, среди шума и люстрового блистания фальшивых огней, на ослепительно белой хрустящей скатерти мы с Г. Ф. Шпаликовым распиваем бутылочку ледяного “Цинандали”, восхитительный вкус которого, как мне кажется, и до сих пор у меня на губах. С тех пор я выпил немало другого “Цинандали”, бывало и холодного, и все больше со славными, вполне доброкачественными людьми, но тот вкус больше не повторялся. То был вкус вина и еще — обожания и заслуженной удачи. Допив бутылку, Г. Ф. расплатился и тут же царственно отказался сотрудничать со мной.

Я скис, что, вероятно, отразилось на моей физиономии. Наверное, ему стало меня жалко.

— А давай двинем в цирк? — предложил он.

У Центрального рынка Шпаликов покупает букет синих астр. К моему изумлению, нас пускают со служебного входа. Резко пахнет конской мочой, потом деревянный запах опилок, тюремный свет электрических ламп в решетчатых намордниках. Он идет, будто хорошо зная куда, синий шарф болтается в такт шагам. Выныриваемazole арены, садимся. Представление давно в разгаре, движется к концу.

— Сейчас, — шепчет Гена, — сейчас оно самое и начнется...

Барабан бьет дробь, вспыхивает свет, я вижу, как под куполом на трапедии бесстрашно крутится невесомая девочка, летает над нами, как шагаловский ангел.

— Ну?! — в восторге не то восклицает, не то спрашивает Гена.

“Неужели влюблен?” — соображаю я. Влюблен не влюблен, до сих пор не знаю, кто такая эта гимнастка. Да и какая разница? Не исключаю, что вообще он сам себе этот роман ненадолго выдумал — такое Гена обожал... В цирке, как вы понимаете, я бывал и до этого, и потом, но ничего подобного в впечатлениях моих не повторилось (впрочем, вру, то же знакомое чувство нахлынуло на меня, когда много лет спустя я увидел гениальный “цирковой цикл” художника Фонвизина). А тогда, повиснув на лонже, гимнастка медленно спустилась с небес (“а музыка играет так весело!”), Гена перелез через бортик и прилюдно на арене вручил ей свой синий букет, гимнастку в щеку прилюдно же поцеловав. Белые полы плаща плескались в свете прожекторов. Публика кричала “браво!”.

Сон? Нет. Все так и было. Такие, представьте себе, были тогда времена!

Как блеск звезды,
Как дым костра,
Вошла ты в русский стих беспечно,
Шутя, играя и навечно,
О легкость, мудрости сестра.

Потом времена стали меняться. Перемены происходили втихаря, так, что сначала никто ничего и не понял. На смену былой Гени-

ной “бессмыслице” явились новые “смыслы”, стали зачитываться разумной “Литературкой”, появился тухлый термин “проблемное искусство”. Открыли политический Театр на Таганке — с гениальным Володей Высоцким, но также и с “тонкими намеками на толстые обстоятельства”; на спектакли, сходя с ума от счастья “приобщения”, ломился народ. Тут же позакрывали и уложили на полку какие-то фильмы.

И хотя одно вроде бы гармонично уравнивало другое, но улетучивалось что-то третье, наверное, самое важное. Стало труднее дышать. Нам-то еще ничего, мы были так молоды, только начинали и потому довольно естественно применялись, как к норме, к кислородной ограниченности вдоха. А зрелые шестидесятники вдруг будто постарели разом, хотя и продолжали кликать друг друга по именам: Белла, Марлен, Булат... Шпаликовские друзья, они выжили. Не только выжили, конечно, — многие прожили с честью, а многие живы и сегодня, по-прежнему помогая, как могут, жить и выжить всем нам: и чистая исповедь Ахмадулиной, и сосредоточенная совесть Хуциева, и ясность, благородство одухотворенности Окуджавы не наша роскошь — наш хлеб, спасавший в самые голодные времена. А Гена вот не смог, не одолел, не выдержал, а может быть, и не захотел — ни выдерживать и ни одолевать...

Много лет подряд первого ноября в ресторане Дома кино накрывают стол для поминок. Приходят уже довольно пожилые и довольно немногие люди (с каждым годом число их все меньше), промерзшие и совсем невеселые садятся за стол, но через какое-то недолгое время раздается сначала первый смешок, потом другой, третий, вскоре начинается чудовищный хохот, и еще через какое-то время часть поминающих уже бьется в хохоте истерическом — ничего, что многие в темных галстуках и костюмах. Это — ежегодные наши по Гене поминки, а смех, конечно, не от тупости и не от душевной черствости. Смех — от воспоминаний про Гену. Гена это одобрил бы. Вообще, когда ему что-нибудь почему-нибудь нравилось, он определял это единственным словом: “Смешно!” Так мы и привыкли, что Гена — это очень весело. Но время бежит, и все больше мы понимаем, что на самом-то деле Гена — это еще и очень серьезно. На этих безразмерных поминках мы порассказали друг дру-

гу сотни веселых историй про Гену или с Гениным участием. Ясно, что рано или поздно эти истории закончатся, а вот история Гены, может быть, еще только начинается... Во всяком случае, роль Гены в истории отечественной культуры, выражаясь академически, еще не нашла, я уверен, адекватного отражения.

Вот, к примеру, одна типично Генина история. В промозглую чудовищную осень чинно сидим мы с ним в Доме кино на каком-то там пленуме по поводу чего-то. По какой причине сидим мы на этом пленуме, к тому же оба как стекло трезвые, я уже и не припомню. Видимо, какая-то странная, но и весомая по-своему причина этому все же была. Во всяком случае, все четыре часа заседаний мы тупо отсидели в третьем ряду, рядышком, в пьяные кулуары упорно не выходя. Грустная же речь кинематографического руководства в тот день шла о том, что страшно много стало в нашем кино необъяснимых явлений пессимизма.

Первым про это тихим грустным голосом заговорил Лев Александрович Кулиджанов, наш тогдашний председатель, ненастырно бормоча, что, мол, так вот мы и доведем народ “до ручки”, если не сменим все-таки свою унылую шарманку: мол, абсолютно исчезли с экрана добрая улыбка, душевное здоровье и вообще какая-либо жизнеутверждающая нота. (Эх, Лев Александрович, Лев Александрович, а что же сказали бы вы по этому поводу да сейчас, когда, оглянувшись на то время, видим мы братское единение народов в сладостном и улыбчивом человеческом раю!) А потом вышел и Караганов, лично ответственный за идеологию, а соответственно, и за исчезновение улыбок, и за трясину социалистического пессимизма. Народу, сказал он, надоел этот страшный мрак нашего критического кинематографа, его дикий ужас, и нужно нам, социально ответственным кинематографистам, обязательно и немедленно дать народу что-то светлое, высокое, поэтичное, вызывающее внезапный рост крыльев за спиной и последующее их взмахивание, и что если добром мы это не сделаем, то кинематографическим руководством будут приняты к нам соответствующие меры, и даже есть уже проект этих строгих мер — проект столь тяжелый и непопулярный, что даже не хочется его пока обнародовать...

Каждый из нас лениво обдумывал свое место в этом непопулярном проекте, вздыхал и слушал дальше. Трое-четверо обреченно

вызвались выйти на трибуну и не очень убедительно рассказали, как буквально с завтрашнего дня они начнут высветлять свою папириту. Потом внезапно и с большой, даже неестественной скоростью все свернулось, и мы с Геней, повторяю — в абсолютной трезвости, вышли на темную Васильевскую улицу. И никто перед этим, это я помню точно, не дал нам взаймы, чтобы выпить, хотя мы, тоже как сейчас помню, пытались одолжить у разнообразных коллег хоть немножко, но в тот день безуспешно.

А на улице капал дождь, пузырились лужи, наши ботинки хлюпали — снаружи и внутри. Кондиций они были сомнительных. И опять-таки никак не вспомню, почему мы с Геней не воспользовались общественным транспортом, а тупо и неизвестно куда трезвые шли под дождем. Неужели и это из-за того, что не было денег даже на автобус? Но это вряд ли. Могли бы проехать и на халяву, если бы того захотели. Так или иначе, но мы передвигались по Садовому кольцу, от гостиницы “Пекин” по направлению к Смоленской площади, к историческому Бородинскому мосту. Брели молча. На перегоне от Восстания к Смоленке Гена, хотя его никто и ни о чем не спрашивал, неожиданно начал сам:

— На самом деле они, конечно, правы. И Лева, и Караган, — вдруг объявил он. — Все это не жизнь. Это — пессимизм. Вот так вот в рваных ботинках, трезвым, идти сейчас под октябрьским дождем и не верить в то, что с тобой вот-вот, желательно сегодняшним вечером, случится что-то радостное... Людям, действительно, нужна надежда. Давай вот хоть мы с тобой, молодые одаренные кинематографисты, на удивление всем, и нашим товарищам-профессионалам, и многомиллионному народу, возьмем и сделаем что-то доброе, хорошее, веселое, светлое... От чего весь наш многонациональный кинематограф перевернется и обратится к нам живой, человеческой, оптимистической стороной...

Машины, время от времени тормозя перед светофорами, то и дело обдают нас каким-то жидким дерьмом. Мы утираемся, сохраняя достоинство, удерживаем себя от грязного мата по адресу нерадивых шоферов, идем дальше, по-прежнему неизвестно куда.

— Давай, — говорю. — Давай, Гена, именно так вот и сделаем. Давай, совершенно неожиданно для всех, пусть это будет, так ска-

зять, сюрпризом, учудим что-нибудь на экране именно про социализм, но с веселым и приветливым человеческим лицом. Без всякого пессимизма. Я всегда за это, Гена. Ты же знаешь. Мне уже вот так, под завязку, надоела всякая паскудная чернуха.

И мы с новой энергией начинаем обсуждать так внезапно свернувшийся пленум и те ценные идеи, которые все-таки успели сообщить нам наши старшие товарищи — Кулиджанов и Караганов. Гена исключительно мастерски и совершенно неожиданно включил меня в чувство абсолютного и тоже вполне неожиданного душевного единения с вышеозначенными докладчиками.

— Не надо так нам жить, не надо, — бормотал Гена, сосредоточенно глядя себе под ноги. — Другое что-то есть в этой жизни...

И мы, обдумывая этот нехитрый тезис, прибавили ходу и довольно скоро прошли, наверное, еще с километр.

— Вот мы с тобой все что-то придумываем, но все какое-то тяжелое, оскверняющее душу, по сути, конечно же, все это у нас безо всякой позитивной нравственной идеи, — продолжал мыслить вслух Гена. — А я вот прошу тебя слушать внимательно, сейчас вот я вспомнил кое-что и сам себе удивился. И это, я думаю, именно то, что нам с тобой сейчас нужно! И Лева Кулиджанову нужно! И Карагану! Это, действительно, просто сказка! И, что самое потрясающее, невыдуманная сказка! Сказка-быль! И я сам в ней участвовал. Но мы этого давай попервоначально педалировать не будем. Пусть это буду как бы и не я, а как бы наш общий лирический герой, который, конечно же, во многом будет со мной связан, но не более того. А история, действительно, знаешь, такая, какие ты любишь, такая тургеневская, нежная, п-прозрачная, вся на природе и к тому же очень м-музыкальная.

— Елки-моталки! — буквально вскрикиваю я от внезапно переполнивших грудь надежд. — Если у тебя такая история есть, то какого ж хрена ты про нее столько времени молчишь? Что-то бессмысленно высасываем с тобою из пальца! — продолжаю я. — Так давай же, Гена, мы быстренько эту твою историю материализуем. Заявку можем даже сегодня сочинить. На той неделе, глядишь, аванс получим...

— Я ж тебе и говорю, что К-караганов что-то шевельнул во мне подлинное, настоящее. Что-то в душе, собака, знаешь, всплыло хо-

рошее, чистое. А главное, это все реальность, а реального света радости не заменишь никакой в-выдумкой! Дело же происходило под Москвой, в Малаховке. По какой причине я туда попал, сейчас точно уж и не вспомню. Но, хорошо помню, вдруг обнаруживаю себя в чудесном таком месте, тургеневская, понимаешь ли, дача, жимолость, сирень. Стою — с-сумерки летние, на мне светлая рубаша, парусиновые штаны матерчатые, белые туфли на босу ногу. Сирень шелестит прямо в уши, прямо в нос своим цветением так и шибает, шмели жужжат, тишина, шорохи в листве, золотое солнце садится, рябые, движущиеся, ажурные тени. Из этих дивных кустов я в белых штанах с любовью выглядываю наружу. И вижу перед собой чудесный двухэтажный дом. Даже трехэтажный. Нижний этаж там слегка подвальный, но есть. А так на вид, спервоначалу, два этажа. И сверху, со второго, хочешь верь, хочешь не верь, доносится до меня в сиреневые кусты музыка, нежнейший такой фортепианный Шопен. Может, прелюдия, может, мазурка — не помню уж точно, но трепетный такой Шопен, лучшей поры, прозрачный, как шелест листьев. Вот я стою и чуть не плачу от того, как все прекрасно и возвышенно. И я всего этого посередине. Думаю, кто же это может играть? В закатный час? И в этом рассуждении вхожу в дом и знаколюсь с его обитателями. С той минуты, не поверишь, они стали частью моей жизни, а я — своеобразной частью их судьбы. Оказалось, дом этот построил пожарный.

— Кто?

— Пожарный! Один из начальников, так сказать, руководителей местной пожарной охраны. Я бывал потом у него на работе, сам видел красные машины с сигнализацией, до блеска натертый столб, по которому пожарные по тревоге сверху соскальзывают. Тут и там начищенные до блеска медные колокола. И он всем этим командует. И дом себе сам построил, практически без посторонней помощи. И был тот пожарный к тому же вдовец. Жил, нужно сказать, довольно трудно: с одной стороны, его жизнь была полна постоянной опасности, пусть хотя бы и чисто теоретической, с другой стороны — все время человеческая неустроенность, одиночество, знаешь, как у Антониони, такая некоммуникабельность, невозможность обрести надежный контакт с миром. И вот в связи с этими своими душевными переживаниями тут уже чисто анто-

ниониевский аспект наступает. Пожарный-вдовец в подвале стал гнать самогон. И с этой целью соорудил там очень большой и очень производительный самогонный аппарат. Сам аппарат был очень красив, даже чисто внешне, в нем, знаешь, были как бы черты космического корабля. Я видел его в действии, это напоминало старт ракеты, когда уже идет отсчет, жидкость клокочет в трубах и весь снаряд блестит, готовый сорваться ввысь, но что-то еще удерживает его на земле. Зрелище невероятное! Практически ничем другим пожарный не занимался: пойдет посмотрит, все ли в пожарке в порядке, потом шмыг в подвал — и гонит там самогон. Сначала он его в кружки разливал, в кастрюли, потом думает: “Так не годится! Нужно же не просто гнать, а настаивать самогон на чем-то”. Достал большие пятилитровые бутылки с притертой пробкой и стал гнать в них, в бутылки. Соорудил в подвале большие стеллажи и все бутылки на них составил: нагонит бутылку, а в нее или черной смородины, или рябины, или тмина. Все настойки разные, все по особому рецепту по полкам расставлены: посмотреть — ну просто сокровищница, в Эрмитаже такой нет! А аппарат, как космический корабль, все время гудит: “У-у-у!” Так вот и шла жизнь пожарного. Ни женщин, ни друзей. Только труд и некоммуникабельность, чисто антониониевская проблематика... Скажу тебе честно, в первый раз попал я туда нетрезвый, увидел сначала этот подвал, это пламя, эти склянки по стенам — чистое ощущение лаборатории профессора Доуэля, ракеты с Гагариным и родного духа подмосковной забега-ловки. Хозяин налил мне стакан, другой, а дальше уже чуть помню, наверное, оттащил он меня на первый этаж и уложил спать. С утра просыпаюсь в комнате — золотые лучи солнца и чудные чарующие звуки Шопена. Откуда, думаю, Шопен? Неужели мне снится? Может, это просто душа требует или похмелье такое странное? Головой трясусь, гоню прочь наваждение — нет, не проходит. Шопен — и все! Встаю как был, в трусах, босой, начинаю соображать: откуда звуки? Наконец, улавливаю — сверху. Тихо поднимаюсь босой на второй этаж по лесенке, смотрю — мезонин, маленькая светелка и рояль посередине стоит. За роялем — дивная тургеневская девушка в чем-то прозрачном, воздушном, голубом. Девушка играет. Думаю: “Ну не может этого быть! Не бывает такого счастья!” Трясу головой, опять, думаю, наваждение... Нет, сидит! Рояль, Шопен,

золотые лучи солнца, красота необыкновенная! Присматриваюсь ближе... а она — без ног. Без обеих.

— Как без ног?!

— Без ног. Инвалид. То ли у нее в детстве чего-то было, то ли несчастный случай какой в юности, но к этому моменту ног у нее уже нет. Думаю: “Где пожарный?” А она посмотрела на меня пронзительными синими глазами и говорит как ни в чем не бывало, будто давно меня знает: “Не волнуйтесь, папы нет, он на работе”. Я к ней подошел, стою перед ней, онемев от волнения, в одних трусах, молча на нее смотрю, тут она повторяет: “Я говорю правду: папы нет. Не волнуйтесь и не бойтесь, он уехал в пожарную часть”. И тут у меня — ну, конечно, не у меня, а у нашего лирического героя, немного обобщенно-абстрактного, — такая дикая страсть пробудилась, такой прекрасный порыв любви...

— Прямо вот так? В трусах, босым, с похмелья?

— Да! Да! Да!

— Так она же без ног!

— Да! Без ног! Без ног-то без ног, но должен тебе сказать, что это был вполне нормальный, очень даже впечатляющий любовный акт!

— Без ног?

— Да! И должен тебе еще сказать, что она во время всего этого ухитрилась продолжать играть Шопена.

— Ну-у!

— Что “ну”? Что может быть возвышенней и прекрасней в человеческой судьбе! Этой любовной сцены я никогда в жизни не позабуду!

— И это все?

— Какое все? Дальше такое началось! Такого не придумаешь! Я осел в этом доме. Вечерами пожарный меня водит в подвал. Аппарат все работает, хороший аппарат, производительный. Мы свеженького попробуем, а ночью я сплю и он спит, он с утра на службе, а я — наверх. Шопен, любовь, и как бы я чувствую, что нашел свой дом, себя, судьбу.

— Очень идиллическая история.

— Какая идиллическая! Это драма!

— А что такое?

— Хочешь верь, хочешь не верь, но однажды в доме начался пожар.

— Как?!

— Совершенно неожиданно. Я спал, было утро, чувствую — угораю. Горим! Дым! Я пробкой вылетаю на улицу: дом горит, а сверху — звуки Шопена.

— А что ж ты, блин, любимую девушку не спасаешь?!

— Как же! Первое, о чем подумал: сейчас побегу и вытащу ее. Она же без ног, сама не может. Но еще думаю: “Чего же она дым унюхать не может?” Нельзя же не почувствовать, что дом горит. Почему шопениться продолжает? Такие вот противоречивые мысли у меня, то есть у нашего лирического героя. Думаю, вытащу ее сейчас на руках через огонь, а как я ее вытащу, если уже на первом этаже все полыхает? И только я туда рванул, как началось...

— Что?

— Страшные взрывы.

— Какие взрывы?

— Страшнющие. Военные. Как на фронте.

— А взрывы-то откуда?

— Откуда! От верблюда! Внизу бутылки стало рвать. И я понимаю, что сейчас весь дом рванет, потому что, не исключено, сам аппарат остался в рабочем режиме. А если аппарат рванет, то, думаю, я сам без ног и без всего остального в этот момент свою жизнь кончу. Я застыл, дом пылает, в подвале рвут бутылки со страшным грохотом, дым коромыслом. Сквозь дым — Шопен.

И вдруг колокола... Подъезжают пожарные машины, выскакивает отец весь в слезах и слышит звуки Шопена...

— Отец слышит?

— Да, отец. И он мне кричит: “Какого же хера ты тут стоишь? Она ж без ног!” А я говорю: “А что я могу сделать?” И тут как рвануло в последний раз, уже окончательно, это разлетелся на куски центральный аппарат (я как в воду смотрел: он был в рабочем режиме), и тут же замер на полуслове последний шопеновский звук. И только в воздухе пролетело над нами что-то голубое, прозрачное, и все унесло ветром...

— И дальше что?

— Что дальше? Все. Больше я там никогда не был.

На этом месте я, обессилив, упал в лужу. Гена медленно опустился в лужу рядом. Мы оба плакали, растирая кулаками по щекам грязные слезы. Дальше он от хохота уже не мог рассказывать, я не смог слушать, но и в будущие годы, как только нам становилось совсем хреново, мы много-много раз возвращались к теме пожарного. Это и в самом деле превратилось в любимую нашу тему, можно сказать, в лирико-драматическую мечту.

— Слушай, а может быть, все-таки сделать фильм про пожарного? — время от времени с надеждой повторяли мы друг другу.

Думаю, это на самом деле замечательный сюжет, и, может быть, следующее поколение, которое идет за нами и которое, верю, если и не будет лучше нас, то хотя бы — не хуже, пусть оно наконец придет и попробует совладать с этим великолепным артистическим сюжетом.

Гена был по-настоящему веселый человек. С годами выясняется, что он был и исключительно умный. Это несмотря на то, что считали его скорее придурковатым, нежели сильно интеллектуальным. А придурковатость Генина исходила от его не просто хорошего, но, думаю, даже от безупречного вкуса. И вот при всей его так называемой придурковатости Гена вдруг начинал отстаивать некоторые как бы даже отвлеченные интеллектуальности. Вдруг, например, начинал пугать или Алика Бойма, или Княжинского, или Финна, или Мишу Ромадина: “Ребята, берегитесь, вас погубит Запад...”

Гена, уж извините меня за столь определенное и даже в некотором смысле безвкусное выражение, всегда был патриотом. Он как-то чувственно — нюхом, слухом, пупом, ладонями — понимал, что такое Россия, родина. Понимал это и любил. Прекрасно знал, к примеру, что такое война 1812 года, как это на самом деле у них там было и что такое, скажем, были молодые русские генералы в ту войну. Он очень серьезно, трогательно и целомудренно ко всему этому относился.

Умен был Гена хотя бы только потому, что терпеть не мог ничего мозгляческого, так называемого “интеллектуального”. Его всегда корбила натужная авторская серьезность: “А какую, собственно, мысль мы хотим донести до зрителя своим художественным произведением?” Да никакую...

Всей своей жизнью и всеми своими стихами Гена упрямо доказывал, что никакой иной мысли, кроме мысли о “прекрасности

жизни”, в искусстве не было и нет. Все остальные мысли на любой вкус изложены в умных книжках, напечатаны в газетах. Гена же, как мне кажется, был гений замысла без смысла. Замысла как жизненного озарения.

Погибал Гена медленно. Вместе со временем 60-х, духом, энергией и воплощением которых был он сам. Грузнело его время, грузнел Гена, плохо работали почки, иногда жаловался на сердце, отек. Приятели-циркачи ездили в зарубежные гастроли, везли оттуда фирменные шмотки, приторговывали, строили кооперативы. “У Пушкина” толкались фарцовщики, в ресторане ВТО “Цинандали” давали теплым, скатерти поснимали, разговоры переменились: “ставка, халтура, инфаркт...” Гена пил водку, дома не уживался, бродил сначала по друзьям, потом просто по городу: с похмелья обожал читать расклеенные по стендам газеты. Прочитывал любые, от строки до строки. Еще писал стихи, которые становились лучше и лучше с каждым днем. Сочинял их в основном в почтовых отделениях: почти все стихи этих лет написаны казенной почтовой “вставочкой” на зеленоватых оборотах телеграфных бланков. На них же, на этих бланках, он иногда писал письма на студию или друзьям. Письма в основном были про жилье и про деньги.

Сначала все мы помогали как могли. Потом помогать стали меньше. Судить никого не стану — знаю, в быту Гена был невыносимым, иногда даже страшным. Ходил он теперь в кожаной куртке, белый плащ то ли потерял, то ли продал, шарф остался. Сценарные договоры внезапно кончились. Точнее, даже не так: договор иногда все-таки заключали, но обе “юридические стороны” знали — фильма не будет. И не потому, разумеется, что Шпаликов не сможет написать заказанный сценарий, а потому, что чем лучше и сердечнее он его напишет, тем меньше он будет нужен студии. Получалось, подкармливали его авансами. Такие вот метаморфозы творились с временами.

Лень платформ и деревень,
Пива мартовская лень,
Приподнять ресницы лень,
Приподнять и опустить,
Свет вечерний пропустить...



После долгого перерыва мы с Геной встретились случайно — не то на бульваре, не то на набережной. Гена сидел на лавочке, жевал краюху черного хлеба, заедал зеленым луком. Говорил: “Весна. Это полезно”. Еще говорил, что фал, которым космонавт соединен с кораблем, напоминает пуповину... Потом предложил поехать с ним куда-то, записаться в секцию прыжков с парашютом: “Я давно хочу, но одному прыгать скучно. А никаких особенных документов туда не надо. Главное, срочно сдать на анализ кровь и мочу”.

— Давай сценарий напишем, — со своей стороны предложил я.

— Давай, — легко согласился он, — сценарий будет называться “Все наши дни рождения”, а фильм начнем с гениальной песни, слушай, я ее недавно сочинил.

И Гена запел песню, отбивая такт стоптанным “скороходовским” башмаком по асфальту: “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...” И дальше все стихотворение до конца, довольно мелодично и красиво.

— Это не ты сочинил, Гена, — выслушав, тупо опроверг я.

— А кто ж, по-твоему?

— Ахматова.

— Ахматова сочинила стихи, а песню я, но если тебе не нравится, бог с тобой, фильм мы начнем другой песней: “Там, за рекою, там, за голубою, может, за Окою, дерево рябое...”

Стали соображать, где найти место для работы.

— Нужно в темпе “намотить” заявку, — предложил Гена, — получим аванс, возьмем купе СВ Москва — Владивосток, туда и обратно. Представляешь? Постукивают колеса, мы едем, беседуем. Спешить некуда, ночевать есть где: белые простыни, чай — стаканы в подстаканниках... Мы глядим в окно: лес, поле, река... Ждем станции, покупаем ягоды в мокром кульке, горячую картошку. Впереди нас ждет Тихий океан. Выходим. Окунаем ноги в океан. Потом назад. Выходим уже в Москве и прямо с вокзала — на студию. Сценарий на стол — держите. Это даже лучше парашюта.

Мы и вправду “молотим” заявку, получаем аванс, но никуда не едем: авансом гасим горящие Генины долги. Но писать все-таки надо. После аванса особенно. Скажут: “Тоните аванс назад”, — где деньги брать?

— Давай я буду как Дюма-пер? — предательски предлагает Гена.

— Что-то такое уже было. У Ильфа и Петрова, — упираюсь я.

— Нет, правда, — не унимается Гена, — ты пиши, а я в конце поправлю своим гениальным пером. Давай я тебе для начала напишу чего-нибудь, какой-нибудь кусок, для затравки...

Сюжет в наших головах примерно уже маячил. Гена отвел меня на почту и там сразу и без помарок написал эпизод.

— Нравится? Примерно этого и держись. У тебя должны быть способности. О тебе хорошо отзываются...

— А ты?

— Я заканчиваю роман, но в нашей работе буду участвовать активно. Стану писать тебе письма...

Что было делать? Я сел писать в одиночку. Сочинял поначалу с единственной целью как-нибудь попасть в Генин писательский лад. Временами, мне кажется, это удавалось, что было для меня своеобразной стилистической школой. Временами и сама история увлекала меня, и тогда я про имитацию забывал, писал от себя. Гена вправду присылал письма: цвет телеграфных бланков изменился, были они теперь грязно-голубоватыми. Письма он писал мне из какого-то горнолыжного пансионата, где непонятно для самого себя почему-то очутился. Письма были иногда смурные до такой степени, что невозможно было что-либо разобрать, иногда вдруг умные, ясные, четкие, со сценами, диалогами, неожиданными ходами. Ближе к весне появился в Москве и он сам. Под мышкой — пухлая правленая машинописная рукопись. Очень толстая, как мне, во всяком случае, показалось, — таких до той поры я у него не видел.

— Роман, — пояснил Гена. — Называется “Три Марины”. Героини — Марина Цветаева, Марина Освальд и просто обыкновенная Марина. Часть действия происходит на том свете. Там Ахматова с Мавзолея приветствует праздничную демонстрацию, представляешь? Лозунги по радио кричат: “Кто чего боится, то с тем и случится! Поэтому бояться ничего не надо!” Роман гениальный!

Сели читать. Он сценарий, я — роман. О романе сейчас уже чего говорить: половины я тогда и не понял, многое казалось невероятно странным, иногда и вовсе смахивало на бред, но было и мно-

жество страниц ослепительно прекрасной русской прозы. Гене сценарий, в общем, тоже понравился.

— Если бы я был Артуром Миллером, я бы взял тебя старшим негром, — похвалил меня Гена. — Теперь мы вместе его слегка проконопатим...

Мы его “доконопатили”. “Доконопачивая”, то радовались как дети, то, переживая за героев, печалились и восторгались ими до настоящих слез. Это тоже сейчас вспоминать даже как бы странно, но что же тут поделаешь — такие были времена. В историю эту мы очень верили, понимали, что она “наша”, живая, ни на чью не похожая. Позвонили Смоктуновскому, на которого, “доконопачивая”, скорректировали главную роль. Обдумывали натуру: как поедem ее искать, как хорошо, по-человечески будем жить, снммая. Перепечатав сценарий, оба поцеловали титульный лист первого экземпляра, а потом друг друга.

...Вольным — вольная воля,
Ни о чем не грущу,
Вздохом в чистое поле
Я себя отпущу.
Но откуда на сердце
Вдруг такая тоска?
Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой горстью песка.

На этом радости наши кончились. Сценарий начали листать редакторы, начальники. Изумлялись, пожимали плечами, крутили пальцем у виска: “Рехнулись? Получается, что только на войне советский человек был счастлив?”

Тут настала очередь изумляться нам. Это какое же специфически изувеченное сознание нужно иметь, чтобы такое в нашем сценарии вычитать?

— Нет, — брали себя в руки мы. — Это вовсе не о том, это о человеческих чувствах. Сценарий про то, что любовью не только выигрывают войны, но ею вообще держится мир. Без нее человеку нельзя!..

Мы все это кричали им, убеждали, унижались. На нас глядели глаза тех, от кого зависела постановка, и мы понимали, что волнуемся зря: без всякой любви жить вполне можно и даже лучше.

— Я удушю кого-нибудь, — не выдержал Гена. — Ты молодой, у тебя нервы крепче, если можешь, бейся дальше. Я ухожу. Вообще из кино к черту ухожу. Я писатель. У меня есть документ и роман. Я пойду к Твардовскому...

Гена вытащил из ботинок шнурки, связал их узлом в довольно длинную бечеву, крест-накрест перевязал рукопись в газетной обертке, ушел в “Новый мир”. Я простодушно продолжал “битву”.

— Послушайте, это же очень лирично, и Смоктуновский давно не снимался, потом летчицы, знаменитые “ночные ведьмы”, массовый женский героизм...

Где смеялись, где сердились, из какого-то кабинета даже выгнали. Глядя на меня, многие сокрушались: “Странно, ты не производил впечатления идиота...”

Вернулся из “Нового мира” Гена: Твардовский роман прочитал, велел выплатить Гене аванс, чего в своем журнале, известно, он делать не любил, но сказал, что печатать это нельзя “ни под каким видом”. Что было делать? Я подрядился сочинять халтуру про пионеров для объединения “Юность” под названием “Сто дней после детства”, Гена не решил ничего. Одолжив у кого-то денег, мы опять пошли с ним на почту, где Гена отдал рукопись, перевязанную шнурками, в бандероль, написал адрес: “Швеция. Стокгольм. Нобелевский комитет”. И обратный: “Москва, К-9, Центральный телеграф. До востребования. Шпаликову Г. Ф.” Мы простились.

Через какое-то время я вдруг услышал, что будто бы Гена подрядился работать с Бондарчуком. Я и удивился, и возревновал одновременно. Не мог сразу понять, что их объединяло? По-настоящему я понял это недавно, сильно позже Гениного конца. Мы с Сергеем Федоровичем Бондарчуком случайно, по скорбной причине смерти Федерико Феллини, общались в Италии. Я слышал, что и сам Бондарчук будто бы болен. Как раз до поры нашей римской встречи Бондарчука от чего-то лечили в Швейцарии. Здесь он предложил: “Давай помянем Феллини, а заодно и поставим мой желудок на пробу. Залечили они мне его или не залечили?”

Мы купили пол-литру, сели пробовать залеченный бондарчуковский желудок. Проба прошла успешно. Молчаливый Бондарчук вдруг разговорился. Как об одной из самых дорогих вещей в своей жизни он вдруг вспомнил о действительно гениальном замысле Гены, который был даже уже и воплощен в сценарии “Декабристы”. Когда Бондарчук закончил “Войну и мир”, перед ним, как понимаете, открывалось в кинематографе огромное количество перспективнейших путей. Гена предложил гениальный сюжет: дети героев “Войны и мира” попадают в эпоху декабристов, в страшное петербургское наводнение... Сценарий Шпаликова, прочитанный мною уже сильно позже его написания, был настолько умен и прекрасен, что никаких отдельных “умных мыслей” о судьбе нашей Родины в нем и не надо было искать. Силен он был своей необыкновенной природной чувственной правдой, пониманием прекрасного в изображаемом, которое и есть само величие искусства.

А как нежно, преданно и даже трогательно относился к Гене, в общем-то, сердитый и недоверчивый к людям Андрей Тарковский! Казалось бы, ну что у них общего? Один — полон сложных концепций, философичности, серьезной сосредоточенности, другой — полубомж, сочиняющий малоосмысленные стихи. Но Андрей относился к этому “полубомжу” с абсолютно братской нежностью. Он словно бы чувствовал в нем тот живой исток, тот чувственный родник, что и ему, Андрею, некогда дал жизнь.

Когда-то была такая красивая формулировка, принадлежавшая, кажется, Пастернаку: “Пушкин построил здание русской поэзии, Лермонтов был первым в нем жильцом”. Я думаю, что Гена построил нам здание нового и новейшего русского кинематографа. В “коммуналке” этой были мы все первыми и, увы, может быть, единственными жильцами. Еще Гена научил нас ощущать и ценить воздух, который образуется над нашими словами, над нашими фильмами. Научил щедрости дыхания. Наслаждаться этой прекрасной воздушной средой России второй половины XX века могли и люди, близкие ему по своей эстетике, и люди, совсем далекие от нее. Но это все был озон. Наш озон нашей России. Он не ворованный. Я думаю, что даже хорошо, что Гену мало или, можно сказать, вообще не знают на Западе. Скажешь там: “Шпаликов” — ни-

кто и не поймет, о ком, о чем речь. Хорошо, что у нас есть такие тайны. Общие тайны. По ним мы всегда отличим друг друга в толпе чужих людей и иностранцев. Гена — это то, что мы понимаем с полуслова. Это и наш сегодняшний воздух. И его состав. То, чем мы дышим, пока мы живы. Главное Генино чудо даже и не в самих его сценариях, стихах, пьесах и фильмах, оно — в природном даре воспроизвести эту изумительную консистенцию русского воздуха, которым дышать — не надышаться.

А после той романно-нобелевской разлуки увиделись мы с Геной только через несколько лет на Новодевичьем кладбище. Открывали надгробие Михаилу Ильичу Ромму, которого мы оба любили. Речи говорили официальные лица. Поскольку история со “Ста днями” внезапно закончилась Государственной премией, разрешили что-то сказать и мне. Слова просил и Гена.

Но ему отказали: “Записалось много желающих, а на улице холод...” Было начало ноября. Действительно, над кладбищем летал легкий снежок.

С кладбища возвращались с Геной вместе, разглядывали памятники. Гена вдруг рассмеялся:

— Гляди: заслуженный работник, главный механик, народный артист — смешно...

— Что смешно?

— Но это же в жизни они были заслуженные и главные, а здесь совсем другое — жили люди и умерли. Вот и все...

Все та же кожаная куртка, немного постарел. Шея обмотана все тем же синим шарфом, который день в день через три года в Переделкине, в писательском Доме творчества, и сыграл последнюю роковую роль в его судьбе...

■ ■ ■

Не знаю, кто сейчас так знаменит?* Ну, можно сказать, он был знаменит, как Алла Пугачева в народе, вот так он был знаменит в кинематографической среде <...>

На том знаменитом ристалище, где Никита Сергеевич Хрущев отчитывал всю советскую интеллигенцию — как там ей быть, как ей жить, кто хороший, кто плохой... Гена сидел и наблюдал все это дело с весельем. И, наконец, это стало Хрущева раздражать, что сидит посредине сияющий как пятак человек, который с диким удовольствием наблюдает всю эту фигню собачью...

И Хрущев говорит: “Вы кто?” Он говорит: “Я — Шпаликов, который написал эту самую ‘Заставу Ильича’”. Он говорит: “Вместо того чтобы сидеть и улыбаться, вышли бы и объяснили, как вы докатились до такого маразма человеческого, что написали ‘Заставу Ильича’”. Гена вышел и сказал: “Вы знаете, мне не хочется вам ничего рассказывать, про маразм, как я докатился, как я скатился... Знаете что, я просто всех вас попрошу. И вас, Никита Сергеевич! Будьте добры, поаплодируйте мне, пожалуйста, и поздравьте меня. У меня дочка родилась — Даша. А вы сидите тут и занимаетесь вообще черт знает чем”.

Вот такую речь сказал Гена. И с ужасом весь зал увидел, как Никита Сергеевич и весь зал начали аплодировать.

Он очень любил Марлена и очень любил картину “Застава Ильича”. Но как-то с дикой горечью сказал: “Как Марлен не устает в течение такого количества времени выяснять взаимоотношения с Мавзолеем Ленина?” <...>

<...> Шпаликов на самом деле сделал вещь абсолютно гениальную. Вот мы, его товарищи, помним о каком-то воздухе... Да, воздухе, в котором мы все начинались и в котором замечательно дышалось. Так потом, уже не вспоминая этот воздух, чего-то такое и лепим. Так вот, мы — авторы картин, авторы воспоминаний, авторы еще чего-то. А Гена — автор этого воздуха, вот этот воздух сотворил Гена <...>

* Публикуется по: Телепередача “Как уходили кумиры”.

<...> Я помню, как Гена сидел со своей дочкой Дашей и Даше показывал в телевизор, там Кобзон пел: “А я иду, шагаю по Москве”. И он Даше говорил: “Дашенька, посмотри на этого дядю, это наш кормилец и поилец. Чем больше он будет петь эту песню, тем больше денежек у нас в доме будет”.

<...> Его натурализм не воспринимал эту жизнь как систему придурочных обстоятельств, смену придурочных властей, правительств. Вот он всю эту галиматью вообще не понимал. Он понимал деревья, он понимал воду, он понимал Москву. Так возвышенно и так нежно про Москву не писал никто.



Однажды мы так вот сидим и разговариваем, и Гена ни с того ни с сего говорит:

— А ты, кстати, в курсе дела, что я сын Сталина?*

Я говорю:

— Какого Сталина?

Он говорит:

— У нас Сталин один.

Я говорю:

— Ну что ты порешь? Какой ты сын Сталина?

— Да натуральный сын. Сталин провел (ну, тогда не было слова “кастинг”) отбор в суворовских училищах и выбрал себе в такие усыновленные ребята, приемные дети, шесть человек.

Я говорю:

— Ну, хорошо...

(Я уже поверил.) Он говорит:

— Он часто нас не собирает. Раз в месяц приходит ко мне извещение: Гена, нужно поехать в Кремль. Сталин вызывает.

— Ну и что — ты ехал?

— А ты бы что, не поехал? Конечно! Все драил, чистил до блеска, чтобы форма была как с иголки.

Я говорю:

* Публикуется по: Телепередача “Наблюдатель” от 06.09.2017.

— Что вы делали со Сталиным?
— Чего мы делали? Ничего мы не могли делать. Нам приносили кашу.
— Какую?
— Гречневую.
— Ну и что?
— Ну, сидели, все ели кашу. Ну а Сталин иногда спросит, там: как учиться? Довольны ли вы всем?..
<...>

Другой, не менее впечатляющий рассказ Шпаликова — про его командировку на остров Шикотан. Гене нужны были деньги, и он обратился в Союз кинематографистов: так, мол, и так, хочу глубже изучить жизнь простого народа, населяющего отдаленные уголки нашей необъятной родины. Прошу направить меня в творческую командировку на остров Шикотан.

Шпаликову выписали командировку, выдали проездные, суточные... Он благополучно истратил эти деньги и ни в какую командировку не поехал. Но наступило время, когда он должен был отчитаться о командировке — сценарием ли, очерком.

И Гена написал отчет, содержание которого он мне пересказывал в подробностях. Главная из них заключалась в том, что на Шикотане все дома покрашены в синий цвет. И заборы синие. И вся мебель в домах в тот же цвет покрашена.

Я спрашиваю:

— Почему так?

А он мне отвечает:

— Видимо, у них так организована связь с большой землей, что завозят им в последнюю очередь, то, что остается от других. Вот и краску всех цветов распределили по другим пунктам, одна синяя осталась. Ее и завезли на Шикотан в большом количестве.

Там при мне старуху одну хоронили — в синем гробу: гроб был в синий цвет покрашен...

ЛЕОНИД ХЕЙФЕЦ

БЕЛЫЙ ПИДЖАК*

480

Ветерок, ветерок... Как это прекрасно, когда ближе к вечеру в жаркий, душный июльский день — ветерок! Суббота, Москва пустая, мы не шагаем, мы медленно бредем от пива к пиву, от ларька к ларьку, Гена улыбается, потихонечку нагружаемся, но улыбка Гены — та же, только какая-то горечь проскальзывает в нем и нерв какой-то необъяснимый; ветерок, нерв. Гена рассказывает, как ему в итальянском посольстве вручали золотую медаль за лучший фильм на каком-то специальном фестивале в Бергамо за фильм “Долгая счастливая жизнь”, где прекрасно сыграли Кирилл Лавров и жена Гены очаровательная Инна Гулая. Как его окружили поначалу “комитетчики” — сотрудники Комитета кинематографии, среди них и заместитель председателя — не помню фамилии. Окружили Гену, обнимали, поздравляли — праздник тепла, сердечности. Посол выступал, заместитель выступал, Гена что-то говорил, коробку с медалью вручили, фуршет и т.д. Гена все сокрушался: “Эх, уж очень я хотел белый пиджак надеть”, но не было у него тогда белого пиджака, он появится позже, но это будет другая история, а тут уже после всего Гена направился домой, а его окликнули сотрудники комитета: “Геннадий Федорович! Хорошо бы ме-

* Публикуется впервые.

даль вашу хранить в комитете...” Гена не успел опомниться, как медаль его укатила, а он остался один на ступеньках посольства: “Даже не предложили подвезти, гады...” Гена улыбался, пиво шло хорошо, лицо его краснело.

Мы никуда не торопились. Конец 60-х годов. Меня только что выгнали из ЦТСА — Театра Советской армии, и последним спектаклем было “Тайное общество” Г. Шпаликова и И. Маневича.

Гена был уже легендой: “Я шагаю по Москве”, но, главное, — “Застава Ильича”. С Марленом Хуциевым я был знаком давно, давно был влюблен в него, до сих пор с гордостью вспоминаю, как Марлен собирался дать мне роль Дельвига в так и не реализованном фильме о Пушкине, но вот Шпаликов был где-то, только молва, только шепоток: их (его и Марлена) рассорило государство. Это звучало запретно, не очень понятно, почти таинственно и устрашающе. Я ищу пьесу, и опять кто-то: “Прочти сценарий Шпаликова и Маневича”. Прочитал, проглотил, восхитился, многого не понимал, как делать на сцене, но ставить, ставить, ставить! Это было решено до конца чтения. Боже! Какие мальчики! Боже! Какая любовь к России, их дружок Пушкин уже написал: “Пока свободою горим, пока сердца для чести живы...” Потом была встреча с Геннадием Федоровичем Шпаликовым и его учителем по сценарному делу профессором Иосифом Михайловичем Маневичем. Всего разговора не запомнил, но был удивлен чисто кинематографическими вопросами, которыми я не озадачивался. Для меня было все неважно.

Я был влюблен! “Пока свободою горим...” В сценарии были эпизоды чисто шпаликовские, насквозь, до конца пронзительно человеческие, хватающие за горло. Каховский, стрелявший в Милорадовича, потерял на площади шапку, а был конец декабря. У Рылеева перед самым арестом разболелось горло — жуткая ангина, молодой Николай, плакавший во время допросов, проблемы с виселицей, проверка веревок. На сцене в пьесе не было самого момента казни, и мы знаем, что в жизни никакие проверки не помогли, трое декабристов сорвались и в нарушение всех законов были повешены вторично. Поэтому для нас очень пронзительно звучала

в спектакле знаменитая фраза: “В России толком ничего сделать не могут — даже повесить”, — и все.

Мы с В. Дашкевичем хотели найти первую ноту спектакля, что могли петь декабристы, ведь вся романсовая культура была впереди, и все же откопали дивный романс XVIII века:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь,
Миленький его дружок
Улетел навеки прочь...

Огромная пустая сцена театра, на потолке летит Христос — Вознесение, и маленькая, худенькая, в белом платье Лариса Голубкина поет: “Стонет... голубочек...” Влюбленность в пьесу перешла во влюбленность в Гену. Иногда он пугал. Как будто бы все хорошо сидим, выпиваем, говорим про самое разное, про тот белый пиджак, о котором он мечтал и подолгу мог говорить, или про название “Тайное общество”, которое вызывало глубокое сопротивление у начальства: надвигался какой-то съезд партии, интеллигенция писала письма Л. И. Брежневу, ходили слухи о реабилитации Сталина, а тут Театр армии, “Тайное общество”. Гена был чрезвычайно деликатен: “Старик, неважно название, важно, чтоб спектакль был и чтобы нас не выгнали...”

Однажды во время приезда начальства в зал влетел голубь и стал биться о декорации, я испытал жуть, остановил прогон, испугался, мне показалось все это страшной приметой. Генералитет был взбешен, они не понимали моего состояния, и тем не менее репетицию я остановил. Позвонил Гене: “Приезжай”, — сказал он.

Большая новая квартира, почти пустая, в углу сидит прекрасная Инна, глаза полны слезами. И Гена, не знаю, каким словом определить его отношение к Инне, ко мне? Нежность. Пожалуй, нежность. Он опять улыбался, говорил что-то смешное, предлагал ехать на ипподром, почему на ипподром — не знаю; вскоре мы стали хохотать, Гена не хохотал. Он улыбался.

В нем было много нежности и чего-то такого, чего я определить не мог. О чем-то очень скучал. Как-то спросил: “Ты любишь герань?” Я не понял. При чем здесь герань? Потом, позже, посмотрев

спектакль Эфроса “Три сестры”, по которому вся Москва сходила с ума, на вопрос “Гена, как тебе спектакль?” он ответил: “Не понравился”. — “Почему?” — “Герани нету”.

Наш спектакль наконец-то вышел. Гена хвалил молодых, но более всего ему понравился П. Вишняков — в роли Сперанского. Мне тоже нравился Вишняков, но, честно говоря, я был захвачен молодежью: Белоусовым, Кутеповым, Шакуровым, Стебловым, Покровской, Голубкиной, Крынкиным, Дзисько, но Гена был влюблен в исторический образ Сперанского и говорил только о нем.

Но в первые же дни премьеры мы поняли: нам не жить. Появились рецензии разгромные. Вскоре меня выгнали из театра, спектакль сняли, замечательные декорации И. Сумбаташвили сожгли в пять утра на лестнице театра.

Мы еще встречались. Иногда я получал от него письма, почему-то красными чернилами. Письма, полные фантазии, иногда на уровне бреда. Все же однажды втроем с Инной съездили на ипподром. Гена опять улыбался. Вскоре, совершенно счастливый, позвонил мне и сказал, что у него появился белый пиджак, его привезла ему в подарок Наталья Кончаловская. Я его в белом пиджаке так и не повидал. Не успел.

АЛЕКСАНДР НИЛИН

“ИСКАТЬ СЛОВА И НАХОДИТЬ СЛОВА” *

484

Зимой 66 года мне удалось уговорить начальство в АПН командировать меня в Академгородок под Новосибирском.

Я работал в отделе искусства и культуры — и, отправляясь к ученым, видел в этом возможность перемен — в себе ли, в судьбе ли. <...>

<...> Рядом с гостиницей в Академгородке архитектурными кубиками соединились торговый центр (тогда он назывался как-то по-другому), почтамт, что-то еще — и на краю ансамбля Дворец культуры, где показывали кино.

Но мне всю командировку было не до кино — я жил, как положено деловому человеку, на кино не отвлекаясь.

Нужно было съездить в Новосибирск — и я шел к автобусной остановке, когда увидел на Дворце культуры афишу о том, что сегодня здесь выступают гости из Москвы: киноактриса Инна Гулая и киносценарист Геннадий Шпаликов.

<...> Что-то мне подсказывало: рухнут сразу же все планы мои журналистские, если приду я на это выступление.

* Публикуется по: Нилин А. Станция Переделкино: поверх заборов. Роман частной жизни. М., 2015.

И я радовался, что дела мои в Новосибирске так и так не позволят мне вернуться ко времени, когда концерт начнется.

Тем не менее не удержался, заглянул во дворец, когда возвращался в гостиницу, самый конец встречи застал: Шпаликов, сказав что-то про Михаила Ромма, закончил выступление и шел по проходу прямо к тем дверям, в которых стоял я.

Вместо расспросов, какими судьбами и я здесь оказался, он сообщил мне, что недавно в Италии вышел сборник его сценариев. Критика для сочинения предисловия к сборнику впопыхах не нашли — и пришлось взять мою статью о Шпаликове. И когда мы вернемся в Москву, он подарит мне книжку с переводом на итальянский моей статьи, ставшей предисловием.

Это показалось мне маловероятным.

Но поверил же я ему, когда из такси, затормозившего на красный свет при выезде с Арбата на Садовое кольцо, Гена, перекрывая шум улицы, крикнул мне, что вернулся с Кубы (а я-то удивился странности загара Шпаликова с отливом в красный цвет).

Побывать на Кубе тогда казалось никак не меньшей редкостью, чем стать автором предисловия (пусть и к итальянскому изданию).

На Кубе, как через годы выяснилось, он, конечно, не был, но в том, что был, уверил всех соседей по коммунальной квартире и некоторых из доверчивых друзей.

А заметку (статья — слишком громко сказано) о Шпаликове я сочинил после кинофестиваля в Ленинграде — и ее перепечатали многие областные молодежные газеты.

Мы разговаривали с ним на ходу в километровом коридоре гостиницы “Октябрьская” — дошли до лифта, и на том интервью и завершилось (на “настоящее” интервью у меня никогда не хватало терпения).

Собственно, мы просто потрепались на ходу — мне на фестивале все нравилось, а Гене, наоборот, все надоело, хотелось на дачу, купаться в реке, смотреть телевизор (про телевизор я не выдумываю) — и возможно, Шпаликов удивился тому, из чего сложилась моя заметка, и потому в его фантазиях она и превратилась в предисловие.

Разумеется, заметки этой у меня не сохранилось. <...> Но почему-то запомнил Шпаликова в ресторане “Узбекистан”, куда то-

же зашел с утра, удивившись, как мирно Гена пьет чай из пиалы, на столике толстобокий чайник и множество свежих газет, и все он намерен прочесть.

И пересказ сцены из фильма “Причал”, так никогда никем и не увиденного, где через Каменный мост (я жил тогда неподалеку, в Лаврушинском переулке, мост и без Шпаликова видел) в короткую летнюю ночь, когда рано светает (значит, и через рассвет), ведут лошадей (вероятно, белых). Я и сейчас вижу, как идут эти лошади из фильма Шпаликова. <...>

<...> Гена представил меня жене и сказал, что сейчас мы все вместе пойдем в гости к физикам на пельмени.

<...> Физики сосредоточили все внимание на Инне. <...> Но Гена отвлек меня — и от физиков, и от лирики — разговором про футбол. Он сказал, что любой интересный матч он воспринимает как событие огромной важности, превосходящей премьеры в Доме кино.

Я с каждой следующей рюмкой делался красноречивей — рассказывал Шпаликову о знаменитых футболистах, с которыми был тогда достаточно близок. Гена слушал с нарастающим вниманием и вскоре сказал, что рассказанное мною — готовый сценарий. И я должен как можно скорее сочинить этот сценарий для него, а он будет режиссером (он только что поставил на “Лен-фильме” картину по своему же сценарию — “Долгая счастливая жизнь”).

Захваченный открывшимися возможностями, я тотчас же забыл и про ученых (на физиков больше и не взглянул), и про Академгородок. Гена с Инной через сутки улетали ночью в Москву. Мне оставаться дольше тоже было незачем.

За полночь их увезли в Новосибирск — они остановились в гостинице “Новосибирск”.

<...> Утром, видит бог, я боролся со своим желанием ехать немедленно — и в гостинице “Новосибирск” появился, когда уже смеркалось. Но прибыл своевременно: еще бы две минуты, и актриса с драматургом уехали бы на телевидение — и чего-то бы в жизни моей не произошло.

Кто-то из его близких друзей (то ли Данелия, то ли Хуциев) уверял, что более неподходящего для военной службы человека, чем

воспитанник суворовского училища Геннадий Федорович Шпаликов, они в своей жизни не встречали.

Но я видел минуты, когда прорезался в Гене суворовец — и все движения его бывали по-гимнастически (он и гимнастикой когда-то занимался) четкими.

Он энергично отвел меня в сторону — люди из телевидения за ними уже приехали, торопили со сборами, — достал из внутреннего кармана белую пластмассовую фляжку и кусочек засохшего сыру.

Гена никогда не говорил: “Давай выпьем”, но всегда: “Попьянствуем”. И думаю, что никто в мире, кроме него, не говорил “попьянствуем” с такой искренностью предвкушения.

Предвкушения не только флотского глотка, сразу согревающего желудок и вообще всего тебя изнутри, а праздничной ритуальности, где все приготовления обещали долгий разговор, широту взаимного расположения, глубину забытых наутро мыслей, спонтанность поступков (о которых всю последующую жизнь будешь жалеть, но вспоминать, однако, с удовольствием).

[...Как объяснить, что было праздничного в том, как он вынул два металлических рубля, когда стояли мы на том месте, где сейчас Союз театральных деятелей на углу бывшей Пушкинской улицы.

Летом это кафе на воздухе из-за полосатых тентов называли “Под парусами”.

Но еще и весна в силу не вошла, по бокам веранды чернел начавший таять снег. И вдруг нечаянная радость — буфет уже работает. Генины два металлических рубля тут же превращаются в просвечивающие на солнце бумажные стаканчики, и “Старка” в них светлее, чем в бутылке.

Мог же, однако, и арбуз быть.

Кто поверит, что без сопровождения водки?

Нашего замечательного режиссера Андрея Хржановского я, по-моему, с того дня и не видел до прошлого лета.

Но первое же, что вспомнил он, — как ели мы арбуз за столиком на борту кинотеатра “Россия” (теперь “Пушкинский”).

Андрей со Шпаликовым работали тогда то ли над “Стеклянной гармоникой”, то ли над “Жил-был Козявин” — шли к центру от Калевской, где студия мультипликации, и купили по дороге арбуз.

А я мимо них, уже разрезавших арбуз, шел на службу в АПН — и, конечно, задержался.

Вайль (не тот Петр Вайль, что был на “Свободе”, а знаменитый в прошлом московский щеголь Лера Вайль, тоже не скажешь, что непьющий) от умиления почти расплакался. И когда потом заставлял нас на том же месте без арбуза, но со стаканами, всегда вспоминал, как прекрасно выглядели мы трое с тем натюрмортом...]

Передача на Новосибирском телевидении шла в прямом эфире. И с каждой секундой становилось все заметнее, что Гена не все из фляжки влил в меня — и ему тоже кое-что досталось.

Ведущий — красивый рослый мужчина — за голову хватался, слушая, что несет московский гость. Но, когда передача закончилась, подошел — и с чувством пожал руку Шпаликову как гражданин гражданину.

Расходиться просто так после столь волнующей (и грозящей ее организаторам неприятностями) передачи не хотелось — и редакторша, рыжая дама, пригласила к себе домой ведущего, Инну с Генной и меня... как их товарища. <...>

<...> Красавец-ведущий вскоре ушел домой (он жил где-то рядом). Утомленный выступлением Гена заснул еще до его ухода. Хозяйке надо было вставать рано (и она тоже легла). <...>

<...> Часам к восьми утра... поднялся хорошо выспавшийся Гена. И, взглянув на часы, предложил мне пойти купить чего-нибудь (неужели я не догадывался чего?) к завтраку. Ночью мы и не заметили, куда заехали. <...>

Мы ночевали в таком районе Новосибирска, который соответствует московским Черемушкам.

Дома цвета плит, из которых сложены, — и все одинаковые. С похмельной тоски не фокус и удавиться, но у нас никакой такой тоски не было, были деньги и цель была — найти поскорее продовольственный магазин. Я по своему характеру готовился к долгому поиску желаемого, а выспавшийся Гена казался бодрым и беззаботным.

В магазине, оказавшемся, на счастье наше, и открытым, и с водкой, он мгновенно набрел взглядом на одну-единственную праздничную — и по цвету совпадавшую с официозом — деталь: конус томатного сока на стойке. Рядом что-то вроде кафетерия, столик без стульев.

Гена решил, что мы заслуживаем того, чтобы распить одну бутылку (под томатный сок, вызвавший у него улыбку предвкушения) вот за этим столиком без стульев.

Вероятно, ничего распивать здесь было нельзя, но Гена подобные запреты с такой приятностью игнорировал, что никто и замечания нам не сделал, никто по утреннему времени и внимания на нас не обратил.

Мы по половине граненых стаканчиков выпили — человека в лучшем расположении духа, чем в ту минуту у Гены, я и до сих пор не встречал.

Но свойства моего характера, не перестающие самого же и огорчать, проступили вдруг наружу. Я спросил Гену, помнит ли он номер дома, где нас ждут. Он отмахнулся. Я спросил, уже чувствуя неприятный холод в тех местах организма, что минуту назад согреты были водкой, помнит ли хоть номер квартиры или имя с фамилией редакторши? По инерции я задал еще несколько таких же напрасных вопросов, чувствуя приближение катастрофы — не улетим сегодня, у меня и билета еще нет, деньги на билет обещала занять до вечера Инна, но за деньгами и вещами надо ехать в Академгородок (а мы, считай, и не в Новосибирске).

Гена привел меня в чувство настойчивым требованием не портить ни себе, ни ему настроение. Водка еще есть, а не хватит, мы допьем ту, что собирались нести к завтраку, — нам и на третью хватит (он нашел в кармане смятую трешку). Он подошел к стойке — и вернулся с двумя стаканами нового сока. Мне стало неловко за свой приступ неврастения — и я против своего обыкновения выпил стакан не глотками, а залпом, как Гена.

Потом мы шли по улице, ни о чем неприятном не думали, пели: “Нас веселой толпой окружила, подсказала простые слова, познакомила нас, подружила в этот праздничный вечер Москва...” Ноги сами вели нас. Сомнения, что идем мы в правильном направлении, давно меня оставили...

“И в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я тропе, друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве...”

Мы свернули с тропинки к подъезду, поднялись на второй этаж, ни секунды не думая, в левую или в правую дверь нам стучать (со звонками мы не разобрались, они прилеплены были ря-

Г. Шпаликов и И. Гулая на съемках фильма
"Долгая счастливая жизнь". Фото © Музей кино





дом, могли и в чужую квартиру позвонить), и безошибочно поступали в свою. <...>

<...> В том, что случилось с Инной и Геной, никто не мог им помочь. <...> Я думаю, что ими — по разным причинам, но приблизительно одновременно — выработан был ресурс везения: мистика счастливых совпадений обернулась мистикой несовпадений.

Разрыв такой эффектной пары сейчас вызвал бы ажиотаж в глянцевых изданиях. А тогда он вообще не дошел до публики, а в своем кругу скорее понимание встретил, чем недоумение.

И не выглядело это — чуть ли не до самой смерти Гены — ни для кого драмой.

Для Шпаликова круглогодичная жизнь у киношников в Болшеве или у писателей в Переделкине выглядела естественной — никто не воспринимал его домашним человеком, образцом семьянина. Инна сначала исчезла из его стихотворений, но стихи, ей посвященные (“искать слова и находить слова”^{*}), все равно не печатали, и дальше своего круга они не выходили. Другое дело песни — две из них пели все и слова, естественно, знали. Мне очень нравилось: “Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу...”

<...> Шпаликову всегда хотелось исторических параллелей. Как-то мы... встретились за кулисами Театра киноактера во время панихиды по великому Петру Алейникову.

Перед нами в буфет ворвался Борис Андреев — и с порога потребовал налить ему стакан водки. После чего поднялся наверх, где кинематографический народ пока еще не собрался на панихиду, а зашедшие с улицы робко жались по стенке.

Андреев упал большим телом на гроб — и громко зарыдал. Горе его (вот что значит энергетика настоящего артиста) сразу всем передалось — и, как мне показалось, в помещении вокруг гроба сразу стало тесно.

В буфете же, когда Андреев выпил и ушел, Гена, подняв свою рюмку, предложил: “Давайте выпьем за то, чтобы так дружить, как дружили Борис Андреев, Алейников и Крючков”.

* Точная строка: “Искать слова и забывать слова...” из стихотворения Г. Шпаликова “Под ветром сосны хорошо шумят...” (Примеч. ред.)

<...> Когда мы на курсах спрашивали у проводившего с нами занятия по режиссуре Андрея Тарковского, как оценивает он Шпаликова-сценариста, тот отвечал, что Шпаликов в большей степени поэт, чем сценарист.

<...> Еще и не перелистывал, не пробежал глазами оглавления, а только в руки взял роскошно (на хорошей бумаге, в твердом переплете) изданную на излете века почти академически книгу, где собраны все стихи и главные сценарии Геннадия Шпаликова, как вспомнилось мне название рассказа Хемингуэя — “Что-то кончилось”.

Когда-то Гена подарил мне номер журнала “Искусство кино” со своим сценарием “Долгая счастливая жизнь”, опубликованным рядом с “Человеком из мрамора” Анджея Вайды.

На пробелах журнальных страниц — коричневые фломастерные, чем дальше, тем менее разборчивые каракули шпаликовского почерка.

И не только дарственная надпись (спяну чего только хорошего в былые дни не говорилось), но и стихотворение “Бессонница”: “Бессонница, бываешь ты рекой, болотом, озером...” — дальше не смог тогда разобрать... “...иногда бываешь никакой”.

Сколько же лет — чуть ли не тридцать — хуже, чем собственной бессонницей, мучился, что не могу разобрать, какой же бывает бессонница у Гены?

Сейчас узнаю, предвкушал я, сверившись с оглавлением и перелистывая страницы тома, — и прочел: “...болотом, озером и СВЫШЕ НАКАЗАНЬЕМ...” Вон что. Перед “иногда” — “и”: “И иногда бываешь никакой”. Два “и” подряд — спотыкаюсь я при чтении, когда две гласные или две согласные во фразе рядом.

Что-то кончилось.

И началось другое: “искать слова и находить слова” больше не надо — есть теперь общие слова, вырезанные гравером на мраморе мемориальной доски. А сама доска — на выставочном фасаде улицы Горького.

Но для меня “весь Шпаликов” остается рукописью — и мне легче помнить его наизусть, чем перечитывать набранного типографским способом.

ПОСТСКРИПТУМ

Недавно я снова — в третий, кажется, раз — смотрел “Долгую счастливую жизнь”, — и захотелось несколько слов добавить к выше приведенному тексту — мне показалось, что в тексте меньше, чем следовало, сказал напрямую о талантливости (точнее, о характере талантливости) Гены и особенно Инны.

Вроде бы к сегодняшнему признанию Геннадия Шпаликова — памятник напротив Института кинематографии (“чего же боле”) — и нечего добавять.

Но никакой памятник не заменяет живого внимания (и воспоминания, конечно, тоже) к тому, что человеком с памятника сделано.

Рискну предположить, что лучшего — причем одновременно и Гулая, и Шпаликову — памятника, чем фильм “Долгая счастливая жизнь”, не будет, но всего важнее — он есть. Когда-то Шпаликов показал мне на “Ленфильме” последнюю часть картины. Режиссер был слегка (вероятно, для храбрости) выпивши, и я — уже не помню, для чего — тоже.

Меня изначально поражал сам факт, что Гена поставил фильм, — он не производил на меня впечатления человека с очевидными кинорежиссерскими качествами в характере.

И комментарий режиссера Шпаликова к происходившему на экране отвлекал меня от фильма — присутствие рядом с Геной в темноте просмотрового зала само по себе становилось отдельным фильмом. Когда на экране проплывала баржа, Гена сказал, что всегда здесь плачет, — и правда заплакал.

И вот столько лет прошло — я теперь больше чем вдвое старше Гены, принимавшего решение об уходе из кельи переделкинского Дома творчества писателей (мне случалось потом заходить в эту келью при других ее обитателях — и всякий раз пытался вообразить себя на месте Шпаликова), — и снова смотрю по телевизору (в кинотеатре с большим экраном тысячу лет не был — и никогда, скорее всего, не буду) “Долгую счастливую жизнь”.

Почему одни — даже великие и знаменитые картины — устаревают, а другие — нет?

К примеру, “Сладкая жизнь” показалась мне устаревшей, а “Восемь с половиной”, уверен, не устареет никогда.

Киноведам — публика от этого устранилась (по своей ли, по чужой вине) — решать, какое место займет она (или уже заняла) в кинематографической истории. Я — в мои годы — дорожу только личным впечатлением.

Гену не отнес бы к самородкам — притом что, как неожиданно талантливый человек, он — при его вдобавок биографии (суворовское училище, кажущаяся эстетическая девственность до ВГИКа), — большинству и кажется самородком.

Вместе с тем силу его вижу в чуткой (до ранимости души) восприимчивости — изначальном умении адаптировать то, что поразило Гену в кино или поэзии, к своей индивидуальности.

Баржа в “Долгую счастливую жизнь” плывет не из “Атланты”, а из отклика на эту ленту Виго в сознании (в душе, если хотите) Шпаликова, и к нам доплывает через восприятие Шпаликова — видимая (киноведам) вторичность превращается в личностную первичность. Инна, как всегда, сверхорганично вошла в изображенный сценарным стилем Гены женский образ и тип. По-моему, он и сочинял эту роль с учетом внешности жены-актрисы.

Она сыграла одну и ту же молодую особу — разной: вечерней на людях — в праздничной приподнятости на котурнах высоких каблучков (прическа “хала”, распахнутый взгляд из-под челки) по дороге к новому знакомству; и после пропущенной по сюжету картины ночи с ними, все равно воображением прожитой; и утренней, когда смотрит причепуренная накануне барышня с бабьим простодушием, как ест (завтракает с водкой) мужчина, превращенный ее неутоленной фантазией в мужа.

Детям случается переигрывать на экране и самых знаменитых взрослых партнеров. Но в сцене на дебаркадере Инна не уступает первенства талантливой маленькой девочке в роли ее дочери.
<...>

3

“НЕ НАСОВСЕМ
ПРОЩАЛИСЬ”















На съемках фильма "Долгая счастливая жизнь".







С добрым утром, Гена!
Фото Ю. Рязанцева.





Сентябрь 1968

Г. Шпаликов и И. Гулая
на отдыхе в Сухуми. 1968 г.
Фото © Музей кино



Сентябрь 1968







ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ИЗ ДНЕВНИКА 1971 *

513

На кладбище много смешных профессий, кроме фотографов, там есть художники, они пишут на шелковых и более дешевых лентах имена и от кого венок. На кладбище есть отдел эпсиграфии <нрзб>. В храме молодой священник читал за упокой. Он все делал серьезно и строго и ни на кого не смотрел. Я подумал: хорошо бы его совратить. Кто бы это сделал? Дая. Она бы его совратила. Он звонил бы ей по телефону и покупал коньяк, потому что Дая любит коньяк. А еще хорошо бы написать список своих врагов и отдать их этому парню, чтобы он прочел их за упокой. Живых — за упокой. Что бы с ними после этого произошло? Наверное, ничего. Но это приятно — отпевать врагов у алтаря.

Было много старушек, готовых умереть от старости. Мы все тоже умрем, но не от старости. Я хочу философствовать в такой хороший, редкий день. Мы очень плохо живем в молодости. Я всегда думаю, что все еще будет. Завтра? Нет, но будет, ежедневная жизнь — предисловие к празднику. Ничего не будет, это все неправда. Где оно, мое большое спокойствие к малым делам, равнодушное и веселое выражение лица? Его нет. Вчера

* Публикуется по: Шпаликов Г. Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники. Письма. Екатеринбург, 1998.

я ездил к Защипиной. Я действительно любил ее, у меня стучало сердце, я уходил к реке и сидел, как дурак, над прозрачной водой. Я любил ее и заслуживал всего наилучшего. Оставим то, что было в прошлом, это ерунда. Но вчера я приехал, чтобы для себя проститься со своей юностью и с тем, что я сам выдумал и так улучшил по сравнению с подлинником. Подлый подлинник — это не про нее, это просто очень хорошо сочетается. А она девочка неумненькая и пошлая в дозволенном пределе. Я вчера смотрел, как она причесывается, и думал: за что я тебя любил, чего в тебе хорошего? Мне не нужно было напиваться, но я здорово напился и наблевал три умывальника по убывающей степени. А она пошла с Женькой спать. Хочется написать слово “стерва”. Но я не знаю, как ей это понравится. Ну, конечно: ах, какая стерва! Теперь гораздо легче. Напиваться было не нужно, я зря напился. С гаданием было смешно. Мы сидели через стол, между нами Галя Ершова, и она гадала нам в отдельности, и нас в отдельности любили дамы и короли, по радио говорили о переписи, ты сидела с распушенной головой, и было ужасно плохо и трагично, как в будни.

Я пишу это на рассвете. Сейчас лето 71-го года. Пишу, потому что это все уйдет (может, уйдет), не вспомнится, забудется. Не мною, конечно. Вообще может уйти. Пишу потому, что еще, может, и не успею я это написать — по самым разным обстоятельствам. По суете, может быть. По здоровью. Потому что многие это не успели доделать. Пишу, как пишется, особо не заботясь о стиле повествования. Как сложилось за эту ночь в голове. Постараюсь все изложить кратко, времени у меня мало, да и не о себе. Поэтому ограничусь работами, которые не все — так мне кажется — дойдут до вас. Конечно, я родился писателем — по призванию, по влечению, но, как это часто бывает, много не успел. Сегодня я даже не мог всего прочитать, что сочинил... Итак, успел я мало. Думал иной раз хорошо (как и многие), но думать — не исполнять. Слава Богу, что у меня хватает ума это понимать — про себя хотя бы. Но каждый успевает отпущенное. Вот это — уж точно. Не знаю кем...

Устану, да и надоеет, так что заранее прошу простить: я многое пропущу, и не сознательно, а так, пропущу — и все тут.

Внешняя жизнь очень часто заслоняет внутреннюю, но, в общем, меня это особо не волновало, хотя зачем я тогда это все пишу поутру, летом? Значит, волновало. Но, честное слово, не очень меня все это волновало, да и не сумею, наверно, как следует и кратко написать перечень работ и даже не надеюсь в этой краткой записке рассказать все, что я думаю, что пережил. Не думается мне, что это особо уж интересно, хотя жизнь каждого человека, по-моему, интересна по-своему, если, конечно, он успеет или сумеет достаточно внятно ее изложить. Боюсь, что начинаю сбиваться на общие места, что большая опасность, потому что большая опасность — и все тут. Особо для сочинений такого рода.

<Нрзб> отпущенное, но тут есть свои законы. Я мог сделать больше, чем успел. Знаю это точно. Не в назидание и не в оправдание это пишу — пишу лишь, отмечая истину. У меня не было настоящего честолюбия, хотя многие будут считать, что это совсем и не так. А так — не было. У меня не было многого, что составляет гения или просто личность, которая как-то устраивает (в конце концов) современников или потомков. Пишу об этом совершенно всерьез, потому что твердо знаю, что при определенных обстоятельствах мог бы сделать немало. Обстоятельства эти я не знаю, конечно, смутно догадываюсь о них, никого не виню — тем более эти смутные обстоятельства, но что-то уж было. Так мне кажется сегодня, 22 июля 1971 года, да и раньше иной раз казалось.

В общем, мне, конечно, не повезло. Хотя что такое — повезло? Этого я тоже не знаю, но, в общем-то, могу представить. Я не строил свою жизнь по подобию тех, кто мне нравился, и не потому, что этого не хотел, не мог, хотя, наверно, уж не мог, но то, как все у меня в конце концов сложилось, глубоко меня не устраивает и очень давно уже.

Пишу это не в состоянии минуты, а подумав, хотя и верю, что и минута — верна как минута. Чего еще ждать?

Пусть хоть так.

ЭЛЛА КОРСУНСКАЯ

И ТОЛЬКО ТВОРЧЕСТВО ОСТАВАЛОСЬ С НИМ *

516

Моя должность в объединении называлась “редактор-организатор”. Я заполняла бланки договоров, принимала и регистрировала сценарии, вела протоколы художественных советов. Я постепенно осваивалась, знакомилась с драматургами, они приносили мне свои работы, прозу, сценарии. Пришел Фридрих Горенштейн, принес пьесу “Бердичев”, потом Василий Аксенов, Юрий Казаков. Актер из Ленинграда привез три неопубликованные пьесы Александра Володина. Однажды забрел в нашу комнату Гена Шпаликов. Это был период его жизни, которому не суждено было смениться другим. Не помню, как начинались наши отношения, помню, что он стал все чаще заходить в нашу комнату, мы делились впечатлениями, рассказывали друг другу о разных кинособытиях. Жить Гене было негде, случалось, он исчезал на время, потом появлялся и говорил: “Знаешь, я это время жил у Лидии Корнеевны (Чуковской). Там столько книг. Я прочел всего Солженицына”.

Жизнь моя в объединении была интересной, но, как бы это сказать, бесперспективной. Главный редактор объединения Нина Николаевна Глаголева не любила меня, остро чувствуя во мне не просто чужого, но чуждого, враждебного человека, отвергавшего все,

* Публикуется по: Корсунская Э. Книга для друзей. М., 2012.

что составляло смысл ее жизни: партию, коммунизм, строй, вождей, законы, советскую власть. Она чувствовала это не без основания, а выгнать не могла — надо мною, невидимая, но твердая, простерлась рука Ромма. Мечь Глаголевой заключалась в том, что она не допускала меня к редакторской работе. Я находила интересные, отлично написанные вещи, но ее безошибочное партийное чутье подсказывало — чужое. Я складывала находки — рукописи и книги — в свой шкаф. Гена приходил в нашу комнату, открывал шкаф, рассматривал книги, пролистывал их. Здесь лежали и некоторые книжки-подарки с автографами, бездарные, убогие, но выбросить их рука не поднималась, все-таки книга. Гена доставал что-нибудь из этой пачки, читал вслух фразу или две, мы хохотали, а потом он тихо клал книгу на место и закрывал дверцы шкафа. Бог, где же твоя правда и милосердие? Вот книга в твердой обложке, которую и книгой-то стыдно назвать, и Генина Литература, разбросанная по чужим столам, шкафам и кабинетам, беззащитная, почти бездыханная. Зачем тогда талант, зачем этот дар, легкий, светящийся, свободный?

К тому времени пик Гениной славы прошел, хотя все, кто застал ее и во многом ей способствовал, были живы, были в работе и ничего не забыли. Генка приходил на студию, проходил по этажам, по своему царству, в котором ему как будто все были рады, но ни дела, ни места для него здесь уже не было. Все были заняты: ставил картины Георгий Данелия, режиссер фильма “Я шагаю по Москве”, снятого по сценарию Шпаликова и победно прошедшего по стране; готовился к пробам картины “Пушкин” Марлен Хуциев, снявший по сценарию Гены прославившую его “Заставу Ильича”, готовилась к новой работе Лариса Шепитько, режиссер фильма “Ты и я” по сценарию Гены. Заняты, заняты были все. Написанный Шпаликовым вместе с Михаилом Швейцером сценарий о Маяковском лежал без движения; затрепанный, в несвежей уже обложке торчал под мышкой у Гены сценарий “Люди 14 декабря”, изумительный сценарий, один из лучших, какие мне довелось читать, но не было на него спроса. Неустроенность, необязательность Гены, часто неверность и какое-то жестокое упрямство соединялись в нем с невероятной добротой, способностью принять к сердцу чужое горе, горячо обрадоваться чужому успеху, чужой творческой удаче. Мне казалось,

нет вещи, которой бы я не сделала для него, но он никогда ничего не просил, разве что трешку на “белое вино”. И как раз в трешке я ему отказывала, а иногда и не отказывала.

Однажды мы шли на просмотр. Гена стоял в дверях с томом Чехова под мышкой. Я сказала: “Ген, оставь здесь свое имущество, мы ведь сюда вернемся”, Генка засмеялся: “Ты неправильно говоришь, нужно сказать — оставь здесь ВСЕ свое имущество”. Это правда. У него ничего не было, ни дома, ни вещей. Он был один, свободный от всяких связей, обязательств, и только творчество оставалось с ним, не уходило, не оставляло его, и я не знаю, не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что творчество рвалось на волю, хотело жить, а воздуха не было. Их много было, раненых и убитых на этом творческом поле брани, но судьба Гены представляется мне особенно злосчастной и мученической. Он не только не умел бороться, но и не хотел. Не царское это дело... Он был романтиком. Наперекор всему он верил в справедливость и человечность мира. В нашем объединении Гену любили, понимали, что он такое; высоко ценили его талант, необыкновенный воздух его прозы, его отношение к жизни, в которой мы жили, которую он нам открывал, защищая от нас самих.

ЗА РАБОТУ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!

Со студенческих лет Гена мечтал снять фильм по повести А. П. Чехова “Скучная история”. Он написал заявку, в которой были слова о “бесстрашии перед жизнью” и о том, что “сохранить достоинство — это подвиг”. Художественным руководителем объединения к тому времени был Ю. Я. Райзман. Гена передал ему заявку, рассказал, как представляет будущий фильм. Райзмана заинтересовал замысел, понравилась заявка, и он назначил художественный совет, чтобы посмотреть картину “Долгая счастливая жизнь”, снятую Геной на “Ленфильме”, и решить, можно ли поручить Шпаликову постановку фильма. Тогда жанр авторского кино еще только складывался, к нему еще только подбирали формулировки, а Гена уже работал в нем и получил приз на международном фестивале авторского кино в Италии. Назначили расширенный художественный

совет: были редакторы объединения, члены совета, режиссеры. Гена сидел посреди комнаты, помахивая авоськой, в которой мерцал темным золотом главный приз бергамского фестиваля “Золотой щит”. Гена выглядел торжественно, был рад, что так много уважаемых, хороших людей собрались посмотреть его картину, и казалось, что надежда и реальность соединились и сбудется, случится, наконец, то, чего он так долго ждал.

Это даже нельзя назвать победой, это был триумф. Картина “Долгая счастливая жизнь” тонкая, щемящая, в высшей степени профессиональная. Все радовались за Гену, поздравляли. Райзман протянул ему холеную узкую руку: “Что ж, за работу, молодой человек. Рад за вас”. Решение было принято единогласно: заключить договор на написание сценария и поручить Геннадии Шпаликову постановку фильма “Скучная история”.

Вот заявка, которая вместе с другими Гениными страничками и набросками сохранилась у меня.

ЗАЯВКА

Ю. Райзману — Художественному руководителю объединения “Товарищ”

В. Агееву — Директору объединения “Товарищ”

Н. Плаголевой — Главному редактору объединения “Товарищ”

Недавно я показывал объединению фильм “Долгая счастливая жизнь”. Показывал на предмет работы. У меня был готов сценарий о дублере В. Терешковой. Тема космоса Комитетом (кинематографии) пока что остановлена. К этому есть свои основания, о которых в заявке на работу писать излишне.

Я хочу снять у вас “Скучную историю” А. П. Чехова. Я к этой работе шел с 1966 года, у меня есть план дела и все обстоятельства вокруг. Я могу устно все рассказать об этом. Заявка, конечно, не жанр, и свободы мысли тут нет. Мне необходимо снимать самому, ибо тот опыт потерь и недосказанностей и опыт иной — все, что я успел понять в кинематографе, приказывает работать самому. Основания для этого есть, вы сами это знаете отлично. Объединение это для меня родное. Мне необходимо это сделать. Подробности официальной заявки, для дела, я бы писать не хотел. Расскажу то, что считаю важным для заключения договора...

Г. Шпаликов "Скучная история"
Заявка на киносценарий по повести А. П. Чехова

Чехов написал "Скучную историю" сравнительно молодым человеком — ему едва исполнилось тридцать лет. В это трудно поверить, но это так. Даже сам подзаголовок "Из записок старого человека" похож на мистификацию, подобно "Повестям Белкина", и таких примеров в мировой и русской литературе немало. Пересказывать, тем более в заявке, эту историю, вероятно, не стоит. Скорее так: я хочу объяснить, почему меня давно уже непреодолимо притягивает эта повесть.

В ней разобраны, и очень подробно, духовный и нравственный облик замечательного человека, среда, в которой он живет и трудится, его интересы, пристрастия, его ненависть ко всему мелкому, пошлому, его любовь к настоящим, стоящим вещам, его бесстрашие перед жизнью, достоинство, вера его в справедливость, доброту, человечность. Он — подвижник и в науке, и в жизни. Такими людьми, в конце концов, и держится мир.

Я представляю, что такими были Тимирязев, и Павлов, и Ландау. Таков, насколько я знаю, и Капица. И множество других людей, чьи имена не столь известны, но эта история не только про человека науки, она гораздо шире и захватывает, если так можно сказать, целую область нравственных представлений о счастье, добре, порядочности, верности своему долгу перед отечеством и перед самим собой.

Она по-настоящему современна, хотя и сочинена в 1889 году.

Но есть вечные проблемы и вопросы, неизбежно встающие перед каждым человеком: как ты прожил эту жизнь, такую, в общем, недолгую, краткую совсем, что ты оставил после себя людям, не только памятник или более скромную надпись рождения и смерти, но и память в сердцах. Жизнь нашего героя сложна и противоречива, как, впрочем, любая человеческая жизнь, но сохранить при этом достоинство — это счастливый удел, это — подвиг.

Чехов никого в этой истории не оправдывает, не обвиняет. В этом смысле он беспощаден, как может быть беспощаден хирург, если можно назвать беспощадностью борьбу за челове-

скую жизнь. Он здесь и насмешлив, и горестен, и даже терпим по отношению к своим многочисленным героям, но одно только несомненно — вся его любовь на стороне нашего героя — профессора Николая Степановича. Я всегда видел за этим образом самого автора, его чистоту, его незащищенность и — повторяю — бесстрашие.

В “Скучной истории” все интересно и совсем уж не скучно. Характеры настолько тщательно и подробно выполнены, все обстоятельства отношений между героями настолько крепко завязаны, что я зримо вижу и Катю, и семью Николая Степановича, и его учеников, помощников и просто знакомых.

Вижу этот город — скорее всего, это большой университетский город, но не Москва, а, например, Саратов или Пермь, город на реке, старый русский город. Вижу переезд его на дачу, лето, устройство замужества дочери, грозу, которая внезапно объединила столь далеких друг другу людей, и долгие вечера с книгами или у Кати, и поездку в Харьков. Мне кажется, что я давно знаю всех этих людей, близко знаком с ними, вошел во все обстоятельства их жизни.

Я прекрасно понимаю, что это все иллюзия, возникающая при долгом и многолетнем чтении великих книг, но справиться с этим трудно. И ничего тут не поделаешь.

Я прошу руководство студии доверить мне постановку этой картины.

Фильм, поставленный мною, “Долгая счастливая жизнь”, который смотрели члены сценарно-редакционной коллегии объединения “Товарищ”, близок по настроению этой теме, схож интонацией. До этого времени я делал только современные картины, и теперь мне хотелось бы сделать фильм по одному из лучших произведений русской литературы. “Скучная история” А. П. Чехова для меня давняя и дорогая работа.

Г. Шпаликов

Договор со Шпаликовым не был заключен. Резолюция студийного начальства была короткой и решительной: “Непонятно, о чем будет фильм”.

В ту пору на студии работало много Гениных друзей, с которыми прошли его вгиковские годы, свидетелей его бурной и пышной славы: я не была с ними знакома, узнавала постепенно, поскольку они забежали в нашу комнату в поисках Гены или чтобы оставить для него сообщение. Они расспрашивали о Гене, говорили сочувственные слова, но это была уже не дружба, а, скорее, воспоминание о дружбе. Генка был ужасно одинок. Он никого не винил, я никогда не слышала от него упрека в чей-либо адрес, укора. Он знал теще-ту жалоб. Прежде всегда окруженный друзьями, всегда желанный, званый, он был не просто одинок, он был растерян, словно не мог понять, куда все подевались. Однажды он сказал: “Ну подумай, у меня нет ни стола, ни шкафа, куда я мог бы сложить свои работы, сценарии, стихи, да я и забыл многие, а они нигде не напечатаны”.

У нас в комнате стоял маленький стол с пишущей машинкой — я печатала на ней заключения по сценариям, письма авторам; я сказала: “Генка, вот стол, машинка, садись, печатай. Ты никому мешать не будешь, мы будем все складывать в папку. Смотри, какая у меня красивая папка”. Генка сел и застучал на машинке, мгновенно отключившись от окружающего. Постепенно листочков со стихами становилось все больше. Приходя, он вынимал из карманов стихи, записанные на телеграфных бланках, салфетках, обороте квитанций, садился за машинку и печатал. Я складывала отпечатанные страницы, и с каждой страницей становилось горше и тяжелее. Песни на слова Шпаликова были известны, звучали в фильмах, по радио, в дружеских застольях: “А я иду, шагаю по Москве”; “Ах ты, палуба, палуба, / Ты меня раскачай, / Ты печаль мою, палуба, / Расколи о причал”; “Рио-Рита, Рио-Рита, / Вертится фокстрот, / На площадке танцевальной / Сорок первый год”; “Ах, утону я в Западной Двине / Или погибну как-нибудь иначе, / Страна не пожалеет обо мне, / Но обо мне товарищи заплачут”. Это было на поверхности, известно, правда, поющие не заморачивались насчет авторства. Это были просто песни, их знали и пели, и даже не думалось, кто их сочинил. Стихи были совсем другое. Стихи стали моим открытием, за ними стоял поэт, его отчаяние, мужество, нежность. Они оставались в памяти, от них нельзя

было уйти, спрятаться, оторваться. Это была поэзия другого мира, и печаль, и свет, и горькая усмешка, запрятанная в самой глубине, оставались в тебе и жили уже навсегда.

Я спросила:

— Ген, можно я перепечатаю себе несколько стихотворений? — Генка повернулся на стуле, у него была такая манера — он не голову обращал к тебе, а поворачивался всем корпусом. Он засмеялся:

— Ты что, о чем ты спрашиваешь? Тебе понравились стихи? Я рад, все бери, их же никто не читает, о них не знает никто.

— Узнают, Генка, узнают, — сказала я и заплакала.

Вот три стихотворения Гены Шпаликова для тех, кто их никогда не читал, или напоминание для тех, кто читал и забыл.

Люблю державинские оды,
Сквозь трудный стих блеснет строка,
Как дева юная легка,
Полна отваги и свободы.

Как блеск звезды, как дым костра
Вошла ты в русский стих бесечно,
Шутя, играя и навечно,
О легкость, мудрости сестра.

* * *

Остается во фляге
Невеликий запас,
И осенние флаги
Зажжены не про нас.

Вольным — вольная воля,
Ни о чем не грущу,
Вздохом в чистое поле
Я себя отпущу.

Но откуда на сердце
Вдруг такая тоска,

Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой горстью песка.

* * *

Влетел на свет осенний жук,
В стекло ударился, как птица,
Да здравствуют дома, где нас сегодня ждут,
Я счастлив собираться, торопиться!

Там на столе грибы и пироги,
Серебряные рюмки и настойки,
Ударит час, и трезвости враги
Придут сюда для дружеской попойки.

Редееет круг друзей, но — позови,
Давай поговорим как лицеисты
О Шиллере, о славе, о любви,
О женщинах — возвышенно и чисто.

Воспоминаний сомкнуты ряды,
Они стоят, готовые к атаке,
И вот уж Патриаршие пруды
Идут ко мне в осеннем полумраке.

Иллюстрации М. Ромалина к роману
Г. Шпаликова «Шаровая молния».



О собеседник подневольный мой,
Я, как и ты, сегодня подневолен,
Ты невпопад кивай мне головой,
И я растроган буду и доволен.

...Однажды он сказал:

— Знаешь, я написал роман, не совсем роман, но я его так называю, “Шаровая молния”. Тебе бы понравился. Но его у меня нет.

— ?

— Я его отдал в залог. Я должен деньги, но у меня их нет. И не будет. И я не мог просить вернуть его, вернее, я просил, но мне не отдали. Ты не можешь позвонить, попросить?

Я сказала, что позвоню. Я объясню. Я понимаю, что такое долг чести, обещание, слово. Но передо мною сидел человек, лишенный какой бы то ни было собственности, как будто и не помышляющий о ее существовании. Он не мог вернуть никакой долг, потому что у него ничего не было. Я не назову имени держателя залога, это вполне достойный человек, он сказал мне с досадой: “Зачем вы вмешиваетесь? Это ведь совсем не ваше дело”. Но рукопись принес. Прошло так много лет, а меня преследует вид Гениных рукописей. Эта лежала в старой изломанной папке с оборванными тесемками. Страницы были небрежно засунуты под обложку, измяты, закапаны, надорваны. Гена был рад, перебирал листки и все спрашивал, что сказал этот человек о романе.



— Ничего. Я сама ему сказала, что, когда роман издадут, ты вернешь долг и подаришь ему книгу.

Генка посмотрел насмешливо:

— Ни за что. Когда роман издадут, я куплю себе комнату. Представляешь, какое это счастье — войти в свою комнату и закрыть за собою дверь.

Помню, мы сидели на студии, я заполняла какие-то бланки, Генка печатал, вдруг он сказал:

— Знаешь, я не вижу себя нигде на этой земле, ни в квартире, ни в избушке, ни в кабинете, нигде. А ты где меня видишь?

— Я вижу тебя на троне. Трон — кресло космического корабля. Ты в черном бархатном костюме с белым воротничком, на тебе наушники, на макушке маленькая золотая корона, и ты всегда трезвый.

Генка выслушал, засмеялся.

— На троне... корона... трезвый... Это сказка, а в настоящей жизни и ты меня нигде не видишь.

Тут нужно пояснить мое видение — Гена увлекался космосом, ракетами, читал серьезные книги, любил их пересказывать, знал историю космонавтики, имена космонавтов, дублеров, названия космических кораблей, ракет.

Однажды Гена вошел в комнату, когда я говорила по телефону, была расстроена. Генка со свойственной ему деликатностью, будто ничего не замечая, стал что-то рассказывать, потом спросил:

— У тебя неприятности?

Я ответила, что неприятностью это не назовешь, скорее освобождением, отношения давно зашли в тупик, но жалко потраченных лет, чувств своих. Генка кивал сочувственно, потом сказал:

— Ну, если так, то лучше расстаться.

Я согласилась, что расстаться, конечно, лучше.

— Но ты знаешь, что меня мучит? Вот я с кем-то познакомлюсь, здравствуйте, здравствуйте, я работаю на “Мосфильме”, я жила в Заполярье. Так надоело все это повторять!

Генка разволновался:

— А ты что, всегда рассказываешь одно и то же? Ты что? Так, конечно, можно с ума сойти!

Я рассмеялась, и он развеселился и рассказал, что когда-то снимал комнату в коммунальной квартире на Арбате. Жизнь была ве-

селя. Устав от шумных празднеств, соседи пожаловались в милицию. Пришел милиционер, как раз попал на гулянье и строго пригрозил выселением, если будет еще хоть одна жалоба. А в Генке, может быть, оттого что он учился в суворовском училище, одновременно с несобранностью и необязательностью уживалось необыкновенное уважение к законности, к форме, и он заверил милиционера, что жалоб больше не будет и он изменит свою жизнь. Два дня было тихо, потом скромно начавшаяся пирушка стала набирать обороты. Деликатные арбатские жильцы постучали в дверь. Гена вышел к ним сияющий: “Извините нас, конечно, мы немножко шумим, но только что объявили по радио, что мне присуждена Нобелевская премия”. Ну, Арбат есть Арбат. Жильцы ушли и скоро вернулись с цветами и тортом. Я сказала:

- Генка, как же ты им в глаза после этого смотрел?
- Я не смотрел. Я сразу съехал.

ПИСЬМО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

527

Странное дело, к Гене все хорошо относились, пытались помочь, и все не складывалось. Сергей Федорович Бондарчук захотел снимать “Декабристов”, но сначала решил поместить Гену в наркологическое отделение Кремлевской больницы. Гена был этой перспективой воодушевлен, обнадежен, ждал места, давал мне поручения на время, когда будет в больнице. Но Кремлевка сорвалась, его положили в другую больницу. Навещать его там было нельзя, и он прислал письмо, спокойное, сдержанное, только на самом дне затаилась усмешка, и чувствовалось, как он устал. Вот письмо:

Милая Элла! Пишу из больницы. Кремлевку нужно было ждать около месяца: я не мог ждать. Я лежу в 57-й больнице. Ко мне (пока) ходить нельзя. Как только представится возможность, я тут же позвоню. Здесь мне хорошо и покойно. Честное слово, после последних месяцев (считай, последних двух лет), не считая каких-то светлых дней, нигде мне так не было отдельно, затеряно и скрытно, как тут. Библиотека очень хорошая. Палата на двоих. Мне дали лампочку — мож-

но читать и писать хоть до утра, было б что. Я тут от отчаяния, что ли, прочел за пятницу-субботу-воскресенье — ночью читал — до последней страницы какую-то изумительную книжку про взятие Азова, про царя Михаила и Гирея, Бахчисарай, до утра читал и заснул. Вот так. Это не Кремлевка, а совсем обыкновенная больница, просто здесь хороший знакомый уролог — он меня и пристроил сразу. Я себя так уже плохо чувствовал, сил не было месяц шататься и ждать. Вот так. Прочел я очень много. Здесь есть все полные собрания: Чехов, Толстой, Пушкин очень хороший, такой синий.

Бунин есть и много всякой муры про работу астронавтов, что я очень люблю, есть и совсем глупые книжки, я даже не знал, что такие бывают, но читаю их тоже с наслаждением. Кормят здесь, конечно, обыкновенно, но регулярно и вполне как в столовке, чай вечером стоит. Люди здесь очень больные, долго сюда очередь ждали, очень хорошие, в основном люди никакие не сановные, а очень приятные, хорошие люди: всякие нянечки бывшие, воины переломанные, молодых много, но все простого звания, и это очень все тоже хорошо. Если б еще выпускали! И пускали сюда. Но не пускают и не выпускают. Возможно (скорее всего), на днях меня переведут в институт имени Сербского, когда — я не знаю сам точно, днями. Это уже чуть подлеченного меня от белого вина отучать. Только у них есть это волшебное лекарство, может быть, его дадут сюда, но вряд ли. Я, во всяком случае, позвоню через Раю, твой телефон у меня на Буние остался, я его не взял, ушел налегке.

Вот так, Элла. Пишу немного. Хочется писать уже очень, но я себя нарочно придерживаю, чтобы уже до невоготы, а там — как Бог даст. Тут у нас и умирают, но, знаешь, как-то все притупилось, что ли. Как будто я с войны пришел сюда. Ничего особо и не печалит. Хорошо, что книжек здесь много, и ни с кем ни о чем не надо разговаривать, и никто понятия не имеет, кто я, что я, откуда — тут принято не спрашивать, если сам не скажешь. А я читаю, так что спрос с меня никакой. За молчаливость и абсолютную непривередливость (что дают — ем, куда колют — пожалуйста, какие лекарства —

не спрашиваю, как лечить — не объясняю) все сестры милосердия и нянечки очень меня полюбили, я также охотно выслушиваю вечером, что они рассказывают, и не обижаюсь, если не дослушаю и уйду — больной. Ну, вот и все. Можно писать бесконечно. Элла, я тут же позвоню, как можно прийти повидаться, а то я просто боюсь, что мы дорогой разминемся: все-таки, наверно, меня переведут в институт Сербского. Вообще же или я свихнулся, или что еще, но, знаешь, мне тут очень нравится. Сны, зиме конец, книжки, разговоры глупые, замечательные однообразием, новостей нет, газет нет, спи — и только.

Привет всем, кто вокруг, вблизи и около!

Обнимаю.

Гена

Гена стал редко появляться на студии. Где скитался, где жил, он не говорил. Приходил в нашу комнату, подходил к шкафу и долго стоял, положив руки на раскрытые дверцы. Он плохо выглядел, с ним входили одиночество и тоска. Это было так явственно, точно это были его реальные спутники. Однажды к вечеру я сказала: “Ген, пойдем к нам, мама рада будет, она спрашивает о тебе”. Случалось, раньше после поздних просмотров Генка несколько раз ночевал у нас. Однажды, когда он ушел, мама сказала: “Боже, как болит за него душа...”

В этот раз я позвала его как можно непринужденнее, а он ответил твердо и ровно: “Спасибо. Все в порядке. Мне дали путевку в Переделкино”.

СМЕРТЬ

Первого ноября 1974 года, в трехлетнюю годовщину со дня смерти Михаила Ильича Ромма, на Новодевичьем кладбище ему открывали памятник. День был мокрый, пасмурный, холодный. Народу очень много. Здороваясь со знакомыми, перебрасываясь какими-то фразами, я все время видела Гену. Он ходил, не прибываясь ни к одной группе, не останавливаясь ни с кем, лицо его было серьезно и оза-

боченно, точно он пришел по какому-то делу. На нем было черное пальто и длинный красный вязаный шарф. Я увидела, что он обнимает Маневича, и обрадовалась, потому что знала, что их отношения прервались и этот разрыв огорчал Иосифа Михайловича. Проходя мимо, Гена остановился, положил руку мне на плечо, постоял и пошел дальше. Произнесли все речи, стали прощаться, и я увидела впереди Гену в черном пальто, с непокрытой головой, конец красного шарфа, обмотанного вокруг шеи, перекинут на спину.

Рано утром зазвонил телефон. Иосиф Михайлович сказал, что Гена Шпаликов покончил жизнь самоубийством. Он повесился на красном шарфе.

Потом все шло заведенным порядком — ведь столько мы уже проводили в другую жизнь. Друзья сложились, купили Гене черный костюм. На студии повесили некролог, фотографию, поставили цветы. Боря Балдин, наш любимый фотограф, напечатал пачку Гениных фотографий, чтобы раздать тем, кто попросит, на память.

Гроб стоял в небольшом конференц-зале в Союзе кинематографистов. Голова Генки была чуть склонена набок, выражение лица его обычное. Выражение удивленной печали, видно, райские видения еще не коснулись его. С этого момента, с похорон, утомилась его злая участь, и пришло, что должно было прийти и так долго не наступало, что он сам позаботился о своем спасении как мог.

После Гениной смерти его друзья составили прекрасный сборник его стихов, сценариев, заметок. Художник Михаил Ромадин сделал отличную суперобложку. Составителем сборника стала Рита Синдерович, преданно, безоглядно любившая Гену. Но он не увидел этой книги, если только там, на небесах, нет библиотеки. Он не слышал слов признания и любви, сказанных на вечерах его памяти друзьями, коллегами, просто поклонниками его таланта, а их ведь очень много, но и о них он по-настоящему не знал. Из этих слов признания и любви явствовало, что многие понимали, что такое Геннадий Шпаликов, понимали уровень его таланта, самобытности, внутренней свободы. И если вслушаться, то в этих признаниях можно услышать звук раскаяния, вины и непоправимости.

Вот уже третье издание произведений Геннадия Шпаликова вышло в свет и стоит в книжном магазине на Новом Арбате меж-

ду Владимиром Набоковым и Георгием Владимовым. Может, Гена знает об этом? Может, есть в той, другой, непостижимой пока для нас жизни читальный зал, и он заходит туда, ведь он так любил книги...

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

НЕВОЗМОЖНО

ЗАБЫТЬ ЭТО ЛИЦО*

532

К концу второго года учебы во ВГИКе у студентов-режиссеров нашего курса родилась идея постановки студенческого спектакля по пьесе, написанной студентом-вгиковцем — неким Шпаликовым со сценарного факультета. Это была даже не идея, а скорее стремление заявить о себе.

Мы начали репетировать. Название пьесы я узнал только после нескольких репетиций, потому что поначалу ее текст полностью не видел, все какие-то разрозненные листочки с правками (вероятнее всего, авторскими), которые нам, актерам, раздавали. Это была пьеса “Гражданин Фиолетовой республики” (в названии усматриваю влияние Орсона Уэллса с его “Гражданином Кейном”). На первых репетициях автор отсутствовал. Он появился позже — молодой темноволосый парень с приветливой улыбкой на лице, на которого я не раз обращал внимание, пересекаясь с ним на “ампирных” лестницах ВГИКа. Гена Шпаликов. В своем неизменном черном свитере с выглядывающими из-под него ослепительно белыми уголками воротничка рубашки он сидел на репетициях посреди не полутемного актового зала, далеко от сцены, и, как казалось нам тогда, весьма безразлично взирал на наши творческие потуги.

* Публикуется впервые.

Пьеса, состоящая из двух отделений, была перенаселена действующими лицами (придворные, репортеры, члены Генерального совета, танцовщицы, дети, воины, короли...), поэтому для участия в спектакле пригласили студентов с других курсов. Мне достался Первый министр двора — Фиалкин.

Как-то на репетиции я исполнял ироничный романс министра на стихи Шпаликова и музыку Саши Бенкендорфа, одного из режиссеров постановки. Помню до сих пор:

Лают бешено собаки
В потухающую даль.
Я пришел к вам в черном фраке,
Эlegantный, как рояль.
Было холодно и мокро,
Тени жались по углам.
Проливали слезы стекла,
Как герои мелодрам.
Вы сидели на диване,
Походили на портрет.
Молча я сжимал в кармане
Леденящий пистолет.
Расположен книзу дулом,
Сквозь карман он мог стрелять.
Я все думал, думал, думал:
Убивать — не убивать?
И от сырости осенней
Дрожь свою сдержать не мог.
Вы упали на колени
У моих красивых ног.
Выстрел. Дым. Сверкнуло пламя.
Ничего уже не жаль.
Он лежал к дверям ногами,
Эlegantный, как рояль.

Когда я закончил петь, к сцене быстрыми шагами подошел автор. Блеснула улыбка, и мягкий голос сказал мне:

— А можно и “я”... “я лежал к дверям ногами...”. Попробуй... Может, даже симпатичнее...

Я “попробовал”. Так мы с Геной познакомились...

Наша затея с постановкой “Гражданина Фиолетовой республики”, к сожалению, не удалась. Видимо, кто-то из руководства института все-таки прочитал пьесу целиком, и нашу творческую инициативу сочли безосновательной, по уровню мастерства студентов преждевременной и, главное, несозвучной времени. “Население республики было чистошотно, религиозно, все разводили тюльпаны и были глубоко равнодушны очень ко многим вещам. Сначала люди просто не хотели думать. Потом — разучились, и человек, который разводил тюльпаны, стал высшим достижением страны. Это не могло продолжаться слишком долго и однажды кончилось. Фиолетовая республика пала”^{*}.

Вместе с автором мы погрузили, погоревали, но немного, ведь впереди нас ждала долгая счастливая жизнь...

А романс я все-таки спел — в одной из курсовых киноработ. Шпаликову понравилось. Возможно, в архиве учебной студии ВГИКа сохранилась копия тех далеких студенческих кинопроб...

Дальнейшие наши с Геной встречи на протяжении оставшихся ему лет жизни я могу определить (не без иронии) как спонтанно-спорадические...

...Тысяча девятьсот шестьдесят третий. Минск. Гастроли Московского экспериментального театра пантомимы “Эктеим” в Минске. Большая часть нашей труппы — выпускники ВГИКа. Перед началом спектакля за кулисами неожиданно появился Гена, буквально пронесся. Его глаза блестели пуще, чем обычно, — пьяненький...

— Ребята, я с вами! Ни пуха ни пера!.. С вашего двора!

После представления, более чем успешного, чему значительно поспособствовали сидящие в зале бывшие вгиковцы с киностудии “Беларусьфильм”, мы устроили небольшую вечеринку в гостинице. Конечно, позвали и Шпаликова, он пришел с вином, вина было много...

* Шпаликов Г. Гражданин Фиолетовой республики // Я жил как жил: Стихи, проза, драматургия, дневники, письма. М., 2013.

В разгар веселья некоторые наши молодые артистки начали хвастаться приобретенными в местном универмаге модными английскими туфлями на шпильках (в то время такая покупка была редкостной удачей). Гена, включившись в разговор о преимуществах обувной марки Clarks, в какой-то момент вдруг предложил “по старинному гусарскому обычаю выпить за прекрасных дам из туфельки”. Немедленно откупорили — с пробкой в потолок — бутылку шампанского. Гена вынул из первой попавшейся обувной коробки туфлю, налил в нее доверху пенящийся напиток и с наслаждением выпил. Ребята кинулись разбирать туфли: они вытаскивали их из коробок, выхватывали из рук опешивших девчонок; потом, наполнив шампанским, так же, по-шпаликовски, из них выпили. После “эксперимента” Гена, глядя на то, как девушки принялись усердно вытирать гостиничными полотенцами свои обновки, посоветовал им сразу же надеть эти туфли, чтобы “лучше сидели”.

Наши артистки после тех гастролей в Минске не раз поминали недобрым словом Генкину гусарскую выходку — им пришлось долго разнашивать “обмытые” туфли...

Позже я где-то прочитал, что, оказывается, мы тогда из туфель пили неправильно, и как-то при встрече сказал об этом Гене.

— То есть?! — удивился тот.

— В знак почтения дамы сердца в туфлю нужно поставить наполненный бокал и выпить его, не расплескав содержимое.

— Где прочитал?

— Не помню.

— Да, наверно, так лучше. Надо попробовать. — На лице Гены сверкнула улыбка, глаза его увлажнились...

Через пару лет в том же Минске на киностудии “Беларусьфильм” режиссер Виктор Туров снимал по сценарию Шпаликова картину “Я родом из детства”. И по задумке Гены, как он мне потом рассказывал, один из персонажей фильма в сцене танца с девушкой под довоенный фокстрот “Рио-Рита” напевал ей на ушко: “За Сашей Орловым ты последи, ты последи, ты последи...” На худсовете киностудии во время обсуждения отснятого материала картины

тогдашний председатель Госкино Белоруссии Б. В. Павленок поинтересовался у Шпаликова: “А кто это — Саша Орлов? Такого персонажа в фильме нет”. Гена пустился объяснять: “Ну, это так... периферийный взгляд на окружение... шутка героя, в общем...” Ответ был категорическим: “Уберите эту шутку, она непонятна”.

Генка мне тогда сказал, хмыкнув: “Выбросили, а жаль, симпатично было...”

...У Шпаликова долго не было собственного, не родительского, жилья. Он постоянно снимал какие-то комнаты, углы. Скитался, одним словом. И в каждом “новом” месте он непременно желал принимать (и принимал) гостей, причем ему было неважно, позволял ему это его карман или нет.

Мы часто виделись с ним в Доме кино на просмотрах фильмов. Однажды после очередного такого просмотра Гена быстренько собрал там же, в Доме кино, небольшую компанию друзей и знакомых и затащил нас всех к “себе”. Проживал он тогда в коммунальной квартире на Арбате, недалеко от Вахтанговского театра. Просторная комната, вытянутая параллельно старой московской улице. На маленьком столике возле кровати — пишущая машинка, книги, бумаги, настольная лампа... Все остальное чужое, хозяйское, даже запахи...

Застольничали мы долго, шумно. В какой-то момент сидевший за столом Гена вдруг вскочил:

— Чуть не забыл! Сейчас, сейчас... Кое-что покажу!

Он нырнул под кровать, вытащил из-под нее выдавший виды чемодан, откинул крышку и, покопавшись в нем, извлек на свет мятую порыжевшую фотографию, протянул ее нам. Передавая снимок из рук в руки, мы разглядывали его: группа наших офицеров стоит возле небольшого углубления в земле, в котором лежит полюбгоревший труп, его обожженное лицо обращено вверх — Гитлер. (То, что это был именно он, не вызвало у нас никакого сомнения, ведь о возможных двойниках фюрера и других конспирологических версиях его смерти мы тогда, естественно, знать не могли.)

— Только никому ни слова! Забудьте, что видели, — сказал Гена.

Он спрятал фотографию в чемодан и вдруг неожиданно игриво запел:

Барон фон дер Пшик
Отведать русский шпик
Давно собирался и мечтал...

Мы, импровизируя, подхватили известные утесовские куплеты:

Орал по радио,
Что в Ленинграде он...
Да на параде он,
И русским пшик...

В это время, перекрывая наш музыкальный галдеж, раздался громкий и уверенный стук в дверь, она распахнулась, явив на пороге комнаты, судя по всему, хозяйку жилья. Генка бросился к ней:

— Дора Марковна! Дора Марковна! Внезапные гости! Как вчера!.. Будьте великодушны, дорогая моя! Одолжите из личных запасов бутылочку... чего есть. Завтра верну непременно! Как всегда!

Они вдвоем скрылись за дверью, а через несколько секунд Гена вернулся с бутылкой водки в торжествующе поднятой руке:

— Живем! Не хозяйка, а золото!

На наши вопросы о том, откуда у него фотография с мертвым Гитлером, Гена весьма туманно ответил, что снимок — семейная реликвия, принадлежал его недавно умершему дяде, когда-то бравшему Берлин, и тот то ли сам сделал это фото, то ли запечатлен на нем...

Мы снова запели, только потише, чтобы не будоражить хозяйку и соседей. Пели, как обычно, и Генкины песни, некоторые по нескольку раз — а-ля шарманка:

Мы поехали за город,
А за городом дожди.
А за городом заборы,
За заборами — вожди!
Там трава не мятая,
Дышится легко!
Там — конфеты мятные
"Птичье молоко"!..

Из тогдашних эстрадных шлягеров Гена частенько с удовольствием выводил “Текстильный городок”, впрочем, как всегда, импровизируя, например превращая “незамужних ткачих” в “космонавтов”:

Городок наш ничего,
Населенье — таково:
Космонавты и ткачихи
Составляют большинство.
Мы на фабрику вдвоем
Утром раненько идем,
То ли, может, он со мною,
То ли, может, я при нем.

Исполняя чужие песни, Гена, как ни странно, немного фальшивил, его голос гулял где-то рядом с мелодией.

...Разошлись мы в тот раз далеко за полночь. О мертвом Гитлере никто из нас больше не вспомнил — не до него было...

Шпаликов и сам любил ходить в гости, причем предпочитал нагрянуть внезапно. Когда в нашей коммунальной квартире в проезде Художественного театра, где мы с семьей тогда жили, начинали трезвонить все дверные звонки подряд, я всегда точно определял — это пришел он, наш Генка.

Однажды после очередной такой звонковой какофонии открываю дверь — стоит Гена в светлом, почти белом плаще, в руках неизменные две (три) бутылки вина и одинокий цветок неизвестного происхождения (обычно к вину прилагался баночный компот или коробка конфет).

— Ребята, я к вам! Принимайте!

Нетвердыми шагами он вошел в квартиру и направился по длинному извилистому коридору в сторону нашей комнаты. Из полуоткрытых дверей недовольно выглядывали соседи: время позднее, “а ваш гость так стучит каблуками”...

“Внезапная” встреча растянулась, как всегда, на несколько часов. Гена засобирался уходить и, уже прощаясь, вдруг неожиданно предложил нам с женой поехать с ним к нему домой, в его новую квартиру. И немедленно, во что бы то ни стало!

— Саш, Алл, едем ко мне! Увидите мою Дашку! Саш, Алл! Дашунчика!.. Ручки маленькие... глазенки — как у взрослой...

У Гены и его тогдашней жены Инны Гулая только-только родилась дочка. Живописав прелести Дашки, он с удовольствием прослезился. Отказать ему было выше наших сил...

Мы вышли на безлюдную полуночную улицу. Поймать такси в столь поздний час было почти невозможно. Я подумал, что, может быть, это обстоятельство охладит сентиментальный порыв молодого папаша. Но тут вдруг из-за угла вынырнула небольшая легковушка-пикап. Гена, подняв руку, остановил ее и, бросившись к водителю, стал буквально умолять его подвезти нас. Тот сказал, что у него в кабине только одно свободное место, а в кузове — груз.

— Мы поместимся в кузове, мы — циркачи!

В конце концов Генка шофера уговорил.

Алла села рядом с водителем, а мы со Шпаликовым, кое-как подбрав под себя ноги, устроились на полу возле задних дверей пикапа.

Кузов автомобиля был доверху забит деревянными лотками с эклерами. Скоро мы буквально опьянели от шоколадно-сладкого аромата. Гена взял из лотка эклер, разломил пирожное на две части и протянул одну из них мне:

— Потом заплатим... Не волнуйся...

Неожиданно машина затормозила и остановилась. Через дверные щели кузова пикапа мы разглядели гаишника. К нему подскочил наш водитель и начал что-то объяснять. Генка взял еще один эклер и повернулся к дверям.

— Это мильтону, — давась от смеха, шепнул он. — За проявленную бдительность...

Но, слава богу, все обошлось, милиционер отпустил водителя, и мы тронулись дальше. Ехали довольно долго. Ноги от продолжительного неудобного сидения занемели. Из машины вылезли где-то в новом районе Юго-Запада Москвы. Гена подошел к водителю и щедро расплатился с ним, потом добавил еще денег:

— А это за эклер, который мы съели. Слушай, как тебя зовут?

— Ильей.

— Илья, милый, будь добр, продай мне штук пять эклеров. Очень вкусные! Дома жена, дети... Рады будут!

Водитель, молодой парень, привычно достав из-под сиденья кабины припасенный небольшой бумажный пакет, принес в нем из кузова пирожные.

— Век, Илья, не забуду... — с благодарностью тихо сказал Гена...

Мы вошли в подъезд пятиэтажки. Квартира Шпаликова (у него своя квартира!) была, кажется, на первом этаже. Он нажал на кнопку дверного звонка. Долго никто не открывал. Но вот дверь приоткрылась — заспанная Инна в простеньком домашнем халатике. Понимая всю нелепость происходящего, Гена виновато пробормотал:

— Вот Алла с Сашей... Пришли Дашку посмотреть. — Он заметно покраснел.

Инна холодно оглядела нас с головы до ног. Потом, не говоря ни слова, отвернулась и ушла, скрывшись за углом прихожей.

— Ребята, заходите, раздевайтесь! Я сейчас... — быстро сказал нам Генка и с пакетом эклеров бросился в комнаты.

Мы с Аллой зашли в темную прихожую. Из глубины квартиры послышался громкий раздраженный голос Инны... Гены. Конечно, мы напрасно согласились на этот визит. Видимо, ему было неловко так поздно возвращаться домой одному, и он надеялся, что его появление с нами смягчит удар.

Из темноты все с тем же кульком пирожных вышел сумрачный Гена.

— Ребята, не получается... Дашка недавно уснула. В следующий раз, ладно?..

Стали прощаться.

— Эклеры возьмите. — Он протянул нам кулек.

Мы с женой, отнекиваясь и отшучиваясь, оставили Гену со сладким пакетом в руках и покинули его квартиру, так, в сущности, и не побывав в ней...

...Тысяча девятьсот семьдесят первый. Съезд советских кинематографистов в Большом Кремлевском дворце. В зале много бывших вгиковцев. Увидел Гену. В его костюме заметное прибавление: черный вельветовый пиджачок (по обыкновению, на года).

В обеденный перерыв вгиковцы собрались в кремлевском буфете (в то время с дешевыми, как нигде, ценами). Громкие, под спиртное, оживленные разговоры, хохот... Но съезд есть съезд —

все расписано по часам, и вскоре настойчиво задребезжали звонки, призывающие участников занять свои места в зале заседаний. Всех попросили покинуть буфет. Ребята нехотя пошли в зал, а мы с Геной, увлеченные беседой, задержались за столом. Говорили о Карамзине, о “Бедной Лизе”, о возможной ее экранизации. У нас родилась идея “утонуть” вместе с героиней в пруду, в который она бросилась, и оттуда глазами Лизы наблюдать за дальнейшей жизнью ее любимого Эраста... Решили немедленно написать заявку на создание фильма. К нашему столику подошла женщина из обслуживающего съезд персонала и настойчиво предложила нам пройти в зал. Но мы категорически заявили ей: “Заказ Госкино! Очень срочно! Не мешайте нам, пожалуйста!” — и она от нас отстала.

Слово за слово, рюмка за рюмкой, мы договорились, что “писать сценарий и ставить картину будем вдвоем”, а также “снимем друг друга в эпизодах”. Гена предложил незамедлительно ехать к нему в Болшево, чтобы все задуманное зафиксировать на бумаге, и добавил:

— Бог с ним, с этим съездом! Хотя... он вдохновил нас на хорошую идею...

Через пустынный двор Кремля мы вышли на улицу, взяли такси и помчались в большевский Дом творчества кинематографистов, где тогда жил Шпаликов (Генка опять “скитался”: в семье начались проблемы — и он ушел из дома). В Болшеве, в магазинчике недалеко от железнодорожной станции, купили вина. Я заметил, что Гену здесь хорошо знают — частый гость...

В номере Шпаликов сразу сел за машинку. Перебивая друг друга, мы начали выкрикивать свои фантазии о нашей бедной Лизе. Работали вдохновенно, и вскоре все было на бумаге. Гена вынул из машинки последний лист и строго, непререкаемо сказал:

— Теперь надо отредактировать, придать всему достойный вид. Но это завтра, с утра. А сейчас давай расслабимся. — Его рука потянулась к бутылке с вином...

В Москву я вернулся поздней электричкой. Утром все произошедшее накануне показалось мне смешным и несерьезным. Но позвонил Гена и сказал, что собирается везти готовую сценарную заявку в Москву.

— Куда будем отдавать? — спросил он.

Обсудив, остановились на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького: мы решили подвести картину под категорию “фильм для юношества”, да и к тому же я был знаком с тогдашним директором студии Григорием Ивановичем Бритиковым. Один раз был у него в гостях (после премьеры “Героя нашего времени” Ростозкого, где я снимался), и, кроме того, мы с Григорием Ивановичем частенько вместе простаивали, можно сказать бок о бок, на трибунах Московского ипподрома: входили в долю друг с другом (объединяли денежный куш ставки, делая ее совместной), делили на равных наши проигрыши и выигрыши... (Бритиков всегда брал входной билет за сорок копеек, то есть на места подальше от главной трибуны, вход на которую стоил восемьдесят копеек и на которой он никогда не появлялся. В те годы чиновнику высокого ранга, члену партии не подобало посещать подобного рода мероприятия и уподобляться нам, азартным смертным, поэтому Григорий Иванович старался лишний раз не обнаруживать себя в сем “злачном” месте.)

Одним словом, заявку на киностудию повез я. Бритиков встретил меня в своем огромном кабинете, встал из-за стола и довольно крепко пожал мне руку.

— Чего тебе? — сразу спросил директор студии и кивком головы предложил сесть напротив него.

Мы присели, и я изложил причину визита. Григорий Иванович нахмурился. Шрам на его щеке, оставшийся от осколочного фронтального ранения, угрожающе побелел. Он взял в руки нашу заявку, швырнул ее на стол и злобно произнес:

— Тебе разве неизвестно, что с этим ко мне не обращаются?!

Бритиков снял трубку внутреннего телефона.

— Да! Григорий Иванович... — услышал я в ней голос секретарши директора.

— Какого-нибудь редактора ко мне... из объединений... Кто есть! — раздраженно приказал Бритиков и кинул трубку обратно на аппарат.

Наступило гнетущее молчание. Хозяин кабинета больше не достаивал меня взглядом и смотрел в сторону открытого ок-

на, из-за которого доносились звуки улицы, шум проезжающих машин.

Неожиданно Григорий Иванович спросил:

— Это тот самый Шпаликов?

Он явно намекал на Гену как на автора сценария картины “Застава Ильича” (“Мне двадцать лет”) Марлена Хуциева, фильма, принесшего немало неприятных хлопот Киностудии имени М. Горького.

— Да, тот самый...

— Чего ты с ним связался? Других, что ли, нет?

— Нет.

И снова повисла тяжелая пауза, которую вскоре нарушила женщина-редактор, вошедшая в кабинет директора:

— Вызывали, Григорий Иванович?

— Разберитесь! — Бритиков брезгливо, двумя пальцами, взял наши листочки и протянул их ей.

С нашей заявкой в руках редакторша направилась к выходу из кабинета. Я, поднявшись со стула, — следом за ней. Мы ушли: редактор, заявка и я... Уже в дверях я обернулся и выдавил из себя: “До свидания”. Григорий Иванович сердито кивнул мне головой. (Потом, в течение многих лет встречаясь с ним на ипподроме, мы ни разу не вспоминали о том бесцеремонном моем приходе к нему на киностудию, словно этого никогда и не было...)

Через пару месяцев редакционный совет киностудии, на который нас с Геной не пригласили, вынес решение: наша заявка не вписывается в перспективный сценарный план студии...

В те же дни я отмечал свой день рождения. Пришел Шпаликов, с книгой. Наверное, подарок, подумал я (правда, Генка постоянно ходил с какими-нибудь книжками в руках или под мышкой).

— Зарубили... — почти с порога объявил я ему.

— Саш, неважно... Мы еще нарубим, — отмахнулся Гена.

Он вынул из принесенной книги черно-белую фотографию и протянул ее мне. На ней я увидел Шпаликова и Хуциева, стоящих возле токарного станка в глубоком раздумье.

— Рабочий момент, — рассмеялся Гена. — Сейчас подпишу...

И на лицевой стороне фото своим характерным острым наклонным почерком написал: “Товарищу Саше Орлову, 8 августа, в память о нашей молодости! Г. Шпаликов”.

...Жаль все же, что заявка на “Бедную Лизу” не сохранилась, а наши фантазмагорические идеи не реализовались. Мы тогда придумали весьма неожиданные сценарные ходы, это был некий сплав сентиментализма с мистикой, фэнтези: жизнь утопленников в созданном ими подводном мире, новый, опять неудачный, роман Лизы с одним из обитателей этого странного “киноаквариума” и тому подобное...

Как-то позже родилась у меня мысль дать Гене почитать собранные мною из разных источников известные и малоизвестные сведения о великом князе Владимире Святославиче, Владимире Красное Солнышко. Мне казалось, что Шпаликов может написать добротный сценарий о князе Владимире в период принятия христианства на Руси. При встрече я поведал ему о своих задумках:

— Нарубим, Ген?

Дал ему толстую тетрадь с материалом. Он, бегло просмотрев и полистав ее, что называется, завелся. Унес тетрадку с собой, но при следующей нашей встрече вернул и неожиданно грустно сказал:

— Саш, я не смогу сейчас. У меня напринимают столько заявок, осыпали авансами... А сценарии... и когда я их все напишу?.. Богу неизвестно...

Так не осуществилась еще одна наша совместная работа. Закапало “Красно Солнышко”...

...Центральный дом кино. В Большом зале проходит очередной (или внеочередной) сбор членов Союза кинематографистов — то ли общее собрание, то ли пленум, то ли еще чего, сейчас уже точно не помню. Привычные доклады, выступления, словопрения — все как обычно. В партере — сплошь уважаемые кинолюди... Поражает своей активностью Андрей Кончаловский: он всегда в тройке первых выступающих, так сказать, представляет киномолодежь.

Мы с друзьями сидим высоко, на галерке (оттуда проще незаметно улизнуть: рядом — балкон, через него можно выйти в верхнее фойе, а затем спуститься в буфет или бильярдную), созерцаем, перекидываемся шутками. Где ж еще повеселиться молодой кинематографической братии, как не на таком мероприятии?..

Убаюкивающую атмосферу докладов и речей неожиданно разрушает чей-то недовольный выкрик с места. Я посмотрел вниз и увидел в партере Шпаликова. Сидя во втором ряду, ближе к выходу, он что-то кричал президиуму. Потом, продолжая что-то эмоционально выкрикивать, Гена встал. Его тирады было трудно разобрать, так как в зале поднялся шум. Члены президиума заметно напряглись. Гена еще раз что-то выкрикнул в их сторону, явно нелестное, и быстро покинул зал. Партер возмущенно загудел:

- Кто это?! Таким не место в нашем союзе!
- Да это... Шпаликов... А-а! Все понятно...
- Ну и что?! Шпа-аликов!.. Распоясались, ведут себя как в бане!
- Он недостоин быть членом союза!

Некоторые наиболее темпераментные кинематографисты распалились не на шутку, и тогдашнему секретарю правления Союза кинематографистов А. В. Караганову, ведущему заседание, пришлось приложить немало усилий, чтобы их успокоить...

В два часа дня в Доме кино открывалась бильярдная, и к этому времени я “тайной тропой” вышел из зала. Проходя мимо бара на первом этаже, увидел там Гену. Он в одиночестве сидел за слабо освещенным столиком в полумраке темного, без окон, бара. Перед ним стоял фужер с коньяком, наверняка не первый.

— Ну чего ты завелся, Ген? Бедокуришь? Это же клерки... У них работа такая...

Он порывисто встал, шагнул навстречу, крепко обнял, прижал к себе и прошептал мне за ухом:

- Тошно, Сашка! Ой, как тошно-о-о...

Я услышал в его голосе слезы. Гена отшатнулся и, скрипнув зубами, попытался улыбнуться — не вышло... Я хотел, чтобы он сдержался и не заплакал. Гена стоял покачиваясь, скрипел зубами и прерывисто дышал. Но он смог совладать с собою:

— Все в порядке, Саш. Полный порядок... Порядок в танковых войсках! — Ему наконец удалось улыбнуться...

...Ноябрьским зябким утром 1974 года я торопливо прошел через проходную “Мосфильма”, спеша на павильонные съемки моей картины “Принимаю на себя”. Услышав за своей спиной быстрые

шаги, обернулся — меня догонял Сережа Никоненко, актер нашей съемочной группы. Поравнявшись со мной и не глядя в мою сторону, он сухим, жестким голосом тихо процедил:

— Генка повесился... В Переделкино... в Доме творчества...

Я сразу понял, о ком сказал Сергей, только мне слышалось: “В пределе кино”...

Мы остановились, молча посмотрели друг на друга (помню Сережины глаза тогда — суровые, полные глубочайшей скорби) и разошлись: он побрел в примерную, я — в павильон...

Шпаликову было всего тридцать семь... После окончания им института прошло тринадцать лет, тринадцать лет побед и крушений... Из вгиковцев Гена не единственный, кто слишком рано “устал от жизни” (“Устал я от вас”, — написал он в предсмертной записке) или в какой-то момент отчаялся, сломался... Владимир Китайский, Юрий Ягодинский, Стелла Мелкова, Слава Ефимов... У каждого из них были свои причины ухода, свой запас прочности. Трагический исход из тьмы тупика житейских обстоятельств с ложным ощущением ненужности себя...

...Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Стремительной, яркой сигнальной ракетой взлетел Гена Шпаликов в небо нашей жизни, завис на мгновение над ней, мерцая и высвечивая все вокруг, и, рассыпавшись блестящим фейерверком, погас, исчез... Он обладал добрейшей, открытой душой. Я никогда не встречал ни одного человека, который был бы обижен или сердит на него (кроме его двух жен, разумеется). От Гены исходило неподдельное тепло и обаяние. Его светлая, застенчивая, очень русская улыбка была подобна неожиданному лучу солнца в серый облачный день. Она озаряла его недолгую, но бурную жизнь, порой беспечную, не лишенную детского (времен его учебы в суворовском училище) мировосприятия. Ею наполнены шпаликовские сценарии, стихи, песни... Она одаривала знавших его безмятежным чувством счастья, которое никогда не покидало Гену. И, казалось, оно будет длиться и длиться, а вместе с ним будет длиться долгая счастливая жизнь...

А я — осенняя трава,
Летающие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит к разряду истин.

Желанье вечное гнетет,
Травой хотя бы возвратиться.
Она из мрака прорастет
И к жизни присоединится.

Лет пять назад, разбирая свои архивы, я неожиданно извлек из вороха бумаг коричневую самодельную картонную папку с надписью: “Саша! Это отрывок из бывших дел, — не суди — советуй!” Почерк Шпаликова! В папке я обнаружил машинописные страницы с неизвестным мне литературным текстом Гены. Дар с неба! На первом листе, сверху, надпись: “Титр: ПРИВЯЗАННОСТЬ”. Я судорожно прочитал, перечитал вложенные в картонку страницы... Их, к сожалению, всего восемнадцать. Написаны, вероятно, в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

Я счел необходимым опубликовать в своей книге хотя бы два фрагмента из этой рукописи, чтобы читатель еще раз, а может кто-то и впервые, окунулся в мир Шпаликова. Нескончаемый поток сознания, “чистая” проза... Даже эти небольшие отрывки иллюстрируют несомненную одаренность, свободную манеру изложения и очарование стиля автора.

<...>

...У каждого человека должна быть своя любимая песня. У меня такой нет, потому что я никогда потом ее не могу вспомнить, эту песню, я пою ее, вернее, кричу, — на разные мотивы, а то просто так, отдельные слова, — помню, пока езжу, а после — ни слова, ну, правда, отдельные слова я запоминаю, но я их и раньше знал — матерные, хотя ругаюсь редко, — но тут, бывает, нет слов, нет, и все.

...Редко ведь можно заниматься пением, когда в полном дерьме или еще чего, а мне выпадало так, что едешь в ноябре, а то хуже в марте, а то еще хуже — денег ни копейки нет, и че-





Г. Шпаликов и студентка актерского факультета ВГИКа
Стелла Мелкова. Фотопроба к неснятому фильму.

го-то все в разные стороны, — чисто жизненные, а запоешь, заорешь, с первого куплета, какой в голову придет — ну, сначала выскажешься, по поводу жизни, чтоб хоть отлегло, а уж после, на свободном дыхании, поешь джамбулом* про окружающие местности, встречные пейзажи, излагаешь попутные мысли, замечания вслух, и орешь на всю глотку, — дождь тебя сечет, ветер, — изуверство, в общем, но какие бывают слова, какие слова в голову приходят или вспоминаются, — была у меня, — только и начало запомнил — вольная композиция — а не пора ли нам налима изловить!

...Чудесная была песня, — через заметку в "Вечерней Москве", — там все кто-то звал поехать ловить налима, — настаивал, обольщал, там у него и колокольчик на длинной палочке звенит, в темноте, а налим на песке распластан, а его веточкой по пузу провезешь, — печень вырастет, — вкусна у налима печень, — пишет тот специалист, ну и так далее....Представляю, сколько они там водки выпили, после этого и до, там еще они идут спать в деревенскую избу, поесть горячих щей, — где же это все находится, — налимы, колокольчики, горячие щи, сны на соломе? Ох, про то была песня — где же, сукины сыны, они ловят налимов, где эти колокольчики на палочках позванивают, вообще этот вопрос — где? — меня всегда волновал.

<...>

Само собой, несложный это был механизм. Механизм отвлечения. Но — от чего отвлечения? Ни от чего. Отвлечения. Ни от чего. От нечто. Механизм развлечения. Гармоника. Шарманка. Карусель. Тир. Каток. Нет, пожалуй. Не каток. А что? Гармоника (пятаком в машину с пластинками, не более). Шарманка? Какая шарманка? Где эти шарманки? Нет никаких шарманок. Нет их, и все. Блок выдумал. Видел я как-то в одном доме железные пластинки с дырочками. Их ставили на почти проигрыватель, а звук шел через трубу. Играли, очень славно, кстати, вальсы. Но все равно было все заранее ясно, что это — славно. Труба, зеленая. Ржавые пластинки. Вальс — по-моему, немецкий, или австрий-

* Джамбул Джабаев — казахский поэт-акын. (Примеч. ред.)

ский. Венский — не названием, а расположением предлагаемых обстоятельств, звуков, зонтов, карет, щебета, плеска дунайской волны, — отвлечения, развлечения, — Вена. Ничего не знаю. Зеленая она, наверно. Могила Моцарта, а в могиле его нет. Что мы знаем о Вене? Очень немного. Похожа, наверно, на Ригу. Я в Риге тоже не был. В Японии тоже не был. Да мало ли где. Много ли где. Вот, прилетел из Исландии, — говорю я среди ночи шоферу такси как-то. Из Рейкьявика. Прямо. Нет, не прямо. Через Стокгольм. Нет, сначала мы в Лондоне сели, а потом уж в Стокгольме. Шофер молчит. Там, между прочим, правостороннее движение, и от этого руль на машине не здесь, — я показываю, — а здесь, — я верчу не существующим напротив меня рулем. Правостороннее движение. И у нас тоже, говорит шофер. Да, я киваю головой, теперь это повсеместно. Что ни место, то правостороннее движение, но вот странно — отчего же рули переделывают? Кто их переделывает? — спросил шофер. Все, это я ему ответил. — Странно, что вы до сих пор не переделали. Хотя как посмотреть. Если смотреть с той стороны, с дороги, то руль у вас укреплен верно: справа. Верно? Справа. Если с той стороны встать, то справа. Господи, где я только не был, пока ночами ездил за эти годы в такси, да и днем бывало, но ночью все располагает к беседе, откровению, — ночь, мы — друзья, нас двое в дороге. Я строил Асуанскую ГЭС. Был дипкурьером (рейс Австралия — Монреаль). Был некто. Некто вообще. Кто вы, некто вообще? Сам мы знаем, да и вы догадываетесь. Но время просто не пришло раскрыть. Был, когда Кеннеди убивали. Все помню. Жара. Бестолковый город Даллас (правостороннее движение). Коня президента вели к Арлингтонскому кладбищу. Ли его убил? Вряд ли. Рубби видел. Рубби из “Карусели”. В Африке тоже был. Много раз, за эти годы, за эти ночи, и солнечные, и пасмурные дни, рано утром, и среди дня, в дождик, само собой, — по-всякому, по-разному было, — то рванет машина, то смотришь на счетчик, — хватило б, то едешь, сам не знаешь, куда, но каждый раз в Африке было хорошо, лучше, чем в Швеции, хотя Швеция мне тоже нравилась, как и Франция, но рассказывать о Париже было уж совсем невесело, — я там редко бывал, — проездом в основном, пролетом. Так, обычно, чтоб долго не распространяться, го-

ворил: жалко, что Помпиду велел город пескоструйщикам вы-
беливать. Нет теперь Парижа. И жаль, что рынок снесли. Старый
рынок (луковый суп по утрам, зелень, — Париж). Но, главное, по-
вторяю, — пескоструйщики.

Перечитываю в который раз и вижу Гену... Нет... невозможно за-
быть это лицо...

ТАМАРА ДЬЯЧЕНКО*

НИКОГДА

— Пришел ваш гениальный друг! — говорит студентка ВГИКа Наташа, сестра моего мужа кинорежиссера Володи Дьяченко.

И это было правдой, что гениальный.

553

Геннадий Шпаликов — символ шестидесятых, теперь его имя окружено многочисленными легендами. Классик отечественного кинематографа — так, наверное, пишут сегодня в учебниках по истории кино.

На днях я была на выставке Хаима Сутина и сейчас напоминаю себе героиню его картины, опустившую ноги в воду и глядящуюся в нее, как в Лету. Что же я там вижу?

Все было так и не совсем так. Несмотря на свою редкостную одаренность, а может быть, именно поэтому, и Гена, и Инна, при всем их ерничестве, никогда не умели держать удар. Программа самоуничтожения проявилась в стихах Гены очень рано, еще на первом курсе. И друзья воспринимали его шутки-откровения как прихоть гения. Никого не упрекаю, но все было гораздо страшнее и серьезнее.

* Публикуется впервые.

Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета.
Ты не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне.
Вот кончу Победу,
К тебе я приеду
На красивом боевом коне.

Володя часто повторял, что это любимая песня Шпаликова: гибель отца, военное училище, взаимное сопряжение с людьми старшего возраста, высокая нравственная планка по отношению к себе — все это делало его, “символ поколения”, с годами, все более “не современным” окружающей жизни. В нем жила война, и она его переполняла. Это было его психофизическое состояние.

А любимым фильмом была “Аталанта” Жана Виго. Он знал фильм наизусть. Там была наивность, любовь, нежность, соль, перец, живое кровообращение жизни. Все то, во что верил Гена.

Мы познакомились в 1963 году, в начале сентября или в конце августа, точно не помню. Володе Дьяченко позвонил Гена и пригласил на съемку в Парк Горького. Когда мы приехали, осветители уже убрали свою технику. Г.Н.Данелия, постановщик фильма, был чем-то недоволен, а Шпаликов подошел к нам и сказал, что мы сейчас поедem к Никите Михалкову на Садово-Кудринскую и там поговорим. Что мы и сделали, купив несколько бутылок вина для стимуляции умственного процесса. Я не буду заострять внимание на этом процессе, так как он всеми описан и изучен относительно Гены досконально.

Михалкову было 17, Шпаликову — 25. Оба думали о режиссуре. Дьяченко был немногим старше, но — уже дипломированный режиссер, снявший свой первый фильм “Никогда”, вторым режиссером которого он тут же предложил стать Тодоровскому, тогда еще оператору. Он, бескорыстный во всем, что касалось творчества, захлеб призывал младших собратьев срочно заняться кинорежиссурой, минуя дипломы и прочие житейские мелочи.

Слушая его, Гена стал что-то записывать. Когда Володя в пылу монолога выхватил у него из рук листок бумаги, то написанной на нем оказалась всего одна фраза: “Береги честь смолоду”.

На следующий же день Шпаликов пригласил нас в Дом журналистов. Видимо, он получил гонорар, так как был накрыт шикарный стол. Когда мы уходили, Володя сказал:

— Гена! Ты посмотри, сколько водки мы оставляем.

А Гена ответил:

— Ну и что! Пусть останется на память, как прекрасные цветы.

Еще я помню, как весной Гена шел по улице Горького и был погружен в себя, а в его авоське болталась бутылка водки за 2 р. 87 к., буханка хлеба и букетик ландышей.

В следующий раз мы встретились только через четыре года. Я работала в Прибалтике и в Москву приезжала редко. Летом достопамятного 1968 года мы с Володией поехали на улицу Телевидения к Гене и Инне. Они встретили нас очень радушно, приветливо, но оба были напряжены, как будто между ними была вольтова дуга.

— Ты нам дашь чего-нибудь поесть? — спросил Володя Инну.

— У меня есть только морковь! — ответила Инна.

Когда мы вышли из подъезда, Володя объяснил:

— Они снимали “Долгую счастливую жизнь”, и наступил кризис жанра.

В 1969 г. я переехала в Москву к Володе. Довольно часто мы пересекались с Геной. Была одна смешная история. Как-то осенью мы пришли в ресторан ВТО, и к нам сразу же подбежали несколько официанток, а внезапно появившийся швейцар закричал:

— Дьяченко! Вчера здесь был твой друг Шпаликов. Он ушел и не заплатил! Плати за него, а то милицию вызову.

Мы заплатили с радостью, так как деньги у нас были и еще было живо московское братство шестидесятых. А потом погода испортилась... Посвященные поймут.

Когда Гена пришел глухой осенью 1973 года к Володе на Котельническую набережную, он был похож на падшего ангела и поверженного кумира одновременно. Пожалуй, только Хаим Сутин мог бы создать его достоверный портрет.

Геня!

Если будешь уходить,
то захлопни хорошенько
дверь и подертай — за-
крылась ли она.

или или
Захлопнул
(как нефть,
захлопнул)

Если можно, приду-
мать резерв

00000001. 2240 202

Что еще сказать? В китайском продуваемом плаще и знаменитом красном шарфике он бороздил московские улицы, пытаясь вернуть себе себя и свою любовь (как в “Аталанте”). Он не мог жить без любви. Каждое его стихотворение пропитано любовью, каждое слово рождено в любви.

А тогда он зашел на огонек погреться. Володя очень трепетно его встретил и опекал, уговорил остаться пожить. Так прошло несколько дней. Гена решал, уйти ему или остаться у нас. Я, зная, что он может внезапно исчезнуть, утром оставила ему записку:

Гена!

Если будешь уходить, то захлопни хорошенько дверь и подергай — закрылась ли она.

Вечером на том же листочке я прочитала:

Захлопнул

(пока нет, но захлопну)

Если можно, приду — позвонив вечером

Не позвонил. Не пришел. Никогда.

На письменном столе он оставил несколько своих стихотворений.

Среди них и это:

Остается во фляге

Невеликий запас,

И осенние флаги

Зажжены не про нас.

Вольным — вольная воля,

Ни о чем не грущу,

Ветром в чистое поле

Я себя отпущу.

Но откуда на сердце

Вдруг такая тоска,

Жизнь уходит сквозь пальцы

Желтой горстью песка.

ПЕТР ТОДОРОВСКИЙ

ОН НЕ СДАВАЛСЯ...^{*}

558

Трудно представить Генку Шпаликова солидным шестидесятилетним мужчиной — он остался в памяти молодым обаятельным парнем с широко расставленными глазами и вместе с тем — одиноким, заброшенным, неустроенным... Я с ним познакомился, когда он работал с Хуциевым над “Заставой Ильича”, — в огромной коммунальной квартире у него была маленькая комнатуха, где он жил с женой и ребенком, однако собирались в этой коммуналке замечательные персонажи...

В этой компании были люди примерно моего возраста — кинорежиссеры Венгеров, Хуциев, Швейцер... Шпаликов же был совсем молодой, ему было тогда всего двадцать четыре года. После премьеры моего фильма “Верность”, помнится, состоялся один из первых наших совместных гитарных вечеров. Сохранились очень хорошие записи, где поет Генка, поет Окуджава, я им подыгрываю... В принципе, на таких встречах мы и знакомились, там образовывались дружба, складывались судьбы.

Ну а еще до этого я поехал в Петербург к Окуджаве, тогда он жил там (мы вместе писали сценарий) — и, как я помню, нас собирал у себя Венгеров. Была, мне помнится, чудесная зимняя ночь... вдруг

^{*} Публикуется по: Тодоровский П. Песни московских кухонь. Записал А. Орлов // Огонек. 1997. № 38.

к утру в нашей компании появился Галич, потом появился Исаак Шварц, появился неожиданно Митта. И это все длилось иногда по два-три дня, незаметно пролетали часы под гитару, под хорошее вино, мы слушали песни, — и там тоже всегда был Генка Шпаликов.

...Вообще же мы по-настоящему познакомились с ним на съемках фильма “Никогда”. Он вдруг сказал мне: “Слушай, а я НИКОГДА не видел моря”. И я взял его с собой — он всю неделю купался в море, пил вино и пел песни.

Знаете, поначалу я не особенно прислушивался к его стихам. А мелодии были у него одни и те же, непритязательные... Так что поначалу его в нашей компании и не воспринимали как какого-то серьезного барда, как, допустим, Булата. Казалось, ну да, пишет какие-то песенки, пишет для себя, а потом, когда я вчитался, когда вслушался, то понял, какой это серьезный замечательный поэт.

Я должен сказать, что, когда я вдруг набрел у него на эти строки:

Рио-Рита, Рио-Рита,
Вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год —

я просто задрожал, я понял, что мой фильм (я снимал “Военно-полевой роман”) без этих слов в чем-то очень сильно потеряет или чего-то не найдет...

Удивительно, что эта песня, легкая такая стилизация вроде бы, в итоге стала не просто песней, стала частью драматургии нашего фильма. Я ее сам и исполнил. Мне иногда говорят: это ваша песня, такое ощущение, что эту песню написал Тодоровский. Самое поразительное — Генке Шпаликову в сорок первом году было четыре года!.. Я не знаю, как он спустя много лет вспомнил этот летний день, — я-то помню это сумасшедшее время, как мы бегали по этим скверикам, садикам с гитарами, дергали девчонок за косы, совершенно не чувствуя, что на нас наступают эти страшные четыре года войны... И этот четырехлетний мальчик запомнил и в этих строфах — “городок провинциальный, летняя жара” — точно описал эту атмосферу, эту беззаботность, эту безответственность, это непонимание того, что сейчас случится...

Он хотел писать сценарий с таким названием — “Лейтенант Надежда”, мы с ним об этом говорили. Он много понимал и знал про эту войну, понимал, что произошло с нашим народом, с нашими бесчисленными жертвами...

К сожалению, Генка много пил — пил, как часто это бывает с мужчинами, от мужского одиночества, жена от него ушла, мать его тоже не пускала, он болтался по друзьям, средств к существованию не было, и самое больное место — он писал, но писал не то, что хотел... У него была огромная масса замыслов, о которых он рассказывал. И почти ничего не удалось воплотить. Пока Хуциев разворачивался со своим огромным проектом “Застава Ильича”, он сел и одним махом написал “Я шагаю по Москве”. Вот какой запал у него был... Его, кстати, Данелия звал в шутку Гена Цвале. И что самое поразительное — в этой киношной компании, где были люди, прошедшие войну, заслужившие что-то, совсем не чувствовалась разница в возрасте с этим, ну, вроде бы мальчишкой...

Он в те годы жил легко, действительно шагал по Москве, все его знали, любили, женщины его любили... Так что фильм Данелии был просто частью его самого, частью его характера...

Я не могу претендовать на то, что знал его глубоко. Нет, наши встречи были короткими, мимолетными, то на банкете, то на вечеринке... Иногда я видел его страшно мрачным, опустошенным. Я знаю, что в самый последний период своей жизни он работал над сценарием о Маяковском. И эта судьба оказывала на него свое воздействие — у него, как мне рассказывали, были острые приступы отчаяния, депрессии.

Он был сценарист. Кинодраматург. И я точно знаю, хотя наши встречи были очень короткими: то, что он писал, его не устраивало, а то, что он хотел написать, — не шло. Он подавал заявки, много заявок, пытался заинтересовать киностудии своими идеями... Но, видимо, наступала уже другая эпоха, в которую он не вписывался. Но Генка не сдавался. Он писал.

Я видел его буквально за день до смерти — на могиле Ромма. В то время он жил в Переделкино, в Доме творчества, приехал оттуда живой, бодрый, сказал нам со Швейцером, что очень много работает... И на следующий день его не стало. Я считаю, что это был какой-то приступ. И — накопившееся ощущение не востребо-ванности.

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

ЕГО ЛЮБИЛИ ВСЕ *

561

Гена Шпаликов — поэт шестидесятых годов. Короткая жизнь его целиком уместилась в том времени, которое с войны дышало еще тяжело, но уже сулило неисчислимые радости жизни. Он писал так, как будто заранее думал о нас, чтобы мы вспоминали об этих временах наивных надежд, когда они станут прошлым. В жизни он успел быть только молодым. Его любили. Его любили все.

Я его встретил в коридоре киностудии, когда он работал над своим последним сценарием. Вид его ошеломил меня. В течение двух-трех лет он постарел непонятно, страшно. Он кричал, кричал!

— Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!..

Он спивался и вскоре повесился.

Как зависит дар художника от того, на какой максимум счастья он способен! У Шпаликова этот максимум счастья был высок. Соответственно, так же глубока и пропасть возможного отчаяния.

Лишь гении неподведомственны рабству. Вся мощь государственной машины во главе с Хрущевым обрушилась на Поэта и оказалась бессильной перед ним. Признавшим себя побежденным, попросившим не выдворять его за пределы Родины. Это Пастернак, если непонятно. Это знаменитое “лягушка на болоте”, как выразился кто-то из простых рабочих словами какого-то из простых журналистов.

* Публикуется по: Володин А. Записки нетрезвого человека // Володин А. Пьесы. Сценарии. Рассказы. Записки. Стихи. Екатеринбург, 1999.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

НЕЛЕГКО ШАГАВШИЙ ПО МОСКВЕ *

562

Когда-то Шпаликов написал: “Я посмотрел в окно... Сейчас над водохранилищем, в тишине, сидят художники и художницы и пишут мостик через ручей, овраг, облака, крапиву, лодки на воде... Кто знает, может, они и меня впишут в пейзаж: вот так, сам того не желая, человек попадет в историю живописи”.

Лучшие из шестидесятников добились большего, чем просто вписаться в пейзаж, — они сами создали пейзаж эпохи, а вернее, выдышали то, что получило название “оттепели”. Но обманчивая оттепель перемежалась заморозками, и молодые идеалисты то поскользывались на предательском льду, то попадали под ржавые сосулищи обвинений, которые рушились на их горячие головы с партийных крыш. После речи Хрущева с разоблачениями Сталина многие интеллигенты, в частности Булат Окуджава, даже вступили в партию, однако в пейзаж истории, казалось бы стремительно менявшийся к лучшему, вторглись танки, подавившие венгерское восстание.

Неподдельный восторг вызвал полет Юрия Гагарина в апреле 1961 года, но в июне 1962-го произошел цинично-трусливый рас-

* Публикуется по: Евтушенко Е. Десять веков русской поэзии. М., 2013.

стрел “голодной демонстрации” в Новочеркасске. После сенсационной публикации “Одного дня Ивана Денисовича” в “Новом мире” и “Наследников Сталина” в “Правде” Хрущев, сумевший остановиться на пороге третьей мировой войны в разгар Карибского кризиса, начал войну против отечественных художников и писателей. Его сняли силовым способом, правда совсем не за это, и мы надолго погрузились в застой и постепенно разрастающуюся коррупцию аппарата.

Вот какие трагические перепады достались шестидесятникам, к которым принадлежал Геннадий Шпаликов, а они вовсе не были конформистами, “кидавшими камни лишь в разрешенном направлении”, как с надменным сарказмом выразился Иосиф Бродский. Большинство из нашего поколения пусть наивно, но искренне верило, что можно очистить от крови и грязи древко красного знамени и спасти идеалы социализма. Почему добровольцы, строившие Братскую ГЭС, вкалывали на совесть? Да потому, что это была первая великая стройка без подневольного труда заключенных, первоэшелонцы своими руками растаскивали колючую проволоку расформированных лагерей. Белла Ахмадулина — и та поехала на целину со студенческим отрядом. Даже один герой “Ракового корпуса” у Александра Солженицына размышлял об особом, нравственном социализме.

Как-то в Казахстане в пору много обещавшего начала перестройки я оказался в чайной за столом с дальнбойщиками, и один из них, узнав меня, вот что высказал:

— Эх, Евгений Лександрыч, как жаль, что Хрущев после речи о Сталине сразу не начал перестройку. Тогда все мы были еще сталинизмом подмороженные, и в нас столько микробов наживы не развелось. А при Брежневе общество оттаяло, потухло, стало гнить не только сверху, но и снизу. Поздновато Горбачев с его перестройкой высунулся.

Поколение, чье детство пришлось на Великую Отечественную войну, не нужно было учить советскому патриотизму. Но партийная бюрократия, зная не знавшая слова “совесть” без прилагательного “трудовая”, постепенно сделала из многих искренних советских

патриотов — непредставимо для них самих — почти или совсем антисоветских, а из идеалистов — если не циников, то пессимистов, как Гена Шпаликов.

Его, сценариста, поносили вместе с режиссером Марленом Хуциевым за романтический фильм “Застава Ильича”, где сын разговаривает с тенью убитого на фронте отца, который уже моложе своего выросшего без него сына. Все было аморально перевернуто в идеологической истерике, когда эта сцена, утверждавшая духовную связь поколений, была мошеннически выдана за провоцирование конфликта отцов и детей. В самом финале там был потрясающий обмен репликами. Сын спрашивает погибшего отца, как дальше жить, а отец отвечает: “Ты же старше меня, сынок” (цитирую, как запомнил полвека назад).

Каким инквизиторским цинизмом нужно было обладать, чтобы издеваться над этой сценой и заставлять ее переписывать! А в это время Гия Данелия уже снял фильм по другому, легкому, нежному сценарию Геннадия Шпаликова “Я шагаю по Москве”. Песенку из него с голоса юного Никиты Михалкова подхватила буквально вся молодежь, и представить тогда будущий конфликт Михалкова и Хуциева было немыслимо.

А вот какими были первые стихи этого “разжигателя вражды между поколениями”, написанные в пионерлагере (привожу, не исправляя ошибок в словах): “В спальнях чисто, все убрали, все в порядок превели, на ленейку мы шагали стройно, в ногу, как могли”.

Но после оскорблений, после унижительных переделок в фильме и даже перемены его названия шагать стройно, в ногу Шпаликов уже не смог. Начал спотыкаться. В юности он записал в дневнике с характерным для многих не то что необдуманно, а недочувствованным максимализмом:

“Вчера покончил с собой Фадеев. Сегодня — во всех газетах его портреты и медицинское свидетельство: ‘Страдал тяжелой болезнью — алкоголизмом, во время душевной депрессии, вызванной острым приступом алкоголизма, покончил жизнь самоубийством...’

Жалости нет, алкоголиков не жалеют. Какими же руками он писал, как мог говорить о светлом, чистом и высоком — пьяница по существу... Фадеев — дезертир. Иначе его назвать трудно”.

Тогда Шпаликову и вообразить было трудно, что его ждет такая же судьба. Его не спасла даже любовь к жене — замечательной актрисе Инне Гулая — и к их общей дочке Дашеньке, о которой он написал так:

...Все прощание — в одиночку,
Напоследок — не верещать.
Завещаю вам только дочку —
Больше нечего завещать.

И как изменились его записи в дневнике по сравнению с заметками о самоубийстве Фадеева:

“Еще раньше у меня бывали вот такие дни, такой пустоты, неприкаянности, но это проходило. Вот уже, наверно, месяц я живу так, и это не проходит. Я просыпаюсь внезапно среди ночи и сижу при электрическом свете, пробую читать — уже несколько лет замечаю, что я стал читать любую ерунду, лишь бы не оставаться с не занятой ничем головой. Я не вижу никакого выхода, я совершенно пуст, работа не доставляет мне радости, уже около двух лет я беспрерывно пью, и теперь это стало уже нормой поведения — мне некуда деваться”.

Он был человек, наполненный светом, и когда свет из него ушел, он не смог без него. Его обожгло, даже сожгло морозом после “оттепели”, и он повесился.

“Безвременье вливало водку в нас”, — спел Володя Высоцкий о таких людях, не выдержавших жестоких похолоданий, выпавших на их долю.

Есть очень не нравящаяся мне высокомерная пословица “Хороший человек — это не профессия”. Не думаю, что она — народная. По-моему, быть хорошим человеком — главное всех профессий, и мне все равно, какую профессию выберут мои дети, лишь бы мне не было стыдно за них.

Геннадий Шпаликов всю жизнь писал стихи, и у него есть несколько прекрасных стихотворений, хотя я не смогу назвать его большим поэтом. Но он был поэтом по своей душе, по человеческому поведению, по ощущению чужой, а не только своей боли.

Виктор Некрасов, с которым он дружил, вспоминал, как Гена метался, повторяя одно и то же: “Я не хочу быть рабом, я не хочу быть рабом!” — когда его изматывали поправками в киносценариях. Незадолго до смерти он был у меня дома, задержался допоздна. Хотя об этом он не сказал, я почувствовал, что идти ему некуда, и предложил у нас переночевать. Он спал на диване сном одинокого обиженного ребенка, а утром играл с моим сыном Петей, но потом вдруг заторопился, словно стесняясь, что его неприкаянность может помешать чужому уюту. Он остро переживал отъезды друзей “туда”, куда нельзя было без звонка зайти переночевать, если некуда идти:

“Бездомные завидуют тем, у кого есть дом, а те — завидуют бездомным, потому что им кажется, что проще и веселее вообще не иметь никакого дома, никаких обязанностей ни перед кем, а я не знаю, кому я завидую”.

АЛЕКСАНДР МИТТА

ГЕНА ШПАЛИКОВ

КАК ЧУДО*

567

Во ВГИКе 1956 года было много тех, кто вскоре стал славой советского, а кто-то славой мирового кино. На переменах в коридоре второго этажа бурлили круги общения. Все были нужны друг другу и поэтому быстро знакомились. Режиссеры звали актеров в свои этюды и учебные работы. Операторы были нужны всем: у каждого оператора была персональная ценность — коробка с киноплёнкой “Свема”. Они могли сохранить для вечности что-либо не больше двух-трех минут. Но это были две минуты кино! Киноведы как-то подобрались один к одному — активные, любопытные, доброжелательные. Армен Медведев через много-много лет станет министром кинематографии — лучшим из возможных в те годы. Наум Клейман еще не открыл всему миру сокровища Эйзенштейна и был далек от того, чтобы самому стать для всего мира гордостью советского кино. Но то, что это были ребята особенные, светилось во многих, не в одном.

Когда на переменах коридор наполнялся студентами, там были Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Лариса Шепитько, Отар Иоселиани, Кира Муратова, и этот перечень можно долго продолжать.

* Публикуется впервые.

Сценаристы и художники были несколько обособлены. У каждого была персональная работа: листок с текстом или холст с красками. Но Гена Шпаликов среди сценаристов был, пожалуй, самой заметной фигурой. В нем чувствовалось военное прошлое. Он пришел во ВГИК из суворовского училища, и вид его был подобран, опрятен и свеж. И он был веселым, не хохмач с анекдотами, а какой-то радостный, что ли, не могу подобрать удачного слова.

Его компанией были операторы и художники. Юре Ильенко еще предстояло снять с Параджановым великий фильм “Тени забытых предков”. Валерику Левенталю предстоял долгий путь к тому, чтобы стать главным художником Большого театра и мировым авторитетом в оперных декорациях. Мы просто были веселой компанией, которая через дыру в заборе проникала на ВДНХ, чтобы там в пивной попить большую редкость — чешского пива, пива с пеной.

Гена и Наташа Рязанцева были молодой семьей. Они жили в квартире родителей Наташи. У них мы тоже пили пиво, из бутылок. Но это было тогдашнее “Жигулевское” — никакой пены. Тогда ведь нигде не было места, куда можно бы было приткнуться. “Кафе” — это было что-то из французских фильмов. Ресторан — это жидкий борщ и сухие куски мяса под названием “шашлык для командировочных”. Скамейки на бульварах были нашим притоном.

У Гены и Наташи появилась своя комната в доме около ресторана “Пекин” на Садовом кольце. Ее на время выдал Гене дядя-генерал. “Пекин” и дома рядом были владением КГБ. И комната в коммунальной жилой квартире была служебной, для командировочных.

Гена сказал: “Хочешь посмотреть на палача? Мы живем в квартире с палачом”.

Помню, меня удивила входная дверь, на ней с самого низа доверху было восемь замков. Ни в одной коммуналке я такого не видел. Два-три — это было нормально. А тут восемь, и все такие солидные. Коридор в квартире был полутемный. Но как только Гена открыл входную дверь, в коридоре приоткрылась какая-то комната и в щель просунулась голова, в которой, как в пещере, горели два лисьих глаза. Если вы видели лисьи глаза в зоопарке, они не хитрые, а злые и испуганные. Как будто буравят вас. Голова была женская. Это выглянула жена палача, а из-за нее, прячась, выглядывал и сам палач. Такой же встревоженный.

“К ним никто не приходит, а у меня всегда кто-то. Они так каждого встречают. Боятся. Наверное, есть чего. Он до сих пор приводит приговоры в исполнение. Ездит по всему Союзу и стреляет в затылок. Пух! — показал Гена. — А жена его — надзиратель в женской тюрьме”.

Был конец 50-х годов. “Оттепель” только начиналась. Но ощущение было, что кроваво-ледяное прошлое отогревается и ручьями стекает. А будущее просохнет и будет совсем другим. Ясным, чистым, как огромный букет цветов и трав.

И комнату Гены и Наташи отделял от комнаты палача не полутемный коридор, а пропасть. Как будто она была в другом мире. Там был умирающий мир зла и смерти, а здесь — новорожденный мир счастья. Это не было каким-то юношеским эгоизмом. Мы были полны забот, невысказанным счастьем, которым надо было одарить людей по-разному. Гена был именно таким. Они с Наташей выглядели парой, которую будто природа создала для этого счастья. Наташа в сверкающей белизной кофточке, заправленной в черную юбку, всегда знает, что и как нужно сделать. А у Гены голова, полная ярких образов, как опушка леса цветами. И идеи все прекрасные по-разному. Надо было работать, работать и работать. Что они и делали.

Подарков мы не получали. Вокруг все были в работе. Неудачи не создавали кризисов и депрессии. Шукшин провалил первую короткометражку на “Мосфильме”, ее даже не выпустили в прокат, но он тут же запустился с полнометражным фильмом на студии Горького по своему быстро написанному сценарию.

Андрей Тарковский в своей дипломной короткометражке противостоял тарану назначенного ему руководителя, которого в страшном сне не назовешь “художественным”. Был ему назначен огромного роста и карликового дара пришелец из репрессивных органов 30-х годов. Но короткометражку “Каток и скрипка” Тарковский сделал, не уступив даже самой маленькой мелочи. Он дрался за любой оттенок и добился полной победы. Фильм послали на фестиваль, он вернулся с премией какого-то конкурса. И Тарковскому предложили не фильм, нет... А прерванный на полдороге провал дебюта известного хохмача и трепача Эдика Абалова. Студии надо было сохранить производственную единицу. Тарковский взял фильм с условием: “Не лезьте. Не мешайте”.

Он за остатки бюджета снял фильм “Иваново детство”, тут же принятый и награжденный фестивалем в Венеции, и только тогда получил право на фильм-мечту “Рублев”, сценарий которого написал, еще учась во ВГИКе.

Все боролись, никто не получал подарков. Все были готовы и дальше отстаивать свое право на собственный взгляд, на свою постановку. По закону дипломникам ВГИКа предоставлялась возможность снять короткометражный фильм на студии в плановом порядке. Это значит: “когда-нибудь, в принципе...” Однако на “Мосфильме” работали “объединения”. Их было четыре, пять, затем стало шесть, семь, восемь. И каждым руководил какой-нибудь известный режиссер. У него был свой художественный совет, и все хотели сделать что-то по-новому, не так, как было под Сталиным.

Михаил Ильич Ромм в знаменитом Третьем объединении вытащил из Киева для дебюта Григория Чухрая. Он снял “Сорок первый”. Иван Александрович Пырьев привел из документальной студии дебютанта Эльдара Рязанова. Не только дал ему постановку, но по первому рабочему материалу понял масштаб таланта дебютанта и взял ответственность за пересъемку первых двадцати минут фильма. Кто сейчас пойдет на это? А в итоге появилась “Карнавальная ночь”.

Все хотели чего-то нового. Леша Салтыков и я объединили свои права на две дипломных короткометражки — получился “полный метр”. “Ленфильм” принял нас со сценарием детского писателя Юрия Сотника. Против Сотника выступили власти из комсомола. Они ведали всем, что воспитывало детей. Фильм закрыли. А мы тут же получили заявку на комедию про тигров на корабле и с писателем Виктором Конецким стали эту тему развивать в сценарий. Однако в это время на “Мосфильме” возникло объединение “Юность”. Оно позвало нас, и мы поехали в Москву, а сценарий комедии стал доделывать Володя Фетин. У него получилась после долгих трудов известная комедия “Полосатый рейс”. В общем, все вокруг бурлило и кипело.

Не надо думать, что вокруг дебютантов все водили хороводы любви. Основу, как тогда говорили, “трудовых коллективов” составляли “крепкие производственники”, наполовину безграмотные и ленивые, но непотопляемые: у каждого был свой спаса-

тельный круг в виде партбилета. В любой съемочной группе этот балласт был гирей на ногах. Но они боролись за свое место привычными методами. На нас с Салтыковым после выбранной нами природы оператор и художник, милые пожилые люди, написали донос о том, что мы не хотим видеть новостроек, а утыкаемся в лужи и грязь. Как говорят, ничего личного, просто наш выбор был не похож на то, что делали раньше.

“Картину закроют и нас обвинят, надо успеть защититься”.

Назначенный Андрею Тарковскому “худрук” был в бешенстве от любого его выбора. Он кричал: “В тяжелый тридцать седьмой год родина призвала меня! И я защищал ее! И теперь буду защищать!” — это в качестве аргумента против выбора места съемок и типажей. Тарковский сжимал скулы и не реагировал. Или яростно противоречил.

Нас в фильме “Друг мой, Колька!” защищал умный и грамотный автор сценария Саша Хмелик. В сценарии, по сюжету, для работы с пионерами в школу пришел с завода шофер. Это соответствовало установке ЦК ВЛКСМ “оживить пионерскую работу в школах, привлекая вожатых-производственников”. Фильм был про то, как власти уничтожают ростки инакомыслия. И впервые на примере школьной жизни был показан универсальный механизм этого уничтожения. Когда нам говорили: “Вы на что замахнулись?” — мы отвечали: “Это установка комсомола”. — “Ах, так? Ну, тогда продолжайте...”

“Оттепель” осветила холодным весенним солнцем новую свободу, ранее недоступную. Для молодых было нормальным разбирать конфликты в кругу своих личных забот. До того по умолчанию считалось необходимым дать понять, что за личными конфликтами стоит что-то советское, освещает, подсвечивает, овеивает животворящим ветром коммунизма.

Наш учитель Михаил Ромм, прошедший жестокую школу застоя, давал нам уроки сотрудничества со всемогущей властью, как она выглядит сегодня. Власть хочет иметь отношение ко всему. И больше всего не терпит, когда ее не видят. Но ей достаточно немного, самую малость. Они думают, что эта малость — часть всеобщей власти. И сам давал такой пример этой малости.

К министру культуры Екатерине Фурцевой пришел донос о том, что в фильме Ромма “Девять дней одного года” у физиков-атомщи-

ков нет ни одного члена партии и ни одного слова о ее руководящей роли в создании атомной бомбы. Вроде бы это научное творчество беспартийных интеллектуалов. Фурцева вызвала Ромма для разноса. Ромм возмутился: “Что вы! Екатерина Алексеевна, главный герой не только член партии, он член парткома!” И в доказательство показал сцену прохода Гусева по коридору института, где ему с разных сторон встречные-поперечные потоком задают разные вопросы, и среди них надо, внимательно слушая, услышать реплику: “Гусев, в четыре часа партком...” Эта незаметная для любого зрителя реплика для власти автоматически становится важной...

“Оттепель” двигалась в сторону Советской Власти с Человеческим Лицом. Эта эквилибристика была частью профессии. Хочешь выжить — умеи бегать в лабиринте, чтобы тебе не откусили хвостик. Но молодые не хотели никаких уловок выживания. В их мире руководящей Власти не было места. Она никак не вписывалась в их любовь и ненависть. И Гена Шпаликов выражал эту свободу ярче других с естественностью и беззащитностью цветка на лугу. Хотя были и другие яркие примеры. На студии работал сатирический киножурнал “Фитиль” под руководством Сергея Михалкова. Молодым режиссерам он помогал прожить от снятого фильма до одобрения и запуска в новый. Я там делал какой-то сюжет и услышал бесценный совет главного редактора Михалкова: “Митта, у тебя неправильные ориентиры. Надо не бороться с недостатками советской власти, а брать их на вооружение...”

Великий царедворец знал, как не переусердствовать в сатире. Кстати, был первоклассный профи-редактор.

А вот как член парткома режиссер Владимир Басов спас Василию Шукшину выезд на фестиваль, где показывали его фильм.

У Василия Шукшина был репрессирован и расстрелян отец, председатель колхоза. Пришло извещение Шукшину о том, что отец был уничтожен ни за что. Все получали такие бумажки. В моей семье десять лет в концлагере отмаялась мама и было расстреляно пять мужчин, ее родственников. Все радовались: живем без клейма “семьи врагов народа”. А Шукшин в отчаянии запил: как он мог стыдиться невинно замученного отца. И, выпив, подрался с милицией. На студию пришло указание объявить ему выговор. А с выговором не выпускали за рубеж. И Басов выступил перед ко-

миссией с гневной речью, укоряющей Шукшина, и с предложением отдать виновного на строгий суд товарищей. Это будет гораздо действенней, чем формальный выговор по партийной линии. Гнев Басова убедил комиссию, Шукшин остался без выговора и поехал на фестиваль, где получил главную премию.

Здравый смысл, изворотливость ума помогали. Но талант Гены Шпаликова состоял в чем-то таком, что не соединялось с необходимостью выжить. Он “жил как жил”.

“Оттепель” расшатывала привычки выживания. То, что недавно грозило смертью, вдруг становилось частью жизни. А уж если приходили знаки внимания из-за границы, с фестивалей, власти добрили и закрывали глаза.

“Мосфильму” повезло с новым директором: о нем нет-нет да и вспомнят добрым словом. Но он заслуживает большего. Николай Трофимович Сизов, в прошлом генерал, писатель, он был по природе добрым человеком. И старался, чтобы климат на студии был доброжелательным к молодежи.

Все рисковали, пробивали, преодолевали. Никто не получал подарка на старте. Шпаликову не повезло. Володя Китайский, самый нежный ученик нашего курса, сам поэт, увидел “Мосфильм” с черной стороны. Он год работал в съемочных группах в ожидании разрешения на свой фильм. Ну и что? Михаил Швейцер десять лет отпахал. И никто меньше пяти-шести лет не отрабатывал в помрежах. Кроме нас, везунчиков “оттепели”, Тарковского, Шукшина и меня с Салтыковым. Нас просто загнали в работу, план требовал этого, а план был богом.

Но каждому было обо что обломать свои зубы. А Китайский насмотрелся за год всякого и не выдержал. “Я не смогу жить в этом мире, — сказал он мне, обведя рукой круг в коридоре ‘Мосфильма’, — а другого мира у меня нет”.

Когда пришло, наконец, разрешение на запуск фильма, он оделся в чистое, пошел в лес и повесился. Это было не единственное самоубийство. Просто здесь не место их вспоминать.

Кино тогда было как ТВ сейчас. Фильм делал режиссера известным всей стране. То, что сейчас делает телевидение с ведущими передач. Провал выглядел как катастрофа всей жизни. Я помню самоубийство еще одного дебютанта. Он снимал фильм с детьми,

но собрал ансамбль из ребят малоспособных. Остановить фильм могло руководство студии, но парень был сыном какого-то важного лица. И на студии решили не останавливать съемок. Неполадки накапливались. Вокруг кричали: “Ты неспособный!” И перенапряжение выросло в психоз. Парень зарезал себя.

В кино все очень конкретно. На экране это тени, похожие на жизнь. А когда снимаешь кадр, он окружен реальными людьми, техникой. В те времена это были прожектора по 300–500 килограммов. Краны, рельсы, киноаппараты, похожие на сундуки. Все очень плотно. И как с этим выразить какие-то фантазии? Большинство фантазий было вроде железных прожекторов и сундуков-камер: плотные, очевидные, реальные.

Гена Шпаликов проносил свой волшебный мир сквозь эту реальность.

Гена извлекал из своей души сценарии-стихи. В форме этюдов, набросков будущего фильма они давали надежды на восхитительные фильмы. И в разных объединениях “Мосфильма” с ним заключали договора, выплачивали авансы. На эти авансы он существовал. Но развития у этого не было. Каждый первый вариант будущего сценария студия отвергала. Не по причинам идейного характера. Это был другой сценарий. И в нем не было легкости наброска. Те редкие случаи, когда сценарий сохранял, а то и развивал поэзию первого наброска, по разным причинам не обрастали талантами, которые могли превратить сценарий в фильм. Точку зрения режиссера на фильм лучше всего можно понять из высказывания Квентина Тарантино: “Сценарий — это карта, по которой мы идем через опасные места. А фильм — это путешествие по карте. Со всеми рисками и реальными опасностями”.

Путешествия по стране поэзии одно за другим срывались. Дом Гены перестал быть ему опорой. Новая любовь Инна Гулая была яркой актрисой, но не хозяйкой в доме.

Советский кинематограф был идеальной средой для людей малоталантливых или умеренно способных, но изворотливых и послушных власти. Сейчас в обиходе осталось 10–15 % картин того времени. А остальные вы не досмотрите и до середины. Однако все было заточено под эти 85 %, чтобы малоспособный режиссер мог снять и переснять самый простой сюжет. Времени всегда хватало.

А если не хватало, его добавляли. Это, вообще-то, и гениям давало шанс. Если они были беспощадны в движении к своей цели.

Когда Тарковский понял, что сценарий “Сталкера” не выводит его на успешный фильм, он остановил съемки и обвинил лучшего оператора “Мосфильма” в том, что тот провалил съемки. Это был абсурд. Но Тарковский обещал “Мосфильму” две серии по цене одной. И согнул студию.

Шпаликов так не мог. Не по лени или беспечности. У него был другой талант. Наверное, у Мандельштама или Есенина было подобное дарование. Что толковать, он сам сказал: “Я жил как жил”. И остался в нашей памяти как человек светоносный. Я думаю о том, в какое время ему было бы лучше всего появиться? И не нахожу. Сегодня-то уж точно время не для него. А тогда, в конце пятидесятых, в годы надежд и первых робких шагов к свободе, самое оно. И места лучше тогдашнего ВГИКа не вижу.

Разные люди читают сценарии Шпаликова, и у каждого оказывается свой любимый, свой лучший. Почему так? Думаю, лучший для каждого тот сценарий, который резонирует с чем-то в твоей душе. И от этого соответствия звука твоего ответа звуку сценария рождается единый чистый мелодичный аккорд. Может, это путаное объяснение? Но для меня оно указывает, что сценарии Гены — произведения поэтические. В каждом сконцентрирован какой-то особый свет души. Это то, почему нам нравятся стихи.

События сценариев Шпаликова важны не потому, что вытаскивают из персонажей конфликты. Они звучат, как трубы в органе. И вдруг в итоге получается какой-то гармоничный аккорд, на который отзывается твоя душа... И вы запели дуэтом — ты и сценарий. Лучший, или один из лучших, мечтали ставить мои однокурсники Володя Китайский и Хельмут Дзюба, немецкий посланец из Восточной Германии.

Сюжет сценария вполне сказочный. В центр Москвы приплывает баржа, на которой везут лошадей на Московский ипподром. Вечером их выгружают и ночью везут через пустой город. Героиня совсем юная девушка. Ей предстоит выйти замуж за капитана катера, который привез баржу. Она не понимает, любит его или нет. Вроде бы положено выйти замуж и родить детей. Такое ей написано судьбой счастье.

И в течение этой ночной прогулки она встречает разных людей, по-разному счастливых. И понимает, что нет такого понятия, как нормативное счастье: у тебя как у всех. У каждого человека может быть свое персональное счастье. Отпущенное или подаренное кем-то только ему одному. И надо не пропустить этот шанс, соответствовать тому, что тебе подарили как поручение стать счастливым и сделать для этого что-то. И родить свое счастье... Это замысел для большого стихотворения в размер самой длинной песни Высоцкого или в объем маленькой поэмы. Сколько же потенциальных резервов счастья должен носить в своей душе человек, чтобы выплеснуть избыток в разные сценарии-стихи. Гена казался мне организмом, который продуцирует счастье, как паук паутину, которая, вопреки бытовой логике, опутывает вас светлыми нитями счастья. И это не отделяет вас от других, не создает счастливого эгоизма, а иллюминирует мир нитями света, радости и дружелюбия. Один фильм по сценарию Гены показал, что для такого редкого таланта есть шанс победы. Это был “Я шагаю по Москве” Данелии.

У этого сценария была счастливая судьба. Он был легко написан, легко и быстро снят. Я помню, как Михаил Ильич Ромм, в объединении которого делали этот фильм, с удивлением говорил об этом нам, студентам его курса во ВГИКе. Фильм всем нравился все больше и больше, покатился по стране и по миру, стал визитной карточкой нового времени в Советском Союзе. Этот фильм показал, какое чудо может предложить Гена Шпаликов, создатель мира счастья, оптимизма и жизнелюбия.

Мало того что фильм всем понравился, для многих стал особенным, кому-то дал надежду. Но сколько собралось талантов, чтобы реализовать идею! Сколько помогли этому? Георгий Данелия на старте, Никита Михалков в лучшей жизнеутверждающей роли. Оператор Вадим Юсов со своим изображением счастья. Ведь тогда все то, что шло по следам этого фильма и превращалось в клише и штампы радости, было показано как открытия. Пролливной дождь, длиннофокусная оптика, деревья, будто нарисованные портреты растений. И, конечно, ансамбль молодых актеров.

И музыка, которая завершилась песней. Это был фильм — подарок поколения молодых художников всем нам. Мы живем! Мы

с вами! Но жизнь редко бывает добра к поэту, особенно в России. Пока Наташа Рязанцева помогала порядку в жизни Гены, кризис был незаметен. “Причал” долго не запускали. Не очень долго по нынешним меркам, когда режиссер бьется по пять-шесть лет в поисках денег на проект.

Гена лучше всех ответил на запрос времени. Была нужна поэзия личная. Легкая, не нагруженная идеологией, освобожденная от нее. Нужно было ощущение сказочной свободы, что можешь оттолкнуться от земли и полететь, полететь... Это он и передал. И поэтому остался как выразитель своего времени. Времени надежд, которые казались безграничными, а оказались куцыми ростками. Советская власть как идеология мифологическая указывала нам в туманной перспективе какой-то сказочный мир рая на земле. Назывался он “коммунизм”, никакими реальными условиями не был обременен. Рай как рай. Как устроена жизнь в этом раю, тоже не было в деталях понятно. Ну, блаженство, ну, всего выше крыши, а что дальше?.. И первое ощущение свободы в “оттепели” было такое же неопределенное. Что-то в небе, но близко к земле. Такой бреющий полет над Москвой, как в фильме “Я шагаю по Москве”.

Как эту свободу получить? Надо ли ее добиваться? А что за это надо отдать? Совсем недавно вокруг был ад. Ад террора 37 года, когда каждый мог пасть жертвой преследования без повода и вины. Не надо было быть гугенотом или троцкистом. Все преданные советской власти военачальники высшего уровня были замучены и расстреляны. Сотни тысяч выживших в плену попадали в родные концлагеря Советского Союза. На фронтах победы завоевывал главный мясник. А со спины войска косили пулеметы Смерша. Одним словом это называлось ад. Против него не было никакой стратегии или тактики. Сознание не было приучено к борьбе. Оно не получало никаких указаний из близкого прошлого. Не было опоры на какие-то традиции или примеры. Просто ад. Насытился кровью и отвалился от горла потенциальных жертв. А без непрерывного кровососания ад стал слабеть, растворяться в жизни. У всех появилась иллюзия, что ад так и исчезнет сам собой. Главный дьявол не требует кровавых жертв и не потребует их. Он сам исчез из нашей жизни. Теперь место исчезающего ада займет материализующийся рай. По ощущению, заменявшему логику и ра-

боту мысли, ничего другого, кроме рая и ада, мы не знали. То, что реальная жизнь построена по другим принципам, чем жизнь в утопии, нам не было понятно и не было известно. А надежды требовали какой-то фигуры для опоры на реальность. И вот она появилась, эта опора! Смотрите, как идет Гена Шпаликов! Он же земли не касается! Его держат в воздухе ощущения разнообразного счастья, которое он сам создает из ничего. Он талантлив и поэтому интуицией понял раньше нас наше общее будущее. Теперь он во главе вместо Сталина, Ленина, Троцкого и прочих адских чудищ.

Это было не так наивно, как кажется. Сегодня сознание, из которого были вытравлены все идеи борьбы, беспомощное сознание советской утопии, лишилось этой защитной упаковки, утопического мира вокруг и впереди. Шпаликов показал, что можно “жить как жить”. Он показал это полнее и последовательнее, чем кто-либо. Он сиял, окруженный ореолом счастья, созданного им из ничего. Как поэты создают чудо из обычных слов.

Жизнь помогла ему с первой подружкой Наташей Рязанцевой. Умная, красивая, с твердыми жизненными устоями и принципами. Это был подарок от бога. Если есть в нашей жизни что-то неподвластное разуму, то это пример такого подарка. Теперь-то время показало, что лучше ее никого нет. И живи они вместе, жизнь Гены, наверное, продлилась бы всем на радость и на пользу.

Но “жить как жить” значило принимать все, что на пути. А на пути талантливая и безумная Инна Гулая. Он поддался. Не хочу разбирать, как там что у них следовало одно за другим. Знаю только, что он стал несчастлив. А в несчастье он не мог производить счастье, свой главный и, наверное, единственный продукт уникального таланта.

И жизнь резко опустила его на землю, больно ударив, и все покатилось к смерти. И это случилось одновременно с тем, как показилась к своей смерти недолговечная “оттепель”.

У “оттепели” было много своих героев и пророков. Самый долгоживший включал в свой уникальный талант пророка и поэта изворотливость и льстивую дипломатию с властью. Он и прожил дольше всех, и сделал больше всех. Со всем уважением и восхищением к нему. Но в святых своего времени не остался. Евтушенко показывает нам, как надо было выживать, чтобы сделать как можно

больше того, что было поручено призыванием. Низкий ему поклон. А каждому времени нужны свои святые, которые ничем не запятали себя. Нужны свои василии блаженные, которые голыми входили в храм и принимали муки.

И на это место нет никого лучше Гены Шпаликова. Чем дальше уходит это время необоснованных надежд и первых вдохов полной грудью, тем уже круг возможных людей-символов и святых. И тем ясней, что Гена Шпаликов полнее всех выразил этот короткий период, когда после ада мы робко коснулись земли и сделали на ней первые шаги.

Вокруг нас все обновлялось. Пока что в фильмах больше, чем в жизни. Но в жизни тоже шли огромные изменения. С 1934 по 1945 год смерть грозила каждому. Сперва смерть от доноса и планового террора, потом смерть на войне. Была еще смерть от голода. Сталин планировал смерть народам, которые он переселял. Смерть была разнообразна и беспощадна. Но тиран умер, и смерть как-то съежилась. Первыми это почувствовали поэты. Затем кино.

Свободы будущего врывались в нашу жизнь с новыми, невиданными до того фильмами. Они взрывались фейерверками один за другим. “Павел Корчагин” Алова и Наумова, “Весна на Заречной улице” Хуциева и Миронера, “Дом, в котором я живу” Сегеля и Кулиджанова, “Летят журавли” Калатозова. Это краткий список, на самом деле фильмов было гораздо больше, и каждый был не похож ни на что в прошлом.

Кино показывало нам, что у свободы в реальной жизни возможностей гораздо больше, чем у государственной утопии. Фильмы, казалось, сами собой превратятся в жизнь. Сочиняйте сценарии и снимайте их! Сценаристы стали нужными людьми. Гена Шпаликов был одним из самых нужных, но он не умел продавать себя и свои миры. Не мог тиражировать свои открытия. Все, что помогает ремесленнику превращать в знакомую форму идеи, в случае Шпаликова не работало. Он придумывал свой мир полностью, до мелочи. Это был радостный поток фантазии и вдохновения или тупик отчаяния. Он мог делать все и сразу или ничего. Его самоубийство было неожиданно, но не для него. Это было “все и сразу”, чтобы выйти из тупика, куда его загнал талант.

ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИНА

“БУДУ ПИСАТЬ, ПОКА ПИШЕТСЯ” *

580

<...> Как-то Инна прибегает на Арбат, я была у мамы, и рассказывает мне про Гену Шпаликова. Его любили все: и Андрей Тарковский, и Андрон Кончаловский, и Ромадины Миша и Витоша, и Маша Вертинская, и все его знакомые. И незнакомые тоже любили.

Гена — Светлый Человек!

Инна до безумия влюбилась в Гену.

Гена так же влюбился в Инну. Он все звал ее: “Родина моя!”

Они сняли комнату на Арбате. Большая зала, перегороденная красивым гобеленом на две комнаты. В одной из них был кабинет Гены. Вместо письменного стола — столик из кафе, ну, такой, из голубенькой пластмассы, с железным кантиком. Вся стена над столом — в фотографиях, прикрепленных кнопками. Много портретов Маши Вертинской, она играла главную роль в фильме Марлена Хуциева по сценарию Шпаликова “Застава Ильича”. Портреты Светланы Светличной, киносценаристки Натальи Рязанцевой, Ирины Рауш украшали пространство над столом. Инночка мирилась с тем, что Гену увлекали очаровательные женщины.

— Он ведь гений... И я не знаю, как мне вести себя с ним... — задумчиво говорила она. — Гена — гений, — и улыбалась. <...>

* Публикуется по: Малявина В. Услышь меня, чистый сердцем. М., 2000.

<...> В те времена, о которых я вспоминаю, мы мечтали и надеялись на лучшее.

Но почему же мы так занедужили? Почему многие из нас пристрастились к алкоголю?

Многие знакомые и приятели ушли, разрушенные алкоголем. Сердце не выдерживало.

Гена Шпаликов тоже ушел. По своей воле.

Незадолго до ухода он пришел в дом, где мы жили с Павликом Арсеновым.

Звонок в дверь. Пьяненький Гена как-то странно придерживает полы пальто. Распахивает их, а там — великолепная икона. Очень старая. Он ставит ее в спальне на столик. Я спрашиваю Гену:

— А где Инна?

— Не знаю.

Стало понятно, что Гена с Инной в трудных отношениях.

Гена грустно сказал:

— По-моему, это — конец.

В этот вечер мы припозднились за интересным разговором. Павлик сказал тихонько:

— Ему некуда идти. Пусть останется у нас.

Мы легли на ковер, похожий на полянку, поросшую травой, и продолжали беседовать.

Говорили о русских полководцах. О Столыпине. О Савинкове. Много говорили о Наполеоне.

У меня были коньячные рюмки с латинской буквой N, обрамленной золотым лавровым веночком, вроде бы наполеоновские. Они за беседой наполнялись, а когда коньяк кончился, Гена поинтересовался:

— А который теперь час?

— Два.

— Он не спит.

— Кто?

— Габрилович. Я схожу к нему, возьму чего-нибудь. Он мало пьет. У него всегда есть.

Дом, где жили писатели и драматурги, рядом, и Гена мигом обернулся. Как ни странно, принес полную бутылку “Наполеона”. Продолжали говорить о Наполеоне под коньяк “Наполеон”

из “наполеоновских” бокалов. Хрустящее печенье дополняло славность нашей бессонницы. <...>

<...> В середине дня Гена уехал. Он в это время жил в Переделкине в Доме творчества.

До этого визита Гена бывал у нас. Всегда один.

Подходил к пишущей машинке и заглядывал в текст. Спрашивал:

— Кто это пишет?

— Я, — отвечала и очень смущалась.

Гена мне предлагал:

— Ты начинаешь, я продолжаю. Или наоборот. Будем придумывать диалоги, только диалоги.

— Давай, — соглашалась я.

У нас был широкий подоконник, мы ставили на него машинку, садились с Геной рядышком и начинали игру. Занятная игра. Иногда получался интересный результат.

Гена говорил мне:

— Ты пишешь, как дети рисуют. Мне нравится. Хорошо, если бы это осталось на всю жизнь. А писать ты будешь.

— Нужно ли?

— Пиши. И дневники веди.

— Веду, но не каждый день.

— А зачем каждый? Но наш сегодняшний разговор запомни и запиши, — улыбнулся Гена. <...>

<...>

— Ты была во многих странах. Могла бы жить в другой стране? Не спеши с ответом.

Я не стала долго думать. Я ответила:

— Не смогла бы.

— Почему?

— Почему? Потому что я не выбирала страну, как и своих родителей. Страна выбрала меня. Она — моя.

Гена как бы сам себе тихо сказал:

— Бунин уехал... Кстати, художник Малявин тоже уехал... Виктор Некрасов?.. Кто бы мог подумать?

И неожиданно сообщил:

— Я пишу роман. У меня 353 страницы.

— Хорошо! А сколько страниц всего будет?

— Не знаю. Буду писать, пока пишется. <...>

МАРК ОСЕПЬЯН

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА *

583

На картину “Застава Ильича” я пришел в тот момент, когда Гена Шпаликов фактически отдалился (отошел) от участия в ее окончательной судьбе. Марлен Хуциев был обижен уходом Шпаликова как таковым. Обиду эту усиливало то обстоятельство, что Гена решил продолжить в кино московские похождения троих молодых людей, но без всякой возможной идеологической подоплеки. Вскоре, и еще до выхода на экраны фильма “Мне двадцать лет”, как стала называться “Застава...”, появился фильм “Я шагаю по Москве”...

Мы встречались со Шпаликовым нечасто. Последнюю нашу встречу, произошедшую незадолго до Гениной смерти, я помню хорошо.

Я сидел в ресторане Дома кино вместе с моим приятелем Володей Монастырским, мы отмечали его день рождения. За соседним столом сидел Саша Княжинский со своими друзьями. В какой-то момент в ресторане появился Гена. Он сразу направился к столу, где сидел Княжинский. Но тот не пригласил его, отказав в месте за своим столом. Тогда Гена направился к нам. Княжинский это видел и стал делать знаки, чтобы мы не принимали Гену в свою компанию. Гена спросил, можно ли сесть за наш столик, и мы не могли ему отказать.

* Записал Андрей Хржановский. Публикуется впервые.





На съемках фильма "Застава Ильича".
Д. Федоровский, М. Вертинская, В. Попов, М. Осепьян
и другие. За камерой Маргарита Пилихина.
Крайние справа в верхнем ряду В. Китайский и Ю. Файт.

Узнав о поводе нашей встречи, Гена подозвал официанта и заказал три бутылки шампанского. Официант отказался выполнять его заказ. Тогда Гена достал из кармана пачку денег, показал ему, и это, видимо, послужило доводом для того, чтобы он изменил свое решение...

Когда мы стали уходить, Гена спросил, нельзя ли у меня переночевать. Я жил тогда в родительской квартире, и у меня была возможность пригласить Гену. Дома его заинтересовала коллекция значков, которую в течении многих лет собирал мой отец. Один значок — Американского космического агентства — заинтересовал его особо. Он снял его и положил в карман, объяснив это тем, что сочиняет сценарий на космическую тему и ему такая деталь может пригодиться. Разумеется, больше этого значка я не увидел.

Утром надо было уходить на работу. Гена спросил, куда я еду. Я ответил, что на студию Горького. “Я с тобой”, — сказал Гена. Но когда мы приехали, Гена почему-то не пошел на студию, а остался у стенда с газетами, которые он принялся старательно изучать. Я видел его со спины. Эта спина в светлом плаще — последнее, что я видел, расставаясь с Геной. Как оказалось, навсегда.

После проводов Шпаликова на Ваганьковском кладбище я шел вместе с Мишей Богиным, и он мне сказал:

— Знаешь, я подал документы на выезд...

И вот — “...иных уж нет, а те далече...”

ПЕТР ВЕГИН

ОШИБКА ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА*

О вы, которые уснули меж двадцатью и сорока...

Эти стихи Леонид Мартынов написал задолго до того, как не стало Гены Шпаликова. Они о поэтах всего мира, с которыми жизнь обошлась незаслуженно жестоко, а потом, когда их не стало, схватилась за голову и запричитала в запоздалой любви.

Когда не стало Геннадия Шпаликова, все схватились за голову. Все, кто его любил. А любили его многие — и киношники, и художники, и писатели. Он был слишком нежен и светел — Гена, или, как трогательно его окрестили, Шарфик.

Никто не думал, что однажды этот шарфик затянется на его горле. Никто не думал, что он не выдержит. Чего? Вероятно, того же, что и многие до него, — одиночества. Одиночества на людях, одиночества в семье, одиночества в себе.

Художнику бывает необходимо уединение — когда он один на один с собой и одновременно со всем человечеством. Но одиночество для художника жизнеопасно.

Мы прилетели с Михаилом Рошиным с КамАЗа, куда оба согласились поехать в составе писательской бригады ради одного — увидеть Елабугу и могилу Цветаевой. Прямо из аэропорта мы заскочи-

* Публикуется по: Вегин П. Ошибка Геннадия Шпаликова // Вегин П. Опрокинутый Олимп. М., 2001.

ли перекусить в наш клуб и с разбега, прямо после дверей, уткнулись в только что выставленный некролог...

Дней десять — пятнадцать назад Гена просил одолжить ему десятку, но у меня была только трешка, и мы взяли кофе с дежурными бутербродами и в кредит буфетчицы Вали по сто граммов. Гена был приподнят, светел, говорил, что после долгого молчания начал писать какие-то куски — легко, быстро и много — и уже чувствует, как они друг с другом срастаются, значит, получится что-то новое, и, пожалуй, надо куда-нибудь смотаться, спрятаться, чтобы всласть пописать...

Среди того, что оставил Шпаликов, обнаружились стихи. Почти никто не знал, что он пишет стихи. И никто не знал, что он — Поэт.

...При его жизни была известна одна его песня — из аксеновского кинофильма “Коллеги”. Она была настолько популярной, что об авторе сразу забыли, песня пелась как народно-студенческая.

На меня надвигается
По реке битый лед.
На реке навигация,
На реке ледоход.

Пароход белый-беленький,
Дым над красной трубой.
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой.

Пахнет палуба клевером,
Хорошо, как в лесу.
И бумажка приклеена
У тебя на носу...

Песня ни о чем — песня обо всем. О любви, о чистоте, которая выплеснула в начале шестидесятых таких талантливых ребят, как Гена Шпаликов.

Его талант был ясен с первого шага. Фильмы “Мне двадцать лет” и “Я шагаю по Москве” сразу поставили Геннадия Шпаликова в ряд ведущих кинодраматургов.

Но я не о кино — о стихах.

Я держал небольшую пачку его стихов. Под стихами даты — 1963... 1969... 1974... Как жаль, что он никогда не читал стихов. Может быть, стеснялся? Может, не умел?

Он всегда был тих и застенчив. Как-то малозаметен. Никогда не выпячивал себя, как иные знаменитости. Особенно — в последнее время жизни.

Что творилось в нем, что в нем происходило?

А что творилось и происходило, объяснили после смерти стихи. Он искал выход.

Пустые улицы раскручивал
Один или рука к руке,
Но ничего не помню лучшего
Ночного выхода к реке.

Когда в заброшенном проезде
Открылись вместо тупика
Большие зимние созвездия
И незамерзшая река.

Все было празднично и тихо
И в небесах, и на воде.
Я днем искал подобный выход,
И не нашел его нигде.

Слышите — человек не мог найти выход! Днем! Что же никто не помог? Почему надо было уйти в ночь, чтобы там найти? Выход — из трудного состояния, из одиночества — давали только стихи. Больше Геннадия Шпаликову не на кого было рассчитывать.

...У него был единственный выход — стихи. Предать могут женщины, друзья могут предать, стихи — никогда.

Какая быстрая жизнь, какое долгое прощание с теми, кто вместе с тобой вдыхал воздух и выдыхал время! Гена был истинным романтиком, я бы сказал — романтиком из романтиков. Чувствительность, с которой он воспринимал жизнь и переносил ее на бумагу, предполагает полное отсутствие кожи — он ощущал радость

и боль обнаженными нервными окончаниями, всеми капиллярами души.

Однажды в телевизионной передаче, где Сергей и Татьяна Никитины пели песни на стихи Шпаликова, кинорежиссер Эльдар Рязанов очень хорошо и точно сказал об импрессионизме чувств Шпаликова. Он действительно из незаметных нюансов, настроений и деталей, из двух-трех фраз и взглядов был способен создать тонкую атмосферу нашего времени — времени уже ушедшего и неповторимого, хотя многие певцы этого времени еще полны сил.

Шпаликов — одна из самых нежных красок, мазков на групповом портрете нашего времени. Он так же нежен, чуток и чувствен, как Окуджава... Многие его стихи вошли вместе со знаменитыми киносценариями в его “Избранное”, вышедшее уже без него. Стихи эти прекрасны, они не “киношны”, хотя их иногда удачно используют в кинофильмах, как, к примеру, это сделал Николай Губенко в своем замечательном фильме “Подранки”.

Однажды Гена написал:

Я никогда не ездил на слоне,
Терпел в любви большие неудачи.
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Это была и есть ошибка Геннадия Шпаликова. Утрату его оплакали друзья. Но отсутствие его в искусстве остро чувствуется до сих пор, и жалеют, жалеют, жалеют об этом многие люди — режиссеры, операторы, актеры, зрители, поэты... Сколько бы прекрасных фильмов увидели мы, если бы Гена в приступе одиночества и опьянения не накинул петлю себе на горло в фанерном шкафу переделкинского Дома творчества...

Многие склонны считать стихи Шпаликова простыми. Нет, они сложны по своей судьбе, по замыслу, они удивительно чисты. Так чисты и свежи московские ночные улицы, когда начинается рассвет, и, окунаясь в нашу юность, я шел бродить по городу, явственно чувствуя, что где-то в соседнем переулке идет Гена Шпаликов и напевает: “А я иду, шагаю по Москве...”

ОЛЬГА СУРКОВА

ПИСЬМО ВОСЛЕД*

591

Письмо вослед Гене Шпаликову я никогда не сочиняла, оно было не написано мною, а вытребовано на бумагу душой и сердцем. Случившееся с Геной поистине ошеломило меня. Это была первая, наиболее остро ощутимая потеря в моей жизни. Тем более все осложнялось чувством разъедающей вины перед ним.

Было очень странное состояние, буквально заставившее меня сесть за машинку, чтобы раскаться, извиниться, обрести силы к дальнейшей жизни. Сейчас многое кажется по-женски сентиментальным, на многое, что тогда обсуждалось нами до скрежета зубовного, точки зрения переменились. Тем не менее это абсолютно честное и полное изложение того, что тогда было очень тяжело потерять.

Все изложенное на бумаге — та правда и та боль, которые отступили от меня только тогда, когда я поставила последнее многоточие, — едва поспевало за моими чувствами и памятью. Только бы ничего не забыть, только бы высказаться так, как чувствовалось.

Думаю, в непосредственности душевного крика кроется его некоторая ценность, может быть непонятная другим. Но мы были такими, так жили, так любили и так не умели любить.

* Публикуется по: Суркова О. Письмо вослед // Искусство кино. 2001. № 3.

Ах, утону я в Северной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,
Страна не зарыдает обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Что же, Геночка, милый, тебе написать? И как написать? Если б уметь!.. Как ты умел.

Написать, как ты шел по Новодевичьему после открытия памятника Рому? Как шел ты один и увидела я тебя со спины? С непокрытой головой, в большой, теплой брезентовой куртке, в каких сейчас ходят рабочие, как грузно и неуверенно ступал, широко раскинув ступни?

Что был мрачный, холодный осенний день, что душил холодный темный туман, что дул, мел ветер?

Что у меня мелькнуло: “Ромм — это совсем все-таки далеко от меня... Господи, а если вдруг Генка... а ведь, наверное, скоро?..” — и не подошла и не окликнула тебя.

Ты задержался с ребятами у выхода с кладбища, кажется с Саввой Кулишом. Мы встретились глазами, ты будто не узнал меня в первый момент — так бывало и раньше, может быть, потому что ты не сразу, не вдруг различал этот мир, а уж как принимал, как опробовал его каким-то своим внутренним шестым чувством — оно всегда у тебя было сильнее обычных пяти, данных всем людям для их самосохранения.

Потом словно обрадовался... Подошел.

Я спросила: “Генка, ну, как?.. Ты вроде лучше, не пьешь?”

Ты ответил тихо, отрывисто, плавно и заикаясь чуть-чуть.

Господи, хоть кто-нибудь, когда-нибудь записал голос Шпаликова, такой странный, удивительный, беззащитно рассеянный и растерянный, такой ни на кого не похожий? А ведь он так любил читать стихи с какой-то благодарной надеждой к слушающему!

“Почему не пью? Можем выпить. Вот сейчас пойдем, а?” Я отнекивалась, мол, замерзла, устала, тороплюсь домой, а, собственно, куда я торопилась? Так, по инерции...

Ты поздоровался с Машей Шатерниковой и ей тоже предложил пойти, но она сказала сразу решительно и определенно: “Нет-нет, Геночка, мне нужно домой”. И я позавидовала ей, что она вот так

может ответить решительно и определенно, а я не умею, и вот теперь мне, наверное, придется тащиться...

Ты сказала Маше: "Пусть отец зайдет к Сергею Павловичу. Попроси его, а то Сергей Павлович, знаешь, в больнице. Ему плохо". (Потом я переспросила тебя — речь шла об Урусевском.) Маша ответила: "Нет-нет, Геночка, это бесполезно — он просто пошлет меня, ведь он очень бережется. Он трус. Он не поедет. Может быть, если ты его попросишь — ему будет неудобно. Да вряд ли". Ты растерянно пробормотал: "Ну, я не знаю. Ведь он его друг. А Сергею Павловичу плохо. Он был бы рад..." — а Маша уже отошла, и ты не продолжал развивать эту тему, не сетовал, не возмущался — все оборвалось и осталось в тебе.

Я бегала, разыскивала одну венгерку — мне нужно было передать ей бумаги, а ты просил: "Ну ладно, ну потом найдешь, завтра, ну пожалуйста", — а я верещала: "Да нет, ты с ума сошел — завтра, тогда мне нужно будет специально ехать". Носилась, чертыхалась, так ее и не нашла... а ты стоял и ждал. Я видела издали, что многие выходившие с кладбища задерживались с тобой на секунду, чтобы скорее бежать дальше.

Наконец мы зашагали к ярмарке — где-то там ты собирался распить бутылку, но вдруг предложил: "Ну что же мы так? Может быть, посидим где-нибудь? Может быть, в ЦДЛ?" — "Нет-нет, что ты — это ведь очень далеко, я думала быстренько. Геночка, у меня ведь действительно нет времени", — тут же начала я сопротивляться. "Ну, хорошо — тогда в 'Юность', это рядом, просто чтобы можно было посидеть в тепле, ладно, а? — Ты смотрел на меня по-детски просительно. — Ты не думай — у меня есть деньги. Правда. Ну что, тебе разве трудно?"

Нет, Геночка, мне было нетрудно. Ты вздохнул с облегчением, обнял меня за плечи, притянул к себе. "Тебе холодно? Жуткий ветер. Ну, идем быстрее. Я так рад тебя видеть. По-настоящему рад, слышишь? Я ведь теперь гораздо лучше, — засмущался. — Конечно, не хороший, нет, но все-таки лучше..." — засмущался еще больше или не поверил себе сам, глотая слова.

"А ты знаешь, я ведь написал новый сценарий. Очень хочу, чтобы ты прочитала. Я тебе очень верю. Тут читал, ты писала о 'Солярисе'..." — "О 'Солярисе'? — удивилась я. — Может быть, о Со-

лоницыне?” — “Да-да (ты, по-моему, не был уверен), но я помню о ‘Солярисе’. Так вот, может, помнишь, в ‘Литературке’ была моя статейка, там же, где Васи Шукшина?” — “Помню, помню”. Ты просиял: “Ну, так это была просто отписка от командировки — теперь вот сценарий сделал. Знаешь, для сценарной студии Соловьева. Вот прочтешь. Там про женщину...” — ты начал рассказывать, а я слушала рассеянно и сейчас почти не помню, что же ты говорил. Помню, речь уже зашла о финале, в котором героиня как-то странно гибнет, кажется, сгорает... “Генк, а ты думаешь, это пройдет?” — “А ты думаешь, нет?” — торопливо, растерянно отозвался ты. А пока ты рассказывал, глаза твои светились, лукавили, озорничали и безоружно ждали одобрения. Хотя говорил ты тихо, как всегда чуть заикаясь, — в тебя надо было вслушиваться и вглядываться.

Теперь мучительно, непроходяще желание тебя удержать в каждом мгновении, каждом повороте, каждой интонации. Чудовищно поздно. Невозможно сохранить, уберечь тебя для всех, чтобы они могли, так же как я, видеть и слышать тебя, милый, родной человек.

“Генка, а ты все пьешь? Может, не надо?” — “Нет-нет, я пью теперь только сухое вино. А ты?” — “Мне все равно”. — “А я, знаешь, только сухое вино...” — “Что, водку не можешь?” — “Могу, — не очень уверенно возразил ты, — но я, знаешь, сейчас себя берегу. Сухое вино — это так...”

Мы подошли к двери гостиницы — табличка оповещала, что ресторан закрыт. Ты засуетился: “Ничего-ничего, там есть какой-нибудь буфет”. О чем-то заговорил с гардеробщиками, а я стояла поодаль, готовая к тому, что они тебя сейчас обхвоят, прогонят, уж очень подозрительно ты выглядел — опухший, плохо одетый, просительный и тихий. Но они неожиданно радушно приняли нас, и охотно объяснили, как пройти в буфет, и будто извинялись, что водки в этом буфете, к сожалению, нет, сухое вино или коньяк — наверное. Им казалось, что ты предпочел бы водку, подозревали, что на коньяк денег у нас нет.

А ты взял номерок и сказал: “Да нет, знаете, мы согреться, и девушка вот пьет вино...” Наверное, тебе тоже казалось, что они не очень верят, что ты можешь пить сухое вино.

Когда мы шли по коридору, я спросила: “Как дочка?” — “Большая, одиннадцать лет. Уже сама ко мне приезжает. Командует. Красивая девочка”, — ты говорил о ней грустно и со стороны.

Кафе оказалось довольно уютным, с множеством пустых столиков. Я выбрала один сбоку, села и видела тебя у стойки — ты там что-то довольно долго задержался, — и сейчас вижу твою спину, обтянутую стареньким-стареньким пиджачком.

Притащил две бутылки. “Ген, ты с ума сошел, зачем же две? Кто это будет пить?” — “Оль, да это ведь вино, сухое... Да, и вот... — ты разложил передо мной три маленькие шоколадки, извиняясь, пробормотал: — Есть там как-то нечего. А ты хочешь?” — “Нет, нет, что ты, не хочу”, — заверила я тебя, хоть и не ела с самого утра.

Ты сел за столик, радостно, светло оглянулся. “Ну вот, видишь, как все хорошо”. — “Ага, я не ожидала. Здесь мило”. Ты отвоевал себе право посидеть с кем-то — к тому же здесь было “мило”. Ты победно сиял.

Потом, по-моему, все шоколадки съела я одна — ты какую-то одну чуть надкусил... Что-то вдруг не знали, как начать разговор...

Начали с последних впечатлений — открытие памятника Михаилу Ильичу... в речах, что там произносились, Ромм причислялся уже не только к величайшим художникам советского кино, но и мирового искусства. Ты грустно заулыбался, раздумчиво и нежно: “Да это, конечно, не так. Совсем не так”. Я с жаром и свойственным уже мне напором охотно поддержала этот разговор. Вдруг ты радостно улыбнулся: “А все-таки Ромм — хороший человек. Он со мною договор заключил и даже деньги заплатил”. Благодарность начинала шевелиться где-то внутри тебя, ширилась, полнилась и словно выплескивалась из глаз радостью твоего убеждения — “хороший, хороший человек”.

Наши разговоры... Теперь все равно не удержишь, они скользят из памяти — так, клочки, мгновения, обрывки...

Время от времени я украдкой поглядывала на часы, мне ведь правда очень хорошо было с тобой сидеть, и тепло, и приятно, и интересно, но надо было позвонить домой: там не знали, где я. Ты заметил это и попросил тихо, едва-едва — слова вспархивали, как пугливые птицы, какие-то недоговоренные: “Не смотри, пожалуйста, на часы... Ну, пожалуйста... Ну разве тебе пло-

хо?” — “Геночка, мне нужно позвонить. Это одна секунда”. — “Ну подожди”.

Звонить я пошла нескоро, решительно встала и сказала, что сейчас же вернусь. “Ты правда вернешься? Ты не обманываешь? Нет? Ты меня не бросишь?” — встревоженно спрашивал ты и грустно. “Геночка, милый, да ты что? Разве это возможно? Что за бред? Я вот сумку оставляю”, — урезонивала я тебя.

Когда я вернулась, мне показалось, что ты вдруг опьянел, я знала в тебе эту тяжесть, когда ты начинал непроизвольно подергивать щекой, причмокивая языком, твои друзья знают, конечно, о чем я говорю. “Геночка, вот теперь ты что-то пьяненький стал... Ну!” Ты поднял на меня тяжелые добрые глаза: “Да? А я вот написал. Возьми”. Ты оторвал кусочек салфетки, на котором были стихи, маленькие стихи, написанные совсем трезвым почерком. Это были стихи о Ромме, я не разобрала последней строчки — ты победно прочитал: “Это обозначится”. “Обозначится?” — удивленно переспросила я — мне показалось это слово не очень удачным. “Ну да, обозначится”. Ты с каким-то недоумением, трепетным ожиданием моего понимания безоружно смотрел на меня. “Да-да, хорошо”, — поспешно отвечала я.

“Что ты сказала маме?” — “Что сижу с нашими младшими” из института, что, мол, новые служебные знакомства, неудобно уйти”. — “А ты бы сказала, что со мной”. — “Нет, Геночка, я не могу, а то бы она заволновалась, что я пью”. — “А ты бы сказала, что со мной. Ведь твоя мама мудрая. Ей мой фильм понравился — она бы поняла”. (“Мой фильм” — это “Долгая счастливая жизнь”, единственный фильм, который ты сам поставил, фильм вовсе непонятый и недооцененный, щемяще грустный и нежный, по-русски печальный, — мне он очень нравился, и мама на нем много плакала и, действительно, как-то давно говорила об этом фильме. Как ты нуждался в добром слове, как его помнил и ценил.) “Геночка, но мудрость моей мамы, так же как и других мам, не распространяется столь далеко, когда речь заходит об их детях. Ты же понимаешь...” Ты как будто бы разочарованно и укоризненно качнул головой. Не знаю, понял ты или нет. Тем страшнее, если понял, что я отреклась от тебя первый раз в этот вечер.

Ты сказал, не очень веря, что я прислушиваюсь, но неожиданно для тебя твердо: “Оль, да я ведь не все время пью. Я ведь все-таки пишу... Разве это было бы возможно...”

Гена не курил, и когда он сидел за столиком и разговаривал, руки его не ерзали, не бегали по столу, не скатывали хлебные шарики — они спокойно, послушно лежали перед ним на столе, и в их положении и во всей его позе с прямой спиной и вытянутой из плеч головой было что-то от набедокурившего школьника, неуверенно притихшего за партой в ожидании расправы.

И в этот раз, Гена, я посмотрела на твои руки, довольно густо покрытые темными волосами, такие неожиданно маленькие, с очень белой кожей и как будто холеные. Я смотрела на них — беспомощные, детские, робкие и неприкаянные, они, точно зверьки, притихли, высунувшись из рукавов. А я ведь подумала, что они живут какой-то своей, безнадежно отдельной жизнью от твоего вспухшего, наверное, нечистого тела. Я подумала, как страшно тебе раздеваться, смотреть на себя, как тебе, наверное, стыдно и больно. И испугалась — отогнала и эту мысль.

Мы говорили.

Ты рассказывал, как “вчера к тебе приезжали Лида Федосеева и Ира Тарковская”. Я спросила, был ли ты на похоронах у Шукшина, — ты как-то испугался, даже резко ответил: “Нет-нет, я этого не мог. Я написал письмо Лиде. Наверное, она поэтому и приехала”. — “Как она?” — спросила я. “Растеряна... По-моему, до сих пор не осознает, что произошло. И Ирка какая-то растерянная... Любит Андрея”. — “Ты думаешь?” — “Да, конечно, и с картиной у нее что-то не ладится. Неприкаянные они, испуганные... Еще Ахмадулина с Катаевым зашли. Белка пьяная... и Катаев, Герой Соцтруда, читал Мандельштама”. Ты недоуменно поморщился с чувством какой-то неловкости: “Знаешь, я подумал, а я тут при чем, что я-то тут?..”

“Гена, а как у тебя с квартирой? Есть какая-нибудь надежда?” Ты отвечал обреченной деловой скороговоркой: “Да нет, какая квартира? Я, наверное, умру в этих домах творчества”. Почему-то застенчиво заулыбался: “А я ведь, знаешь, приехал в Москву — хотел стихотворение на могиле Ромма прочитать, а они мне не дали. Марьямов сказал: ‘Гена, лучше не надо. Здесь Павленок...’” Почему-то

виновато и горько улыбался: “Хочешь, прочту?” Начал читать, остановился. Читал ты всегда доверительно, интимно — тебе самому это нравилось, затаясь, прислушивался к себе и радовался; какая-то глубоко скрытая в тебе игра лукавилась, смешанная с верой, боязнью и ожиданием чего-то — реакции собеседника, слушателя. Была в тебе грустная победность, что ли... неуверенность и убежденность. И целомудренность — вот точное слово. Начал читать, остановился. “Ты знаешь? Нет?” — удивился словно и обрадовался, что “не знаю”, что сейчас, значит, ты мне кое-что сообщишь, удивишь, и глаз радостный...

Может быть, ты и раньше читал мне эти стихи, но ты читал их так много, щедро, что разве я могла все припомнить. Ты принес мне однажды множество своих стихов, перепечатанных на машинке, надписал, подарил. А спустя какое-то время позвонил мне от Васи Ливанова, просил срочно одолжить тебе мой экземпляр, потому что все другие ты потерял, а вот сейчас какой-то западный журнал ими заинтересовался, есть возможность опубликовать. Ты их забрал и, наверное, тоже потерял, и вряд ли они были опубликованы — ведь ты никогда не умел “делать дела”, верно? Милый, мудрый ребенок. А стихотворение, которое ты прочитал тогда мне и которое хотел прочитать на открытии памятника, было замечательное, и было оно о том, что творчество и дух побеждают тление и смерть... Вот и все... Только об этом.

Мне вспомнилось: “Знаешь, я раньше был плохим, а теперь... я не хороший, нет, но лучше, гораздо лучше...” И ты вдруг спросил меня: “Оль, ну почему тебе все-таки не выйти за меня замуж?”, ты будто застеснялся. А я отвечала с напускной бодростью: “Генка, это же невозможно. Ну, ты же понимаешь...”, я вновь уповала на твое “понимание”, и боюсь, что ты, действительно, понимал. “Мы просто сопьемся вместе, и все, конец. Наверное, это чувство самосохранения... я боюсь...” Ты смотрел на меня грустно, с каким-то пристальным интересом. Сказал, словно подарил своей радостью: “Ты красивая. Правда, хорошо выглядишь! Красивая...” — “Вдова лауреата Нобелевской премии?” — невесело пошутила я.

(Ты вспомнил то же, что вспомнила я. Как два года назад, наверное, в конце лета ты попросил меня встретить тебя у кинотеатра “Прогресс”. Мы гуляли вокруг дома с собакой, и ты говорил, гово-

рил мне какие-то удивительные слова, которые меня грели и волновали. Мне нужно было ехать к отцу в больницу, и ты вызвался меня провожать. Когда мы подъехали к проходной, ты заявил, что будешь меня ждать. Я уговаривала тебя, что это невозможно, не нужно, что я буду в больнице долго, что тебе будет скучно. Ты отвечал тихо, светло и чуть вопросительно: “Скучно? Но ведь ты придешь... рано или поздно придешь... а если я буду знать, что ты придешь, я могу тут просидеть сколько угодно... потом у меня есть бумага... я что-нибудь напишу... Только ты мне не дашь два рубля? Я немножко чего-нибудь выпью...” Я пробыла в больнице долго, была уверена, что ты не дождался. Но ты дождался — я изда- лека увидела тебя на лавочке... ты был сильно пьян и очень взвол- нован: “Ты пришла? Я думал, ты никогда не придешь. Ты такая хорошая и красивая. Оленька, ну выходи за меня замуж, выходи за меня замуж...” Потом вдруг остановился: “Только ты, пожалуйста, не думай, что меня надо спасать. Меня спасать не надо. Пока, правда, трудно с деньгами и квартирой... но я получу, я должен получить... тебе будет хорошо, ну поверь мне”. Ты тяжело заулыбался: “Будет солнечная комната, и ты в этой комнате... и мы не бу- дем пить. Так только... сухое вино, чуть-чуть, когда захочется... а мне ведь ничего не надо. Мне бы только писать... мне бы ком- нату, бумагу, карандаш. Ну, чтобы ты рядом... Тебе не будет пло- хо. Я долго не протяну, а ты останешься вдовой лауреата Нобелев- ской премии... Разве тебе будет плохо?..” — “Гена, Гена, что ты го- воришь, ты совсем пьяный, ну постарайся как-нибудь встать — тут ведь транспорт далеко, а у меня сегодня мама уезжает в Болгарию, мне необходимо ее проводить... Ой, господи, что же делать?.. По- будь здесь — я побегу, постараюсь найти такси и заеду...” — “Нет, не уходи. — Ты начал плакать навзрыд. — Ты меня не оставишь? Хорошо. Мы поедem сейчас к твоей маме, я скажу, что люблю те- бя... разве она не будет рада, разве не будет?” — “Гена, какая ма- ма? Ты совершенно не в том виде... да еще перед отъездом — она так расстроится, напугается — это невозможно”. — “Я могу надеть белую рубашку и галстук, но ведь это будет неправдой. А твоя ма- ма мудрая: я видел, я знаю, что она все понимает. Она все пой- мет. Ну, позволь мне ей сказать... Ну можно, я у вас переночую?.. Мне ведь много места не надо, я могу на кухне, мне ведь ничего

не надо”. С трудом я нашла такси, уговаривала женщину-шофера: “Вы знаете, там совершенно пьяный человек, но он очень хороший, он, знаете, даже известный кинематографист. Наверное, знаете ‘А я иду, шагаю по Москве’? — так это он”. Женщина засуетилась: “Да что вы... да конечно, да разве ж можно оставлять? Да его ж в вытрезвитель заберут...” — и в машине ты плакал и умолял, умолял... и когда я высадила тебя на Фрунзенской, у дома твоей матери, и просила тебя: “Геночка, ну пойди, пожалуйста, домой, чтобы я видела и была спокойна”, — ты так и не уходил: ты открыл дверцу, поцеловал мне руки, стоял грузный, осевший, зареванный и как будто уже не такой пьяный. Когда мы отъехали, таксист плакала и говорила: “Девушка, а может, правда выйдете, может, правда бросит пить, видите, как убивается... Все они, мужики, такие непутевые, слабые, жалко...”

Я вернулась домой в совершеннейшем отчаянии — мне казалось, что ничего трагичнее и страшнее я не видела в своей жизни. Светлая, добрая, чудная голова... Даже когда ты бывал очень-очень пьян — если ты говорил, то говорил всегда умно, тонко, своеобразно о фильмах, о кино, о жизни, говорил только то и так, как мог сказать только Шпаликов... я была потрясена этой чудовищной, немыслимой несовместимостью. Вот это твое внутреннее, нетронутое, первозданное богатство, неиссякаемое, естественное, простое и легкое, как дыхание ребенка... и твое дыхание, и вся твоя физическая оболочка — они одряхлели, устали, они умирали, тяжело и смрадно... я очень плакала, вернувшись домой. Я до сих пор не знаю и теперь уже не узнаю никогда, действительно ли ты тогда и в другие разы обращался ко мне, именно ко мне, только ко мне... Вряд ли, наверное, ты многих просил, молил о помощи... но ты просил и меня... и я виновата навсегда. Это останется со мной. А ты меня прости!)

И сейчас я вспоминала эту фразу: “Я долго не протяну, а ты останешься вдовой лауреата Нобелевской премии... Разве тебе будет плохо?..”

Ты протяжно заулыбался, чуть смущенно: “Да нет, Оль, и вдовы ‘лауреата’ не будет”. Я пошутила: “Ну вот, Ген, теперь есть надежда, что ты все-таки будешь лауреатом: те, кто получает премии, об этом не думают”. А ты добавил: “К тому же это премия и полити-

ческая”. Да. Уж политиком ты не был — ты был художником, русским художником до мозга костей, и Россия еще заплачет о тебе.

Так я отеклась от тебя второй раз.

“А что? Валька Ежов, — продолжал ты, — лауреат Ленинской премии... Ну и что? Разве ему лучше?”

А еще мы говорили о Тарковском — почему же он все-таки может, а у тебя ничего не получается. Ты спрашивал: “Может быть, ты думаешь, я не так талантлив?” Удивительно, ты, действительно крупный литератор и сценарист, почти как должное воспринимал, когда не брали твои сценарии, не печатали стихи, и радовался по-детски признательно, когда возникала надежда пустить их “в дело”. Ты таскал свои листочки, на перепечатку которых у тебя то и дело не было денег, таскал от одного приятеля к другому, волновался о впечатлениях и терял, терял свои замусоленные листки...

Ты рассказывал мне, что написал письмо в “Правду” по поводу Солженицына, когда они начали публиковать отклики. Что они тут же переслали его в Союз писателей, что тебя вызвал Ильин и сказал: “Гена, ну что же ты делаешь? Ведь я должен как-то реагировать...” “Ну а потом все обошлось, ничего мне не было”, — успокоил ты меня. Тут-то я и произнесла монолог, который никогда себе не прощу: “Гена, видишь ли, если ты хочешь всерьез чего-то добиваться, ты должен все в самом корне изменить. Ты говоришь — Тарковский... но ведь они вынуждены с ним считаться, они не могут просто отвернуться, не обратить внимания: он в нормальном человеческом состоянии... а на тебя могут не обратить... понимаешь, о чем я? В то же время письмо по поводу Солженицына — другим бы это не сошло с рук, а тебе сходит, с тебя вроде бы взятки гладки, да что, мол, с него взять?.. Но уж и когда ты приносишь прекрасный, действительно прекрасный сценарий, то и по этому поводу они могут не разговаривать с тобой по существу, по делу, по проблеме творчества твоего, деятельности, а просто списать без долгих сложностей: ну, Шпаликов... конечно, очень жаль, к сожалению... но он, знаете, совсем в тяжелом состоянии, вроде бы и сам не ведает, что творит. Ты аутсайдер, и им это очень удобно — представляешь, насколько бы им было сложнее, выгляди ты иначе и веди другой образ жизни. Аутсайдер! Знаешь, что это такое?” —

“Нет”, — ответил ты чуть смущенно. “Ну, это человек вне общества, и общество уже как бы не отвечает за него... он вне... Понимаешь?” Умолкнувший и съживившийся, ты только сказал: “Оль, а ведь ты права”. Господи, может быть, тогда петух прокукарекал в третий раз? Господи, минуй меня чаша сия! Я подумала, что, может, я зря все это, что слишком жестко, мелькнул в памяти и скрипач Ефимов из “Неточки Незвановой”... Отогнала и эту мысль — а вдруг эта резкость поможет...

А ты сказал: “Да ладно... Бог с ними... Лишь бы перо водило по бумаге, а оно у меня пока что, слава богу, водит”. И опять уверял чуть растеряннo: “Да я ведь не так уж пью — как бы я писал, если бы все время... а я ведь все-таки пишу... и сейчас совсем провалился — просто по-настоящему хорошо пишу. Вот ты увидишь, ты увидишь — я дам тебе почитать... Вот поедем ко мне в Переделкино сейчас, я тебе покажу, и книжку у меня издали (ты сказал, кажется, в Италии). Поедем, пожалуйста”. — “Нет, Геночка, какое Переделкино? Мне нужно домой... я на днях обязательно приеду”. Ты огорчился враз, как ребенок, и радость вспыхивала вдруг, как у ребенка слезы высыхают... ты заговорщицки засветился, предвкушая мое удивление: “А ‘Прыг-скок’ взяли печатать в ‘Знамя’”. — “Ну!” — поразилаcь я. А ты торжествовал, лучился, правда, как обычно, тихо, будто про себя: “Да-да, и даже гонорар авансовый уже заплатили. — Ты сам все больше удивлялся. — Там такой Кривицкий... да, я сам не ожидал”. — “Генка, да не может быть, это же потрясающе”, — с восторженным недоверием кивала я головой. “А вот да, да”, — наслаждался ты моей реакцией. Уж не так я, мол, безнадежен. Вот!

“Тена, а ты помнишь, мы были однажды у моей подруги? Нет? Ну да, ты был сильно пьян, не помнишь... да нет, тогда и говорить не стоит... да у нее недавно годовалый ребенок умер... а когда мы у нее были, она, наверное, как раз беременная была...” — “Оль, но у меня хорошая память. Ты добрая, ты такая добрая”. — “Тена, да брось ты”. — “Нет-нет, я помню, как ты ко мне выходила и такого-то числа, и такого. (Ты помнил числа!) Да, я был тогда в таком состоянии, что немногие бы вышли, а ты выходила”. — “Господи, да как ты числа-то помнишь?..” Ты добрел, добрел глазами: “Ну, у меня очень хорошая память на хороших людей”.

Помню, однажды я вышла к “Прогрессу” по твоей просьбе, но не нашла тебя. Ты появился на следующий день, рассказывал: “Я сидел в палисаднике, пил шампанское, ждал тебя, а меня забрали в вытрезвитель. — Ты словно удивился опять. — Знаешь, они такие злые... Они у меня все деньги забрали. А алкоголики... Там были женщины... знаешь, они очень добрые, хорошие”. Потом ты напишешь “Прыг-скок, обвалился потолок” — это все будет о них, о дикой нашей русской жизни, но, боже, сколько горечи и влюбленности, сколько поэтичности и юмора, сколько добра и слез вложишь ты в этот мир.

А ты все продолжал: “А меня прости, Оль”. Ты болезненно поморщился. “Ген, да за что? Господь с тобой”. — “Нет, нет, в тот день я вел себя ужасно”. — “Да в какой день?” Ты вспомнил, как я везла тебя с женщиной-таксистом. Странно, что мы, что ты сейчас говорил об этом — ведь после этого мы виделись много раз. Второй раз вспомнили тот же день. “Ты прости меня”. — “Гена, да ты что? Все было тогда прекрасно”. — “Нет-нет, я вел себя тогда ужасно. Прости меня — да еще при третьем человеке. Так себя мужчины не ведут. Тем более офицеры”. (Ты, оказывается, потом стыдился — как же ты тогда должен был мучиться, бедный ты, бедный.) “Офицеры”... Да-да, я вспомнила, ты рассказывал мне, что с десяти лет тебя отдали в суворовское... Это когда я спрашивала тебя о твоих взаимоотношениях с матерью в связи с тем, что тебе негде было жить. И ты говорил мне, что, во-первых, у нее — негде, что там сестра и ребенок, что тебе могут ставить раскладушку, а во-вторых, что вы, в сущности, чужие люди, потому что очень рано ты оказался вне дома.

Ты говорил о забвении и объяснял: “Да-да, мы когда-то все это начали в кино, но потом... как-то ничего не закончили, сил, что ли, не хватило?” — “Да нет, Гена, это не так. Так не может быть. Даже если сейчас что-то и подзабыли и какие-то новые вещи привлекают внимание. Это неважно. Это все суета. Такие вещи, как, скажем, вклад поколения, окончательно оцениваются потом, только спустя время, только тогда происходит окончательный отсев и отбор. И ‘Мне двадцать лет’, конечно, не забудут... Это уж нет... Действительно, ведь наша первая ласточка... Это вернется... к этому, отойдя от суеты текучки, будут возвращаться с благодарностью, Геноч-

ка. Это ты поверь мне”. Ты был счастлив: “Ты мне правду, правду говоришь?”

“Ген, а может, тебе все-таки еще и самому попытаться поставить фильм?” Раньше много раз и особенно подробно в Болшеве ты рассказывал мне, как хочется тебе самому снимать, у тебя было несколько идей на сей счет. Но, кажется, больше всего ты хотел снимать “Скучную историю” — так восхищался ею, говорил, что знаешь точно, как это делать, и называться она будет иначе, и говорил название какое-то очень интересное, — да вот сейчас уже не могу припомнить. Ты тогда обивал пороги объединений, все надеялся. Сейчас ты уже бросил эти “пустые затеи” — ты ответил мне: “Нет, Оля, жалко времени. Надо его беречь. Надо вот писать как можно больше”.

Ты рассказывал о Викторе Некрасове. Оказывается, ты жил у него в Киеве целый месяц перед его отъездом, а потом его провозжал... Ты говорил, что он уехал не совсем, что у него осталось подданство, что он вернется... но что он вывез с собой много родственников, и ты недоумевал, как же он там будет жить и чем их кормить. Ты объяснял мне, что ведь он пишет мало, что с “Континентом” он не хочет иметь ничего общего (я не знала, что такое “Континент”). “Он настоящий, духовный человек, он художник”, — снова объяснял ты мне...

Рассказывал, что случайно был у Солженицына за два дня до его высылки.

Я стала высказывать свои сомнения по поводу этой фигуры, говорила, что мне кажется непривлекательным бум вокруг него, что он мне представляется безвкусным, крикливым и не очень умным. И ты согласился. Ты сказал, что, когда увидел его тогда, у тебя не осталось от него впечатления “духовности”, что он был слишком “деловит” для художника. “Это не то что Некрасов”, — мечтательно заикнулся ты. А потом вдруг растерянно, жестко, необычно для тебя жестко сказал-спросил: “Оль, а может, с ними так и надо, а? А что делать?”

Я никогда не слышала, чтобы ты о ком-нибудь говорил плохо, ты мог говорить глубоко, сложно, но никогда не ругался, никогда громко не возмущался, никогда никого не обвинял. Ты этого не умел — это как-то скользило мимо тебя, вовсе тебя не задевая...

А еще ты сказал светло, грустно и тепло: “Помнишь дядю Ваню, Ивана Петровича? Ну, в Болшеве? Маленький такой?” — “А-а, карлик-то”, — переспросила я. Ты сказал — “маленький такой”, а я — “карлик”...

(Я вспомнила Болшево, на Новый год, 1973-й... мы случайно встретились в Болшеве. Ты был в очень плохом состоянии — говорил тогда о самоубийстве. Тебя выселяли из Дома творчества: на праздник съезжалось много народу, а у тебя не было денег уплатить за комнату... и ты все говорил растерянно: “Но у меня будут деньги...” Кажется, за сценарий “Ты и я”. “Я получу, заплачу... Мне же некуда уезжать... Что же я, буду на улице на Новый год?!...” Кто-то бегал за тебя хлопотать, да безуспешно: тебя не было в Болшеве на Новый год. Мне страшно было тебя оставить одного. Мы бродили вместе в каком-то бреду, ты читал много стихов, пил... мы сидели в твоей комнате... Это было уже после “поездки” в Кунцево в больницу к отцу... в комнате твоей ничего не было: только фотография дочери, бумаги и какой-то дешевенький пейзажик — на Западе выпускают такие подделки, будто бы настоящие, на стенку, в рамках, — я не могу теперь вспомнить, чей это был пейзаж, а ты сказал, что очень любишь на него смотреть. И еще лежал замусоленный томик Бунина, ты сказал, что любишь его читать, и восхищался “прозрачностью”. Вот и все твои были пожитки. Мы поцеловались тогда, единственный раз, и я поразилась, что мне хорошо и совсем не противно, и поняла, что я могла бы, могу “идти к прокаженным”... и испугалась... Тогда же были мы и в пивной, и там подбежал к тебе карлик, радостный такой пьяница, и все суетился вокруг тебя, наверное, просто потому, что ему надо было делать больше движений, чем другим людям, чтобы поспевать за ними, и он называл тебя просто Гена, и ты с ним разговаривал очень приветливо и совсем искренне, без натуги, как с равным, милым, замечательным, дорогим и близким тебе человеком. Подсаживал его куда-то, куда он не мог взобраться. Ты здесь был своим, хоть и грустным, хоть и замкнутым на себе, но и настежь отворенным... а мне ты потом говорил, что “Иван Петрович очень хороший и добрый и очень одинокий. И мудрый. Замечательный”, и ты был у него в гостях... Когда ты заговорил о нем, то имени я его, конечно, не помнила и сейчас не помню, пишу условно...)

Ты обрадовался, что я вспомнила “дядю Ваню”, и качнул головой: “Так он умер. Я ездил его хоронить”.

А я все торопилась домой... ты снова и снова просил меня подождать, посидеть. Ты снова и снова звал меня поехать в Переделкино, говорил, что мы так хорошо посидим и поговорим у тебя в Доме творчества, что тебе так хорошо говорить со мной и тебе так не хочется расставаться. О ужас, ты, наверное, боялся одиночества! А мне казалось, что четверг, 31 октября — это совсем обычный день и ты даже в гораздо лучшем состоянии, чем бывал частенько, что ты довольно спокоен и собран, и не пьян, и работоспособен... “Ну поехали, а? Ну что, ты боишься меня, что ли?” — недоуменно спросил ты в какой-то момент. “Тен, да ты что? Чего же мне бояться-то?” — поразилась я.

Ты сказал, что мы возьмем такси и ты довезешь меня, а потом поедешь в Переделкино. Но таксист соглашался довезти только меня, то есть ехать только до моего дома. Мы вышли на стоянке такси на улице Строителей. Шел дождь, моросил, сеялся, было холодно, мокро, темно и неприятно. Мы ждали такси.

Я хотела дойти до дома сама — там было всего ничего, но ты настойчиво заявил, что подвезешь меня. Ты не хотел расставаться. Я прислонилась под навесиком от дождя. Машины не было. Ты подошел ко мне, взял за воротник, притянул к себе, долго, добро улыбаясь, кажется, что-то говорил, не помню что... Подошла машина. Мы сели. Доехали до моего дома. Ты вышел со мной. Еще раз спросил, не поеду ли я к тебе. Я обещала приехать через пару дней. Мы простились.

Прошел следующий день.

Наступило еще одно утро, 2 ноября. Я лежала в постели, разговаривала с Ларисой Тарковской по телефону о всякой всячине. Вдруг она спросила:

“Ну ты, конечно, знаешь эту жуткую новость?” — “Какую?” — “Тена Шпаликов ночью повесился”. Я заорала: “Этой ночью?” — “Нет, прошлой”. — “Лариска, да я же была с ним, я же была с ним тем вечером — он же меня просил поехать к нему”. — “Ну вот, — ответила Лариса, — может быть, ничего бы и не было”. — “Прости”. — Я бросила трубку.

Все перевернулось — словно от наезда камеры укрупнилось, приблизилось, осветлилось. Ты вдруг оказался здесь, совсем рядом, совсем близко — чудовищное, разъедающее чувство жалости... желание тебя защитить, обнять, погладить, ободрить... Скорее бежать к тебе. И вновь и вновь ошеломляющее понимание, что бежать уже некуда, что тебя нет и не будет... и недоумение, и ненависть к себе — как же я могла уйти, как же я могла не говорить тебе долго-долго все самое лучшее и нежное. Тебе это так было нужно. А теперь поздно, поздно. Мне казалось, ты отрываешься от меня, как часть меня, моего тела, моей души — твоя смерть вдруг разом сблизила нас, я как никогда почувствовала себя причастной к тебе: “дайте о ребра опереться, выскочу...”

И твоя песня:

Прощай, Садовое кольцо,
Я опускаюсь, опускаюсь...
И на знакомое крыльцо
Чужого дома поднимаюсь.

Чужие люди отворят,
Чужие люди с недоверьем...

Дальше не помню слов...

6–9 ноября 1974

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

“В ЭТОЙ КОМНАТЕ СЛУЧИТСЯ НЕСЧАСТЬЕ” *

608

Следующей осенью в комнату №6 приехал Геннадий Шпаликов. Он попросился за мой стол, не знаю уж почему. До этого мы с ним знакомы не были. Он был угрюм, выпивал, кстати, умеренно, но в его добрых глазах темнела неумеренная тоска. Видя, что сосед по столу в угнетенном виде, я как могла пыталась его развлечь всякими устными смешняками. Иногда улыбался. Несколько раз я заходила к Шпаликову, и он читал мне свои стихи, предупреждая словами:

— Послушайте, а то, кроме осточертевшей мне песни “Я шагаю по Москве”, стихов моих никто не знает и знать не хочет.

А я, помнится, завидовала смыслу этой строчки, вот бы и мне как ни в чем не бывало шагать по Москве!

Когда я к нему поднялась в очередной раз, у него была первая жена Андрея Тарковского. Он нас познакомил: “Это мой старинный друг, а это новый”. Они пили коньяк. А мне, поскольку я с некоторых пор спиртного — ни-ни, предложили чаю. Термос, который Шпаликов взял со стола, у него в руках вдруг распался. Мы со Шпаликовым застыли. А его гостя стала собирать осколки стекла и металлические части и полотенцем вытирать пол. А потом

* Публикуется по: Лиснянская И. Хвастунья // Знамя. 2006. № 1.

уже он снова читал стихи с тем же предисловием по поводу “Я шагаю по Москве”. А утром к завтраку не вышел, но так бывало. Перед обедом я почему-то страшно разволновалась, рассказала отъезжающему Игорю Виноградову о термосе и пошла к Шпаликову. Постучалась — никакого ответа. Я запаниковала, побежала к Грише Горину.

— А может быть, он в город уехал? — спросил меня Горин. Я сказала, что нет, не думаю. Беспокоюсь. Чувствительному Грише Горину мое беспокойство передалось. Он вместе, кажется, с Аркановым взобрались по пожарной лестнице и заглянули в окно. Шпаликов висел на том самом эмалированном крюке, с которого его гостя накануне сняла полотенце. А когда взломали замок, пронизательно-чуткий Горин меня не впустил: “Это не для вас, у вас не те нервы”. И только тут я вспомнила предсказание Петровых: “В этой комнате случится несчастье”. Марии Сергеевне о самоубийстве Шпаликова я рассказала не сразу, хотя перезванивались ежедневно, но о своем внезапном, страшном предчувствии она, слава богу, не вспомнила.

Г. Шпаликов. Рисунок В. Некрасова.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

ЕМУ НЕ ХВАТАЛО

ВОЗДУХА...*

<...> Я за свободу! И больше ни за что! И если выбирать между двумя мирами — тем, где прибыль получает Форд или Рокфеллер, эксплуатируя рабочих и давая им в то же время возможность иметь и машину, и собственный домик (да-да, в рассрочку!), и тем миром, где прибыль идет бог знает кому, псу под хвост, а рабочий стоит в очереди за гнилыми помидорами и должен за это еще благодарить то отца и учителя, то верного ленинца, — я за тот, первый мир... А в социализм, с каким бы он ни был лицом, спиной или задницей, не верю ни одной минуты. Кто б его там ни делал — Миттеран, Пальме или сам папа римский, надумай и он увлечься этой модной игрушкой.

Я за свободу! И больше ни за что! За то, чтоб сесть в поезд, самолет, автокар, дилижанс и поехать куда глаза глядят, хоть на край света, хоть к самому Иди Амину. За то, чтоб русский рабочий, тот же оружейник из города-героя Тулы, не ковал оружия для этого самого Иди Амина, ангольского поэта или мозамбикского марксиста-ленинца. За то, чтоб ученый, получивший премию мира, мог подняться на трибуну университета в Осло и получить ее. И в конце концов, я просто за то, чтоб подойти к газетному киоску и ку-

* Публикуется по: Некрасов В. Взгляд и нечто // Континент. 1977. № 12–13.

пить любую газету, которую тебе заблагорассудится, ну а если случайно не окажется “Блокнота агитатора”, не обижаться и махнуть рукой, нет так нет... И, взяв в этом же киоске свеженькую “Франсуар”, направиться бесцельно гулять по Парижу...

За то, чтоб гулять по Парижу — всем, кому хочется!

И Генке Шпаликову тоже... Хотя он уже и не может этого.

— Вика, возьми меня с собой. Возьми меня в Париж...

Не взял я тебя, Генка, с собой. И как не хватает мне тебя здесь.

И почему так глупо устроена жизнь? Почему так редко виделись мы в последние годы? Почему?

Я помню последние месяцы нашей неожиданно опять вспыхнувшей дружбы. Долго-долго не виделись, и вдруг ты ввалился среди ночи, в каком-то плащике и, конечно же, на подпитку. Ты изменился, очень изменился. Нет, ты не был Дорианом Греем. Следы не очень правильной, не очень размеренной, разложенной по полочке жизни легко можно было прочесть на твоём лице. Ты, увы, потерял свою былую стройность, но глаза-щелочки были все те же — немножко меньше, чем раньше, но живые, ироничные и грустные.

Я помню эти весенние дни, последнюю мою весну в Киеве. Мы провели ее вместе. Неизвестно почему, но киевская студия Довженко заключила с тобой договор. И даже заплатила деньги. И за что? За сценарий какого-то фильма о повзрослевших суворовцах, которые приехали на какую-то встречу, перепились, и никаких контактов ни с кем у них не получилось. И вот за это, за этот антисоциалистический антиреализм, тебе выдали аванс.

Ах, Генка, Генка... Я обращаюсь сейчас к тебе (нет, это не литературный оборот, я не буду перечислять твои заслуги, как это делается в юбилейных посланиях Союза писателей), нет, я просто хочу поговорить с тобой, прикоснуться к тебе. Давай что-нибудь вспомним...

Где и когда мы с тобой познакомились? Все у того же Марлена? Ну да. И опять же на каких-то именинах, любил он их, что поделаешь. Нас послали за пополнением. А может, мы и сами вызвались. Мчались по каким-то переулкам, боялись, что закроют магазин... Таким я тебя и запомнил — легким, быстрым, проворным, в эту очередь, в ту, в кассу, веселым, смеющимся. Мальчишка! Мальчишкой ты для меня и остался на всю жизнь.

Виктору Петровичу Некрасову

1. ~~быв~~ беснежная зима
тепло человека к прозе,
туда, где кончатся сны
гостей нежных морозы
2. не подумайте смехом,
зима, зима, кончались;
и не горю — по шк
иде математический результат
3. ~~прощай~~ ~~укрой~~ ~~пожелай~~
~~в~~ ~~круг~~ ~~линей~~ ~~зимы~~ ~~большая~~
и я ~~надеюсь~~, ~~то~~ ~~теперь~~
никто уже не ~~пожелает~~.
4. ~~и~~ ~~в~~ ~~х~~ ~~зимы~~ ~~по~~ ~~прозе~~
и ~~прозе~~ ~~такой~~ ~~звук~~,
идеи ~~расширяются~~ ~~всего~~
до ~~огула~~, до ~~барда~~.
5. до ~~ти~~ ~~зимы~~, до ~~звезда~~,
до ~~кончатся~~, до ~~смысла~~
и ~~фигуры~~ ~~в~~ ~~шк~~ ~~нуж~~, —
а ~~те~~ ~~ча~~ ~~уши~~ ~~не~~ ~~недо~~.

Зима

и рад, что В. П. — и Вы,
и мы — современники, т.
и гмзе

Г. Шпаликов. Стихотворение, посвященное В. Некрасову,
подаренное Ляле Бойм. Написано: "Я рад, что В. П. — и Вы,
и мы — современники, и друг <ъ> я. Г." Виктор Платонович Некрасов
ошибочно назван Г. Шпаликовым "Виктором Петровичем".

Нам с тобой тогда было очень весело. Почему? Тебе от молодости, оттого, что работал вместе с Марленом, в которого был тогда влюблен. Мне? Бог знает отчего, может, оттого, что тебе было весело. Ох, как был ты тогда молод, как все у тебя было впереди. И ты верил. И я тогда еще (в сорок-то с лишним лет!) тоже.

А потом? Потом больше пьянствовали... Что бы поговорить об искусстве, о композиции сценария, о построении сюжета, так нет: "У тебя сколько есть? У меня десятка. Так... Заскочим к Люке, он, по-моему, вчера что-то получил. А потом к Лешке". И шли к Люке, потом к Лешке, на Южинский. Кривой переулок, всегда мокрый, в лужах, двор, две тесные комнатки, коридор с телефоном, на котором всегда кто-то висит. Комнаты принадлежали Лешкиной маме, а она была режиссером у Марлена, поэтому там всегда кто-нибудь да околачивался.

Там же, в одной из этих комнат, и было сочинено (и написано на обоях!) знаменитое стихотворение, начинавшееся со слов: "Как-то все слегка осто<...>енило!" Дальше шло какое-то объяснение, почему же именно мы находимся в этом состоянии, и, насколько я помню, виновницей всего была все она, голубушка, дорогая наша и любимая... Ну а дальше стишок был под общий хохот переписан на бумажку, а бумажка оказалась потом почему-то в экземпляре сценария, который пошел куда-то на утверждение. Ох и смеху было...

А Малеевка? Тихая заснеженная Малеевка? Вы с Марленом в двадцатый, сотый раз переписывали и дописывали злополучную "Заставу Ильича", иногда писали, но больше трепались, ходили на лыжах, у тебя это куда лучше, чем у меня, получалось, стремительно съезжал с разных горок, а я больше трюх-трюх среди кусточков. И на лыжах же отправлялись в сельпо, и Марлен пытался возмущаться, а мы говорили что-то насчет леса и волка и искали посуду, а мама, как всегда, волновалась, взяли ли мы со стола закуску. Взяли, взяли, не беспокойся...

Сельпо сельпом, но однажды мы, гады, распили Марленово средство, которым он зачем-то растирал ноги. Как, бедняжка, он потом сердился. Ничего, завтра восполним...

А Внуково... Ты об этом нашем милом Внукове где-то потом, в стихках своих, упомянул, а я даже рассказик написал. Зачем-то наврал в нем с три короба — как трудно, мол, было достать билет

для какого-то лейтенанта с пацаном, как все отказывали и в конце концов носильщик за пятерку все сделал. Билет достать действительно было невозможно, и достали мы его через носильщика, но никакого лейтенанта с пацаном не было, а было два бездельника, которые вздумали на денек смотаться в Киев, окунуться в Днепр. А потом был и Днепр, и теплая водка, и какие-то знакомства, пассажирский катер, спаивание команды и клятвы верности до гроба.

Да, Генка, теперь все только и говорят, ах, какой он был талантливый, ах, ах... Да, был талантливым. И писал стихи, которые нигде не печатал. И сценарии, которые иногда ставили, иногда и не ставили. И хорошие, и плохие. И фильм даже был поставлен. Режиссер Шпаликов — “Долгая счастливая жизнь” с Инной Гулая и Кириллом Лавровым. Один из лучших кинематографических дуэтов, которые я знаю. Он не имел успеха. У нас не любят грустных картин. Ни начальство, ни зрители. Там, в одной из масовок, где-то и я мелькаю. “Сядь, Вика, за столик, прошу тебя. Надо ж, чтобы они вели свой диалог на фоне какого-нибудь ханыги. Ну сядь, что тебе стоит...” И я сел. К Шукшину в фильм не попал, а к Шпаликову вот повезло.

А последняя наша прогулка с тобой по Киеву! “Ну вот, теперь ты мне покажешь Киев”. И я водил тебя по тем самым киевским улочкам и переулочкам, не загаженным еще последующими напластованиями, с двориками и лесенками, покосившимися заборами, скрипучими калитками, и в одном из таких двориков ты остановился вдруг перед врытым в землю столиком и сказал: “Ставлю ломаный цент против десятидолларовой бумажки, что не могло такого в жизни быть, что некий классик за этим столиком не опохмелялся...” И что ж, пришлось мне сбегать за бутылкой пива, и, кажется, это была наша последняя бутылка.

И вот Генки больше нет. Повесился. На полотенце. В своей комнате Дома творчества в Переделкине. В ноябре 1974 года.

Он пил. Много. Очень много. Лечился. Недолечивался. Вшивал. Потом с помощью “друзей” за тридцатку взрезывал. И опять пил... Тогда, весной 1974 года, я чуть ли не силком сводил его к врачу. Он обещал выдержать до конца. Не выдержал. Опять запил.

В последний раз, у стойки кафе в гостинице “Украина”, он клялся мне, что пить больше не будет. Но... “Как не пить? Как? Вика,

скажи, как это у тебя получилось? Не могу я... Не могу я ни ЦДЛ, ни ВТО, ни Дома журналиста, ни 'Мосфильм', ничего..." — где-то мы уже это слышали, а? — и вдруг сквозь тоску улыбнулся: "Возьми меня в Париж. Ей-богу, честное пионерское, завяжу. Ну, иногда только с тобой, в каком-нибудь быстро, пивца какого-нибудь ихнего, светлого..."

На этом мы и расстались. Я усадил его в такси и больше не видел.

О смерти его узнал уже в Париже. На похоронах были только его друзья, товарищи самые близкие. Те самые, о которых он писал:

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе, —
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

Я не "взял" тебя, Генка, в Париж. И мне тебя здесь очень, очень не хватает. Не хватает твоего юмора, тонкого, иногда грубоватого, но такого нашего, русского, или московского, или пацанского шестидесятых годов, того, которого не понять им, моим французам или англичанам, считающимся королями юмора. Ты не был "хохмачом", сыплющим остротами, просто юмор был твоей природой, и человек, лишенный его, сам собой выпадал из круга твоих друзей. Ты был хорошим поэтом — так, во всяком случае, говорят люди, знающие в этом толк. "Ни дня без строчки" не было твоим лозунгом, я даже не знаю, когда у тебя это все рождалось. По утрам, когда ты был в Киеве, я находил в почтовом ящике твои каракули на ресторанных салфетках. Они все у меня хранятся...

Сейчас, сидя за стаканом пива, того самого, светлого, ихнего, я вспоминаю многие наши с тобой вечера, ночи, утра и не могу вспомнить дня, часа, минуты, когда нам с тобой вместе было бы скучно. Даже когда изнывали по разного рода понятным причинам. Тоскливо, мучительно, но скучно?..

Последние наши дни в Киеве, несмотря на то что ты, негодяй, нарушая курс лечения, пил по секрету от нас, несмотря на то что я кричал на тебя (а теперь жалею, не надо было бы кричать) и не давал выпить, я вспоминаю сейчас эти дни как дни радости. Радости.

сти, потому что после какого-то перерыва (ты в Москве, я в Киеве, я в Москву, ты — куда-то) мы опять были вместе. И я познакомил тебя с моими друзьями. И они полюбили тебя. А ты их... И все это без всяких ЦДЛ, ВТО, “Мосфильмов”...

Сидя у меня на кухне, ты пел свои песенки, стуча пальцами по столу. А ту самую, про Двину, мы почему-то записали под траурные звуки панихиды из Нотр-Дама. Нам тогда казалось это очень смешным. Тебе всегда хотелось смешного...

И не все понимали, что это желание несколько не обедняет человека, — быть серьезным не самое главное в жизни.

И только в последнюю нашу встречу у тебя что-то не получилось с юмором.

Не до него, не до юмора тебе было тогда.

Гена, милый мой Генка... Я не проводил тебя в последний путь и не поднял свой стакан на поминках, но здесь, в Париже, я часто вынимаю кассеты, записанные у меня в Киеве, на кухне...

И слушаю тебя... И вижу тебя.

Генка Шпаликов, Геннадий Федорович Шпаликов, талантливый, умный, тонкий, забудыга, пьяница, человек, которому так много было дано и который умел давать нам, но недодал, Генка Шпаликов, который пил потому же, почему пили многие русские таланты, даже гении, — ушел из жизни, сам себя увел, потому что не мог дышать.

Не хватало воздуха... Без него поэту жить нельзя.

В. П. Некрасов — Р. Д. Орловой и Л. З. Копелеву*
6. XII.74

<Париж>

Дорогие мои Лева и Рая!

...В общем, вести с родины все грустнее... Вася Шукшин... За ним Генка Шпаликов... Оба — мои друзья. И оба через Марлена.

* Публикуется по: Некрасов В., Копелев Л., Орлова Р. “Вести с родины все грустнее...” // Знамя. 2013. № 11.

И обоих я очень любил. С Васькой, правда, последние годы встречались редко, а вот с Генкой (вы его, вероятно, не знаете, он из другого слоя) мы в этом году как-то опять сблизились. Беспутный, жуткий алкаш (вы о нем многое наслушаетесь, не слушайте), но дьявольски талантлив и очень хороший парень. И несчастный. И одинокий. И вот не выдержал. В последний раз мы бродили с ним по вечерней майской Москве, пили кофе (он подлечился, завязал тогда), и он все просил меня: “Возьми меня с собой... Придумай оттуда какой-нибудь вызов... Плохо мне... осто<...>енило мне всё... И все”. Я, в Киеве, пытался ему помочь, устроил ему уколы, но надо было продолжать, а он, как всегда, выскользнул из рук, и вот — такой конец... Жутко...

В. П. Некрасов — Н. М. Коржавину*
3. XI.78

...Как-то мы с Генкой Шпаликовым, малость выпив, написали стихотворение. Начиналось оно словами “Как-то все слегка осто<...>енило...” Дальше шло где-то не очень лестное о советской власти. Все очень веселились и смеялись, а потом выяснилось, что листочек со стихами оказался в папке со сценарием “Застава Ильича”, который пошел в Главк... Чем все закончилось, не помню, но какой-то промежуток времени все были чуть менее веселы, чем в тот вечер...

* Публикуется по: Письма В. П. Некрасова к Н. М. Коржавину. Публикация Т. Роговской // Егупец. Киев. 2011. № 20.

ВИКТОР КОНДЫРЕВ

ТЫ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ...*

...В. П. отвалился от телефона, торжествующе потирая руки. Он только что переговорил с главным редактором.

— Я был горд и заносчив в разговоре! — объявил Вика. — Удалось напечатать стихи Генки Шпаликова!

В “Новом русском слове” от 18 июля 1976 года.

Вступительная фраза Некрасова — “Ваша газета будет первой его посмертной трибуной”.

Два стихотворения посвящены В. П. Некрасову.

И без тебя повалит снег,
А мне все Киев будет сниться.
Ты приходи ко мне во сне
Через границы.

Вырезки из “НРС” будут вклеены Викой в специальный альбом, рядом с фотографиями: Гена с Хуциевым, Гена на киевской кухне напевает мне на магнитофон свои песни, Гена там же улыбается, машет рукой...

* Публикуется по: Кондырев В. Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев — Париж, 1972–1987 гг. М., 2011.

В. Кондырев, Г. Шпаликов, В. Некрасов. Киев.





Был 1973 год. Уже несколько дней подряд Геннадий Шпаликов повадился приходить к Некрасову ранним утром, часам к шести.

Гена тогда не пил, жил в киевской гостинице, не мог спать и писал стихи. Вернее, переписывал уже написанные, чтоб скрасить одиночество и доставить приятное своему другу Вике. Потом приносил исписанные листочки и клочочки бумаги и подсовывал их под дверь. По утрам Некрасов первым делом шел к входной двери и радостно объявлял: “Генка опять приходил!” Поднимал с пола листок со стихами, звал меня в кабинет почитать с выражением. “Какой талант, — причмокивал. — Какой молодец!”

За завтраком Гена пил только пустой кофе, отказываясь от приготовленных мамой оладий или сырников. Был мало похож на молодого симпатягу с фотографии времен фильма “Мне двадцать лет”, висящей у Некрасова в кабинете. Одутловатое лицо, некрасивые липкие волосы, дрожащие руки, пот на лбу. Вид нездоровый.

Не улыбался, ходил по пятам за Некрасовым, подробно говорил о новом фильме. Он приехал в Киев пробивать свой сценарий о суворовцах. Рассказывал многие истории о своей учебе в Киевском суворовском училище.

Через несколько дней Гена отошел душой, шутил с Вадиком и Милой, а на мою просьбу спеть однажды согласился не ломаясь. Некрасов живо приволок магнитофон, Гену усадили поудобней, Вадик устроился напротив и уставился ему в рот, а Милу попросили выйти в коридор, чтоб не отвлекать исполнителя женской красотой.

Отстукивая рукой такт по столу, Гена куражливо запел свою знаменитую песенку:

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе, —
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

— Так у тебя песня не получается! — сказал Некрасов. — Попробуй спеть нормальным голосом. Не кривляйся!

Гена радостно улыбнулся, как-то просветленно закивал, мол, конечно, можно спеть и серьезно... И снова запел, и получилось

прекрасно, и он записал другие песни, и радовался, когда Некрасов ему аплодировал в дверях кухни, и позировал, обняв Вадика и меня за плечи, а писатель щелкнул нас несколько раз...

Листочки, исписанные карандашными строками, лежали в отдельной папочке. Некрасов принес мне пачечку этих обрывков, клочков и салфеток, покрытых стихами. Разглаживал бумажки, без особого труда разбирая почерк.

— Надо перепечатать, — сказал. — Напечатаем моего Генку в “Новом русском слове”, я договорюсь с Седыхом...

А через месяц после публикации в “НРС” Некрасов с ликованием потрясал номером “Советского экрана” с подборкой уже других стихов Гены.

— Смотри, Витька, переплюнули мы их, успели первыми! — радовался по-ребячьи Вика.

Да и мне было приятно...

ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ

ПОЛЕТ В ОБРАТНО*

Путешествие в обратно
Я бы запретил...

Г. Шпаликов

Бывают крылья у художников...

Г. Шпаликов

624

На полях первой страницы машинописного экземпляра шпаликовского сценария “Люди 14 декабря” рукой автора написано: “В. Б. Ливанову — в надежде на успех предприятия”. И после авторской подписи: “Вася, выбери сам, что в твою светлую голову придет”.

Привожу эту Генину надпись как свидетельство нашего творческого дружеского доверия. Но речь не обо мне. Мало кто знал, что Шпаликова связывали годы дружеских отношений с моими родителями — Борисом Николаевичем и Евгенией Казимировной Ливановыми.

До появления Гены в доме Ливановых мои родители уже знали о Шпаликове по его стихам, которые я им неоднократно читал наизусть. И вот, наконец, по Гениной просьбе это знакомство состоялось.

Из воспоминаний моей мамы:

Борис Николаевич привез мне после гастролей из Таллина кожаный альбом, зеленый, с тисненым рисунком на обложке. Подарил и сказал: “Пусть это будет твой альбом для друзей, когда они бывают у нас дома. Если кто захочет — напишет”. Я попросила Пастернака начать его:

* Публикуется впервые.

“Об этом альбоме.

Какое обилие чистых неисписанных страниц, бесподобно переплетенных! Их хватило бы на целую божественную комедию. Вот и надо, наконец, начать ее писать трудами многих рук, соборно, явочно...”

Гена совершенно очаровал моих родителей, и, конечно, мама попросила его что-нибудь написать ей в альбом. Шпаликов написал:

Женя Казимировна — вы красавица и жаль-жалко, что мы с вами разных лет — вот бы хорошо сейчас за вами ходить, под балконами стоять в 1934 году. Ничего блистательного в этой книге написать невозможно — и я счастлив уже тем, что я у вас дома, за столом, и давайте дружить, если получится — я бы очень хотел. А стихи — не в счет, мало ли вы их читали.

Дальше Гена написал свое стихотворение “Влетел на свет осенний жук”, расписался и поставил дату: 9 ноября 63 года.

Не прошло и месяца — Гена снова в доме у Ливановых. Мы отмечали мое поступление на Высшие курсы кинорежиссеров. Шпаликову почему-то очень хотелось, чтобы я туда поступил. Это он известил меня, что начинается конкурсный набор на эти самые курсы, звонил мне в Киев, где я тогда снимался, волновался, что опоздаю к сроку подачи конкурсных работ. Сейчас я думаю: Гена хотел, чтобы я стал кинорежиссером и с полным профессиональным правом мог воплощать в кино его сценарии. Мы, Ливановы, радостно отметили мое поступление, и Гена снова написал моей маме в альбом свое стихотворение “Ах, улица, единственный приют...” и подписался “16 декабря — в день Васи — я счастлив за него”.

И еще из воспоминаний моей мамы, которые относятся к гастролям МХАТа в Америке в 1965 году:

Сол Юрок, продюсер, давал ужин труппе МХАТа, там была звезда Бродвея того сезона Кэрл Чэннинг, имевшая успех в мюзикле “Хелло, Долли”. Все стали просить ее спеть. “Если Ливанов после меня споет”. После того как она спела, оркестр заиграл “А я иду, шагаю по Москве”. Ливанов пел. Песню эту Борис



Николаевич знал особенно хорошо, потому что задолго до того, как она стала популярной, у нас дома исполнял ее автор — сверстник нашего сына, киносценарист, режиссер и поэт Геннадий Шпаликов.

В 1972 году мой отец Борис Николаевич Ливанов ушел из жизни. Мама стала писать воспоминания для издания памятной книги о нем. Попросили Шпаликова написать для этой книги. Гена ответил ей письмом:

Я очень любил его и многим обязан ему. И вот прошел год, как его нет на земле, и я беспомощен, потому что вряд ли имею право на воспоминания, но есть иные права: они поднимают тебя ночью, и ты встаешь и пытаешься рассказать о человеке, и великом артисте, — слово это я не люблю, и Борис Николаевич вряд ли его любил, — о великом артисте. Я имел возможность, по времени и по возрасту, познакомиться с Б. Л. Пастернаком, с А. А. Ахматовой. Но так не вышло, потому что никаких прав на общение с ними не имел. Может быть, я ошибаюсь, но до сих пор не могу себе реально представить, о чем я говорю с Б. Л. Пастернаком. О чем он

со мною говорит? С Ливановым, в общем, было то же самое, но здесь многое упрощалось. Попробую объяснить почему. Он был просто хороший настоящий человек. Не знаю я, как об этом писать. Нет у меня этого печального опыта, потому что вижу я перед собой ночью этого веселого, сильного, хмурого прекрасного человека, и все.

Как мне рассказать об этом уникальном человеке! Какой он был артист? Об этом лучше меня расскажут специалисты этого дела. Сидел вот так, напротив, каким-то чудом осчастливив общением. Рассказывал так, что я воочию увидел перед собой не только артиста Ливанова, но и Валерия Чкалова, его друга, ощущал то время, воздух которого я понимаю и чувствую, потому что родился тогда.

В 1973 году внезапно получаю на студию “Союзмультфильм” письмо от Гены Шпаликова, отправленное из Таджикской ССР. Написано письмо на обратной стороне телеграфных бланков, буквы не очень-то разборчивые, строчки прыгают. Пьяное письмо.

Дорогой Вася, мне такая тоска, что все вспоминается хорошее. Я тебе очень благодарен, и отцу твоему, и матери — она гениально сказала, что я буду писать только стихи: так оно и вышло. Чего я тут делаю, друг мой Вася, — ничего. Меня послали на Нурек, я поехал...

Дальше из письма становится понятно, что в Нуреке происходит пленум Союза кинематографистов, что от Шпаликова ждут работы над каким-то сценарием, а он ничего не делает и делать не собирается. Живет в гостиничном номере, таскается по базарам. С деньгами у него плохо, денег никаких не дадут, да он и не просит. Из дома (московского, где живут его жена Инна Гулая и их уже десятилетняя дочь Даша) его выгоняют. Но он на все эти обстоятельства плевал и сдаваться им не намерен. Другом моим будет всегда и заканчивает так:

Вася, помоги мне издали, хотя б в одном. Впрочем, это не обязательно. У меня есть три последние работы:

“Люди 14 декабря”

“Сестра моя жизнь”

“В поисках пространства и света”

Они все есть на “Мосфильме” у Ромма — в их объединении...

Где я буду, не знаю. Обнимаю тебя с нежностью, уважением и братством.

Было совершенно непонятно, что именно имел в виду Гена, прося у меня о помощи. Чтобы я явился в кинообъединение М. И. Ромма, который умер в 1971 г., и выразил свое непременное желание воплотить на экране один из сценариев Шпаликова? Из оговорки Гены “Впрочем, это не обязательно” становилось ясно, что он и сам признавал жизненную нереальность своей просьбы.

Уже в середине лета, закончив работу на “Союзмультфильме”, мы с моей женой Леной собрались поехать на машине к нашим друзьям в Болгарию. Жили мы тогда в творческой мастерской, оборудованной под крышей одного из домов напротив Большого театра. Гена уже давно вернулся в Москву, мы встретились. Он сказал, что бросил пить, производил впечатление ухоженное, я бы даже сказал благостное. Сказал, что домой его Инна Гулая до сих пор не пускает, живет он в основном у своей мамы, при случае ночует по друзьям. Но в маминой квартире, кроме нее, проживает Генина сестра с мужем и ребенком. Говорил, что квартира маленькая, его присутствие всех стесняет, да и в такой обстановке ему не работает. И тут моя Лена предложила Шпаликову на время нашего отъезда переселиться в нашу мастерскую, Гена сказал: “Какая здесь тишина. И не захочешь, а станешь работать”. Мы оставили ему ключи и уехали с легким сердцем.

Когда вернулись из Болгарии, Шпаликова в мастерской не застали. На столе лежал лист бумаги, исписанный стихотворными строчками. Два стихотворения, одно под другим: “Меняют люди адреса...” и “Вот человеческий удел...”. А сбоку вдоль всего листа написано: “Вася — у тебя гениальная жена — Гена”. И все это подчерком явно нетрезвого человека. Инне Гулая звонить я не стал, позвонил ее мамаше, спросил, не знает ли она, где Шпаликов.

— Они с Инной на юге.

— А что они там делают? — задал я глупый вопрос.

— Что делают? — Мамаша хохотнула. — Пьют, конечно!

Не знаю, как долго Гена прожил в нашей мастерской — день-другой, неделю?

В один из последних теплых дней уходящего лета на берегу Москвы-реки неожиданно издалека увидел Гену, сидящего в траве недалеко от речного пляжа. Скорее всего, он заехал в дачный поселок Николина Гора к своему давнему другу еще со студенческих лет Юлику Файту. Когда я подошел, вид Гены произвел на меня пугающее впечатление. Он был раздет по пояс и при относительной худобе над брючным ремнем выпирал большой круглый живот. На оголенном темени была проплешина, возможно недавно выбритая, по которой тянулся шов и торчал довольно длинный конец медицинской нитки. Когда я его окликнул, он даже не повернул головы в мою сторону. А когда я подошел, продолжал сидеть неподвижно, как истукан. И глядел не на меня, а прямо перед собой, в никуда.

Возможно, опасался и не хотел моих расспросов о его житье-бытье, о том, что с ним происходило после нашего расставания в мастерской... Да и я, глядя на Гену, и не стал бы ни о чем спрашивать. Обменялись двумя-тремя ничего не значащими фразами, и все.

Позже до меня доходили слухи, что Гена познакомился и сдружился с замечательным писателем-фронтовиком Виктором Некрасовым, оказался с ним в Киеве. Некрасов, перед тем как навсегда уехать за границу, устроил Шпаликова в специальную лечебницу, где людей пытались излечивать от цирроза печени. Пересказывали, будто Гена кому-то говорил, что из общей палаты, где он лежал, неоднократно выносили умерших людей, которым лечение уже не помогло.

То, что лечение Шпаликову помогло, он вернулся в Москву и поселился в Доме творчества писателей в поселке Переделкино, я тоже узнавал от общих знакомых. Наши привычные отношения с Геной прервались, но дружеское общение Шпаликова с моей мамой продолжалось. В доме Ливановых со времени кончины моего отца Гена, скорее всего, больше не бывал, а с моей мамой общался по телефону и переписывался. Причем, вслед за Пастернаком, стал в стихах называть Евгению Казимировну только Женя, но в отличие от Пастернака на “вы”.

В феврале 1974 года, узнав, что Генины стихи звучат только как песни в некоторых фильмах, но никогда и нигде не печатались, моя мама обратилась с письмом к главному редактору популярнейшего литературного журнала “Юность” Б. Н. Полевому. Что было написано в ее письме и какие именно стихи Шпаликова были отправлены в журнал, мы, наверное, никогда не узнаем. Но ответ Б. Н. Полевого сохранился на его личном бланке.

Дорогая Евгения Казимировна!

Извините великодушно за то, что с таким опозданием откликаюсь на стихи Шпаликова, Вами оставленные. Дело в том, что пришлось мне тут съездить в Болгарию, и потому все дела мои дома скомкались.

Прочел я эти стихи самым внимательнейшим образом. Ну что Вам сказать? Человек, безусловно, талантливый и обладает именно поэтическим даром. Но, к сожалению, стихи эти камерного звучания, слишком интимные для того, чтобы вынести их на суд читателей такого многотиражного журнала, как “Юность”. Где-то, скажем, в “Новом мире”, в журнале для высшей интеллигенции, с очень ограниченным тиражом, они, возможно, и нашли бы приют, а у нас, увы, такие сложные блюда, к сожалению, не подаем. Стихи возвращаю вместе с самыми лучшими пожеланиями Вам, добрый Вы человек.

Всего хорошего,

Ваш

Борис Полевой

11 февраля 1974 г.

Г. Москва

Моя мама обратилась в “Юность” явно после Гениного письма к ней, от 6 февраля 1974 года, которое я имел возможность прочесть уже после кончины ее в июне 1978 года.

Милая Евгения Казимировна,

сам не могу понять, почему я и не звоню Вам, и не зашел, хотя больше всего мне хотелось после больницы видеть Вас, и что-то меня все время останавливало. у меня было / и есть /

ощущение, что я своими болезнями, неприятностями и проч. поднадоел всем, — прежде всего — самому себе, и, конечно, людям, во мне принимавшим участие. это все правда. Смешно говорить о какой-то неблагодарности и проч. было мне тошно, и никого я не мог видеть долго и не очень долго, а так мотался и постепенно приходил в себя — окончательно и не пришел. на меня сразу же навалилось множество дел, забот, но я какими делами не занимаясь, и решительно не вмешиваясь ни во что, все равно уставал так, как ни разу в жизни. не знаю, приходилось ли Вам с такой отчетливостью понимать свою ненужность кому-либо. и хорошо б при этом отчаиваться или горевать, но в том-то и дело, что и не горевал, и не отчаивался, а все воспринималось четко, без малейших иллюзий и проч. мне и сейчас с трудом удаются общения, а тогда — и говорить нечего. литературная моя судьба не складывается и при существующем порядке вещей очень может быть, что и не сложится, хотя не работать я не могу. сейчас уже ясно, что при всем при том, что внутренняя жизнь складывалась верно, и человечески я еще сохранился кое-как, но задуман был для большего, а сделал ничтожно мало. пишу это только потому, что вам это можно спокойно написать, вы поймете, что все это всерьез. не знаю, что делать. Думаю, что ничего не надо делать, потому что все равно ничего путного в голову не приходит. Я не могу жить так, как жил — дело не во внешней стороне, — бестолковость ее очевидна, я о другом, не я первый, кому тошно ото всей этой ярмарки, которая называется искусством, но то ли я очень ото всего этого отвык, оторвался, подзабыл и проч. все так, но ничего другого нет, это и есть та самая жизнь, и та самая борьба за выживаемость. не жить — выжить. ну, да и бог с ним. хва-тит: в общем, дорогая Евгения Казимировна, ничего страшного, ничего нового, все старое. простите мне невнятность изложения, я как-нибудь соберусь и напишу вам весело, как умею. здесь, в переделкине, лучше, чем я думал. хорошая библиотека, сравнительно мало людей, и всех я не знаю — большинство не знаю, так что избавлен от разговоров, а это очень существенно в таком доме. комната у меня теплая, светлая. впервые / я был только на похоронах / сходил на могилу Па-

стернака, дошел до дачи его. стало мне очень весело — как все похоже здесь на его стихи — от сосен на переезде, поля, ручья, оврага, горы — и, скажем так, — воздух, и все очень точно, — я ходил и улыбался, потому что все на самом деле так и есть, а от такой удачи мне всегда радостно, что так все совпало с тем, что я давным-давно затвердил. а, может, мне так показалось. Нет, — вот и электричку отсюда слышно. вспомнил я, как Борис Николаевич читал на похоронах, и “будь счастлива, Женечка...”, и многое другое, и еще я подумал, — какое счастье, что жизнь как-то свела меня с вами. Евгения Казимировна, до свидания, и не обижайтесь на меня, — как ни наивно это звучит. правда, не стоит. я вас очень люблю и понимаю.

Всего доброго, Гена

6 февраля 74 г.

Теперь думаю, что именно это шпаликовское письмо, его интонация, и подвигло мою маму послать Генины стихи для публикации в журнале. Скорее всего, моя мама после этих стихов рассказала Гене о ее обращении в “Юность” и об отказе Бориса Полевого опубликовать посланные стихи. И, безусловно, оба были очень огорчены этим отказом. Еще одни апрельские стихи Шпаликова рождены этими переживаниями.

Г. Шпаликов

Е. К. Ливановой

Какая вы сейчас,
Мне легче, но не лучше
Я думаю о вас
И это меня мучит,
Наивно, но с утра
Для жителей безжалостно
Ору я вам “ура”
Услышите, пожалуйста.

Апрель 1974 г.

Второго апреля 1974 года у нас с Леной родился сын — Борис. Посвященные этому событию стихи Шпаликова я тоже имел возможность прочесть только в мамином архиве.

Г. Шпаликов

Е. К. Ливановой

Три Бориса: Пастернак,
Два Ливановых Бориса,
Слава богу, удались, —
Я тому не удивился.
Потому что три Бориса —
Это три богатыря —
Женя, зеркало, Алиса,
Зазеркалья — все не зря.
Женя, лучшая из женщин,
Скинем в праздник по рублю.
Вас таких все меньше, меньше
Я тебя благодворю.

13 апреля 1974 г.

Она ответила запиской от 17 апреля 1974 года и подписалась в тон поэту “Женя Ливанова”.

Шпаликов! Гена!

Спасибо, прекрасные, трогательные стихи: “Собачья жизнь...”, “Сборы, споры, разговоры...”, “Неправда — жизнь не оборвалась...” и, конечно же, “Наташе”.

Шпаликов! Как только приедете, приходите. Ливановы не могут избавиться от Вашего обаяния и потому любят Вас.

Женя Ливанова

17/IV — 74 г.

Но Гена Шпаликов в доме Ливановых в ту пору так и не появился.

После рождения у нас с Леной сына, названного в честь его деда Борисом, мы до майских праздников прожили в квартире стар-

Г.ШПАЛИКОВ

Е.К.Ливановой

Какая вы сейчас.
Мне легче, но не лучше
Я думаю о вас
И это меня мучит.

Наивно, но с утра
Для кителей безжалостно
Ору я вам "ура"
Услышите, пожалуйста.

апрель 1974г.

Г.ШПАЛИКОВ

Е.К.Ливановой

Три Бориса: Пастернак,
Два Ливановых Бориса,
Слава богу, удались, -
Я тому не удивился.

Потому что три Бориса,
Это три богатыря -
Беня, зеркало, Алиса,
Зазеркалья - все не зря.

Беня, лучшая из женщин,
Скинем в праздник по рублю.
Вас таких все меньше, меньше
Я тебя благотоворю.

13 апреля 1974г.

ших Ливановых. Любимая нами мастерская была совершенно непригодна для проживания в ней с новорожденным младенцем. За два года после кончины моего отца моя мама стала терять саму себя. Всю свою зрелую жизнь она прожила отраженным светом и деятельным участием в жизни народного артиста СССР, лауреата государственных премий, режиссера и художника Бориса Николаевича Ливанова. И эту жизнь вдруг трагически оборвала внезапно возникшая скоротечная болезнь, когда Борису Николаевичу едва исполнилось 68 лет. Друг моего отца, великий хирург А. А. Вишневский, который провел ему необходимую операцию, за которой через некоторое время последовало ухудшение здоровья, сказал мне в присутствии моего отца: “Болезнь Бориса — это его театр. Я от этого вылечить не могу”. Борис Николаевич, любимый ученик К. С. Станиславского, погиб вместе с великим МХАТом, которому отдал почти полвека.

И кто же Женя Ливанова теперь? Близкие друзья их с Борисом дома ушли из жизни раньше хозяина дома — так сложилось, что все они были заметно старше моего отца.

Не с кем стало поделиться историями прожитой совместной жизни. Остались разве что Шкловские. Но они никогда не входили в близкий дружеский круг, были уже очень стары, и вряд ли мамы посещения, ставшие одно время частыми, их особенно радовали.

Моя старшая единокровная сестра Наташа уже давно жила обособленной от ливановской жизнью, воспитывала свою внебрачную дочь Машу, которую мой отец принимал как любимую внучку.

Что касается меня, ее сына, то моя мама, поглощенная жизнью на планете под названием Борис Николаевич Ливанов, воспринимала меня как планету-спутник, которая вертится по своей орбите. Мои успехи в творчестве одобрительно констатировала, моих давних друзей одобряла, конечно вслед за отцом, мою личную жизнь при случае критиковала, без одобрения отца. Даже когда-то попыталась назначить мне будущую жену, но в этом замысле не преуспела. Думаю, моя мама была бы не прочь чувствовать себя распорядительницей моей жизни, но я такое ее желание вовремя подметил и подцепить меня на поводок не позволял в любой ситуации. И если маму это временами огорчало, то, думаю, не очень. Ведь

это не нарушало ее жизни на любимой ею планете. У нее уже были две внучки: Наташина Маша, моя дочь от первого брака — Настя, а вот родился маленький Борька.

Но, казалось бы, естественной бабушкиной привязанности к своим внукам Евгения Казимировна не испытывала — они ведь, по ее пониманию, с другой планеты-спутника. Там, на спутнике, протекает их жизнь, а здесь, когда они возникают рядом с ней на ее планете, — они только гости. И бабушкой ее не надо называть. Женья она для них. Не бабушка Женья, а просто Женья.

И вдруг ее планета перестала существовать. И она сама оказалась на этом самом спутнике, где другие права, другие обязанности, для нее вообще-то чуждые. Привычный, с годами сложившийся образ жизни рухнул.

Вдова. Что это такое? Да разве смог бы писатель Борис Полевой отвергнуть ее письмо в редакцию при живом ее муже Борисе Ливанове? Что остается: жить в своем прошлом, в стихах Пастернака? Или Шпаликова, в конце концов? Или, отодвинув вглубь времен это прошлое, превратиться в заботливую бабушку своих внуков, зажить их насущными проблемами, стать для них вровень с их родителями, а то и на вторых ролях? Но моя мама не чувствовала для этого ни желания, ни душевных сил. “Моя половина, моя лучшая половина”, — говорил о ней Борис Ливанов. Но это тогда. А теперь? В чем она “лучшая половина”?

Слава богу, я верно осознал душевное состояние моей мамы и убедил ее начать писать воспоминания о прожитой жизни. Тем более что в издательстве ВТО заговорили о намерении готовить книгу о Борисе Николаевиче Ливанове. О таких литературных планах мама поделилась с Геней Шпаликовым. Неожиданно в родительском доме я встретился с Геней. С ним была девушка по имени Рита, по фамилии, если я правильно помню, Синдерович. Оказалось, что Гена рекомендует Риту в качестве машинистки и помощницы в подборе необходимых биографических материалов и пр. Впоследствии, насколько мне известно, Гена пристроил эту самую Риту на работу в Союз кинематографистов.

Моя мама коротко подстриглась, сшила себе брючный костюм и завела портфель — очевидно, все это помогало ей осознать себя писательницей. Работа над воспоминаниями заняла около трех

лет. Женя Ливанова заново прожила свою жизнь с Борисом теперь уже в литературно оформленных воспоминаниях. Воспоминания закончились, и вместе с ними закончилась и жизнь Жени Ливановой. Это случилось в июне 1978 года.

Геннадий Федорович Шпаликов ушел из жизни 1 ноября 1974 года.

В Доме творчества писателей в Переделкине окно Гениной комнаты приходилось прямо над крышей какой-то одноэтажной пристройки. К общему завтраку Гена не вышел. Не вышел и к обеду. Все обратили внимание, что свет в окне его комнаты горит с прошлого вечера. Это всех очень встревожило. Дверь комнаты оказалась заперта изнутри. На стук и просьбу открыть дверь ответа не последовало. Тогда писатель Григорий Горин забрался на крышу пристройки, и ему удалось открыть окно в комнате. Обо всем этом я узнал от самого Горина. Гриша Горин, медик по образованию, успевший достаточно долго проработать врачом скорой помощи, говорил мне, что сам характер совершенного Шпаликовым самоубийства указывал на непродуманность, поспешность его действий. Гена покончил с собой, воспользовавшись своим длинным шарфом, закрепив один его конец на дверной ручке. На столе в комнате стояло две больших бутылки грузинского белого вина. Одна бутылка была не тронута, из второй выпита половина. Гена, страдавший циррозом печени в последней стадии, очевидно, после долгого периода воздержания выпив вина, почувствовал невыносимую, нестерпимую боль. Будучи в Киеве в специализированной лечебной палате, он видел, как ужасно страдают и в муках умирают больные циррозом. И это страшное впечатление вынудило его к последнему отчаянному решению.

Разговоры о том, что к самоубийству Гену привела его литературная не востребованность, — досужие домыслы.

Как подлинный большой талант, Шпаликов прекрасно осознавал себе цену, и к такому трагическому концу, уверен, никакая затнувшаяся не востребованность его бы не привела.

На Ваганьковском кладбище близкие и немногочисленные друзья Гены стояли, тесным кольцом окружив гроб, установленный на высокой каталке. Вдруг порыв ветра закружил над нами круп-

Все время

Лесные горы,
лестные кусты,
бюхны жемчю,
+и или не тн.

поглы и облако,
или на траву, —
осыпание — ко боку, —
тышу ия лву

среди поле дерето,
а, ия коне — тн,
верно — нечужденно,
в. главо гообротн.

ный кленовый лист, тронутый осенней желтизной. Лист пролетел над нами очень низко, обратив на себя общее внимание. А потом, подчиняясь порыву ветра, сделал круг и лег на грудь Гены. Гроб закрыли, и так и похоронили Гену Шпаликова с этим осенним кленовым листом на груди.

И еще.

На столе в Гениной комнате в Переделкине оставались три его последних стихотворения. Одно из них посвящено мне.

Летняя дорога,
Летние кусты,
Отдохни немного,
Ты или не ты.

Погляди на облако
Или на траву, —
Остальное — побоку,
Вижу наяву:

Среди поля — дерево,
А на поле — ты.
Верно — неуверенно
В дело доброты.

Это стихотворение много раз переиздавалось в сборниках стихов Шпаликова. Но почему-то последние две строчки перевраны. Вместо “Верно — неуверенно в дело доброты” печатается “Верю — неуверенно в дело доброты”. Смысл написанного искажается то ли по редакторской недобросовестности, то ли...

Август 2017



Авторы: Гусая Ю.

Г. Ишени

24 декабря

Анке хорошему
на память.

Портрет Д. Шпаликовой, подаренный Г. Шпаликовым Ю. Файту.
Фото © Музей кино

ДАРЬЯ ШПАЛИКОВА

О ЖИЗНИ, В КОТОРОЙ Я БЫЛА СЧАСТЛИВА*

641

Мне сказали, что папа уехал отдыхать на море. Я чувствовала: взрослые обманывают. Перерыла все документы и нашла свидетельство о смерти и справку. Из первого узнала, что папы нет в живых уже несколько недель, из второй — что он повесился...

<...> Накануне каждого Нового года папа приносил в дом огромную сосну. Однажды он, как всегда, поставил ее в ведро с песком и мы начали украшать ветви игрушками. Успели развесить только половину — дерево упало. Часть игрушек разбилась на мелкие брызги-осколки, и папа, поохав, пошел за бельевым шнуром. Вколотил в стенку гвоздь (кажется, это было единственное, что он мог делать “по хозяйству”), закрепил за него один конец веревки, другим обвязал ствол. Оставшиеся игрушки мы развесили пореже, заполняя пустоты дождем из фольги. Странно, что не сама встреча Нового года, а именно эти приготовления остались во мне ощущением праздника — веселого, шумного и очень счастливого.

Главное разочарование тех лет — подаренная на день рождения красная деревянная лошадка. Вместо уздечки — веревочка: дернешь — лошадка ржет. Кто-то из взрослых сказал: если за время, пока звучит “иго-го-о-о!”, успеть загадать желание, оно обязательно сбудется. Я дергала, загадывала, но желания сбывались очень редко.

* Публикуется по: Шпаликова Д. Завещание отца // Караван историй. 2012. № 1.



Когда была совсем маленькой, мы с папой часто играли в придуманную им игру. Он сажал меня на загривок, бегал трусцой из комнаты в комнату и читал сказку про Чики-Брики-Лимпони. Последние строчки я обычно дослушивала на антресолях — взгромоздив меня туда, папа делал вид, что уходит. Я начинала вопить — и тогда он меня снимал.

Однажды я заболела ветрянкой и несколько дней пролежала с высокой температурой. Кажется, мама была на съемках, поэтому у моей постели с утра до ночи дежурил папа: давал лекарства, мазал зеленкой, кормил, читал книжки. И каждой из сказок придумывал новую развязку. Я сердилась:

— Нет, это неправда! Там не так!

Отец строил умоляющую гримасу:

— Дашук, ну пусть теперь у сказки будет другой конец? Хоть разочек!

Мы часто гуляли по берегу находившегося неподалеку от дома пруда. Однажды зимой шли по льду, по самой кромке. Вокруг — ни души, только бездомные собаки бегают, высоко поднимая замерзшие лапы. В какой-то момент мне стало страшно:

— Папа, пошли домой! Вдруг лед провалится?!

— Не бойся, не провалится. И вообще — ничего и никогда не бойся. <...>

Когда было тепло, ездили в парк Горького. Тамошних аттракционов я очень боялась. Отец тащил меня на американские горки, на колесо обозрения:

— Давай прокатимся!

Я упиралась:

— Не хочу! Мне страшно!

— Ты что, Даша?! Это же так здорово!

Дав себя уговорить, сидела в кабинке ни жива ни мертва и мечтала только об одном — чтоб все поскорее закончилось. А папа радовался как мальчишка: свистел, кричал, ухал филином.

Если аттракционы были для меня пыткой, то долгие прогулки по аллеям я очень любила. Мы шли рядом, но каждый был сам

по себе. Отец — в своих мыслях, я — в своих. Перекинемся парой фраз и опять надолго замолкаем. Наверное, во время этих немногословных прогулок у отца рождались стихи. Впрочем, они приходили к нему везде: в трамвае, в очереди за продуктами. Оставалось только записать. Мне кажется, папа никогда не сочинял стихи специально. Наверное, у кого-то так бывает: человек садится за стол, кладет стопку бумаги, делает сосредоточенно-серьезное лицо и говорит: “Сейчас буду сочинять”. У кого-то так бывает, но это не про папу...



В трехкомнатной квартире на Шверника у отца был свой кабинет, где стояли высокие, под потолок, стеллажи с книгами, огромный письменный стол, большая кровать. Обычно он работал по ночам, когда мы с мамой спали, и тогда на следующий день вставал ближе к обеду. Но если ночью не писал, поднимался очень рано, часов в шесть. И мы с ним из окна наблюдали, как мама в красивом спортивном костюме бежит по стадиону стоявшей рядом с домом школы.

<...> Несколько лет назад, разбирая архив родителей, я нашла заполненную рукой отца анкету. Официальный бланк с традиционным набором вопросов. Куда она предназначалась — непонятно, но папа документ испортил. В графах “ФИО” и “род занятий” написал: “Шпаликов Геннадий Федорович, штат Техас, журналист”, в графе “жена” — “Гулая Инна Иосифовна, место работы — стадион, профессия — марафонец”.

Прикрыв глаза, словно наяву вижу, как папа рассказывает по комнатам в лыжной шапочке (он не снимал ее даже дома и даже летом), в тренировочных штанах и с голым торсом. Зимой отец иногда неделями ходил в одном и том же черном свитере, и заставить его переодеться было невозможно. А то вдруг начинал четыре раза в день менять рубашки — в шкафу их висело с десяток: чистых, накрахмаленных...

Перед поездкой на “Мосфильм” с очередным сценарием папа просил у меня школьный синий портфель, куда и складывал бумаги. Говорил, что он принесет ему удачу.





И. Гулая и Г. Шпаликов с дочерью Дашей.
Фото © Музей кино



У отца часто менялось настроение, и это не могло не отражаться на мне. То он возился со мной часами: рассказывал какие-то истории, кружил на руках по комнате, то вдруг становился мрачным, раздражительным, мог оборвать на полуслове: “Помолчи, а?!” Я обижалась, забивалась в угол с куклой или книжкой.

Когда в памяти встает образ отца, тут же, будто подпись под фотографией, всплывает строчка из его стихотворения: “И варезка в руке предчувствием разлуки...” Уже тогда, в раннем детстве, я чувствовала: он не сможет постоянно быть рядом, куда-то уйдет, исчезнет. Так хорошо не бывает долго. Так весело, смешно и грустно долго не бывает...



Папа был мне ближе, чем мама. И роднее, что ли... Мамой я восхищалась: она была сказочно красивой. Длинная толстая коса, огромные лучистые глаза, мраморная кожа, стройная фигура. Когда Инна надевала черные кожаные брюки и красную жилетку и мы выходили с ней на улицу, все оборачивались. Мама очень нравилась мужчинам, они даже разговаривали с ней не так, как с другими женщинами. И отец ее очень ревновал. А мама ревновала отца. Они оба были с причудами, сильно любили друг друга и так же сильно ненавидели. Наверное, еще тогда я поняла: любовь — это мука, любовь — это страдание. И отец страдает именно потому, что очень любит: меня, маму, женщин, друзей. Если бы меня спросили, к какой категории людей можно отнести Геннадия Шпаликова, я бы сказала: “Человек влюбленный”. Уточнили бы: “Влюбленный в кого?” — ответила: “Просто влюбленный”.



Дом, который еще совсем недавно казался мне таким устроенным, красивым и надежным, стал рушиться. Со стеллажей в папином кабинете начали пропадать книги — целыми полками. Потом со стен исчезли картины, подаренные родителям Марком Шага-

лом. Маленькие яркие полотна с летающими женщинами, которые я так любила рассматривать.

Мама перестала пускать папу в дом. Кричала, стоя в прихожей: “Ты снова?! Как ‘нет’?! От тебя пахнет пивом!” — и захлопывала дверь. Однажды, оставшись за порогом, папа пошел к соседям, перелез с их балкона на наш (восьмой этаж!) и, разбив в балконной двери стекло, появился в комнате с улыбкой от уха до уха. А потом сделал стойку на руках. Дескать, какой же я пьяный, если способен на такое. Отец вообще был очень крепкий, сильный физически. Сдавать стал за год до смерти: появились одутловатость и рыхлость, начал стремительно расти живот.



Последнее воспоминание из той жизни, где мы еще втроем, — путешествие в Крым. Вернее, начало путешествия. Я очень боялась предстоящего полета, просто умирала от страха. Мне так хотелось, чтобы мама и папа меня поддержали, успокоили, но они опять о чем-то спорили, занимались багажом, билетами... Я моталась за ними как хвостик, заглядывая в лица молящими глазами. Сам полет и отдых на море из памяти стерлись начисто, а вот воспоминание о страхе и неоправдавшейся надежде на помощь — осталось.

Это была единственная наша совместная поездка. Больше родители никогда не брали меня с собой — ни в отпуск, ни в кино-экспедиции.



Папа часто просил друзей-кинематографистов поснимать дочку, а потом увешивал моими фотографиями все стены в доме

<...> Я очень чувствовала отца. Он был одинок, несмотря на множество друзей, коллег-товарищей и приятелей. И я чувствовала его одиночество даже на расстоянии. Неделями живя у бабушек — то у одной, то у другой, — представляла: вот со съемочной площадки он едет в парк Горького, бродит там по аллеям, а потом возвращается в пустую квартиру. Пустую, потому что мама или на съемках, или у подруг. А если даже и дома, то сидит погруженная в себя

и ничего вокруг не замечает. Но уж лучше так, чем если бы Инна ждала Гену, чтобы затеять новую ссору... Иногда, зажмурившись и прижав кулаки к груди, я просила кого-то неведомого: “Пусть мама папу не выгонит! Пусть не кричит, что от него пахнет пивом и что с ‘таким’ она больше жить не может!” Тогда папа тихонько пройдет в свой кабинет, нальет в чернильницу чернила и станет писать. А на столе перед ним, как всегда, будет стоять моя фотография. Значит, я есть, пусть не рядом, где-то, но есть...



“Уходят в будни наши торжества...” — это строчка из еще одного стихотворения Геннадия Шпаликова. Ее я могу взять эпитафией к тому времени, когда отец и мама уже расстались. Папа часто лежал в больницах. В разговорах взрослых я все чаще слышала слово “психушка”. Оно казалось мне странным, страшным и почему-то неприличным. Может, потому, что бабушки Люда и Зина произносили его пониженным тоном, почти шепотом.

Лакомством для меня были даже карамельки-подушечки, что же касается шоколада и фруктов, то они в нашем доме не появлялись давным-давно. И вот однажды вечером приходит какая-то женщина из Литфонда. Ставит на пол в прихожей огромный пакет с мандаринами, апельсинами и яблоками:

— Передайте это в больницу Геннадию Федоровичу!

Мама косится на мешок, потом смотрит тетеньке в глаза:

— А почему не нам? Мы тоже очень нуждаемся!

— Почему же не вам? — отвечает женщина. — Хотите — берите себе.

Взяли мы с мамой хоть один фрукт из этого пакета или нет, не помню.

Кажется, не взяли — мама передала литфондовский гостинец отцу через кого-то из друзей.



Один из последних сценариев отца назывался “Девочка Надя, чего тебе надо?”. Тяжелая, трагическая история, которую никто не хо-

тел ставить. Мне запомнилась папина фраза: “Нужно уметь переступить через безнадежность”.

Это было в октябре 1974 года. Я жила у бабы Люды, и папа приехал меня навестить. Не сняв плаща и ботинок, прошел на кухню. Руки в карманах.

— Ну ты, Гена, как всегда, — проворчала бабушка, — в своем репертуаре.

Папа спросил:

— Можно я с Дашей погуляю?

— Нет, — отрезала Людочка. — Она уже гуляла.

— Мы далеко не пойдем. Посидим на детской площадке у вас под окнами.

— Нет. На улице холодно, и вообще...

Папа молча протянул руку к раковине, взял размякшее от воды мыло и с силой сжал его в кулаке — между пальцев поползла серо-коричневая масса...

Мы сидели на лавочке возле детской площадки. Разговаривали. Папа сказал: “У тебя бывают периоды, когда ты теряешься. Когда приходится от всех отбиваться. Но ты держись — это пройдет”.

Мы попрощались, и он ушел. Это была наша последняя встреча.

■ ■ ■

Мне сказали, что папа уехал отдыхать на море. Я чувствовала: взрослые обманывают. Тогда где он? Опять в больнице? Но оттуда можно позвонить, а он не звонит. Может, ему совсем плохо? Однажды, оставшись дома на несколько часов одна, стала выдвигать ящики с документами и читать каждую бумажку. Что намеревалась найти, не знаю — мной руководило какое-то наитие. Голубой листок и пришпиленная к нему канцелярской скрепкой желтая бумажка лежали на самом дне. Листок оказался свидетельством о смерти. Из него я узнала, что папа умер 1 ноября, несколько недель назад. А в справке было написано, что он покончил с собой — повесился...

Это стало таким ударом, что я даже не смогла заплакать. Долго скрывала от мамы и бабушек, что знаю правду. Не из страха быть отчитанной за самовольство, а потому... Очень трудно выра-



Фотография и автограф
из архива Д. Шпаликовой.

21 марта

не прикидывался, а прикидывая,
не прикидывая ничего.

покидаю вас и покидаю
дорожки мои, — всего!

все прочтания — в одиночку.
напоследок — не веревать
задачу вам только розку,
больше нечего задавать

зить словами — почему. Это была моя боль, и я хотела пережить ее в одиночку... Когда и при каких обстоятельствах рассказала взрослым про то, что знаю их страшную тайну, не помню. И их реакции на мой рассказ — тоже.

Мне кажется, отца в последние годы никто не принимал всерьез. Известный сценарист, а одевается кое-как, машины нет, с женой развелся... Лежал в психушке, пьет. Пишет сценарии, которые никто не берет, новые стихи знают только его близкие друзья, а издатели публиковать не хотят. Станный, неустроенный, несчастный. Что-то рассказывает, пытается развеселить, а не смешно — скорее совсем-совсем грустно...

<...> Мне было одиннадцать лет, когда отца не стало. А года через три кто-то (мама или один из друзей) отдал мне листок, где рукой отца были написаны стихи:

Не прикидываясь, а прикидывая,
Не прикидывая ничего,
Покидаю вас и покидываю,
Дорогие мои, всего!

Все прощания — в одиночку.
Напоследок — не верещать.
Завещаю вам только дочку —
Больше нечего завещать.

Наверху стоит дата: 21 марта 1974 года. До ухода отца — семь месяцев десять дней.

■ ■ ■

Иногда у меня, как и у отца, совершенно спонтанно рождаются стихи. Я понимаю, что в них нет и тысячной доли того, что было в стихах папы. Наверное, поэтому ими не дорожу и, записав пришедшие в голову строки, бумажку вскоре теряю.

Зато ставшие совсем ветхими два листочка храню много лет. На одном — то самое стихотворение-завещание, на втором — такие строки:

Остается во фляге
Невеликий запас,
И веселые флаги
Зажжены не про нас.

Вольным — вольная воля,
Ни о чем не грущу,
Чистым — в чистое поле
Я себя отпущу.

Но под сердцем — под сердцем
Вдруг такая тоска.
Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой горстью песка...

Эти два ветхих листочка да полтора десятка детских фотографий —
вот и все мое богатство, с которым никогда не расстаюсь. Даже
в больнице. Они — единственное напоминание о жизни, в кото-
рой я была счастлива.

21 марта.

сдается во флаги небелый завет
и все же флаги заветны не по
вольным — вольная воля.

чи о зем не грущу
густой — в густой
я себе отпущу.

но по сердцу — по
в душе такая тоска
жизнь уходит сивой пер
желтой горстью песка
и глазами калиток
я смотрю на закат, —
как знакома палира, —
переход, перехват —
красок тистого увеса —
но по калитки распах.
если тайною клеток
ощущаешь распад,
то яснее и выше,
проше во не земле,
если видишь мирные
на ветру, по зоре.



ПАВЕЛ ФИНН

“СПОЙ МНЕ, ГЕНА...”*

Ровесники, не умирайте.

Г. Шпаликов, 1959 г.

Приложить ухо к прошлому, как к раковине, и услышать шум времени...

Наши сборища пятидесятих... Шестидесятих...

Мы почти не спали тогда, у нас не было дома, все было наш дом.

Это было обычно, характерно для того времени: открытые — даже распахнутые — дома и шляющиеся по гостям, по компаниям всякие перекаати-поле.

Париж, например, город, по которому хочется ходить, а нынешняя Москва — нет. Хотя в моей молодости Москва была городом для ходьбы — в первую очередь. Днем и ночью, без страха и усталости.

Так было в молодости весело ходить — никуда не опаздывая и все время торопясь — быстро, легко. И от этого внутри была радость, даже, казалось, — счастье.

Все забытое представляется — как снится — в виде каких-то проходных дворов, странных двухэтажных особняков, в виде бесконечных коммунальных коридоров с выходящими туда дверьми и каких-то полутемных и бешеных квартир.

* Публикуется по: Финн П. Кто мы и откуда. Ненаписанный роман. М., 2017.

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

Б. Пастернак

Поток жизни несет и вносит людей в распахнутые двери, все входят, не зная, кого встретят. Нечто, какая-то стихия — этого Дома? — а может быть, стихия этого Времени? — захватывает их, закручивает — но они пока не знают, что оказываются вкрученными еще и в Историю.

Тогда возбуждены были не от пьянства, а от жизни. Это уже потом приходилось и возбуждать, и успокаивать себя водкой. А тогда еще пьянство было веселой и легкой подробностью жизни. Потом стало — жизнью. У многих.

Понял, почему в последнем сне о Шпаликове некто, уведший его, безвольно улыбающегося, пьянствовать, напоминал Шукшина. Дело-то во сне происходило перед входом во ВГИК, где ныне стоит скульптурная троица — Тарковский, Шукшин, Шпаликов. Тарковский, однако, в сон не попал. Хотя, думаю, он бы не отказался пойти вместе с ними.

А ведь можно было бы такое кино сделать...

Ночью всем троим представители молодого поколения мажут лица красной краской. От обиды они становятся живыми и решают уйти выпивать. Кстати, скульптурный Шпаликов смотрит в сторону гостиницы “Турист”, где в столовой на первом этаже мы были постоянными посетителями, и на харчо и бутылку водки легко тратилась стипендия.

Но потом все-таки они возвращаются на свои места?

Я не люблю приходить во ВГИК, да меня и не зовут.

Мой ВГИК — театр теней. Тени ушедших, но и тени живых. Всех не перечислить. “Душа моя, Элизиум теней...”

Вот Леня Файнциммер на мотоцикле, с ним — уже с Леонидом Квинихидзе — сделаем мою первую “художественную” картину “Миссия в Кабуле”.

Вот первый — операторский — этаж, куда я сбегая со своего сценарного. Потому что здесь мои друзья — с курса Бориса Израилевича Волчека. Лучшая компания в институте. Саша Княжинский, Юра Ильенко, Гоша Рерберг, Виля Горемыкин, Юра Белянкин, Миша Ардабьевский.

На год их моложе — курс Александра Владимировича Гальперина. Толя Мукасей — как известно всему институту, влюбленный в Свету Дружинину. Потом мы трое вместе сделаем несколько фильмов. Володя Нахабцев, Коля Немоляев, Витя Шейнин, Дима Коржихин.

И, конечно, Митя Долинин. Оператор Авербаха на “Объяснении в любви” и Арановича на “Сломанной подкове”. И еще “мой” режиссер — “Миф о Леониде”.

Вот физкультурный зал, где играет в волейбол Рома Кармен, с ним в 62-м, увлеченные, как сиреной, авантюристом Давкой Маркишем, мы от молодежной редакции Центрального ТВ, что на Шаболовке, уедем снимать несуществующих овец, баранов и снежных барсов — в горы Киргизии.

В другой раз у волейбольной сетки красавица Света Дружинина, влюбленная в Толю Мукасея. Мне тоже очень хочется в нее влюбиться, но куда там!

На этом же этаже режиссеры и актеры. Когда я поступаю, уже снимают диплом Эльдар Шенгелая и Леша Сахаров. А чуть позже Миша Калик — вместе с Борисом Рыцаревым — диплом защищает, по “Разгрому” Фадеева*. Со скандалом, доносами “старых партизан” и, кажется, запрещением. И еще ходят по институту Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Саша Рабинович, впоследствии Митта.

На общем комсомольском собрании в большом зале на последнем этаже, куда меня, некомсомольца, увлекла жажда развлечений, Шукшин в гимнастерке и сапогах кричит со сцены, точно как потом в “Калине красной”: “В то время, когда партия и правительство напрягают последние силы...” А собрание, между прочим, собрано по поводу постоянных краж в общежитии женских трусиков — между хорошенькими, но легкомысленными студентками первого актерского.

* Фильм “Юность наших отцов”. (Примеч. ред.)

Молодой Андрей, каким я его помню во ВГИКе, мог бы сыграть Лермонтова. И когда он ходил по институту, презрительный — впрочем, может, это только казалось нашим молодым и самовлюбленным глазам — и в пижонском “прикиде” — хотя тогда такого слова еще не было и, наверное, мы говорили: “в стильных шмотках”, — тогда мы его терпеть не могли, а особенно Саша Княжинский, будущий оператор “Сталкера”. И только, пожалуй, Шпаликов сразу понял, с кем имеет дело. Я запомнил название сценария, который они придумывали вместе — в прогулках по бульварам и веселой трепотне. “С февралем в голове”.

На курс старше меня две параллельные мастерские. Льва Владимировича Кулешова и Григория Львовича Рошаля. Андрюша Хржановский, Витя Георгиев, Володя Дьяченко, Инна Туманян, Паша Арсенов...

С Хржановским едем к Кулешову. Он жил тогда с Хохловой где-то в Черемушках, в “красных домах”. Я написал курсовой сценарий, что-то романтическое из жизни, конечно, геологов. Андрей хочет его ставить, едем обсуждать.

Было это или не было? Кулешов, красавец девятнадцатого года, и Хохлова с фантастическим лицом и ногами, бывшие тогда в ссоре, в одной комнате, отвернувшись, смотрят каждый свой телевизор. На стенах фотографии Улановой...

Старше меня на два курса — Лариса Шепитько, Ира Поволоцкая, Рита Касимова, Отар Иоселиани, Георгий Шенгелая и Софико Чиаурели, Баадур Цуладзе, Витя Туров. Моложе меня на курс — Андрон Кончаловский, Андрей Смирнов, Боря Яшин, еще на один курс — Элем Климов. И, кажется, уже на последнем, дипломном — у Сергея Аполлинариевича Герасимова — Кира и Саша Муратовы.

Третий этаж, наш, сценарный. Кто остался от нашего курса — Каплера, Вайсфельда, Парамоновой? Адик Агишев, Боря Сааков, Женя Котов, Юра Аветиков да я, грешный.

Шпаликов на курс старше. Наташа Рязанцева (скоро она станет женой Шпаликова), Володя Валущкий — на два. Женя Григорьев, так несправедливо забытый, на год нас моложе. Параллельно курсу Шпаликова на киноведческом — Наум Клейман, параллельно курсу Рязанцевой — Алик Медведев, Витя Демин.

М. Ардабьевский, А. Княжвинский, Г. Шпаликов.





У нашего набора свои киноведы. Ира Шилова, Майя Левитина, Галя Маневич, Володя Дмитриев, Игорь Ворошилов, Саша Васильев.

Редко, но все-таки видим в коридоре дипломников-сценаристов. Боря Андроникашвили, Алеша Габрилович, Дима Оганян, Андрюша Зоркий, Витя Лоренц. Все стали моими близкими друзьями. Никого не осталось.

Итак, добрались, наконец, до последнего — четвертого — этажа. Библиотека. Застряли там еще, наверное, с тридцатых, сороковых годов всякие неожиданности. И там, не могу не признаться, я, не дрогнув, зачитал, зажилил “Охранную грамоту” Пастернака.

Шпаликов, в свою очередь, спер “Охранную грамоту” у меня. Он вообще в отношении книг и фотографий не делал никакого различия между частной и общественной собственностью,

На мой день рождения в девятнадцать лет Белла Ахмадулина, кроме Хлебникова, собрания сочинений, приговоренного потом к продаже лихой моей компанией, подарила мне еще и замечательную фотографию Пастернака. Ее сделал молодой поэт Юрий Панкратов в Переделкине. Пастернак в полосатой пижаме, похожий “одновременно на араба и его лошадь”, как сказала М. Цветаева, стоит в соснах, опустив руки.

Фотография эта у меня пропала. Но была обнаружена спустя некоторое время в комнате на Арбате, которую снимали Шпаликов и Рязанцева, пока не расстались. Гена остался там один. И вот как-то, придя в эту коммунальную квартиру, я врасплох застал моего друга, с гордостью показывающего фотографию одной очень известной молодой актрисе, за которой он тогда ухаживал.

На обороте снимка было написано Генкиным — особым — почерком что-то вроде: “Геннадия Шпаликову, поэту и гражданину. Борис Пастернак”.

“Гена! — сказал я, когда звезда экрана ушла. — Какой же ты гад и трепло! Когда это тебе Пастернак подарил мою фотографию?” — “Паша! — Он смотрел на меня с таким радостным простодушием, с такой неотразимой честностью своего прекрасного лица. — Подарил! Нет! Правда, правда!”

Позже я придумал для него определение: простодушный обманщик.

Господи! Какой же это был свет в моей жизни! Ну почему он так скоро угас?

Однако с четвертым этажом мы еще не расстаемся. Мимо актового зала — часть этажа — владения художественного факультета. Или “запорожская сечь”, как я тогда прозвал этот пахнущий краской буйный коридор. Где мы, приходящие с других этажей, не теряли не оправдавшуюся ни разу надежду когда-нибудь увидеть голую натурщицу.

Валера Левенталь, от которого я набирался ума по части живописи. Миша Карташов, Миша Ромадин, Сережа Алимов, Ильдар Урманче. Приехавший из Парижа “француз” Коля Двигубский, который одевался еще более стильно, чем Тарковский. Две чудные девочки: Мариша Соколова — Бекки Тэтчер, как ее называл Левенталь, — и Алина Спешнева. И, конечно, Алик Бойм, тоже неприменный и действительный член нашей — общей — большой компании.

Ну и, конечно, Боря Бланк. Тогда молодой коммунист из бедной еврейской семьи. С этим осторожным безумцем, ставшим еще и режиссером, мы сделали аж четыре хулиганских фильма — странная жатва девяностых годов.

Направо ли пойдешь, к братьям-художникам, налево ли — в библиотеку, все равно не миновать площадку перед актовым залом. Там занимаются сцендвижением актрисы в черных трико. Проходить мимо них надо не задерживаясь, небрежно, делая вид, что тебе до лампочки их прелестные, рельефно обтянутые черным юные тела, их мускусный аромат, наполняющий наши ноздри.

И среди всех — невероятное лицо Ларисы Кадочниковой! Как-то мы курили с Юрой Ильенко между четвертым и третьим этажом, а она — в черном трико — пробежала мимо нас вниз по лестнице. Мы даже не были тогда еще с ней знакомы. “Через год она будет моей женой”, — сказал Ильенко. И, между прочим, так оно и вышло. И сколько же всего было потом в их квартире в доме на Дорогомиловской. Где в соседней комнате жил брат, Вадик Алисов, будущий кинооператор, которого мы почему-то считали маленьким. А он всего лишь на год был моложе меня.

В неевклидовом пространстве нашей молодости мы двигались параллельно, но всегда все пересекались — под руководством Лобачевского.

Мы познакомились в 1956 году, когда Гене было девятнадцать, а мне шестнадцать. Дружить начали в 57-м. Расстались в 74-м, когда ему было тридцать семь.

Ему так и осталось тридцать семь. А я вот пока живу, старею, вспоминаю, раскаиваюсь.

Нас познакомил Саша Бенкендорф в ВТО на вечере памяти Ильфа и Петрова. Генка был очень веселый и на костылях. Но я сразу же об этом мимолетном знакомстве забыл.

Он радостно напомнил мне об этом сам, спустя год, на остановке второго троллейбуса возле ВГИКа. Он только вернулся с летней “практики”, а я уже месяц учился и весь этот месяц со всех сторон слышал о знаменитом Шпаликове.

Синий прорезиненный москвошвеевский плащ, кепка с гуттаперчевым козырьком — “лондонка”. Может, поэтому — хотя, конечно, не только — тот Шпаликов совпадает в моем представлении с Джеком Лондоном, даже с Мартином Иденом, ворвавшимися в жизнь с победной скоростью и яркостью.

И еще у Генки был металлический зуб во рту. Потом он от него избавился.

Вот если бы, как у Рабле, произнесенные некогда слова могли оттаять и зазвучать снова, я хотел бы услышать, о чем мы говорили тогда со Шпаликовым, осенним днем 1957 года. После встречи на остановке мы долго ходили, ездили и снова ходили по Москве и разговаривали, разговаривали, разговаривали...

Ах уж эти молодые захлебывающиеся разговоры!

Я совершенно не помню о чем. Разговоры с другими вспоминаю — так или иначе, а с ним — нет. Возможно, потому, что это была такая безумная стихия дружбы, молодости, очарования дружбой и временем.

Так до сих пор и не очень понял, почему Генка Шпаликов выбрал в друзья именно меня. До моего появления во ВГИКе в 57 году он дружил со всеми и особенно ни с кем. После нашего второго зна-

комства на остановке возле института мы стали просто неразлучны.

Да, тогда мы бежали друг к другу на переменах, садились рядом на общих лекциях и писали всякую смешную чепуху в его клеенчатой тетради. Пили водку в “Туристе” под харчо, встречались на московских улицах, шлялись, ходили в разноцветный кинотеатр “Метрополь”. И много разговаривали, и много смеялись...

Почему-то вспомнил нашу с ним пародию на пьесы Горького, которую мы сочиняли, сидя рядом на совместной для первых и вторых курсов лекции, кажется, по диамату. А может, истмату. Я до сих пор не вижу никакой разницы.

— Монахи были?

— Были.

— Чай пили?

— Пили.

В другой раз там же мы создали наше единственное соавторское произведение. “Разговор о чебуреках поведем”. Потом мы это пели. Как и другие его стихи. Вернее, пел он, под гитару. А мы подпевали...

Вижу я — горят Стожары, Южный Крест,
Над снегами Кильманджаро и окрест,
И река течет с названьем Лимпопо,
И татарин из Казани ест апорт.

Засыпает, ему снится Чингисхан,
Ю. Ильенко и Толстого Льва роман,
И Толстого Алексея кинофильм:
Ахмадулина, Княжинский, Павел Финн.

Компания, конечно, увеличивалась, разветлялась. Княжинский и Ильенко весь мой первый курс, до нашей встречи на целине в Кустанае, относились ко мне более чем прохладно, но присматривались издали, потому что постоянно видели меня рядом со Шпаликовым, которого они обожали. Потом мы все соединились.



Г. Шпаликов, Ю. Файт, А. Княжинский. Фото © Музей кино



Правда, после встречи 1959-го на правительственной даче у заместителя Хрущева, на ночь отданной большой компании сына, нас с Сашей и Юрой несколько перекосило в сторону Беллы.

Пусть все снова будет тем декабрьским вечером, кануном нового пятидесят девятого. Улица Горького. “‘Зимы’, ‘Зисы’ и ‘Татры’, сдвинув полосы фар...” Мы отчаливаем. Электрическая белая метель. Это первая метель, городская. Мчимся. За город. “А за городом заборы, за заборами вожди”. В прямом смысле. И тут начинается вторая метель, загородная, кружевная. В этой метели кружилась, плутала и завязывалась жизнь...

Правительственная дача с бильярдом и бирками на мебели. Стол уже накрыт, всем распоряжается сдержанно-презрительная экономка в чине капитанши. Я люблю Наташу В. Так мне кажется, дураку. Наташа В. любит Валю Т. Валя Т. любит всех и в том числе Наташу В. Володя З. любит А. Но она уже, кажется, любит К. Свет повсюду полупогашен.

Потом Володя З. в Москве вскрывает вены — просто так, посмотрел на А. и К., сидящих рядом, махнул рюмку, вышел из комнаты, где мы вчетвером выпивали, и вскрыл. Вовкина мама с белым лицом на кухне. Я встаю на раковину и через окошко, соединяющее кухню и ванную комнату, вижу Вовку в одежде в ванной, полной мутно бурой кровавой воды, и руку, свесившуюся вниз через бортик. Саша топором взламывает дверь. Мчимся в Скиф. Жить будет.

Но жизнь переменялась.

Сумасшедшее время окрашено в памяти красным цветом.

Белла. Красные волосы с челкой, красный “Москвич”, красное пальто, присланное из Америки ее мамой Надеждой Макаровой. Тоже красной — она врач в советском посольстве в Вашингтоне.

Жизнь, завязавшаяся в новогодней метели, бешено закружилась в комнате, где на стене висело большое полотно художника Юрия Васильева. Комната Беллы в коммунальной квартире на Новоподмосковной. Недавно эту квартиру покинул Евтушенко.

Белла когда-то в пору той, особенной — “ремарковской” — дружбы рассказала — придумала? — как на Новоподмосковной во сне нежно произнесла: “Ма-а-ленький самолетик!” Евушенко разбудил ее: “Я знаю, кто этот маленький самолетик! Это — Финн!” Увы! Если “маленький самолетик” и был, действительно, я, то совсем не в том смысле. А потом она подарила мне маленький белый пластмассовый самолетик на булавке. И я носил его во ВГИК на груди, как орден.

Окно вылетело в пятьдесят девятом году на Новоподмосковной — на третий день крутого выпивания. В мрачности и тишине. Само по себе, мистическим образом. Ошеломленные мистикой, мы, Белла, Княжинский, Ильенко и я, даже не двинулись с места. Однако за звоном разбитого об асфальт стекла снизу не раздалось предсмертных воплей и даже криков негодования. Но в комнату вошел милиционер — квартира была коммунальной, кто-то из соседей впустил его. Скорее всего, военком Владимир Петрович, милейший подполковник, очарованный Беллой, которым она обычно страшила меня. “Пашенька, будешь плохо себя вести, не будешь маме звонить, мы тебя с Владимиром Петровичем в армию отдадим...” Милиционер через несколько минут, глубоко потрясенный Беллой, уже сидел с нами за столом и ел пельмени.

А то все повально влюбленные в Беллу грузинские поэты поют под окнами.

Или Евушенко, не порывающий отношений, вдруг привозит Светлова и Кривицкого. Мы втроем — Княжинский, Ильенко и я — тем временем злобно отсиживаемся в ванной, чтобы не встречаться со справедливо не любящим нас поэтом. Но когда он увезет Светлова, мы все-таки легализуемся. Оказывается, Кривицкий остался, и он всю ночь — со смердяковским выражением лица — рассказывает нам настоящую правду о воспетом им подвиге 28 панфиловцев.

А то откуда-то, как-то сам по себе появляется одноглазый поэт Досталь и учит нас песне:

Цветет сахалинская рожь,
бежит под деревьями еж,
а вот разъедемся мы,
а вот тогда ты от горя запьешь...

Очень скоро мы привели на Новоподмосковную Шпаликова, и, конечно, он не мог Белле не понравиться...

На Песчаной — все песчано,
Лето, рвы, газопровод,
Белла с белыми плечами,
Пятьдесят девятый год,
Белле челочка идет.

Почему на Песчаной?

Но “Песчаной — песчано”, как и “Белла — белыми”, как же это пропустить?

Первая строфа там замечательная:

То ли страсти поутихли,
То ли не было страстей, —
Потерялись в этом вихре
И пропали без вестей
Люди первых повестей.

На мой взгляд, Гена не очень “умел” писать стихи. Рифмовал как хотел, переиначивал слова, если надо было срифмовать, произвольно ломал ритм. Но ему это и не было нужно. Он был талант, он был поэт, и все тут. И он был поэт не только потому, что писал стихи.

Иногда думаю: может, это его и погубило?

Конечно, я, “мальчик из интеллигентной семьи”, был поначитаннее, чем бывший суворовец и недоучившийся курсант пехотного училища.

Декабрь 2014-го. На Никитском бульваре, между “Жан-Жаком” и Домжуром, обнаружилась букинистическая лавочка. Купил книжку 1924 года, Михаила Степановича Григорьева. Был секретарем Брюсова. Преподавал отцу на Брюсовских литературных курсах в двадцатых и мне — во ВГИКе.

Маленький, он был похож на очень старого утенка. Жена его Фарида, высоченная татарка, тоже преподавала нам — английский язык.

Когда в 1960 году во ВГИКе отмечался семидесятилетний юбилей Григорьева, отец приехал поздравлять его от Союза писателей. Придумали так, чтобы и я тоже вышел на сцену. За год до этого в Доме кино мы так же вместе поздравляли Габриловича. Больше никогда в общественных мероприятиях мы с отцом совместно не участвовали. Если, конечно, не считать панихиду по нему в 1975-м в “парткоме” в ЦДЛ.

Тогда же, в 60-м, когда мы ушли со сцены, к отцу подошел майор Никифоров, бывший узник немецкого концлагеря в Норвегии и секретарь парторганизации института, и сообщил ему, что меня собираются исключить. За что в тот раз? Уже не помню.

Зато помню, что Михаил Степанович опубликовал в нашей институтской газете “Путь к экрану” статью, в которой укорял студента Шпаликова в том, что тот никак не прочитает “Преступление и наказание”. И приводил ему в пример его однокурсника: “Даже студент-китаец Вань Ди...”

Профессора Вань Ди я встретил в Пекине на каком-то приеме, и он меня узнал. И мы вспоминали Гену. А еще на курсе у Гены был вьетнамец Ву Тхи Хиен, тоже его друг. Потом Гена рассказывал мне о его любви и трагической судьбе. И, кажется, на этот раз ничего не придумал...

Я же читал, как глотал, и кое-что новое Гена узнавал от меня. До ВГИКа, когда он, суворовцем, подростком, юношей, начинал писать стихи, безраздельным кумиром его был Маяковский. Которого он, впрочем, приписал за самоубийство. Знал ли он эти его строки?

Был вором-ветром мальчишка обыскан.

Попала ветру мальчишки записка.

Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте...

Кончаю...

Прошу не винить...

Наверняка знал. Ведь они с Михаилом Абрамовичем Швейцером сочиняли сценарий про Маяковского.

Но он недаром позаимствовал у меня “Охранную грамоту”. Пастернак стал для него главнее всех поэтов, главнее Маяковского.

И даже Мандельштамом мне удалось его заинтересовать только в самом конце, в тот последний год в Болшеве.

И все же о рассказе Анатоля Франса “Жонглер Богоматери” я впервые услышал от него — в коридоре ВГИКа.

История простая, но очень красивая.

“Во времена короля Людовика жил во Франции бедный жонглер...”

Он был чист душой и простодушен и стал монахом. И очень растреивался, потому что в монастыре, где ревностно преклонялись пресвятой Деве, “каждый употреблял Ей во славу все знание и умение, которое даровал ему Господь”. А жонглер не умел ничего, кроме как проделывать всякие фокусы. И однажды настоятель и старцы через щель подглядели, как “у алтаря Святой Девы он, держась на руках, вниз головой, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами”. Они решили, что у него помутился разум. Но увидели, “что пресвятая Дева сошла с амвона и вытирает полою своей голубой одежды пот, струящийся со лба жонглера...”

— Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!

Гена был “жонглером Богоматери” каждой своей стихотворной строчкой, иногда, кажется, пробормотанной не до конца, каждой своей песней под гитару.

И ведь неспроста он обратил мое внимание именно на этот рассказ Франса. Как будто задолго до смерти хотел объяснить мне, кто он на самом деле такой.

— А знаешь, — весело сказал он, отходя от телефона, висевшего у нас на Фурманова в коридоре, — самолет, на котором я должен был лететь во Владивосток, разбился.

Как разбился? Не может быть! Соврал бы — тоже недорого взял.

— Может, может. Они знают. Пойдем-ка сейчас лучше в магазин на Метростроевскую, — предложил он, — и купим бутылку водки.

Боже, как давно это было.

Ни коридора, ни телефона, ни дома. Вместо дома — воздух.

И Генки нет.

Во Владивосток он все-таки улетел, в другой раз. И привез из командировки рассказ “Зеленая река У-ки-кит-кон”.

Это было еще то время, когда мир казался ему прекрасным, доброжелательным, забавным. Мысль о том, что его персонаж, его героиня может сжечь себя на вершине мусорной груды, чтобы люди — советские люди — обратили внимание на несправедливость, просто не могла прийти ему в голову.

Он еще был с жизнью заодно и даже — более того — подгонял ее.

Какие они вернулись из Гагры красивые, загорелые, яркие. Гена и Наташа Рязанцева. Мы сидели в бело-голубом кубе насквозь просвеченного осенним солнцем кафе в “Пекине”, казалось, на высоте неба, над всей Москвой. Потом пошли напротив в художественный салон на первую выставку Эрнста Неизвестного и Мая Митурича.

Мы ссорились редко, но один раз надолго. Я бродил вечером по городу в тоске и одиночестве. Не выдержал, позвонил с “Телеграфа” из автомата. Он, сразу, услышав меня, сказал: приезжай. Они жили тогда с Наташей у ее родителей, недалеко от Трех вокзалов. У них сидел Тарковский. Они пили сухое вино и играли в карты открытками с репродукциями великих художников. Серов, например, бил Крамского. Андрей, подражая Заманскому, который только что у него снялся в “Катке и скрипке”, пел: “Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела...”

Я стоял у “Националя”, кажется, ждал кого-то. Вдруг мимо идет веселый, хороший Шпаликов. И не один. С ним высокая девушка с замечательным лицом.

Гена, не здороваясь:

— У тебя есть записная книжка?

Самое смешное, что она у меня была. В кармане. Может, это был год, когда я подвизался в журнале “Спутник кинофестиваля”?

Он взял у меня книжку и на одной из страниц написал примерно так: “Катя Васильева, телефон такой-то. Она замечательная актриса, запомни ее и снимай во всех своих фильмах”.

Фильмов тогда не было и не предвиделось. Но Катю я запомнил. Ни в одном фильме по моим сценариям она, увы, никогда не снималась.

Окончив ВГИК, мы встречались часто, но так же часто и не встречались. Однако “Лобачевский” постоянно и надолго сводил нас в нашем Болшеве, на берегу “судоходной реки Клязьма”.

Было два “большевских периода” со Шпаликовым — один смешной, другой печальный.

Ко времени первого периода я уже, наконец, прорвался в кино. Правда, не без посторонней помощи. В моей нищей и практически безработной жизни возник, и довольно прочно — пять картин, подписанных двумя нашими фамилиями, — Владимир Петрович Вайншток. Известный в кино и как режиссер, сделавший две знаменитые картины — “Дети капитана Гранта” и “Остров сокровищ” — и как исключительно ловкий и толковый администратор, организатор. Кроме того, все подозревали его в связях с КГБ. Нет, что значит — подозревали? Он и сам это не скрывал, даже афишировал и преувеличивал. И надо сказать, ему это очень помогало в его разнообразных делах.

И отчасти и мне тоже. Потому что ко мне никто и никогда не подкатывался с приятным предложением о сотрудничестве с “конторой”. Как это было, например, с Мишей Козаковым по его собственному печатному признанию. Или, к несчастью, с Димой Оганяном.

Как-то Миша Калик, тоже живший тогда в Болшеве, в ответ на мои стенания по поводу мучителя Вайнштока полушутливо сказал: “Держитесь его, Паша! Он гениальный специалист по советской власти”. И я продержался! До “Объяснения в любви”. Нет, сначала еще были “Новогодние приключения Маши и Вити”. Но это уже особая история...

Действительно, я только писал и работал с режиссерами. А придумывал идеи, пробивал, устраивал, ходил по кабинетам, льстил, интриговал и делал всякие любезности начальникам кино — Вайншток.

В то время слово “продюсер” совсем не было таким ходким, как сейчас. Но он был истинный и очень хороший продюсер. И умел то, что почти не умеют называющие себя так сейчас, — не только тратить государственные деньги с пользой для себя, но и, в первую очередь, безошибочно находить, открывать именно тех — единственных — людей, кто лучше других сделает за него работу и сценариста, и режиссера. Так он сначала открыл для себя Сашу Шлепнова, и получился знаменитый “Мертвый сезон”. А на смену Саше, с которым мы подружились, пришел я.

Так что при всем том, что я временами видеть его не мог, был и бился в его маленьких коварных ручках, я все-таки поминаю его добром. Где бы я был сейчас без этой встречи?

Надо признаться, я его тоже мучил. Долго терпел, работал, работал — кажется, сочинялась тогда “Сломанная подкова”, — трезво гулял по советским дорожкам. С Гребневым, который меня дружески приветствовал, иногда с Юткевичем, которому больше не с кем в этот день было говорить о литературе. И, конечно, со Шпаликовым — то я его провожу до коттеджа, “домика”, то он меня до главного корпуса. Или спускался в бильярдную, где играли (с разной степенью мастерства) лучшие люди на свете — Дунский и Фрид.

Но иногда не выдерживал и срывался в Москву.

Сохранилась как документ, свидетельствующий об этом, записка, найденная мной в номере, куда я трусливо и незаметно прокрался, вернувшись после трехдневного отсутствия. Напечатано на моей пишущей машинке, правописание Шпаликова сохранено:

“Павлик, павлуша, павлинчик, павел!

Я забрал — по просьбе вайнштока и по чувству социальной безопасности — машинку и приемник из твоей незапертой комнаты.

Так что — все в полном порядке.

Домик ты ж знаешь.

Привет!

Салют!

Банзай, — гена”

павлик, павлуша, павлинчик, павел!

я забрал - по просьбе вайнштока и по
чувству социальной безопасности - машинку и
приемник из твоей незапертой комнаты.

так что - все в полном порядке.

домик ты ж знаешь.

привет!

салют!

банзай, - гена.

Минус у руки (так
уменьшительнее), нешя,
ни би хобя б коронки
вечечко - он серьезно
расстроился - и не тек
уже во время вешня, а
твоя тремолом
импрессионизм - особенно
много истории с землекопом
Евгений. - поужны ему
он ухас по шмелю
большими шмелю. ✓

Р.С. Второе, -

(по лерний человек, фартинг
же мифи), что ты ил к Клеуше. Это
страшно интересно - но, фартинг!

И от руки:

“Пишу от руки (так демократичнее). Паша, ты бы хотя б позвонил Вайнштоку — он серьезно расстроился — и не так уж по делам вашим, а твоим трагическим исчезновением... Р.С. Говорят, — (последний человек, видевший тебя живым), что ты шел к Клязьме. Это страшно представить — но — видели!”

Тогда, в начале семидесятых, в Болшеве, кроме нас с Вайнштоком, сошлись еще и другие “творческие пары”.

Александр Аркадьевич Галич — с проказником Марком Семеновичем Донским. Он писал для него сценарий о Шаляпине. Мы с Галичем жили на одном — втором — этаже, дверь в дверь через коридор. И я иногда, на пути в сортир, с упоением подслушивал под дверью его номера, как Донской учит Галича писать сценарии и поет басом, изображая Шаляпина.

Другая пара — Лариса Шепитько и Гена Шпаликов. Они работали над режиссерским сценарием фильма “Ты и я”. Раньше этот сценарий назывался у Генки “Кривые чемоданы”, и мне это больше нравилось.

Это был важный и серьезный для Шпаликова сценарий. Не зная ничего друг о друге, он и Вампилов — в “Утиной охоте” — открывали в современной жизни нового героя, хоть и безвольно, но по-своему бунтующего против инерции и изменности всеобщей безнравственности, выдающей себя за всеобщую нравственность.

В Доме творчества Лариса поначалу появилась вместе с Элемом. Они усадили меня на диванчик у входа в столовую. И, тесня с двух сторон, сказали:

— Не пей со Шпаликовым!

— Какое там! — с тоской воскликнул я. — Здесь же Вайншток!

— И не давай ему денег! Как бы ни просил! Ни копейки!

Не то уьем!

И убили бы, между прочим. Такие ребята... Я поклялся!

Но была еще и четвертая пара. Скорее, как сейчас бы сказали, виртуальная. Потому что это был один Валентин Иванович Ежов,

начинавший писать (тогда для Григория Наумовича Чухрая) то, что потом стало — уже вместе с Рустамом Ибрагимбековым — “Белым солнцем пустыни”.

Я всегда вспоминаю Валю с любовью. Он был замечательный и совершенно свой парень — именно так — при весьма существенной разнице в возрасте.

Познакомились мы раньше. Я еще учился во ВГИКе. Вместе с сокурсниками — все старше меня, я вообще был самый молодой на курсе — мы на последние шиши посидели в “Туристе”, но этого нам показалось мало. Что делается в таких случаях? Ищутся и одалживаются деньги. И тут на стоянке такси возле гостиницы возник Валентин Иванович Ежов, только что вместе с Чухраем награжденный Ленинской премией за “Балладу о солдате”.

— Пойди и попроси, — сказал мне Виталий Гузанов, коммунист, капитан второго ранга, юнга Северного флота. — Скажи, так и так, мы молодые сценаристы, поклонники вашего таланта...

— Хотим выпить за ваше здоровье, — поддержал его Женя Котов, коммунист, секретарь комсомольской организации факультета, будущий директор студии имени Горького.

— Почему я?

— Потому что нам не очень удобно. Мы коммунисты, а ты даже не комсомолец.

С этим спорить было трудно, и я пошел. И попросил.

— Старик! — приветливо сказал Ежов. — Дал бы, но у самого последняя трешка осталась. Только на такси, до Кремля доехать — Ленинскую премию получить.

В отличие от Галича, Шпаликова и меня, Ежов ничем и никем не тяготился. Ходил по коридору первого этажа, останавливаясь с каждым, чтобы поговорить, а главное, рассказать. Рассказчик он был выдающийся, а историй у него был миллион. Потом немного выпьет у себя в номере и ляжет спать, совершенно не задумываясь о сроках сдачи сценария. В крайнем случае сценарий он спокойно мог надиктовать прямо на машинку за две ночи. Я сам видел.

Кино чувствовал великолепно, выдумщик и изобретатель был первоклассный.

Я думаю, мало кто понимает, что обозначают строчки Шпаликова, опубликованные в книгах и висящие в интернете: “О, Паша, ангел милый, на мыло не хватило присутствия души...”

Гена жил тогда в “домике”. В соседней комнате — Лариса, чтобы контролировать. По утрам, до завтрака, он приходил в корпус и подсовывал ко мне под дверь то написанные только что стихи, то вырезанные из журналов картинки с изображениями спутников — космосом он был потрясен.

Но в то утро загадочные стихи про мыло еще не были подсунуты.

Шпаликов разбудил меня и сказал, что у него кончилось мыло. Само по себе это не представляло никакой жизненной сложности. Мыло легко можно было приобрести в магазине на “фабричной девчонке”. Так в просторечии именовалось это место — через мостик и в горку. На пяточке были сосредоточены жизненно важные институты. Магазин с широким выбором товаров, от черного хлеба и водки до средств против вредителей сада и огорода. И пивнушка, тесная, прокуренная и пропахшая.

Но, во-первых, на мыло у Гены не было денег, а, во-вторых, Лариса не отпустит его на “фабричную девчонку”, которая в Доме творчества среди приличных людей была известна как место злачное и опасное. Деньги были у меня. И как раз со мной Лариса может его отпустить. “Потому что, — сказал он, глядя на меня серьезно и убедительно, — тебе, Паша, она доверяет, как никому”. Разве я мог отказать?

А на улице был восхитительный — юоновский — март! С чернеющим уже, колючим снегом, голубым небом и солнцем. И как только мы глотнули, вздохнули в себя этот март, этот воздух, в наши родственные души сразу проникло тайное весеннее возбуждение, когда все на свете трын-трава. Но мы еще друг другу в этом не признались.

Господи! Прямо как сейчас вижу! Две кровати, на одной лежит Лариса, на другой улыбается мне Наташа Рязанцева, уже бывшая жена Гены, приехавшая накануне к подруге Ларисе в гости.

— Только мыло, только туда и обратно на завтрак, — говорю я Ларисе, прямо и честно глядя ей в глаза, абсолютно убежденный, что говорю истинную правду.

— Паша! Ты помнишь, что мы тебе сказали с Элемом?

Я помнил. Мы вышли, легкие, утренние, весенние, нараспашку. Разговаривая о том о сем и рассказывая друг другу и себе, как мы вернемся с мылом, позавтракаем и сядем работать.

Дорога от нашего забора, спуск к реке, мостик. И тут мы увидели Ежова. Рыжая дубленка горела на мартовском солнце. Он уже купил в киоске газеты, шел назад, но по обыкновению задержался на мосту с какими-то нашими дамами, чтобы потрепаться и что-то рассказать. Мы шли мимо. И он как-то так склонился к нам своим крупным носом и негромко, но внушительно произнес:

— Сценаристы! В пивной горячие пирожки с капустой и коньяк “Плиска”.

Гена молча посмотрел на меня глазами раненого оленя.

— Ну вот что! — сказал я. — Съедем по одному пирожку, чтобы не перебивать аппетит. Выпьем по пятьдесят грамм коньяка...

— По сто, — сказал Ежов.

— По сто, — согласился я с лауреатом Ленинской премии. — Вернемся, позавтракаем и — работать!

В пивной нас встретили как родных. Буфетчица уже давно была очарована Ежовым. А все опохмелянты были свои в доску. Особенно знаменитый болшевский карлик, которому кружку с пивом приходилось давать вниз, под столик-стояк.

Ежов тут же сообщил, что он автор “Баллады”, взаимопонимание еще больше укрепилось, Валя грянул несколько фронтовых историй подряд, кто-то запел, и время полетело незаметно. За окнами уже чуть потемнело, солнце было уже не так высоко. Впрочем, я еще сохранял некоторое чувство ответственности, хотя ощущение опасности и неминуемой расплаты уже как-то припустилось.

— Ну, еще по пирожку, еще бутылку, и все, — сказали мы бесстрашно. — Придем, поспим, пообедаем и за стол! По машинкам!

И понеслась! По новой! И снова незаметно.

И тут буфетчица с прискорбием сообщила, что кончились пирожки. Но это еще полбеды, самое страшное, что кончился коньяк. Весь! До следующего завоза.

На улице было темно.

— Ничего страшного, — сказали мы. — Сейчас вернемся, немного поспим, поужинаем и... Работать! Работать! В ночь! Как Оноре де Бальзак!

Сразу же за мостиком, по правую руку — баня, такое небольшое строение. Днем здесь довольно оживленно, мужики входят со своими тазиками и вениками, распаренные красные бабы сплетничают на скамеечке у входа.

Когда мы в темноте неверными шагами проходили мимо, железный Ежов, с сомнением поглядев на нас, сказал:

— Сценаристы! Лучшее средство против опьянения — хороший пар! Как говорится, какой русский не любит деревенскую баню!

Я охотно с этим согласился.

Внутри, естественно, уже никого не было. Взбодренный нами пространщик, который, как оказалось, воевал с Ежовым на одном фронте, немедленно был послан за пол-литрой и копченой рыбой.

— Все хорошо складывается, — успокаивали мы друг друга, раздеваясь. — Сейчас попаримся, придем, ляжем спать, а уж завтра утром...

Но пока мы закусывали копченой рыбой, а Ежов рассказывал пространщику о том, как две недели назад в Италии Франко Дзеффирелли осыпал его лепестками роз, в Доме творчества тоже происходили интересные события.

Ужин уже давно прошел. Вайншток и Шепитько в ярости и тревоге метались на площадке перед столовой. Участливыми кинематографистами, проживающими в то время в доме, высказывались разные предположения. Даже и трагические. И тогда кто-то вякнул — как я потом узнал, — что ничего страшного, с мальчиками все-таки взрослый человек, Ежов Валентин Иванович, лауреат Ленинской премии.

— Кто взрослый, это Ежов — взрослый? Да он еще хуже них!

Тут же метался Галич, почему-то одетый в свою короткую дубленку. Он волновался больше всех. Речи его были страстные и полные гражданского пафоса.

— Вы равнодушные люди! — вроде бы кричал он. — Где наши друзья? Что с ними? В какой они беде? Я немедленно отправляюсь в милицию и начинаю поиск!

— Ты никуда не пойдешь, Саша! — завопил Донской.

За несколько дней до этого, во время прогулки по территории, Марк Семенович, разыгравшись, закинул шапку Галича на высокую сосну. Тогда еще были морозы, и пока не принесли лестницу, Галичу пришлось замотать уши шарфом. Видимо, поэтому сейчас он сразу же снял шапку, решительно отстранил прыгающего вокруг Донского, воскликнул:

— Мне стыдно за тебя, Марк!

Открыл дверь и канул во тьму. Только его и видели.

Увидели его только дней через десять. Покинув территорию, он немедленно направился в противоположную сторону, поймал на дороге такси и укатил в Москву, где у него в то время был роман с одной известной дамой.

Нас увидели гораздо раньше. Со стороны это, наверное, выглядело так, будто бы старый солдат вынес из боя двух молодых. Я мрачно, не сказав ни слова Вайнштоку, проследовал к себе на второй этаж. Лариса увела радостно улыбающегося Шпаликова. А Ежов остался. Разговаривать и рассказывать.

О, Паша, ангел милый,
На мыло не хватило
Присутствия души, —
Известный всем громило
Твое похитил мыло,
Свидетели — ежи.
Эсер по кличке Лера,
Два милиционера,
Еще один шпажист
И польский пейзажист,
Который в виде крыльев
Пивную рисовал,
Потом ее открыли, и они действительно
Улетели,
С пивной, так что — свидетелей
не осталось.

И все-таки пока еще остался свидетель...

Второй период в Болшеве со Шпаликовым — а это уже его последний, 74 год — был совсем иным. И тут уже совсем иное — “подсунутое” мне — стихотворение.

Друг мой, я очень и очень болен,
Я-то знаю (и ты), откуда взялась эта боль!
Жизнь крахмальна, — поступим крамольно
И лекарством войдем в алкоголь!
В том-то дело! Не он в нас — целебно,
А напротив, — в него мы, в него!..

Тяжелый для меня был этот год.

Сначала неожиданно для меня умерла Таня Алигер. Писала она и выпускала детские книжки, прелестные сказки, и свои, и переводы, под фамилией Макарова.

Кое-кто позаботился зачем-то нас раздружить. Правда, та же “кое-кто” рассказала мне, что в больнице перед смертью — Таня умерла от острого лейкоза — она вдруг произнесла: “Я бы хотела сейчас увидеть Пашку”. Раньше она подарила мне свою книжку “Снег отправляется в город”, которую оформляли Валера Левенталь и его жена Мариша Соколова. И написала на ней карандашом: “...когда я тебя вижу, я тебя люблю”.

Был март. Сначала ее отпевали в церкви на Преображенском кладбище. А я и не знал, что она крестилась. На несколько лет раньше меня. Отпевал и проповедь читал ее духовник, сначала просто известный, а позже печально известный отец Дмитрий Дудко.

Хоронить ее повезли в Переделкино, где когда-то мы по очереди влюблялись друг в друга. Теперь они там все вместе: Маргарита Иосифовна Алигер и две ее дочери — Таня и Маша. Недалеко от них — Пастернак и моя учительница литературы Домбровская.

С кем-то я сидел в ресторане Дома кино, уж и не помню с кем, подсел Шпаликов. Он был в плохом виде, ночевал где придется. Я сказал ему, что умерла Таня. Он сделался еще печальней и сказал:

— Теперь я.

— Генка, не сходи с ума!
Он быстро ушел.

Он жил тогда какой-то странной и неуловимой — для меня — жизнью. Виделись иногда в том же самом ресторане. Он всегда был пьяненький, а иногда и пьяный. Мы с Княжинским очень сердились на него. Мы уже догадывались, что он “очень и очень болен”, и знали, что пить ему нельзя.

Он никогда не обижался, улыбался. У него была такая особенная — конфузливая, виноватая и доверчивая — улыбка. Которая говорила: да, ребята, вы правы, но ведь мы же друзья, лучше давайте выпьем... И сейчас вспомнить эту улыбку — сердце рвется. Но пить он никак не переставал.

С Инной они тогда уже расстались, дома не было. Мать Гены, Людмила Никифоровна... Как-то в эти дни я выводил его из ресторана и не знал, куда деть, — сам я тоже тогда дома не ночевал. Позвонил Людмиле Никифоровне, она отказалась его пустить. Никогда не вникаю в такие отношения. Но жалко, жалко было, хотя и злил он меня. Все в конце концов как-то устроилось, я посадил его в машину вместе с приятелем — знаменитым боксером, тот взял его на себя, поклялся мне суровой боксерской клятвой Генку не бросать.

Когда его уже не было, я все вспоминал, как в его любимой “Охранной грамоте”, так и оставшейся у него, Пастернак пишет о смерти Маяковского. Это в том месте, когда к мертвому Маяковскому приходит младшая сестра, “пройдя, как по мусору, мимо всех...”

“Баню им! — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. — Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что же ты к нам не пришел, Володя? — навзрыд протянула она...”

Выделяясь из текста воспоминаний, эта фраза — “Что ж ты к нам не пришел?” — до сих пор не дает мне покоя. Навзрыд.

Хотя это было и не совсем так. Он приходил.

Раза два или три он ночевал на чердаке в моем подъезде на Фурманова. Дома тогда я бывал редко, и он знал об этом. Но дом-то ему был хорошо знакомый, и на чердак дорога проложена — один

марш ступенек с моей лестничной площадки наверх к никогда не запиравшейся двери. И все же как-то раз и еще раз он все-таки преодолевал смущение и звонил в квартиру.

Мама открывала ему. Мама любила его. Человек необычайно добрый, она не всех моих друзей любила так же. Что-то не нравилось, наверное, ей в их отношении ко мне. А Генку любила. А он относился к нашим матерям с трогательной и веселой нежностью и совершенным свойством. Он даже называл их по именам, без отчества. Маму Саши Княжинского Веру Григорьевну — Вера. Мою, Жанну Бенедиктовну, — просто Жанна. Правда, возможно, еще и потому, что трудное отчество в некотором состоянии было трудно выговорить.

Когда я, наконец, появился дома, мама показала мне блокнот, там ее почерком было написано: “Спасибо, Паша, маме, молодости, спасибо жизни, что она была”. Он это почему-то написал не сам, а продиктовал ей, а она кротко и послушно исполнила. Глагол “была” в соединении с “жизнью” тогда я пропустил без внимания. Напрасно.

Не ходи в дома чужие
На чужих кроватях спать.
Если сладко положили —
Можно с белого и спастись...

Веселились как-то вечером у Алеши Габриловича на Аэропорте. Во мне проснулась совесть, я позвонил маме. “У нас Гена”, — сказала она. Наверное, я все-таки что-то такое почувствовал тогда в ее тоне. Расставаться с весельем очень не хотелось, но я уехал.

Я поставил Генке раскладушку рядом с моей кроватью. Вот этот ночной разговор я помню. Со стыдом. Он ушел из черемушкинской квартиры, оставив ее Инне и дочери Даше. Я — с неожиданной для себя, несвойственной мне рассудочностью — убеждал его, что квартиру надо разменять, ведь нельзя же ему до бесконечности скитаться и спать на чердаках. Наверное, я был прав. Но у него была другая правота, правее обычной, бытовой.

К слову сказать, через четыре года я ведь и сам поступил так же, как он.

Свадьбы, коим мы не судьи,
Все там если да кабы,
Суета сует и судеб
Или же одной судьбы.

Ссоры, споры, разговоры
Ложкой вертят ерунду.
Конуры свои и норы
Разделяют по суду.

Вечно только подвенечно
Если даже нет венца,
Это весело и вечно
Без начала и конца.

Вспомнил я, о, как еще вспомнил этот разговор и эти строчки четыре года спустя, в знаменательном 78-м. Когда мы с Ириной, пренебрегая любым осуждением, недоверием и недоумением, от всех уйдя и все оставив, без имущества и квадратных метров, с маленькой Катькой и большим белым котом, наследством погибшей Норы Агишевой, взяли да и начали новую жизнь.

И я говорил Ире, когда нас расстраивала несправедливость некоторых знакомых: “Генка бы нас поддержал”.

И вот мы, как и прежде, встретились в Болшеве. Он работал тогда с Сергеем Павловичем Урусевским.

За три года до этого они уже сделали вместе картину “Пой песню, поэт”. С Сережей Никоненко в роли Есенина. А на этот раз работали над экранизацией “Дубровского”. Кажется, вообще первая для Шпаликова экранизация.

Я был опять-таки с Вайнштоком. Но уже в последний раз. Теперь это был сценарий “Вооружен и очень опасен”. Такой вроде бы вестерн. И тоже экранизация. Но не простая. Я придумал тогда метод, которым я потом часто пользовался. Да и не я один. Коллаж из разных сочинений Брета Гарта. Ставить должен был сам Вайншток. Так сказать, лебединая песня.

И опять все стало повторяться. Урусевский — через Вайнштока — попросил меня быть со Шпаликовым осторожней. Тогда я и узнал, что у него развивается цирроз.

Конечно, Шпаликов меня сразу же подвел к Урусевскому. Я вообще с восторгом смотрел на него. Еще бы! Урусевский! “Летят журавли”! Даже трудно описать, чем была для нас, вгиковцев, эта картина. А я к тому же еще и дружил в основном с операторами.

После обеда в столовой, когда наступало такое расслабленное время, полчаса-час для общих разговоров и прогулок, я обычно подсаживался за столик к Урусевскому, Белле Фридман, его жене, и Шпаликову. И он обычно просил: “Расскажите Паше, как вы снимали, ему интересно...” В основном имелось в виду или “Неотправленное письмо”, или “Я — Куба”.

Вдруг, не дослушав, Гена срывался и убегал. Урусевский и Белла печально переглядывались, и кто-нибудь из них говорил: “Он очень болен, Паша! Его надо беречь”. Потом как ни в чем не бывало, вытирая губы, возвращался Гена, как мы понимали — из сортира, где его рвало. Недоглядели, не то что-то съел.

Впрочем, он и сам тогда берегся — не пил ничего. Был даже спокоен. Потом, правда, выяснилось — это мне сообщил тоже тогда живший там Саша Миндадзе, совсем еще молодой, который очень почитал и любил Гену, — что он горстями ест таблетки транквилизаторов...

Нужно что-то проверить и уточнить об этом периоде. Копаюсь в “Гугле”, вдруг нахожу — “За экраном”, ранее мне неизвестная, неоконченная и опубликованная после смерти книга Иосифа Михайловича Маневича.

Иосиф Михайлович — элегантный и остроумный Жозя — Маневич. Известный в кино человек, писал сценарии, был главным редактором “Мосфильма”, преподавал во ВГИКе. “Википедия” почему-то умалчивает, что он работал в “Известиях” при главном редакторе Бухарине.

Он-то и был одним из тех, кто по просьбе — скорее, приказу — Нины Яковлевны Габрилович всунул меня в институт. Спасибо ему!

Во вгиковское время он вел мастерскую курса Шпаликова. Позже был соавтором его по сценарию “Декабристы”, который хотел ставить Бондарчук. Сценарий они с Геной переделали в пьесу, она называлась “Тайное общество”. Спектакль по пьесе был в конце 60-х поставлен Леней Хейфецем. Я не успел его увидеть — он был стремительно запрещен.

Гена рассказывал, как он придумал начало спектакля, пролог. На сцене кровать, на ней спит Герцен. Удар колокола. Герцен просыпается, вскакивает — декабристы его разбудили. И пошло, поехало... По Ленину.

То ли было так в постановке, то ли нет, но, в общем, неудивительно, что ее тогда запретили.

И вот что читаю у Маневича в главе “Болшево, 1974”:

“Белла Фридман с Урусовским стерегут Шпаликова. Он строит ‘Дубровского’, вроде прошли до конца и сейчас идут по второму разу. Мечтают, чтобы Шпаликов дотянул. Говорят, что в первых числах дадут читать. У Паши Финна болят зубы, писать второй день не может — советуем ему разные лекарства. Больше его страдает Вайншток. Они экранизируют Брета Гарта. И Вайнштоку иногда, наверное, кажется, что Паша — симулянт. Все сроки проходят”.

Не зря казалось Вайнштоку. Зубы первый раз у меня заболели много позже.

Гена “дотягивал”. Был увлечен “Дубровским”, что-то они все время придумывали с Урусовским, ходили по коридору — под присмотром Беллы, — обсуждали, радовались.

Гена печальный был и какой-то светлый, беззащитный. По вечерам смотрел, как я бездарно играю на бильярде и проигрываю Саше Миндадзе. Или приходил ко мне в номер.

У меня была желто-зеленая пластмассовая “Спидола”. Великий “транзистор”, я бы памятник ему поставил. Из него с хрипами и перерывами прорывались к нам через заглушку и “Голос Америки”, и Би-би-си, и “Дойче велле”. Бывало, пройдешь по коридору, а чуть ли не из-за каждой двери знакомые звуки и знакомые голоса. А уж из номеров авторов картины “Коммунист” Габриловича и Райзмана — обязательно.

Кстати, Маневич прозвал меня тогда “ФиннТАСС”. У него приемника не было, и я каждое утро вполголоса пересказывал ему то, что выловил ночью из эфира.

Генку как будто бы никогда особенно не интересовало все это. Но в последнее время он приходил ко мне именно в час “сеанса связи”. Слушал сначала внимательно, но недоверчиво, потом внимательно и серьезно. Что-то в нем происходило, я это чувствовал. Тогда ли рождалась идея сценария “Девочка Надя, чего тебе надо?” с финальной сценой самосожжения депутата Верховного Совета Нади Смолиной на вершине мусорной пирамиды?

Не верю ни в бога, ни в черта,
Ни в благо, ни в сатану,
А верю я безотчетно
В нелепую эту страну.

Она чем нелепей, тем ближе,
Она — то ли совесть, то ль бред,
Но вижу, я вижу, я вижу
Как будто бы автопортрет.

В 65 году, после всех хождений по мукам, под названием “Мне двадцать лет” все-таки вышла “Застава Ильича”. Власть, как всегда, не ведала, что творила. Ей бы не гнобить эту картину с таким названием, а, наоборот, прославлять.

В этом же году мы с Наташей Рязанцевой, то ли отколовшись от компании, то ли придя вдвоем, оказались за столиком в шуме и дыме ресторана ВТО. И пока мы печалились друг другу над скромным заказом, за столик неожиданно сел Евтушенко. Надо полагать, привлек его не я. Он что-то еще заказал. Мы скоро поняли, что расставаться как-то неохота, и он позвал нас к себе домой. Где, как он утверждал, нас ждет не дождется его жена Галя. Я ее знал. Подруга Беллы и бывшая жена поэта Михаила Луконина, друга Евтушенко.

Тогда напротив памятника Пушкину, возле здания редакции Moscow News и общественного туалета в арке, была стоянка такси. Не найдя “зеленый огонек”, Евтушенко остановил “левака”. Ста-

рый “москвич”. Мы с Наташей сели на заднее сидение, Евтушенко рядом с водителем. Молодой парень с большим носом. Всю дорогу он молча слушал, что, вдохновленный присутствием Наташи, говорил Евтушенко. Когда же мы приехали и поэт полез за деньгами, носатый парень отстранил его руку и сказал:

— С автора “Бабьего Яра” я денег не возьму.

Несколько удивленная и уже собиравшаяся ко сну Галя на скорую руку накрыла “выпить-закусить”. И мы сразу же стали обсуждать самое на тот момент главное событие в “культурной жизни столицы” — выход в изуродованном виде картины Хуциева и Шпаликова.

Мы трое были к ней причастны.

Наташа и я снимались в знаменитой и роковой сцене вечеринки, ставшей основной причиной безобразного и губительного хрущевского разноса.

Сейчас смотреть на это без улыбки и растроганности невозможно. Наташа с сигаретой в мундштуке, красивая, серьезная и ужасно смешная, говорит медленным голосом.:

— Среди своих всегда так скучно...

И я (совершенное дитя с дурацкой челкой на лбу по тогдашней моде и с сигаретой) десять раз подряд — меньше дублей Марлен обычно не снимал — поднимаю вверх, как на ринге, руку тоненькой, в сереньком платьице Оли Гобзевой.

А она десять раз подряд нервно и отчаянно — за циничное высказывание — по-настоящему хлещет по щеке Андрея Тарковского, то есть того из разряда “золотой молодежи”, кого он довольно похоже изображал.

Хозяйкой квартиры, где мы собрались, по-нынешнему — на тусовку, была восхитительно юная и красивая Маша Вертинская. За пределами декорации, занимавшей почти весь большой павильон на студии им. Горького, одиноко блуждал Шпаликов. Он переживал за меня как за актера. Время от времени его лицо появлялось в проемах между какими-то полками и карнизами, он республиканским жестом поднимал вверх руки и подбадривал меня:

— Паша! Давай!

К восьмому примерно дублю я, стоящий очень близко, вижу слезы в глазах у Оли. И у Андрея. Который таким счастливым приехал на съемку с Гнезниковского переулка, где узнал, что “Иваново детство” отправляется на Венецианский фестиваль.

Евтушенко, конечно, фигурировал в не менее знаменитой — и не менее роковой — сцене выступления поэтов в Политехническом.

Обе эти сцены приказали как-то правильнее доснять.

Но тем вечером Евтушенко совершенно неожиданно сказал: “А ведь картина с самого начала была конформистская”.

Тогда я, настроенный весьма вольнодумно, с этим согласился.

А сейчас сомневаюсь. Хотя по-прежнему настроен не менее вольнодумно.

В этой картине для меня совершенно явно то, что идет от Хуциева и что от Шпаликова. Конечно, в целом все это было больше желаемым, чем действительным, но с очень точными и поэтическими подробностями времени, блистательно срежиссированными Хуциевым.

Замечательно талантливы там пластика и музыка режиссуры с помощью камеры Риты Пилихиной, отрывающие эту картину от других картин той “новой советской волны” режиссеров военного поколения.

Голос Шпаликова слышен наравне.

Култ мужской дружбы, верных и простых — “солдатских” — отношений, неприятие никакого, даже оправдываемого предательства. Всем делиться, ничего не скрывать и приходить на помощь по первому зову, откуда бы — из какой беды, из какого бы дна — он ни донесся.

Тут было и влияние прошедшей войны, и влияние правды о 37-м годе, и недолгое влияние республиканских идей, Хемингуэй, Испания. Тут было то, что если и не говорилось нами открыто — пафоса мы чурались, — то постоянно ощущалось в духе нашей компании. То, что переживалось и пелось. Особенно тогда, когда в нашу жизнь пришел Окуджава.

Тремя-четырьмя годами позже сидели в Ленинграде за столом на праздничной какой-то пирушке у моих друзей Володи Венгеро-

ва и его жены Гали. Окуджава с гитарой во главе стола. Товарищ его, Гриша Аронов, режиссер, попросил:

— Булат, спой “Комиссары в пыльных шлемах”^{*}.

Пауза. И Окуджава сказал:

— Знаешь, Гриша, я пересмотрел свое отношение к Гражданской войне.

Но тогда пока еще, могу сказать не стесняясь, мы были последним оплотом романтизма. А он тем и отличается, что желаемое превращает в действительное — хотя бы ненадолго, хотя бы на время одного застолья, одного объятия, одного стихотворения.

Романтизм и конформизм? Да, они совместимы. Иногда, к несчастью, именно романтизм и является причиной конформизма и еще кое-чего похуже. В лучшем случае конформисты — это еще и те, кто радуется, когда удастся не совершить подлость.

Я не оправдываю, но и не осуждаю конформизм советского времени. Я, вместе со всеми переживший это время, понимаю его. Понимаю, что порой он был необходим и спасителен для сохранения огня. Однако в любом своем виде конформизм всегда лукав. Так или иначе, он все равно имеет в виду ту или иную выгоду — то ли личную, то ли общественную.

Шпаликов был прежде всего романтик, а не конформист. Он был совершенно искренен и бескорыстен. И действительно верил безотчетно в нелепую эту страну и действительно верил в “картошку, которой спасались в военные годы”.

Однако страна как-то в последнее время не очень отвечала ему взаимностью, и это было совершенно ему непонятно. Страна, правда, распевала “Я иду, шагаю по Москве”, но знать не знала о том, как худо автору этих романтических слов.

Во все времена в этой стране под легкий плащ Моцарта надо поддевать грубый свитер Сальери.

В болшевском номере он ставил перед собой на столе фотографию дочери и подаренную Некрасовым маленькую — в рамке — репро-

* Песня Б. Окуджавы “Сентиментальный марш”. (Примеч. ред.)

дукцию с картины Утрилло. Зимний денек, Монмартр... Париж, где он не был и никогда не побывает. Надевал на голову красный вязаный — детский — колпачок. И писал.

Среди всех “подсунутых” свидетельств нашей жизни в Болшеве — в последний год нахожу и такое. Узкая бумажка и на ней адрес — оранжевым фломастером: “26 июля. В. П. Некрасов. Крещатик, дом 15, кв. 10”.

Вспоминаю и не могу точно вспомнить: зачем он мне дал адрес Некрасова? Скорее всего, ему в голову пришла такая идея, что я немедленно должен ехать в Киев и увидеть “Вику”.

В Киев я приехал много лет спустя — к сыну в гости. И, действительно, пришел по этому адресу. Дом 15 в Пассаже — мемориальная доска. Виктор Платонович с вечной папирсой.

Некрасова я узнал гораздо раньше, чем Гена. Еще в детстве. Это опять все тот же дом на Смоленской, квартира моей бабушки, квартира моих некровных родственников — Раечка Линцер, Игорь Сац. И двоюродный брат Женя.

Гена крепко поддружился с Некрасовым во время “Заставы”, конечно, через Марлена Хуциева, которого он называл — Мэн.

Мне рассказывал мой сокурсник Женя Котов, он снимал тогда комнату в домике на Волхонке, напротив музея... На рассвете проснувшись, подошел к окну. По совершенно пустой улице идет на руках Гена Шпаликов, а Некрасов поддерживает его за ноги. Это они отпраздновали первый — дохрущевский — рабочий просмотр уже готовой “Заставы”.

Ночь, проливенный ливень только что прошел. Я веду от себя к Илье Нусинову совершенно пьяных Некрасова и Шпаликова, я почему-то трезвый. Мы идем по черному, мокрому асфальту по центру Сивцева Вражка, я между ними, держу их под руки. Вдруг — запоздавшая молния, и над нами ослепительно взрывается какой-то троллейбусный, что ли, провод и падает, раскаленный, на нас. Я толкаю их, и успеваем шарахнуться в стороны. А они даже не заметили, продолжали смеяться и нести какую-то пьяную остроумную чепуху...

62-й или 63-й? Точно конец июня, потому что это день рождения нашей общей подруги Юли Ануровой — в “квартире без взрослых”, на улице Горького ближе к Маяковской, рядом с магазином “Грузия”.

Компания собралась тогда под вечерок та еще.

При мне в маленькой комнате, почему-то заваленной томами “Британской энциклопедии”, знакомятся Виктор Некрасов и Владимир Максимов. Кира Гуревич, жена Генриха Сапгира, танцует с Аликом Гинзбургом. А сам Генрих читает кому-то стихи. Был ли там Холин? Здесь же и Валя Тур, и Олег Целков, и Давид Маркиш, и еще, еще, кого уже и не вспомню.

К рассвету стоим и курим на балконе, над двором, напротив служебного входа в театр Моссовета. Маркиш и я. И вдруг решаем немедленно увидеть Шпаликова. Некрасов горячо поддерживает нашу инициативу.

Звоним Гене, будим, он в восторге. Ловим машину, едем в “экспериментальный квартал” в Черемушки, где он живет с Инной, — в их квартире никто из нас еще не был. Выходим из машины, Гена, в трениках и тапочках на босу ногу, радостно улыбаясь, идет навстречу. Полшестого утра, на улице, кроме нас, никого. В одной руке у него бутылка пива, на ладони другой — огромный красный вареный рак.

Тут есть некоторая странность с той запиской с киевским адресом Некрасова — она помечена 26 июля, а ведь 10 июля Некрасов с женой подали документы на выезд из СССР — о чем Гена прекрасно знал — и уже 28-го того же июля получили разрешение.

Сейчас, подумав, я объясняю эту странность так. Гена — хотя даже пытался через некоторое знакомство содействовать отъезду — подсознательно не верил в это, не хотел верить, не хотел расставаться. Для него тогда этот замечательный человек, настоящий фронтовик из “лейтенантов”, годившийся ему в отцы, значил очень много.

И, может быть, если бы Некрасов не уехал...

В августе я вырвался из Болшева — ура! “Вооружен и очень опасен” закончен и даже принят. Я наскоро покидал свои вещи в чемодан...

...И нелепо ли бяше! — а лепо,
Милый Паша, ты вроде Алеко
И уже не помню кого,
Кто свободен руками, ногами,
Кто прощается с Соловками!
А к тебе обращается узник,
Алексеевский равелин...

Он печально стоял вверху лестницы, а я — скотина — весело сбегал по ступенькам с чемоданом.

— Возможно, больше никогда не увидимся, — сказал он.

Я остановился. Что говорится в таких ситуациях? Что-нибудь банальное.

— Гена, прекрати! Не сходи с ума!

— Ты не знаешь, я тебе не говорил, у меня цирроз печени.

Я, положим, знал.

— Гена, перестань! Ничего с тобой не будет!

Верил я в то, что говорил? Удивительно, но верил. Я ни на секунду представить не мог, что его может не быть.

Был конец лета. Он тоже наконец покинул “Алексеевский равелин” — Болшево и перебрался в Москву. Я в то время почти всегда был в Ленинграде, на “Ленфильме”. Мы редко, но встречались. В основном все в том же ресторане Дома кино. Он вроде бы не пил, но “на люди” его, видимо, тянуло.

Как-то вижу — со своего столика, где сидел с Княжинским, — он напротив, на банкете. Застолье в связи с выходом картины “Последняя встреча”, которую снял режиссер Бунеев по сценарию Адика Агишева.

Самого Адика почему-то не было. За столом сидела его падчерица Ира, красивая девочка, моя будущая жена, о чем ни она, ни я не подозревали. А банкетом руководила ее мама, Нора Агишева, моя будущая теща, о чем она никогда не узнала. Нора очень любила Гену, да, собственно, как и все. Он сидел рядом с ней. И увидев наши с Княжинским взгляды, поднял вверх бутылку вина и жестом показал, что к вину не притрагивается. Так ли это было на самом деле?

И надо же, какое подходящее название — “Последняя встреча”.

И все же не последняя. Я увидел его в мрачный день панихиды по Шукшину. И даже тогда он удержался. А ведь это было уже в первых числах октября. Значит, оставалось меньше месяца.

Тридцать первого октября вечером мы, несколько друзей, решили вести отныне исключительно культурный, а не богемный образ жизни. В связи с чем и отправились в Малый Гнездниковский переулок, где находилось Госкино СССР. На втором этаже в зале председателя наши друзья-переводчики Леша Стычкин и Гарри Статенков устроили для нас полулегальный просмотр “Крестного отца”. Первую часть, первый раз.

Вышли под большим впечатлением. Некоторое время топтались на улице, борясь с желанием отметить это впечатление в ресторане Дома кино. Побороли. И разошлись. В разные стороны.

Жил я тогда дальше всех — на Сиреневом бульваре. Я сел в метро на площади Революции и минут через сорок позвонил в дверь квартиры. Мне открыла Нора, моя вторая жена, уроженка города Одессы. И сразу же — я еще был на пороге — сказала:

— Шпаликов повесился. Тебе звонил Горин. Сейчас будет звонить еще раз.

— Да? — сказал я спокойно, зафиксировав только звук первых двух слов, но не их чудовищный смысл. Ни мозг, ни душа не могли еще допустить, чтобы Генки больше никогда не было.

Я прошел на кухню, где на пластиковом голубом столике стоял телефонный аппарат. Сел к столу. Звонок. Я снял трубку. Да, Гриша Горин, из Переделкина, из Дома творчества писателей...

Когда человек умирает, он становится чужой собственностью. Тогда было другое время, и смерть знаменитого человека была просто горем. Сейчас она приносит доход и рейтинг. Вокруг памяти Шпаликова и Инны Гулая неутомонно шакалят и беснуются до сих пор. Сколько неправды, сколько лживых фантазий, достаточно только окунуться в интернет.

Я верю только взволнованно-покаянному “Письму вослед” Оли Сурковой, свидетельницы предпоследних часов Гены сначала на Новодевичьем кладбище, где открывали памятник Михаилу

Ильичу Ромму, потом в кафе в гостинице “Юность”. Она пишет, что он пил сухое вино. Заказал две бутылки.

И, конечно, верю тому, что рассказал Гриша Горин. Его удивило, что Гена не был на завтраке в столовой Дома творчества и не вышел к обеду. И он вместе с поэтом Игорем Шкляревским пошел в коттедж, двухэтажный “охотничий домик”, — постучать в дверь к Шпаликову на втором этаже.

Потом они принесли лестницу, приставили к стене дома. Гриша Горин, медик в прошлом, работавший на скорой помощи, заглянул в окно...

Когда взломали дверь, то, кроме всего небольшого прочего, обнаружили на столе выпитую до половины бутылку сухого вина. По-видимому, вторую бутылку из кафе “Юность”, сунутую в карман его зеленой брезентовой куртки, после того как он остался один и отправился в Переделкино. Но я еще знаю, что он — одновременно с вином — принимал сильнодействующие индийские транквилизаторы.

И еще, конечно, там был этот шарф, длинный, которым он обматывал шею, когда выходил на улицу в холодную погоду. И обмотал последний раз, привязав другой его конец к крюку в стене рядом с умывальником.

Смертельный шарф. Который окажется потом в моих руках.

Мы все в те ноябрьские дни существовали как в каком-то тумане, в бреду. Но — словно автоматически — делали все, что полагается в таких случаях.

Место у Генки было — на Ваганьковом. Тогда там были похоронены его любимая бабушка и отчим. Правда, секретарь партийной организации Союза кинематографистов СССР, отставной полковник Паша Котов, выразился в том смысле, что вообще-то самоубийц хоронят за кладбищенской оградой. Но мы с мнением партии не посчитались.

Но и без этого бреда было достаточно, причем даже в шпаликовском стиле, словно он сам, как обычно забавляясь по поводу жизни и смерти, придумывал все это для какого-то сценария.

Нам, мне и нашему другу Юре Хорикову — тогда еще военному переводчику, офицеру, что, конечно, нравилось Гене, — было поручено обеспечить гроб.

Но было это совсем не простое задание. По чьему-то опытному совету меня снабдили бумагой на бланке Союза за подписью кандидата в члены ЦК, депутата Верховного Совета, первого секретаря Союза кинематографистов Льва Александровича Кулиджанова. Юра Хориков должен был сыграть роль силового прикрытия.

Тогда, как войдешь за ограду Ваганьковского кладбища, налево была контора ритуальных услуг. Тесное пространство было буквально набито плачущими, кричащими, возмущенно скандалящими родственниками и друзьями, рвущимися без всяких специальных бумаг к стойке, за которой стояла уже совершенно обалдевшая ритуальная тетка.

Хориков в обход очереди прокладывал дорогу в плотной массе тел, я сжимал бумагу и мужественно переносил оскорбления, в основном социального характера. Но пробились. Бумага с чьей-то резолюцией подействовала. Тетка начала оформлять. “Рост?” Как-то я никогда не задумывался, какого он роста. Посоветовались с Юрой. “Около ста восьмидесяти”. — “Запишем: сто семьдесят девять”.

Получили квитанцию и, стыдливо пряча глаза, стали пробиваться назад к двери. Вдруг слышу:

— Мужчины! Вернитесь! Вы! Вы!

Вернулись. Что-то в последний миг — к счастью — остановило тетку.

— Вы что, — спросила она, — ребенка хороните?

И оказалось, что из ста семидесяти девяти сантиметров нужно вычесть сто сантиметров — по пятьдесят от головы и от ног. Значит, когда она спрашивала, то имела в виду не рост покойника, а рост, размер гроба. И значит, если бы она нас не остановила — спасибо ей! — в морг, откуда предстояло забрать Генку, был бы доставлен детский гробик.

И это был еще не последний эпизод гиньоля тех дней. Когда уже на кладбище мы длинной вереницей сопровождали каталку — слава богу и тетке: с полноценным гробом, — выяснилось, что могильщиков нет, а могила еще не вскрыта. Так и простояли не меньше часа под ноябрьским тусклым дождем с гробом на руках в ожидании, пока найдут, конечно же, пьяных могильщиков...

Незадолго до того, как я “попрощался с Соловками”, подходил от конторы к главному корпусу нашего Дома творчества.

Справа от входа, от веранды, там был спуск в котельную. Шпаликов не видел меня, а я его почему-то не окликнул. Потом он мне объяснил, что решил избавиться от лишних бумаг, черновиков, тетрадей и сжечь это все разом в топке. Наверное, при этом пошутили про Гоголя.

Но эту сгорбившуюся под притолокой фигуру человека с кипой бумаг в руках, уходящую под землю, я запомнил. И это как-то странно — так мне, по крайней мере, показалось — рифмовалось с тем, как мы четверо, Саша Княжинский, Юлик Файт, Юра Хориков и я, спустились за ним в подвал морга.

На самом деле это был подъем — к его посмертной известности, такой даже при жизни не было. И особенно широкой в нашу эпоху интернета.

Но ведь не ради же этого...

Мне кажется, это было воскресенье. Во всяком случае, этим могло объясняться, что в ледяном подвальном морге была всего одна дежурная служительница. Совершенно, как полагается, дантовская старуха в синем халате.

Ребята выносили гроб, а я этот самый проклятый шарф.

— Брось его! — крикнула мне старуха сердито. — Брось! Не надо его трогать!

Я бросил. Она добавила:

— Не убивайтесь, что удавился, он у вас был не жилец.

Раннее стихотворение Гены, наверное еще “суворовского времени”:

...Дни люблю
 пить,
Буду сухарь грызть
И все равно —
 любить.
Даже без рук
 и ног

И с пустотой впереди
Я б добровольцем
не смог
В небытие уйти...

Я до сих пор не могу понять — почему он это сделал?

Искал самые разные объяснения. В разные времена думал по-разному.

Его любили все, думал я, его поначалу легко и приятно было любить. Но по-настоящему в его жизни не было любви, которая могла бы его спасти и удержать?

Но любви-то в общем, не хватает всем. Любви, сколько бы ее ни было, никогда не может хватать.

Я даже стал писать пьесу об этом. Героем ее был некий Лейтенант, неизвестно откуда появляющийся в шальной и многолюдной “квартире без взрослых”, которую я так или иначе скопировал с квартиры нашей подруги Юли Ануровой.

Герой был такой Орфей, спускающийся в ад, и вместе с тем, отчасти — Лука из “На дне”, утешитель и обманщик. В финале он не кончал с собой, а просто исчезал. Оставив в странном недоумении и одиночестве всех, кого он смог и успел увлечь за собой в придуманную им для каждого реальность.

Было время, ему всячески благоволило начальство. Особенно после “Я шагаю по Москве”. Я даже шутя называл его “большая русская надежда советского кино”. Ему тогда позволялось многое. По тем временам сценаристу получить для собственной постановки картину — это было событие. А он получил и очень хорошо снял “Долгую счастливую жизнь”, как своего рода дань непреходящему увлечению картиной Жана Виго “Аталанта”.

Я думаю, что, если бы тогда он удержался в режиссуре, все могло бы пойти по-другому. Но режиссура — это ведь не просто профессия, а еще и образ жизни. И этот образ он менять не собирался. Что, по доходящим до меня из Ленинграда слухам, он и подтверждал — разнообразно — во время съемок.

Из стихотворения “Воспоминание о Ленинграде 65 года”:

...Ах, Черная речка,
Конец февраля
И песня, конечно,
Про некий рояль.

Еще была песня
Про тот пароход,
Который от Саши,
От Пресни плывет.

Я не приукрашу
Ничуть те года.
Еще бы Наташу
И Пашу — туда.

У начальства картина любви не вызвала. Даже получение премии на фестивале в Бергамо его не смягчило. Видимо, Гена становился неудобен.

Он захотел поставить “Скучную историю” по Чехову — ему не дали.

Свалить его самоубийство на затравленность властью и временем, как делают сейчас какие-то очередные “исследователи” и “биографы”?

Начальники его и забавляли, и злили, и удивляли, хотя он всегда был готов оправдать любого. Но не более того. Отношения с начальством и отношение начальства к нему не занимало в его жизни того места, как, скажем, у Тарковского.

Я не помню, чтобы мы с ним в 68 году обсуждали события в Чехословакии.

Из Югославии я вернулся в Москву 18 августа 1968 года. Тогда там все было рядом. И Чиерна-над-Тиссой, и простуженный Дубчек, и Брежнев, укрывающий его шинелью. Каждое утро я покупал “Борбу” или “Политику” и жадно — по складам разбирая сербский — узнавал то, что не смог бы знать в Москве.

В Белграде Вайншток договаривался со студией “Авала-фильм” о совместной постановке “Всадника без головы”. Все лоп-



ен русская лс
горы пш.
Горы - Москва - много
15 окт. 1905
Н. А. Паша

нуло, конечно, в один этот день — 21 августа, когда танки вошли в Прагу.

Когда — за два-три дня до этого — мы ехали по Венгрии, на встречу шли платформы с танками. И цыганята забрасывали наш поезд камнями.

В начале сентября я встретил Гену на Новослободской улице, на пороге студии “Союзмультфильм”. Он делал тогда вместе с Андреем Хржановским “Стеклянную гармонику”.

Из интернета:

“Фильм-аллегория о судьбе искусства (чиновник разрушает мир, населенный деятелями искусства, взятыми со знаменитых портретов) построен на превращении образов мировой живописи”

Мы тогда у “Мультфильма” невесело пошутили и разошлись. Конечно, в 68-м он был уже не тот ясный и солнечный Шпаликов, как во ВГИКе и во время “Заставы”. Но все же до 74 года было еще шесть лет.

Незадолго до смерти он написал подряд два категорически “непроходимых” сценария. Безденежье, бездомье? Ну да, да! Травило его и это, загоняло в тупик, но не было, думаю, главной причиной.

Каждая эпоха со времен еще очень давних разными способами убивает хотя бы одного своего поэта. Одного? Не мало ли? Бывало, что и поболее, особенно если вмешивались очередные императоры, вечные хозяева нашего хлеба и наших зрелищ. Но веревка, пистолет, бритва всегда в собственной руке.

И, конечно, болезнь. Та старуха в морге недаром ведь каркнула про то, что не жилец, значит, видела результаты вскрытия. И, кроме дежурного свидетельства об асфиксии, там было, видимо, нечто безнадежное о его несчастной печени, в которую он столько лет безжалостно впрыскивал алкоголь.

Я просто физически чувствую иногда, как его постоянно мучила тоска, та, что “с костями сгложет”. Тоска — это ведь только твое, ее никому не поведаешь до конца, ни с кем не разделишь. Тоска его растворяла, наверное, все причины и следствия, все бессознательное и сознательное. И просто глодала, глодала...

Ницше: “Мысль о самоубийстве помогает переживать мучительные ночи”.

Ночь — пустыня, в которой ты совершенно одинок.

Самоубийство — иллюзия, которая кажется выходом.

И обида. И вызов, и месть, и бессилие. И сила отчаянной воли, которая все сильнее и неотвратимее натягивает шарф, привязанный к крюку в стене.

И все равно я виню время. Нет, конечно, не время спаивало наше поколение. Но все же все было бы не так, если бы все было не так.

А себя? А нас? Тоже. Винил и виню до сих пор.

Точно злой ветер носил нас в ту ночь по Москве.

Начали, конечно, в ресторане Дома кино. А где ж еще было поминать Гену? За длинным — основным — столом было много народу. Но поминали его за каждым столом в ресторанном зале, все больше и теснее объединяясь. Плакали, говорили речи со спазмом в горле, ссорились, мирились, клялись...

А потом как-то так стали разбредаться по городу, кто куда.

Я каким-то образом оказался где-то возле Большого театра в мастерской художников. Коли Серебрякова и Алины Спешневой, Сережи Алимova? Здесь тоже все объединялись, и пили, и горевали, и смеялись, и пели.

Но и оттуда меня вынесло — уже ближе к утру.

В квартире Вали Тура на Лесной была Белла Ахмадулина со своим тогдашним мужем Эльдаром Кулиевым, он, правда, уже спал в соседней комнате. Еще там были Катя Васильева и Миша Рощин. Если мне не изменяет память — Таня Лаврова. И Боря Мессерер.

С того дня я уже всегда видел Беллу и Борю вместе...

Выпивка кончалась. Горькая стихия прошедшего черного дня и хмельной ночи не давала расходиться. Решили идти в ресторан Белорусского вокзала — то еще местечко по тем временам, — который открывался в шесть утра.

Зал был почти пуст. Два-три уголовника.

Наш вход был предельно экзотичен. Впереди шла Катя в Беллиной белой балкарской папахе — подарок Кайсына Кулиева, отца ее мужа. И с моей сигарой. Тогда я, перекурившись сигаретами чуть ли не насмерть, по совету Илюши Авербаха перешел на си-

гары, причем очень хорошие, кубинские, которые в Москве были на каждом шагу в табачных киосках.

Сели. Катя, уже без папахи, положила головку на решетку, закрывающую батарею, и задремала. Подошла злая утренняя официантка. Заказ наш был скромный — сообразно со средствами — но выразительный. Официантка молча слушала, косясь на спящую Катю. И наконец сказала:

— Ничего не принесу! Ни селедку, ни картошку, ни водку! — Кивок в сторону Кати. — Пока эта... не проснется!

Мы не успели возмутиться, а Белла уже произнесла этим своим единственным чарующим — Беллиным — голосом:

— О, что вы? Что вы! Сон женщины священен.

Действие этого голоса, и этих слов, и этих глаз было такое, как если бы с пропитой официанткой ресторана Белорусского вокзала, привыкшей в основном к блатной фене, вдруг заговорил ангел. Она как будто бы даже на мгновение впала в транс и, тихо воскликнув что-то вроде “о, господи”, исчезла. Просто растворилась, оставив наши жаждущие души в полном недоумении.

Но очень вскоре возникла вновь с закусками и бутылкой, кроткая, тихая и не отрывающая взгляд от дружески улыбающейся ей Беллы.

Может, она потом поступила в Литературный институт?

Смерть — главное событие в жизни поэта, как считал Мандельштам.

Смерть как высшее проявление индивидуальности. Все что угодно может быть сравнимо, даже мысли, сны, привычки. Но смерть — только твоя.

До этого мы вели себя так, словно не знали, что умрем. Смерть Шпаликова была первым ударом по бессмертию, в котором мы не сомневались. Со временем этих ударов становилось все больше, но постепенно мы как-то притерпелись.

И как всегда, смерть спешит доказать, что жизнь не имеет никакого значения. И как всегда, судьба опровергает все ее доказательства.

Закрывает человек глаза, умирает с ним любовь. Или не умирает? Или бессмертная душа это и есть любовь?

Запись 1974 года:

“Снова Болшево, перепечатаваю Генкины стихи. Для книги, которую собирает Рита Синдерович”.

Рита... Тогда она работала в сценарной студии, потом в Союзе — в Комиссии по кинодраматургии. Сколько сценариев она напечатала на своей машинке в своей коммунальной квартире! Помощница и подруга. Шпаликова, Андрона Кончаловского, братьев Ибрагимбековых, моя.

Первой книги Шпаликова 1979 года в суперобложке с картинкой работы Миши Ромадина, давно ставшей букинистической редкостью, не было бы без нее. И без Анатолия Борисовича Гребнева. Он уступил Шпаликову свою очередь в издательстве “Искусство”. И этим тоже пусть будет помянут.

Да и вообще книжка “проходила” нелегко. Все-таки “самоубийц надо хоронить за церковной оградой”.

Тогда была пушена в ход тяжелая артиллерия. Евгений Иосифович Габрилович в этом 1979 году получил звание Героя Социалистического труда. Для сценариста это была невероятная награда. Я созвонился с Алешей и поехал к ним на Аэропорт. Старик, ни на секунду даже не задумавшись, не читая, подписал написанное мной — осторожное, чтобы не спугнуть, — предисловие.

“Он умер неожиданно и рано...” — написано там, чтобы не преступить табу.

Просто умер. Что в этом удивительного? Каждый советский человек имеет право умереть. И даже неожиданно.

“...Петр Тодоровский... это прежде всего его стараниями Геннадий Шпаликов стал посмертно знаменит как поэт...” (журналист Олег Кашин, рецензия на сериал Валерия Тодоровского “Оттепель”).

Прежде всего этому легкомысленному заявлению удивился бы сам Петр Ефимович, наш любимый Петя. И покойная Рита Синдерович. И мы все.

Запись 1975 года:

“Читаю Генкины дневники: 55–57 гг. Какой славный, чистый и простодушный мальчик, как он хотел успеха. Перепечатал для журнала ‘Искусство кино’ и все время перечитываю. В них есть



Ваганьковское кладбище. 1 ноября. Вверху: Т. Княжинская, В. Валуцкий, М. Синдерович, Н. Рязанцева, А. Миндадзе, П. Финн, И. Чернова и А. Княжинский. Внизу: Ю. Файт, М. Синдерович, П. Финн, А. Княжинский.





Вверху: А. Гребнев и П. Финн.

Внизу: А. Княжинский, А. Ромашин, А. Хржановский, А. Смирнов.



Генка. Когда печатал, вдруг в каком-то месте ‘сжало горло’... Так вдруг остро стало жалко Генку, до слез”.

Запись 2005 года:

“Все последние дни что-то в голове, в душе это Генкино:

Спой ты мне про войну,
Про солдатскую жену,
Я товарищей погибших
Как сумею помяну.

Все время. А сегодня стало так вдруг его не хватать — погово-
рить бы с ним...

Спой мне, Гена...”

ОТВЛЕЧЕННЫЕ МЫСЛИ, НАВЕЯННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯМИ О ДМИТРИИ МЕРЕЖКОВСКОМ

П. К. Финну

Живет себе, не дую в ус,
Героем “Энеиды”,
Не в ГПУ — при Гиппиус,
На средства Зинаиды.

А тут — ни средств, ни Зинаид,
Ни фермы и ни фирмы,
И поневоле индивид
Живет, закован фильмой.

На языке родных осин,
На “Консуле” — тем паче
Стучи, чтоб каждый сукин сын
Духовно стал богаче.

Стучи, затворник, нелюдим,
Анахорет и рыцарь,

И на тебя простолюдин
Придет сюда молиться.

Придут соседние слепцы,
Сектанты и пижоны,
И духоборы, и скопцы,
И группа прокаженных.

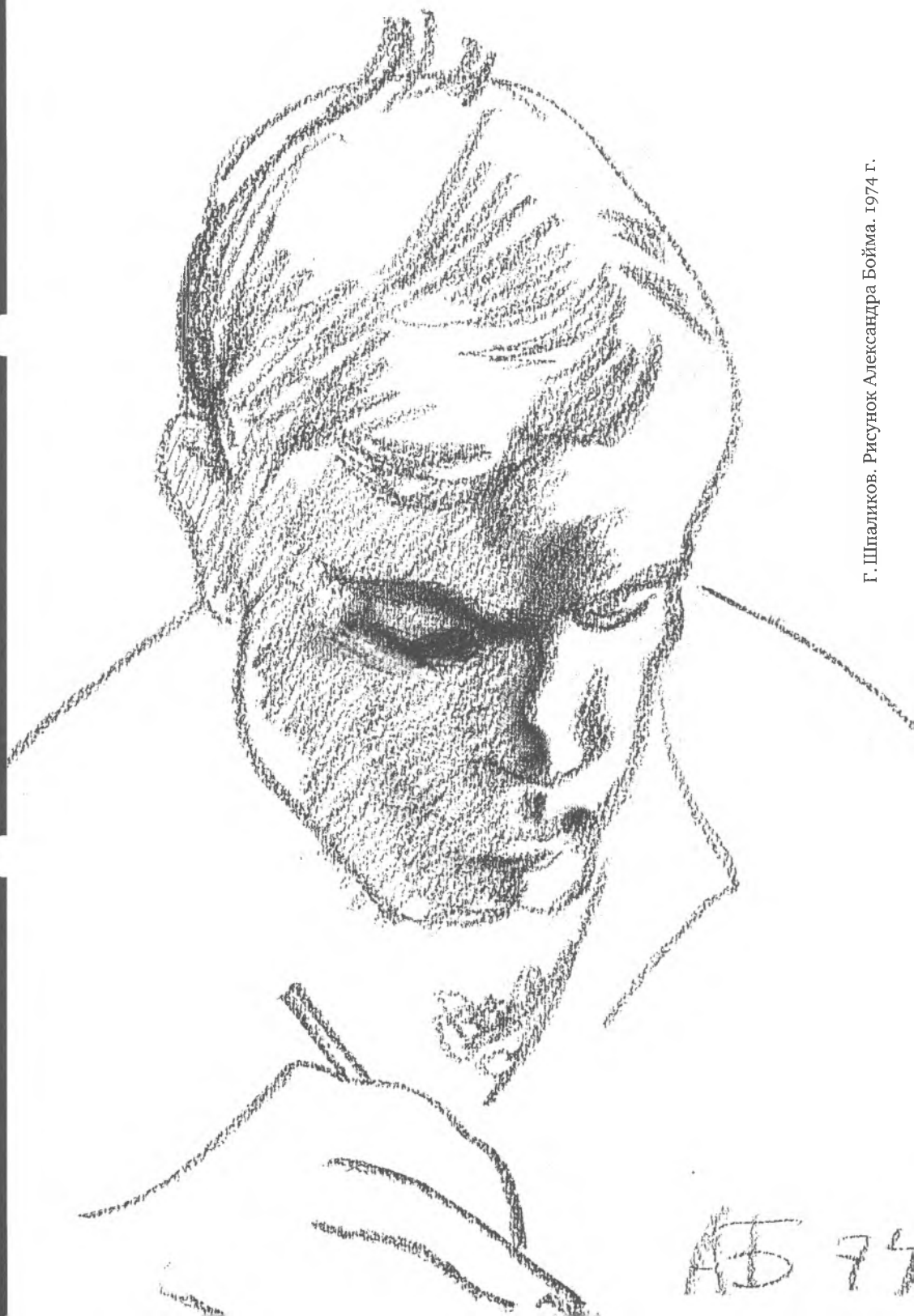
И боль и блажь простых людей
Доступна — ты не барин.
Хотя ты, Паша, иудей.
А что — Христос — татарин?

Я не за то тебя люблю,
Что здесь — и не однажды! —
По юбилейному рублю
Всегда получит каждый.

Ты не какой-то имярек —
Прошу без возраженья! —
Ты просвещенный человек,
Почти из Возрожденья...

Вот нет ни Гены, ни Беллы. Я открываю личный — виртуальный — музей реликвий, которыми я горжусь больше всего на свете и хвастаюсь. Экспонатов всего два. Маленький самолетик — от Ахмадулиной. И это стихотворение — от Шпаликова.

Сон про Шпаликова. Он стоял с микрофоном на каком-то возвышении и читал свои стихи. В кепке. Как тогда — на остановке возле ВГИКа. Увидел меня, улыбнулся, как улыбался только он. Радостно и конфузливо. И позвал меня. Я думаю, он звал меня из рая, а не из ада, где ему вроде бы полагается пребывать по статусу самоубийцы. Потому что Бог гораздо милостивее и справедливее, чем все толкования Его намерений и решений.



Г. Шпаликов. Рисунок Александра Бойма. 1974 г.

АБ 75

Дорогие Леле и Рик,-
во всяк я писал стихи, - это то, кем я был,
это могу сказать для вас, - к счастью,
и это есть, - стихи.

"И сны охоты."

В. Хлебников

Видят нас деревья, кусты,
люди, те, что во сне не застыли,
обходят Окружные мосты,
или Киевские, или Ветер

да, и сны охоты, охоты,
и товарищи, кто пучил,-
а еще по реке пароход,
если только, конечно, имеет,

басня, теория, - все мне охоту,
хорошо, пароходы бегут,
опускается на светлые дни
в мещанину по форме охоты.

В зари мещанину. Кудри,
что бы ни было, не расстаете,
тихо вилла и вилла в зари
и умирать сны облеваные.

Мн.

Ага, милая, — е томе
люблю эти стихи, и, спасибо, ты их
компилишь.

Е мялю по лесе,
как мялю по гусе,
то тако — скар тхарево
и неле — томе скар.

Зрел ког-то пухи и вил,
пухи с везеица гурини,
ирека, лемя в востелч
иформе, то пи ирофил

кто пи? е ме јуло крво,
а скорел вил-киктро,
у ког-то, ме скарел ме
илен скар в вилто

илен пи иленит
ме Арбаре гур иленит.

В гило-лесе ед,
е ме гиле-срел,
иленит в иленит
иленит трел.

иленит ме крво,
как крвоице иленит,
е крво-то иленит
иленит гурел с иленит.

63, крвоице. / 2 ачел 74)

Спино в меру, и тождествен
в В. П. крвоице, и в крвоице
иленит, лесе, Арбаре, — гурел с
иленит. Ког-то, лесе, иленит гурел.



О ПУБЛИКАЦИИ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕДНЕГО СЦЕНАРИЯ Г. ШПАЛИКОВА

В распоряжении редакции оказались два варианта последнего сценария Г. Шпаликова “Воздух детства” (“Спой ты мне про войну”).

Изучение обоих вариантов позволило сделать вывод, что окончательным является тот, что находился на Киевской киностудии, для которой он и был написан. Сценарий готовился к постановке, и все этапы и перипетии этого процесса описаны в сопроводительном письме редактора студии В. Юрченко своему однокурснику, редактору Музея кино Г. Курбатову.

Тем не менее, публикуя сценарий “Воздух детства”, мы сочли необходимым привести предисловие к промежуточному варианту (“Спой ты мне про войну”) Павла Финна, опубликовавшего этот сценарий в журнале “Искусство кино”, а также финальную часть этого сценария, где наиболее характерно проявилась манера автора, мечтавшего о “нереальном кино”.

ПАВЕЛ ФИНН

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ СЦЕНАРИЯ

Г. ШПАЛИКОВА «СПОЙ ТЫ МНЕ ПРО ВОЙНУ»*

Вот полагал, знаю уже про все сценарии Шпаликова. А тут — неожиданность...

Пятого ноября семьдесят четвертого, в дождь, мы все — очень много тогда нас было — потрясенно похоронили его на Ваганьковском кладбище. Там у него место оказалось — рядом с любимой бабушкой, которая когда-то вязала ему теплые носки.

С того дня каждое первое ноября, в годовщину смерти, почти без пропусков, приходим на его могилу: положить цветы, постоять молча, посмотреть с печалью на его родное лицо в овале медальона — на надгробье.

Сначала нас собиралось там очень много, как в первый раз. Потом все меньше, меньше, меньше... А сейчас и совсем мало — в основном по естественным причинам.

Лет восемь назад пришли мы вдвоем с женой. Уже на подходе — с аллеи — увидели за решеткой ограды: какие-то незнакомые немолодые люди на могиле — выпивают. Подошли, познакомились. Соученики Шпаликова — суворовцы. Помянули вместе с ними Гену — у нас с собой тоже кое-что было. Поговорили, обменялись телефонами.

И в этом году, а это ведь год восьмидесятилетия Гены, номер моего телефона наконец пригодился. Позвонил Олег Юрьевич Олешко и сказал: в редакции газеты “Кадетское братство” у ее главного редактора Александра Шарифовича Салихова бережно сохраняется папка с письмами, ранними стихами и сценарием Шпаликова. Название этого сценария было мне неизвестно.

Я сразу поехал в редакцию, которая помещается в здании Академии имени Фрунзе. И открыл папку. На первой странице сце-

* Публикуется по: Финн П. Спой ты мне про войну. Повесть для кино. Публикация А. Салихова // Искусство кино. 2017. № 4. Опубликовано также: Финн П. Но кто мы и откуда. М., 2017
Это предисловие предшествовало публикации варианта сценария под названием “Спой ты мне про войну” (Примеч. ред.)

нария — почему-то он был напечатан на какой-то желтой бумаге, или она стала такой от времени, — название: “Спой ты мне про войну”. То есть строка из его песни для фильма Владимира Венгерова “Рабочий поселок”.

А пониже названия — рукой Шпаликова, его особым почерком: “Дорогим Гале и Валере на память. Спасибо, что вы есть. Гена”.

Валера — это Куделин, друг-суворовец. Оказывается, у него и его жены Гена в последний год, в дни бездомья, скитаний и тоски, порой находил приют и душевное тепло. Потому и “спасибо, что вы есть”.

А еще ниже — “1974 год. 4 апреля”.

И это меня удивило. Вернее, меня удивило все. И в первую очередь то, что не только не читал этот сценарий, но и никогда о нем не слышал. Ни я, ни такой же близкий друг Шпаликова — Юлик Файт.

А уж дата... 4 апреля 74 года! Значит, до конца оставалось семь месяцев!

Мы-то всегда считали, что последними его — непоставленными — сценариями были “Прыг-скок, обвалился потолок” и “Девочка Надя, чего тебе надо?”. Два сценария, а на самом деле — два крика отчаяния.

Но, выходит, был еще и третий, написанный чуть раньше и, возможно, недописанный, отложенный на время и к финалу превращающийся в наброски — в понятные ему одному эскизы.

Впрочем, оказалось, я не был первооткрывателем. Уже отправив сценарий в редакцию, уже написав это предисловие, узнаю... В “журнале прикладного киноведения” “Кинограф” за 2009-й этот же сценарий был опубликован под другим названием — “Воздух детства”. Вот именно из-за названия я и не нашел его в “Гугле”, который буквально перевернул в поисках.

Отличие не только в другом названии и в других именах. В публикации 2009 года есть и другие сцены. Однако нет неожиданных финальных сцен — их набросков — из этой публикации, которую вы будете читать. И что мне кажется особенно важным и трогательным — что эти столько лет сохраняемые желтые страницы передали нам сурововцы...

И все равно, хоть и незаконченный, недоведенный, вариант с первых же страниц увлекает тем, что умел и мог в сценарном ма-

стерстве только Шпаликов. Совершенно гармоничным соединением раскованности, чувственности и лиричности прозы, легкости диалога с необходимыми кинематографу зримостью, выразительностью, наблюдательностью и ритмом.

<...>

Прежде Шпаликов никогда не трогал в кино свое суворовское детство, из которого он был родом. Да и говорить об этом почти не говорил. Но душа его, конечно, все помнила. И вот, противореча своим же словам “никогда не возвращайся в прежние места”, за семь месяцев до смерти вместе со своим героем Алексеем он вернулся в Киев — в сценарии он город Н. или Н-ск.

Потянуло, значит. Хотя бы так — в сценарии. Туда, где у него и его друзей, таких же, как и он, детей и сирот войны, начиналась жизнь.

Долгая и счастливая? Или не очень?

ВИТАЛИЙ ЮРЧЕНКО

ПИСЬМО ГЕННАДИЮ КУРБАТОВУ *

Гена, привет!

Посылаю тебе последний сценарий Гены Шпаликова “Воздух детства”, который [должны] были снять на нашей студии. Дата на сценарии 1974 год. Привез его Ильенко Миша, чтобы снять свой дипломный фильм. Но работа затянулась по вине Гены, а помешала этому та самая пагубная страсть, которая не одного из нашего брата загубила. В общем, Гена запил.

Миша, не дождавшись сценария, снял другой диплом. Но со сценарием надо было что-то делать. И за него взялся Леня Осыка. Отношение к бутылке у них, к сожалению, было одинаковым, и Леня в конце концов тоже из-за нее уходил из жизни долго и мучительно.

Художника, как известно, надо судить по законам, им самим для себя установленным. Возможно, это касается не только творчества.

Гена же написал:

Никогда не возвращайся
В прежние места.

И далее:

Путешествия в обратном
Я бы запретил.

И вот он вернулся в город, который покинул после суворовского училища. Казалось бы, навсегда. Потом была военная служба, а потом ВГИК, самое счастливое время в его жизни.

Ну, с Лешей они пили, работа стояла, Гена подводил уже второго режиссера. Он уезжал в Москву, но и там дело не шло. Потом

* Публикуются по: Шпаликов Г. Воздух детства (“Я жив, здоров, учусь хорошо...”): Непоставленный сценарий. Переписка // Кинограф. 2009. № 20 / Публикация Е. Долгопят.

он совершил очень решительный поступок — он прошел в Киве курс лечения, уехал в Москву и там уж добровольно ушел из этого мира.

Мне кажется, что тут все дело в том, что он все хотел и не мог вернуть себе то ощущение счастья, когда

Бывает все на свете хорошо, —
В чем дело, сразу не поймешь...

А когда взглянул на мир неотуманенным взглядом, понял, что на дворе уже другое время и что было — то прошло. Он, видимо, не смог в душе с этим смириться. Это сейчас он великая фигура, а тогда, и я это видел, общаться с ним не очень хотели. Да, это было нелегко. В общем, Гену обходили стороной.

И он это не мог не заметить даже в том состоянии. Почему вот только Леня не стал лечиться с ним вместе, никак не пойму. Теперь вот несколько слов о редакторе несбывшегося фильма, той, кому адресованы прилагаемые четыре письма*.

Лидия Петровна Чумакова прибыла на студию, наверно, в 1949 году. После ВГИКа, естественно. Тогда вокруг были свои ребята. Чухрай, Хуциев, Алов и Наумов, Параджанов, и еще, и еще. Операторы, художники, артисты. Все постепенно уезжали в Москву. Ее редакторским дебютом был дебют Параджанова “Андриеш”. Но все постепенно уезжали в Москву. А она осталась. И даже перетянула в Киев из Москвы родителей! Она редактировала и лучшие фильмы Осыки “Каменный крест” и “Захар Беркут”. И последним ее фильмом должен был стать, наверное, вот этот. И вообще, она ушла (уволилась) со студии за год до пенсии. Не выносила уже атмосферу послеоттепельных времен. И судьба Гены, наверное, повлияла на ее настроение. Вот такие дела.

* Письма, о которых идет речь, ныне хранятся в Музее кино. В основном речь в них идет о готовности Шпаликова продолжать работу над сценарием. (Из коммент. Е. Долгопята.)

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ВОЗДУХ ДЕТСТВА*

Что такое — воздух детства?
Разреветься? Разреветься.
Разорваться — не на части,
Но отчасти — и от счастья.

ПОВЕСТЬ ДЛЯ КИНО

721

ВСТУПЛЕНИЕ

ХРОНИКА: Еще до начала нашей истории.

Лица людей Великой Отечественной войны. Война безжалостна ко всему живому. Самое живое — дети. Эта та самая трава, которая пробивается и сквозь городской асфальт.

Но и траву эту безжалостно уничтожала война.

Лица детей, моих ровесников. Скорбные, веселые, несмотря ни на что! В странных на сегодняшний взгляд одеждах. В рваных ватниках. В пилотках — зимой. В землянках. У сгоревших дотла домов, где только печные трубы обозначают жилье. У виселиц, с которых бережно снимают героев и кладут их на снег — тоже молодых, изрезанных, и босые они.

* Публикуется по: Шпаликов Г. Воздух детства ("Я жив и здоров, учусь хорошо..."): Непоставленный сценарий. Переписка // Кинограф. 2009. № 20 / Публикация Е. Долгопят.

...И пусть над всем этим будет песня.

Спой ты мне про войну,
Про солдатскую жену.
Я товарищей погибших
Как сумею помяну.

Тебя, Сергей, за Волгой схоронили,
Фанерную поставили звезду.
А мой старший брат погиб на Украине,
В сорок первом, сорок-горестном году.

Спой ты мне про войну
Да про тех, кто был в плену.
Я товарищей погибших
Как сумею помяну.

Всех без вести, всех без вести пропавших,
А сколько их пропало за войну!
Всех ребят, ребят, России не продавших,
Как сумею, как сумею помяну.

Спой ты мне про войну,
Про советскую страну,
Много стран на белом свете —
Я ручаюсь за одну.

Она меня мальчишкою растила
На трудный хлеб, на трудные [дела],
Ты одна на всех, моя Россия,
И защита, и надежда, и судьба.

...дети войны.

Она, война эта, останется и пробудет с вами до конца дней,
и дети ваши, не видевшие ничего, все равно вашими глазами
будут смотреть на мир, этот мир — праздничный, зеле-
ный — глазами остриженного наголо подростка около разры-

той общей могилы, куда опустили маму его, братьев, одногодков его...

В ноябре, сразу после праздников, дни пошли пасмурные, бесснежные, и летели они так стремительно и однообразно, что уже начинало казаться, что не было никакого лета и никакой иной погоды. Кроме этих сырых небес, когда встаешь в темноте и день куда-то сразу проваливается, весь при электричестве, а к шести уже совсем ночь.

День этот для нашего героя ничем не отличался от других. Будильник. Электробритва. Всюду горит свет. Однокомнатная стандартная квартира. Алексей холост, и это заметно сразу. Музыку включил, пока бреется. Босой, в старом халате. Тяжеловат уже. Бреется и читает какой-то ободранный журнал. Теперь в рубашку влезть. Из прачечной рубашка. Жесткая, крахмальная. И воротничок жесткий. Под прессом, что ли, крахмалят? Вот и пуговицы ломаются под пальцами. Ладно, можно и свитер сразу сверху натянуть. Вот и хорошо, в свитере, и воротник белый можно выпростать для свежести. Теперь все. Заглянул в холодильник — пуст. Двигается Алексей по квартире не быстро и не медленно, а как бы подчиняясь раз и навсегда заведенной программе.

Почтовые ящики на первом этаже. Сразу на весь подъезд. Вот с этого момента, с ящиков этих, и начинается по сути история.

Среди газет, телефонных счетов, какой-то легкомысленной открытки с летним пейзажем Алексей обнаружил твердый конверт.

Пока он долго добирался на работу (автобус, набитый до отказа, метро, два подземных перехода, лифт, размером с комнату, где все стояли вплотную), Алексей четко видел перед собой это письмо. А вернее, это был бланк. Отпечатанный на твердой, глянцевой бумаге типографским способом. Конверт лежал в кармане плаща, вполне реальный конверт. А письмо было не совсем реальное, — почему бы и нет? Это его, Алексея Соколова, приглашали в город Н. на встречу выпускников суворовского военного училища, поскольку со дня его основания исполнилось 25 лет. Все верно. И позже, на работе, Алексей стоял за своей чертежной доской в большой комнате, сплошь заставленной такими же досками, ярко высвеченной лампами днев-

ного света, и типографский бланк с приглашением был прислонен сбоку к чертежу, а сам бывший выпускник рассеянно смотрел в окно, на площадь, где трамвай под дождем заворачивал на круг. Зонты сверху, машины, дождь.

— Какое сегодня число? — спросил Алексей у девушки за соседней доской.

— Шестнадцатое, — сказала девушка, ничуть не удивляясь.

— Это ты точно знаешь?

— Еще бы. Я же с семнадцатого в отпуске, — сказала Марина.

Алексей посмотрел на приглашение. Ехать надо было к 19 ноября.

Новостью этой, этим письмом, Алексей и не собирался ни с кем делиться. Но так уж получилось, что за столом, во время обеденного перерыва, взяли они пиво, и девушка из конструкторского бюро, очень спортивная девушка, располагавшая к тому, чтоб при ней говорить разные слова — повеселее, поумнее и прочее, — и еще несколько нервное настроение, которое не покидало Лешу с утра, — все это вылилось вот в такой, — поначалу диалог, а потом и в монолог.

— ...Вот уж не подумала [бы] никогда, что ты военным был! — сказала девушка, рассматривая приглашение. — Поедешь?

— Не знаю... — сказал Леша. — А стоит?

— По-моему, — сказала девушка бойко, — все эти традиционные встречи — ужас... Никто никого не узнает. Но это еще ничего! Говорить не о чем! Потом все перепиваются! Это неизбежно! Верно я говорю? А главное, забываешь, как кого зовут! А танцы! Господи... Потом выясняется, кто умер, кто на пенсии. Ребята все женатые. Жалуются на семейную жизнь... А самое смешное, что это все совсем не смешно.

— А мы отлично посидели! — возразил один из ребят. — Пошли в "Будапешт". Отлично. А то, на самом деле, живешь в одном городе, а видимся слава богу если в метро, да и то на разных эскалаторах!

— А еще некоторые в баню по понедельникам ходят, — сказала девушка. — Есть еще такой способ общения. Ты не находишь?

— Нет, — сказал Леша. — А как ты думаешь, меня отпустят?

— Куда?

— Ну, по приглашению. На юбилей.

— Ты что, серьезно? — спросила девушка.

— Не знаю еще...

— Ну, поезжай, — сказала девушка. — Воображаю это веселье. У тебя, кстати, знакомых генералов, из молодых, нет? Не может там случайно такого оказаться? Не все ж, как ты. Кто-нибудь да в люди вышел.

— А зачем тебе генерал? — спросил парень.

— Не твоего ума дело, — сказала девушка. — Я с Лешей разговариваю.

— Генерал? — Леша задумался. — Генерал?... Беленький, Володаев, Вишняков, Захаров, Небольсин, Пекарь, Осмоловский, Петровский, Пархоменко, Поезжалов, Попов, Соколов...

— Ты что, Леша? — испугалась девушка, да и ребята смотрели удивленно.

— Нет, нет, — Леша покачал головой. — Не знаю, не помню... Вот список вдруг вспомнил взвода... Смешно, правда. А генералов, наверно, нет... Думаю, что нет... А тебе зачем?

— Замуж хочу, — сказала девушка раздраженно. — За молодого генерала. Понятно?

— “И на кофте кружева, и на юбке кружева, неужели я не буду лейтенантова жена?” — улыбнулся Леша. — Я, кстати, старший лейтенант, запаса, положим.

— И я, — сказала девушка.

— И я, — добавил парень. — Только я, кажется, младший лейтенант.

— Граждане офицеры, — сказал Леша, — что-то напала на меня ото всех этих разговоров тоска. И смоюсь я с работы. Как вы на это посмотрите, мое ближайшее начальство? — обратился он к парню.

— Давай твое приглашение, — сказал парень, — что-нибудь придумаем.

— Два дня, — сказал Леша. — Ну, три.

— А как насчет молодого генерала? — спросила девушка.

— Это надо серьезно подумать, — сказал Леша. — Ты можешь сразу же не уходить? Посиди.

— Пожалуйста, — сказала девушка. — Вопрос серьезен. Тут свидетели не нужны. Молодые генералы на дороге не валяются.

— Это уж точно, — встал парень, складывая письмо Леша. — Я на тебя надеюсь. Живым вернешься?

— Постараюсь, — сказал Леша.

Начальник Леша ушел, а они еще посидели молча в опустевшей столовой, в пустеющей постепенно, и Леша молчал, но вид у него был — наедине с этой девушкой — совсем иной. Растерян? Да нет, пожалуй. Сосредоточен? Тоже неверно. Был он в каком-то отстранении ото всего. И если б мог он сейчас что-то говорить, то ничего бы путного не сказал бы, и вот почему: навалилось это — бумажкой, письмом, формальным приглашением, — навалилось, это он не сразу почувствовал и никак не мог толком объяснить даже самому себе, что с ним происходит, потому что и слов никаких подходящих не было, да и не хотелось искать слов. И девушка, а звали ее Марина, тоже чувствовала себя неловко рядом с Лешей, но поскольку он попросил ее остаться, то она осталась, и еще осталась она все равно бы, если даже он бы ее не попросил, но сидеть в столовой вдвоем было уже ни к чему.

— Пошли отсюда, — сказал Леша.

— Куда? — спросила Марина, вставая.

— Ну, пошли, и все. У тебя часы есть? А, да, — посмотрел на огромные, квадратные, красные, на кожаном ремне часы Марины. — Идут?

— Нет, — сказала Марина, — что-то разладилось. Несовершенство конструкции.

— Штамповка? — спросил Леша.

— Нет, — Марина кулаком стукнула по столу. — Ручная работа. Неизвестный умелец. А, смотри — пошли! Семь часов шестнадцать минут чего-то! То ли утро, то ли что! По Гринвичу! По Гринвичу!

Вскоре они уже стояли на улице, и погода на самом деле была такая, какой ей следовало быть.

Только вечер ее чуть украсил, и фонари уже светились, блески мостовые, и ощущение сырости, которое днем преобладало, исчезло само по себе, а появилось в облике города то ве-

чернее славное состояние, когда деревья, уже темные, облетевшие, поблескивают, ветви светятся, мокрые, черные, и откуда-то, из переулков, от реки что ли, проплывает туман. Да, время это славное, особенно если не один, но и одному в такую погоду бывает хорошо, — исчезнуть, затеряться.

— ... Леша, — говорила Марина, запахнувшись в плащ.

— Что?

— Куда мы идем?

— Я еще не знаю. Мы вообще, Марина, еще недавно идем.

Мы еще соображаем... — Леша говорил не задумываясь.

— Ну, так, — Марина крепко взяла его под руку, — во-первых, во-вторых, у меня ноги мокрые. Понял?

— У меня тоже, — сказал Леша. — Ты бы вообще приоделась.

— И тебе бы не мешало.

— Мне — не мешает.

— Долго мы так будем разговаривать? — спросила Марина.

— Поехали куда-нибудь в тепло, — сказал Леша. — Можно ко мне. Но что у меня? Даже телевизора нет. И проигрывателя. И холодильник пустой, хотя можно чего-нибудь по дороге купить. Но это скучно. Чай вдвоем.

— Можно, — согласилась Марина, — но вдвоем как-то...

Пошли в гости, а? К твоим сослуживцам. К твоим генералам или даже не генералам, а вообще. У тебя хотя б телефон кого есть?

— Нет, — сказал Леша.

— Вот тип! — удивилась Марина. — И ни одного телефона нет?

— Нет, по-моему. Может, дома есть. Знаешь, поехали ко мне.

— Нет, — сказала Марина. — Зачем?

— Потому что я не могу сейчас быть тут вообще один. —

Вывалось это у Леша как-то сразу, внезапно, и он замолчал.

— Леша, — сказала Марина, — я, конечно, поеду. Ладно?

— Спасибо, — сказал Леша.

— Не стоит благодарностей.

Они стояли в толпе, в плотной вечерней толпе.

— Понимаешь, видеть никого не хочется, — говорил Леша.

— Бывает.

— А ты... я не знаю... ты домой поезжай, я же так. Ну, что мы с тобой, Марина, вчера знакомы или что... Я не обижаюсь, и все это блажь, ерунда, бред — одним словом... и ты не обращай на меня никакого внимания... это пройдет, завтра, и вообще я зря все это затеял... и вот, видишь, как все глупо, а ты веселишься подневольно... Я что, не вижу?... и вообще, — мотай-ка ты домой! Ну, что ты на меня уставилась?!

Пакет за пять копеек они купили в продовольственном магазине и сложили туда разные покупки, и пакет, конечно, порвался, пока они поочередно стояли в разных кассах, в разных очередях, — за колбасой, сыром, пельменями, и пришлось еще один пакет покупать, а потом Марина встала в очередь за луком, зеленым, а он продавался в секции самообслуживания, где на выходе все проверяют, что взято здесь, в этой секции, а что внесено, может быть, и незаконно, все это обошлось, и хотя и суеты было много, но не очень, и они еще посмотрели, как красиво вода в большой, чистой витрине обмывает непрерывно свежие овощи, выпили по стакану томатного сока, обмакнув ложки в соль, и, облегченно вздохнув, вышли на улицу, еще более потемневшую, хотя и при фонарях, — только ветер по ней вдруг подул, но им с такси повезло. Сели и поехали.

— Куда? — спросил таксист.

— На Н... вокзал, — сказал Леша.

— По Садовой или как? — спросил таксист.

— Все равно, неважно. Лишь бы побыстрее, идет?

— Идет, — согласился таксист, и они помчались.

— И... деньги у тебя есть? — спросила Марина. — Билетные хотя бы?

— Ты поедешь со мной?

— Зачем тебе все это, ты можешь толком объяснить? — Марина говорила раздраженно. — Зачем?

— Поедешь? — спросил снова Леша.

— У меня трешка. Видишь? — Она показала.

— Таксист, — сказал Леша, — тебе плащ не нужен?

— Какой плащ?

— Да вот, на мне, — сказал Леша.

— Нет, — сказал таксист не оборачиваясь, — спасибо.
— Он шутит, — сказала Марина, — это у него такая манера.
— Бывает, — сказал таксист.
— Стоп, — вдруг сказал Леша. — Марина, ты посиди. Я сейчас.

— Ты куда? — растерянно спросила Марина.
— Она — под залог, — кивнул Леша водителю. — Я скоро.

Такси остановилось около кафе. Не самое лучшее из кафе. Из тех, что днем — столовая, а вечером — кафе. Леша прошел сразу к судомойкам на кухню. Жара там, горы грязной посуды, и чистые тарелки сушатся, и женщины усталые в потемневших за день халатах. Леша жестом подозвал одну из них. Разговор был неслышен — о чем они. Из кафе, тем более, гремела музыка. Леша снял хороший, на подстежке, плащ. Женщина, бегло его осмотрев, пошла куда-то. Леша остался ждать. Вскоре женщина появилась и позвала Лешу в буфет. Там, за стойкой, он увидел немолодую и тоже усталую женщину. Она несколько удивилась, что Леша совершенно трезв, что он в белой рубашке, в галстук, — потому что плащи и прочие вещи люди продают с себя только с большого отчаяния, но Леша был спокоен, и вежлив, и молча ожидал своей судьбы — насчет плаща.

— Сколько возьмете? — спросила женщина.

— Вообще, я покупал за триста, но тут такое дело... — Леша развел руками. — Вы уж сами смотрите...

— Мне-то он не нужен. У меня мужиков нет... Сыну он вроде бы и дороговат...

— Давайте за сотню. Я вам паспорт покажу. Это мой, правда, — сказал Леша. — Понимаете, очень нужно.

— Да, я понимаю... — сказала буфетчица. — А свитерок не продадите?

— С плащом? — спросил Леша. — Пожалуйста. — Он уже приготовился и свитер снимать. — Только у меня на рубашке с пуговицами не очень в порядке, — вспомнил он.

— Вы сюда пройдите, — сказала буфетчица. — Вот сюда. — Она показала за малиновую штору. — Запрещено это. Понимаете?

— Исключительный случай, — сказал Леша. — Честное слово!

Из кафе Леша вышел очень скоро, в пиджаке, в ослепительно белой утренней рубашке. Веселый, уверенный. Сел рядом с шофером.

— Поехали! — Он обернулся к Марине, лицо его, мальчишеское, веселое. Улыбался победно. Марина и слова произнести не могла.

— Вот. — Леша протянул ей бутылку вина. — Положи в пакет.

— Что это?

— Это, Марина, вино. По-моему, от сердца, от души. Они все мне порывались пуговицы пришить, но я не дался. На живом человеке пуговицы пришивать — плохая примета, верно?

— Какие пуговицы? — Марина ничего не понимала.

— Понимаешь, Марина, прачечная имеет — безусловно — свои преимущества... Но вот беда: достигнув жесткости воротничков и манжет, они — не они — машины, ими закупленные у зарубежных государств за бешеные валютные суммы, ломают пуговицы... Так вот, эти милые женщины порывались все вместе пришить мне пуговицы, искалеченные валютной машиной.

— Где плащ? — спросила Марина.

— Какой плащ? — спросил Леша. — Не было никакого плаща. Не было и нет! Верно, товарищ таксист? — Леша прочитал фамилию на переднем щитке. — Товарищ А. Н. Свиридов?

— Это мой сменщик, Свиридов А. Н. — сказал таксист дружелюбно. — А я — Толя.

— А я — Леша, — представился Леша. — А она — Марина, известный летчик-испытатель. Фамилию вам, я надеюсь, называть излишне. Путешествует инкогнито...

— Что с тобой, Леша? Я тебя не узнаю...

Марина сидела на заднем сиденье, забившись в угол, молчала, а шофер, пока ехали, пустил по транзистору какую-то веселую музыку, — хорошо ехали. Леша более ни слова не говорил, не оборачивался.

Так до вокзала и домчались, развернувшись очень ловко, прямо у входа.

Поезд был, билетов не было.

— Нет билетов, — сказали им в кассе, — нет, понимаете?

— На любые, — просил Леша. — На крыше есть?

— Ничего нет.

— Товарищи, — вмешалась Марина (она несколько пришла в себя), — а мягкие?

— Ничего нет, — совсем не раздраженно ответила им женщина. — Поезд мира — все билеты.

— Мы тоже за мир, — сказал Леша, но как-то уже уныло, — честное слово, и вот Марина... она — пожалуйста...

И все-таки они уехали.

Правда, отчаявшись, едва не поругавшись (Марина уходила, Леша ее догонял), и было уже поздно, и в вокзальный ресторан, где можно было под музыку переждать лучших времен и обстоятельств, уже не пускали, и вообще уже никуда не пускали, где можно присесть спокойно, но постоять у буфета, где вовсю наливали горячий кофе, продавали бутерброды, — это все можно, но стоя, а Леша и особенно Марина устали, все же как-то им удалось пристроиться на длинной скамейке, где спали, ужинали, читали, дремали, разговаривали разные приезжие люди — со всей страны, судя по одежде, поговору, по безропотности к обстоятельствам вокзала и прочим неудобствам, и Марина с Лешей как-то пристроились среди них и ничуть не помешали никому, а напротив, им даже место уступили, отодвинулись несколько. Поэтому можно было раскрыть пакет, где лежали купленные продукты, и даже зеленый лук, и сыр, колбаса, пельмени, совершенно непригодные в данной ситуации ни для каких целей, поэтому подаренные в обмен на перочинный ножик одному из добродушных соседей по вокзальной скамье, который сунул эти пельмени в необъятный мешок, предложив еще (кроме охотничьего ножа) два отличных яблока, настолько огромных, белоснежных, что не казалось, а на самом деле, — эти яблоки излучали свет и были настолько свежи, зрелы, что легко разламывались пополам, распространяя вокруг необычайный аромат. А как хрустели они, эти яблоки! А как смотрел на то, как они хрустели, этот бородатый обладатель, очевидно, огромного сада, где эти плоды произрастали, в какой-нибудь Черниговской области или же в Липецком крае, который, как известно, знаменит то-

же яблоками, и Леша, чтобы не терять общения, спросил у бородача, куда он направляется:

— В Н-ск, — сказал бородач. — А вы?

— Мы? — спросил Леша. — Мы... Вина хотите?

— Пожалуй, — сказал бородач. — А что за вино? И хозяйка не против?

— Хозяйка ничуть, — сказала Марина. — Хозяйка, когда поест, даже ночью, она добрая. Так что приступайте. А я посплю, если не возражаете.

И она прилегла.

И Леша накрыл ее ватником бородатого человека.

— Жена? — спросил бородач, когда они выпили.

— Это у нее спросите, — сказал Леша. — Тоска у меня.

— Помолчи, слушай! — сказала из-под ватника Марина.

— Ну, вот. И поговорить нельзя, — вздохнул Леша. — Тоска.

— Ох, — Марина встала. — Пошли отсюда!

— Куда? — удивился Леша. — Сидим, все хорошо.

— Пошли. Я придумала.

— Но вот товарищ тоже в Н-ск едет, — сказал Леша. — Доберемся.

— Очень может быть, — сказала Марина, вставая. — Пошли. Спасибо за ножик и прочее.

И все-таки они уехали.

Поезд был на самом деле поездом мира. Такие поезда вот почему: дружелюбие преобладает.

И все-таки надо билеты предъявлять.

— Ты на каком-нибудь языке разговариваешь? — спрашивал Алексей, пока они шли в толпе иностранных делегатов и провожающих товарищей. — Ну, в размере средней или высшей школы?

— Со словарем. — Марина зевала, но была настроена решительно. — Ты помалкивай, главное. Вещей у нас нет и — молчи.

На платформе уже пели "Подмосковные вечера". Леша присоединился к поющим, провожающим. Марина с удивлением наблюдала, как он вдохновенно что-то говорил человеку явно ис-

панского вида, потом произнес речь, — короткую, — на каком-то странном языке, потом взял Марину за руку и решительно провёл в вагон. Билета у них не спросили.

Ехали они все же у кондукторши — Леша дал ей денег. Она постелила Марине на верхней полке, напоила ее чаем, а Леша, пока Марина устраивалась, прошелся по вагону, где в узком коридоре толкались разноплеменные делегаты, что-то говорили, жестикулировали, зевали, толпились около туалетов, кипяточника, штурмовали единственный в этом поезде буфет, — и Леша, сам не понимая зачем, шел и шел сквозь состав, раскрывая двери на переходах из вагона в вагон, и под ним грохотали стальные листы, хлопали за ним двери, встречались ему несколько ошалелые люди иностранного вида, но были и наши. А кого Леша искал? Того, с бородой. Нашел, а тот спал сидя, и между ног стоял у него мешок, и Леша не стал его будить, а пошел обратно и у раскрытого окна, — даже не в своем вагоне, — а в каком, он не знал, потому что забыл, в какой именно вагон они сели, встретил девушку в мохнатом халате с капюшоном, — халат на ней мягкий, цветной. Девушка была очень молодая, и никак она не походила на активного борца за мир, но пройти мимо нее было невозможно, потому что она была очень хороша, — это во-первых, а может, Леше так показалось при вечернем освещении. А может быть, окно было открыто у нее — единственное на весь вагон, и веяло прохладой из окна, — остановиться надо было, и Леша остановился.

Девушка чуть отодвинулась, давая возможность Леше встать у окна. И улыбнулась. Леша почувствовал, какой воздух уже из окна на ходу поезда, другой — лесной, полевой или еще какой, и он было хотел сказать об этом девушке, но сказать он не мог, и только оставалось ему провести ладонью по своему разгоряченному лицу, давая понять, что ему хорошо от того, что она чуть отодвинулась, и он тоже охлажден после духоты вагонной. Девушка молчала, и Леша поневоле спросил:

— Франсе?

— Да, да! — радостно сказала девушка, не вполне по-русски, но и по-русски, с тем милым произношением, которое всегда трогает.

- Москва. — Алеша показал на себя. — Леша, Алексей.
- Да, да! — еще более радостно сказала девушка.
- С какого ты года? — спросил Леша.
- Что? — силилась понять девушка.
- Хау олд ю? — спросил Алеша, вспоминая какие-то остатки, обрывки английского.
- О! — Девушка поняла. — Сорок пять! — Она даже на пальцах показала, пыталась показать. — Сорок пять!
- Да нет, — не поверил Леша, — тебе сорок пять лет?
- Рождение, это понятно?
- Понятно! Понятно! — обрадовался Леша. — Мой отец погиб в сорок пятом в Польше! Понятно? В Польше. Западнее Познани! Там эти фрицы разбитые бродили, по лесам, и там его стукнули... Понимаешь, убили? Я его не помню... Ну да ладно... Как тебя зовут? Вот забыл... Может, пойдем к нам, посидим? Еще не поздно...

Девушка не очень понимала, о чем он говорит, но лицо у Леша было растерянное, и говорил он о чем-то возбужденно, и она ничего другого не нашла, кроме как положить руку на его плечо.

Но тут открылся туалет, из него выскользнула женщина в пижаме, и француженка без имени, улыбнувшись, скрылась в туалете.

Леша еще постоял у раскрытого окна.

Было там темно за окном, и неслись мимо поля, темные уже, и только у горизонта светилось что-то в отдалении, и еще мелькнули белые мазанки какой-то станции, и поезд чуть было начал притормаживать, но потом снова набрал скорость, а девушка эта в мохнатом халате все никак не появлялась, а поговорить Леше хотелось хоть с кем-нибудь, но коридор вагона был пуст, и ничего другого не оставалось, как, прикинув, в какую сторону идти, направиться к своему вагону тем же путем, минуя грохочущие площадки, пустые коридоры, где и спросить было некого, что за вагон, пока, наконец, он не увидел Марину, которая сидела около кипятильника на откидной скамейке для кондукторов, накинув одеяло, и ждала его сонная, растрепанная.

— Ты не спишь? Что ты делаешь? — спросил Алеша.

— А ты что делаешь?

— Я по-французски разговариваю, вот.

— Понимаешь, она храпит, — сказала Марина.

— Кто? Проводница?

— Ну да.

— Сильно храпит?

— Послушай. — Марина отворила дверь служебного купе.

— У нас была спальня в училище на 200 человек, представляешь? Все храпели различно. Прямо капелла. Дирижировать можно, но никому в голову почему-то не приходило... Давай я ее разбужу?

— Не надо...

— Гуманист ты, Марина, — сказал Леша, открывая дверь в купе.

— Вставай, тетя. — Он тряхнул проводницу за плечо, но ласково. — У моей девушки от храпа аллергия, понимаешь?

— Что? — не поняла проводница.

— Она пятнами покрывается от головы до ног, — пояснил Леша. — Аллергия. Понятно? Наука пока что бессильна помочь. А вы тут еще храпите... А вы, Марина, ложитесь. Отдыхайте... — Он подсадил Марину на полку. — А я тут посижу с товарищем проводником. Все равно мне около вас дежурить... А вы, товарищ, не волнуйтесь. И не переживайте насчет вашего храпа. Икота, зевота, храп — это от нас не зависит. Феномен природы... А я — сопровождающее лицо... Человек при феномене, понимаете? Вот что вам, к примеру, снилось?

— Ничего еще не снилось, — хмуро сказала проводница.

— Здоровый сон. — Леша погладил ее по плечу. — Ну да ладно. Я тоже ложусь. Если я кричать буду во сне, вы не пугайтесь. — Леша забрался на полку к Марине. — Это у меня с детства... Я еще песни пою, могу запеть что-нибудь. Расцветали яблони и груши, например! Слышали такую песню? Моя любимая... — Леша поцеловал Марину в затылок, пристроился на полке боком и закрыл глаза...

Они проснулись, когда поезд медленно шел через реку. Это было на рассвете еще, и река внизу была серая, в островах, вытянутых

вдоль реки, большая река с лодками на ней, а еще в пролетах под мостом высились землечерпалки, но река была широкая, темная, со слабым, с высоты угадываемым течением. Долго они ехали; и Леша молчал, а она, Марина, из-за спины его смотрела на воду, соображая с трудом, что же это такое получилось, и каким образом она едет через какую-то реку на верхней полке, рядом с Алешей, да еще рано утром? Но спрашивать об этом было не у кого, кроме как у себя, а река внизу не кончалась, и Марина успокоилась на то время, пока еще Леша молчит, река не кончается, а по трансляции на весь состав пустили какую-то песню из новых.

Вскоре за окном медленно потянулись предместья; возникла огромная гора на противоположном берегу, покрытая сплошь осенними разноцветными деревьями; затем из-под моста (и мост был уже) выскочил первый городской трамвай, исчез; и потянулись пакгаузы, склады, товарные составы, и мелькнула вдруг среди путей, освобожденных от вагонов, цыганская свадьба — откуда? — пошли они пестро, вразброд, и дым от товарняка вдруг украсил и закрыл их мгновением.

На платформе, когда поезд остановился, Леша и Марина оказались в толпе сторонников мира, которых встречали все же, несмотря на очень раннее время; и эти молодые, разноплеменные люди были свежи, нарядны; яркая их одежда сразу украсила перрон; им были преподнесены цветы — огромные, наспех собранные букеты, которые рассыпались в руках, срезанные только что — осенние, неистовые цветы.

Леше и Марине тоже вручили по огромному букету, беспомощному букету, цветы сыпались, их невозможно было удержать, розовые, синие, голубые, лепестки, красные, в целлофане и без; ломкие, длинные стебли, но было это, при всей торопливости, при том что роняли цветы и тонули в букетах лицами, похоже на праздник, когда по какому-то поводу, внешне неизвестному, поскольку не произносилось ни речей, ни приветствий, а было всего лишь пасмурное утро, и еще, наверное, ночью дождь шел, а платформу не так уж подмели, но праздник был: нелепостью этих цветов, слов, объятий, улыбок вместо слов, и хотя праздник вроде бы и чу-

жой, но все же и Леше, и Марине хорошо было в эти первые минуты среди ровесников на этом вокзале в часов восемь утра.

— Куда мы едем? — спрашивала Марина (они сидели в пустом трамвае, а трамвай медленно тянулся в гору).

— Мы едем, по-моему, правильно, — сказал Леша. — Я тут ничего не узнаю, понимаешь?

— Тебе не холодно? — спросила Марина.

— Ничего. — Леша запахнул пиджак. — У меня тут недалеко знакомая девушка живет. Можем зайти пока. Я тебя оставлю, а сам поеду в училище. А то у тебя вид прямо торжественно-траурный.

— А в гостиницу тут можно попасть? — спросила Марина.

— Вряд ли...

— Может, попытаемся?

— Не стоит портить настроение, — сказал Леша. — Так-то...

А где же эта девушка живет? Я уже и не помню, как отсюда ехать. Ты замерзла?

— Не очень, но, может быть, у тебя еще кто-то есть, кроме девушки этой?

— А чем она тебя не устраивает?

— Ох, Леша...

— Понимаешь, я не знаю никого и ничего, кроме как до училища ехать, и все... Ни телефонов, ни адресов. И город совсем другим был... Тут все — сплошные развалины были... А девушка, по-моему, жива-здорова. Ее Ларисой зовут. Около университета живет... Жила, вернее. У нее мама — замечательный человек... Я раз как-то видел, она на босу ногу, в тапочках, что ли, бежит по улице днем... А я спрашиваю, куда она бежит? А она за квартиру месяца три не платила, что ли... Вот. А как зовут, забыл...

Леша встал и прошел по вагону до водителя.

О чем они говорили, это не слышно, но вагон вдруг остановился, и они с Мариной вышли.

Они шли по наклонной улице, вниз она вела. Скамейки белели, листья, еще редкие, и не взлетали, и не опадали, а только обозначались.

— Рубашку надо было купить, — сказал Леша. — Да? И побриться. Красивая улица? Понимаешь, улица очень, по-моему,

красивая, но бестолковая, потому что идет вниз, с наклоном она... Я, понимаешь, тут однажды заснул, на какой-то скамейке, и меня патруль забрал — я же в форме заснул... И все потому, что наклонные скамейки. Стоп. — Леша встал. — Марина, я — как? Ничего?

— Ничего, — сказала Марина. — Улица правда хорошая. А нас с тобой не выгонят? Ты телефон любимой девушки помнишь?

— Нет, — сказал Леша. — Но это неважно. Я же все остальное очень хорошо помню, а это главное.

Он сломал ветку с куста около ограды. Ветка была желтая, красная, зеленая еще, — листком, — но красивая ветка.

Постояли около подъезда.

— Знаешь, — сказала Марина. — Ты иди, а я на скамейке посижу.

— Это нечестно, — сказал Леша. — Я же забыл, как она и выглядит. И вообще, это не благородно, смываться.

— Ты на меня посмотри, — сказала Марина.

— А что?

— Ну ладно, — сказала Марина, — ладно. Чего уж там...

Они поднялись по лестнице на третий этаж. Позвонил Леша не без колебаний: дверь все же была одна нужная, но всего их было на площадке три.

И дверь открылась.

В дверях стояла молодая женщина.

— Здравствуй, Леша, — сказала она сразу. — Ты откуда?

И Леша сказал:

— Я приехал, знаешь... Вот, а это Лариса, — сказал он. Показывая на Марину: — Марина.

— Да вы проходите. — Женщина пропустила их в коридор. — Ты бы позвонил — это первое, что пришло ей в голову, и в коридоре было темно, и Лариса была еще в халате, а проходить было некуда, потому что они втроем стояли в узком коридоре, где лампочка не горела.

— У тебя что, лампочки нет? — спросил Леша.

— Лампочки нет, но можно тут вернуть, — сказала Лариса. — Из люстры можно вывернуть. Там их три, кажется...

— Вот это тебе, — сказал Леша, протягивая ветку с листьями. — А где эта люстра?

— Да вы проходите, — сказала Лариса.

Из комнаты навстречу выбежал мальчик лет восьми, белоголовый, босой, озабоченный.

Вышла та самая мама, которая бегала платить за квартиру лет десять назад.

В комнате был утренний полумрак, и в одежде была та утренняя вольность, а на лицах следы бессонницы, следы подушек, тьмы, внезапности этого звонка.

Леша спросил:

— Где у вас тут лестница какая-нибудь?

— Здравствуйте, Леша, — сказала растрепанная, милая женщина. — Леша...

— Поцеловаться можно? — спросил Леша.

— Конечно. — Женщина обняла Лешу. — А это — твоя жена? — Она Марину обняла бы, но та отстранилась и подхватила на руки мальчишку. — Леша... — повторила женщина. — Откуда?

— Это не мой ребенок? — спросил Леша, погладив мальчика по голове.

— Нет, Леша, — сказала Лариса.

— Жалко, — сказал Леша. — Как звать?

— Леша, — сказала Лариса.

— Знаете, — сказала Марина, — вы уж нас простите... Это все Леша.

— Ах, ах! — засмеялся Леша впервые за все утро. — Дома я, поняла? Где лестница? Где все? Где лампочки? Из люстры? Где это все?

И лампочку он в коридоре ввернул, пока на кухне что-то готовили, и перепачкался весь, пока неумело все это совершал: лестницу ставил, люстру наклонял, обжигался о лампочку, пока вывинчивал, а платка не было, и рубашкой, концом ее из-за штанов, все вывернул. А Лариса уже в платке зеленом, с белым воротником, с манжетами белыми, все внизу стояла, лестницу вроде бы поддерживала...

Потом они вышли на балкон, лестницу он туда отнес, и Лариса спросила:

— Что случилось, Леша?

— У тебя рубашка есть? — спросил он. — Моего размера?

— Да, конечно.

— А то, видишь, пуговиц нет.

— Да, вижу. Что с тобой?

— Не знаю. Я вообще проездом. Тут юбилей СВУ. Пойдешь?

— Леша!

— Что? Что "Леша"? Гони рубашку. У тебя муж какой бритвой бреется?

— Нет у меня мужа.

— Очень хорошо, — сказал Леша, — начинаю... Что я начинаю? Может, нам пожениться? Вот, побреюсь, рубашку одену. Как — одену или надену?

— Вот рубашка, — она достала из шкафа, — а вот бритва.

— Какое у вас напряжение?

— Двести двадцать.

— Ну, если бритва здесь. И рубашка здесь. И сын здесь.

И ты — все в порядке. — Леша включил бритву. — Ты меня не слушай, ладно?

— Почему?

— Не слушай. Я не то говорю.

— А ты все равно говори, и все. А кто эта девушка?

— Понравилась? — Леша брilsя.

— Ничего.

— Можно, она у тебя побудет? Временно. Один день.

— Пожалуйста, — сказала Лариса. — Рубашка ничего?

— Ничего.

— Леша, что с тобой?

— Ничего со мной. — Леша обнял ее. — Смотри, вот здорово — это ты. На балконе.

— Леша...

Леша ушел из дома один. Город изменился. Он совсем иной, этот город. Надо было ехать в училище, но ехать, шагать, что-то со-

вершать по этому вроде бы и праздничному поводу не было ни желания, ничего не было.

Он пошел по улице наугад, — в толпе шел. И улица эта, — и так бывает, — его не подвела. Он и не знал, как она называется, и шел наугад.

Дома здесь уцелели от войны. Потому что они никакой ценности не представляли, наверно. Дворы как дворы. Со всеми сложностями подворотен, переходов и забытых уже или заколоченных подъездов, с птицами, бельем, небом — и небо было, повыше.

...Безошибочно он нашел тот самый подъезд. И лестницу, и дверь, на номер не глядя, и оставалось только позвонить, но дверь была открыта настежь.

В коридоре его никто не встретил, не спросил, куда он идет, но он и не спрашивал, — точно остановился перед дверью, одной из многих здесь, — и легко ее толкнул.

“ВОЗДУХ ДЕТСТВА”
СЦЕНАРИЙ

741

Там, в этой комнате, спал лицом к стене человек, накрытый зимним пальто, и воротник удобно его покрывал; он щекой к нему прислонился, к воротнику, и спал, спал, спал.

Комната эта была Леше знакома в подробностях, и за десять лет здесь мало что изменилось.

Стол стоял посреди комнаты, Леша присел на него, потом прилег, полежал, глядя в потолок, вытянулся свободно, стол уже был коротковат ему, — ботинки свешивались со стола.

— Дядя Коля, — позвал он. — Дядя Коля, очнись, — и сел на столе.

Дядя Коля долго еще лежал лицом к стене и никакого — решительно — внимания не обращал.

— Дядя Коля, — сказал еще раз Леша, — это я, вот.

Он присел к дяде Коле, а он, дядя, проснулся не сразу и не сразу понял, кто перед ним, потому что он был, отчасти, и полуслепой, и еще потому что спать до смерти любил, и никому тревожить сон свой не позволял, и утро это он по-своему предполагал провести; вот — лицом к стене, и еще были мысли, о которых Леша подзревал, но решил не вмешиваться, а все пустить по обстоятельству.

вам, — и не смог, потому что они обнялись тут же, на постели его, и дядя Коля долго его держал, трогал, по лицу пальцами, и Леша ткнулся в плечо, в руку, в край этого зимнего пальто.

— Вот, — сказал дядя Коля Лешке, — он уже сидел на постели — Лешка. — Ну и что?

— Ты откуда? — спросил дядя Коля. — Вот новость, Лешка!

— Ты меня потрогай, — сказал Леша. — Может, это и не я. Может, это он.

— Смотри. — Леша лег на стол. — Похож? Вы мне от клопов какие-то сосуды ставили, — под все четыре ножки.

Леша сел, дядя Коля привстал, — обнаружилось, что у него нет ног, — вплотную нет.

Он спокойно и деловито пристроил протезы свои; сел на постели, теперь уже вроде бы и с ногами.

— Ты ко мне приехал, Лешка?

— Да я не знаю, зачем я приехал, — сказал Леша. — Вот не знаю, и все.

— Леша, — сказал дядя Коля, — ложись спать. Рано еще.

— Да я уже полежал, — сказал Леша.

— Ты откуда? — спросил дядя Коля. — Откуда ты взялся? — Он понимал, что разговор бессмысленный (о том, чтобы спать), что это на самом деле — Леша, что утро уже далеко не утро, что он хмур, негостеприимен (слова такого он не знал); но под ним, под понятием этим, подразумевается многое и малое.

Еще выпили.

— Я хотел к тете Оксане поехать, а я даже не знаю, где она похоронена, — сказал вдруг Леша.

— Это можно.

— Если тебе трудно, я сам поеду. Такое дело... Ты на меня внимания не обращай.

— Старый ты, Лешка.

— Я, дядя Коля, не старый, но вот беда, — не молодой я. Раньше был молодой, веселый (он постучал ладонями по столу, вспоминая, ладонями, песню), — постучал ладонями и произнес:

— Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой, хотелось выпить за здоровье, а вот пришлось за упокой... При-

шел солдат и... — Леша кулаком по столу ударил, и не больно ему было, но петть не хотелось... — И только теплый, теплый ветер траву могильную качал... Коля.

— Будапешт брали серьезно, да, — сказал дядя Коля.

— И Прагу, — сказал Леша.

— Откуда ты это знаешь?

— От тебя, — ладонями постучал.

— ...На той войне, незначенитой, убитый*... — начал Леша.

— На финской? — спросил дядя Коля.

— Там эти финны сваливались с деревьев.

— Финские стрелки. Вот, головой вниз. И, понимаешь, я иду, а она висит вниз головой, в этом, в белом, и на ноге веревка у нее. На чем она сидела? Забыл.

— На ветке, — сказал Леша.

— Ох, Леша. У нее, знаешь, с оптическим прицелом. Вот как этого Кеннеди убивали: там такой крестик — точно.

— Да, крестик...

“ВОЗДУХ ДЕТСТВА”

СЦЕНАРИЙ

743

У дяди Коли была инвалидная машина “Запорожец”. Дядя Коля (ради Леша, может быть, а может быть, и просто так) ехал в куртке, очень Леше знакомой, на которой были привинчены два ордена: Ленина и Красного Знамени.

Они въехали сначала на стадион. Туда инвалидов Великой Отечественной войны пускали без билетов, — около беговой дорожки они могли стоять на своих колясках и смотреть футбол. Дядя Коля остановился у своего, очевидно, места (все инвалидные коляски имели свои места).

— Узнаешь? — спросил дядя Коля.

— Наше место, — узнавал Леша.

— А помнишь, как на ЦДКА — “Динамо” (Киев) ты чего-то заорал, а вот оттуда Федотов повернулся и улыбнулся тебе.

— Сейчас вспомним...

* У Твардовского: “...Как будто это я лежу, / Примерзший, маленький, убитый / На той войне незначенитой...” — цитата из стихотворения “Две строчки”. (Примеч. ред.)

Дядя Коля и Леша медленно объехали по кругу этот стадион, где было еще светло и зелено, бегали ребята, где сбоку разминался кто-то с белым фербигласовым шестом.

— Давай посмотрим, как он прыгнет, — сказал дядя Коля.

— Давай.

Он, этот спортсмен, долго думал, как это преодолеть, и, разбегаюсь, останавливался он; и это дядю Колю и Лешу волновало.

Ехали медленно вокруг стадиона, и останавливались, и ни о чем не разговаривали, ехали медленно по дорожке, и еще Леша видел (кроме стадиона) высокую гору, где был трамплин, где все было осеннее, — светло, желто, красно, — вот так это было, осень.

Не спрашивая ни о чем, дядя Коля повез Лешу на кладбище, было оно за городом, на высоком бугре, также в осенних кустах.

На кладбище сели они на чужую скамейку. Вот, могила. Ограда, фотокарточка на фарфоре. Леша спросил:

— На фарфоре?

— А кто его знает? — сказал дядя Коля. — Ну, на фарфоре!

Фотография эта была случайная, конечно. И никто не знает, какая твоя фотокарточка будет последней. И Оксана на этой фотокарточке была молодой, и умерла она молодой — лет сорок пять ей было.

— Хочешь, сам читай, — дядя Коля достал из кармана конверт, — или после почитаешь, это твое дело... Она просила передать тебе, вот — возьми.

Ручей внизу был, и глина, и кладбище, и уйти с письмом надо было, но Леша не уходил, сидя на скамейке рядом с дядей Колей, а конверт был в руках.

— Знаешь, дядя Коля, — сказал он, — ну чего я буду это читать? Сволочь я, понимаешь? Мог бы и приехать, и все такое...

— Да это, Леша, и не обязательно...

— Нет, обязательно, в том смысле, что это не по обязанности... Бред все это... Обязательно, необязательно... Она же мне как мать была...

— Почему все так нелепо вышло?...

— Потому что пошел бы ты с этими разговорами, Лешка, — сказал дядя Коля. — Был ты еще мальчишкой малость тронутый, а сейчас чего? Выпей лучше и помалкивай.

— А мне, понимаешь, говорить охота.

— Ну, говори, — сказал дядя Коля, — только выпей, а после говори. — Он достал и стакан, и колбасу, нарезанную в магазине, и хлеб у него был. — Говори, Леша. — Он налил ему. — Говори, если охота. Я же, Лешка, забыл, какой ты...

— За что выпьем?

— Да так, — сказал дядя Коля. — Плесни за Оксану. Вот туда, на землю плесни.

Леша плеснул за ограду, но неловко это вышло, плеснул весь стакан.

Пауза была неизбежна, но и хороша она была. И эта фотокарточка на камне, полукруглая, овалом, где у нее, у Оксаны, волосы были по той, 46 года, моде прибраны, и улыбалась она.

— Леша, — сказал дядя Коля, — ты бы все-таки это письмо прочитал.

— Здесь?

— А где еще?

— Вслух?

— Как хочешь.

— Как жить? — спросил Леша. — И как я живу?

— Живи, — сказал дядя Коля. — Живи. Я в госпитале, после Курской хреновины, думал — куда я без ног? Я же не Мересьев, понимаешь. И видишь, какая морда у меня? Хуже нету того свету... Поверишь, ноги резали — ничего, а вот ожоги эти, — ну, спеленутый лежал. Спирту хватанешь — и в туда.

— Куда?

— Ох, Леша. Куда? Туда. Я терпеливый парень был, помнишь?

— Нет, Коля. Я тебя красивым помню, — сказал Леша. —

Да ты и сейчас ничего себе... Коля, как жить?

— Иди ты...

— Ну, пойду, — сказал Леша. — Пожалуйста.

— Я, Леша, по чужой жизни не советчик, а ты мне не чужой, — я и по своей жизни ничего толкового не соображу. Я, Леша, во-

евал. И, может, мне повезло, что воевал. Потому что ничего другого я не умею, понимаешь? Если бы не Оксана, я бы спился, это точно. Тебе сколько лет?

— Тридцать шесть.

— Чего ты бесишься?

— Не знаю. Я, понимаешь, сюда приехал, а зачем?

— Ладно, — сказал дядя Коля. — Приехал, и молодец. Не переживай, ясно? Я пойду в машину, а ты все-таки почитай... Оксана просила. Почитаешь, а я подожду. Идет?

— "...Добрый день, дорогой Леша. Твое письмо я получила очень расстроенная за тебя. Береги себя. — Это Леша читал вслух. — Ты меня просил написать, как я живу, но тебе это не интересно, потому что жизнь моя была очень тяжелая, да, дорогой. А жаловаться я не умею, ты знаешь это. И мне очень трудно вспоминать, что я пережила. К тому же ты знаешь, что я не любительница о себе говорить. А тем более писать. Я тебе отказать на твое письмо не имею права, а еще, наверное, и не увидимся мы больше..."

Потом, после он уже не вслух читал это письмо, а дядя Коля ждал его, — пока прочтет.

Внизу протекал ручей, и Леша неловко спустился к нему по глине, медленно разорвал письмо, и поплыло оно белыми обрывками по быстрой, яркой воде, а Леша глядел, как уходят эти белые обрывки, застревая среди низких веток, — и более всего хотелось сейчас в одиночку с водой этой, с полем, зареветь, что ли, но глаза у него были сухими, и он сшиб ком глины резким ударом — в ручей.

Обедали молча. Вечер, открытое кафе.

— Что с тобой? — спросила Марина.

— Да я бы сам хотел спросить у кого-нибудь, что со мной...

— Леша... Леша... — улыбнулась Марина.

— Что — Леша?

— По-моему, мне сегодня надо уезжать, — сказала Марина мягко. — Зачем я тебе здесь? Ну, приехали... Ну, и отлично... И город прекрасный... Но, по-моему, хватит...

— Никуда ты не поедешь, — сказал Леша (они уже шли по бульвару). — Никуда я тебя не пущу...

— Девушка любимая у тебя тут есть... — улыбаясь, говорила Марина. — Бывших однополчан полным-полно... Гуляй, Леша!

— Никого у меня тут нет, — сказал Леша. — Честное слово. Вернее, понимаешь, — все есть, и никого... Ты — единственная реальность... остальное все как во сне...

— А хороший сон, — серьезно сказала Марина. — Про хорошее?

— Да как тебе сказать...

— А ты — скажи...

— Не уезжай без меня, ладно?...

— Зачем я тут тебе, Лешка?

— Ты мне нужна, понимаешь, — сказал Леша, — и вообще, спасибо тебе... Не уедешь?

— Нет.

— Точно?

— Абсолютно.

“ВОЗДУХ ДЕТСТВА”

СЦЕНАРИЙ

747

Шли они, суворовцы, с барабанным боем. Строго посередине улицы, по ее брусчатке, которая, должно быть, помнила шаги красноармейцев или же звонкий перестук копыт конницы Щорса. Впереди шли самые малые из воспитанников, барабанщики, с широкими красно-золотыми лентами через плечо, с барабанами, поставленными чуть вбок и повыше ремня, в белых перчатках (впрочем, на всех были белые перчатки); и по команде пожилого капельмейстера барабанщики разом опускали гладкие свои, слегка желтоватые палочки на кожу барабанов без единой морщинки, тугую, истинно барабанную кожу, — и тогда над притихшей улицей, над садами, скверами разносился победный торжественный бой, и тогда всем, кто уже не имел ни малейшего отношения к шествию, тоже хотелось идти в ногу, — непременно в ногу, подбоченясь, вслед за ударами: трах-та-тах, трах-та-тах, тра-та-та-тра, ра, рах!

И тут Леша, который ехал за суворовцами, стал незаметно для себя узнавать в отдельных людях, шедших следом за суво-

ровцами, знакомых ему людей, но настолько переменившихся, что он поначалу и мысль эту отбросил как нелепую.

Но, однако, люди эти, по виду Лешины ровесники, и уж никак не праздные зеваки, которые могли бы и свернуть по своим делам, наглядевшись вдоволь на шествие, продолжали упорно и — завороченно — следовать за суворовцами.

И вот некоторые из них, приглядевшись друг к другу, начинали неумело и застенчиво обниматься, здесь же на улице что-то говорить возбужденно.

— Лешка! — крикнул вдруг какой-то долговязый парень в очках, раздвигая прохожих. — Лешка!

И Леша не сразу, но узнал в нем Митю, товарища по взводу, не самого близкого, но товарища.

Вышел из “Запорожца”, обнялись.

— Лешка, черт! — говорил, обнимая его. — Как ты? Что же? Ты давно приехал? Мы тебя ждали... Вчера еще... Это здорово, что мы приехали? Верно же? Леша!

Леша сделал слабое подобие улыбки, но собеседник не заметил этого, он тут же повлек Лешу куда-то вслед уходящим суворовцам.

— Я не один... — сказал Леша. — Видишь, это дядя Коля.

Митя, наклонившись в машину, обнял и дядю Колю — заодно он готов был обнять весь мир.

— Все прекрасно! — говорил он. — Чудесно!

— Ветеран войны!

— Ладно, — сказал дядя Коля, — ты, Леша, иди... Я доеду, за вами... не след тебе от товарищей отставать.

Если бы только Митя не говорил беспрерывно, если бы он не знакомил его с ребятами, может быть и замечательными, но других выпусков; если бы Леша мог как-то от всего этого отвязаться и просто-напросто, со стороны как бы и вместе, быть с суворовцами у Могилы Неизвестного Солдата, у одного из самых благородных и горестных мест на земле (эти слова, впрочем, не приходили Леше в голову, а был он зол, раздражен — и все эти “если бы” мешали не мешали, а так — становились еще печальней).

Венки, венки, венки.

Леша как бы снова увидел снятую хронику похорон Неизвестного Солдата, снятую здесь, и как генералы несли гроб в кумаче, как орудия били, как люди плакали, как он сам в зале ревел, и погода тогда была похожая: серое небо, блестит асфальт, блестят сапоги почетного караула, генералы несут гроб — лучше всех понимая, кого они хоронят в этой земле.

И тут хроника кончается — к Леше шел напрямик бывший его начальник училища, ныне генерал-лейтенант в отставке ПЕТРЕНКО Семен Сергеевич.

— А... А где его тогда выкопали, этого солдата? — спросил Леша как-то сразу после того, как обнялись они. — Где?

— А какая разница? — спросил генерал.

— Но ведь уже медальон был... фамилия там, группа крови.

— Был, Леша, а может, и не был. Там, за Киевом, в сорок первом... Какие там медальоны? А тебе важно знать, кто он?

— Я... не юный следопыт... и прочее... Но мне важно знать. Кто он, как зовут, кто мать, невеста, какие ордена не успел до-получить... Не то я говорю... — Не было неизвестных героев! — Это Леша почти уже кричал. — Не было неизвестных солдат! И когда говорят "и другие" — вранье! Не было "и других"!

— Ты спокойно, Леша, — сказал генерал. — Были неизвестные солдаты, понимаешь? Были. Не могло их не быть, потому что дело такое... И ты не кричи... Ты за них, неизвестных, не переживай особо... Они, Леша, выше твоей жалости.

— Да не о том я!

— А о чем? Война — трудная работа... Но только совестью каждого одолеть можно... Только так... Забыл, чьи стихи... "Не до ордена, была бы Родина с ежедневными Бородино..." И на пулеметы шли, в танках горели... И сволочами по лагерям не становились... Вот они и победили, а все остальное... — Генерал только махнул рукой. — Известные, неизвестные... Что они, артисты, что ли, или эти, по фигурному катанию — забыл как... Кого надо, люди помнят... У меня один герой был, настоящий, со звездой. Я его в Германии чудом от полевого суда спас: баб очень уж лю-

бил... И что там! На войне герой вроде, как и полагается, а вот при мире, при светлом спокойствии, Леша, не у всех это получается... Нет, скажешь?

— Скажу — да...

А между тем, пока Леша уходил, ездил, разговаривал и прочее, — три женщины, оставленные им (Марина, Лариса, ее мама и еще сын), должны были б находиться в состоянии нелепом и необъяснимом; но, как это бывает в хороших русских семьях, где любого человека готовы в несчастье или же в беде его — принять, и не заметить ни беды, ни несчастья, ни нелепости (безусловной); и эта обстановка душевной общности все как-то сразу поставила на место, а мамка через короткое время незаметно для себя вошла в их дела, заботы этого утра и тех мелочей общего доверия, которые появляются между близкими людьми безо всякого внешнего знака, а сами по себе: поэтому она так легко и естественно помогала накрывать на стол завтрак, и разговор между женщинами был как бы только что прерванный ненадолго. Говорили о детях. О событиях сегодняшнего дня.

— ...Понимаете, Марина, — говорила Нина Петровна, — фолликулярная ангина не имеет никаких причин для опасения. Я не фанатик и знаю, если сам организм справляется, то все, это мое убеждение, образуется...

— Мама. — Лариса наливала чай в большие чашки, свежий, с молоком. — Мама, это безумие. У Алеши гланды, понимаешь? Мы едем сегодня их удалять. Это решенный вопрос. Это... — она помахала чашкой, — это — обсуждению не подлежит...

— В человеке нет ничего лишнего, — говорила мама, впрочем не слишком уверенно. — Вот, к примеру, аппендицит... Марина, вы кто по профессии? Простите... Вы не врач?

— Нет.

— Какое это имеет значение?! — говорила Лариса. — Ежу понятно, что гланды — это все. Это почки, сердце, печень! Все!

— Но Алеша не ежик, — сказала мама.

— Он мой сын! Понятно? — наступала Лариса.

— Любое хирургическое вмешательство — травма для ребенка. И вообще, ты не можешь это решать без отца! Ребенок ваш! Общий!

— Мама, умоляю, перестань! — взмолилась Лариса. — Лешка! — позвала она.

— Что? — вышел хмурый Леша.

— Режем? — спросила Лариса. — Раз и навсегда?

— Верно, — сказала Марина. — Ты же лыжником хочешь стать?

— Нет, не очень, — сказал Леша.

— Вот уже не верю, — сказала Марина. — Сейчас знаешь какие лыжники! — с парашютами тормозными летают, а с гландами уж какие тут парашюты.

— Ну ладно, — сказала Лариса, — ты, мама, тут оставайся. Мы с Мариной поедem. У нас полвторого, но может и позднее, уже как получится.

— Ты что, гланды хочешь вырезать? — спросила Марина Лешку.

— А вы бы как? — спросил он. — Я папе позвоню, ладно?

— А кто тебе запрещает? — сказала Лариса не очень спокойно и не очень уверенно. — Звони.

Леша набрал номер. Все молчали. Никто не откликнулся на той стороне.

— Занято? — спросила Лариса. И вдруг, внезапно, стала иной, решительной, деятельной. — Леша, гланды никому не нужны. Честное слово. Горнолыжникам — это уже полдела, а...

— Одевайся! — Марина помогла одевать Лешу, и он покорно, мужественно вел себя в этой сложной ситуации.

— Мороженого после — вагон, — сказала бабушка. — Мороженое.

— Ладно, — сказал Леша. — Я его и так по большим праздникам выношу.

В детской поликлинике было место и время поговорить; там бродили дети с перевязанными ушами, с гипсовыми повязками и на костылях; и все это было в коридоре, в чистом, жарком свете; а Лешу увели сразу, и никого даже близко не пустили; так что Марине и Ларисе осталось смотреть на детей: Лариса погляды-

вала на дверь, за которой исчез покорно и сурово Леша; разглядывали они и друг друга.

— Вы кто Леше? — спросила впервые Лариса, разглядывая при этом плакат о борьбе с желудочными болезнями и о профилактике их в летнее, особо опасное время. — Кто, я так и не поняла?

— Не знаю я кто, — сказала Марина просто. — Товарищ... Да, нет... Ну, товарищ, скажем... А у вас гланды вырывали? — спросила она.

— Нет. А что?

— Надо бы мороженого пойти купить, — сказала Марина. — Вы посидите, а я схожу. Тут полиэтиленовые мешки продаются?

— Не знаю, — ошеломленно сказала Лариса. — Я просто... не знаю.

— Ну, так я схожу, ладно?

Она вышла на улицу. Мороженое продавали рядом.

Гланды никак не вырезались, мороженое в полиэтилене таяло; сидели они уже как сестры.

— Может, съешь? — предложила Марина уже на "ты".

— Давай, — покорно согласилась Лариса.

И они по стаканчику вафельному с пломбиром внутри прохрустели.

— Жениться он тебе не предлагал? — спросила вдруг Лариса. (Но и не вдруг, поскольку близость уже была явнее.)

— Нет. — Марина с наслаждением откусывала пломбир. (И вообще, они были похожи на подруг на каникулах.)

— А тебе? — спросила она.

— Видишь ли, у него раньше была такая идея: на всех сразу жениться, — сказала Лариса. — А зачем он сюда приехал? Не очень-то я верю в его суворовские праздники.

— А может, он к тебе приехал? — спросила Марина. — Ты не исключаешь такую возможность?

— Не исключаю, — сказала Лариса, — но и не поддерживаю никак. Потому что он — тряпка, — сказала Лариса твердо.

— В каком смысле? — внимательно спросила Марина.

— Ты его что, любишь? — усмехнулась Лариса.

— Да нет, не в этом дело...

— Он... Никакой.

— А что значит — какой?

— Ты это серьезно спрашиваешь? — спокойно уже спросила Лариса.

— Да, вполне.

— Значит, ты, прости, дура.

— Очень может быть, — сказала Марина. — И все-таки?

— У человека должна быть какая-то цель, — сказала Лариса, но не очень уверенно.

— А у тебя есть цель, какая-то? — спросила Марина.

— Вот чтоб у Лешки гланды вырезали... Ты что, любишь его?

— Нет, — сказала Марина, — нет....

— Любишь, если "нет"... Он был... Он очень хороший парень был. Смешной. Надо б целоваться, а он мне про французскую революцию муру мелет... Он — никакой, понимаешь? — Лариса говорила зло. — Не обольщайся. Из него ничего не получилось!

— А что должно получиться? Было б, если бы да кабы...

— Тряпка. За жизнь надо драться, — сказала Лариса.

— Очень ты похожа на этого, Кассиуса Клея...

— Кто это?

— Ну, боксер есть такой. Чемпион мира, — сказала Марина.

— Ну, хорошо, — говорила Лариса. — Ты — умная, верно?

— Ни в коем случае.

— Нет, ты умная. Ты умная. Я Лешку любила! Понимаешь? Я из него человека хотела сделать! И могла! Он — пластилин... Лепишь, и все дела...

— А что бы вылепила? — спросила Марина спокойно.

— Человека. Понимаешь? Да ты не понимаешь! Ты думаешь, я про черные "Волги" говорю! Про всю эту муру! Нет!

— Но и да.

— Да, — как приложение к делу, к положению в жизни.

— Слушай, а тебе не кажется, что все это, ну все, о чем мы говорим, о Леше — в частности...

— Любишь...

— Нет.

— Любишь...

— Нет, правда нет, — спокойно сказала Марина. — Вот, я себя первый раз старой почувствовала, ясно? Такой старой, еще в форме, — ближе к вечеру, но старой дурой. Из тех, кто на ночь куски мяса сырого, говорят, на лицо кладут. Кто огуречным рассолом чего-то моет... Эх, Лариса, Лариса...

Они сидели обнявшись. Плакали, и мороженое в полиэтиленовом мешке от курицы превратилось в нечто белое, похожее на молоко, и оно даже протекало на зеленый пластик поликлинники; и уже ходила молодая, в простеньком халате, с челочкой, которую она вздохом вскидывала наверх, медсестра — в поисках родителей, мамы человека, у которого только что удалили железы.

И человек этот, Леша, стоял, весь белый, спокойный, ждал маму. И мама нашлась.

Они шли вместе с Мариной по коридору в сопровождении этой блестящей медсестры новой формации: абсолютно корректной, невозмутимой, очень молодой, и только то, что она челочку дыханием вскидывала, а челочка была рыжая, густая, чистая, — выдавало ее (но не очень), — вот так они втроем и подошли к Лешке, и бывшее мороженое оставляло следы на пластике, но Леша кинулся к матери: и у железных по сути людей нервы не выдерживают иногда.

Во все времена, в обстоятельства грустные или же в празднества, что тоже всегда перемешано и веселым, и печалью, и еще многими иными оттенками человеческого открытого общения — вот всегда, и к месту, находятся люди, которые берут на себя эти нелегкие обязательства быть устроителем, организатором, волевым началом, и прочее, и прочее.

Таким человеком, безусловно, был наш навязчивый друг Митя.

Празднество, посвященное двадцатипятилетию, намечалось по странному стечению обстоятельств в ресторане около стадиона у Цепного моста, который, как известно, есть не просто украшение города, но и некое чудо, и еще было много чудес: осенний овраг, осенняя река, осенние деревья...

Поэтому (не потому, что деревья были прекрасны) Митя занимался устройством праздника.

Уже расставлялись столы в этом небольшом, футбольном по сути ресторане, но расставлялись они толково, и была проведена ковровая дорожка к Главному столу, где устанавливался микрофон, и Митя считал, постукивая пальцем в мембрану:

— Раз, два, три... Обратный счет... Три, два, один... Самочувствие отличное... Раз, два, три... Травм, ушибов не имею... Хлоп.

Он щелкнул пальцем по микрофону, прислушался, он обнимал почти это гибкое дерево с металлической чашечкой на конце, он благоговел перед чудом общения с миром; при всем при том автор повествования никак не хочет обидеть этого человека; а если он, этот человек, ему не нравится, то это ничего не значит, потому что есть на свете люди куда хуже, во-первых, а еще сама суета праздника автору повествования навеивает множество разнообразных мыслей, оттенки которых — неизбежно — склоняются в сторону человечества по имени Митя, который, постучав по микрофону, направился сверять список наиболее достойных гостей и предстоящих ораторов.

Список этот был составлен на скорую руку.

Общение происходило: явно скучающий, умный, толстый, позывающий человек в погонах полковника и Митя, и список, который полковник бегло, может быть, и не читал, но посмотрел, и сама эта формальность радости ему не доставила, поскольку куда веселее и приятней было смотреть на стройных молодых, которые, уже с утра облаченные в белые рубашки, ловко, весело — профессионально — расстилали хрустящие, крахмальные скатерти, разносили бутылки, салфетки ставили некими холмами; это было приятно наблюдать, тем более, — каждый раз устроитель Митя доставал из пиджака пятаки горстями, — музыкальный автомат играл все, что приходило на ум, и нравилось, и случайно вертелось, долго попадая на круг: песни были, конечно, разные, но все — вполне утренние песни, где в Мексике, очевидно, или же в Париже, или же в Хохломе, если там есть оркестр, певица — есть, наверно, но пели они об одном и том же, — про любовь.

— Проходите, проходите! — Это уже был сбор гостей.

Гости, не все даже в форме, проходили: рассаживались там, где кто-то кого-то еще знал и помнил. Те, кто, как Леша, никого почти что и не помнил, и не знал, и вообще, пришел как-то боком, незаметно, сразу прошли на верхний этаж, для гостей уж никак не почетных, но и там все было стараниями Мити очень хорошо (скатерть только что не ломалась от крахмала, закуски, — светлели, белели, желтели. Водка стояла ровно, холодно поглядывая на чистейшие звонкие фужеры; все было прекрасно).

Леша (Мите): Понимаешь, ко мне тут две девушки придут. Я заплатил все как надо.

Митя: О чем речь? Мне их встретить, что ли? Ты не стесняйся.

Леша: Я не стесняюсь, но...

Митя: Да ты говори, я пойму!

Леша: Одна из них блондинка, понимаешь? А другая потемнее.

Митя: Билеты при них?

Леша: При них, но может и так, что билетов нет никаких.

Митя: Вот новости! Они что, это самое, забыть могли?

Леша: Вполне. Женщины, Митя, что с них взять?

Перо мое никнет в надежде что-либо рассказать, как это было, какие разнообразные, разноодетые люди устремлялись друг к другу: как играл оркестр, музыка гремела, как возникали офицеры в отставке и при орденах, — точно и умело усаженные за главный стол, — как входили жены (их было немного), как все выпускники СВУ старались сесть вместе, и это было сложно, и музыка гремела, и было шумно, бестолково, празднично, и возникала простая мысль, вполне естественная, — что отчего бы не праздновать то обстоятельство, что все живы-здоровы?

К Леше тут же, на его антресоль, подсели ребята, и начался тот недоступный прямому диалогу разговор (еще и музыка гремела), но слова тут мало что передадут.

— ...Да...

— ...Вот.

- ...Адрес запиши.
- ...Телефон...
- ...Увидеться бы...
- ...Я тебя бы и не узнал...
- ...Выпьем?..
- ...Да все и так пьют...
- ...За что?
- ...За тебя.
- ...А я за тебя.
- ...Редко видимся...
- ...А как чаще?
- ...Так верно.
- ...Ты телефон запиши...
- ...У меня и писать нечем и не на чем.
- ...На салфетке!
- ...А зачем?
- ...Созвонимся.
- ...А зачем?
- ...Вот глупо, зачем?
- ...Да, глупо. Ты прости. (Это говорил Леша.)

— Товарищи, — к микрофону, установленному внизу, подошел тот самый полковник, и Митя стоял рядом, — музыку эту пока что выключите... Вот так уже лучше... Дорогие ребята, мне поручено сказать какие-то слова, нужные по этому поводу... Я долго говорить не буду. Когда я пришел к вам после войны, мне было 23 года. Сейчас всем вам больше, а мне... Трудно было с вами... Я не Макаренко, как вы понимаете... А вы... Дорогие ребята, помните только одно: мы тогда, с войны, понимали, что все вы — тоже с войны... Спасибо вам, ребята... Я ничего не умел после войны. Воевать умел... И все. А вы всем нам были большой подмогой, потому как семейно мы не вышли, детей не было... Ладно, я кончаю. Помните вот что: кому плохо будет — здесь вас встретят и поймут. Встанем все и выпьем за отцов ваших, погибших на Великой Отечественной войне. За товарищей, вы их не знали, они до вас не дошли... Выпьем за их память святую. Все, ребята. Я кончил.

Он выпил у микрофона и отошел к главному столу, где среди генералов, Героев Советского Союза, сидел Митя с бумажкою в руке: и снова музыка загрела; и Леша спустился вниз, потому что он знал, что по времени подъедет дядя Коля.

За стеклом, за стеклянной дверью, стоял, опираясь о палку, дядя Коля в светлом плаще, в кепке, и его не пускали. Не пускал человек возраста дяди Коли, швейцар.

Но ситуация была несколько иная, чем предполагал Леша. Он сам не хотел пока что входить и ждал Лешу.

Леша вышел, несколько возбужденный, на влажный свежий воздух.

— Дядя Коля, ты что! Ты где? Мы же договорились — точно!

— Садись! — коротко сказал ему дядя Коля. — Поехали.

— Куда поехали?

— Ларису звал? Звал. Эту девушку бросил? Бросил. — Они уже ехали в темноту по нешироким парковым дорожкам. — Бросил. Гуляешь в одиночку, — говорил дядя Коля весело. — Нехорошо, кадет. Нехорошо.

— Дядя Коля, я сволочь. — И Леше стало вдруг весело.

— Это я уже слышал. Чего-нибудь новей.

— Уж какие там новости... А ты молодец, дядя Коля.

— Уже шибанули, да? Чего-то ты больно растроганный.

— Правильно не мешай. Сейчас в обрыв загремим, а я сегодня в баню сходил... — Он приподнял кепку. — В парикмахерскую... Прямо, конечно, в гроб клади, тем более и при орденах, но веселое у меня, Лешка, состояние, и не знаю почему... А насчет гроба смешно. Приятеля я тут как-то хоронил.

Дядя Коля вел машину свою идеально.

— Ну, хороший парень... 22 года рождения. Нас таких и не осталось... Ну, помер. Ордена на подушечках... Где их, эти подушечки, шьют? Лежит себе в гробу, а я, как дурак, в почетном карауле стою. Взираю на его рожу, и, понимаешь, никаких печальных мыслей нет... Силюсь, стараюсь... Тоску на себя нагоняю... Нет... Не верю, что это он, понимаешь? И смеяться вроде глупо, да? А он веселый был. Эх... (Тут дядя Коля выругался длинно-длинно.) — Он штурмовать летал, еще без этих, кто поза-

ди, с пулеметом... Ну, без пацанов этих... Космонавты-космонавты... А Берегового я уважаю... Я бы штурмовикам Героя давал, — летает, живым обратно садится — водку пьет, и все... Приехали. Выходи. Только быстро.

Да, та же дверь № 7.

Звонок.

— ...Я понимаю, понимаю, — говорила Нина Петровна, по комнате суетясь, — что все очень славно, торжественно и... — Она руками развела (это происходило в комнате, где были развешаны фотографии военных лет, старые, в рамках).

Девушек в комнате этой не было. Они, очевидно, сидели с ребенком, который вышел, — на голос.

— Дядя Леша! Вот здорово! — сказал мальчик.

(Через паузу рассматривание.)

— Ну, как ты? — спросил Леша.

— Хриплю, — сказал Леша-маленький.

— Болит?

— Терпимо.

— Ну, терпи. А вообще?

— Если орать можно... Можно, Нина Петровна?

— По-моему, все можно, что естественно.

— Тогда ори, — сказал Леша. — Нина Петровна, можно вас?...

Говорили они в ванной.

— ...Да, — говорила Нина Петровна.

— ...Но, — говорил Леша.

— ...Безусловно, — говорила Нина Петровна — Но человек сидит в машине, и это, простите, ужасно.

— Да у него ног нет, — сказал Леша, и тут все покатилося не так, а может быть, и так, потому что Нина Петровна сорвалась — в чем была, а была она в халате и едва ли не босиком, — вниз, к дяде Коле, который разговоров такого рода не любил, но выслушал он Нину Петровну внимательно. Опускаем ее восторженные, нелепые, прекрасные слова, потому что дядя Коля их слышал и не слушал, а это выражение его спокойного, внимательного и уже не веселого лица ожидало только одного: моноло-

га своей ровесницы, и не более, потому что людей разных дядя Коля посмотрелся, и он только сказал, до конца все выслушав:

— Ну, ладно. В общем, я вас и раньше видел. Вы Лешке — друг. А что он на Ларисе не женился — это он чего-то перепутал. В общем, пусть она быстро одевается, и поехали. Хреново ему. Понятно?

— Да все мне понятно! — сказала Нина Петровна.

— Женщина вы красивая, — сказал дядя Коля. — Просто богиня. Тутархомон. Не видел, но читал где-то на заборе. Люди мы взрослые, чего уж тут? Пускай она одевается во что-то там такое, что в голову придет, — и поехали. Я ее обратно довезу.

Но получилось обратное: Лариса, Марина и Нина Петровна стояли друг против друга, и Лариса, улыбаясь, покачала головой.

— Нет, — сказала она, — нет, мама, и зачем?

Леша застал их в этом положении: растерянности, грусти, понимания друг друга.

— Зачем, Леша? — спросила Лариса. — Это все давным-давно ни к чему... — Она улыбнулась. — Все хорошо, Леша. Все прекрасно, как ты сам говорить любил. Поезжайте...

Они танцевали в снятом для праздника ресторане, Марина и Леша.

— ...Ты бы сказал что-нибудь, — говорила Марина.

— ...Я тебя люблю.

— ...Никого ты не любишь.

— ...Я тебя люблю.

К микрофону подошел полковник из бывших суворовцев, молодой, складный парень; и танцы оборвались, но танцующие (Леша и Марина) остановились, не дотанцевав, не договорив.

— Дорогие ребята, товарищи, — начал полковник. — Я, к сожалению, должен уехать. Я не хочу говорить благодарности СВУ (это произнес отдельно). — Все мы тут разные уже. Я мало кого в лицо помню. Это моя ошибка. Выпуски были разные. Из моего тут ребят мало. Мне на самом деле надо уезжать. — Он постучал в микрофон. — Слышно? Я хочу напоследок сказать про Славу

Уразова. Он был в третьем взводе, мы рядом за партой сидели. Он погиб на испытании. Ракеты они делали. Все, ребята. Прощайте.

(Он подошел к столу, главному столу на этом празднике.) Они стоя выпили, и он ушел.

И все выпили тоже, по-разному, и музыка не играла, и стоявшие вместе, обнявшись, ожидали ее начала: или не ожидали ничего, но оркестр заиграл вальс.

— "...Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука... После тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок", — говорил это Леша не в размере песни, а говорил. — "Хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом, но мне кажется, снова возле дома родного в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, ну, скажите хоть слово, сам не знаю о чем..."

(А вальс продолжается.)

"ВОЗДУХ ДЕТСТВА"

СЦЕНАРИЙ

К микрофону, ожидая конца вальса, подошел парень с орденом Красного Знамени на пиджаке. Орден этот не был из тех, что на ленте, а плотно привинчен был к пиджаку.

А музыка играла.

И парень этот, хмурый, подстриженный так, что челочка черная висела, ждал терпеливо, пока музыка окончится.

Музыка окончилась (все снова остановились, обнявшись).

— ...Слышно? — Парень постучал о микрофон. — Меня из СВУ выгнали. Вернее, я сам ушел. Вы слышали, я знамя полка в колодце спас, а больше ничего не сделал. Мне в СВУ не нравилось... Иди, вставай... Но таких ребят я больше не видел — нигде. Я ребятами называю всех, тех, что с войны нас воспитывали, тех, кто туда попал... У меня лично матери-отца нет. Не скажу, что тут был дом, мать-отец... Но скажу: их за меня расстреляли, за это знамя... Я не такой, чтобы под начальством ходить. Да и не военный я... Но дому этому — спасибо. Напьемся, разойдутся, не повидаемся, — а дому этому спасибо. — Он поднял стакан, стукнул его о микрофон, и снова зазвучала музыка.

761

Они, Леша и Марина, вернулись к столику, где сидел дядя Коля — при всех орденах: Ленина, Красного Знамени, Красной

Звезды — и медали: “За Отвагу”, “За победу над Германией”, “За взятие Будапешта”, “За Сталинград”.

Музыка играла очень веселая, сегодняшняя.

Между тем праздник становился все беспорядочней. Сдвигались столы. Произносились отдельные тосты, в узком кругу. Не в микрофон. Официальная часть вечера кончилась как бы. Не прекращалась музыка, танцы. Микрофон был сдвинут в сторону.

Леша вдруг встал.

— Ты куда? — спросил дядя Коля.

— Туда. — Леша показал в сторону эстрады.

— Петь, что ли? — спросил дядя Коля.

— Он что, и поет у тебя? — Дядя Коля обратился к Марине.

— Я речь хочу произнести, — сказал Леша. — И прошу мне не мешать, ясно?

— Леша, может, не стоит? — сказала Марина.

— Стоит... — сказал Леша. — Очень даже стоит. Я — недолго... — Он уже шел между столиков к эстраде. — Мне надо...

На него никто внимания не обращал. Танцевали, пели. Леша сжал руками микрофон.

Только Марина и дядя Коля смотрели на него.

Леша молча стоял у микрофона. Вид у него был отрешенный, задумчивый и совсем не праздничный.

И говорить он стал, как бы продолжая уже начатое ранее, и говорил он негромко.

И с первых же слов Марине стало тревожно за него...

— ...Я не хотел сюда идти, понимаете?... И ехать не мог, не потому, что не мог, а боялся... Чего боялся? Поясню... Боялся себя... Есть такое, наверное, в каждом, у каждого человека, что трогать особенно не стоит... А прошлое — это всегда какие-то поминки по самому себе... Все равно что самого себя встретить мальчишкой...

(На Лешу оборачивались ребята с ближних столиков; кто-то даже зааплодировал ему; а Марине становилось все тревожней и тревожней, — никогда она таким Лешу не видела и не представляла Лешу т а к и м.)

Дядя Коля посмотрел на нее, на Лешу у микрофона и вдруг спросил:

— ...Марина, а почему бы вам с Лешкой не пожениться?

Марина рассеянно повернулась к нему, ничего не ответила.

— ...Ребята, — продолжал Леша, — мы тут все уже разные...

Но разве в этом дело... Я не знаю точно, в чем... Я не могу объяснить... Ну, я скажу вам, всем, что я всех вас люблю... Что — вот, хотел бы всегда видеть вокруг себя эти лица... Слушать все это вместе... Не расставаться... И все это правда... Ну, и что с того? Понимаете, вы мне нужны, очень... Я это раньше понимал, отвлеченно...

(Кто-то выключил микрофон, но Леша и не заметил этого, продолжая говорить.)

— ...Нужно, чтобы у человека в душе было это... Детство, война... Родина... Это ведь все очень конкретно — вот дядя Коля сидит, вот ребята, все мы, я, ты...

— ...Разъедемся, — продолжал Леша. — Разъедемся... Это все понятно... И письма писать необязательно... мура все это... Письма... Жив-здоров... Не в этом дело! Самое страшное, если мы забудем, что все это было, что мы тут все встретились... Я никогда ничего этого не забуду... Это все со мной, понимаете? Все вы... Навсегда...

...Так было.

Так могло быть.

И пусть это станет настоящим концом нашей истории, ее последними страницами, посвященными тем, в чью жизнь с детства вошла война, и сколько бы лет ни прошло после, и кем бы ни стали они, — война — это уже навсегда с ними.

И пусть этот последний день, когда они, бывшие суворовцы, собрались на училищном плацу, будет ветреным, осенним.

И Леша стоял в числе других.

А напротив — стояли они же, эти ребята, только моложе на двадцать лет.

Ободранные, стриженные наголо мальчишки, и босые были, и в деревяшках на тесемках. Они по осеннему холоду постукивали этими деревяшками об асфальт...

Никто из стоящих напротив не узнавал себя в этих ребятах 1947 года.



Гена Шпаликов с мамой Людмилой Никифоровной
и отцом Федором Григорьевичем.
Фото © Музей кино

Они просто стояли и смотрели друг на друга, и была между ними, сегодняшними, и теми, кого собирались вести в баню, наверно, поскольку и старшина на них покрикивал и выравнивал строй, — была между ними черта времени, которую преодолеть никому не дано.

Но расстаться им было невозможно.

Так они и стояли друг против друга на холодном осеннем ветру...

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Если даже пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Путешествия в обратно
Я бы запретил,
И прошу тебя, как брата,
Воду не мутить.

А не то рвану по следу, —
Кто меня вернет? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю
Так, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.

КОНЕЦ

“ВОЗДУХ ДЕТСТВА”
СЦЕНАРИЙ

765

ДРУГОЙ ВАРИАНТ ФИНАЛА

766

ДИАЛОГ:

Марина: По городу шагает веселое звено. Как ты считаешь? Куда идет оно? Веселое, веселое по городу звено, куда оно шагает, само не знает оно...

Лариса: Деньки, деньки, веселые, веселые деньки, как птицы разливаются трамвайные звонки....Как птицы разливаются трамвайные звонки, синие, зеленые, весенняя Москва, еще не запыленная, как эта листва...

Марина: Вот девочками прикинулись, а отчего бы нет? Потому что лучшего нет.

Лариса: Это у тебя так. По необычности. Это пройдет.

Марина: Я люблю, и это для меня не то чтоб с углом улицы объясниться, или же с молочной, или же с трамвайными вывесками, так, что ли... Мы однажды как-то лежали на крыше, а на нас сверху летели парашютисты, парашютисты...

Парашютисты, около Тушино, падали, промахнувшись мимо своей, очевидно, предназначенной цели мимо. Алеша лежал рядом с Мариной на крыше, в полусне, и первое, что он мог увидеть в полусне, — это был ярко-синий комбинезон, и первое, что

он мог ощутить, — это ожог от крыши, от кровли ее раскаленной, а затем все было проще.

— Я люблю, — говорит Марина.

— И я его люблю, — говорит Лариса.

— И я ее люблю, — говорит человек в зеленой соломенной шляпе, идущий возле реки.

СОН. Правда, так все и было.

И тогда был такой человек. Он рядом жил. Он видел, как красиво и разноцветно спускаются парашюты, минуя им предназначенные места спуска, минуя все, что предназначалось для спасения, — от воды, деревьев.

Было ему тогда лет тридцать, но он, увидев, как рассыпается на его глазах праздник военно-воздушного флота 1946 года, где из надписи “СТАЛИН” выпала одна из букв, которая, по сути, ничего не решала, но человек этот рванул в сторону Тушино совсем не потому, а лишь по случайному и благословенному случаю, подхватив меня на свой сверкающий иностранный, вполне им заслуженный автомобиль.

Описание картофельного поля. Туда падает один из первых реактивных советских самолетов, а может быть, даже и не реактивных, а странный самолет.

Который не мог свою конструкцию перенести через картофельное поле. Вначале. После — через бугор, после еще раз — через картофельное поле. После, рассмотрев реку и возможности через нее перетянуть, все же свалилась эта машина в картошку.

Титр: ГАГАРИН

Мне никогда не довелось быть на могиле Гагарина, знаю, что озеро там, возле берез озеро, знаю, что не приду никогда я на могилу вот эту... Вижу озерцо, тот край, землю примятую эту, вижу, как первый последний снежок падает и вам, прощаясь, все обговаривает хорошо. Вы все живите, не обольщайтесь памятью обо мне, обо мне бросьте вы, позабудьте, это не я на Луне, это не я погибал на “Салюте”.

ДИАЛОГ. Я хотел поступить в Казанское училище, — говорил Леше кто-то, — как и ты. А я потом передумал. Да почему? Да не знаю я почему. А ты почему передумал? Я плохо учился, — сказал этот парень. А ты? Ну уж тебе лучше знать. Погоди. Чего погоди? Ну я слушаю стою. Чего ты слушаешь? Вот как каштаны падают. А они не падают. Смотри, падают. Смотри. Он скинул их рукой. Падают. И лоб подставил. Падают. Смотри. Падают. А ты по трубе водосточной влезешь? Куда? Туда. Там яблоки еще есть, яблоко вернее... Поехали, полезли... Полезли... Ну полезли, — сказал Леша.

И они полезли. Леша впереди, а парень этот позади, хватает ржавый скоб, уже скользкий, неверный уже, но еще человека держащий, и Леша успел передать своему товарищу, который карабкался позади, яблоко и уже упавшее почти, но требующее своего отдельного описания, поскольку яблоко было так хорошо, так разноцветно оно, — не висело, а невесомо подвешивалось. Просто было яблоко во всей своей ночной красе, росе.

СОН

Их построили на плацу, огромном, бетонном, заготовленном для парадов, где в соседнем помещении, тоже заготовленном для прыжков в высоту на два метра, или в длину на восемь метров, или с шестом на пять метров. Вот недалеко от этого здания их построили. Они стояли одетые разнообразно, глядя на самих себя, одетых разнообразно, но по форме 1947 года. Никто из стоявших напротив себя не узнавал, да и узнать было трудно: потому что все были ободранные, стриженные, были люди и босиком, были и в деревяшках на тесемочках, и они по осеннему холоду деревяшками этими постукивали, а те, кто стоял напротив, были одеты вполне, но была между ними та невидимая черта, которая вовсе и не обозначает черту, но невидимость ее — очевидна. Тех повернули, кто был в ботинках на деревяшке, повернули, в баню повели. Тех, кто остался стоять в этом строю, никуда не повели. Они так и стояли.

В бане. В пару, в холоде, в поисках таза — скольжение на обмылках в поисках места...

Все переменялось. Они, одетые во все, что могло им достать государство, стояли напротив людей старше их лет на двадцать, и не узнавали они их, потому что узнавания не было. Потому что смешно и нелепо выглядели люди в одеждах военного времени, которые были им и коротковаты, и нелепы. Но они радовались этим одеждам, глядя друг на друга, то примеряя ободранную куртку, то шлепая деревянным башмаком по асфальту, то примеряя какую-то куртку, где рукава были порваны в плече и нелепо торчали.

А на тех ребятах, на них же были послебанные их одежды. Кто-то свистнул, и они их стали снимать: все пиджаки, свитера и прочее. Кто-то еще свистнул, и появился парикмахер, он стул поставил, достал из-под полы пиджака скатерть. Машинку. И стал медленно и верно их подстригать всех до одного, уже без костюмов, без свитеров, окутанных лишь скатертью белейшей крахмальной.

По несчастью или к счастью, истина проста:

Никогда не возвращайся в прежние места,

Если даже пепелище выглядит вполне,

Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне.

Мой товарищ по несчастью, истина проста:

Никогда не возвращайся в прежние места.

Путешествия в обратно я бы запретил,

И прошу тебя, как брата, душу не мутит.

А не то рвану по следу, кто меня вернет,

И на валенках уеду в сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю там, где, боже мой,

Будет мама молодая и отец живой.

КОНЕЦ

1974 год



Суворовцы. Г. Шпаликов, как всегда, — в центре.
Фото © Музей кино



ПАВЕЛ ФИНН

“МЫ ОДНОГОДКИ ВСЕ, 37 ГОД” *

БЕСЕДА ДРАМАТУРГА ПАВЛА ФИННА

С “СУВОРОВЦАМИ”, ОДНОКАШНИКАМИ ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА,
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО”

772

Павел Финн. Шпаликов старше меня на три года по рождению, я 1940 года. И старше был на курс во ВГИКе. Когда я первый раз пришел в институт 2 сентября 1957 года, он практику проходил, была у нас, сценаристов, такая “творческая практика”. И все, что я слышал во ВГИКе до нашей первой встречи, — это были разговоры в основном про Шпаликова. Он был всеобщий любимец в институте.

Эдуард Печенев. Он был коммуникабельный. Аура у него была.

Павел Финн. От него исходил какой-то свет. Он ходил в черном вельветовом пиджаке, всегда в одном и том же, и был очень подтянутый. И ходил он как-то особенно.

Эдуард Печенев. Да! Вот! У него была особенная походка. Мы все какие-то... кто стремительный, кто еще какой-то, а этот... не знаю даже, с чем сравнить.

Олег Олешко. Он был обаятельный. Добрый, общительный очень.

Эдуард Печенев. Улыбка замечательная. И он был франт немножко. Любил носить брюки клеш. У нас Игорь Соколов из фанеры вырезал уголок, как матросы это делали. И вот перед выходны-

* Публикуется по: Финн П. Эдуард Печенев, Олег Олешко: “Мы одногодки все, с 37-го” // Искусство кино. 2017. № 4.

ми все по очереди мочили нижнюю часть брюк, загоняли туда этот уголок — и под матрас. Наши офицеры-воспитатели ругались, заставляли ушивать наши “клеша”. Это было уже где-то в седьмом-восьмом классе.

Павел Финн. Как мы, мальчишки-школьники, завидовали вам, суворовцам, — вы даже не представляете себе. Тогда еще вышел “Сын полка” Катаева — и книжка, и кино...

Эдуард Печенев. В Киеве нас очень уважали. Мы же участвовали во всех парадах.

Олег Олешко. Два раза в год, как правило. На майском и на октябрьском.

Валерий Куделин, одноклассник Шпаликова: Мы шли с парада и видим: в одном винно-водочном магазине выставили портрет Ленина среди бутылок и прочего. Я это не заметил, пока Гена не среагировал. Как же так? Вождь пролетариата среди винно-водочных бутылок. Вот он прореагировал <...>

Эдуард Печенев. У нас было переходящее красное знамя и бюст Суворова в придачу. Вручался приз за успехи в учебе, в спорте, в самодеятельности. И мы дважды завоевывали этот приз. Призеры участвовали в московском параде. Мы дважды участвовали, стояли у храма Василия Блаженного, замыкали парад. Я шел в последней шеренге. Я даже Сталина видел!

Олег Олешко. В 1952 году, в мае.

Павел Финн. Значит, мы с вами одновременно были на параде в 1952 году. Только я на трибуне рядом с Мавзолеем. Так получилось.

Олег Олешко. За нами нахимовцы шли еще.

Павел Финн. Гена, кстати, в каком-то письме пишет...

Олег Олешко. Да! Восемнадцать лет — и двадцать парадов, так он, что ли, там написал?

Эдуард Печенев. Еще один момент вспомнил. У нас же была строевая подготовка. Плац был за училищем. Принимали зачеты. Ты идешь шагом торжественным, высоко поднимаешь руку, отдаешь честь... Так вот, Шпаликов выделялся каким-то особым изяществом. Он очень красиво ходил. Помню, офицер-воспитатель Ворончук его даже отметил: “Посмотрите, как он ходит молодежато. Как он выглядит здорово! Вот так и вы должны”.

Павел Финн. Выправка у него так и осталась.

Олег Олешко. Суворовские училища были созданы в 1943 году, после победы в Сталинградской битве. Страна еще воевала, еще острое положение было.

Эдуард Печенев. Да. Подбирали мальчишек на дорогах.

Олег Олешко. И был такой генерал Игнатьев, еще даже царский генерал. Написал книгу “Пятьдесят лет в строю”. Так вот, он предложил Сталину создать училище, по типу кадетских корпусов царских. Решено было создать девять училищ. Одно разместили в Чугуеве, откуда немцы были изгнаны... Приказом Сталина были созданы училища, а благодаря Хрущеву из Чугуева суворовское перевели в Киев. Прекрасное здание, а за зданием — парк, а за парком — кладбище на горе. А с этой горы видна Киево-Печерская лавра. С другой стороны — Днепр, мост Патона... Это для нас воспоминание очень сильное...

Павел Финн. Вы учились вместе с первого класса?

Эдуард Печенев. Нет, с четвертого. Одногодки были все, 37 год.

Росли без матерей, без отцов. Отца я вообще не помню.

Павел Финн. Наверное, тосковали по дому?

Олег Олешко. Да, это было, в первые дни.

Эдуард Печенев. Когда мать меня привела, меня тут же переодели, я вышел, и она сказала: “Боже мой, как ему идет эта форма!” Из Москвы привезла меня в Киев и уехала. И я целую неделю под одеялом плакал по ночам. Мне так было обидно. Там я был один в доме, а тут — сто человек.

Павел Финн. А почему именно в Киев?

Эдуард Печенев. Вся родня у мамы там, она родилась в Киеве. Три сестры и два брата ее жили в Киеве. Поэтому они меня по очереди забирали на выходные, чтобы подкормить.

Павел Финн. А некиевляне ходили к киевлянам?

Олег Олешко. Разрешалось брать в увольнение кого-то с собой, если родители разрешали.

Павел Финн. А вы вообще знали, чей Гена родственник?

Эдуард Печенев. Отец у него погиб на фронте.

Олег Олешко. Да. Отец его погиб в последний год войны, уже за границей.

ПАВЕЛ ФИНН. А кто был дядя, знали? Любимый дядя Сеня. Генерал-полковник Переверткин, герой Советского Союза. Командир 79-го Берлинского стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Его солдаты штурмовали и взяли Рейхстаг...

ЭДУАРД ПЕЧЕНЕВ. Об этом мы не знали...

ПАВЕЛ ФИНН. Гена его очень любил. Он был ему как отец. И когда дядя Сеня погиб — он разбился на вертолете под Одессой, там было несколько генералов, — это для Гены была страшная драма.

ЭДУАРД ПЕЧЕНЕВ. Гена о нем не говорил. Он был скромный.

ПАВЕЛ ФИНН. Он вообще с ребятами был в хороших отношениях?

ЭДУАРД ПЕЧЕНЕВ. Да. Такого, чтобы он где-то задирался, — не было.

ПАВЕЛ ФИНН. А вообще... Дисциплина дисциплиной, но понятно же — мальчишки... Нарушали дисциплину?

ОЛЕГ ОЛЕШКО. На улицу нас не выпускали. Казарменное положение.

ЭДУАРД ПЕЧЕНЕВ. В самоволку ходили, и Генка ходил. Некоторых вылавливали. Нас, пацанов, на гауптвахту не брали. Был карцер.

ОЛЕГ ОЛЕШКО. Но потом его отменили.

ЭДУАРД ПЕЧЕНЕВ. Там было положено так — вода, кусок хлеба. И мы наказанных подкармливали, приносили что-то из столовой. Вообще, карцер — не больше трех суток. Ну, так, чтобы почувствовал.

ПАВЕЛ ФИНН. А драки были?

ЭДУАРД ПЕЧЕНЕВ. С гражданскими — конечно. Из-за девчонок...

ОЛЕГ ОЛЕШКО. Мы, конечно, были немного заторможенные, с девушками трудно было общаться. Потому что мы учились, когда школы были отдельные — мужские и женские...

ЭДУАРД ПЕЧЕНЕВ. Балы у нас были шикарные. У нас свой оркестр был, причем он даже был призером Киева среди духовых оркестров. На балы мы приглашали наших сверстников. Целый класс, а то и целую школу. (Смеется.) Старались какую побогаче, чтобы на выходные можно было пойти в гости, покушать вкусно.

Олег Олешко. Вечера у нас были довольно редко, по праздникам. И бывало так: праздник — а тут приказ по округу или по гарнизону, мол, посторонние на территории воинской части не должны присутствовать, и срывались эти мероприятия. А мы их так ждали!

Эдуард Печенев. Гена хорошо танцевал. Все ребята у нас танцевали. У нас преподавал полковник царской армии Миллер. Правда, бальные танцы были другие, не такие, как сейчас...

Олег Олешко. Па-де-грас, па-де-катр...

Эдуард Печенев. Он нелегально нас учил танцевать запрещенные в то время танго и фокстрот. Мы с тех пор эти танцы любим и танцуем. Когда руководство узнало об этом, его просто уволили. Но он не только преподавал танцы. Он беседовал с нами о том, как нужно подойти к девушке, как с ней заговорить, о чем говорить. То есть он нам давал вот эту школу — общения русского офицера с женщиной.

Павел Финн. Да и в институте тоже — наши девочки Генку любили.

Эдуард Печенев. Гена хорошо танцевал, хорошо выглядел — был подтянутый, красивый мальчик. И когда объявляли белый танец, к нему прямо кучка девчонок подбегала, чтобы пригласить на танец.

Павел Финн. Гена тогда вообще любил за девушками ухаживать?

Олег Олешко. Была у него девочка, да...

Павел Финн. А что это за девочка была?

Олег Олешко. Он вместе с ней тренировался на стадионе Киевского военного округа. Там был бассейн. Гена занимался прыжками в воду. Девочки и ребята с гражданки тоже тренировались. Он с ними общался, а мы их не видели.

Павел Финн. А он спортом серьезно занимался?

Эдуард Печенев. Да, серьезно. Нам же и разряды присваивали.

Павел Финн. Он меня все уговаривал, но не уговорил — прыгать с вышки с парашютом. И он прыгал раза два, по слухам. Он и с моста в Москва-реку один раз сиганул.

Эдуард Печенев. В общем, в нем была экстремальность какая-то. Он все хотел себя испытать. У меня до сих пор тоже это чувство — испытать себя. Так хотелось пострелять. Может, я и не вер-

нулся бы оттуда. Но вот испытать себя, понять, что я из себя представляю, проверить...

Павел Финн. А на балы приходили ребята со стороны?

Эдуард Печенев. Мы только девчонок приглашали... А ребята знали о том, что они к нам пошли, и потом их вылавливали. Выловят, а потом наших бьют. В дело шли бляхи, у нас же ремешки были с бляхами.

Павел Финн. Генка в драках участвовал?

Эдуард Печенев. Нет.

Олег Олешко. У него не было агрессии, ничего такого.

Павел Финн. Берег себя для другой жизни.

Эдуард Печенев. Агрессивности в нем не было, это точно. Добрый он был. Поэтому кому-то причинять боль — это было не для него. И не мстил никогда. Да и не было завистников.

Олег Олешко. Он не боялся прыгать с десятиметровой вышки, а подраться с гражданскими — этого он избегал. Я думал: что он — там не боится, а тут боится, что ли? Но потом я понял: просто ему это было... Как это сказать? Неинтересно.

Павел Финн. А вы знали, что Гена пишет стихи?

Эдуард Печенев. Нет, к сожалению.

Павел Финн. Он тогда очень много писал.

Эдуард Печенев. Знаете, у нас был очень хороший преподаватель литературы и русского языка, Шарапов. Участник войны, танкист, у него лицо обгорело, было в пятнах. Он нам солидно давал литературу. Я с Геной какое-то время сидел за партой. Сначала я сидел с Узиенко. Он обладал исключительной грамотностью, хотя был из деревни. И на диктантах я, конечно, косил глаза, подглядывал. У меня была троечка, четверочка. А тут вдруг пятерки стал получать. И Шарапов на второй день что-то заподозрил и начал за мной наблюдать. И после второго диктанта нас рассадили с Узиенко, посадили меня к Шпаликову. А Гена тоже был не очень силен в грамматике. И мы друг у друга списывали, и потом у нас были абсолютно одинаковые ошибки (*смеется*).

Павел Финн. Не очень хорошо учился?

Эдуард Печенев. У Гены математика не очень хорошо шла. И когда у нас были серьезные контрольные, мы всячески искали повод, чтобы как-то их миновать. У нас был сад. Накану-

не, за день, выходили в сад, снимали ботинки и бегали по снегу босиком в надежде заболеть. Чтобы избежать контрольной, надо было заболеть. У нас была санчасть, там были очень добрые сестры, врачи, которые с удовольствием нас принимали, подкармливали.

Павел Финн. А вы выпивали там немножко, в суворовском?

Олег Олешко. Это было. Но Гена как раз не склонен был... Нам из дома мамы присылали деньги, 50 рублей.

Эдуард Печенев. Но не всем.

Олег Олешко. А мы уже подростками были. Куда эти деньги девать? Конфеты — что-то не то. Рядом была круглая башня, там магазин. Мы покупали бутылку вина, коробку печенья, шли в сад. Тогда же сургучом бутылки запечатывали. Отбивали горлышко, из горлышка пили и печеньем закусывали.

Павел Финн. А когда вы юношами становились и выходили в город, какие там развлечения были?

Олег Олешко. Ходили в кино, мороженое покупали, гуляли по парку.

Эдуард Печенев. Шли в кафе-мороженое и сгоряча съедали по килограмму мороженого. И такой это был кайф! А после этого уже сил не было куда-то идти, не хотелось.

Павел Финн. Вообще, Киев — город замечательный, красивый.

Олег Олешко. И место это, где суворовское, — прекрасное.

Эдуард Печенев. Цветник там был, клумбы, цветы такие яркие, деревья фруктовые.

Олег Олешко. Вначале в отпуск не отпускали. Потом, когда постарше стали, отпускали — кто заслужил. Вначале киевлян отпускали домой, если приходили за ними.

Эдуард Печенев. Мы были из Москвы: я, Куделин, Шпаликов... Офицер-воспитатель в нашем взводе был Герой Советского Союза Ворончук Андрей Яковлевич. У нас было два отпуска: зимние каникулы, десять дней, и летние — как положено военному, тридцать суток. На тридцать суток нам выдавали проездной документ. А проездных не давали. Ехали-то мы по 22–23 часа до Москвы. Как раз накануне Нового года — выезжали 30-го, а 31-го, за час-полтора, приезжали в Москву. Как мы уезжали? Ворончук шел вдоль состава, выбирал проводника, распахивал

шинель и говорил: “У меня просьба к тебе, от ветерана войны. Вот этих пацанов доставь в Москву”.

Павел Финн. А на кителе были медали?

Эдуард Печенев. Медали и звездочка золотая. Никто ему отказать не мог. Это же были какие годы! Война только что кончилась. Обычно нас в общий вагон заталкивали на третьи полки — туда, где багаж. А пассажиры нас подкармливали. Если шла проверка, прятали в ящики, которые были под сиденьем, куда чемоданы кладут. Мы туда залезали и сидели, пока проверка проходила. И Генка тоже. А был у нас приемный сын маршала Малиновского. Он тоже ездил в Москву, но не в поезде. Отец за ним присылал самолет. Так мы ему за это устраивали “темную”. Мы где-то как-то, а он — в самолете!

Павел Финн. У Гены есть такое знаменитое стихотворение, которое все знают. “У лошади была грудная жаба, но лошади — послушное зверье. И лошадь на парады выезжала, и маршалу молчала про нее”. Кто-то мне говорил, что у вас на лошади выезжал начальник училища, когда были парады.

Олег Олешко. На выпуске командующий ехал верхом. На территории училища конюшня была и манеж.

Павел Финн. Впечатление у него осталось, и он написал про это...

Эдуард Печенев. Одно время, по-моему, командующим Киевским военным округом был маршал Чуйков. И был такой случай. Когда мы уже были в старших классах... Кто-то пустил слух, что нам в компот подсыпали что-то, чтобы у нас...

Павел Финн. Понятно, бром.

Эдуард Печенев. И мы объявили забастовку. Мы отказались от обеда. Командующему доложили, что старшие суворовцы отказались обедать, по такой-то причине. Чуйков лично приехал. Он же был грубый очень, он вызывал видимых зачинщиков — и матом на них. “Тебя тут кормят, а ты тут вытворяешь такое... твою мать!” Вот такой случай был. Может, Шпаликов это тоже как-то запомнил?

Олег Олешко. Сохранилось что-то вроде анекдота. Мы уже говорили, у него офицером-воспитателем был офицер Ворончук Андрей Яковлевич, Герой Советского Союза. У нас коридоры в училище — 110 метров, паркетные полы..

Эдуард Печенев. Драили мы их по ночам. Те, кто провинился.

Олег Олешко. И вот идет как-то этот Ворончук, а за его спиной кто-то встал, а за тем — еще кто-то. Он оглянулся — за ним целый хвост суворовцев тянется, один другому в затылок, — и говорит: “Вот один дурак пошел, а за ним — все”.

Эдуард Печенев. Точно, это было.

Олег Олешко. И якобы когда Гена сдавал экзамены во ВГИК и там проблемы какие-то были, он этот анекдот рассказал приемной комиссии. И это как-то повлияло на то, что его приняли.

Павел Финн. Он вообще, надо сказать, про суворовское ничего особенно не рассказывал. Хотя в сценарии “Спой ты мне про войну”, уже, может, даже думая о том, что он уйдет из жизни, написал именно о суворовском училище.

Олег Олешко. Это всегда остается. Это неизгладимо в памяти.

Павел Финн. Скажите, а как вы узнали, что он покончил с собой? Сразу же или позже?

Олег Олешко. Я точно уже не помню... Узнали.

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА*

“Долгая счастливая жизнь” — это горькое, чуть ироническое название — оно как бы итог, оно годилось бы ко всему, что делал Гена, и осознание, что его жизнь — короткая и несчастливая и он над ней не властен. Он еще в молодости сказал, что поэту следует жить до тридцати семи лет и дольше он жить не собирается. И стихи вот эти, 1959 года, в двадцать два года написаны:

781

Хоронят писателей мертвых,
Живые идут в коридор.
Служителей бойкие метлы
Сметают иголки и сор.

Мне дух панихид неприятен,
Я в окна спокойно гляжу
И думаю — вот мой приятель,
Вот я в этом зале лежу.

Не сделавший и половины
Того, что мне сделать должно...

* За давностью лет автор не помнит, публиковался ли этот текст в другом источнике. (Примеч. сост.)

Вот тут заключена извечная трагедия всех поэтов — обреченность на бессонницу и тревогу: не успеть осуществиться, выразить себя, уникальность своего существования. А уникальность свою он чувствовал и сам, и со стороны находилось масса подтверждений, недаром потом Виктор Платоныч Некрасов написал в воспоминаниях, что Гена Шпаликов был самой талантливой личностью из всех, кого он знал из молодого поколения. Но уникальность эта была самого обреченного, безнадежного свойства, и по прошествии лет можно понять — почему.

Он говорил: “Надо снимать волшебное кино”, — и много лет пытался написать про счастье. Вся русская культура, словесность русская, возникала из отрицания — кроме Пушкина. Мы все воспитаны на критическом реализме, это мощное русло из множества ручейков — из невидимых миру слез, из прямой социальной критики, из обличения, возмущения, из неприятия действительности — от лермонтовской и грибоедовской язвительности до чеховской тоски. И первоначальный импульс — отчего человек начинает писать, точка опоры — была у Гены полярно противоположна: ему требовалось восхищаться, очаровываться.

Любил он только стихи, да несколько фильмов — “Атланту” Вигго, “Дети райка” и “Набережную туманов” Карне, потом Феллини.

А пришел в драматургию, в кино, которое для поэзии мало оборудовано, как теперь, так и тогда. А русские вопросы — “что делать” и “кто виноват” — вызывали у него либо смех, либо зевоту. Он мечтал поднять кино над прозой сиюминутного отображения, над конфликтностью и расчетливостью драматургии — до емкости поэзии, а это дело безнадежное, как остановить мгновение. И судьбу его менее всего надо связывать с поколением, со временем, с кругом общения и с системой, в которую он, конечно, не вписывался, но он не вписывался не в эту политическую систему, а вообще в обыденность, давящую, хаотичную повседневность, которую он хотел прорвать, как плотные слои атмосферы, или — возлюбить, во всех ее мелочах, что еще труднее. Он написал как-то в письме — “у меня нет автоматизма к жизни”. У него не было этой “нейтральной полосы”, где человек приходит в равновесие, упорядочивает себя, отдыхает; вся его жизнь была стрессом, бессонницей, отсю-

да и болезнь — “высокая болезнь”, а потом просто болезнь, много болезней. Но, конечно, — год за три, как на войне. Не такая уж короткая и не такая уж несчастливая жизнь, пятнадцать лет работы и тысячи наших воспоминаний — он знал, что мы его сейчас вспоминаем, воскрешаем.

Вместо послесловия

ДМИТРИЙ БЫКОВ

ОПЕРЕДИВШИЙ СВОЕ ВРЕМЯ*

785

Пятидесятилетний юбилей Геннадия Шпаликова... По свидетельству очевидцев, вечер проходит без особой помпы, но с тем неистребимым налетом пошлости, что неизменно сопутствует официальным мероприятиям, посвященным памяти принципиально “неофициальных” людей. Которым нынче, по тем или иным причинам, решено “воздать должное”, т.е. придать тот самый статус, которого они были лишены при жизни. Вечер ведет писатель и бард Булат Окуджава. По воспоминаниям Натальи Рязанцевой, ему приходится прятать глаза, когда появившийся на сцене Николай Бурляев читает стихи собственного сочинения, смысл которых вкратце сводится к тому, что погиб, мол, поэт, невольник чести... Или когда другой известный киноартист с неумным трагическим пафосом читает шутивное стихотворение “Квазимодо”, написанное в свое время Геннадием Шпаликовым за 15 минут на спор.

За несколько месяцев до юбилея секретариат правления СК СССР принял решение: “учредить ежегодную премию СК СССР имени Геннадия Шпаликова за лучший сценарий года; предложить журналам ‘Искусство кино’ и ‘Советский экран’ подготовить мате-

* Публикуется по: Быков Д. Опередивший свое время // Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. СПб., 2004.

риалы, посвященные его творчеству, издательству ‘Искусство’ — выпустить в 1989–1990 годах сборник его произведений”. Но всем этим прекраснодушным рекомендациям не суждено будет воплотиться в жизнь. Несмотря на то, что Шпаликов идеально подходит на роль “мученика прежнего режима” и что после него осталось значительное количество непоставленных сценариев, неопубликованной прозы, нереализованных замыслов, — новейшему времени он не придется по нраву и нутру так же, как и предыдущему, его отвергнувшему. Он останется здесь таким же “неуместным человеком”, каковым оказался когда-то, в начале 1970-х годов.

Шпаликов был единственным советским сценаристом, в чьей гениальности не сомневался почти никто — и в чьем профессиональном существовании почти никто не нуждался. Возможно, сценарии Шпаликова действительно опережали свое время — ни один из его шедевров не получил адекватного экранного воплощения, лучшие же работы (“Летние каникулы”, “Прыг-скок, обвалился потолок”, “Девочка Надя, чего тебе надо?”) и вовсе не добрались до экрана. Что, возможно, и к лучшему — поставить их не смог бы никто из современников. Он первым сумел почувствовать и, более того, зафиксировать сюжетно протест человека против его социальной роли, подчеркнуть растущее несоответствие между тем, как советский социум был структурирован, — и тем, как он жил.

Именно в сценариях Шпаликова герой перестал быть функцией и зажил собственной жизнью, бесповоротно с этой функцией разойдясь. Отсюда и трагедия — ведь уютнее и комфортнее герою было бы оставаться в рамках той навязанной и придуманной жизни, которой он жил прежде. Но экзистенциальная проблематика, по сути, отменила социальную, и герой перестал вписываться в рамки регламентированного, детерминированного бытия. Весь Шпаликов — о том, как типаж перестает быть типажом, как он выходит из общей игры и начинает существовать по другим правилам. Вот почему кинематограф “оттепели” оказался не готов к шпаликовским сценариям: правда, что большинство режиссеров хотели эти правила модернизировать, но в их намерения решительно не входило эти правила отменять. Возможно, такой слом биографии шпаликовского героя был предопределен резким сломом жизни самого автора: Шпаликов окончил суворовское учили-

ще и начинал с правоверных, под Владимира Маяковского, стихов. Но талант его не вмещался ни в какие рамки — ни в рамки официально-парадного оптимизма, ни (позднее) в рамки “оттепельного” ВГИКа (отсюда мрачный, почти дословно сбывшийся сценарный этюд Шпаликова “Человек умер”: он остро ощущал свою чужеродность даже в вольнодумной студенческой среде). Из суворовца получился еретик, из любимца поколения — изгой, и все по вечной шпаликовской неготовности соответствовать той или иной социальной роли. Он захотел спрыгнуть с подножки того поезда, на котором — с тоской, с песнями или с издевками — ехали почти все его сверстники. Став одним из символов шестидесятнического романтизма, он решительно порвал с ним, ибо увидел всю его фальшь, — и оказался в изоляции.

После звонкой, капельной, непревзойденно-мажорной лирической комедии “Я шагаю по Москве” его главным свершением принято считать сценарий “Заставы Ильича”, которая впервые под названием “Мне двадцать лет” и в чрезвычайно куцем виде вышла в 1965 году. Этот фильм Марлена Хуциева, ставший кинематографическим символом “оттепели”, довольно резко расходится с тем представлением о “прекрасной эпохе”, которое утвердилось впоследствии. Герои шпаликовского сценария чувствуют прежде всего беспокойство и тревогу, а вовсе не беспредельную радость созидания и свободы. Получилась картина не о преемственности (как задумывалось), а об очевидном и непоправимом мировоззренческом кризисе всего общества.

Шпаликовская страсть к разоблачению сложившихся типажей, к добыванию печали и тревоги из устоявшихся социальных фактур сказала в “Долгой счастливой жизни” — фильме, который он снимал в качестве режиссера и задумывал как посвящение своему кумиру Жану Виго. В фильме “Ты и я”, прогремевшем на Венецианском кинофестивале 1972 года и почти не замеченном в СССР, Шпаликов и Лариса Шепитько разрушили одну из самых устойчивых советских версий “подмены” сущего видимым: погоня “за туманом”, охота к перемене мест, стройки и геологические партии, “принятие к истокам” обнаруживали в фильме свою фальшь и бесплодность. Именно здесь состоялась констатация тотального кризиса шестидесятничества, был осознан и запечатлен крах иллюзий.

Вырождение советского социума, его измельчание и рутину показал Шпаликов в последнем и, вероятно, самом мощном своем сценарии — киноповести “Девочка Надя, чего тебе надо?”. Это история о железной девочке, “комсомольской богине”, которая пытается в затхлой и аморфной среде ранних 1970-х годов вернуть принципы коммунистической утопии — заставить людей жертвенно трудиться, героически рисковать, не делать себе и друг другу ни малейших послаблений... Апофеозом становится сцена на городской свалке, куда героиня созвала на субботник всех жителей своего приволжского города. Вместо того чтобы наводить порядок в окрестностях городишка, жители приносят еду, транзисторы, гитары и весело пируют на огромной мусорной куче. Эта сцена достойна стать самым масштабным и одновременно простым символом всего заката империи. Картина, по замыслу Шпаликова, должна была заканчиваться самосожжением героини. Естественно, о постановке фильма по этому сценарию не мечтал даже сам сценарист.

Трудно сказать, на чьей стороне симпатии Шпаликова в последней его киноповести. Вероятнее всего, ни на чьей. Безошибочный диагност, он и здесь поставил единственно точный диагноз: общество давно и безоговорочно отделилось от тех принципов, которые исповедовало на словах, и доминантой его существования стала расслабленная снисходительность к своим и чужим порокам. Сам Шпаликов этой снисходительностью не отличался и покончил с собой, четко обозначив перед этим свой выбор в одном из частных разговоров: “Сейчас одни продаются, другие спиваются”. Его, как всегда, не устраивал ни один из предложенных вариантов.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абалов (Абалян) Эдуард Гайкович — актер, режиссер 569
- Авдеенко Юрий Николаевич — студент ВГИКа (1956–1961) 192
- Авербах Илья Александрович — режиссер, сценарист 261, 656, 703
- Авербах Лика Ароновна — ассистент по актерам (на съемках “Я шагаю по Москве”) 443, 444, 445
- Авербух Гита Соломоновна — секретарь художественного факультета ВГИКа 215
- Аветиков Юрий Сергеевич — сценарист 657
- Агапов Владимир Михайлович — футболист 94
- Агишев Одельша Александрович — сценарист, преподаватель сценарного мастерства 657, 693
- Агишева Нора Алексеевна — редактор 684, 693
- Аграненко Захар Маркович — режиссер, драматург 82
- Аденауэр Конрад — канцлер ФРГ (1949–1963) 333
- Акимов Николай Павлович — режиссер, сценограф, педагог 308
- Аксенов Василий Павлович — писатель 516, 588
- Алейников Петр Мартынович — актер 492
- Александров Григорий Васильевич — актер, режиссер, сценарист 305
- Алигер (Макарова) Татьяна Константиновна — поэт, переводчик 681
- Алигер Маргарита Иосифовна — поэт, переводчик 681
- Алигер-Энценсбергер Мария Александровна — переводчик 681
- Алимов Сергей Александрович — художник театра и анимационного кино, график 296, 338, 351, 661, 703
- Алисов Вадим Валентинович — оператор 661
- Алов Александр Александрович — режиссер, сценарист 720
- Амин Иди — президент Уганды (1971–1979) 611
- Амундсен Руаль — норвежский полярный путешественник-исследователь 42, 359
- Андреев Борис Федорович — актер 492
- Андроникашвили Борис Борисович — актер, сценарист, писатель 236 (ил.), 660
- Антониони Микеланджело — итальянский режиссер, сценарист 464–465
- Анурова Юлия — подруга Г. Шпаликова 692, 698

- Аранович Семен Давидович — режиссер, сценарист 656
- Ардабьевский Михаил Владимирович — оператор 656, 658–659 (ил.)
- Аристотель — древнегреческий философ 117, 180
- Арканов Аркадий Михайлович — писатель, драматург, сценарист 609
- Аронов Григорий Лазаревич — режиссер, сценарист, актер 690
- Арсенов Павел Оганезович — режиссер, актер 187, 191, 213, 215, 581, 657
- Арцеулов Константин Константинович — летчик-испытатель, конструктор 315, 417
- Арцеулов Олег Константинович — оператор, режиссер 315, 351
- Асафьев Борис Владимирович — композитор, музыкальный критик, педагог 88
- Асеев Николай Николаевич — поэт, переводчик, сценарист 163, 164, 225
- Аташева Пера Моисеевна — актриса, журналист, кинокритик, режиссер документальных фильмов, жена С. М. Эйзенштейна 215
- Ахмадулин Юрий — актер 252
- Ахмадулина Белла Ахатовна — поэт, писатель, переводчик 218, 323, 389–393, 392 (ил.), 460, 563, 597, 660, 663, 666, 667, 668, 687, 703–704, 709
- Ахматова Анна Андреевна — поэт, переводчик 226, 333, 343, 471, 472, 626
- Бабель Исаак Эммануилович — писатель, драматург, переводчик, сценарист 215, 314
- Багрицкий Эдуард Георгиевич — поэт, переводчик, драматург 225
- Байков Евгений Федорович — футболист 94
- Байрон Джордж Гордон — английский поэт — 434
- Балдин Борис Михайлович — фотограф “Мосфильма” 530
- Бальзак Оноре де — французский писатель 679
- Баратынский Евгений Абрамович — поэт 10
- Баскаков Владимир Евтихианович — киновед, сценарист, заместитель министра культуры СССР по вопросам кино 437
- Басов Владимир Павлович — актер, режиссер, сценарист 439, 572–573
- Батюшков Константин Николаевич — поэт 10
- Бган Ольга Павловна — актриса 187
- Белинский Виссарион Григорьевич — литературный критик 185
- Белоусов Александр Александрович — актер 483
- Беляев Александр Романович — писатель-фантаст 181
- Белянкин Юрий Николаевич — режиссер, сценарист, оператор 288 (ил.), 656
- Бенкендорф Александр — студент ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х гг.) 296–297, 383–384, 533, 662
- Берггольц Ольга Федоровна — поэт, прозаик, драматург, журналист 17–18
- Берия Лаврентий Павлович — руководитель НКВД СССР (1938–1953) 264
- Беца Йожеф Йожефович — футболист 94
- Бибиков Борис Владимирович — актер театра и кино, театральный режиссер и педагог 183
- Бишопс Виктория — дочь М. С. Вайнберга 318
- Бланк Борис Лейбович — художник-постановщик, режиссер, сценарист 661
- Блок Александр Александрович — поэт, писатель, публицист, драматург 398, 550
- Богданов Евгений — актер 417
- Богин Михаил Синаевич — режиссер, сценарист 215, 586
- Богородский Федор Семенович — художник 183
- Бойм Александр Соломонович — художник театра и кино 296, 351, 468, 661
- Бондарчук Сергей Федорович — актер, режиссер, сценарист, педагог 311, 321, 448, 474–475, 527, 686
- Бородин Александр Порфирьевич — композитор, ученый 84
- Боттичелли Сандро — итальянский художник 334, 335 (ил.)
- Брежнев Леонид Ильич — генеральный секретарь ЦК КПСС (1964–1982) 16, 404, 454, 482, 563, 699

- Брессон Робер — французский режиссер, сценарист 313
- Брехт Бертольт — немецкий драматург, поэт, прозаик 215
- Брик Лилия Юрьевна — адресат произведений В. В. Маяковского 138
- Бритиков Григорий Иванович — директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького (1955–1978) 542–543
- Бриттен Бенджамин — британский композитор, дирижер, пианист 318
- Бродский Иосиф Александрович — поэт, эссеист, переводчик 10, 563
- Бруно Джордано — итальянский ученый, философ, поэт 128
- Брюсов Валерий Яковлевич — поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед 668
- Будницкая Алла Зиновьевна — актриса 539, 540
- Булгаков Михаил Афанасьевич — писатель, драматург 238, 260, 318, 329, 357
- Бунеев Борис Алексеевич — режиссер, сценарист 693
- Бунин Иван Алексеевич — прозаик, поэт 264, 320, 388, 455, 528, 582, 605
- Бурляев Николай Петрович — актер, режиссер, сценарист 785
- Бухарин Николай Иванович — политический и государственный деятель 685
- Бышовец Анатолий Федорович — футболист, тренер 326
- Вайда Анджей — польский режиссер, сценарист, продюсер, художник 493
- Вайль Лера — знакомый Г. Шпаликова 488
- Вайль Петр Львович — журналист, писатель 488
- Вайнберг Моисей Самуилович — композитор, пианист 318
- Вайншток Владимир Петрович — кинорежиссер и сценарист 672, 673, 674, 675, 679, 680, 684, 685, 686, 699
- Вайсфельд Илья Вениаминович — критик, киновед, сценарист, редактор 226, 657
- Валуцкий Владимир Иванович — сценарист 117, 228 (ил.), 229–230, 657, 706 (ил.)
- Вампилов Александр Валентинович — драматург, прозаик 675
- Вань Ди — студент ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х гг.) 669
- Васильев Александр — в конце 50 — начале 60-х гг. студент киноведческого отделения ВГИКа 660
- Васильев Юрий Васильевич — художник, скульптор 666
- Васильева Екатерина Сергеевна — актриса 671–672, 703–704
- Васильевы, братья — творческий псевдоним режиссеров и сценаристов Георгия Николаевича и Сергея Дмитриевича Васильевых 16
- Венгеров Владимир Яковлевич — режиссер, сценарист 323, 558, 689–690, 717
- Верди Джузеппе — итальянский композитор 87
- Вересаев Викентий Викентьевич — писатель, переводчик, литературовед 11, 314
- Верн Жюль — французский писатель 42
- Вертинская Марианна Александровна — актриса 378–379 (ил.), 412–413, 414–415 (ил.), 580, 584–585 (ил.), 688
- Вертов Дзига — режиссер 16
- Верхарн Эмиль — бельгийский поэт 281
- Виго Жан — французский режиссер 246, 313, 314, 495, 554, 698, 782, 787
- Вийон Франсуа — французский поэт 388
- Виноградов Игорь Иванович — критик, литературовед, журналист 609
- Виноградская Екатерина Николаевна — сценарист 163–164
- Вишневский Александр Александрович — хирург, ученый 635
- Вишневский Всеволод Витальевич — писатель, драматург, сценарист, журналист, военный корреспондент 267
- Вишняков Петр Ильич — актер 483
- Владимир Святославич — князь Новгородский и Киевский 544
- Владимов Георгий Николаевич — писатель, литературный критик 531
- Воинов Константин Наумович — режиссер, сценарист, актер 110
- Володин Александр Моисеевич — драматург, сценарист, поэт 321, 516, 561

- Волчек Борис Израилевич — оператор, режиссер, сценарист 183, 656
- Вольпин Михаил Давыдович — драматург, поэт, сценарист 263
- Воронин Валерий Иванович — полузащитник “Торпедо” и сборной СССР по футболу 326
- Воронин Вячеслав Анатольевич — актер 106
- Ворончук Андрей Яковлевич — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза, офицер-воспитатель взвода Г. Шпаликова в КВСУ 47, 774, 778, 779, 780
- Ворошилов Игорь Васильевич — художник 660
- Ворошилов Климент Ефремович — государственный деятель, маршал Советского Союза 264
- Ву Тхи Хиен — студент ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х гг.) 181, 669
- Высоцкий Владимир Семенович — актер, поэт, автор-исполнитель 321, 431, 460, 565, 576
- Вяземский Петр Андреевич — поэт, литературный критик, переводчик 10, 311, 428, 458
- Габрилович Алексей Евгеньевич — режиссер, сценарист 581, 660, 683
- Габрилович Евгений Иосифович — писатель, драматург, сценарист 224, 263, 414–415 (ил.), 423, 669, 686, 705
- Габрилович Нина Яковлевна — жена Е. И. Габриловича 685
- Гагарин Юрий Алексеевич — летчик-космонавт 465, 562, 767
- Галилей Галилео — итальянский ученый, философ 128
- Галич Александр Аркадьевич — поэт, сценарист, драматург, автор-исполнитель 254–255, 395, 417, 559, 675, 676, 679–680
- Гальперин Александр Владимирович — оператор, педагог 656
- Гарин Эраст Павлович — актер, режиссер, сценарист 145, 359
- Гарт Брет — американский поэт, прозаик 684, 686
- Гейбл Кларк — американский актер 225
- Гейне Генрих — немецкий поэт, публицист и критик 132
- Гелазония Петр Ильич — журналист, главный редактор журнала “Семья и школа” 342
- Георгиев Виктор Михайлович — режиссер, сценарист 657
- Герасимов Сергей Аполлинариевич — режиссер, актер, сценарист, драматург, педагог 183, 657
- Гердт Зиновий Ефимович — актер 321, 417, 450
- Герцен Александр Иванович — публицист, писатель, философ 312, 686
- Гете Иоганн Вольфганг — немецкий поэт, прозаик, философ 348
- Гинзбург Александр Ильич — журналист, издатель 692
- Гинзбург Семен Сергеевич — историк кинематографа, педагог 223
- Гирей Батыр — крымский хан (1637–1641) 528
- Гитлер Адольф — рейхсканцлер Германии (1933–1945) 18, 536, 537, 538
- Глаголева Нина Николаевна — главный редактор объединения “Товарищ” (“Мосфильм”) 516–517, 519
- Глинка Михаил Иванович — композитор 84
- Говзева Ольга Фроловна — актриса 688
- Гоголь Николай Васильевич — прозаик, драматург, поэт, критик, публицист 131, 303, 307, 308, 314–315, 320, 697
- Голубкина Лариса Ивановна — актриса, певица 482, 483
- Горанова Лили — студентка сценарного факультета ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х) 187
- Горбачев Михаил Сергеевич — генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) 454, 563
- Горемыкин Вилий Петрович — оператор 656
- Горенштейн Фридрих Наумович — прозаик, драматург, сценарист 516
- Горин Григорий Израилевич — писатель, драматург, сценарист 20, 609, 637, 694, 695
- Горький Максим — прозаик, драматург 65, 97, 663

- Гребнев Анатолий Борисович — сценарист, драматург 22, 394–402, 673, 705, 707 (ил.)
- Грибоедов Александр Сергеевич — поэт, драматург, дипломат 93, 258, 307, 782
- Григорьев Владимир Васильевич — писатель 354
- Григорьев Евгений Александрович — сценарист 657
- Григорьев Михаил Степанович — литературовед, театровед 668–669
- Григорьева (Шпаликова) Елена Федоровна — сестра Г. Шпаликова 32–33 (ил.), 36 (ил.), 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 58, 172 (ил.), 238, 253, 417, 603, 628
- Грошев Александр Николаевич — киновед, ректор ВГИКа 192, 213, 403
- Губенко Николай Николаевич — актер, режиссер, сценарист 590
- Гузанов Виталий Григорьевич — писатель, сценарист 676
- Гулак-Артемовский Семен Степанович — композитор, певец, актер, драматург 87
- Гулая Инна Иосифовна — актриса 279, 334–335, 336 (ил.), 338, 342, 343, 380, 398, 413, 438, 450, 453, 454, 480, 482, 483, 484, 486, 488, 489, 490–491 (ил.), 492, 494, 495, 509 (ил.), 539, 540, 553, 555, 565, 574, 578, 580, 581, 615, 627, 628–629, 642, 643, 644–645 (ил.), 646, 647, 648, 649, 651, 653 (ил.), 682, 683, 692, 694
- Гурченко Людмила Марковна — актриса, певица, режиссер 107, 108, 236 (ил.)
- Гуэрра Тонино — итальянский поэт, писатель, сценарист 12, 323
- Давыдова Софья — член редколлегии виковского журнала “Первокурсник” 187, 188, 404
- Данелия Георгий Николаевич — режиссер, актер, сценарист, писатель 21, 210, 233, 321, 398, 410, 417, 423, 435–451, 446 (ил.), 452, 453, 486, 517, 554, 560, 564, 576
- Даргомыжский Александр Сергеевич — композитор 171
- Дашкевич Владимир Сергеевич — композитор 482
- Двигубский Николай Львович — художник театра и кино 296, 661
- Дельвиг Антон Антонович — поэт 10, 481
- Демин Виктор Петрович — сценарист, киновед, кинокритик, редактор 657
- Дзеффирелли Франко — итальянский режиссер, сценарист, художник 679
- Дзиган Ефим Львович — режиссер, сценарист, педагог 439
- Дзисько Ольга Михайловна — актриса 483
- Дзюба Хельмут — немецкий сценарист, режиссер 575
- Дмитриев Владимир Юрьевич — киновед 660
- Добролюбов Николай Александрович — литературный критик, поэт, публицист 253
- Довженко Александр Петрович — кинорежиссер, сценарист, педагог 16, 183, 295
- Довженко Николай Павлович — актер 106, 107
- Довлатов Сергей Донатович — писатель, журналист 13
- Долинин Дмитрий Алексеевич — оператор, режиссер, сценарист, актер 187, 193, 219, 656
- Долинина (Гуковская) Наталья Григорьевна — филолог, педагог, писатель, драматург 219
- Долинский Иосиф Львович — киновед, педагог 223
- Донской Марк Семенович — режиссер, сценарист 675, 680
- Дос Пассос Джон — американский писатель 328
- Досталь Андрей Евгеньевич — поэт 667
- Дроздовская Микаэла Михайловна — актриса 107
- Дружинина Светлана Сергеевна — актриса, режиссер 106, 108, 656
- Дубчек Александр — Первый секретарь ЦК КП Чехословакии (1968–1969) 699
- Дудко Дмитрий Сергеевич — протодиакон РПЦ, писатель, поэт 681
- Дунаевский Исаак Осипович — композитор, дирижер, педагог 84

- Дунский Юлий Теодорович — сценарист, драматург 673
- Духина Виктория Викторовна — актриса 371
- Дьяченко Валентин Борисович — соученик и товарищ Г. Шпаликова по КВСУ 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102
- Дьяченко Владимир Петрович — режиссер 553, 554, 555, 657
- Дьяченко Наталья Петровна — сестра В. П. Дьяченко 553
- Дюбуа Эжен — нидерландский антрополог 132, 133
- Дюма Александр (отец) — французский писатель, драматург, журналист 472
- Евтушенко Евгений Александрович — поэт 562–566, 578–579, 666, 667, 687–688, 689
- Егорычев Николай Григорьевич — первый секретарь Московского горкома КПСС (1962–1967) 404
- Ежов Валентин Иванович — драматург, педагог 110, 601, 675–676, 678, 679, 680
- Емышев Валентин Алексеевич — футболист, футбольный тренер 94
- Ермолинский Сергей Александрович — драматург, писатель, сценарист 258, 259, 260, 261, 318, 323
- Ершова Галина — знакомая Г. Шпаликова 514
- Есенин Сергей Александрович — поэт 85, 138, 169, 279, 361, 388, 399, 575, 684
- Ефимов Слава — студент ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х) 546
- Заболоцкий Николай Алексеевич — поэт, переводчик 261
- Заманский Владимир Петрович — актер 671
- Зархи Александр Григорьевич — сценарист, режиссер 20
- Защипина Наталья Александровна — актриса 187, 513–514
- Злотверов Владимир Михайлович — студент первого курса ВГИКа (1956) 183, 191–192, 193
- Зозулин Виктор Викторович — актер 452–453
- Зоркая Нея Марковна — кинокритик, киновед, историк кино 15
- Зоркий Андрей Маркович — сценарист 660
- Зощенко Михаил Михайлович — писатель 132, 214–215
- Ибрагимбеков Максуд — писатель, сценарист 705
- Ибрагимбеков Рустам — писатель, кинодраматург, режиссер 676, 705
- Иванов-Вано Иван Петрович — режиссер, художник, сценарист мультипликационного кино 183
- Игнатъев Алексей Алексеевич — военный деятель, дипломат, писатель 774
- Извицкая Изольда Васильевна — актриса 110, 111
- Ильенко Михаил Герасимович — режиссер, сценарист, актер 719
- Ильенко Юрий Герасимович — режиссер, оператор, сценарист 295, 393, 568, 656, 661, 663, 667
- Ильин Виктор Николаевич — секретарь Московского отделения Союза писателей (1955–1977) 601
- Ильф Илья Арнольдович — писатель, журналист и сценарист 472, 662
- Ионеско Эжен — французский драматург 183
- Иоселиани Отар Давидович — режиссер, сценарист, актер 223, 567, 657
- Кадочникова Лариса Валентиновна — актриса 661
- Казаков Юрий Павлович — писатель 516
- Калатозов Михаил Константинович — режиссер, сценарист, оператор 16, 19–20, 579
- Калик Михаил Наумович — режиссер 656, 672
- Калинников Виктор Сергеевич — композитор, дирижер, педагог 85–86
- Кальман Имре — венгерский композитор 84
- Камов Николай Ильич — авиаконструктор 351
- Камоэнс Луис де — португальский поэт 388
- Капица Петр Леонидович — физик 520

- Каплер Алексей Яковлевич — сценарист, драматург 657
- Караганов Александр Васильевич — киновед, кинокритик, литературовед 461, 462, 463, 545
- Карамзин Николай Михайлович — историк, писатель 541
- Карандаш (Румянцев Михаил Николаевич) — клоун 351
- Кардин Эмиль Владимирович (псевдоним — Владимир Кардин) — литературный критик, прозаик, публицист 219
- Кармен Роман Лазаревич — режиссер, оператор, документалист, сценарист, педагог, публицист 656
- Карне Марсель — французский режиссер 246, 313, 782
- Карташов Михаил Николаевич — художник-постановщик 661
- Касаткина Людмила Ивановна — актриса 95–96
- Касымова Маргарита Касымовна — актриса, режиссер, сценарист 657
- Катаев Валентин Петрович — прозаик, поэт, драматург, сценарист, журналист 314, 597, 773
- Катанян Галина Дмитриевна — певица, журналистка 215
- Кафаров Али Гусейнович — сценарист, журналист 183, 191–192, 193, 303
- Каховский Петр Григорьевич — декабрист 481
- Кашин Олег Владимирович — журналист, публицист 705
- Квас Валерий Степанович — оператор 215
- Квинихидзе Леонид Александрович — режиссер, сценарист 655
- Кеннеди Джон — президент США (1961–1963) 551, 743
- Кибальников Александр Павлович — скульптор 138
- Киплинг Редьярд — английский писатель, поэт 388
- Кирсанов Семен Исаакович — поэт, журналист 157, 254
- Китайский Владимир — режиссер, поэт 424, 546, 573, 575
- Клей Кассиус (Мохаммед Али) — американский боксер 753
- Клейман Наум Ихильевич — киновед, историк кино, основатель Музея кино 12, 178–221, 223, 296, 303, 567, 657
- Клепиков Юрий Николаевич — драматург, сценарист, актер 394
- Клер Рене — французский режиссер, сценарист 313
- Климов Элем Германович — режиссер, сценарист 321, 657, 675, 678
- Княжинская Вера Григорьевна — мать А. Л. Княжинского 683
- Княжинский Александр Леонидович — оператор 214, (218), 239, 240–241 (ил.), 252, 288 (ил.), 295, 354, 392 (ил.), 393, 406, 417, 419 (ил.), 420–421 (ил.), 422 (ил.), 426–427 (ил.), 468, 583, 656, 657, 658–659 (ил.), 663, 664–665 (ил.), 667, 682, 683, 693, 697, 706 (ил.), 707 (ил.)
- Кобзон Иосиф Давыдович — певец 477
- Козаков Михаил Михайлович — актер, режиссер 672
- Козинцев Григорий Михайлович — режиссер, сценарист, педагог 296, 307, 321
- Колдуэлл Эрскин — американский писатель 223
- Коледа Геннадий — студент ВГИКа (конец 1950-х) 185
- Колесников Михаил — студент ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х) 303
- Кольцов Михаил Ефимович — публицист, журналист, писатель 215
- Комаров Сергей Васильевич — киновед, педагог, искусствовед 222, 223
- Кондырев Виктор Леонидович — писатель, переводчик 619–623, 620–621 (ил.)
- Конецкий Виктор Викторович — писатель, сценарист, капитан дальнего плавания 448, 570
- Кончаловская Наталья Петровна — писатель, переводчик, поэт 483
- Кончаловский Андрон Сергеевич — режиссер, сценарист, продюсер, актер 377–381, 378–379 (ил.), 442, 544, 580, 657, 705
- Копалина Галина Ильинична — кинокритик 108
- Копелев Лев Зиновьевич — критик, литературовед 617

- Коржавин Наум Моисеевич — поэт, прозаик, переводчик, драматург 312, 618
- Коржихин Дмитрий — режиссер, оператор 656
- Косматов Леонид Васильевич — оператор 183
- Котов Евгений Сергеевич — сценарист, режиссер 657, 676, 691
- Котов Павел Дмитриевич — секретарь партийной организации Союза кинематографистов СССР 695
- Крамской Иван Николаевич — художник 671
- Краулитис Иварс — латышский режиссер 215
- Кривицкий Александр Юрьевич — писатель, публицист, новеллист, журналист 602, 667
- Кривошеин Игорь Николаевич — актер 118
- Кривцов Владимир — студент ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х) 192
- Крижевский Константин Станиславович — футболист 94
- Крынкин Геннадий Яковлевич — актер 483
- Крючков Николай Афанасьевич — актер 492
- Куделин Валерий — соученик Г. Шпаликова по КВСУ 47, 94, 99, 101, 174, 717, 773, 778
- Кулешов Лев Владимирович — режиссер, теоретик кино, педагог 183, 319, 657
- Кулиджанов Лев Александрович — актер, режиссер, сценарист, педагог 20, 461, 462, 463, 579, 696
- Кулиев Кайсын Шувачевич — поэт, прозаик, журналист, военный корреспондент 703
- Кулиев Эльдар Кайсынович — режиссер, сценарист 703
- Кулиш Савва Яковлевич — сценарист, режиссер, актер, оператор, продюсер 404, 592
- Курбатов Геннадий Андреевич — сотрудник Музея кино 715, 719
- Кутепов Александр Яковлевич — актер 483
- Кутузов Михаил Илларионович — полководец, главнокомандующий русской армии 66, 359, 361
- Лабрюйер Жан де — французский писатель 348
- Лавров Кирилл Юрьевич — актер 343, 398, 480, 615
- Лаврова Татьяна Евгеньевна — актриса 703
- Лагин Лазарь Иосифович — писатель, поэт 351
- Лайтфут Джон — английский священник 132
- Ламорис Альбер — французский режиссер, сценарист 354
- Ландау Лев Давидович — физик-теоретик 520
- Ларошфуко Франсуа де — французский писатель 348
- Латышев Николай Гаврилович — футбольный судья 94
- Лебедев Николай Алексеевич — киновед, педагог 179
- Левенталь Валерий Яковлевич — художник-постановщик, сценограф, педагог 118, 187, 296, 307, 568, 661, 681
- Левитина Майя — студентка киноведческого факультета ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х) 660
- Легар Франц — австро-венгерский композитор, дирижер 84
- Ленин Владимир Ильич — первый председатель Совнаркома РСФСР (1917–1924) 15, 16, 50, 124, 312, 477, 578, 686, 773
- Леонкавалло Руджерио — итальянский композитор 86, 87
- Лермонтов Михаил Юрьевич — поэт, прозаик 93, 101, 297, 428, 475, 657, 782
- Лесков Николай Семенович — писатель 343
- Ливанов Борис Васильевич — телеведущий, сын В. Б. Ливанова 633, 636
- Ливанов Борис Николаевич — актер и режиссер 321, 624, 625–626, 626 (ил.), 629, 632, 635, 636, 637
- Ливанов Василий Борисович — актер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель 12, 174, 315, 417, 598, 624–639
- Ливанова Евгения Казимировна — жена Б. Н. Ливанова 624, 625–626, 626 (ил.), 629–630, 631, 632, 633, 634, 635, 636–637

- Ливанова Елена Артемьевна — художник мультипликационного кино, жена В. Б. Ливанова 628, 633
- Ливанова Наталья Борисовна — дочь Б. Н. Ливанова 635, 636
- Линде Вега Датовна — вдова посла России в Дании, переводчик 215
- Линцер Раиса Исаевна — переводчик 691
- Лисицкий Эль (Лазарь Маркович) — художник, архитектор 215
- Лобановский Валерий Васильевич — футболист, тренер 327
- Локтев Алексей Васильевич — актер, режиссер 443
- Локшина Хesia Александровна — режиссер, сценарист 359
- Лондон Джек — американский писатель 662
- Лоренц Виктор — сценарист, актер 660
- Луконин Михаил Кузьмич — поэт 218, 687
- Лумумба Патрис — премьер-министр Демократической Республики Конго (1960–1961) 303
- Лунгин Семен Львович — драматург, сценарист 253
- Люмьер, братья (Луи и Огюст) — французские изобретатели кинематографа, родоначальники киноиндустрии и кинорежиссуры 273
- Макаренко Антон Семенович — педагог, писатель 757
- Максимов Владимир Емельянович — писатель, публицист, редактор 448, 692
- Малевич Казимир Северинович — художник, теоретик искусства, философ 215
- Малиновский Родион Яковлевич — военачальник и государственный деятель, маршал Советского Союза 779
- Малявин Филипп Андреевич — живописец, график 582
- Мандельштам Надежда Яковлевна — писатель, лингвист, педагог 16
- Мандельштам Осип Эмильевич — поэт, прозаик, переводчик, эссеист 10, 575, 597, 670, 704
- Маневич Галина Иосифовна — искусствовед 660
- Маневич Иосиф Михайлович — сценарист, критик, искусствовед 308, 311, 481, 530, 685, 686, 687
- Маркиш Давид Перецович — писатель 656, 692
- Маркс Карл — немецкий философ, социолог, экономист 133
- Мартынов Леонид Николаевич — поэт, журналист, переводчик 587
- Маршак Самуил Яковлевич — поэт, драматург, переводчик, литературный критик, сценарист 442
- Марьямов Александр Александрович — сценарист 597
- Матисс Анри — французский художник, скульптор 162
- Маяковская Людмила Владимировна — сестра В. В. Маяковского 138
- Маяковский Владимир Владимирович — поэт 15, 56, 65, 66, 67, 138, 139, 160, 215, 225, 238–239, 273, 361, 399, 434, 517, 560, 669, 682, 786
- Медведев Армен Николаевич — кинокритик, продюсер, педагог, председатель Госкино 118, 119, 403–405, 567, 657
- Мейерхольд Всеволод Эмильевич — режиссер, актер 183, 215, 273
- Мелкова Стелла — актриса 546, 548–549 (ил.)
- Меньшов Владимир Валентинович — режиссер, актер, сценарист, продюсер 437
- Мессерер Борис Асафович — театральный художник, сценограф, педагог 703
- Месхиев Дмитрий Давыдович — оператор 398
- Миллер — преподаватель танцев в КВСУ 776
- Миллер Артур — американский драматург, прозаик 473
- Милорадович Михаил Андреевич — генерал, военачальник, генерал-губернатор Санкт-Петербурга 481
- Мильман Валентина Ароновна — секретарь И. Г. Эренбурга 215
- Миндадзе Александр Анатольевич — режиссер, сценарист 685, 686, 706 (ил.)

- Миронер Феликс Ефимович — сценарист, режиссер 383, 579
- Митта Александр Наумович — сценарист, режиссер, актер, продюсер 12, 260, 323, 559, 567–579, 656
- Миттеран Франсуа — президент Франции (1981–1995) 611
- Митурич-Хлебников Май Петрович — художник 671
- Михаил Федорович — русский царь (1613–1645) 528
- Михалков Никита Сергеевич — режиссер, сценарист, актер, продюсер 439, 442, 443, 444, 554, 564, 576
- Михалков Сергей Владимирович — писатель, поэт, драматург, публицист 444, 572
- Михоэлс Соломон Михайлович — актер, режиссер 318
- Мольер Жан-Батист — французский драматург 64, 65
- Монастырский Владимир Григорьевич — оператор, режиссер неигрового кино 583
- Монтень Мишель де — французский писатель, философ 348
- Моцарт Вольфганг Амадей — австрийский композитор 313, 369, 425, 551, 690
- Мукасей Анатолий Михайлович — оператор 656
- Муратов Александр Игоревич — режиссер, сценарист 657
- Муратова Кира Георгиевна — режиссер, сценарист, актриса 567, 657
- Набоков Владимир Владимирович — писатель, переводчик, литературовед 531
- Нансен Фритьоф — норвежский полярный исследователь 359
- Наполеон I Бонапарт — император Франции (1804–1814, 1815) 581
- Наумов Владимир Наумович — режиссер, сценарист, актер, продюсер, педагог 579, 720
- Нахабцев Владимир Дмитриевич — оператор 656
- Неизвестный Эрнст Иосифович — скульптор 671
- Некрасов Виктор Платонович — писатель 159, 251, 252–254, 263, 329, 333, 404, 417, 450, 566, 582, 604, 611–618, 619, 620–621 (ил.), 622, 623, 629, 690, 691, 692, 782
- Немоляев Николай Владимирович — оператор 303, 656
- Никитин Сергей Яковлевич — композитор, автор-исполнитель 590
- Никитина Татьяна Хашимовна — певица 590
- Николай I — русский император (1825–1855) 481
- Николай II — русский император (1894–1917) 359
- Никоненко Сергей Петрович — актер, режиссер 546, 684
- Никсон Ричард — президент США (1969–1974) 264, 445
- Ницше Фридрих — немецкий философ 365, 703
- Новицкая Екатерина Георгиевна — пианистка 417
- Норштейн Юрий Борисович — художник-мультипликатор, режиссер анимационного кино 222
- Нусинов Илья Исаакович — драматург, сценарист 691
- Оганян Дмитрий Федорович — сценарист, режиссер 660, 672
- Ойстрах Давид Федорович — скрипач, альтист, дирижер, педагог 319
- Окуджава Булат Шалвович — поэт, бард, прозаик, сценарист, композитор 17, 24, 259, 260–261, 321, 389, 454, 460, 558, 562, 590, 689, 690, 785
- Олеша Юрий Карлович — писатель, поэт, драматург, журналист 314
- Олешко Олег Юрьевич — соученик Г. Шпаликова по КВСУ 716, 772–780
- Ольшанский Иосиф Григорьевич — сценарист 110
- Ордынский Василий Сергеевич — режиссер, сценарист 20
- Орлов Александр Сергеевич — актер, режиссер, сценарист 532–552
- Орлова Любовь Петровна — актриса 107
- Орлова Раиса Давыдовна — писательница, филолог 617
- Освальд Портер Марина — жена Ли Харви Освальда 472

- Остерман Лев Абрамович — биохимик, писатель 223
- Островский Александр Николаевич — драматург 307
- Осыка Леонид Михайлович — режиссер, сценарист 719, 720
- Оффенбах Жак — французский композитор, дирижер, виолончелист 84
- Павленок Борис Владимирович — первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по кинематографии (1978–1985) 536, 597
- Павлов Иван Петрович — ученый-биолог, физиолог 520
- Павлов Олег — студент ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х) 193
- Пазолини Пьер Паоло — итальянский режиссер, поэт, прозаик 368
- Пальме Улоф — премьер-министр Швеции (1969–1976, 1982–1986) 611
- Панкратов Юрий Иванович — поэт 660
- Параджанов Сергей Иосифович — режиссер, сценарист, художник 568, 720
- Парамонова Кира Константиновна — киновед, историк, педагог 403, 657
- Пастернак Борис Леонидович — поэт, прозаик, переводчик 12, 163, 164, 218, 219, 226, 246, 254, 259, 264, 299, 301 (ил.), 303, 315, 327, 333, 348, 359, 361, 365, 368, 475, 561, 624, 626–627, 629, 632, 633, 636, 655, 660, 669, 681, 682
- Пастернак Евгения Владимировна — жена Б. Л. Пастернака 164
- Паунд Эзра — американский поэт, переводчик, литературный критик 359
- Паустовский Константин Георгиевич — писатель 201
- Перевалов Михаил Николаевич — футболист 94
- Переверткин Владимир Никифорович — полковник, дядя Г. Шпаликова 32–33 (ил.), 173
- Переверткин Семен Никифорович — генерал-майор, заместитель министра внутренних дел по войскам (1953–1956), дядя Г. Шпаликова 32–33 (ил.), 50, 54, 238, 243, 775
- Переверткина Дарья Сергеевна — бабушка Г. Шпаликова 30 (ил.), 32–33 (ил.), 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 73, 74, 165, 166, 237, 434, 695, 716
- Петрарка Франческо — итальянский поэт 161
- Петров Андрей Павлович — композитор 233, 444, 445, 449, 453
- Петров Евгений Петрович — писатель, журналист, сценарист 472, 662
- Петров Николай Васильевич — режиссер 56
- Петровых Мария Сергеевна — поэт, переводчик 609
- Пикассо Пабло — испанский художник, скульптор, график 113, 122, 162, 183, 319, 334
- Пилюхина Маргарита Михайловна — оператор, педагог 412, 584–585 (ил.), 689
- Писарев Дмитрий Иванович — публицист, литературный критик 353
- Поволоцкая Ирина Игоревна — сценарист, режиссер, актриса, прозаик 295, 657
- Покровская Алла Борисовна — актриса 483
- Полевой Борис Николаевич — писатель, сценарист, журналист 630, 632, 636
- Польских Галина Александровна — актриса 443
- Польти Жорж — французский писатель, литературовед 180
- Попов Валентин — актер 584–585 (ил.)
- Попов Николай Евгеньевич — художник 354
- Прежан Альбер — французский актер 313
- Прокофьев Сергей Сергеевич — композитор, пианист, дирижер 88
- Пугачева Алла Борисовна — певица, продюсер 476
- Пудов Иван Семенович — преподаватель “истмата” и “истпарта” во ВГИКе 183, 188–189, 299
- Пудовкин Всеволод Илларионович — режиссер, актер, сценарист, художник 16
- Пушкин Александр Сергеевич — поэт, прозаик, драматург 10, 11, 12, 22, 85, 87, 157, 185, 295, 311, 313, 314, 315, 320, 328, 337, 348, 359, 377, 425, 428, 431, 434, 458, 475, 481, 528, 782

- Пыжова Ольга Ивановна — актриса, педагог, режиссер 183
- Пырьев Иван Александрович — режиссер, сценарист 246, 439, 570
- Рабле Франсуа — французский писатель 662
- Разинский Борис Давидович — футболист, вратарь 94
- Райзман Юлий Яковлевич — режиссер, сценарист, педагог 16, 273, 321, 394, 518, 519, 686
- Рауш (Тарковская) Ирма Яковлевна — режиссер, актриса 580, 597, 608
- Ремарк Эрих Мария — немецкий писатель 190, 667 (ремарковской)
- Рембо Артюр — французский поэт 434
- Ренар Жюль — французский писатель 13
- Ренуар Жан — французский режиссер, актер, продюсер, сценарист 313
- Рерберг Георгий Иванович — оператор 295, 406, 419 (ил.), 656
- Рильке Райнер Мария — австрийский поэт 183
- Родионов Николай Ильич — главный редактор “Союзмультфильма” 308
- Родченко Александр Михайлович — живописец, график, скульптор, фотограф 273
- Рознер Эдди — композитор, дирижер, джазовый трубач, скрипач 174
- Розовский Марк Григорьевич — режиссер, драматург, сценарист 402
- Рокфеллер Джон Дэвисон — американский предприниматель, филантроп 611
- Ромадин Михаил Николаевич — художник кино, живописец, график 220, 296, 313, 324–325 (ил.), 365–369, 366–367 (ил.), 370 (ил.), 371, 468, 524–525 (ил.), 530, 580, 661, 705
- Ромадина Вита — актриса 580
- Ромм Михаил Ильич — режиссер, сценарист, педагог 21, 78, 109, 183, 220, 295, 321, 396, 424, 448, 476, 485, 517, 529, 560, 570, 571–572, 576, 592, 595, 596, 597, 628, 694–695
- Ростоцкий Станислав Иосифович — режиссер, актер, сценарист, педагог 542
- Рошаль Григорий Львович — режиссер театра и кино, сценарист, педагог 88, 183, 657
- Рошин Михаил Михайлович — драматург, сценарист 587–588, 703
- Руднева Нина Исаевна — сценарист, жена И. Г. Ольшанского 110
- Румянцев — комбат в КВСУ 58
- Рыжкин Владимир Алексеевич — футболист 94
- Рылеев Кондратий Федорович — поэт, декабрист 481
- Рыцарев Борис Владимирович — режиссер и сценарист 656
- Рязанов Эльдар Александрович — режиссер, сценарист, актер, поэт, педагог 570, 590
- Рязанцев Юрий Борисович — брат Н. Б. Рязанцевой 252, 275–281, 276–277 (ил.)
- Рязанцева Наталья Борисовна — сценарист, педагог 214, 223, 231–261, 232 (ил.), 240–241 (ил.), 262 (ил.), 263–264, 264–273, 275, 278–279, 291 (ил.), 328, 394, 434, 568, 577, 578, 580, 657, 660, 671, 677, 687–688, 706 (ил.), 781–783, 785
- Слаков Борис Аркадьевич — сценарист 657
- Савинков Борис Викторович — политический деятель, революционер 581
- Садуль Жорж — французский кинокритик 448
- Салихов Александр Шарифович — главный редактор газеты “Кадетское братство” 716
- Салтыков Алексей Александрович — режиссер, сценарист 260, 570, 571, 573
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович — писатель, журналист 308, 351
- Сальери Антонио — итальянский композитор, дирижер, педагог 369, 425, 690
- Самсонов Самсон Иосифович — режиссер кино и театра, сценарист, актер 110
- Сапгир Генрих Вениаминович — писатель, поэт, сценарист, переводчик 692

- Сапгир (Гуревич) Кира Александровна — поэт, прозаик, критик, переводчик 692
- Сахаров Алексей Николаевич — режиссер, сценарист 656
- Сац Игорь Александрович — литературный критик 691
- Светличная Светлана Афанасьевна — актриса 580
- Светлов Михаил Аркадьевич — поэт, драматург, журналист 225, 254, 263, 667
- Северянин Игорь Васильевич — поэт 388
- Сегель Яков Александрович — актер, режиссер, сценарист, прозаик 579
- Седых Андрей — писатель, журналист, главный редактор газеты “Новое русское слово” 623
- Сезанн Поль — французский художник 334
- Семенов Александр Ефимович — отчим Г. Шпаликова 44, 47, 48, 51, 54, 55, 71, 238, 695
- Семина Тамара Петровна — актриса 296
- Сеня — племянник Г. Шпаликова 417
- Серебряков Николай Николаевич — режиссер мультипликационных фильмов, аниматор, художник-постановщик, сценарист 703
- Серов Валентин Александрович — живописец, график 671
- Сизов Николай Трофимович — писатель, генеральный директор киностудии “Мосфильм” (1971–1986) 573
- Симонов Александр Григорьевич — оператор, педагог 213
- Симонов Константин Михайлович — прозаик, поэт, сценарист 54
- Синдерович Маргарита Менделевна — секретарь А. С. Кончаловского 380–381, 530, 636, 705, 706 (ил.)
- Случкий Борис Абрамович — поэт, переводчик 251
- Смирнов Андрей Сергеевич — режиссер, сценарист, драматург, актер 24, 394, 657, 707 (ил.)
- Смирнова Дая Евгеньевна — актриса 107
- Смирнова Елизавета Михайловна — сценарист, педагог 199
- Смоктунувский Иннокентий Михайлович — актер 473, 474
- Снесарев Аркадий Георгиевич — сценарист, редактор студии “Союзмультфильм” 226
- Сокол-Луконина Галина Семеновна — жена Е. А. Евтушенко 687
- Соколова Марина Алексеевна — художница театра и мультипликации 661, 681
- Солженицын Александр Исаевич — писатель, драматург, публицист, поэт 258, 516, 563, 601, 604
- Соловьев Василий Иванович — сценарист, главный редактор Центральной сценарной студии Госкино СССР (1973–1980) 594
- Соловьев Сергей Александрович — режиссер, сценарист, продюсер 174, 323, 456–479
- Соловьева Инна Натановна — литературный и театральный критик, историк театра 15
- Солоницын Анатолий Алексеевич — актер 593–594
- Сотник Юрий Вячеславович — писатель 570
- Сперанский Михаил Михайлович — секретарь Государственного совета Российской империи 483
- Спешнева Алина Алексеевна — художник 661, 703
- Спирин Иван Тимофеевич — летчик 351
- Спирина Валентина Ивановна — сценарист 351
- Стайн Гертруда — американская писательница 359
- Сталин Иосиф Виссарионович — генеральный секретарь ЦК ВКП(б) 14, 15, 16, 76, 183, 190, 264, 314, 478, 482, 562, 563, 570, 578, 579, 767, 773, 774
- Станиславский Константин Сергеевич — театральный режиссер, актер, педагог 335, 635
- Статенков Гарри — переводчик 694
- Стеблов Евгений Юрьевич — актер 445, 452–454, 483
- Стейнбек Джон — американский писатель 328
- Стенли Генри Мортон — британский журналист, путешественник 264

- Столыпин Петр Аркадьевич — премьер-министр Российской империи (1906–1911) 581
- Стравинский Игорь Федорович — композитор 183
- Стриженов Олег Александрович — актер 110, 111
- Стычкин Алексей Евгеньевич — переводчик 694
- Сумбаташвили Иосиф Георгиевич — театральный художник 483
- Суркова Ольга Евгеньевна — киновед 591–607, 694
- Сутин Хаим Соломонович — художник 553, 555
- Таиров Александр Яковлевич — режиссер, актер 183
- Таланкин Игорь Васильевич — режиссер, сценарист 20
- Тарантино Квентин — американский режиссер, сценарист, актер 574
- Тарковская Лариса Павловна — актриса 606
- Тарковский Андрей Арсеньевич — режиссер, сценарист, актер, художник 214, 273, 295, 321, 323, 324–325 (ил.), 366–367 (ил.), 368, 439, 475, 493, 567, 569–570, 571, 573, 575, 580, 601, 608, 655, 656, 661, 671, 688, 689, 699
- Твардовский Александр Трифонович — поэт, писатель, журналист 474, 743
- Твен Марк — американский писатель, журналист 42
- Терешкова Валентина Владимировна — космонавт 519
- Тимирязев Климент Аркадьевич — ученый-биолог, ботаник, эволюционист 520
- Тимлин Эдуард Леонидович — оператор, актер 215
- Тимофеевский Александр Павлович — поэт, писатель, сценарист 226
- Тиссэ Эдуард Казимирович — оператор, режиссер 82
- Титов Андрей — актер 417
- Тихонов Николай Семенович — поэт, прозаик, публицист 254
- Тодоровский Валерий Петрович — режиссер, сценарист, продюсер 705
- Тодоровский Петр Ефимович — режиссер, оператор, сценарист, актер, композитор 321, 417, 554, 558–560, 705
- Толстой Алексей Николаевич — писатель 225, 663
- Толстой Лев Николаевич — писатель 225, 373, 393, 528, 663
- Третьякова Ольга Викторовна — вдова поэта С. М. Третьякова 215
- Троцкий Лев Давидович — революционный и государственный деятель 578
- Туманян Иннесса Суреновна — режиссер, сценарист 657
- Тур, братья (творческий псевдоним Л. Д. Тувельского и П. Л. Рыжея) — драматурги 307
- Тур Валентин Петрович — псевдоним поэта и сценариста В. П. Рыжея 692, 703
- Туркин Валентин Константинович — сценарист, теоретик кино, один из основателей ВГИКа 179–181, 223
- Туров Виктор Тимофеевич — режиссер, сценарист 210, 289 (ил.), 417, 535, 657
- Туровская Майя Иосифовна — театровед, кинокритик, историк кино, сценарист 15, 299
- Тынянов Юрий Николаевич — литературовед, прозаик, сценарист, переводчик, 231, 313
- Тютчев Федор Иванович — поэт 10, 300
- Уланова Галина Сергеевна — балерина, балетмейстер, педагог 88, 657
- Урманче Ильдар Бакиевич — художник-график 661
- Урнов Дмитрий Михайлович — литературовед 414–415 (ил.), 428
- Урусеvский Сергей Павлович — оператор, режиссер 111, 263–264, 273, 321, 359, 399, 417, 593, 684, 685, 686
- Утрилло Морис — французский художник 162, 691
- Уэллс Орсон — американский режиссер, актер, сценарист 532
- Фадеев Александр Александрович — писатель, сценарист 564–565, 656
- Файт Андрей Андреевич — актер 315, 416

- Файт Юлий Андреевич — режиссер, актер 12, 174, 210, 291 (ил.), 315, 355, 406, 414–415 (ил.), 416–434, 419 (ил.), 420–421 (ил.), 422 (ил.), 629, 664–665 (ил.), 697, 706 (ил.), 717
- Фатеева Наталья Николаевна — актриса 191
- Федосеева-Шукшина Лидия Николаевна — актриса 296, 597
- Федотов Григорий Иванович — футболист 743
- Феллини Федерико — итальянский режиссер, сценарист 323, 474, 782
- Фетин Владимир Александрович — режиссер, сценарист 570
- Фигуровский Николай Николаевич — сценарист, режиссер 110
- Филимонова Инна — сценарист 402
- Финн Павел Константинович — сценарист 252, 393, 406, 423, 468, 654–709, 700–701 (ил.), 706 (ил.), 707 (ил.), 715, 716–718, 772–780
- Финн Жанна Бенедиктовна — мать П. Финна 683
- Финн (Чернова) Ирина — жена П. К. Финна 684, 706 (ил.)
- Фирсова Джемма Сергеевна — сценарист, режиссер, актриса 295
- Фиддджеральд Фрэнсис Скотт — американский писатель 359
- Фонвизин Артур Владимирович — художник 459
- Форд Генри — американский промышленник, изобретатель 611
- Франс Анатоль — французский писатель, литературный критик 264, 670
- Фрейд Зигмунд — австрийский психолог, психиатр, невролог 242, 244
- Фрейтаг Густав — немецкий писатель 180, 181
- Фрид Валерий Семенович — драматург, сценарист 673
- Фридман (Урусовская) Белла Мионовна — режиссер 399, 685, 686
- Фричинская Раиса Ивановна — редактор киностудии «Союзмультфильм» 226
- Фурцева Екатерина Алексеевна — министр культуры (1960–1974) 571–572
- Ханютин Юрий Миронович — киновед, кинокритик, сценарист 15
- Хейфец Леонид Ефимович — театральный режиссер, педагог 12, 308, 480–483, 686
- Хейфиц Иосиф Ефимович — режиссер, сценарист 20
- Хемингуэй Эрнест — американский писатель, журналист 165, 190, 237, 250, 303, 320, 327, 328, 333, 334, 359, 493, 689
- Хитрук Федор Савельевич — художник-аниматор, режиссер анимационного кино, сценарист 308, 351
- Хлебников Велимир — поэт, прозаик 141, 365, 660
- Хмелик Александр Григорьевич — писатель, драматург, сценарист 259, 260, 571
- Холин Игорь Сергеевич — поэт, прозаик 692
- Хориков Юрий — военный переводчик 695, 696, 697
- Хохлова Александра Сергеевна — актриса 319, 657
- Хржановский Андрей Юрьевич — кинорежиссер, сценарист, педагог 9–13, 22, 210, 220, 222, 226, 295–364, 337 (ил.), 352 (ил.), 357 (ил.), 417, 487, 583, 657, 702, 707 (ил.)
- Хрущев Никита Сергеевич — первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964) 14, 21, 76, 182, 183, 348, 351, 398, 436, 445, 448, 477, 561, 562, 563, 666, 688, 774
- Хуциев Марлен Мартынович — режиссер, сценарист, педагог 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 210, 216–217 (ил.), 246, 250, 252, 253, 273, 293, 296–297, 321, 382 (ил.), 383–388, 386–387 (ил.), 395, 396, 414–415 (ил.), 417, 423, 431, 436, 439, 455, 456–457, 460, 477, 481, 486, 517, 543, 558, 560, 564, 579, 580, 583, 612, 614, 617, 619, 688, 689, 691, 720, 787
- Цветаева Марина Ивановна — поэт, прозаик, переводчик 9, 254, 348, 361, 362, 364, 472, 587, 660
- Целков Олег Николаевич — художник 692
- Цуладзе Баадур Сократович — актер, режиссер, сценарист 657

- Чавчавадзе Илья Григорьевич — поэт, публицист 265
- Чайковский Петр Ильич — композитор 84, 85–86, 380
- Чандар Кришан — индийский писатель, драматург 373
- Чапек Карел — чешский писатель, драматург 299
- Чаплин Чарльз Спенсер — американский актер, режиссер, сценарист, композитор 131, 223, 334, 369
- Чепурин Юлий Петрович — писатель, драматург 138
- Чернов Зарем Сергеевич — физик-теоретик, муж Н. Н. Абрамовой 223, 224, 226
- Чернова Маргарита Александровна — режиссер 452
- Чернышевский Николай Гаврилович — литературный критик, публицист, писатель 253
- Чехов Антон Павлович — прозаик, драматург 13, 75, 320, 343, 518, 519, 520, 521, 528, 699, 782
- Чиаурели Софико Михайловна — актриса 657
- Чкалов Валерий Павлович — летчик 627
- Чомбе Моиз — конголезский политический деятель 303
- Чуйков Василий Иванович — военачальник 779
- Чуковская Лидия Корнеевна — писатель, публицист, мемуарист 516
- Чумакова Лидия Петровна — киноредактор 720
- Чухрай Григорий Наумович — режиссер, сценарист, педагог 108–111, 570, 676, 720
- Чэннинг Кэрролл — американская актриса, певица 625
- Шабров Владимир Сергеевич — футболист 94
- Шакуров Сергей Каюмович — актер 483
- Шаламов Варлам Тихонович — прозаик, поэт 18
- Шаляпин Федор Иванович — оперный и камерный певец 675
- Шарапов — преподаватель литературы и русского языка в КВСУ 777
- Шатерникова Марианна Сергеевна — киновед 592–593
- Шварц Евгений Львович — прозаик, поэт, драматург, журналист, сценарист 403–404
- Шварц Исаак Иосифович — композитор 559
- Швейцер Михаил Абрамович — режиссер, сценарист 273, 323, 361, 399, 417, 517, 558, 560, 573, 669
- Шейнин Виктор Семенович — оператор 656
- Шекспир Уильям — английский драматург, поэт 121, 148, 180, 307, 369
- Шенгелая Георгий Николаевич — актер, режиссер 657
- Шенгелая Эльдар Николаевич — режиссер, сценарист, педагог 656
- Шепитко Лариса Ефимовна — режиссер, сценарист, актриса 210, 223, 281, 295, 321, 399, 400–401 (ил.), 417, 517, 567, 657, 675, 677–678, 679, 787
- Шерстовитов Евгений Фирсович — режиссер, сценарист 108
- Шиллер Фридрих — немецкий поэт, драматург, философ 328, 431, 524
- Шилова Ирина Михайловна — киновед 660
- Шитова Вера Васильевна — критик театра и кино 15
- Шкловский Виктор Борисович — писатель, литературовед, критик, киновед, сценарист 231, 323, 635
- Шкляревский Игорь Иванович — поэт, переводчик 695
- Шлепянов Александр Ильич — сценарист 673
- Шнитке Альфред Гарриевич — композитор, педагог 308
- Шопен Фредерик — польский композитор, пианист 219, 359, 464, 465, 466, 467
- Шорохов Валерий — секретарь комсомола ВГИКа 117–118, 119
- Шостакович Дмитрий Дмитриевич — композитор, пианист, педагог 318
- Шпаликов Федор Григорьевич — инженер-майор, отец Г. Шпаликова 73, 74, 764 (ил.)
- Шпаликова (Переверткина) Людмила Никифоровна — мать Г. Шпаликова 29 (ил.), 32–33 (ил.), 36 (ил.),

- 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52–53 (ил.), 54, 55, 58, 59, 71, 73, 74, 93, 135–136, 165, 166, 173, 238, 243, 438, 603, 628, 649, 682, 764 (ил.)
- Шпаликова Дарья Геннадьевна — дочь Г. Шпаликова и И. Гулая 334–335, 338, 339 (ил.), 340–341 (ил.), 342, 343, 380, 417, 438, 477, 539, 540, 565, 627, 640 (ил.), 641–652, 644–645 (ил.), 650 (ил.), 653 (ил.), 683
- Штейнберг Аркадий Акимович — поэт, переводчик, художник 153
- Штраус Иоганн — австрийский композитор 84
- Шукшин Василий Макарович — режиссер, актер, писатель, сценарист 214, 398, 567, 569, 572–573, 594, 597, 615, 617, 618, 655, 656, 694
- Эйзенштейн Сергей Михайлович — режиссер, художник, сценарист, педагог 16, 215, 567
- Энгельс Фридрих — немецкий философ 133
- Эрдман Николай Робертович — драматург, поэт, сценарист 12
- Эренбург Илья Григорьевич — писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик 183, 215
- Эрмлер Фридрих Маркович — режиссер, сценарист 16
- Эфрос Анатолий Васильевич — режиссер 483
- Юрок Сол — американский музыкальный и театральный продюсер 625
- Юрченко Андрей Иванович — футболист 94
- Юрченко Виталий Васильевич — редактор киностудии им. Довженко 715, 719–720
- Юсов Вадим Иванович — оператор 445, 446 (ил.), 447, 449, 453, 576
- Юткевич Сергей Иосифович — режиссер, сценарист, художник, педагог 16, 20, 56, 673
- Яблочкина Александра Александровна — актриса 319
- Ягодинский Юрий — студент актерского факультета ВГИКа (конец 1950-х — начало 1960-х) 546
- Языков Николай Михайлович — поэт 10
- Яшин Борис Владимирович — актер, режиссер, сценарист 657
- Яшин Лев Иванович — футболист 94, 327

УКАЗАТЕЛЬ ФИЛЬМОВ

806

- “9 дней одного года” (реж. М. И. Ромм, 1962 г.) 21, 571–572
- “Александр Невский” (реж. С. М. Эйзенштейн, Д. И. Васильев, 1938 г.) 48
- “Андрей Рублев” (реж. А. А. Тарковский, 1966 г.) 570
- “Андриеш” (реж. С. И. Параджанов, Я. Л. Базелян, 1954 г.) 720
- “Аталанта” (реж. Ж. Виго, 1934 г.) 246, 314, 384, 495, 554, 557, 698, 782
- “Баллада о солдате” (реж. Г. Н. Чухрай, 1959 г.) 110, 676, 678
- “Бей, барабан!” (реж. А. А. Салтыков, 1962 г.) 260
- “Белое солнце пустыни” (реж. В. Я. Мотиль, 1970 г.) 676
- “Белорусский вокзал” (реж. А. С. Смирнов, 1971 г.) 24–25
- “Бессмертный гарнизон” (реж. З. М. Аграненко, Э. К. Тиссэ 1956 г.) 82
- “Боксеры” (реж. В. И. Гончуков, 1941 г.) 45
- “Великий диктатор” (реж. Ч. Чаплин, 1940 г.) 369
- “Верность” (реж. П. Е. Тодоровский, 1965 г.) 558
- “Верные друзья” (реж. М. К. Калатозов, 1954 г.) 21
- “Весна на Заречной улице” (реж. Ф. Е. Миронер, М. М. Хуциев, 1956 г.) 395, 396, 579
- “Визит вежливости” (реж. Ю. Райзман, 1973 г.) 394
- “Военно-полевой роман” (реж. П. Е. Тодоровский, 1983 г.) 559
- “Война и мир” (реж. С. Ф. Бондарчук, 1966 г.) 475
- “Вооружен и очень опасен” (реж. В. П. Вайншток, 1977 г.) 684, 692
- “Восемь с половиной” (реж. Ф. Феллини, 1963 г.) 494
- “Высокая награда” (реж. Е. М. Шнейдер, 1939 г.) 44
- “Герой нашего времени” (реж. С. И. Ро-стоцкий, 1967 г.) 542
- “Гражданин Кейн” (реж. О. Уэллс, 1941 г.) 532
- “Девушка с коробкой” (реж. Б. В. Барнет, 1927 г.) 179
- “Дети капитана Гранта” (реж. В. П. Вайншток, 1936 г.) 672
- “Дети райка” (реж. М. Карне, 1945 г.) 782

- “Долгая счастливая жизнь” (реж. Г. Ф. Шпаликов, 1967 г.) 20, 22, 210, 279, 308, 314, 316–317 (ил.), 343, 368, 388, 398, 405, 425, 480, 486, 493, 494, 495, 518, 519, 521, 555, 596, 615, 698, 781, 787
- “Дом, в котором я живу” (реж. Л. А. Кулиджанов, Я. А. Сегель, 1957 г.) 579
- “Друг мой, Колька” (реж. А. Н. Митта, А. А. Салтыков, 1961 г.) 571
- “Жил-был Козявин” (реж. А. Ю. Хржановский, 1966 г.) 352, 354, 355, 487
- “Закройщик из Торжка” (реж. Я. А. Протазанов, 1925 г.) 179
- “Застава Ильича” (“Мне 20 лет”) (реж. М. М. Хуциев, 1965 г.) 15, 19, 21–22, 191, 220, 230, 239, 246, 278, 297, 321, 360, 383, 395, 396, 398, 404, 412, 423, 431, 436, 450, 456, 477, 481, 517, 543, 558, 560, 564, 580, 583, 588, 614, 618, 622, 687, 691, 702, 787
- “Захар Беркут” (реж. Л. М. Осыка, 1972 г.) 720
- “Иван Грозный” (реж. С. М. Эйзенштейн, 1945 и 1958 г.) 215
- “Иваново детство” (реж. А. А. Тарковский, 1962 г.) 570, 689
- “Июльский дождь” (реж. М. М. Хуциев, 1967 г.) 19, 22, 398
- “Калина красная” (реж. В. М. Шукшин, 1974) 656
- “Каменный крест” (реж. Л. М. Осыка, 1968 г.) 720
- “Каникулы Бонифация” (реж. Ф. С. Хитрук, 1965 г.) 351
- “Карнавальная ночь” (реж. Э. А. Рязанов, 1956 г.) 21, 107, 570
- “Каток и скрипка” (реж. А. А. Тарковский, 1961 г.) 569, 671
- “Коллеги” (реж. А. Н. Сахаров, 1962 г.) 588
- “Коммунист” (реж. Ю. Я. Райзман, 1958 г.) 686
- “Котовский” (реж. А. М. Файнциммер, 1943 г.) 44
- “Красный шар” (реж. А. Ламорис, 1956 г.) 354
- “Крестный отец” (реж. Ф. Ф. Коппола, 1972 г.) 694
- “Летят журавли” (реж. М. К. Калатозов, 1957 г.) 19, 273, 579, 685
- “Мертвый сезон” (реж. С. Я. Кулиш, 1968 г.) 673
- “Миссия в Кабуле” (реж. Л. А. Квинихидзе, 1970 г.) 655
- “Миф о Леониде” (реж. Д. А. Долинин, 1991 г.) 656
- “Молодая гвардия” (реж. С. А. Герасимов, 1948 г.) 46
- “Москва слезам не верит” (реж. В. В. Меньшов, 1980 г.) 437
- “Набережная туманов” (реж. М. Карне, 1938 г.) 782
- “Неотправленное письмо” (реж. М. К. Калатозов, 1960 г.) 19, 291 (ил.), 685
- “Никогда” (реж. В. П. Дьяченко, П. Е. Тодоровский, 1962 г.) 554, 559
- “Новогодние приключения Маши и Вити” (реж. И. В. Усов, Г. С. Казанский, 1975 г.) 672
- “Объяснение в любви” (реж. И. А. Авербах, 1978 г.) 656, 672
- “Овод” (реж. А. М. Файнциммер, 1955 г.) 164
- “Огненные версты” (реж. С. И. Самсонов, 1957 г.) 110
- “Орел и решка” (реж. Г. Н. Даниеля, 1995 г.) 439, 442
- “Остров сокровищ” (реж. В. П. Вайншток, 1938 г.) 672
- “Оттепель” (реж. В. П. Тодоровский, 2013 г.) 705
- “Павел Корчагин” (реж. А. А. Алов, В. Н. Наумов, 1957 г.) 579
- “Под крышами Парижа” (реж. Р. Клер, 1930 г.) 313
- “Подранки” (реж. Н. Н. Губенко, 1977 г.) 590
- “Пой песню, поэт” (реж. С. П. Урусевский, 1971 г.) 264, 279, 399, 684
- “Политый поливальщик” (реж. Л. Люмьер, 1895 г.) 273
- “Полосатый рейс” (реж. В. А. Фетин, 1961 г.) 570
- “Последняя встреча” (реж. Б. А. Бунеев, 1974 г.) 693, 694

- “Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота” (реж. О. Люмьер, Л. Люмьер, 1896 г.) 273
- “Принимаю на себя” (реж. А. С. Орлов, 1975 г.) 545
- “Причал” (реж. В. В. Костроменко, 1974 г.) 246, 261, 423, 424, 486, 577
- “Путь к причалу” (реж. Г. Н. Данелия, 1962 г.) 448
- “Рабочий поселок” (реж. В. В. Венгеров, 1966 г.) 717
- “Русский сувенир” (реж. Г. В. Александров, 1960 г.) 305
- “Рядовой Александр Матросов” (реж. Л. Д. Луков, 1948 г.) 48
- “Сережа” (реж. Г. Н. Данелия, И. В. Таланкин, 1960 г.) 436, 448
- “Синегория” (реж. Э. П. Гарин, Х. А. Локшина, 1946 г.) 359
- “Сладкая жизнь” (реж. Ф. Феллини, 1960 г.) 494
- “Сломанная подкова” (реж. С. Д. Аранович, 1973 г.) 656, 673
- “Солярис” (реж. А. А. Тарковский, 1972 г.) 593, 594
- “Сорок первый” (реж. Г. Н. Чухрай, 1956 г.) 109, 110, 111, 570
- “Сталкер” (реж. А. А. Тарковский, 1979 г.) 575, 657
- “Стеклянная гармоника” (реж. А. Ю. Хржановский, 1968 г.) 22, 191, 354, 355, 356, 487, 702
- “Сто дней после детства” (реж. С. А. Соловьев, 1975 г.) 474, 476
- “Сын полка” (реж. В. П. Пронин, 1946 г.) 773
- “Твой современник” (реж. Ю. Я. Райзман, 1968 г.) 394
- “Тени забытых предков” (реж. С. И. Параджанов, 1965 г.) 568
- “Топтыжка” (реж. Ф. С. Хитрук, 1964 г.) 308
- “Трамвай в другие города” (реж. Ю. А. Файт, 1962 г.) 416
- “Трое вышли из леса” (реж. К. Н. Воинов, 1958 г.) 110
- “Ты и я” (реж. Л. Е. Шепитько, 1971 г.) 399, 517, 605, 675, 787
- “Убийство на улице Данте” (реж. М. И. Ромм, 1956 г.) 78
- “Укротительница тигров” (реж. А. В. Ивановский, Н. Н. Кошверова, 1955 г.) 95
- “Хмурое утро” (реж. Г. Л. Рошаль, 1959 г.) 116
- “Человек из мрамора” (реж. А. Вайда, 1977 г.) 493
- “Человек родился” (реж. В. С. Ордынский, 1956 г.) 187
- “Это начиналось так” (реж. Л. А. Кулиджанов, Я. А. Сегель, 1956 г.) 106
- “Юность наших отцов” (реж. М. Н. Калик, Б. В. Рыцарев, 1958 г.) 656
- “Я — Куба” (реж. М. К. Калатозов, 1964 г.) 20, 685
- “Я и моя жена” (реж. Э. Борсоди 1953 г.) 77
- “Я родом из детства” (реж. В. Т. Туров, 1966 г.) 191, 418, 450, 535
- “Я шагаю по Москве” (реж. Г. Н. Данелия, 1964 г.) 21, 230, 278, 321, 385, 398, 404–405, 410, 423, 436, 442, 445, 448, 450, 452, 454, 456, 481, 517, 560, 564, 576, 577, 583, 588, 698, 787
- “Яника” (реж. М. Келети, 1949 г.) 49

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА

- “Амстердам, Амстердам...” 319
“Ах, улицы, единственный приют...” 625
“Ах, утону я в Западной Двине...” 11, 23,
298–299, 353, 406–407, 424, 454, 522,
546, 590, 592, 616, 622
- “Батум” 252
“Бессонница” 493
“Бывает все на свете хорошо...” 233–234,
311, 388, 398, 447–448, 453, 477, 522, 564,
590, 600, 608, 625–626, 690, 720
“Бывают крылья у художников” 315, 411,
624
- “В поисках пространства и света” 428, 628
“Владимир Дубровский” 264, 684, 686
“Влетел на свет осенний жук...” (“Три по-
священия Пушкину”) 423, 431,
524–525, 625
“Воздух детства” (“Спой ты мне про
войну...”) 12, 715–717, 719,
721–769
“Воспоминание о Ленинграде 65-го года”
698–699
“Воспоминание про утро” 20
“Вот человеческий удел...” (“Три посвяще-
ния Пушкину”) 628
“Все лето плохая погода” 423, 434
- “Все наши дни рождения” (совместно
с С. А. Соловьевым) 472–473
“Выпей со мной, Марьяна” 413
- “Глазами суворовца” 92
“Гражданин Фиолетовой республики” 305,
307, 309–310 (ил.), 355, 403–404, 425,
532–534
- “Девочка Надя, чего тебе надо?” 360,
648–649, 687, 717, 786, 788
“Декабристы” (“Тайное общество”) 308,
311, 312, 425, 475, 481, 482, 527, 686
“Долги” 229, 425
“Друг мой, я очень и очень болен” 681, 693
- “Живу в скворешне Кулешова...” 319
“Жизнь” 362, 697–698
“Жил долго, жил и пророчил...” 67–68
- “Зеленая река У-ки-кит-кон” 671
- “Идиот” 103
- “Какая вы сейчас...” 632–633, 634 (ил.)
“Какой-то красивый парень...” 161
“Квазимодо” 344 (ил.), 785
“Колокол” 278

- “Лают бешено собаки...” 307–308, 404, 533
 “Летние каникулы” 786
 “Летняя дорога...” 638 (ил.), 639
 “Любите вы Листа, Моцарта, Сальери...” 369
 “Люблю державинские оды...” (“Три посвящения Пушкину”) 313, 459, 523
 “Людей теряют только раз...” 252
 “Люди 14 декабря” 517, 624, 628

 “Меняют люди адреса...” 628
 “Мы поехали за город...” 254–255, 346, 395, 537, 666
 “Мы сидели, скучали...” 252

 “Надоело!” 418, 431
 “Наташе” 329, 633
 “Не прикидываясь, а прикидывая...” 565, 650 (ил.), 651
 “Не принимай во мне участия” 589
 “Не ходи в дома чужие...” 683
 “Не ходите под крышами в оттепель...” 234
 “Незаметен Новый год...” 469
 “Неправда — жизнь не оборвалась...” 633

 “О, когда-нибудь, когда?” 363
 “О, Паша, ангел милый...” 677, 680
 “Остается во фляге...” 362–363, 473, 523–524, 557, 652, 653 (ил.)
 “Отвлеченные мысли, навеянные воспоминаниями о Дмитрие Мережковском” 233, 708–709
 “Охота, сентябрь” 345 (ил.)

 “Палуба” 257, 424–425, 457, 492, 522, 588
 “Патруль 31 декабря” 431
 “По несчастью или к счастью...” 434, 457, 624, 718, 719, 765, 769
 “Под ветром сосны хорошо шумят...” 416, 492, 493, 648
 “Полями наискось к закату” 562, 566
 “Привязанность” 547, 550–552
 “Прыг-скок, обвалился потолок” 360, 402, 602, 603, 717, 786

 “Разговор о чебуреках поведем...” 391, 393, 663
 “Разговор с сочинителем некрологов” 295
 “Рио-Рита, Рио-Рита” 522, 559

 “Садовое кольцо” 423, 607
 “Сборы, споры, разговоры...” 633
 “Свадьбы, коим мы не судьи...” 684
 “Севастопольский легкий снежок...” 360
 “Сестра моя жизнь” 628
 “Собачья жизнь...” 633
 “Сон” (“Там, за рекою...”) 471
 “Спой ты мне про войну...” 278, 708, 717
 “Стихи 7 октября” 646
 “Стихи — какие там стихи...” 245
 “Счастье” (совместно с А. С. Михалковым-Кончаловским) 377, 380

 “Театралы” 78
 “То ли страсти поутихли...” 390–391, 423, 668
 “Три Бориса: Пастернак...” 633, 634 (ил.)
 “Три Марины” 472–473

 “У лошади была грудная жаба...” 234, 343, 346, 779
 “Ударил ты меня крылом...” 352–353
 “Умер Пабло Пикассо” 319
 “Утро” 687

 “Хоронят писателей мертвых...” 20, 781

 “Чего ты снишься каждый день...” 619
 “Человек умер” 787

 “Шаровая молния” (“А жизнь — прекрасна, как всегда...”) 295, 355, 361, 363–364, 524–525 (ил.), 525

 “Я жил как жил...” 418, 575
 “Я к вам травую прорасту...” 9, 547
 “Я шагаю по Москве...” (стихотворение) 311, 428, 447, 458, 713 (ил.)

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДРУГИХ АВТОРОВ

“19 октября” (А. С. Пушкин) 328, 431

“Багаж” (С. Я. Маршак) 442

“Банджо Бенд Билли” (пластинка) 156

“Баня” (В. В. Маяковский) 56

“Барон фон дер Пшик” (Л. О. Утесов) 537

“Барышня, вы еще свободны?”

(пластинка) 156

“Батюшков” (О. Э. Мандельштам) 10

“Бедная Лиза” (Н. М. Карамзин) 541, 544

“Бедные люди Парижа” 156

“Белая гвардия” (М. А. Булгаков) 329

“Бердичев” (Ф. Н. Горенштейн) 516

“Бим-Бам-Боус” (пластинка) 156

“Брат по песенной беде...”

(М. И. Цветаева) 9, 362

“Быть знаменитым некрасиво...”

(Б. Л. Пастернак) 368

“В бомбоубежище, в подвале...”

(О. Ф. Берггольц) 17

“В дебрях Африки” (Г. Стенли) 264

“В окопах Сталинграда” (В. П. Некрасов)

251, 329, 450

“В снегах Финляндии: Записки младшего командира” (Н. Н. Митрофанов) 50

“Вакханалия” (Б. Л. Пастернак) 327, 666

“Весна” (С. Боттичелли) 335 (ил.)

“Вольный ветер” (И. О. Дунаевский) 84

“Воспоминания” (Н. Я. Мандельштам) 16

“Враги сожгли родную хату” (М. И. Блантер,

М. В. Исаковский) 742–743

“Выбранные места из переписки

с друзьями” (Н. В. Гоголь) 303

“Гамлет” (В. Шекспир) 56, 110

“Где эта улица, где этот дом”

(Э. Краснянский) 56

“Гены Шпаликова нету...”

(А. П. Тимофеевский) 226

“Гоголь в жизни” (В. В. Вересаев) 314

“Голос друга” (Б. А. Слуцкий) 251

“Горе от ума” (А. С. Грибоедов) 93

“Гренада” (М. А. Светлов) 254

“Грибоедов” (С. А. Ермолинский) 258

“Дайте Тютчеву стрекозу...”

(О. Э. Мандельштам) 10

“Двадцать тысяч лье под водой”

(Ж. Верн) 42

“Две строчки” (А. Т. Твардовский) 743

“Дни Турбиных” (М. А. Булгаков) 352

“Доктор Живаго” (Б. Л. Пастернак)

219, 259

“Душа моя, Элизиум теней...”

(Ф. И. Тютчев) 655

- “Евгений Онегин” (А. С. Пушкин) 22, 84,
337, 361, 428, 586
“Евгений Онегин” (П. И. Чайковский) 84,
86–87
- “Желание” (В. Т. Шаламов) 18
“Жизнь Арсеньева” (И. А. Бунин) 320
“Житие Козявина” (Л. И. Лагин) 351
“Жонглер Богоматери” (А. Франс) 670
- “За семью заборами” (А. А. Галич) 255, 395
“За экраном” (И. М. Маневич) 685
“Запорожец за Дунаем” (С. С. Гулак-
Артемосский) 87
“Зимнее утро” (А. С. Пушкин) 448
- “Интернационал” (Э. Потье) 88
- “К Чаадаеву” (А. С. Пушкин) 481
“Как часто ты меня целуешь” (пластинка)
156
“Карась-идеалист” (М. Е. Салтыков-
Щедрин) 308
“Катюша” (М. И. Блантер,
М. В. Исаковский) 735
“Колокола” (С. В. Рахманинов) 85
“Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром си-бемоль минор”
(П. И. Чайковский) 85–86
“Кошка, нарисованная мелом”
(Л. Горанова) 187
“Крылья Родины” (Л. И. Гумилевский) 47
“Кто кончил жизнь трагически...”
(В. С. Высоцкий) 431
- “Лебединое озеро” (П. И. Чайковский) 84,
88, 122
- “Мальчик из Джорджии” (Э. Колдуэлл) 223
“Марбург” (Б. Л. Пастернак) 359
“Мастер и Маргарита” (М. А. Булгаков) 428
“Мечтатель, фантазер, лентяй-
завистник!” (М. В. Кульчицкий) 749
“Мне ни к чему одические рати...”
(А. А. Ахматова) 471
“Мой дар убог и голос мой не громок...”
(Е. А. Баратынский) 10
“Море черное” (Б. Ш. Окуджава) 260
“Москва, Москва!.. люблю тебя как сын...”
(М. Ю. Лермонтов) 233, 311, 428
- “Моцарт и Сальери” (А. С. Пушкин) 425
“Моя жизнь” (Р. Амундсен) 42
“Муза” (Е. А. Баратынский) 10
- “На дне” (М. Горький) 698
“Неоконченное” (В. В. Маяковский) 245
“Неточка Незванова” (Ф. М. Достоевский)
602
- “Один день Ивана Денисовича”
(А. И. Солженицын) 563
“Она, как полдень, хороша”
(Н. М. Минский) 171
“Она сидела на полу...” (Ф. И. Тютчев) 300
“Оттепель” (И. Г. Эренбург) 183
“Охранная грамота” (Б. Л. Пастернак)
246, 660, 669, 682
“Очерки истории кино” (Н. А. Лебедев) 179
- “Памяти Герцена (Баллада об истори-
ческом недосыпе)” (Н. М. Коржавин)
312
“Паяцы” (Р. Леонкавалло) 87
“Первый снег” (П. А. Вяземский) 337
“Перемена” (Б. Л. Пастернак) 655
“Перикола” (Ж. Оффенбах) 84
“Печально я встретил сегодня рассвет...”
(М. А. Светлов) 254
“Пламя Парижа” (Б. В. Асафьев) 88
“Повести Белкина” (А. С. Пушкин) 520
“Поворот винта” (Б. Бриттен) 318
“Поговори хоть ты со мной...”
(В. С. Высоцкий) 141–142
“Подмосковные вечера” (В. П. Соловьев-
Седой, М. Л. Матусовский) 114, 732
“Портрет” (Н. В. Гоголь) 314
“Почему бы нет” (пластинка) 156
“Поэтика” (Аристотель) 117
“Поэты” (А. А. Блок) 398
“Правила хорошего тона” 68
“Праздник, который всегда с тобой”
(Э. Хемингуэй) 359
“Преступление и наказание”
(Ф. М. Достоевский) 669
“Про это” (В. В. Маяковский) 239, 669
“Прокурор вернулся на песчаный берег”
(Н. Н. Фигуровский) 110
“Пушкин в жизни” (В. В. Вересаев) 11
“Пятьдесят лет в строю” (А. А. Игнатьев)
774

- “Разговор с товарищем Лениным”
(В. В. Маяковский) 15
- “Разгром” (А. А. Фадеев) 656
- “Рассвет” (Р. Леонкавалло) 86
- “Риголетто” (Д. Верди) 87
- “Рог изобилия” (В. Григорьев) 354
- “Роман декабриста Каховского”
(Б. Л. Модзалевский) 311
- “Ромео и Джульетта” (С. С. Прокофьев)
88
- “Самолеты на войне” (А. М. Волков) 47
- “Свеча” (Б. А. Ахмадулина) 390
- “Свидание” (Б. Л. Пастернак) 348
- “Святой колодец” (В. П. Катаев) 314
- “Семь греческих мудрецов в доме
терпимости” (пластинка) 156
- “Сентиментальный марш”
(Б. Ш. Окуджава) 690
- “Сильва” (“Королева чардаша”)
(И. Кальман) 84
- “Симфония № 1” (В. С. Калинин)
85–86
- “Сказка” (Б. Л. Пастернак) 226
- “Скучная история” (А. П. Чехов) 518, 519,
521, 699
- “Случайный вальс” (М. Г. Фрадкин,
Е. А. Долматовский) 761
- “Смерть Тарелкина” (А. В. Сухово-
Кобылин) 305
- “Соната для фортепиано № 2” (Ф. Шопен)
219
- “Старик Хоттабыч” (Л. И. Лагин) 351
- “Степь да степь кругом...” 73
- “Стихи мои, бегом, бегом...”
(Б. Л. Пастернак) 359
- “Стихи, сочиненные ночью во время
бессонницы” (А. С. Пушкин) 359
- “Стонет сизый голубочек...”
(И. И. Дмитриев) 482
- “Сцена из Фауста” (А. С. Пушкин) 157
- “Счастливый 13-й номер” (пластинка) 156
- “Сын полка” (В. П. Катаев) 773
- “Таинственный остров” (Ж. Верн) 42
- “Текстильный городок” (Я. И. Фенкель,
М. И. Танич) 538
- “Тень” (Е. Л. Шварц) 145, 359
- “Тонкая рябина” 300
- “Тотем и табу” (З. Фрейд) 244
- “Три сестры” (А. П. Чехов) 483
- “Три танкиста” (С. Я. Покрасс,
Д. Я. Покрасс, Дм. Я. Покрасс,
Б. С. Ласкин) 156
- “Ты в ветре, веткой пробуящем...”
(Б. Л. Пастернак) 299
- “Ты ждешь, Лизавета”
(Н. В. Богословский,
Е. А. Долматовский) 554
- “Утиная охота” (А. В. Вампилов) 675
- “Фиалка Монмартра” (И. Кальман) 84
- “Фиеста” (Э. Хемингуэй) 158, 320
- “Художнику” (А. С. Пушкин) 334, 359
- “Цветет сахалинская рожь...” 667
- “Целовалась с нищим, с вором,
с горбачом...” (М. И. Цветаева) 348
- “Чаадаеву” (А. С. Пушкин) 295
- “Чайка” (А. П. Чехов) 320
- “Человек-амфибия” (А. Р. Беляев) 181,
182, 193
- “Чинары моей юности” (К. И. Чандар) 373
- “Что-то кончилось” (Э. Хемингуэй) 493
- “Эзоп и муравей” (пластинка) 156
- “Я верю” (И. Г. Ольшанский) 110
- “Я знаю, чего тебе не хватает”
(пластинка) 156
- “Я никогда не верил в миражи...”
(В. С. Высоцкий) 565
- “Я памятник себе воздвиг
нерукотворный” (А. С. Пушкин) 448
- “Янки из Коннектикута при дворе короля
Артура” (М. Твен) 42

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ МЫ ПРИШЛИ К ШПАЛИКОВУ

ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ,
ПИСЬМА, ПОСЛЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ

СОСТАВИТЕЛЬ АНДРЕЙ ХРЖАНОВСКИЙ

Художник Андрей Бондаренко

Бильд-редактор Марина Гордеева

Выпускающий редактор Максим Амелин

Редакторы Владимир Забродин, Ольга Понизова, Елизавета Тимофеева

Корректоры Ольга Португалова, Светлана Вязкова

Верстка Марат Зинуллин

ИЗДАТЕЛЬСТВО РУТЕНИЯ

109028, г. Москва, Хитровский пер., д. 3/1, стр. 1.

Тел.: +7(495)1087437, e-mail: rutenia1971@bk.ru

Подписано в печать 10.01.18. Формат 70×100/16.

Гарнитуры PF Din и CharterC.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Объем 51 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 0522/18

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами

в ООО “ИПК Парето-Принт”, 170546, Тверская область,

Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.

www.pareto-print.ru

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

Книжный магазин «Москва»,
м. «Пушкинская», «Тверская»,
ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, (495) 797-87-17

ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка»,
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37

Московский дом книги,
м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91

Дом книги «Молодая Гвардия»,
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01

Книжный магазин «Фаланстер»,
м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездииковский пер., д. 12/27.
Тел.: (495) 629-88-21

Сеть магазинов «Республика».
Тел.: (495) 251-65-27

В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Санкт-Петербургский Дом книги,
м. «Невский проспект», «Гостиный двор»,
Невский проспект, д. 28.
Тел.: (812) 448-23-55

Сеть магазинов «Буквоед».
Тел.: (812) 601-06-01

Книжный магазин «Все свободно»,
наб. Мойки, 28. Тел.: (911) 977-40-47

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-Пресс», Москва,
м. «Бауманская», ул. Бауманская, д. 43/1,
стр. 1.
Тел. (495) 626-24-70

«А. Симпозиум», Санкт-Петербург,
20-я линия В. О., д. 5/7.
Тел. (812) 325-66-61



9 785990 985742

Шпаликов не врал. Нигде и никогда. Ни в прозе, ни в поэзии, ни в жизни. А это счастье. И жизнь его — неустроенную, безденежную, приведшую к такому трагическому концу — мы можем смело назвать счастливой. Он не врал. Ему не приходилось краснеть. Для советского поэта, писателя это заслуга великая, незабываемая.

ВИКТОР НЕКРАСОВ

Его стихи, которые писались как бы для себя, для близких друзей, между делом, — постепенно, с годами, набирают силу. Он был хорошим товарищем. У него была душа.

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Кем же он был: поэтом, бардом, сценаристом, кинорежиссером? Шпаликов был талантливым человеком. За что бы он ни брался, он все делал талантливо. Но самое главное, что ему удалось достичь, что было самым важным свойством его личности, — Шпаликов как никто другой умел объединять вокруг себя людей.

ВЛАДИМИР ВЕНГЕРОВ